Клаус МАНН

НА ПОВОРОТЕ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.

Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.

Книга рассчитана на массового читателя.

- Клаус Манн
  - ДРАМАТИЧЕСКАЯ СУДЬБА КЛАУСА МАННА
  - ПРОЛОГ
  - ПЕРВАЯ ГЛАВА
  - ВТОРАЯ ГЛАВА
  - ТРЕТЬЯ ГЛАВА
  - ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
  - ПЯТАЯ ГЛАВА
  - ШЕСТАЯ ГЛАВА
  - СЕДЬМАЯ ГЛАВА
  - ВОСЬМАЯ ГЛАВА
  - ДЕВЯТАЯ ГЛАВА
  - ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
  - ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА
  - ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА
  - ПОСЛЕСЛОВИЕ
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
  - КОММЕНТАРИЙ
- notes
  - Примечания
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7

- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51

- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95

- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139

- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183

- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227

- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271

- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315

- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359

- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403

- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421

- Комментарии
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69

- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113

- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157

- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201

- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245

- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281

Клаус Манн
На повороте. Жизнеописание

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СУДЬБА КЛАУСА МАННА
Предисловие

Он был замечательно талантлив.

Томас Манн



Удивительное, уникальное в истории мировой литературы явление — писательская династия Маннов. Из сенаторского дома немецкого города Любека вышли в конце минувшего века два корифея словесного искусства: блестящий мастер эпического повествования Томас Манн и крупный романист Генрих Манн. Слава их стала всемирной, и они оказали значительное влияние на развитие реалистической художественной прозы своего времени. В 1929 году Томас Манн был удостоен Нобелевской премии. Третий из братьев, Виктор Манн, агроном по профессии, что называется, «человек от земли», никогда не помышлявший о писательстве, тоже был литературно одарен. И незадолго до

своей кончины он нежданно для всех написал великолепную книгу «Нас было пятеро». Эта хроника жизни семейства Манн не только своим содержанием, но и художественной отделкой, безыскусным слогом вызвала широкий читательский интерес. Она переведена на многие языки.

В начале двадцатых годов дало о себе знать новое ответвление литературного семейства. В настоящую, большую литературу вступает Клаус Манн — старший сын Томаса Манна. Если природа отдыхает на детях гениев, то на этот раз она словно поступилась своими принципами и щедро одарила сына знаменитого писателя. Клаус Манн родился и рос как бы в литературной мастерской. С детства он дышал воздухом литературы, впитывал чарующие звуки тончайшим образом отшлифованной родной речи, наслаждался живописью словом. Фридрих Ницше назвал чувствительность к звуковому построению речи «совестью ушей». Чувство родного языка в самом высоком его проявлении Клаус Манн получил, можно сказать, по наследству, и это придало изысканность его природному таланту. В далекие времена в Германии любили наделять эпитетами самые аристократические семейства. Если бы этот обычай сохранялся и в нынешнем столетии, то в нашем случае, несомненно, можно было бы услышать: «Все Манны — писатели».

В самом деле, трудно отыскать подходящую параллель в немецкой истории, когда искусство художественного творчества передавалось в роду, как эстафета, от представителя одного поколения другому. Разве что потомки старинного дворянского рода Клейсты. Один из них, посредственный поэт восемнадцатого века Эвальд фон Клейст, оставшийся в памяти потомков не столько своими стихами, сколько как прототип майора Тельгейма в комедии Лессинга «Минна фон Барнхельм», передал эстафету творчества драматургу Генриху фон Клейсту, озарившему своим гением начало века девятнадцатого.

Баловнем судьбы можно назвать в известной мере популярного в свое время писателя Пауля Гейзе. Чувство языка он унаследовал от своего отца, известного филолога. Его произведениям присущи истинно художественный стиль, выдержанная во всех отношениях форма, некая внешне привлекательная грация, которая так покоряла его читателей и особенно читательниц.

Если под этим углом зрения смотреть на Клауса Манна, придавать слишком большое значение внешним условиям, то можно подумать, что он — дитя солнца. Если же глубже вникнуть

в проблему, то все вырисовывается в другом свете, принимает иную окраску. Его писательская судьба сложна и драматична. Он жил весь в литературе, читал запоем, рано начал сочинять, пробовать себя в разных жанрах. Писал легко и много, и это грозило вылиться просто в графоманию. Но когда юноша начал осознавать, что искусство не забава, и задумываться над своим будущим, то к сладкому чувству творчества примешивалась горечь. Возникал образ отца, того Волшебника, который по вечерам читал в семейном кругу что-нибудь из написанного, какую-нибудь историю, где было все строго выверено, где все дышало очарованием. Он трепетно, как к священной магии, относился к труду отца и к его популярности. И это порождало дух сомнения, погружало в размышления, это его пугало. Перед взором начинающего литератора все более явственно возникало предостережение: Magni nominis umbra — тень великого имени, и в душе зарождался спонтанный протест. Процесс созревания был полон внутреннего напряжения, болезненной экзальтации. Юноша искал, стремился найти свой путь, обрести свой голос в литературе.

Печататься Клаус Манн начал в семнадцать лет. В журналах появились его статьи и рассказы. Отзывы на публикации были разные. В них сквозили легкая ирония и откровенное непризнание, но в них звучал и обнадеживающий прогноз. Критики не могли отделаться от предубеждения, что он «папенькин сынок». Бернд Изерман выразился в таком духе, что, мол, по следу Томаса Манна каждый может войти в литературу. Эрих Эбермайер, напротив, анализируя первые опыты молодого прозаика, приходил к выводу, что речь нужно вести о таланте, совершенно независимом от влияния отца.

Популярный юмористический журнал «Симплициссимус» опубликовал в ноябре 1925 года карикатуру, изображающую Томаса Манна и его сына Клауса. Под ней стояла подпись: «Говорят, папа, что у гениальных отцов не бывает гениальных сыновей. Стало быть, ты не гений». Случилось так, что годом позже в одном номере иллюстрированного еженедельника «Уху» одновременно выступили со статьями отец и сын. Это был своеобразный диалог об отношениях между родителями и детьми. И тогда Бертольт Брехт в другом издании не преминул иронически заметить: «Весь мир знает Клауса Манна, сына Томаса Манна. Кто такой, впрочем, Томас Манн?»

В сознательную жизнь Клаус Манн вступил в ту пору, когда Германия переживала потрясения первой мировой войны, Ноябрьской революции и инфляции. Он принадлежал к поколению молодых людей, которое испытало влияние

кризисного сознания, было подвержено апокалипсическому настроению. Буржуазная мораль, нравственные нормы потеряли свой авторитет и притягательную силу. Уже в зрелые годы, размышляя о своих сверстниках, он писал, что «никто не рискнет предсказывать, но, может быть, этому поколению суждено стать жертвой, исчезнуть, не дождавшись прихода лучшего времени».

С внутренним беспокойством присматривался он к молодежи, интересовавшейся больше боксом и скачками, чем духовной жизнью. И он задавался вопросом: почему все-таки он должен писать для этого нелитературного поколения? Когда Клаус Манн начинал свой творческий путь, в искусстве царило смешение различных стилей — экспрессионизма, дадаизма и «новой деловитости». Эти течения не оказали на молодого писателя заметного влияния, хотя и не прошли мимо него бесследно. В ранних произведениях он изображал главным образом демимонд — полусвет, среду кокоток и содержанок богачей, подражавших «большому свету». Но когда критика обвинила молодого автора в декадентстве, это его оскорбило. В статье о Стефане Георге он уже пишет об опасности неразборчивого отношения к художественной форме и пытается отмежеваться от декаданса: настало время для того, чтобы над тайными симпатиями к обветшалому устроить суд. Конечно же, в первом сборнике рассказов духовно неустоявшегося Клауса Манна были эмоциональная анархия молодости, романтическая драпировка, эпигонский мистико-эротический тон, подражающий датскому писателю Герману Бангу, чьи книги он тогда читал. Но в них проявлялось тонкое чувство формы, его ранняя писательская одаренность. Здесь уже ощущалось то, что может принести этот писатель в будущем. Он стремился найти путь к простоте, от иронически-скептического наблюдения к доверчивому участию в жизни, естественность и свежесть жизни противопоставить вычурности.

Первая книга рассказов «У порога жизни» (1925) оставляла впечатление концептуальной неуверенности, это был эксперимент, поиск. И хотя Клаус Манн знал, что Рильке, один из кумиров его юности, чья философская лирика служила ему утешением и советом, назвал славу «суммой недоразумений, распространяемых вокруг имени поэта», он жаждал литературной экстравагантности, он стремился к славе.

Иронический оттенок критики при оценке его первых опытов как бы подстегивал автора написать нечто более достойное. И это ему удается. Его проза становится более спокойной по тону, без громких обвинений, без экспрессионистского бунта.

Экспрессионизм, находившийся тогда уже на излете, он

воспринимал довольно критически, считал принципы, привнесенные этим течением в литературу, старомодными. Но отношение это было противоречивым, смешанным из симпатии и антипатии. Все-таки он отдал дань этому направлению, о чем свидетельствует статья о Георге Тракле.

Обоснованную, политически-аналитическую позицию по отношению к этому течению он сформулирует только в 1937 году в споре с Бенном. Клаус Манн настойчиво продолжает поиск своего «я», своей индивидуальности, «своей песни», как выражается один из его молодых героев из пьесы «Аня и Эстер». Он пытается и теоретически обосновать свою эстетическую позицию, свою программу в статье «Фрагмент о молодежи». Эта статья дает больше представления о его взглядах, чем его ранние рассказы. Здесь он пытается определить черты своего поколения, увидеть то, что отдаляет его от поколения старшего, и на первый план выдвигает возраст. И лишь несколько лет спустя, когда угроза захвата власти национал-социалистами стала реальной, он понял, что граница, разделяющая людей, проходит не между поколениями, а внутри их, что прогрессивно настроенных и реакционеров, пацифистов и милитаристов размежевывают их взгляды и практические действия.

Если первые прозаические вещи — новелла «У порога жизни» и роман «Благочестивый танец» (1925) — вызвали сдержанное отношение, то появившаяся в 1926 году «Детская новелла» имела уже не только национальный, но и международный успех. Она была переведена на английский и французский языки, американские газеты «Нью-Йорк таймс» и «Нью-Йорк геральд трибюн» опубликовали рецензии. Его пьеса «Аня и Эстер» была поставлена в театрах Мюнхена, Кёльна, Дармштадта и некоторое время спустя в Риме. Клаус Манн стал знаменитым.

Определение своего места в обществе и литературе проходит в идейной борьбе. Клаус Манн принадлежал к поколению молодых людей со «шрамами войны» — они пережили первую империалистическую бойню еще детьми. Их называли «военным поколением». Клаус Манн слыл чуть ли не предводителем «военного поколения» или по крайней мере той группы молодых интеллектуалов, которые проявляли активность в духовной жизни общества. А на другой стороне демаркационной линии была молодежь, перенесшая войну в окопах. Лидером этого «фронтового поколения» выступал Эрнст Юнгер — в прошлом фронтовик, талантливый писатель и мыслитель. Так обозначилось два открытых молодежных фронта.

Эрнст Юнгер редактировал националистические журналы, проповедовал реакционные идеи и «ненавидел демократию, как

чуму». В философских эссе и художественной прозе, опираясь на учение Дарвина о борьбе за существование и книгу Ницше «Воля к власти», он оправдывал войну, называл ее простейшим выражением биологических законов жизни.

Клаус Манн боролся против опасности справа, против консервативных идей, против «революционного национализма». В 1930 году в докладе на заседании молодежной секции панъевропейского движения он выступил с критикой угрожающих идей «истеричного романтика» Эрнста Юнгера. Он воспринимал угрозу демократии как угрозу самому себе.

Клаус Манн был одним из немногих немецких писателей, которые безошибочно разглядели подлинную суть итальянского фашизма на его ранней стадии. Тогда еще кое-кто готов был поверить в безобидность программы Муссолини, не выдвигавшей открыто принципов расовой дискриминации.

Важное место в развитии политических и эстетических взглядов Клауса Манна занимает диалог с Готфридом Бенном — принципиальный творческий спор о роли литературы и миссии писали в обществе. Бенн — один из значительных представителей немецкого экспрессионизма, большой поэт, олицетворял собой модернистское направление в художественной практике и в своих теоретических рассуждениях. В докладе, произнесенном в Марбурге, он развивал свою точку зрения, исходя из формулы Гуго фон Гофмансталя, крупнейшего представителя неоромантизма и главы венской группы декадентов: «Из поэзии нет прямого пути в жизнь, а из жизни — в поэзию». Для Бенна поэзия автономна, она — жизнь в себе, искусство слова непримиримо с реальной действительностью, оно — убежище, «метафизическая деятельность внутриевропейского нигилизма».

Парадокс состоял в том, что сторонник автономии искусства, поэт для избранных, литератор, столь рьяно выставлявший напоказ свою аполитичность, Готфрид Бенн после прихода к власти нацистов провозгласил себя приверженцем фашистского «народного обновления», остался в Прусской академии искусств, когда все крупнейшие прогрессивные немецкие писатели вышли из нее, и самым непосредственным образом был причастен к воплощению в жизнь так называемой новой романтики третьего рейха.

Клаус Манн высоко ценил поэтическое дарование Бенна, относил его к глубоким и своеобразным мыслителям, отмечал его заслуги в области языка. Он написал несколько статей о Бенне, где объективно анализировал его лирику и прозу, воздавал должное его таланту, но в то же время отмечал опасные тенденции в его творчестве. Теперь Клаус Манн возвращается к

сочинениям этого автора и во многом пересматривает свои оценки. В письме-протесте, направленном Бенну в начале мая 1933 года, он осудил его ренегатский поступок. «Слишком явное влечение к иррациональному, — писал он, — почти механически приводит к реакционности в политике, если яростно этому не сопротивляться. Начинают с эффектного жеста, объявляя войну „цивилизациям“, — жест, я знаю, кажется очень привлекательным интеллектуалу, — и вдруг оказывается, что вы уже за культ силы, вы уже за Гитлера».

Скептик и нигилист, Бенн становится апологетом, открытым защитником фашистского террора, певцом насилия, мистической судьбы «трагического века». Аполитичный Бенн — рафинированный поэт, блуждающий в чащах формализма, — прославляет первобытные инстинкты человека, расовые образы двухтысячной давности, нашедшие оправдание в мифологических теориях фашистов, защищает совершенно определенную политику.

Переход к апологетике, от псевдокритики буржуазии к проповеди идей нацизма, свой рывок вправо, в реакционную мистику Бенн объяснил в «Ответе литературным эмигрантам» — пресловутой статье, обошедшей страницы многих фашистских изданиях и не раз прозвучавшей по радио. В этом позорном документе предательства он выступил поборником расовой доктрины, возвеличивал гений фюрера, отрицал смысл истории, прикрывая все происходящее в человеческом обществе флером мистики и таинственности. Он упрекал «беглецов» из Германии в том, что они упустили возможность увидеть за «трагической работой» историю, перегруженную мифическими образами и формами. Бенн оправдывал «национальное в реальном движении», то есть гитлеровский порядок со всей его жестокостью, с его глумлением над всем интеллектуальным.

В ранней, экспрессионистской, лирике Бенна и в стихах позднего времени, в его размышлениях ощущается болезненность сознания, распад природы, распад истории. Человек воспринимается как «потерянное „я“», реальность — как нечто демоническое. Всю жизнь Бенн оставался верен своей концепции мифического, иррационального, биологического толкования общественного развития и художественного процесса.

Правда, альянс Бенна с гитлеровским режимом продолжался недолго. Через пять лет поэт попал в немилость, был исключен из гитлеровской «имперской палаты словесности» и, как он выразился, вел двойную жизнь, пребывал в «аристократической эмиграции».

В идейной борьбе с противниками демократии крепнет

политическая позиция Клауса Манна, расширяется его духовный горизонт. Этому способствовало и кругосветное путешествие. Он увидел Европу, Северную Африку, Соединенные Штаты Америки, Японию, Советский Союз. Многое увидел, над многим задумался. Это нашло свое отражение в новелле «Приключения жениха и невесты», которая явилась важной вехой на его писательском пути. Герои новеллы Як и его подруга Герт — блудные дети буржуазии. Они ненавидят это порочное общество. В душе Яка созревает великая цель — он хочет побывать в Москве, верит в мировую революцию. Он член партии и представляется как руководитель молодежного пролетарского союза. Встретить такой образ в творчестве Клауса Манна — своего рода неожиданность. Дело в том, что у него были поверхностные представления о революционной борьбе. Он не знал ее сложностей, ее особенностей и деталей. Поэтому его Як кажется неприспособленным к суровым условиям классовых сражений и терпит неудачу. Отношение автора к своему персонажу неопределенное, колеблется между симпатией и критикой. Противоречивость образа подчеркивают внешние детали его портрета — пятиконечная звездочка в петлице его пиджака и модные, дорогие туфли на ногах, скромная фотография Ленина и замысловатая картинка некоего кубиста над его железной кроватью в мансарде. У буржуазной молодежи нет духовной опоры, она переживает кризис. Выход из этого положения открывает путь к пролетариату, к революции. Такой вывод напрашивается из всей логики развития событий в этой новелле.

Более последователен в своих действиях представитель того общества, за которым будущее, — убежденный аскет Георг, пролетарский антипод Яка. Но симпатии автора на сторона Яка.

Близка по проблематике этому произведению малой формы новелла «Последний разговор», написанная уже в 1934 году. Содержанием этой новеллы стала антифашистская борьба. Герои ее Карл и Анна находят свое место в рядах антифашистов. По замыслу автора основной идеей произведения являлось противоборство революционера, твердо верующего в будущее, и человека, упавшего духом, тяготеющего к смерти. Победителем вышел сломленный духом, отчаявшийся взял верх. Тут отразилось противоречие мировоззрения самого Клауса Манна. На такой мрачный финал этой вещи указал в письме к автору Роже Мартен дю Гар, внимательно прочитавший новеллу.

Стремясь стать интеллектуально независимым от отца, успокоить «борющиеся чувства», Клаус Манн ищет родственные себе души за рубежом. Он обращает взор к Франции, к молодым французским писателям, своим сверстникам: Жану Кокто,

Реймону Радиге, Рене Кревелю. Но особенно привлек внимание Клауса Манна Андре Жид своими произведениями, своей гордой непреклонностью и самоанализом. С ним он познакомился лично и долгие годы считал его эталоном писателя европейской литературы нашего столетия.

Нашло ли это какой-нибудь отклик в творчестве Клауса Манна? Заметны ли следы влияния? Говорить о прямом влиянии было бы неверно. Но если сравнить «Благочестивый танец» Клауса Манна, появившийся в годы знакомства с французским писателем, и роман «Имморалист» Андре Жида, то можно обнаружить некоторые параллели. Основой обоих произведений явился схожий материал. В них рассказывается история молодых людей, которые стоят перед выбором пути, оба находятся на распутье, на повороте судьбы, потеряли ориентацию. Герой «Благочестивого танца» молодой немец Андреас Магнус сетует, что он «еще не нашел свою мелодию», а герой «Имморалиста» Мишель в растерянности спрашивает: «Куда я иду?»

В романах «Александр» и «Вулкан» используется сложный композиционный принцип, который мог быть позаимствован из «Фальшивомонетчиков» Андре Жида, Привязанность к Жиду не охладеет на протяжении всей жизни, и он воздвигнет ему своеобразный памятник. Клаус Манн посвятит ему несколько статей и потом напишет своеобразную, очень личную книгу, состоящую из пересказа всяких случаев из жизни Жида, встреч с ним автора, размышлений, раздумий о его писательской индивидуальности. И назовет эту книгу «Андре Жид. История одного европейца».

На пути к творческой зрелости, в поисках своего «я» Клаус Манн искал «зеркало», глядя в которое он мог бы разглядеть свои собственные черты. В его дневниках появляются все новые писательские имена — Бодлер, Гейне, Гамсун, Уитмен. Пока он писал в «тени титана», он должен был противостоять искушению не попасть под влияние отца, не стать его эпигоном, должен был вступать с ним в творческое соревнование, чтобы обрести литературную эмансипацию. На этой почве возникало некое внутреннее напряжение, досада, конфликт поколений, конфликт сына и отца. И этому конфликту, на мой взгляд, в литературе о Клаусе Манне придается преувеличенное значение. Что представлял из себя этот конфликт отца и сына? В 1925 году Томас Манн опубликовал новеллу «Непорядки и раннее горе», в которой довольно прозрачно изобразил свою семью. Со свойственной ему добродушной иронией обрисовал писатель молодых людей, мюнхенский кружок друзей Эрики и Клауса. В рассказе профессор Корнелиус говорит о своем

шестнадцатилетнем сыне Берте, что он «недурной мальчик, возможно даже с лучшими задатками… ничего не умеет и способен только гаерничать». Разумеется, как бы ни были литературно завуалированы высказывания, они задели Клауса Манна и послужили толчком написать на эту же тему свой рассказ. Так через год появилась «Детская новелла». Безмятежная, близкая к природе жизнь, напоминающая идиллию, протекает в предгорьях Баварии в уютной вилле с красной крышей. Читатель узнает в ней загородный дом Маннов в Тельце.

В новелле изображены дети и родители. Но если у Томаса Манна все происходящее рассматривалось глазами отца, то в «Детской новелле» Клауса Манна все оценивается с точки зрения детей. Родители, гувернантка и домашний учитель находятся как бы в стороне. Мир детства изображен с большим теплом и очарованием. Как видите, творческое состязание отца и сына налицо, но его не следует рассматривать как полемику. Клаус Манн достиг в «Детской новелле» подлинного мастерства, нашел «свою мелодию», подтвердил свою оригинальность, свою литературную независимость от отца. Если говорить строго, то не было серьезного конфликта между отцом и сыном. Конечно, у них были разные характеры, разные привязанности и вкусы — Клаус Манн предпочитал патетическое ироническому, эксцентрическое сдержанному, музыкальное пластическому. Но из этого не стоит конструировать противоречие, противостояние. Бунт сына, его отречение от родительского поколения, был риторическим, абстрактным. Уже в первой своей автобиографии «Дитя этого времени» (1932) Клаус Манн пишет: «Конфликт с отцом был в моей жизни актуален менее одного года. Я воспринимаю его, и об этом свидетельствует положение вещей, как излишнюю и наименее интересную из всех проблем». Остатки этого конфликта, если они и были, исчезли в период изгнания. Их объединила общая судьба эмигрантов, общая борьба против фашизма. У них сложились отношения доброго товарищества. Клаус Манн не раз говорил, что он почитатель литературных произведений отца. Цитаты из его книг можно встретить в письмах, образ отца угадывается в новеллах и романах сына. Клаус Манн усердно читает «Иосифа и его братьев» и восторженно отзывается от этом романе-мифе. Он с большим интересом отмечает намерение отца в «Докторе Фаустусе» изобразить сделку с чертом одного талантливого немецкого композитора и даже называет имена конкретных людей, которые могли бы послужить прототипом для создания художественного образа.

В ответ на положительный отзыв отца о романе «Вулкан»

Клаус Манн написал, что ему очень повезло быть частицей такой семьи и принадлежность к ней избавляет его от одиночества. А романом «Вулкан» он хотел доказать, что он нечто большее, чем только «папенькин сынок и ветрогон».

«Вулкан» — всеохватывающий художественный синтез, вбирающий в себя мироощущение автора, лучшее произведение, которое написал Клаус Манн в изгнании, но до этой вершины предстояло еще преодолеть долгий и трудный путь скитаний и борьбы. Гонимый судьбою писатель должен был пройти суровую школу гражданского мужества. Около тысячи немецких писателей покинуло нацистскую Германию после прихода к власти Гитлера. И среди них были десятки художников слова с мировым именем. Это была совесть народа, его голос. Немецкие писатели не просто уезжали в эмиграцию, они были изгнаны, отлучены от родины, как когда-то изгонялись Данте, Микеланджело, Вольтер, Виктор Гюго, Генрих Гейне. Клаус Манн одним из первых расстался с Германией и одним из первых был лишен немецкого гражданства. И он сразу же включился в активную борьбу. При поддержке Генриха Манна, Андре Жида и Олдоса Хаксли он начинает издавать литературный ежемесячник «Ди Заммлюнг».

Трудности были огромные, не только финансовые и политические, но и чисто организационные. Немецкие писатели-эмигранты были разметаны по всему белому свету. Они обитали в СССР и Мексике, Франции и Швейцарии, Южной Африке и Палестине, Бразилии и США. Среди эмигрантов были люди самых разных убеждений — коммунисты и анархисты, либералы и пацифисты. И новая духовно-моральная общность могла возникнуть под чужими небесами постепенно, из сознания совместных проблем и общей угрозы. Писатели с международным авторитетом не могли сразу примириться, что волею судеб они, словно в библейском мифе, оказались в одном ковчеге, в одной спасательной лодке с писателями неизвестными, с начинающими. Основным средством, связующим разные страны и континенты, стали письма. В век телеграфа и телефона зачахшее, казалось бы, искусство переписки вновь, как в прошлом столетии, стало популярным, пережило свою эпоху Возрождения.

Первый номер журнала «Ди Заммлюнг» вышел в сентябре 1933 года в прогрессивном амстердамском издательстве «Кверидо» и повлек за собой осложнение внутри редакции. В программной статье Клауса Манна было сказано, что начинающее свой путь периодическое издание будет выполнять не только литературную, но и политическую миссию, соединять в себе духовность с воинственностью. Это напугало некоторых знаменитых писателей, они вышли из редколлегии и только

позже преодолели свою непоследовательность.

Задуманный Клаусом Манном журнал должен был стать журналом для молодых. И действительно, ни один эмигрантский печатный орган не мог представить так много новых имен, как этот. Разумеется, произведения молодых не заполняли полностью страницы периодического издания. На них появлялись известные авторы. В журнале публиковал свои эссе Генрих Манн, которого считали неоспоримым вождем немецкой эмигрантской литературы, в нем участвовали писатели других стран: А. Жид, Э. Хемингуэй, И. Эренбург, О. Хаксли, что придавало изданию интернациональный характер. Клаус Манн стремился познакомить европейских читателей с талантами немецкой эмиграции, а немецким писателям дать представление о литературном процессе тех стран, в которых они нашли пристанище. В этом смысле журнал «Ди Заммлюнг» («Собирание») оправдывал свое назначение как издание собирающее, объединяющее антифашистские духовные силы.

Конечно, журнал, созданный в трудных условиях, как бы на марше, не лишен был недостатков. Либерализм многих его авторов делал публицистику недостаточно острой, мало было глубокой, профессиональной, действенной критики, мало произведений прогрессивной прозы. У журнала все-таки не было цельной антифашистской программы, не удалось ему объединить на единой платформе буржуазных и социалистических писателей. Да и неутомимый, разносторонне одаренный, Клаус Манн не был все же властителем дум своего времени, не был писателем такого масштаба, который мог бы повести за собой все слои художественной интеллигенции. Тем не менее журнал «Ди Заммлюнг», просуществовавший лишь два года, сыграл выдающуюся роль. Вместе с выходившими в Москве под редакцией Иоганнеса Бехера и Вилли Бределя «Интернационале литератур» и «Дас Ворт», а также издававшимся в Праге, Виландом Херцфельде «Нойе дойче блеттер» он является лучшим изданием немецкой литературной эмиграции.

Одной из острейших проблем, стоявших перед писателями-эмигрантами, была проблема развенчивания нацистской теории расизма и антисемитизма, разоблачение преступной политики преследования, травли евреев. Выдвинутый нацистскими идеологами тезис «история — борьба рас» и утверждение, что только арийцы являются создателями всех человеческих ценностей, послужили сигналом к массовой травле еврейского населения. Когда-то Великая французская революция даровала всем евреям Германии эмансипацию. Так называемые «нюрнбергские законы» — варварские законы Гитлера — в 1935

году отменили «Кодекс Наполеона» 1806 года и открыли волну массового террора. Преследование евреев велось в такой грубой форме, выдвигались такие нелепые, абсурдные поводы для этого, что здравомыслящие немцы на вопрос, что произошло на соседней улице, с горечью иронизировали: «Лоточник-еврей укусил немецкую овчарку». Расовый бред, политику погромов разоблачали в своих статьях Генрих Манн, Лион Фейхтвангер, Альфред Дёблин и другие известные писатели. Клаус Манн тоже не остался в стороне от этой проблематики — она присутствует в его статьях и романах, ей он посвятил специальные устные выступления в Европе и Америке.

Немецкая тема в разных ее аспектах осмысливается Клаусом Манном не только в публицистике, она находит свое воплощение и в художественной прозе. В 1936 году увидел свет роман «Мефистофель», в котором он продолжает исследовать проблему предательства духа, приспособленчества, пособничества кровавому нацистскому режиму. Она уже прозвучала в форме открытых писем поэту Готфриду Бенну и актрисе Эмме Зоннеман-Геринг, а затем в памфлете «88 у позорного столба», где Клаус Манн осуждает литераторов, подписавших верноподданнический адрес Гитлеру. Теперь он рассматривает эту проблему во всех ее аспектах в большом эпическом повествовании «Мефистофель. Роман одной карьеры». Центральная фигура романа — талантливый актер и директор театра Хендрик Хёфген заключает своего рода пакт с господствующей кастой нацистов, усваивает нацистскую этику, становится идолом развлекательной индустрии. Он перенимает у своих хозяев цинизм, дешевый демонизм, истерическое вдохновение. Карьера Хёфгена и его никчемность, духовная опустошенность высвечиваются на фоне восхождения нацизма в Германии. Актер Хёфген не становится отъявленным фашистом. Нет, речь идет об оппортунизме, об отсутствии убеждения. Показан человек с дарованием, не без характера. Хёфген — символическая фигура на фасаде культуры третьего рейха. Эпиграфом к роману Клаус Манн поставил слова из «Вильгельма Мейстера» Гёте: «Все слабости человека прощаю я актеру и ни одной слабости актера не прощаю человеку».

В романе дана общественно-политическая панорама гитлеровской Германии, которая оказывает непосредственное влияние на карьеру Хёфгена, рельефно обрисовано его окружение, деятели культуры, составляющие круг его общения. Среди них есть не только оппортунисты, но и отъявленный реакционер, хулитель прогресса лирик Беньямин Пельц, и прогрессивно настроенный актер Отто Ульрих, и обманутый нацистами идеалист Ганс Микас, и «патриции без денег» —

представители «старой» буржуазной интеллигенции, чья слава растворилась в прошлом. В образе главного героя доминируют сатирические краски. Комедиант стал символической фигурой комедиантского, ложного нацистского режима. Восхождение Хёфгена Клаус Манн рассматривает вместе с ненормальным, непрочным, логически не оправданным, отклоняющимся от нормального исторического развития ростом нацистского государства. Поэтому восхождение Хёфгена содержит в себе уже закат, гибель. Его духовное предательство обходится ему потерей достоинства, своих лучших человеческих черт, своей индивидуальности. Вся ткань произведения проникнута ощущением неминуемой гибели нацистского государства. Это идейный центр романа.

Роман «Мефистофель», можно сказать, возник в семейной традиции Маннов, в одном идейно-художественном русле с новеллами Томаса Манна, показывающими кризис культуры, разлад между художником и обществом и вызревание экстремистских, националистических тенденций. Обнаруживаются параллели с романом Генриха Манна «Верноподданный». Эту книгу Клаус Манн читал во время работы над «Мефистофелем» и в письме матери назвал ее «не только литературно необыкновенной, но и до ужаса пророческой». Хендрик Хёфген обнаруживает родственные черты с Дедерихом Геслингом, преуспевающим дельцом и политиком, умело контактировавшим с национализмом еще в годы вильгельмовской монархии, и является в некотором роде его продолжением. Роман «Мефистофель» сыграл в свое время большую роль, он показал людям разных стран, какую опасность представляет собой фашизм, как нравственно калечит мастеров искусства. Он принес автору мировую известность.

На дальнейшей судьбе романа сказалось одно обстоятельство, которое, как тень, неразлучно с ним. Дело в том, что эмигрантская антифашистская газета «Паризер тагесцайтунг», первой опубликовавшая отрывок из произведения, предпослала ему маленькое вступление, в котором сообщила, что новый роман Клауса Манна — закодированный, что в нем описаны конкретные представители творческой интеллигенции Германии, с измененными именами героев. И пошла гулять по страницам печати версия, будто Клаус Манн написал роман, чтобы опорочить бывшего друга и бывшего мужа его сестры Эрики — знаменитого актера, неповторимого исполнителя роли Мефистофеля Густава Грюндгенса. Переиздание романа в середине 60-х годов вызвало в ФРГ новую волну дискуссий и даже судебное разбирательство.

Действительно, некоторые герои носят черты реальных людей. Но это, конечно, художественные образы, созданные фантазией писателя. Поистине, история повторяется. В свое время Гёте после выхода «Вертера» пришлось пережить немало неприятных минут, чтобы погасить шум вокруг скомпрометированных прототипов его героев — Лотты и ее мужа. Томас Манн был вынужден написать специальную статью, чтобы защитить роман и самого себя от нелепых обвинений в том, что в «Будденброках» изображены конкретные люди. Теперь в таком положении оказался Клаус Манн. «Нет, мой Мефистофель, — отвечал он своим оппонентам, — не этот или тот человек. В нем слились черты многих. Здесь речь идет не о портрете, а о символическом типе и — как читатель может судить сам — о человеке живом, увиденном и изображенном художественно».

Конечно, повод читателю для всякого рода предположений и домыслов может дать характерная особенность повествования Клауса Манна. Он воспроизводит в художественных образах картину действительности, проецируя ее во многих произведениях на самого себя, своих родственников и знакомых. И в романе «Мефистофель» угадываются прототипы героев: Хендрик Хёфген — Густав Грюндгенс, Дора Мартин — актриса Тереза Гизе, Беньямин Пельц — Готфрид Бенн, Цезарь фон Мук — пресловутый Ганс Йост, ставший позже президентом «имперской палаты словесности», Барбара Брукнер — Эрика Манн. Кстати, сестру Эрику писатель выводит в разных рассказах под разными именами. В «Детской новелле» она — Рената, в «Молодых» — Сибилла, в «После обеда» — Анита, в «Соне» — Соня.

Элемент автобиографического в творчестве Клауса Манна очень заметен. Рассказы «У порога жизни», «Детская новелла», роман «Благочестивый танец» — все это, во многом, самоизображение. И в исторических романах «Александр» и «Патетическая симфония», пожалуй, не меньше сказано об авторе, чем о героях этих произведений. Даже в эссеистической книге «Андре Жид. История одного европейца» он то и дело возвращается к самому себе. Недаром же немецкий критик Рольф Шнейдер назвал ее третьей автобиографией Клауса Манна. Проникновение в художественное произведение автобиографического материала — процесс естественный. Каждый писатель, рассказывая историю чужой жизни, в то же время рассказывает в какой-то мере и о себе. «В хороших романах, — писал теоретик немецкого романтизма Фридрих Шлегель, — самое лучшее есть не что иное, как более или менее замаскированные личные признания автора, результат авторского опыта, квинтэссенция авторской индивидуальности».

По роману «Мефистофель» талантливый венгерский режиссер Иштван Сабо в 1981 году создал получивший международное признание кинофильм.

Клаус Манн стал одной из центральных фигур антифашистской публицистики в период эмиграции. И этому во многом способствовала его поездка в сражающуюся Испанию. За свободу Испании, как за свою свободу, сражались многие честные немцы. Клаус Манн давно вынашивал мечту познакомиться с испанским народом. Но возможность такая появилась только в 1938 году. Он с радостью принял предложение газеты «Паризер тагесцайтунг» и отправился в Испанию, чтобы рассказать правду о сражающейся республике, которая тогда уже переживала тяжелые дни — враг находился в предместьях Мадрида.

В репортажах и статьях, которые печатались в газетах и в московском журнале «Дас ворт», он рассказывает об ужасах войны, о страданиях, терпении и мужестве мужчин и женщин испанской столицы, о защитниках других городов. Он рассказывает о встречах с немецкими патриотами, сражающимися в Интернациональных бригадах за правое дело, — Людвигом Ренном, Эрнстом Бушем, Юлиусом Дейчем, Гансом Каале. Писатель беседует и с пленными немецкими летчиками из легиона «Кондор», которые превратили в руины город басков Гернику. Они воевали на стороне Франко. Клаус Манн испытывает тягостное чувство и делает вывод, что гражданская война в Испании только часть того глобального сражения, которое идет против фашизма. Испания — пролог кровавой трагедии, которой еще суждено разыграться в мире.

Слабость антифашистских борцов он видит в отсутствии единства — Испанская республика уже давно бы победила, если бы не было раздоров между социалистами и анархистами, коммунистами и либералами. Репортажи из Испании пронизаны тревогой за судьбы демократии в других странах. В памяти еще свежи события весны 1938 года, приведшие к аншлюсу Австрии. Значит, и судьба Испании решается не только на полях сражений, не только в окопах противоборствующих лагерей, — она решается и в правительственных кабинетах Берлина, Рима, Лондона и Парижа.

Клаус Манн проявил в Испании подлинное мужество, бывая на передовых позициях разных фронтов. Но, возвратившись из этой страны, он рассказывал родителям и друзьям не о тех страшных минутах, которые ему пришлось пережить, а об удовлетворении от того, что находился в единственном месте на земле, где «стреляли в мерзкую, угрожающую миру чуму, что зовется фашизмом».

Испания во многом прояснила взгляд писателя на развитие общественной жизни Европы, дала новые критерии оценки несомого фашизмом зла и укрепила его в убеждении, что необходимо единение свободолюбивых сил. В борьбе с таким сильным и глубоко безнравственным врагом, каким является фашизм, надо выступать единым фронтом.

Испанские события оставили неизгладимый след в сердце писателя и нашли отражение не только в его публицистике, но и в художественной прозе. В 1939 году Клаус Манн завершил большое эпическое произведение «Вулкан. Роман из жизни эмигрантов». Уже само название указывает на то, что содержание произведения строится на взрывоопасном современном материале, что он наполнен предчувствием грядущей катастрофы. Здесь большое место занимает Испания — страна, придававшая эмигрантам силы для сопротивления, служившая могучим стимулом для новой борьбы. Испанские события, начиная от генеральского путча и кончая роспуском Интернациональных бригад, вплетены в сюжет произведения.

Читатель становится свидетелем боев на реке Эбро, бомбардировок Барселоны, обороны Мадрида. В общем, события разыгрываются там, где приходилось бывать автору, и даже некоторые страницы романа перекликаются с репортажами. Это вообще характерно для Клауса Манна — вводить в художественное произведение конкретные эпизоды, личные переживания. Автобиографические подробности, как известно, составляют самый реалистический элемент любого повествования. Если воспользоваться термином кинематографистов, то можно сказать, что он был привержен к документализму, предпочитал изображать «мир без игры». Роман соединил воспоминание о прошлом и мечту о будущем, радость любви, горечь страданий и тяготы борьбы за общее дело. В нем с большой симпатией обрисован Марсель Пуаре — буржуазный интеллектуал, который порвал со своим классом и решил посвятить себя революции. Прототипом его явился французский писатель Рене Кревель, отчасти и сам автор. Марсель Пуаре стремится честно служить своим литературным трудом правому делу, но часто остается непонятым: манифесты, памфлеты, листовки, которые он пишет, замысловаты и путаны, их стиль слишком патетичен. По этой причине читатели марксистских газет и участники митингов могут извлечь для себя из них мало пользы.

Марсель приехал в Испанию добровольцем, когда ощутил, что наступил и его час. Здесь он испытал чувство единения с народом, с рабочим классом, испытал радость борьбы. Но здесь

же наступил и его последний час. Марсель смертельно ранен. Он умирает, просветленный бессмертием идей, за которые сражаются передовые люди земли. Он первый раз за все годы эмиграции почувствовал, что человек может побеждать, и он умирает как победитель.

Другой герой романа, коммунист Ганс Шютте, олицетворяет собой непокорный дух сопротивления и трагизм немецких борцов за республиканскую Испанию. Скитальческая судьба приводила его в разные страны, но только здесь, в Испании, среди людей, которые умеют защищать свою свободу, он ощутил подъем духа. Ганс Шютте отнюдь не первый персонаж Клауса Манна из пролетарской среды. Некоторый опыт создания образа рабочего у него уже был. Вспомним Георга из новеллы «Приключения жениха и невесты». Но образ Ганса Шютте получился более полнокровным и привлекательным.

«Вулкан» был с интересом встречен критикой и читателями, вызвал многочисленные отклики. Стефан Цвейг отметил рост художественного мастерства Клауса Манна, его умение изображать людей не статично, а показывать развитие характера. Он подчеркнул, что книга написана как бы в полемике с самим собой, в борьбе с внутренней неуверенностью, сомнениями.

Большой радостью для автора романа было письмо Лиона Фейхтвангера. «Эта книга, — писал прославленный романист, — выдвигает ее автора в первый ряд среди тех, кто пишет на немецком языке».

По своим политическим взглядам Клаус Манн не выходил из семейных традиций, он разделял позиции отца и даже ближе был к более радикальному Генриху Манну. Еще в 1926 году он заявил, что Октябрьская революция в России является несравнимым, важнейшим событием XX века. В статьях «Видения Генриха Гейне» и «Цель», в письмах он признает историческую необходимость и закономерность социалистической революции.

Клаус Манн употреблял порой марксистские термины, ему импонировала программа социалистически организованного хозяйства, но было бы ошибкой делать из этого вывод о том, что своей идейной позицией он приближался к марксистской. Он был далек от марксистского мировоззрения, упрекал коммунистическую пропаганду за недостаток духовности и свободы индивидуума. Основа его концепции была политически расплывчатая, лево буржуазная. Он симпатизировал марксизму, но с идеями Октябрьской революции стремился соединить свободолюбивые традиции европейских революций. Идеал человека видел в тех, кто читает Маркса и Стефана Георге. Притягательность нового действовала на него лишь ограниченно,

он переживал это в рефлексиях, размышлениях, раздумьях. В 1928 году был основан Союз пролетарски-революционных писателей Германии, которым руководил Иоганнес Бехер. Клаус Манн не приобщился к этому союзу, как это сделали многие выдающиеся прозаики, поэты и драматурги.

Клаус Манн был участником Первого съезда советских писателей, своими глазами увидел советскую действительность, почувствовал живую связь между писателями и читателями, с удовлетворением отметил, что литература в нашей стране не украшение, а «действующая часть общественной жизни». Критически отнесся он к атмосфере культа личности Сталина, а позже назвал непростительной слепоту сталинского окружения, поверившего Гитлеру и заключившего с ним пакт о ненападении.

За свою относительно недолгую жизнь Клаус Манн написал семь романов, две пьесы, несколько томов рассказов и эссе, путевых очерков и статей. Венцом его творчества стала книга «На повороте» — живописная мозаика, органично соединившая в себе воспоминания, дневники и письма. Это путешествие по собственной жизни, зародившееся в глубине души размышление о ее смысле. Когда-то мемуары служили лишь вспомогательным документом, источником биографических сведений, теперь они стали самостоятельным жанром словесного искусства, обрели широкую читательскую аудиторию. Биография личности — микрокосм истории. Книга Клауса Манна — это не только автобиография, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, мастеров искусства, политических деятелей. Но прежде всего, разумеется, жизнеописание, отчет о жизни самого Клауса Манна. И он соблюдает главное правило мемуариста — откровенность по отношению к самому себе, пусть даже и невыигрышными для себя признаниями.

Автор умеет показать человека своей эпохи, выхватить его из массы, раскрыть характер, выделить индивидуальные черты, найти точные штрихи, чтобы закрепить образ героя в памяти читателя. Все лица в движении, пластичны, осязаемы. Стиль отличается живостью, смелостью, утонченной порывистостью, ритмической красотой. И если очарование стиля писателя в переводе порой как бы затуманивается — об этом приходится только сожалеть. В его книге беспристрастность летописца соединяется с пристрастностью художника. Сравнивая романы с мемуарами, Белинский отмечал, что степень достоинства произведения зависит от степени таланта писателя и «мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собою».

Жизнеописание Клауса Манна «На повороте» — замечательная книга, она стоит в ряду с такими произведениями мемуарной литературы, написанными на немецком языке, как «Обзор века» Генриха Манна и «Вчерашний мир» Стефана Цвейга.

Все произведения Клауса Манна пронизаны током его времени. Он рассказывал о своей эпохе и о себе. Все его творчество воспринимается как отчет о его жизни. Он писал о страданиях и борьбе, он писал о проблемах Германии и Европы сегодняшнего дня во имя завтрашнего дня Германии и Европы. И сквозь все его творчество, даже в вещах довольно оптимистических, непременно прорывается какое-то темное, подспудное течение, трагический мотив, вырисовывается феномен смерти в форме самоубийства.

Болезненная чувствительность, душевная предрасположенность к гибельному восторгу, «симпатия» к смерти у него зародилась рано. Уже взрослым он напишет: «Крылья смерти, коснувшиеся многих моих незнакомых старших братьев, бросили тень и на мой детский лоб». Этому способствовала прямо-таки эпидемия самоубийств среди его родственников и друзей. Покончили с собой две сестры Томаса Манна — Карла и Юлия, дядя Эрик по линии матери, потом друзья — Рикки, Герт Франк, Вольфганг Хеллерт, Рене Кревель. В эмиграции волна самоубийств унесла близких ему писателей: К. Тухольского, Эрнста Толлера, Стефана Цвейга и других. Он писал некрологи и при каждом расставании отдавал частицу самого себя, а его готовность умереть возрастала еще на один градус. Через все его произведения проходит сквозной мотив смерти: то ее страшный лик расплывается в одном очертании с обликом любви, то она воспринимается как избавление, то как тихий страх, колыбель и гроб становятся чуть ли не одинаковыми. Клаус Манн рассматривает смерть как элемент мистерии, как таинство бытия. Он и сам с ранней поры был болен смертью. И всю жизнь должен был противиться ее манящему зову.

Эрика Манн в одном из писем свидетельствует, что уже в 1934 году, то есть когда ему было двадцать восемь лет, он взвешивал возможность самоубийства как альтернативу жизни. Дневники писателя, как точные сейсмографы, регистрировали его состояние. Кризис обострился в 1942 году, тогда особенно часто находили на него «минуты душевной невзгоды», и он настойчиво добивался, чтобы его добровольцем взяли в американскую армию, жаждал уехать туда, «где стреляют пушки». И когда меланхолия доходила до оцепенения, он прибегал к «волшебному» лекарству, погружался в «искусственный рай». К наркотикам он тоже пристрастился рано и не раз проходил курс лечения. Участие с

оружием в руках в войне против ненавистного гитлеровского режима послужило источником оптимизма, укрепило душевное состояние, вернуло его к творчеству.

Потом кончилась война, надежды, которые он возлагал на будущее, на свою родину, не оправдались, отвращение к жизни вспыхнуло с новой силой. В мире опять становится тревожно, «холодная война» готова перерасти в настоящую, все уничтожающую. Пять дней спустя после трагедии Хиросимы он писал Герману Кестену: «Да, и атомная, бомба… Откровенно говоря, с той поры, как я узнал об этом вызывающем тревогу открытии, чувствую себя подавленным и неспокойным… Я не могу избавиться от ощущения, что эта жуткая новинка может означать начало конца». Он пытается жить, как гражданин мира, независимым, свободным между фронтами «холодной войны», а это уже оказывается невозможным.

Он пишет эссе «Испытание европейского духа», в котором хочет определить место европейской интеллигенции в борьбе между двумя сверхдержавами, между «американскими деньгами и русским фанатизмом». В этой борьбе он не видит места для интеллектуальной независимости и моральной цельности. И он приходит к страшному выводу: только волна самоубийств, жертвой которой станут выдающиеся умы, может встряхнуть народы, вывести их из состояния летаргии и заставить понять серьезность смертельной опасности. Его творчество, выросшее на идеях борьбы с фашизмом, потеряло ориентиры. Повинуясь совести, он отстаивал взгляды и принципы, которым всегда оставался верен. Теперь эта позиция, которую он защищал прямо-таки с лютеровской настойчивостью: «так стою и не могу иначе», потеряла устойчивость. В Западной Германии, на его родине, вновь ожили его старые оппоненты, они обзывали его «большевистским агентом», представителем «пятой колонны Кремля». Клаус Манн понял, что связь с отечеством невосстановима.

Политический холод парализует его фантазию, он не в состоянии душевное напряжение перевести в творчество. Остались неосуществленными многие из его замыслов — не были написаны сценарии к фильму Роберто Росселлини «Пайза», фильмам о Моцарте и «Волшебная гора» по одноименному роману его отца. Он решил вернуться к жанру драматургии и сочинил пьесу «Седьмой ангел», но она не заинтересовала театр. Остались фрагменты новых романов «Фрейлейн», «Клетка», «Последний день». Старые его произведения не хотели переиздавать: за две недели до ухода из жизни он получил письмо от издателя Якоби о расторжении с ним договора.

Притуплялось восприятие художественное, терялась легкость письма, он чувствовал, что в английском языке, на котором он писал последние годы, ему не удается достичь такой свободы и блеска, как в родном немецком. Последние годы жизни были малопродуктивными. Правда, он не сидел сложа руки, но новых книг не написал. Он старательно переводил, или, как он выразился, «пережевывал», на немецкий язык с английского книги «Андре Жид» и «На повороте». Он хотел, чтобы его произведения читали те, для кого он писал, — немцы, и читали по-немецки.

Состояние депрессии усугубляло и трагическое одиночество, отсутствие домашнего очага, уюта. Семейной жизни ему так и не суждено было изведать. В юности он был помолвлен с Памелой Ведекинд — дочерью известного писателя Франка Ведекинда, но помолвка эта быстро расстроилась. Не рискнул он жениться и позже, когда ему однажды, уже во время службы в американской армии, представился такой случай. У него был свой взгляд на семейные отношения. В 1930 году двадцатичетырехлетний Клаус Манн сочинил «Непроизнесенную речь за свадебным столом одной подруги». Там есть такое признание: «Брак — это наша патетическая попытка преодолеть одиночество, о котором мы знаем, что оно непреодолимо».

Вся жизнь прошла в разъездах, вечно с чемоданом в руках странствовал он из страны в страну, из города в город, из гостиницы в гостиницу. В его суетливой жизни не было полюса покоя, точки опоры, моральной устойчивости. Он пытался компенсировать это письмами к родителям, хоть на мгновение вернуться в радужно окрашенный мир детства. Во многих письмах он называет отца Волшебником, мать — Милейн, себя — Эйси, ласковыми именами детства. Но письма и редкие, короткие встречи с родителями не в состоянии были отсрочить роковой финал. Все возможности истощились, все надежды потухли, все иллюзии рассеялись.

Дождливым весенним днем его нашли в гостинице с погасшей сигаретой во рту уснувшим вечным сном. 21 мая 1949 года во французском городе Канн Клаус Манн покончил жизнь самоубийством. Потомкам он оставил книги о своем времени, о своих современниках, о себе. Книги честные, открытые, пронизанные его мыслью и темпераментом. Огненные страницы их до сих пор еще обжигают пальцы тем, кто тоскует по старому времени, не расстается с идеями реваншизма и войны.

И. ГОЛИК

ПРОЛОГ

Моей матери и моей сестре Эрике посвящаю

Это и есть жизнь:
вот что вышло на поверхность после стольких мук и судорог… Как странно! Как истинно!

Уолт Уитмен

В любом глубоком признании содержится больше красноречия и знания, чем это кажется на первый взгляд.

Андре Жид

Не победить, а выстоять.

Райнер Мария Рильке

Где начинается история? Где истоки нашей индивидуальной жизни? Какие погребенные авантюры и страсти сформировали нашу суть? Откуда проистекает множество противоречивых черт и тенденций, из которых складывается наш характер?

Несомненно, наши корни гораздо глубже, чем это устанавливает наше сознание. Никто, ничто не существует вне связей. Всеохватывающий ритм определяет наши мысли и действия; кривая нашей судьбы есть часть вселенской мозаики, которая столетья напролет чеканит и варьирует все те же изначальные фигуры. Каждый наш жест повторяет праотцовский ритуал и предвосхищает вместе с тем жесты будущих поколений; и даже самый одиночный опыт нашего сердца — эхо прошедших или предупреждение грядущих пристрастий.

Это долгий поиск и блуждание: мы могли бы проследить все вплоть до пещерного-полумрака, варварского жертвенника. Кровавый церемониал жертвоприношения продолжается, идет дальше в наших снах; в нашем подсознании отзываются крики с примитивного алтаря, и пламя, пожирающее жертву, посылает еще свой мерцающий свет. Атавистические табу и кровосмесительные импульсы прежних поколений остаются живы в нас; глубочайший пласт нашего существа расплачивается за

вину предков; наши сердца несут бремя забытого горя и былой муки.

Откуда это беспокойство в моей крови? Среди моих нордических предков могли быть пираты, чей неутомимый дух продолжает жить во мне. Какими из моих слабостей и пороков я обязан некоему ганзейскому прадеду — капитану, купцу или судье, чье имя я никогда не узнаю? То, что я считал своей личной драмой, возможно, лишь продолжение трагедий, разыгравшихся некогда в душном уюте дворянского дома на севере Германии — в дальнем замке где-нибудь на побережье Балтийского моря.

Пристойно-идиллический городок с узкими улочками и серыми островерхими домами: не здесь ли начинается история? Я не имею отношения к этому городу, да меня и не влечет его когда-нибудь посетить. И все же я бы не существовал без некоего конкретного сенатора Генриха Манна{1}, высокореспектабельного гражданина свободного ганзейского города Любека, правда, не столько высокореспектабельного, сколько уже эксцентричного. Ведь любекский патриций, настоящий comme il faut[1], ищет себе спутницу жизни среди дочерей города, а не берет молодую даму из далекой Бразилии{2}, как это сделал сенатор. Она была дочерью немецкого торговца и местной уроженки. Самой волнующей деталью ее истории представлялось мне то, что ей, чтобы попасть в Любек, пришлось маленькой девочкой пересечь океан на парусном судне. А там, на северной чужбине, получила она воспитание вполне «утонченное», прискорбно неромантическое и вошла вскоре в общество светловолосых своих ровесниц. Все-таки оставалось заманчивым представлять себе дедушку — которого я, впрочем, в действительности никогда не видел, — как он ехал в церковь со своей экзотичной невестой. Сенатор, очень статный и важный, с бакенбардами, высоким стоячим воротником, несколько скованно откидывается на заднее сиденье роскошной кареты, которое он делит с ней. Она, прильнув к нему темной головкой, пытается, полузакрыв глаза, еще раз увидеть пальмы и пестрых птиц своей бразильской родины, в то время как экипаж мимо старых каменных стен и величественно возвышающихся башен держит путь к алтарю.

Фрау Юлия подарила сенатору пятерых детей{3}: двух дочерей и трех мальчиков. Старших двух мальчиков звали Генрих и Томас.

Дом Маннов принадлежал к изысканнейшим в городе. Стол там был отменный, да и вина не оставляли желать ничего лучшего. Семья пользовалась всеобщим расположением, хотя в конечном счете ей так часто не везло, что это становилось чуть ли не неприличным. Сестра сенатора, Элизабет, развелась со своим

южнонемецким мужем, да и со вторым супругом не ладила; еще сложнее было с одним братом, моим двоюродным дядей Фриделем, неуравновешенным шалопаем, который слонялся по свету и жаловался на воображаемые болезни. Что до прекрасной фрау сенаторши, то нельзя не признать, что среди дам бюргерской аристократии она часто производила несколько необычное впечатление. Не то чтобы в ее поведении были какие-то недостатки! Просто ее находили слишком «оригинальной». Дело, пожалуй, было в ее экзотическом происхождении. В Любеке не принято иметь столь темные глаза; как у фрау Юлии Манн; блеск и огонь ее взгляда уже отдавали скандалом. Она играла на рояле лучше, чем положено даме ее круга, и пела чужеземные песни, звучавшие мило, но и двусмысленно, — хорошо еще, что не понимали текст… Оба сына, Генрих и Томас, стали бы гораздо веселее и бодрее, имей они вместо не знающей меры пикантной бразильянки маму доброго нордического склада. Оба юноши пока ничем не блистали; в школе они проявляли строптивость и леность, что было бы простительно, если бы они отличались хотя бы в спорте. Но как раз в этой области они были полные бездари. Ходил слух, что они занимались литературой. Господина сенатора можно было пожалеть! Неудивительно, что он часто казался таким нервным и подавленным.

По-видимому, не лучшие дни переживала и его фирма по продаже зерна. Сенатор Манн был, пожалуй, уже не столь усерден и энергичен, как его предки. Несомненно, очень утонченный господин, быть может, слишком утонченный, слишком чувствительный, слишком разборчивый, чтобы мериться силами с более грубой конкуренцией. Когда он умер, совершенно внезапно, выяснилось, что состояние семьи почти полностью растаяло. Старая фирма распалась{4}; фрау Юлия покинула Любек, где всегда чувствовала себя чужой. Местом жительства, избранным ею теперь, стал более свободный, более южный Мюнхен. Там обосновалась она с тремя младшими детьми; прибыли и Генрих с Томасом, после того как с грехом пополам закончили школу. Они, наконец, теперь были свободны, два независимых молодых человека, владеющие скромной рентой и избытком меланхолического юмора, наблюдательностью, чувством и фантазией. Оба уже давно и твердо решили полностью посвятить себя литературе, стать писателями.

Они были очень похожими друг на друга и тем не менее в корне различными; характеры их и мечты казались контрастирующими вариациями одной и той же темы. Общим и неустанно варьировавшимся у них лейтмотивом была проблема смешанной расы, болезненно стимулирующая напряженность

между нордически-германским и южнолатинским наследием в их крови.

Из этого первичного конфликта проистекал и второй — антагонизм между «гражданином» и «художником»: с одной стороны, тип обыкновенного и крепкого заурядного человека; с другой — лишенный корней, надломленный, зараженный бледной немочью мысли — Гамлет, интеллектуал. Отношение между обоими сложно, двусмысленно, заряжено чувством взаимности. Собственно говоря, довольно *эротическое* отношение, если понимать Эрос[5]а по Сократу как демона неутолимого влечения, диалектической игры. «Гражданин», то бишь нормальный человек, прекрасно себя чувствующий в собственной шкуре и в этом мире, почитает и восхищается (пусть даже всегда с некоторой подозрительной настороженностью) «властью духа», «возвышенными идеалами», «чистой красотой искусства» — всеми этими продуктами нравственного терзания, мучительного подвижничества, гордо таимого страдания. Творческий тип в свою очередь испытывает странную смесь презрения и жалости к столь девственно-наивной невинности. Как легка, думает он, должна быть жизнь для тех, у кого нет никакой мечты, никакой миссии. Счастливые люди — им неведомы проклятия мании творчества, мученичества избранников! Как гладки и пусты их лица, как милы, ах, как привлекательны! Стать бы такими, как они!.. Хотелось бы этого и в самом деле? Поменяться с ними?

От частного случая зависит, какой элемент в этом комплексе чувств возобладает: страстное влечение или презрение. У юного Генриха Манна доминировала гордость художника; его пренебрежение к филистеру — при том, что определялось оно прежде всего исключительно эстетическим, — с самого начала имело критический общественно-революционный нюанс. Эта идиосинкразия к немецкому обывателю, «верноподданному» была столь безусловной и интенсивной, что она смогла стать основой политического образа мыслей. Социальный радикализм времени его зрелости берет истоки, как ни парадоксально и тем не менее логично, в радикальном эстетизме той ранней эпохи.

Младший из обоих братьев, напротив, был искренне склонен акцентировать скорее влекущую нежность к светлому и ликующему, чем чувственно-сверхчувственные экстазы артистичности. Он был представителем богемы с нечистой совестью, исполненный ностальгии по «блаженству обыкновенности», по благополучию бюргерского дома. И тогда как Генрих Манн, ученик Стендаля и Д'Аннунцио[6], отпугивал и оскорблял бюргерский немецкий вкус нервным порывом своей ранней прозы, другой, воспитанный на Фонтане, Шторме[7] и

Тургеневе, привлекал более сдержанными и деликатными средствами. Грустно-юмористический тон, улыбчивая ирония, происходящая из отречения и желания, становится отличительной приметой, стилистической особенностью молодого автора.

Они жили и путешествовали вместе, такая разная и все-таки столь братская пара. После продолжительного пребывания в Италии осели в Мюнхене, где мать с тремя младшими детьми уже давно имела свой дом. Генрих и Томас больше не проживали вместе; напротив, каждый снял себе по холостяцкой квартире в Швабинге{8}, бывшем тогда еще подлинным центром духовной жизни и к тому же ареной эксцентрических оригиналов.

Фрау Юлия Манн жила с двумя дочерьми и подростком Виктором недалеко от обоих своих старших. Бразильская красавица как-то вдруг превратилась в скромную матрону, принеся своим детям в жертву красоту, прелесть и веселость, словно сокровища или драгоценные подарки. Старшая из девочек, Лула{9}, исполненная застенчивой миловидности, была мягкой и сдержанной; младшая, Карла, производила впечатление на мужской пол чувственным обаянием и слегка рискованными манерами. Она хотела стать актрисой, носила кокетливые шляпки и курила сигареты. Брат Генрих боготворил ее и позднее изобразил во многих своих книгах. Однако тогда уже было покончено с ее капризами, экстравагантностями, чрезмерно декольтированными вечерними платьями, лихорадочными флиртами, богемными замашками — она заплатила за все это высокую цену. Последняя сцена ее драмы разыгрывалась за закрытыми дверьми. Она приняла яд в доме своей матери, которая обречена была вслушиваться из коридора, как в запертой на засов комнате хрипело ее дитя — и расставалось с миром. Актриса Карла Манн покончила самоубийством прежде, чем, собственно, началась ее театральная карьера, так как, возможно, в глубине души знала, что ее таланта едва ли хватит для карьеры большого размаха. А на что-либо меньшее она не соглашалась.

Оба старших брата этого прелестного и достойного сожаления создания вступили на свою художественную стезю с полным спокойствием и уверенностью в себе. Смелый и вызывающий талант Генриха оказывал воздействие сперва лишь на небольшую группу посвященных Connaisseurs[2], в то время как работы Томаса уже начали привлекать внимание более широкой публики. Генрих, гордый и стеснительный, ограничивал свои общественные контакты исключительно швабингской богемой; Томас нашел свой путь к некоторым наиболее избранным мюнхенским салонам. И пока Генрих с достоинством заблудшего

принца вращался в литературном кафе, Томас «в большом свете» постоянно оставался интеллектуальным пришельцем, за предупредительно-светскими манерами которого скрывалась робость. В домах коммерческих советников и баронов юный поэт, возможно, ощущал себя цыганом с безупречными манерами — слишком вежливым и дисциплинированным, чтобы выказывать свое смущение или свою насмешку, когда, к примеру, хозяйка одного из светских салонов приветствовала его с ликующей сердечностью: «Я ведь *так* счастлива, что вы пришли, мой дорогой юный друг! Мы с графиней как раз беседовали о вашем романе — как же он называется? „Будден…“? Моя бедная память! Помогите же мне, любезнейший господин Манн! „Будденброки“?..»

Красивейшей и умнейшей из femme du monde [3] баварских богачей, фрау Гедвиг Прингсхейм-Дом, было суждено сыграть решающую роль в биографии молодого ганзейца; ибо в ренессансном дворце Прингсхеймов среди многих других ценностей была в высшей степени милая и своеобразная девушка по имени Катя — единственная дочь, сестра четырех братьев, из которых младший был ее близнецом.

Прингсхеймы были необычной семьей, бросающейся в глаза даже в пестрой среде мюнхенского общества перед первой мировой войной. Профессор и его супруга были родом из Берлина. Он еврейского происхождения, наследник крупного состояния, нажитого его отцом в Силезии во время так называемого «периода грюндерства»{10}. Она из небогатого, но заметного в обществе дома. Отец мадам Прингсхейм Эрнст Дом{11} принадлежал к основателям сатирического еженедельника «Кладдерадач»{12}, который во времена Бисмарка пользовался немалым политическим влиянием. Мать ее, Гедвиг Дом{13}, была одной из руководительниц женского движения за свои права, а кроме того, имела литературный успех. Ее романы, широко читавшиеся на рубеже веков, изображали по большей части непонятых женщин, которые претерпевали страдания от своих невежественных супругов, читали Ницше и требовали избирательного права. Салон фрау Гедвиг Дом принадлежал к самым оживленным интеллектуальным местам встреч старого Берлина. Одним из регулярных его посетителей, с которым, между прочим, бросалось в глаза поразительное сходство старой дамы, был Ференц Лист.

У Домов было несколько дочерей: одна из них, Гедвиг, отличалась красотой и грациозностью. Она стала актрисой и играла шекспировских героинь в Мейнингене. Когда там на гастролях великий Йозеф Кайнц{14} играл Ромео, она была его

Джульеттой и выглядела столь неотразимо, что один из молодых кавалеров, находившийся в авансцене, доктор Альфред Прингсхейм{15} из Берлина, тут же решил сочетаться с ней браком. Так оно и произошло. Молодой супруг построил своей любимой Гедвиг княжеский дом в лучшем районе прекрасного города Мюнхена.

Он собирал картины, гобелены, майолики, серебряную утварь и бронзовые статуэтки — все в стиле Ренессанса. Коллекция его была столь значительной, что кайзер Вильгельм II в знак признания наградил его орденом Короны{16} второй степени. Дворец на Арцисштрассе производил впечатление музея, однако оборудован был со всем комфортом нового времени. Прингсхеймы были в числе первых, кто провел себе в Мюнхене телефон и электричество. Их дом стал вскоре центром интеллектуальной и светской жизни.

Впрочем, дело было отнюдь не только в богатстве, которому профессор был обязан своим социальным престижем. Далекий от того, чтобы довольствоваться положением состоятельного дилетанта и бездельника, он чрезвычайно серьезно относился к своей профессии и сделал себе имя в мире науки. Он был профессором математики в Мюнхенском университете, пользовался уважением как преподаватель и теоретик. Его четвертой страстью — наряду с математикой, красивой женой Гедвиг и итальянскими древностями — была музыка Рихарда Вагнера. Молодой профессор принадлежал к первым финансовым покровителям Байрейтских фестивалей и всю свою жизнь оставался восторженным приверженцем культа Вагнера. Правда, личный его контакт с метром оборвался резко, когда у маэстро в присутствии его «неарийского» почитателя сорвалось с языка антисемитское замечание. Гений был бестактен и неблагодарен, а у профессора был обидчивый характер.

Общественный стиль дома был одновременно непринужденным и роскошным. Известнейшие художники, музыканты и поэты эпохи встречались там с принцами из дома Виттельсбахов{17}, баварскими генералами и находящимися проездом из Франкфурта и Берлина банкирами. Хозяйка — обольстительная смесь венецианской красоты à la Tizian и загадочной grande dame [4]в духе Генрика Ибсена — владела таким редким в нашем столетии искусством совершенной беседы, причем свое искусное красноречие она щедро сопровождала каскадами жемчужного смеха. Она умела быть всегда занимательной и оригинальной — болтала ли о Шопенгауэре и Достоевском или о последнем Soirée[5] в доме кронпринцессы. В числе ее поклонников были художники Франц фон Ленбах,

Каульбах и Штук[18], писавшие ее портреты, и писатели Пауль Гейзе[19] и Максимилиан Гарден[20], преподносившие ей остроумнейшие посвящения. Профессор же Прингсхейм — миниатюрный, необычайно подвижный и живой — шокировал и развлекал гостей саркастическими Bonmots [6] и каламбурами, зачастую достаточно рискованного толка. Его скрипучий голос заглушался мелодичным протестом весело негодующей супруги: «Ах, Альфред! Как ты опять *ужасен!*»

Случилось так, что в этой космополитично-общительной, утонченно-веселой среде серьезный молодой романист из Любека встретил темноглазую девушку[21], к которой обратилось его сердце и всю жизнь хранило ей верность. Он наблюдал за ней издали еще до того, как официально познакомился. Она имела обыкновение ездить в университет на велосипеде — окруженная своими братьями, словно ученая маленькая амазонка свитой спутников. Она изучала математику и сочетала в себе находчивое остроумие Порции с экзотически-сладостной внешностью Джессики[22]. Кротость золотисто-карего взгляда контрастировала с агрессивной иронией быстрой речи; за своенравным красноречием избалованной принцессы скрывались хрупкость и невинность ребенка. Молодой романист был очарован. Он видел и описывал ее как чудо духа и очарования, дикий и одновременно изысканный цветок неведомой прелести. Появлялась она на театральных премьерах, празднествах, в опере со своим братом-близнецом Клаусом, молодым музыкантом. Беседа их между собой кишела таинственными формулами, тонкими намеками, загадочными шутками. Два странных ребенка казались не от мира сего, защищенные своим богатством и своим остроумием, охраняемые и балуемые прислугой и родными. Дома, в отцовском дворце, близнецы играли и пересмеивались друг с другом, в то время как с террасы до них доносился, словно журчание фонтана, смех их мамы и мелодии из «Валькирии» и «Парсифаля»[23].

Поначалу сказочная принцесса относилась к ухаживанию молодого писателя насмешливо и холодно. Постепенно, однако, его тонкой лести и его терпеливой нежности удалось растопить лед — благодаря и тому еще, что брат-близнец и величественная мама, скорее, покровительствовали его намерениям. Что же касалось отца, то его, разумеется, следовало рассматривать как противника: всякий, кто хотел отнять у него любимое дитя, должен был считаться с его сопротивлением. Непростой задачей было хоть вполовину укротить желчный темперамент старика и убедить его сносить визиты жениха со своего рода сердитым смирением. К счастью, кроме любви к Кате у сварливого ученого

и его будущего зятя обнаружилась еще одна общая склонность — любовь к произведениям Вагнера. Профессор был равнодушен к литературе, а романист не интересовался ни математикой, ни майоликой, но оба находились под обаянием «Тристана» и «Лоэнгрина». Если им не о чем было поговорить, то они всегда могли обменяться цитатами из музыкальной драмы или припомнить сообща ценные подробности из восхитительного Œuvre[7].

Роман между Катей и Томасом развивался под защитой вагнеровских гармоний. Наконец его благословили родители и узаконил протестантский пастор.

Свадебное торжество в доме Прингсхеймов{24}, как это можно себе представить, было общественным событием широкого размаха. «Весь Мюнхен» поздравлял молодую чету; профессор произнес речь, полную язвительных колкостей; фрау Гедвиг блистала в парадном туалете, словно мечта Тициана, и даже фрау Юлия Манн явила в праздничном возбуждении следы былой красоты. Невеста больше чем когда-либо напоминала сказочную принцессу — темные задумчивые глаза широко распахнуты под миртовым венком. Побледневшая и юная, сидела она между отчаянно острившим папой и женихом, чье лицо с кустистыми усами казалось тоже довольно бледным. Приятный молодой человек, что было отмечено всеми, и как хорошо держится, подтянуто и собранно, почти по-военному. Прямой и стройный в своем прекрасно сидящем фраке, он пытался скрыть волнение, улыбаясь и беседуя так же любезно, как всегда. Но светлые глаза, одновременно рассеянные и проницательные под полукружьями бровей, казалось, ничего не ведали о речи, которая так гладко и холодно текла из его уст. Кстати, и его невеста, случалось, забывала ответить, оставаясь погруженной в собственные мысли, в то время как отец шутил, а супруг поддерживал разговор.

Цеплялось ли ее сердце за прошлое? Вспоминала ли она все то милое и близкое, что должна была потерять? Игры с братьями, мамино общество за чаем, отцовский поцелуй перед сном, ритуалы завтрака — неужели всему этому конец? Подтрунивание, пересмешки, учеба, семейная тарабарщина, непонятная любому постороннему. Нужно было проститься с этим.

А теперь? Что ожидало ее, когда праздник закончится? Новое приключение, новая сказка, которая отныне должна начаться? Что он имел в виду, ее молодой писатель, когда говорил о «строгом счастье», которое будут переживать совместно? У него странная манера говорить такие вещи, торжественно и в то же время насмешливо, словно он подсмеивается над собственными словами, над собственным чувством. «Строгое счастье»… как

характерна была для него эта формула! Он презирал все мягкое и слабое. Счастье — обыкновенное счастье без строгости — было бы, наверное, чуточку мягким и слабым, несколько банальным, немного ординарным — примерно так рассуждала юная новобрачная.

Но почему была избрана она — она из всех женщин — разделить его необычный и суровый жребий? Что было тем, что связывало ее с этим дисциплинированным мечтателем из далекого ганзейского города? Не потому ли подходили они друг другу, она и он, что оба были «иные» — оба далекие от действительности, оба противоречивые, ранимые и склонные к иронии? Сытое и сентиментальное довольство тривиального супружеского счастья подходило бы ей столь же мало, сколь и ему.

Ибо она явно не соответствовала тому типу голубоглазых и «обыкновенных», к которым с таким утонченным презрением и иронической страстью влекло его героев. Она не была ни белокурой, ни невежественной и пышущей здоровьем, но темноглазой и думающей, и она даже слишком хорошо знала муки, которые он описывал. Их брак, следовательно, не был встречей двух полярных элементов — пожалуй, скорей шла речь о соединении двух существ, осознававших свое родство, о союзе между двумя одинокими и чувствительными, надеявшимися вместе выстоять в борьбе, до которой каждый сам по себе не дорос бы. Его решение принять радости и заботы нормальной жизни, завести детей, основать семью, его решение стать счастливым — что это, по сути дела, было, как не продиктованный моральным чувством долга шаг, попытка преодолеть тот «флирт со смертью», который лейтмотивом пронизывал все его мечтания? Дисциплины и иронии было бы недостаточно, чтобы противостоять тому сладкому и опасному соблазну — гибельному восторгу Тристана, комплексу нирваны, смертельному обаянию всей романтики. Какой силы хватило бы воспринять такое с этой черной магией? Была ли любовь волшебным лекарством, от воздействия которого дух сомнения и разрушения становился на службу жизни?.. Но как тяжело, должно быть, выучиться языку любви! Сколько придется преодолеть стыда, сколько принести жертв?!

Достаточно ли я отважна? — думала юная жена, очень хрупкая, совсем ребенок на фоне занимательного папы и чопорного новобрачного. Будет ли отныне все целиком и полностью по-другому? Долго ли мне предстоит к этому привыкать?

Все продолжается долго, жизнь не торопится. Кардинальные

решения могут приниматься в один драматический момент, но материализуются и развиваются они лишь постепенно; проходят месяцы или годы, прежде чем они обретают значение и знакомый облик реальности.

Маленькая квартира на Франц-Йозеф-штрассе в Швабинге, недалеко от прингсхеймовского родительского дома, — великая ли это перемена? Тесный контакт с чудаковатым отцом, блестящей и изящной мамой, рыцарственными братьями продолжался — почти без изменений. Все казалось почти по-прежнему. Лишь спустя месяцы стало ясно, что они пребывают в новом приключении, в метаморфозе.

Какой отяжелевшей и неуклюжей оказалась она теперь, хрупкая сказочная принцесса! Какой обескураженной и беспомощной была она перед лицом самого естественного и все же самого чудесного предназначения! Только терпение, маленькая мама! — еще пара месяцев, и ты узнаешь, мальчик или девочка…

Была девочка; ее нарекли Эрикой{25}. У нее были темные глаза матери. Молодой отец безмерно гордился ею.

И прежде чем Эрика научилась лепетать свое первое «папа», 18 ноября 1906 года появился брат и друг детства. Двое его дядей — близнец матери, Клаус, и старший брат отца, Генрих, стали его крестными отцами. Полное его имя было Клаус Генрих Томас Манн.

ПЕРВАЯ ГЛАВА
МИФЫ ДЕТСТВА
1906–1914

…Камень, лист, ненайденная дверь; камня, листа, двери. И всех забытых лиц.

Томас Вулф

Реальность обретает форму лишь в памяти.

Марсель Пруст

Воспоминания сотканы из удивительного материала — обманчивого и тем не менее убедительного, навязчивого и зыбкого. На воспоминания нельзя положиться, и все-таки нет действительности, кроме той, какую мы носим в памяти. Каждое мгновение, прожитое нами, обязано своим смыслом предшествующему. Настоящее и будущее было бы несущественным, если бы след прошлого оказался стертым из нашего сознания. Между нами и ничто стоит наша способность вспоминать, бастион, разумеется, несколько проблематичный и сомнительный.

О чем мы вспоминаем? О скольком? По каким принципам наш ум сохраняет следы определенных впечатлений, в то время как другие мы погружаем в бездну подсознания? Имеется ли какая-то идентичность или доподлинное родство между моим нынешним Я и мальчиком, кудрявую голову которого я знаю по пожелтевшим фотографиям? Что знал бы я о том златокудром ребенке без воспоминаний и рассказов, которые передаются из поколения в поколение коллективной семейной памятью — а это значит очевидцами старейшего поколения?

Каково было носить шелковый груз этих кудрей? Пытаясь воскресить былое ощущение, я всегда вижу себя в определенной комнате нашего мюнхенского дома, салоне моей матери, куда, впрочем, мы, дети, заходили лишь изредка. Там на круглом мраморном столике стояла плоская серебряная ваза, в которой хранилась коллекция старых фотографий. Вероятно, среди этих семейных реликвий я обнаружил портрет своего прежнего Я. Было мне, наверное, лет шесть-семь, когда я, пухлощекий

маленький Нарцисс, любовался своим собственным изображением впервые. Мальчик, который рылся в материнских сувенирах, уже потерял свои золотые кудри: он носил скромную прическу пажа с низко нависающей надо лбом челкой. Взор, которым он разглядывал улыбающийся облик своего прошлого, уже был исполнен ностальгии.

Итак, о чем я вспоминаю? Кто этот мальчик, которого я узнаю в рассеянном свете того салона? Тот ли это, кто носил шелковые кудри? Или это уже его «стареющий» брат, который с тоской взирает на миловидность, бывшую некогда его собственной? Кудри ли я помню или лишь воспоминание, которое они оставили в душе ребенка, лишившегося их?

Наше подсознание реагирует на определенные знаки, тайные намеки и слова, которые навеваются неведомо откуда. Там ощущается некий аромат, слабый и все же несомненный, — смесь резины и покрытого лаком дерева с легчайшей примесью ситца, материала, из которого сшиты занавески, занавески детской коляски. Но *моя* ли это детская коляска, плавным покачивающимся ритмом которой я теперь чувствую себя вновь убаюканным? Или воспоминания обманывают меня? То, что я теперь считаю своим переживанием, принадлежит на самом деле, возможно, моему брату Голо. Я всегда был склонен отнимать у него его собственность — конфеты, игрушки или пестрые камни и ракушки, которые мы таскали из сада в дом; ибо я был старше его — так что волей-неволей ему приходилось терпеть. Не пытаюсь ли я похитить у него блаженную дремоту его раннего детства? Я уже должен был ходить ногами, изнурительно, шаг за шагом, когда он еще пользовался привилегией, чтобы его повсюду катали. Несомненно, вспоминаемая мною детская коляска — именно та, из-за которой я тогда завидовал Голо. Как бы искренне ни старались мы вернуть себя в рай совершенной безмятежности — чувство, которое мы действительно помним и которое в любое время как будто завладевает нами, — это всегда лишь тоска по счастью, утерянному с началом нашей сознательной жизни.

Детская коляска — это потерянный рай. Единственное абсолютно счастливое время в нашей жизни то, которое мы проводим во сне. Нет счастья там, где есть воспоминание. Вспоминать о чем-либо означает тосковать о прошлом. Наша ностальгия начинается с нашим сознанием.

Разве мог я когда-нибудь забыть любимый образ, что столь часто помогал мне находить сон и забытье? Из ночи в ночь я заклинал тень колыбели, оснащенной парусами волшебной барки, уносящей меня далеко: сквозь темные леса, через тихие

воды, прямо в пурпурную глубину бесконечного неба. Будучи ребенком, я, должно быть, видел крылатую колыбель на какой-то картинке или слышал о ней в сказке. Она преследовала меня годами — символ бегства, блаженного ускользания. Постепенно, однако, колыбель изменила свою форму: она стала длиннее и уже. Корабль, который теперь несет меня к причалу забвения, сделан из материала потверже и цвета помрачнее. Колыбель и гроб, материнское лоно и могила — в нашем ощущении они сливаются, становятся едва ли не одинаковыми.

Сон, которого мы ожидаем с нетерпением, совершенный сон, лишен сновидений. Нас стали навещать сны, как только мы научились вспоминать и ощущать раскаяние. В пятилетием возрасте или даже раньше я уже хорошо был знаком со злым шепотом кошмаров. Комната, которую я делил сначала с Эрикой, а затем с Голо, наполнялась ночью привидениями. Как же отвратителен мне был он, бледный господин, что являлся почти каждую ночь, чтобы разрушить мой мир! Иногда он держал свою голову под мышкой, словно цветочный горшок или цилиндр. Меня прошибал холодный пот при виде этой белой рожи, которая приветливо кивала в столь необычной позиции и скалилась. Ужас мой достиг в конце концов такой степени, что я не мог больше хранить его в себе. Я обсудил дело с нашей гувернанткой Анной, у которой были голубые щеки. Голубая Анна, со своей стороны, разобрала этот феномен с нашим отцом, выразившим мнение, что пора покончить с безголовой неприятностью.

Он появился в нашей комнате перед отходом ко сну, что само по себе означало уже необычное событие, и провел с нами стратегическую конференцию. Обезглавленный гость, как он полагал, собственно говоря, вовсе не так уж страшен — мы должны не дать ему себя запугать. «Да вы просто не глядите на него, если он снова явится! — советовал отец. — Тогда он, вероятно, совершенно исчезнет сам собой, потому что ему ведь было бы скучно и даже несколько неловко торчать никем не замечаемым. Но если вы не сможете избавиться от него таким образом, то тогда вам надо громким голосом предложить ему убираться к черту. Скажите ему только, что детская спальня не место, где околачиваются приличные привидения, и что ему следовало бы постыдиться. А если и этого будет недостаточно, то хорошо добавить, что ваш отец очень раздражителен и не потерпит в своем доме отвратительный призрак. Тогда уж он непременно обратится в прах. Ибо в привиденческих кругах прекрасно известен факт, что я действительно могу быть ужасен, если потеряю терпение».

Мы последовали его совету, и призрак скоро исчез. Это был

потрясающий успех, и он самым впечатляющим образом убедил нас, сколь велико отцовское влияние даже в привиденческой сфере. С этого времени мы начали называть его «Волшебник», сперва только между собой; заметив же, что это имя не вызывает у него неудовольствия, стали употреблять его вскоре официально.

Жизнь пятилетнего полна проблем и сложностей по сравнению с блаженным рассветом младенчества. Однако она кажется райской по сравнению с тем обилием конфликтов и испытаний, с которыми должен быть готов справиться взрослый. В таком случае, как мой, этот контраст особенно разителен, так как относительный покой и защищенность, к которым ребенок вообще приобщен, как бы удваиваются благодаря идиллическому характеру эпохи и социальной среды. Если малыш пребывает относительно беззаботным даже посреди всеобщего кризиса, то ребенок, растущий в привилегированном и высокоблагонравном окружении, должен, вероятно, получить впечатление, что нашей вселенной в самом деле нечего больше желать и она, в общем и целом, является совершенно великолепным устройством.

Стесненность духа у ребенка ограничивается редкими часами и теми короткими мгновениями трепета между сном и бодрствованием, когда вдруг прастрах, ужас покинутого создания нападает на юную душу. Но как бы ни было тебе жутко в эту мрачнейшую минуту, раннее утро найдет тебя снова веселым. Ты отдохнул; холодная вода, которой ты брызгаешь в лицо, заставляет тебя ликовать от наслаждения; завтрак становится праздником для тебя. Новый день! *Твой* день! *Твое* солнце! *Твой* голод! И у тебя есть то, чем ты с удовольствием его утоляешь: твой бутерброд, твой салат, твое яблоко…

Ребенок родствен первобытному человеку — невинен и алчен, лишен вероломства и пощады, невежествен и исполнен творчества. Так же, как человек древней весны человечества, ребенок оценивает и систематизирует все явления наново, словно впервые. Наивно и реалистично, заинтересованный всегда лишь близким и доступным, сооружает он свою собственную иерархию и создает себе свои мифы из того, что видит, слышит, пробует, осязает. Ничего не существует вне сферы его прямых интересов и непосредственных ощущений. Как можно усомниться в абсолютной силе его индивидуального опыта? Детский разум не сравнивает, а воспринимает каждую вещь, каждое событие как нечто исключительное, необычное, абсолютное.

Дождливый день, путешествие, физические ощущения холода, голода, лихорадки, зубной боли или усталости, воздействие мелодий или ласки — вся шкала нашего эмоционального или телесного ощущения обременена

воспоминанием. Для всех нас неизбежно приходит день — раньше, может быть, чем хотелось бы думать! — когда больше нет «нового опыта», а есть лишь вариации знакомых образцов. После длительной интенсивной и сознательной жизни можно даже достигнуть точки, когда общечеловеческие черты узнаешь в особо выраженных чертах любимого человека. Тогда становишься достаточно способным за знакомым лицом собственной матери увидеть драму и красоту материнства. Для зрелого искушенного духа «тип» становится более существенным, чем случайно-индивидуальный представитель. Ребенок, напротив, путает случайного представителя с видом. Он убежден, что все матери похожи на *его* мать. Как примитивный человек ранних эпох персонифицировал и обожествлял импульсы и стихии, владевшие его личной жизнью, — любовь, бурю, воду, войну, плодородие, — так для ребенка существует *эта* мать, *эта* собака, *этот* сад, *это* молоко, *эта* болезнь.

Даже ласкательные имена, которые изобретает ребенок для своих близких, представляются ему обозначающими весь вид, тип. Называя нашу маму «Милейн», мы находили крайне забавным, что другие дети пользуются такими потешными и нелепыми обращениями, как «мамочка» или «мама». Неужели кто-то не знает, кто такие «Оффи» и «Офей»? Можно с таким же успехом спрашивать, кем был некий Юпитер и что он делал с дамой по имени Юнона. Само собой разумеется, что Офей — отец Милейн, следовательно, муж Оффи; ибо Оффи, вполне естественно, мама Милейн, наша блестящая бабушка с выразительным, хорошо поставленным голосом, жемчужным смехом и прекрасными близорукими глазами, к которым она часто подносит лорнет. Лорнет из золотисто-коричневого черепахового панциря и висит на длинной серебряной цепочке. Старая дама — нам она казалась уже древней, когда ей было только пятьдесят и она еще красила волосы, — имела немилосердную манеру рассматривать собеседника через свои стекла. Нервные люди становились беспокойными под ее пронзительным взглядом, но не мы. Конечно, нет! Она же «наша» Оффи, и лорнет такая же ее принадлежность, как сова у Афины Паллады или молния у Зевса.

Высокопоставленные лица иерархии находятся вне всякой критики, однако это не должно означать, что они внушают страх и ужас. Они таковы, каковы есть, и надо относиться к ним с предусмотрительным почтением. Тогда с ними поладишь. Отец, например, может быть очень великодушным и шутливым, если надлежащим образом учитывать его маленькие слабости. Он имеет что-то против грязных ногтей и терпеть не может, когда за

столом что-то передвигают большим пальцем. «Ради Бога, не большим пальцем! — непременно восклицает он тогда и изображает гримасу отвращения. — Если уж надо отодвинуть, то сделай это кончиком носа или большим пальцем ноги! Все лучше, чем этот гнусный большой палец!» Его антипатии были в большинстве случаев подобного иррационального и своенравного толка. С девяти часов утра до двенадцати дня надо вести себя тихо, потому что отец работает, и с четырех до пяти пополудни опять следует утихомириться — это час сиесты. Войти к нему в кабинет в то время, когда он там священнодействует, было бы чудовищным кощунством. Подобное никому из детей не могло бы прийти в голову. Уже менее значительными промахами отца можно основательно рассердить. Быть у него в немилости мучительно, возможно, именно потому, что его недовольство обычно не выражается в громких словах. Его молчание эффективнее, чем головомойка. Впрочем, не всегда легко предугадать, что он заметит и как прореагирует. Мама ругает, если проявишь невоспитанность — полакомишься джемом, оставленным для взрослых, или запачкаешь чернилами свежевыстиранную матроску. Отец же в состоянии игнорировать столь кричащие преступления, зато кажущиеся совсем безобидными ошибки неожиданно могут его расстроить. Отцовское настроение непредсказуемо.

Я пишу эти традиционные формулы — «отец», «мать», «отцовский авторитет» — и нахожу их неточными, чуть ли не вводящими в заблуждение. Что общего у этих клише с действительностью, которая складывается из тысячи своеобразных, неповторимых нюансов? «Отец»… Это щекочущее прикосновение усов, запах сигар, одеколона и свежего белья, задумчивая, рассеянная улыбка, сухое покашливание, отсутствующий и одновременно проницательный взгляд. «Отец» означает приветливый звучный голос, длинные ряды полок в кабинете — торжественная картина, полная таинственного соблазна! — в образцовом порядке письменный стол с солидной чернильницей, легкой пробковой ручкой, египетской статуэткой, миниатюрным портретом Савонаролы{26} на темном фоне; приглушенная фортепьянная музыка, доносящаяся из полутемной гостиной.

Да, музыка, более чем какой-либо другой атрибут, кажется составной частью его существа. Когда-то раньше он играл на скрипке; но это было до нашего времени, в доисторически-легендарную эпоху. Между тем никто не сомневается, что и теперь он при желании мог бы виртуозно играть на скрипке. Иногда он насвистывает нам песенку. Ни у одной скрипки нет

более чистого звука. А после вечерней прогулки перед ужином взрослых он охотно удаляется в сумеречный салон. Тогда он садится там за большой бехштейновский рояль, наполовину прикрытый тяжелой малиновой портьерой, и озвучивает отцовскую мелодию. Мы в передней или на втором этаже, где едим с фрейлейн, прислушиваемся.

«Он так прекрасно играет, — говорит один из нас, четверых детей. — Он, что ли, упражняется за своим письменным столом между девятью и двенадцатью часами до обеда?»

Но фрейлейн улыбается. «Он вообще не упражняется, — объясняет она нам несколько насмешливо. — Он, собственно, вовсе не умеет играть. Он лишь немного импровизирует».

Но то, что он, уединившись в затененном салоне, поверял роялю или во что посвящался им, едва ли можно было назвать импровизацией. Это был всегда один и тот же ритм, замедленный и одновременно напористый, всегда то же хроматическое, то же притягательное и заманчивое, то же изнеможение после смертельно упоительного экстаза. То был всегда «Тристан».

Если задача определить суть отцовского мифа тяжела и деликатна, то насколько же непроясненнее и тоньше тайна матери! Ибо она нам ближе, чем отец, который остается сыну чужим. Она — самое доверенное лицо, незаменимая. Она учит нас молиться и чистить зубы; она составляет меню, покупает подарки ко дню рождения, просматривает школьные задания, ходит с нами кататься на санках с гор и на коньках. Материнские волосы мягкие и темные; материнские глаза золотисто-карие; материнские руки одновременно нежны и умелы. Они могут заштопать дыру на твоей рубашке и в случае необходимости даже постричь твои волосы. Они умеют наказывать и гладить, играть и ласкать.

Отец и мать неразделимы и при том совершенно различны — гетерогенное двойное существо. Отец говорит довольно медленно, равномерным и звучным голосом; речь матери быстрая, и ее голос скачет от глубочайшего баса до поразительных высот. Она любит горчайший шоколад, чай пьет без молока и сахара; у него слабость к сладким супам, рисовой и овсяной каше, сплошь к вещам, ею отвергаемым с отвращением. Милейн практична, но беспорядочна; Волшебник далек от жизни и погружен в свои мысли, но аккуратен до педантичности. Для матери ничего не значит, если ее будят в три часа утра, но она сердится, когда теряешь новые перчатки или опаздываешь к зубному врачу; отцу же и в голову не придет заниматься перчатками или лечить наши зубы, но он недоволен, когда мы

чавкаем за едой или грязными башмаками ступаем по красивой новой дорожке на лестнице.

Они такие, какие они есть, — очень достойные любви, очень могущественные, однако не без своих маленьких причуд и слабостей. Для отца, к примеру, много значило, чтобы время от времени его сопровождали на дальних прогулках, что еще тягостнее от того, что в подобных случаях мы должны шествовать перед родителями парами. У матери весьма неприятная манера дергать за мочку уха, если она находит, что заслуживаешь наказания, — это почти так же больно, как от бормашины доктора Чекони.

Зубной врач Чекони (между прочим, супруг немецкой писательницы Рикарды Хух{27}, что в ту пору, однако, нас совсем не впечатляло) занимает в иерархии не такое уж незначительное положение, хотя принадлежит он, естественно, не к центральным мифам, как, скажем, Аффа. Надо ли мне и в самом деле объяснять, кто такая Аффа? Да, пожалуй, стоит, учитывая общую непосвященность, чтобы не сказать — необразованность. Итак, Аффа — перл, правая рука, проворная горничная с розовым улыбчивым лицом, гордым бюстом и ловкими пальцами. Она сервирует стол, надев белый кружевной передничек; при гостях она украшает себя накрахмаленным чепчиком. Чем больше гостей приходит, тем оживленнее кажется Аффа. «Она прирожденная распорядительница праздников», — говорит о ней Волшебник. Когда родители в отъезде, именно Аффа ведет домашнее хозяйство; у нее «ответственный пост». Она принадлежит к семье. Кухарки приходят и уходят (их зовут в большинстве случаев Фанни, хотя они всякий раз другие); служанки увольняются. Но Аффа остается. Она была всегда. Она у нас с незапамятных времен. Почти так же долго, как Мотц.

Как, неужели и Мотца можно не знать? Право, неловко растолковывать взрослому читателю основные факты жизни. Мотц — непреложный факт. У него черная шелковистая шкура с симпатичным белым пятном на груди. Взрослые говорят, что он шотландская овчарка, «породистый зверь», несколько избалованный. Мотц, как Волшебник, Милейн и Аффа, — неотъемлемая составная часть космоса, без которого нельзя себя представить.

В детях странно то, что они, никогда не подвергая сомнению необходимость и справедливость явлений, которые их окружают, при этом, однако, находят все необычайно комичным. Дядя Чекони забавен, потому что говорит с иностранным акцентом и корчит гримасы. Аффа до смерти смешна со своими зелеными блестящими глазами, своей суетливой хлопотливостью и

импозантной фигурой. («У Аффы такая большая, мягкая грудь», — изрек я в свои пять лет. После чего меня спросили, нахожу ли я это красивым или безобразным. «Красивым? Вот уж нет, — возразил я, подумав. — Но смотреть мне приятно».)

Мотц безмерно потешен, когда превращается в беснующегося черта, что случалось почти всегда, стоило рискнуть выйти с ним на улицу. Мягкий и послушный дома, на воле он сразу начинает неистовствовать, возбужденный запахом свободы. Он впадает в настоящую горячку; он брызжет слюной, прыгает, судорожно вертится волчком, выходит из себя, лишается рассудка — от упоения или ярости, кто знает.

Мы — целая сенсация, когда показываемся с Мотцем на людях; впрочем, и без него мы бросаемся в глаза, разумеется не столь резко. Уличные дети имеют обыкновение провожать нас издевательствами. «Длинноволосые обезьяны!» или «Шутовское отродье!» Взрослые, напротив, останавливаются и улыбаются, что по-своему тоже довольно обременительно. Они явно не думают плохого; иногда они даже угощают нас чем-нибудь, яблоком или шоколадкой. Против этого мы бы не возражали, если бы только дарители не открывали рта. К сожалению, они угощают нас не только сладостями, но и болтовней. «Какие же вы хорошенькие маленькие плутишки! — лопочет старая дама, без приглашения опускаясь рядом с нами на скамейку в Английском саду. — Все четверо такие забавные и своеобразные! Кто же ваш папочка?»

Конечно, мы не отвечаем, а только хихикаем и пожимаем плечами. «Что же здесь смешного, малыш?» Баба Яга, несколько уязвленная, обращается со своим вопросом к самому старшему ребенку — а именно к Эрике, которую она по своей подслеповатости принимает за мальчика. Это маленькое недоразумение кажется нам до того потешным, что ничего другого не остается, как, ликуя, убежать прочь.

Буквально задыхаясь от возбуждения, присоединяемся мы к нашей фрейлейн, которая между тем прогуливается, болтая с другой девушкой. Мы обрушиваем на нее волнующие вопросы. Почему эта чужая Баба Яга хочет знать, кто наш отец? И почему она называет его «папочка», когда его зовут Волшебник? И как — о Господи! — она осмелилась находить нас «хорошенькими» и «своеобразными»? Что означает «своеобразный»? Это ругательство или наоборот?

«Скорее, наоборот, — разъясняет нам фрейлейн. — Дама хотела только сказать, что вы выглядите немножко иначе, чем другие дети». Она испытующе смотрит на нас задумчивым взглядом, чтобы затем, больше для себя самой, добавить: «Это, пожалуй, прежде всего из-за прически и вообще из-за

художественного оформления».

Наше «художественное оформление» — это полотняные куртки с красивой отделкой из мюнхенских мастерских. Милейн сама их выбирала: красные куртки для мальчиков, голубые для девочек, как и положено. Что же тут «своеобразного»? И почему над нами насмехаются уличные дети, когда мы появляемся на улице в своих нарядных курточках, две опрятные парочки (Эрика и я, Голо и Моника) в сопровождении гувернантки, под охраной беснующейся овчарки?

До чего глупые чужие! Как же они не понимают, эти наглые мальчишки и взбалмошные рохли, что мы более чем в порядке, не чудаковаты и не «своеобразны»! Допустим, Моника еще маловата и беспомощна; но так ведь и положено младшей сестренке. Что касается Голо, на год старше Моники, то он хоть и не намного крупнее, но значительно серьезнее и солиднее, почти важный. Бесспорно, Голо — образец маленького брата и пример для подражания; братик *par excellence* [8]. Что же тут смешного? Или этим чужим глупцам приходит на ум, чего доброго, находить смешными обоих «больших», Эрику и меня? Это было бы еще милее! Бестолковому сброду следовало бы постыдиться своей вопиющей глупости, вместо того чтобы задирать нос перед нами! Ибо в конце концов мы «настоящие», «действительные», в то время как действительность других остается спорной. Другие — это только «люди», мы же — мы.

Наша жизнь образцово-показательна, *comme il faut,* что как раз и есть просто *жизнь,* которую мы знаем. Жизнь не требует ни оправдания, ни объяснения. Что сохранилось бы от остального мира, если бы не было «нашего» мира? Ничто, вакуум…

К счастью, чужие, с их недомыслием, не могут нам ничем повредить. Мы в них не нуждаемся; что они могли бы предложить нам? Они «обезьяноподобны», «глупы», «фальшивы» и «чванливы». Мы обойдемся без них; в нашей собственной сфере мы находим все, что нам важно. У нас собственные законы и табу, свой жаргон, свои песни, свои необъяснимые, но интенсивные пристрастия и антипатии. Мы удовлетворяем себя сами, мы автономны.

Фанни варит суп, Аффа сервирует стол. Фанни менее важна, чем Аффа, но обе необходимы. Как и третья служанка, домашняя прислуга. Она могла увольняться, если ей угодно: космический порядок обеспечивает последовательница, которая оказывается почти идентичной преемнице. Всегда одинаково неуклюжая деревенщина, из Пассау или Ингольштадта, стелет нам постели. У нее большие, красные, слегка потрескавшиеся руки, водянистые, светлые глаза и низкий, упрямо выпирающий лоб. Ее

важнейшая функция в нашем домашнем обиходе состоит в том, чтобы учить нас, детей, народным песням. Зовут ли служанку Лизабет или Тереза, происходит она из Нижней Баварии или из Франконии, она — певица и учительница пения. У нее мы учимся всем этим прекрасным трогательным балладам о покинутых невестах, неверных матросах, нарушенных клятвах и разбитых сердцах. Мы не совсем понимаем, о чем, собственно, идет речь, но глаза у нас все же увлажняются, когда с торжественными минами мы вторим служанке: «Марихен{28} в саду, рыдая, сидела, / в траве рядом с нею младенец дремал, / ее ж темно-каштановый локон / мягкий ветер вечерний ласкал…» Как сладко и печально звучит жалоба Марихен! Она сетует на то, что любимый совсем не пишет. Неужели он окончательно забыл ее? Да, пожалуй, что так, и, признавшись себе в этом, темно-каштановая тут же делает единственно логичный вывод — не долго думая, незаметно убегает. Туда, в озеро, вместе с внебрачным ребенком! Решение принято — и увитая локонами мамаша прыгает.

Мы находим конец несколько внезапным, прежде всего нам жаль ребенка: при чем здесь бедное маленькое существо, если матрос такой забывчивый? Но эта немного смущающая деталь не может испортить нам радость от красивейшей песни. Мы поем ее хором, на два голоса, с чувством.

«Я действительно не понимаю, почему моя дочь позволяет своим детям петь такой ужасный вздор!» Это голос Оффи: она пришла на чай и вот беседует с гувернанткой. Гувернантка — ведь известно, каковы они, — в восторге, что может согласиться с Оффи. «Как вы правы, фрау тайная советница! — кричит она пронзительно. — Эта прислуга, Луиза, совершенно примитивная личность, милостивой фрау следовало бы вмешаться, ведь меня здесь никто не слушает…»

Милейн в подобных случаях склонна заступаться за нас. Не слишком в открытую, конечно. «Вы не должны прекословить фрейлейн Бетти! — призывает она несколько неопределенно. — Впрочем, может быть, что она как раз немного понервничала. Вероятно, оттого, что вы заставляете ее так сильно сердиться на вас… Пропойте-ка нам все же разок песню, чтобы мы могли составить суждение. Если это скверная песня, то вы не должны больше ее петь».

Марихен имеет потрясающий успех. Милейн и Волшебник чуть не захлебываются от смеха. Наконец отец произносит, что это, по его мнению, необычайно трогательная песня; однако исполнять ее нам следует не каждый раз, отчасти с учетом нервов фрейлейн Бетти, отчасти потому, что баллада будет более действенной, если мы прибережем ее для особых случаев.

Наверное, Рождество было бы подобным случаем, предлагает один из нас, и родители, смеясь, соглашаются.

Мина у фрейлейн Бетти кисловатая, чтобы не сказать — горькая, когда мы сообщаем ей родительское решение.

Фрейлейн немногое может поделать с нами, пока здесь Милейн, защищающая наши естественные права. Но положение стало тревожным, когда матери пришлось из-за кашля и частого повышения температуры провести зиму в Давосе. Она писала нам смешные и длинные письма, что едят в санатории, как скучно ей ежедневно по многу часов лежать на балконе, писала нам, что тоскует без нас и что мы должны быть молодцами. Это были очень красивые письма, но все же они не заменяли присутствия Милейн. Когда ее не было рядом, нам не с кем было молиться вечерами (так как перед фрейлейн мы не хотели произносить наших молитв); не было никого, кто принадлежал бы одновременно к верхушке иерархии и к нам. Аффа, Фанни, прислуга, Мотц и мы четверо были в порядке, но нам не хватало власти и достоинства. Волшебник и Оффи имели, правда, очень много власти, но последняя являлась лишь с краткими инспекционными визитами, тогда как первый, хотя и жил с нами, едва ли принимал участие в нашей обыденной жизни. Мы были отданы на произвол фрейлейн. Она имела почти неограниченные полномочия; ее господство временами принимало характер диктатуры.

Гувернантка — один из главных мифов моего детства. Она чувствительна, высокомерна, изменчива, подчас достойна любви, затем снова ужасающая. Когда она сердится или у нее болит голова, ее лицо застывает в пепельную маску; но она умеет также сиять. Кажется, ее немного побаиваются все, даже родители. Ее укоризненная мина напоминает нам о том, что она жила в доме барона Тухера как принцесса, воспитанники слушались ее. Там фрейлейн была счастлива. Барон (он был слепой, как с преисполненным уважения умилением вспоминает фрейлейн) перебрался со своими образцовыми сынками в Канаду, не обойдя бесценную гувернантку сердечнейшим приглашением ехать с ними. «Отправиться бы мне с Тухерами! — вздыхает она теперь. Мы определенно снова недобрали в подобающей почтительности. — Тогда мне не пришлось бы так много страдать…» Она всплакнула, и у нас тоже глаза увлажнились. Мы осознаем, что само Добро она приносит нам в жертву, отказываясь от Канады и оставаясь у нас в «этом неряшливом богемном домашнем хозяйстве». Никакая другая не выдержала бы у нас. В этом нас снова и снова уверяют все более впечатляюще. «Когда однажды меня здесь не станет, — говорит фрейлейн (не

совсем ясно, имеет ли она в виду свою кончину или только место службы), — вот тогда посмотрите, что будет с вами. Другая здесь и суток не выдержит. Или она позаботится о том, чтобы научить вас дисциплине. Тогда-то уж конец расхлябанности! Тогда вы удивитесь…» На сердце у нас становится жутко. Мы умоляем фрейлейн нас все-таки, ну пожалуйста, не покидать. Она мягка и мудра; ее последовательница была бы, возможно, драконом, истинным воплощением коварства и жестокости…

Они были все одинаковые. В импозантном параде следовали они одна за другой, от легендарной Голубой Анны до того длинноногого ипохондрического создания, которое мы называли «Бетти-Лилия» по причине деликатного цвета ее лица и ее характера. Хроника нашего детства как бы делится на пять-шесть периодов, по меняющимся режимам гувернанток; о «периоде Голубой Анны» или об «эре Бетти-Лилии» можно было бы говорить как о Елизаветинском времени или Викторианской эпохе{29}. Конечно, эти женщины отличались кое в чем друг от друга, но то общее, что они имели, было глубже и существеннее. Все они предавались воспоминаниям об идеальном доме, где они занимали один из руководящих постов, дворце почтенного барона или коммерческого советника, в котором все происходило благовоспитанно и одновременно весело. Все они замечали с той же покровительственной улыбкой, что наши родители «очень интересные люди», при этом они прямо намекали на все же имеющиеся различия между нашим богемным бытом и безукоризненным домашним хозяйством коммерческого советника. «Другие дети» были крепкими, бравыми и правдивыми в отличие от нас, диких и лицемерных слабаков. «Другие дети» понимали шутку и умели сносить взбучку; они чистили зубы минимум три раза в день; ходили в церковь, ели подгоревшую манную кашу так же охотно, как шоколадный торт, и были почтительно-нежно преданы своей фрейлейн.

Мы терпеть не могли других детей. Лишь гораздо позднее, когда мне было лет двенадцать, мы начали заводить друзей. Поначалу нам было совершенно достаточно нас самих.

Эрику и меня послали в частную школу — несколько претенциозное заведение с заскорузло старомодной солидностью, где отпрыски мюнхенского *beau monde* [9] обучались искусству чтения и письма. Школа, на этой подготовительной стадии, не приносила ни удовольствия, ни особых хлопот. Чуточку науки — алфавит, таблица умножения, история о Господе Иисусе — было достаточно легко воспринять. Учительницу, старую деву с гладкой седой макушкой и кисловато-педантичной миной, можно было рассматривать как комическую фигуру. Что касалось

соучеников, то у нас было слишком мало контактов с ними. Они не были посвящены в тайны наших игр; казалось, они говорят на другом, чем мы, языке.

Наши игры были сложнее, чем букварь, более волнующие, чем грубые увеселения, обычно принятые у детей. Это, собственно, не была «игра», речь шла больше о грандиозной, тщательно продуманной фантасмагории, мифической системе внутри мифа детства. Она основывалась на двух разных кругах легенд, которые взаимно проникали и постепенно сливались друг с другом. Первый круг охватывал наш собственный мирном, сад, родителей, гувернантку, — в то время как второй включал в себя царство кукол и собак.

Первая игра восходила к увлекательной книжке, которую фрейлейн Бетти нам однажды читала вслух. Книга — она называлась «Капитан Спикер и его юнга» — произвела на нас столь глубокое и устойчивое впечатление, что мы и поныне еще знаем наизусть целые куски из нее. Не столько приключенческий сюжет нас зачаровывал, сколько среда, в которой разворачивалась история, — романтическая и вместе с тем светски-роскошная атмосфера большого океанского парохода. Судно, в которое обратились наш дом и сад, было воссоздано точно по модели этого самого капитана Спикера. Аффа и другие девушки стали в нашей фантазии ловкими матросами: Милейн была своего рода элегантной хозяйкой дома или главной надзирательницей, Волшебнику же выпадала, естественно, роль капитана, который большей частью скрывался в святилище «служебной кабины». Пассажиров было всего четверо — две своенравные дамы: принцесса Эрика и мадемуазель Моника, и два господина высокого ранга и несметного богатства, именуемые Гитейнрюк и Левенцан. Голо и мне доставляло большое удовольствие воплощать этих двух великолепных светских бездельников и приноравливать собственное поведение к помпезно-медлительному стилю. Они не были легкомысленными шалопаями, эти наши путешествующие миллионеры, более того, речь шла о двух господах солидного возраста, которым приходилось нести тяжкое бремя ответственности и отцовских забот. Короткие, но содержательные радиограммы информировали их о тревожных колебаниях на бирже; запыхавшиеся тайные гонцы доставляли ужасающие бюллетени касательно поведения далеких сыновей. Эти молодые люди — типичные представители бесшабашно-сибаритской jeunesse dorée [10] — проматывали миллионы на грандиозные закупки карамелек и шоколадных тортов, по поводу чего мученикам-отцам приходилось, расхаживая рядышком по прогулочной

палубе, озабоченно покачивать головами.

Моим сыном Бобом был прелестный целлулоидный пупсик, премилый и глуповатый, с распахнутыми смеющимися голубыми глазами и плутовскими ямочками на розовых щеках. Я горячо любил его и не мог ни за что на свете проспать ночь без него. Его функции в моей жизни были многообразного и комплексного характера. Во-первых, он был моей любимейшей игрушкой и самым ценным имуществом; во-вторых, он относился к главным фигурам не только «Бо-Па» (Большого Парохода), но также и к другому кругу легенд, который мы годами развивали и домысливали. В этом втором мифе целлулоидный Адонис появлялся в качестве сына и спасителя седого короля Мотца, чья жизнь и богатства подвергались угрозе со стороны вражеской коалиции — свирепого войска амазонок под предводительством нашей фрейлейн и злых уличных мальчишек, докучавших нам на прогулке.

К сожалению, принц Боб не был столь же добродетелен, сколь мужествен. После выигранной битвы он охотно предавался всевозможным пышным развлечениям, из которых самым дорогим и запретным было чрезмерное поглощение кремовых пирожных. Короче, сиятельный герой и наследник был в то же время настоящим ребенком, доставляющим много забот, и безалаберным оболтусом, причиняющим кучу скандальных расходов. И как раз в силу этих свойств — своей роли разгульного принца Чарминга — мой целлулоидный Боб нашел доступ в элегантное общество пассажирского парохода. Его любезная, хотя и развращенная персона соединяла оба региона: великосветский пароход и воинственно-иллюзорную героическую страну.

Кровавый раздор между благородными куклами и свирепыми амазонками казался таким же нескончаемым, как и бесцельное водное путешествие нашего дома. Интриги и авантюры обоих фантастических миров все более и более смешивались. Голо и я, два исстрадавшихся магната, должны были заботиться не только о внезапных подъемах и падениях ценных бумаг, но вдобавок еще и о стратегическом положении на Мотцевом фронте.

«Вы это читали, ваше превосходительство?» — спрашивал я Голо, который отвечал: «Нет, ваша светлость. Что новенького?»

«Десять тысяч младенцев пали, — сообщал я мрачно. — Больше ничего. И взяты в плен два миллиона сладких собачек. Возможно, все потеряно, и королю Мотцу придется отречься от престола — если только принц Боб не откажется от своего вишневого пирожного и не выкинет один из своих чудных номеров».

«Слишком поздно! Слишком поздно! — сокрушался мой

достойный спутник. — Пришел конец доброму королю. Там прямо по курсу к нам приближается, злорадно хихикая, страшная женщина, амазонская карга!»

И он указывал на фрейлейн Бетти, которая спешила сюда от дома.

Игры и жизнь составляют единство, магически вплетаясь друг в друга. Игры принимают сочную окраску действительности, действительность переливается волшебством фантазии. Время детства кажется мне теперь, в воспоминании, блестящей вереницей веселых церемоний и церемониальных радостей.

Всегда чего-то ждешь с нетерпением. До обеда предвкушаешь обед; черпая ложкой суп, уже мечтаешь о пудинге. С сентября по декабрь ждут Рождества — чудесной минуты в темной комнате, где мы поем праздничные песни, прежде чем откроется двустворчатая дверь и предстанет взору сияющий вид волшебного дерева; Рождество, когда каждый объедается жареным гусем и марципанами; прекрасный праздник колыбели младенца Христа, сияющий апогей года ребенка. Следующие недели еще озарены рождественскими воспоминаниями, которые постепенно переходят в ожидание Пасхи. Правда, ритуал крашеных яиц не может тягаться с огромной радостью украшенной елки; но все же Пасха на свой лад большое дело — светлое начало весны, обещание лета. Ибо теперь ведь уже близки теплые месяцы — цветущий июнь (на который падает день рождения Волшебника), прогретый солнцем июль (который в качестве кульминации несет с собой день рождения Милейн), несколько уже перезрелый, ленивый, сытый август. Это те месяцы, которые мы проводим в Тельце — живописном маленьком городе в долине Изара, у подножия Альп.

У нас в Тельце{30} дом, Тельцхаус, и большой сад, где можно играть в игры, для которых где-нибудь не хватило бы места. Каникулы длинные, поначалу они кажутся почти бесконечными, но в конце концов все же кончаются. Лето, иссякшее и немного надоевшее самому себе; лежит на лугах зелень, которая давно потеряла свою свежесть. Игры в большом саду, когда хризантемы распускают свое зрелое великолепие на цветочных клумбах, наскучивают. Радуешься, что зима стоит у дверей, со снежными баталиями и катанием на санях и регулярными воскресными обедами в доме дедушки и бабушки.

Офеевский драгоценный ренессансный дворец никогда не терял своего волнующего, таинственного очарования и был также самым заветным местом, этот замок детства, большой дом воспоминания. Он существовал всегда, никогда не исчезал.

Скромная квартира в Швабинге, в которой я родился, давно поблекла; мы покинули ее, когда я был еще младенцем. Второй наш дом располагался в пригороде, в Богенхаузене, близ Изара. Это, должно быть, просторные и приятные апартаменты, но они никогда не удостаивались звания мифических; в моем воспоминании квартира на Мауеркирхерштрассе представляется лишь комфортабельным залом ожидания, где мы прожили несколько лет, пока возводился новый дом. Что касается добротной виллы на берегу реки, то ее образ владеет большей частью моей юности. И все же она остается для меня «новым домом», так как мне было уже восемь лет, когда мы поселились там в 1914 году.

Четырьмя годами позднее, в 1918 году, мы покинули деревенский дом в Бад-Тельце — любимую идиллию столь многих летних дней. Тельц — сердце, квинтэссенция мифа детства, но его реальность стала какой-то сомнительной, расплывчатой. Я не вступал в этот дом с того дня, как мы покинули его. Конечно, я еще помню расположение комнат, форму и цвет мебели, широкий обзор от долины и до гор с террасы. Но все подробности смазаны и трансформированы, перенасыщенные ностальгией по мифически-счастливому детству.

Единственным местом, легендарное достоинство которого могло бы соперничать с Тельцем, была блестящая резиденция дедушки Офея на Арсисштрассе, в центре города Мюнхена. Но «Арсисси», как назывался у нас большой дом, был еще незыблем, еще современен, в то время как Тельцхаус уже давно подвергся той удивительной метаморфозе, которая преобразовала обои, окна, печи и террасы в призрачно-тонкую субстанцию мифа. Когда я пытаюсь представить себе первую столовую, где мне было дозволено сидеть прямо за столом в обществе взрослых, то мне приходит на ум большая зала прингсхеймовского дома, богато украшенная гобеленами, красивой серебряной утварью и длинными рядами переливающихся майолик Офея. На протяжении всего нашего детства эта коллекция означала для нас высшее проявление драгоценной хрупкости. Так как нам строго внушили, что каждая из этих тарелок, ваз и чашек стоит состояние, ребенок, желавший прикоснуться к такой чудо-тарелке или тем более разбить ее, оказывался повинным в непростительном преступлении, поистине смертном грехе. Это было бы еще хуже, чем убийство или «выдирание вихров». Значило это многое, ибо нам строжайше запрещено было при потасовках драть партнера за вихры (хочу сказать — таскать за волосы) — неблаговидная тактика, которая, по мнению Голубой

Анны, почти неминуемо вызывала раковое заболевание кожи головы. Офеевы сокровища, стало быть, еще священнее, чем кудри и скальпы нашего ближнего. Отвратительной, но все же и превеселой была мысль, что пусть вроде бы по воле злого колдуна можно было бы разрушить все великолепие Офеева дома — майолики в столовой и в большом вестибюле, нежную бархатную обивку в Оффиевом «хорошем салоне» (как она с предостерегающим акцентом называла свой изысканный будуар), изящные бронзовые статуэтки в библиотеке, деликатные атласные подушечки, которые покрывали скамьи в музыкальном зале.

Что это была бы за дьявольская шутка — потоптаться по толстому персидскому ковру погаными сапогами, сорвать со стен картины Ленбаха и Ганса Тома{31} и привнести хаос и анархию даже на второй этаж, где располагались покои дедушки и бабушки! Оффи завизжала бы серебристо-пронзительно и схватилась бы за голову. А Офей? Здесь наша кровожадная фантазия отказывалась идти дальше. Гнев холерического маленького господина мог повлечь за собой акт мести поистине ветхозаветной грозности… Лучше уж и не рисовать это себе слишком точно. Учитывая столь опасную раздражительность, представлялось благоразумным преодолевать вандальские импульсы и оставаться цивилизованными.

Они были очаровательными людьми, наши дедушка и бабушка, до тех пор, пока оставляли в покое их ценности и вообще вели себя при них благовоспитанно. Оффи была изящна и величественна, Офея переполняли затейливые экспромты и шуточки, из которых многие были «не для детей». Мы и без того их не понимали, однако охотно прислушивались к его скрипучему голосу. Голос его каркал, как никакой другой, замечательный свод его черепа являл пример облыселости. Таков был он, лысый маленький мужчина с живыми глазами и возбудимым темпераментом. Таков был наш дедушка.

Другой дедушка был немыслим — Офей в своей живописной и динамичной личности объединял все характерные черты и достоинства рода дедушек. У Оффи же не было соперницы в лице Омамы{32} — второй, а также несколько второразрядной представительницы бабушкиного мифа. Ибо в противоположность блистательной самоуверенности и элегантности красивой Милейниной мамы старая сенаторша Манн производила впечатление бесцветности и скромности.

Бледная пепельно-серая окраска была присуща ее голосу, цвету лица, ее платьям, ее скромной квартире и даже ее робкой речи. Она казалась всегда мучимой суеверными предчувствиями

и ипохондрическими заботами. Когда мы пили чай в ее заставленной квартире, что случалось три-четыре раза в год, она подавала нам горы запыленного печенья и, словно в придачу, обязательно большие дозы питьевой соды. При этом она развлекала нас жуткими историями о мнимо безобидных болезнях, которые могли вдруг оказаться неизлечимыми; о «холодных молниях», которые появляются в форме прозрачных шаров — они довольно привлекательны на первый взгляд, когда парят вниз с крыши сквозь дом, с этажа на этаж, пока не достигнут подвала, где и взрываются, опустошая все; или о детях, которые имели привычку корчить страшные рожи и только собирались разучить новую, особенно отвратительную гримасу, как пробили часы — и тут их черты навсегда остались искаженными.

Мы умели ценить истории, как немного белесые лакомства и целебную соду. На свой более скромный лад, так мы воспринимали, Омама была почти такой же превосходной родоначальницей, как Оффи.

Обе бабушки — столь бесконечно отличные друг от друга — подверглись жестоким ударам судьбы, странно похожим и происшедшим, между прочим, почти одновременно, хотя и без причинной взаимосвязи. Несмотря на это, в моей памяти обе трагедии всегда останутся самым тесным образом связанными друг с другом — двойное испытание, которое придает нашей, скорее, веселой семейной хронике нюанс мрачно-ужасного.

Личности обеих жертв совершенно поблекли в моем воспоминании. Я даже не смог бы с определенностью сказать, видел ли когда-нибудь собственными глазами старшего брата Милейн, дядю Эрика, до того, как он отбыл на судне в далекую страну Аргентину, где ему суждено было найти смерть, — эту экзотическую, дикую смерть в прерии, в пустыне. Едва ли знал я и тетю Карлу, младшую дочь Омамы. О ней нам рассказывали, что внезапно ее поразил сердечный удар. А про дядю Эрика говорили, что он «упал с лошади». Это вполне соответствовало фотографии, которая стояла на письменном столе Милейн и изображала дядю в костюме для верховой езды на белой лошади. Он выглядел энергичным и несколько недовольным — настоящее лицо всадника, тогда как бедная тетя Карла всегда улыбалась. Ее портрет украшал отцовский кабинет. Она склоняла улыбающееся лицо над букетом цветов, аромат которого должен был быть обворожительным. Прекрасный лик тети с тяжелыми, полузакрытыми веками и приоткрытыми губами выглядел так, словно она готова упасть в обморок от блаженства.

Драма в Аргентине случилась до зловещей сцены, которую

Омаме пришлось пережить в собственном доме, могло даже быть, что смерть Эрика произошла несколькими месяцами или годом раньше Карлиного самоубийства{33}. Но хронологические детали второстепенны; в моей памяти обе катастрофы сливаются. Я слышу крик Оффи: «Мой Эрик! Мой сын! Мой всадник! Убит — лошадью! Истек кровью в далекой стране Аргентине!» — извержение, при котором я, конечно, в действительности не присутствовал, но которое я столь часто и столь интенсивно представлял себе, что оно в конце концов стало для меня реальностью. И в то время как театральное Оффино причитание заполняло дом на Арсисштрассе, из унылой съемной квартиры прямо за углом раздавалось стенание Омамы. «Карла! О Карла!» — вздыхает Омама. «Эрик! О Эрик!» — рвется крик Оффи.

Наконец обе скорбящие матери покидают свои жилища, гонимые своим горем и понятным желанием поделиться с родственной соседкой ужасным событием. Овеваемые черными вуалями, в черных перчатках, с черным зонтом и взмахивая телеграммой, обрамленной черной рамкой, они спешат, гонимые горем, по улице, каждая несется к обиталищу другой. Они встречаются как раз на полпути между своими домами — да, они сталкиваются друг с другом, чуть ли не сбивают с ног друг друга. Обе слепые от горя и природной близорукости.

«О Юлия, дорогая! — восклицает Оффи. — Какое утешение видеть тебя! Ты не можешь себе представить, что сейчас только меня постигло!»

«„*Тебя*?“ — спрашивает запыхавшаяся Омама не без колкости. — О чем ты говоришь, Гедвиг, дорогая? В конце концов, Карла была *моим* ребенком!»

Недоразумение продолжается какое-то время и производит эффект чудовищного комизма. Наконец они понимают друг друга и разражаются новыми, удвоенными жалобами. Две исполненные горя матроны, величественная Оффи и смиренная Омама, обнимаются, соединенные болью и утратой.

«Моя несчастная сестра!» — шепчут они на ухо друг другу. Слезы и траурные вуали их, застывших в объятии отчаянной нежности, сливаются. Незаметно, целиком углубившись в свое горе, они поднялись на один из мраморных пьедесталов, коих в городе искусств Мюнхене так много. Рыцарски охраняемые каменным героем из дома Виттельсбах, стоят обе, в свою очередь окаменев посреди площади Каролиненплатц, — некая двуглавая Ниоба{34}, окутанная черным крепом, двойной монумент отчаяния.

Верил ли я когда-нибудь историям, которые нам рассказывали о внезапной смерти наших родственников? Это

щекотливый вопрос, ведущий нас в глубь лабиринта детской психики, той психики, в которой легковерность и скепсис уживаются так удивительно близко. Нет, пожалуй, мне не приходило в голову подвергать сомнению «обработку для молодежи», в которой нам преподносилась семейная драма, что, однако, никоим образом не означает, что я действительно верил в эту щадящую версию. Вера, предполагающая положительный импульс, есть действие, нечто совершаемое осознанно и преднамеренно; «неподвергание сомнению» есть отрицательное проявление, выражение пассивной позиции, скорее отказ, чем действие. Возможно, лишь из инертности или из вежливости ничего не предпринимают, чтобы докопаться до истины, или, быть может, чувствуя, что *было бы нехорошо знать все.*

Дети до определенного возраста вежливы и осмотрительны. Их инстинктивное любопытство сдерживается столь же инстинктивным предчувствием, что правда может мешать, а при определенных обстоятельствах даже быть пагубной. Кроме того, было бы неловко поймать взрослых на лжи. Лучше уж и дальше «верить» в младенца Христа, который в рождественский вечер усердно раздает подарки, в белого аиста, который приносит малышей, и в дикую лошадь, с хребта которой свалился, насмерть разбившись, бедный дядя Эрик.

Между тем мы таки различали, пусть даже неосознанно, не вызывающие сомнений истории, на которых охотно задерживались и которые пересказывались снова и снова, и те зловеще-смутные, страшно запутанные предания, которые лучше не упоминать слишком часто. Большой рассказ Омамы о парящей «холодной молнии», проникающей сквозь потолок, был фантастичным, но все же убедительным: ослепительный шар (мы представляли его себе как особо удавшийся мыльный пузырь) и взрыв в подвале давали всегда приятно жуткую тему для разговоров. Но когда милая старушка говорила о сердечном ударе, якобы поразившем нашу тетю Карлу, тогда ее слова звучали как-то глухо и недосказанно, и у нас, детей, становилось на душе тоскливо.

«Как же это случилось? — пожалуй, спрашивали мы, не ожидая, однако, удовлетворительного ответа. — Она что, простудилась и потом вышла без пальто на холодный вечерний воздух?»

Доброе лицо Омамы как-то странно цепенело и теряло выражение. «Нет, с простудой это ничего общего не имело, — говорила она тихо, причем ее страдальческий взгляд проходил, казалось, мимо нас, сквозь нас в пустоту. — То было ее сердце. Только ее сердце разорвалось. Больше ничего. Ну так что, дети,

как насчет еще одного куска этого вкусного песочного торта?»

Реакция Оффи, когда мы случайно касались в разговоре той роковой лошади в Аргентине, была еще более пугающей. Она отворачивала свое красивое белое лицо и некоторое время сидела неподвижно, словно окаменев. После долгой ужасной тишины она бормотала, что в этих далеких землях опасны не только лошади и никто не должен заставлять своего сына селиться в подобной глуши.

Несомненно, как-то нечисто и мрачно обстояло с внезапным сердечным ударом и с норовистым конем. Здесь, похоже, речь шла о тайнах, которые не следовало затрагивать. Мы сознавали это и уважали табу.

Не открыть истину, которую изначально не ищешь. Поиск истины сам по себе уже открытие. Находят всегда, если ищут достаточно добросовестно; на всякий безотлагательно поставленный вопрос приходит в конце концов ответ. Часто к нашей горести.

Усердный и великодушный младенец Христос смоется потоком рождественских реклам; на место клюва аиста, несущего по воздуху новорожденных, выступит новый символ. И однажды — только терпение, это продлится недолго! — ты узнаешь и все печальные подробности самоубийства тети Карлы: как она проглотила яд в доме своей матери, а затем полоскала горло тепловатой водой, чтобы смягчить адскую боль в сожженной гортани. Ее мать, наша достойная сожаления Омама, трясла между тем дверь снаружи и умоляла актрису-дочь открыть. Но та, обезумев от жестокой гордыни, физической муки и отчаяния, продолжала громко полоскать горло и умирать. Как одинока была она, как ужасно покинута в своей запертой смертной камере! Одинокая, будто зверь в клетке, нет, изолированная, как трагедийная актриса на освещенной сцене, шагала взад и вперед, меряя узкое пространство, шатаясь, прижав плоскую руку к обожженному рту, обратив вдохновенные, безутешные, жаждущие смерти глаза в пустоту, играла она свою последнюю сцену. Никогда не была она столь хороша. Ни в одном из провинциальных городов, где ее допускали выступать, ей ни разу не была доверена такая прекрасная роль. Но здесь не было никого, чтобы по достоинству наградить аплодисментами этот блестящий номер, эту грандиозную пантомиму агонии. Никто не присутствовал на впечатляющем прощальном представлении. Лишь мать, чьи жалобные стенания уже не были слышны умирающей.

И в печальные обстоятельства смерти дяди Эрика мы также должны были наконец быть посвящены. Он был надменный и

своенравный, наш дядя Эрик, бесцеремонный и импульсивный, кавалер и мот. Когда его долги достигли ошеломляющего размера в двести тысяч марок, на Арсисштрассе разразился громкий скандал: у Офея лопнуло терпение; задыхаясь от ярости, он купил беспутному сыну ферму в Аргентине. Туда и должен был отправиться строптивый кавалер. Это была ссылка. Детали трагедии, случившейся в столь ужасной дали, вроде бы в другом мире, более невозможно было выяснить… Он был убит или принужден к самоубийству.

Смиряй свое любопытство, пока только можешь! Не пытайся докапываться до тайн взрослых! Из стыда и милосердия они скрывают от тебя свои темные, грязные, запутанные истории… Наслаждайся безоблачными небесами неведения! Не слушай змея, который нашептывает тебе, как делаются дети и что случилось с блудным дядей на ферме!

Знать — бесплодно: это не приносит счастья. Но радости твои драгоценнее всего, они невозместимы: рай невинности.

Рай имеет горьковато-сладкий запах ели, малины и трав, смешанный с характерным ароматом мха, прогретого солнцем, большим могучим солнцем летнего дня в Тельце. Поляна, где мы проводим утро, расположена посреди красивого большого леса, который начинается сразу за нашим домом. Есть ли где-нибудь на свете еще леса, сравнимые с этим? Конечно, нет; ибо *наш* лес исключительно своеобразен, это лес *par excellence,* мифический символ леса, с храмовой перспективой своих стройных, высоких, гладких, как у колонн, стволов, со своей торжественной светотенью, своими запахами и звуками, с милыми грибницами и ягодниками, со своими белками, скалами, робкими цветами и бормочущими родниками.

И здесь мы, четверо детей с собакой и с мамой, на которой летнее платье, декоративное одеяние из тяжелого грубого льна с широкими буфами и богатой вышивкой, — мы называем его «болгарским», потому что один из дядей когда-то привез его с Балкан. Мама без головного убора; ее роскошные темные волосы блестят на солнце. Она сидит на пне, рядом с ней лежит Мотц, из пасти которого, исходящей слюной, свисает элегантной формы острый розовый язык. Он гонялся в лесу за мышами и птицами, что должно было доставить ему чрезвычайное наслаждение. Он еще тяжело дышит, но прекрасные янтарные собачьи глаза полны мира и благодарности. Мотц чуть посмеивается. Да, мы совершенно явственно можем видеть, что он тихо смеется про себя, в то время как Милейн ласкает с рассеянной нежностью его шелковистую шею.

«Фу, дети! Как вы ужасно невоспитанны! — Это ее шутливо бранящийся голос. — Ну-ка перестаньте есть малину! Мы собираем ее для определенной цели! Вы же это знаете! Аффа известила об идее самолично испечь к ужину малиновый пирог. Она рассвирепеет, если вы принесете на кухню недостаточно ягод. Вот увидите: она *лопнет* от злости!»

Она говорит так быстро и такими забавными словами, что мы смеемся, вместо того чтобы испугаться. Мысль, что Аффа могла бы лопнуть от негодования, кажется нам особенно неотразимо смешной. Даже угроза Милейн пожаловаться на нас Волшебнику производит мало впечатления. «Он, по всей вероятности, вас прикончит», — обещает она нам и сама смеется. Она так же хорошо, как и мы, или лучше знает, что Волшебник едва ли расстроится из-за недостающей малины, даже если Милейн придет в голову пожаловаться ему.

«Ну как, вдоволь отведали ягодок? — произнес бы он с рассеянной улыбкой, чтобы добавить затем с высоко поднятыми бровями: — Я надеюсь только, что среди них не было ядовитых!»

Он часто заводил с нами разговор, предостерегая от ядовитых ягод и грибов, в особенности же от опасных «бешеных вишен». «У лешего вишни без косточки», — предупреждал он нас, подняв указательный палец, и было в высшей степени трогательно и странно наблюдать, насколько выражение его лица в подобные моменты становилось похожим на лицо его матери, нашей Омамы. Озабоченное лицо отца, казалось, удлиняется, словно отражение в кривом зеркале, в то время как глаза под высоко поднятыми бровями казались меньше и темнее, чем мы их знали обычно. Мы так никогда и не выяснили до конца, нарочно ли при подобного рода беседах он имитирует свою мать, чтобы рассмешить нас, или он вообще не осознавал этого сходства и совсем ненамеренно принимал Омамины черты, повествуя нам совершенно в духе Омамы о пятнистом мухоморе и вредной цикуте.

Он появлялся ровно в двенадцать на краю лесной просеки, чтобы забрать Милейн и нас купаться. Болотистый пруд, в котором мы учились плавать, так называемая «Скобка», находился примерно в четверти часа ходьбы от нашего дома и нашего леса. Довольно утомительным было путешествие в полуденный час по незатененному извилистому «луговому пути», ведущему к месту купания. Но что за тропа! Что за ландшафт! Нет другой, которая казалась бы мне столь же достойной любви.

Да, это лето. Мы семеро — двое родителей, четверо детей и танцующий, вихрем носящийся Мотц — по тропе через луг медленно продвигаемся к Скобке. Земля, по которой мы ступаем,

мягкая и упругая. Это болотистая почва: отсюда буйство растительности, глубокая зелень сочно разросшейся травы, огненное золото лютиков, богатый пурпур мака.

Это — летнее небо. В его синеве плывут белые пушистые облака, которые скучиваются между альпийскими вершинами в пышные образования. Воздух пахнет летом, у него вкус лета, звук лета. Кузнечики стрекочут свою монотонно-гипнотизирующую летнюю песню. Справа от нас раскинулся летний городок Тельц со своими покрашенными домами, своей неровной мостовой, своими пивными, с садом и изображениями мадонн. Вокруг нас простирается летний луг; перед нами возвышаются горы, мощно-громоздкие, вместе с тем нежные, сияющие в мареве летнего полдня.

Смотрите, а это наш летний пруд, маленький круглый пруд с высоким камышом на берегу. Белые кувшинки, чуть не с тарелку, плавают по его неподвижной темной поверхности.

Болотная вода, она золотисто-черная в моем воспоминании, дышит терпко-ароматным, при этом чуть гниловатым запахом. Вода Скобки весьма странной субстанции, она очень прозрачная, несмотря на свою темную окраску, почти масляная и такая тяжелая, что едва ощущаешь собственный вес, доверяясь ее золотистой глубине. Тем не менее в нашем пруду умудрился-таки утонуть подручный пекаря из соседней деревни. Мы видели его тело в гробу, бережно установленном на возвышении между цветами и свечами.

Нередко по вечерам мы предпринимаем прогулки к кладбищу, особенно с того момента, как наша прежняя кухарка, толстая Мария, вышла замуж за господина Шмидля из кладбищенского садоводства. Надписи на надгробьях казались нам комичными. Какие курьезные имена носили мертвые! Они звались «почтенный юноша Ксавер Хинтерхубер» и «благочестивая девица Анастасия Бирдоттер». Близость тления нас не пугала. Мы читали, что «почтенный юноша» и «благочестивая дева» здесь «покоятся в мире», но мы не могли себе этого представить. Смерть не имела для нас реальности; она была одной из тех тайн больших людей, в которую лучше не соваться, «сага» взрослых.

Почему Аффа повела нас случайно — как она позднее уверяла — в ту уединенную часовню, где под горой белых цветов лежал для обозрения утонувший пекарь? Сначала мы не сообразили, что тот, напротив которого мы здесь стояли, мертвец. Мы приняли его за мраморную или восковую фигуру, обрядовую принадлежность, украшающую гроб или часовню. Но Аффа нас срочно просветила. Ее голос шипел от возбуждения. Разве мы не

узнавали шипение нечистого змия, когда она, нашептывая нам, выдавала тайну «восковой фигуры»: что это был подручный пекаря из ближней деревни и что после изрядной попойки он вздумал поплавать в Скобке, где и настигла его судьба. «Утоп он, зазря утоп! — шелестела Аффа. — А знаете, почему у него рот перевязан черной лентой? Потому что его губы совершенно посинели и распухли! На них даже смотреть нельзя, на его губы, а то дурно станет…» Но то у него, на что можно глядеть, было не противным, а красивым, исполненным чуждой, хрупкой, тревожащей красоты. Какие чувствительные, благородные руки были у него! Руки принца — откуда это у подручного пекаря? А его лик цвета слоновой кости! До чего благородным он казался, да, каким величественным, со своим гладким лбом, с навеки сомкнутыми веками!

Чем же он так замечателен, молчаливо лежащий там, между цветами и свечами? Может, он совершил героический поступок, утонув в пруду? Или сам факт, что он мертв, сделал его столь похожим на принца и столь ценным? Но ведь взрослые утверждали, что мы все должны умереть…

Тогда как смерть могла быть особым отличием? Почему вид его был так страшен и так прекрасен?

Мы стояли неподвижно, погрузившись в картину этого непостижимого величия, пока голос Аффы нас не призвал: «Время идти домой, дети! Теперь вы ведь видели его…»

Да, теперь мы видели его, мертвеца, торжественно выставленного для обозрения в часовне. Мы его не забудем. Вечно юный, в бледной облагороженности, приобщился подручный пекаря к мифам детства.

ВТОРАЯ ГЛАВА
ВОЙНА
1914–1919

На небе не было никакого кровавого меча. Но наш отец возвестил явление меча, и это было странным и довольно угрожающим.

Наше лето в Тельце было особенно приятным в тот год. Три веселые кузины, Ева-Мария, Роза-Мария и Ильза-Мария, проживали в соседнем доме со своей нежной мамой, нашей тетей Лулой, и своим живым маленьким отцом, нашим дядей Йофом, баварским банкиром. Три девочки были хорошими товарищами — очень дельными и сговорчивыми. Мы всемером — четверо детей Маннов и три девочки Лер — составляли предприимчивое маленькое общество, неустанно занятое изобретением все новых игр и забав.

Кульминацией сезона должен был стать маскарад, назначенный на середину августа. Мы задумали поразить взрослых театральным представлением высокого стиля — настоящим спектаклем-праздником, полным напряжения и пестрого волшебства. Ева-Мария, самая старшая, руководила репетициями, которые происходили в нашем саду под каштанами. Все шло гладко, мы уже разучили свои роли, Аффа занималась изготовлением костюмов; тут-то и случился досадный маленький инцидент.

Сперва мы подумали, что речь идет лишь о не имеющем значения настроении гувернантки. Это было так похоже на нее — прервать наш творческий труд, как раз когда Ева-Мария вознамерилась произнести свой самый красивый монолог. Лицо фрейлейн показалось нам бледным и искаженным от злобы, когда она с загадочной вежливостью дала нам понять, что вряд ли кто-нибудь заинтересуется нашим спектаклем именно теперь. «Оставьте это лучше», — сказала она язвительно.

Что это должно означать, спросили мы, дрожа от возбуждения. «Вы действительно хотите заставить нас отказаться от нашей большой затеи только оттого, что у вас снова плохое настроение?»

Она, исполненная иронического превосходства, пожала плечами. «Мое настроение тут ни при чем, — сухо констатировала она. И, со злорадным триумфом: — Германскому рейху и нашему австрийскому союзнику только что объявили

войну»{35}. После впечатляющей паузы она добавила: «Кайзер лично взял на себя верховное командование армией и флотом», как будто эта стратегическая подробность окончательно доказывала абсурдность нашего театрального плана. «Но вы-то еще слишком молоды, чтобы осознать величие подобных исторических событий». С этим она повернулась и ушла.

В самом деле, мы были еще слишком молоды. Мы сидели в траве и дивились. Ни один из нас не имел ни малейшего представления, что означало сообщение фрейлейн. Мог ли кайзер, в своей новой должности верховного главнокомандующего, просто запретить наше представление? Очевидно, это была проблема величайшей важности. Мы долго обсуждали это, пока наконец не пришли к единому мнению, что это как раз тот самый затруднительный случай, когда стоит посоветоваться с родителями. Дело было к вечеру — час, когда родители обычно после чая еще немного сидели на террасе. Там мы их и нашли, но стол не был накрыт. Милейн, как-то углубившись в себя, сидела в одном из шезлонгов с огромной газетой, развернутой перед ней наподобие географической карты, которую она, сдвинув брови, изучала, отец стоял на другом конце веранды, довольно далеко от Милейн, торжественно погруженный в созерцание гор и неба. Закат солнца был необычайно великолепен, почти пугающе величественный, пылающий горизонт, щедро окрашенный в пурпурные, голубые и серебряные тона. Прихотливые кривые черных вершин с ледяной четкостью выделялись на этом лихорадочно оживленном фоне.

Тогда-то, не поворачиваясь к Милейн и не замечая нашего присутствия, отец и произнес пониженным серьезным голосом: «Ну вот, теперь скоро явится кровавый меч на небе».

После этого у нас уже не было мужества задавать наши вопросы.

Война казалась более волнующей, чем всякая другая игра, в которую до сих пор нам доводилось играть. Забавно было то, что взрослые принимали участие в этом новом развлечении с лихорадочным энтузиазмом. Каждый казался польщенным мощью коалиции, объединившейся против нашего отечества. Очевидно, главной целью этой игры было сделаться как можно более ненавистным для других народов. *«Много врагов — много чести!»* Боевой клич звучал уверенно и победоносно. Тельцские лавочники и крестьяне потешались над многочисленными объявлениями войны. Теперь еще и Румыния! Вот это счастье! Все хотели воевать с Германией! Да только у нашего кайзера достанет удали справиться со всей этой трусливой бандой.

Госпожа Хольцмайер из лавки колониальных товаров

презрительно высказывалась о декадентской Франции и коварном Альбионе; госпожа Пекль из москательного магазина предрекала вскоре увидеть побитым русского медведя. Что касается аптекаря за углом, то у него имелась сенсационная новость от сына, служившего фельдфебелем в уланах. Согласно утверждению этого посвященного молодого человека, Париж был полностью заминирован и мог в любую минуту взлететь в воздух — стоило лишь нашему кайзеру подать решающий сигнал.

Маленький город кишел слухами и пророчествами{36}. Мрачные истории о вражеских агентах рьяно обсуждались на рыночной площади. Телеграфист изъяснялся тревожными намеками, касающимися шифрованных депеш, которые шли через его радиостанцию и ясно уведомляли, что питьевая вода в Тельце и прилегающих районах отравлена. Пожилую даму, квартировавшую уже несколько недель в гостинице «Золотой олень», чернь чуть не линчевала, потому что та говорила с иностранным акцентом и вообще производила подозрительное впечатление. Поезда были переполнены, отели пустовали. Отдыхающие торопились на вокзал, как если бы Тельцу и соседнему курорту Бад-Кранкенхейль было предназначено в одну ночь стать театром военных действий.

И наши родственники — как Леры, так и Манны — тоже спешили в Мюнхен, чтобы попрощаться с различными кузенами и братьями. Милейн пришлось утешать Оффи, которая находилась в растерянности из-за дяди Петера. Тот случайно оказался в качестве гостя научного конгресса в Австралии, что, по-видимому, означало большую неприятность, так как и Австралия злонамеренно объявила нам войну. Дядя Петер был физиком и, после смерти дяди Эрика, единственным старшим братом Милейн. Одного дядю мы уже утратили в далекой Аргентине; должен ли был теперь и второй сгинуть в столь же отдаленной Австралии? Мысль эта вызывала протест; но дело так и не дошло до того, чтобы позаботиться о дяде Петере по-настоящему, как он того, должно быть, заслуживал. Было слишком много волнений — каждый день что-нибудь новое.

Фрейлейн сказала, что в подобные великие, удивительные дни никто не смеет думать о самом себе: «Вся нация должна принести жертву!» Что касалось ее лично, то она засчитывала в свою пользу кузена, который служил капитаном в военно-морском флоте. Если бы был еще жив ее жених, она охотно отдала бы его в пехоту; жаль только, что несколько лет назад он погиб в автомобильной катастрофе. Аффа, которая соглашалась с гувернанткой в вопросе принесения жертв, отличалась особенно кровожадным энтузиазмом. Она превосходно держалась, раздавая

пиво и бутерброды солдатам, когда военный поезд делал остановку в Тельце по пути в Мюнхен. Аффе приходилось много хихикать и краснеть от соленых комплиментов, которыми молодые защитники отечества осыпали ее знаменитый бюст. «Еще хорошо, что дети этого не понимают! — шептала она фрейлейн, лицо которой вытягивалось и желтело от зависти. — Вы это слышали! Ну и наглость! Приходится сносить. Война есть война…»

Когда я пытаюсь вновь уловить атмосферу 1914 года, то вижу развевающиеся знамена, серые шлемы, украшенные забавными букетиками цветов, вяжущих женщин, кричащие плакаты и снова флаги — море, водопад черно-бело-красного. Воздух наполнен всеобщим бахвальством и гремящими рефренами патриотических песен. «Германия, Германия превыше всего»{37} и «Бушует клич, как гром небесный…»{38} Бушевание просто уже не прекращается. Каждый второй день празднуется новая победа. С паршивой маленькой Бельгией покончено в мгновение ока. С Восточного фронта тоже приходят воодушевляющие бюллетени. Франция, конечно, вот-вот развалится. Окончательная победа кажется обеспеченной. Парни смогут отметить Рождество дома.

Обсуждали, какие страны и колонии кайзер аннексирует для отечества. Фрейлейн Бетти обещала нам Китай и Африку, словно речь шла об игрушках. Аффа сияла, постоянно окруженная маленькой армией обмундированных сводных братьев, кузенов и поразительно хорошо сохранившихся дядей. Радостный шум ее прощальных празднеств разносился по всему дому. Милейн порой подумывала, не следует ли ей вмешаться, однако решала, что не стоит. Война есть война, и долго это в любом случае не продлится…

Наш ослепительный кайзер, столь же капризный, сколь и героический, отсрочил окончательную победу, по-видимому чтобы подольше сохранить за собой веселый пост верховного главнокомандующего. Это было немного досадно из-за десерта, который был вычеркнут из повседневного меню. Мы мужественно восприняли эту меру как патриотическую жертву преходящего свойства, но длительное отсутствие пудинга и пирога с начинкой неблагоприятно сказывалось на нашем настроении.

Жизнь наша подверглась и другим переменам, из которых кое-какие были радостными. Милейн объяснила нам, что ныне не только великие, но и довольно трудные времена. Новый городской дом, куда мы въехали как раз перед войной, был таинственно отягощен своего рода позором или проклятьем, которое называлось «ипотека»{39}. Известная скудость наличных денег, казалось, как-то проистекала из этого

противоестественного состояния. Два могучих старца, Офей и издатель С. Фишер в Берлине{40}, часто упоминались в этой связи — порой с надеждой, затем же снова с определенной горечью. Как дедушка в своем волшебном замке, так и берлинский друг Волшебника, господин Фишер с толстой нижней губой, держались как-то неуступчиво и неприступно, вероятно под влиянием всеобщего патриотического накала и нервозности. Что же до психологических причин и связей, наверняка все сводилось к тому, что оба старых господина вдруг вообще не пожелали давать больше денег. Волшебник, благородно рассеянный, казалось, едва замечал это, но тем сильнее была озабочена Милейн; она уволила одну из служанок и гувернантку. Отсутствия первой мы почти не замечали, а от последней, как легко догадаться, были более чем рады избавиться.

Вольная жизнь без фрейлейн и сладостей решительно имела свои увлекательные стороны, но несла с собой и суровость. Следующая мера экономии Милейн состояла в том, чтобы перевести нас из маленькой закрытой школы для богатых в обыкновенную народную школу по соседству. Эрику и меня разлучили. Она быстро освоилась в качестве своего рода предводительницы среди девочек, в то время как моя позиция в мальчишеском классе оставалась какой-то неопределенной. Во-первых, я не умел в отличие от Эрики говорить на мюнхенском диалекте; как-то мне не удавалось сносно произнести хоть одно слово на здешнем гортанно-сиплом наречии. Мои соученики считали меня поэтому «свинячим пруссаком», что было почти столь же плохо, как вражеский иностранец. Кроме того, их задевала моя художественная внешность и мое нерасположение к потасовкам. Короче говоря, меня не воспринимали всерьез, что, впрочем, не должно означать, что я был нелюбим в прямом смысле. Меня, правда, считали слегка тронутым, но не считали ни врединой, ни откровенным дураком. Школьные товарищи обходились со мной иронически-вежливо, однако недостаточно интересовались мною для того, чтобы нанести мне оскорбление действием.

Садистской жестокости было много не только среди учеников, она была присуща и учителям. Телесное наказание признавалось в ту пору еще здоровым или даже неотъемлемым педагогическим принципом в Германии. Наш господин учитель, приземистый плотный мужчина с очень маленькими глазами и огромными усами, считался мастером в «искусстве порки». Последнее предупреждение, выпадавшее с его стороны на долю преступника, было утонченно-физиологической природы: перед носом дрожащего мальчика несколько минут держалась

бамбуковая палка — «чтобы ты знал, как она пахнет», говаривал господин учитель с угрожающей шутливостью. Если и это не помогало, пощады больше не было. Жертве приказывали лечь лицом вниз на переднюю скамью, оставляемую специально свободной для таких случаев. Прежде чем несчастный повиновался этому зловещему требованию, он обыкновенно закатывал душераздирающую сцену. Этого от него ожидали, и это относилось к ритуальному протеканию церемонии. Обилием слез и драматическими жестами несчастный маленький грешник пытался разжалобить сердце своего судии, хотя, по сути, он должен был с полной отчетливостью понимать бесперспективность подобного начала.

Мучительная процедура проводилась с издевательской торжественностью, пятьдесят или шестьдесят мальчиков, задыхаясь от восторга и ужаса, следили за спектаклем. Жалобный плач злоумышленника начинался еще прежде, чем падал первый удар: он корчился и стонал, пока господин учитель еще только в воздухе щелкал своим орудием пыток, словно желая проверить гибкость тонкой бамбуковой трости. А когда затем уже со свистом опускались удары, рыдание перерастало в истерически-конвульсивное. После этого наступал трагикомический эпилог, и он тоже относился к ритуалу. От жертвы ожидалось, чтобы она еще некоторое время попрыгала перед кафедрой, потирая при этом заднее место… Если попадался мало-мальски артистически способный мальчик, то он, это почти само собой разумелось, развлекал соучеников наглядным описанием своих мук. «Моя задница горит адским огнем», — рассказывал он содрогающемуся классу. Учитель поглядывал, ухмыляясь, чтобы наконец повелительным жестом положить конец спектаклю. «Теперь хватит, — решал он удовлетворенно, словно лев после кровавой трапезы. — Можешь отправляться на свое место».

Я часто размышлял, действительно ли наказание приносит такую ужасную боль, как об этом свидетельствовала демонстрация жертвы. Нельзя отмахнуться от подозрения, что наказанный драматически преувеличивал свои боли либо для того, чтобы побудить учителя к скорейшему прекращению, либо лишь по славной традиции, чтобы разыграть перед товарищами впечатляющий спектакль. Но даже если наказание было действительно таким болезненным, как это демонстрировалось, быть свидетелем этого было еще хуже. Мое сердце останавливалось при каждом низвергающемся со свистом ударе, неприятие, да и мой ужас росли с каждым криком, который издавал мученик. Как охотно я бы сам однажды вытерпел унизительное наказание, вместо того чтобы только в воображении

переживать страдания других. Между прочим, от физического надругательства я до сего дня был избавлен. Мне ни разу не была предоставлена скамья пыток; ни разу не познал я на собственном опыте запаха трости. Таинственно защищенный славным или позорным табу «неприкосновенный», я все глубже и основательнее узнавал лишь одну муку — сострадание.

Когда прочитаны вечерние молитвы и затемнены спальни, сладко и мучительно думать обо всем этом кровавом действе там далеко, в траншеях. Как должно было быть ужасно, когда сотни тысяч русских умирали в тех гибельных болотах, в трясину которых их завлекла искусная военная хитрость маршала Гинденбурга{41}. Засыпая, я слышал глухой рев их ярости, их предсмертную агонию. Или я пытался представить себе изощренные пытки, которым дикие австралийцы подвергали, наверное, нашего бедного дядю Петера. Вероятно, ему было так же страшно, как достойным сожаления неграм в истории о хижине дяди Тома. Придется ли мне на собственном теле испытать подобные страдания? Бедный дядя Петер! Бедные русские! Бедный генерал Гинденбург! Ясно, что нелегко было совершать столь ужасные дела. Бедные генералы, которым пришлось стать бесчеловечными из профессионального долга и патриотической убежденности! Бедные солдаты, которыми пожертвовали бесчеловечные генералы! Мое сердце до краев наполнялось состраданием. Уже в полусне я присоединялся к беспомощным, нерасторопным русским, гонимым через австралийские джунгли бессердечным маршалом фон Гинденбургом, который в свою очередь проливал горючие слезы по поводу собственной жестокости. Ролью, отводимой мне самому в этой сцене ужасов, была роль смелого брата милосердия, который спасает жизнь какому-нибудь солдату — все равно, врагу или союзнику, — и в конце получает Железный крест с двойными рубинами в награду за свой героизм.

Мое рвение участвовать в кровавых событиях не имело ничего общего с патриотизмом или с честолюбием. Другие импульсы побуждали меня: любопытство, мазохизм, сострадание, тщеславие и страх. В этом комплексе чувств на самом деле определяющим фактором должен был быть страх. Не то чтобы я находил ужасным пожертвовать собой ради великого дела, напротив, подобное мученичество казалось мне изысканным и достойным того, чтобы его добиваться, огромным, захватывающим, горько-сладостным блаженством. Было лишь нечто, перед чем я действительно испытывал страх, была лишь одна опасность, от которой меня охватывал ужас: быть

исключенным из коллективной авантюры, не принять участие в общем переживании. Нет более унизительной, более печальной роли, чем роль стороннего. В человеке так силен стадный инстинкт, что он предпочтет любую боль мукам одиночества. То был глубокий страх перед моральной и физической изоляцией, он вдохновлял мои воинственные грезы. Я фантазировал о героических братаниях, так как в глубине души осознавал себя предназначенным для испытаний совсем другого рода. В детских мечтах я стремился отречься от истинного закона моей натуры, который всегда запрещает мне принадлежать к достойному сожаления и зависти большинству.

Может ли определенная психологическая предрасположенность привести к органическим нарушениям? Есть ли причинная связь между чуть ли не смертельной болезнью, которую я перенес в 1916 году, и национальным бедствием того исторического часа? Крылья смерти, коснувшиеся столь многих моих незнакомых старших братьев, бросили тень и на мой детский лоб.

Аппендицит принял в нашей семье характер эпидемии, в сбивающем с толку противоречии со всяким медицинским опытом и принципами. Сперва пришлось прооперировать обоих «младших» в течение сорока восьми часов; затем на очереди оказалась Милейн, а в заключение Эрика и я были доставлены в клинику с острым воспалением. В четырех других случаях операция была проведена своевременно; течение болезни было нормальным и удовлетворительным. Со мной же дело приняло тревожный оборот. У меня внутри оказалось «прободение», какой-то ужасный внутренний взрыв, от которого, собственно говоря, умирают. С пугающей точностью вспоминаю я бесконечную поездку от нашего дома до частной клиники надворного советника Креке, которая располагалась на противоположном конце города. Мои внутренности горели, бушевали, бунтовали, казалось, собирались лопнуть. Санитарная машина, ад на колесах, несла меня слишком медленно через отчужденные улицы, через опустевшие площади, навстречу цели, темное имя которой я не знал, но смог бы угадать по трепещущему напряжению и с трудом подавляемому страху Милейн.

Вряд ли стоит упоминать, что моя тяжелая болезнь и тот факт, что «бедный Клаус чуть не умер», должны были стать семейной легендой высочайшего стиля. Мне часто рассказывали, и я никогда не уставал выслушивать такого рода трогательные сведения, как я кричал от боли и как ужасающе был изможден, настоящий скелет, после того как перенес четыре или пять операций. «Прободной аппендицит с осложнениями» — это

звучало решительно великолепно и страшно. Мой живот необходимо было располосовать, чтобы надворный советник Креке мог на маленькой решетке распутать пришедшие в совершенный беспорядок потроха и вновь их рассортировать. Из этих мифических испытаний у меня в памяти, разумеется, не осталось ничего, кроме одного-единственного ощущения — чувства почти невыносимой жажды. Неистовое желание воды вытеснило из моего воспоминания все другие картины мучений. Из всего периода болезни не осталось ничего, кроме мимолетного кошмара удушливого мрака и иссушающей жары. Он начинается в раскачивающемся санитарном автомобиле и заканчивается, кажется, уже следующим утром в нашем Тельцском саду. Испуг уже прошел; смерть меня отпустила; лихорадочная жажда утолена. Я держу в руке большой стакан апельсинового сока. Вытянувшись на шезлонге в тени каштана, я вдыхаю тяжелый, насыщенный ароматом воздух лета и выздоровления.

Я был герой, ибо я выжил. Мое окружение — семья, персонал и соседи — было, очевидно, исполнено признательности за душевную силу, которую я выказал, воспротивившись манящему зову смерти. Неудивительно, что я стал смотреть на своих ординарных сестер и братьев несколько свысока; ибо они ведь только *жили,* что не означает никакой особой заслуги, тогда как я — гораздо более интересный случай! — *остался жив,* назло всей вероятности и всем прогнозам. Естественно, меня баловали, и я получал все лакомства, какие тогда могла еще раздобыть изворотливая домашняя хозяйка. Ведь господин надворный советник сказал, что мне обязательно надо поправиться. Меня уговаривали съедать столько, сколько смогу. В то время как ежедневный рацион остальных обитателей дома уже довольно чувствительно сократился, вызывало, казалось, всеобщую радость, когда я милостиво снисходил принять еще один бутерброд или кусок торта.

Но это блаженное состояние выздоровления не могло продолжаться вечно. Мои привилегии уменьшались прямо пропорционально прогрессу моего выздоровления. Когда лето кончилось, я обрел почти нормальный вес и всю мою жизнеспособность. Я был достаточно здоров, чтобы снова выдерживать повседневность, суровую повседневность третьей военной зимы в Германии.

Война перестала быть приключением или торжеством; для нас, детей, как и для народных масс, она означала прежде всего недостаток еды. Чем более ухудшалось продовольственное положение, тем более всеобщий интерес концентрировался исключительно на проблеме еды. В конце концов больше не

говорили вообще ни о чем другом. Неограниченная подводная война, объявление войны Соединенными Штатами — все это было менее важным, менее волнующим, чем доставание ненормированных гусей или сокращение недельных рационов маргарина. «Мешочничанье» было не только необходимостью, но и спортом, чуть ли не страстью. Домашние хозяйки всегда были в поиске новых источников молочных рек с кисельными берегами. Предпринимались продолжительные экспедиции в деревни, откуда возвращались с наглухо закрытыми корзинами, полными кроликов и картофеля. Юмористические журналы и уголовные хроники пестрели вопиющими историями о фантастических трюках, которыми пользовались охотники за яйцами, ветчиной и маслом.

Охота за пищей, подчас не обходившаяся без определенного приключенческого очарования, по большей части была, однако, монотонной и удручающей. Я никогда не забуду зимнего утра, когда мы с Эрикой во внезапном приступе благородства решили осчастливить Милейн сюрпризом в шесть столовых яиц. Где-то в пригороде мы обнаружили крохотную лавчонку, в которой приобретались подобные сокровища при наличии достаточного времени и терпения, чтобы выстоять очередь с шести утра до полудня. Именно это мы и сделали — роскошная награда, казалось, стоит любой жертвы. Мы получили яйца. Как гладки и аппетитны они были на ощупь! Шесть хрупких жемчужин, полдюжины нежных талисманов… Сияя от счастья, мы направились домой. Я нес яйца в своей меховой шапке, так как владелец лавки не дал нам бумажного мешка. Но мои голые руки застыли от мороза. Ужасное, неизбежное свершилось: шесть яиц выкатились из шапки, которую я держал неловко, и разбились на наших объятых ужасом глазах. Было неописуемо печально, да, действительно до слез, видеть красивые желтки, которые — желтовато-тягучий ручеек — просачивались между булыжниками мостовой. И мы тут же расплакались. Мне теперь кажется, что наши слезы оледеневали, скатываясь по щекам. Никогда мир не казался мне столь холодным, столь непостижимо жестоким и грозным.

Было бы преувеличением утверждать, что мы по-настоящему бедствовали; но скромная правда, что мы всегда были голодны. Не подлежит сомнению, что такой глубокий и интенсивный опыт, как голод, оставляет определенные черты в физической и духовной конституции человека. Благосостояние и изобилие больше не принимаешь как нечто само собой разумеющееся, если познал однажды, что значит мечтать о хлебе как о манне небесной. Еда, вещи, обувь, уголь, мыло, писчая бумага — все, что

мы осязали, нюхали или глотали, было эрзацем, жалкой чепухой. Это должно было быть тяжелое время для нашей матери, гораздо тяжелее для нее, чем для нас. Прокормить четверых прожорливых детей и одного разборчивого, деликатного мужчину в таких ненормальных условиях, конечно, было не просто. Она делала свое дело великолепно — достижение тем более достойное восхищения, если вспомнить о происхождении и прошлом Милейн. Сказочная принцесса, которую мы знаем из «Королевского высочества», вынуждена была теперь справляться с очень жестокими и прозаическими проблемами. Мы, дети, не только хотели есть, но и должны были иметь одежду. Расшитые блузы и прелестные матросские костюмы, купленные нам в 1914 году, к 1917 году давно износились и мы из них выросли. А тут еще обувь! Ведь кожи было почти столь же мало, как масла. Некоторое время мы носили тяжелые деревянные сандалии, которые при каждом шаге производили ужасный стук, но вскоре они нам опостылели, и мы предпочли бегать просто босиком.

Традиция воскресной трапезы в доме дедушки и бабушки поддерживалась и в войну. Но праздничное меню состояло теперь по большей части из тощей птицы — своего рода цапля, пронзительно отдающая рыбьим жиром, — и отвратного розового эрзац-пудинга. Лишь добротное великолепие столовой и несокрушимое достоинство Оффи удерживали эти встречи от соскальзывания в полное убожество. В самом деле, поведение хозяйки оставалось столь величественно-непринужденным, что гости были склонны принимать ограниченный стиль хозяйства как элегантную прихоть. Тот печальный факт, что наш собственный хлеб мы должны были приносить с собой, казался забавной комедией благодаря весело-уверенной Оффиевой манере держаться. Ее смех, когда мы передавали старому дворецкому свою скромную порцию, завернутую в газету, рассыпался жемчугом, как и прежде.

«Если бы только я могла потребовать от всех гостей приносить с собой свои порции! — шутила она и прибавляла не без удовлетворения, наливая чай в нежные китайские чашки: — С чаем-то я еще как-нибудь продержусь. В конце концов, война ведь не может длиться вечно…»

Кончится ли действительно когда-нибудь она — большая, долгая, давно знакомая война? И можно ли представить себе мир без нее? Мир с достаточным количеством еды и без победных торжеств? Мы уже не совсем верили, что вещи типа взбитых сливок действительно существовали в мирное время; они относились к миру сказки. Иногда мы расспрашивали Милейн о тех легендарных днях, которые якобы когда-то были и которые —

якобы — когда-нибудь снова наступят.

«Как это, собственно, — мир? — допытывались мы. — Что, и в самом деле в мирное время едят каждый день мясо и сладкое? И не вредит желудку — так много есть? У нас тоже каждый день будут жаркое из оленины и слоеный шоколадный торт, когда Германия победит? Почему же еще не победили? Ведь наша армия лучшая, а у других-то нет таких хороших генералов, как Людендорф, Макензен и Гинденбург{42}. Наш учитель говорит, что мы, по-видимому, в этом году уже победим. Он всегда немного плюется, когда взволнован. Сегодня он особенно брызгал слюной, рассказывая нам о победе Германии. Как ты думаешь, до Рождества мы успеем победить?»

Но Милейн, казалось, пребывала в на редкость подавленном настроении. «Никто этого не знает, — сказала она неопределенно и печально. — Быть может, он прав, твой учитель. А может, и нет. Война может продлиться тридцать лет — теперь, когда и американцы еще против нас…»

«Но учитель говорит, это ничего не значит, — упорствовали мы. — Америка или кто другой, говорит он, мы их всех побьем!»

«Может, он и прав, — повторила Милейн все с тем же раздумчивым и рассеянным выражением. — Но я, пожалуй, в это не верю. Нет, я не могу больше по-настоящему верить…» Ее лишенному иллюзий реализму отец противопоставлял некую своеобразную убежденность. Не то чтобы между ними когда-либо происходил спор. В нашем присутствии никогда не вырвалось ни единого громкого слова. Но мы были достаточно наблюдательны, чтобы заметить различия между их взглядами. Милейн уже потеряла свою веру в германскую победу, тогда как у отца оптимизма, казалось, еще не убавилось. Неужели не было у него никаких предчувствий, никаких сомнений? Наверное, были; но он скрывал их от своего окружения и, возможно, также и от самого себя.

Как странно чужд и далек казался он, этот отец военных лет. В корне отличный от хорошо знакомого Волшебника мирного времени. Отцовский облик, как я его вспоминаю из той эпохи, не имеет ни доброты, ни иронии, двух столь существенных черт его характера. Выражение его лица, всплывающее передо мной, напряженное и строгое. Чувствительный, нервный лоб с нежными висками, пасмурный взгляд, очень сильно и прямо выступающий между впалыми щеками нос. Это бородатое лицо, удлиненный, горестный овал, странным образом обрамлено жесткой, колючей бородой. Действительно, он в ту пору отпустил бороду, временно правда, всего на несколько недель, в деревне. Это проявление воинственного настроения нас, детей, должно быть, очень

впечатляло. Отец военного времени — бородат. Его черты, гордые и страдальческие одновременно, похожи на черты одного испанского дворянина, странствующего рыцаря и мечтателя Дон Кихота.

Я вижу его покидающим свой кабинет, очень прямого в строгом, военного образца френче из серого материала. Губы его словно запечатаны мрачной тайной, и задумчивый взгляд обращен внутрь. Он выглядит усталым; утро за письменным столом было, по-видимому, необычайно напряженным. Что за зловещее колдовство заставляет его каждое утро с десяти часов до обеда заключать себя в библиотеку? Прямо как Золушка, которой надлежит покинуть бал в полночь, мой отец должен уединяться сразу после окончания завтрака — не успеешь опомниться, а его уже нет. В то время как в столовой висит знакомый аромат его утренней сигары, он уже сидит за работой, добросовестный чародей, погруженный в свои странные изобретения и образы. На этот раз, однако, он, очевидно, принялся за особо щепетильную и претенциозную колдовскую штуку. То, что занимает его теперь, — это не одна из его красивых историй, но нечто абстрактное, трудное, таинственное. Он кажется слегка смущенным, когда посетители спрашивают его об особенности нового произведения. «Книга как книга, — говорит он со странно уклончивым взглядом. — Нет, не роман. Она связана с войной».

Это звучало так, будто он в своем кабинете занимается изобретением нового оружия или неслыханных стратегических хитростей. Не покинул ли он веселую сферу своих рассказов и не обратился ли к черной магии?

Гораздо позднее, спустя много времени после войны, я прочел своеобразную продукцию тех тяжелых лет, «Размышления аполитичного». Вероятно, можно понять эту книгу, ее поразительные заблуждения, а также ее проблематичную красоту, если знаешь обстоятельства, при которых она была написана. Жестокое напряжение тех дней, изоляция и упорная меланхолия автора, полное отсутствие политического опыта, даже недостаточное питание и морозная температура его рабочего кабинета в зимние месяцы — все это вместе действовало, вызывая то особенное настроение, путаную смесь агрессивности и уныния, полемики и музыки, которая характерна для «Размышлений».

Это документ в высшей степени своеобразный, да, оригинальный, своего рода длинный, мучительный монолог разрушенного войной поэта: с точки зрения литературной ценности — шедевр, блестящий *tour de forced* [11], с политической точки зрения — катастрофа. Ироничный аналитик сложных

эмоций отважился здесь впервые выйти из собственной своей сферы в чуждую ему и опасную область политико-социальных проблем. Поначалу новый интерес к политике проявился парадоксальным образом как раздраженный горький протест против политики. Ученик Гёте, Шопенгауэра и Ницше считал своим благороднейшим долгом защитить трагическое величие германской культуры от воинствующе гуманитарной позиции западной цивилизации. Он перепутал грубое высокомерие прусского империализма с чистыми откровениями немецкого гения от Дюрера и Баха до романтиков и Заратустры{43}. Смертельный экстаз Тристана, ребячливая невинность «Бездельника» Эйхендорфа{44}, строгая меланхолия «Палестрины» Ганса Пфитцнера{45} — все это стало ему аргументом в пользу пангерманской экспансии и неограниченной подводной войны. Меж тем сомнительным этим выводам недостает какой-либо убедительности; они изложены, кажется, странно колеблющимся образом, словно с нечистой совестью, как будто автор, по существу, слишком хорошо осознавал сомнительность своей позиции.

Все пространное сочинение, собственно говоря, не что иное, как арьергардный бой, проведенный с отчаянной отвагой и горькой проницательностью. Ценности и убеждения, которые здесь превозносятся, осуждены историей, осуждены жизнью; защитник знает или по крайней мере предчувствует это. Не верит в то дело, которое описано как нерасторжимое с упадком и смертью. Освященный смертью может быть привлекательным, даже достойным любви; но, очевидно, не ему принадлежит будущее. В «Размышлениях» благородный борец растрачивает свои силы, служа идее фикс. Он полагает прославиться и защитить благородную даму, «культуру», ломая в действительности отточенные копья в защиту довольно неблагородных интересов и сил. Как похож он на Дон Кихота в своем великодушном ослеплении! Там, где он видит опаснейших врагов, лишь ветряные мельницы.

Враг, олицетворяющий ветряные мельницы, против которого выставлена тяжелая артиллерия «Размышлений», — тот самый «цивилизованный литератор». Имя его остается неназванным, но эта анонимность — только кажущаяся. Ибо длинные пассажи, цитирующиеся из сочинений противника, буквально заимствованы из эссе Генриха Манна. Его биографический очерк об Эмиле Золя появился в первый военный год, когда выше всего поднялись волны шовинизма. В то время как вся нация воодушевлялась героизмом нашей непобедимой армии, Генрих Манн отважился поставить памятник непобедимому духу

французского борца и поэта. Кому досталось в этом панегирике, так это французским представителям интеллигенции, предательски нанесшим тогда удар в спину делу капитана Дрейфуса и, стало быть, делу истины и права. С ними сводятся счеты самым немилосердным образом. Но в действительности страстные обвинения направлены лишь против французских милитаристов и обскурантов уходящего девятнадцатого столетия. Разве его нападки не были адресованы и конкретным современникам? Так, во всяком случае, воспринимал это обидчивый защитник аполитично-музыкально-пессимистической культуры. Полные намеков и изобилующие цитатами из очерка о Золя, «Размышления» задевали и оскорбляли брата как личный выпад.

Отношения между обоими с началом войны существенно омрачились. Генрих был пацифистом; война означала для него гнусную авантюру, призванную к тому, чтобы низвергнуть немецкий народ в чрезвычайное несчастье. Он пытался оставаться «au-dessus de la melée» [12], как некоторые из его французских коллег под водительством Ромена Роллана. Автору же «Размышлений», должно быть, казалось, что на самом деле брат стоял не над партиями, а просто на другой стороне, воинствующий приверженец «Entente Cordiale»[13]{46}, нетерпимо уверенный в своей правоте поборник мысли западной цивилизации. Политико-мировоззренческая размолвка вскоре достигла такой степени эмоциональной ожесточенности, что всякий личный контакт стал невозможным. Оба брата не виделись всю войну. Генрих Манн, до тех пор игравший определенную роль лишь в кругах литературного авангарда, теперь стал чем-то вроде представителя политического движения. Когда в 1914 году немецкая интеллигенция почти без исключений подпевала хору воодушевленных войной, он принадлежал к очень немногим, кто оставался зрячим и разумным. Через два года его предостережения начали воздействовать на широкие круги, еще не на массу, но на постепенно растущую интеллектуальную элиту. Пацифистская оппозиция, вначале децентрализованная и не имеющая руководителя, стала получать огласку с большей решительностью и ясностью. Группа немецких писателей, большинство из которых нашли убежище в нейтральной Швейцарии, осмелилась не только в общем отвергнуть атавистическую чудовищность современной массовой войны, но и заклеймила позором вину германского милитаризма в особенности. Молодой поэт Клабунд{47}, в лихорадке своего объемлющего мир энтузиазма и тяжелой туберкулезной инфекции, направил кайзеру Вильгельму страстный манифест, в

котором требовал немедленного окончания войны, а кстати, и отречения монарха. Сатирик Карл Штернхейм[48] с иконоборческой дерзостью разоблачал ложь национальной фразы. Стефан Цвейг в 1918 году поднял на щит антивоенный роман Анри Барбюса «Огонь» в одной венской газете. Эльзасец Рене Шикеле[49], блестящий стилист и смелый борец за дело мира, выступил как основатель и издатель «Вайсе блеттер»[50] — лучшего литературного журнала той эпохи.

Средний германский подданный едва ли что-нибудь знал об этих духовных процессах и тенденциях, которые были для него просто из области уголовщины. Подданный все еще верил в победу и в законность германского дела. Между прочим, ведь никогда невозможно полностью подавить дух истины и разума; он просачивается через открытые каналы и сообщается наконец сознанию нации, коллективной совести.

Мне не было еще полных восьми лет, когда началась война, и было ровно двенадцать, когда она закончилась. Но даже мой неопытный ум не остался не тронутым теми еще полутайными, еще подпольными течениями, которые находились в таком смущающем и возбуждающем противоречии с официальной военной идеологией. Сначала это была лишь легкая обеспокоенность, предчувствие, которое постепенно углублялось во мне и оформлялось. Медленный процесс этого интеллектуального пробуждения ускорился прочтением книги, которую мне подарила к Рождеству 1917 года наша Оффи, со своей стороны настроенная решительно пацифистски. Классический антивоенный роман Берты фон Зутнер[51] «Долой оружие», конечно, не литературный шедевр, но, как ни сентиментальны и плоски его сюжет и стиль, сильный и подлинный пафос этого глубоко пережитого призыва мощно воздействовал на мой восприимчивый дух.

Частично или преимущественно благодаря красноречивому обращению Берты фон Зутнер начал я тогда осознавать определенные фундаментальные факты и ставить определенные первичные вопросы. Могло ли это быть, что наши учителя и газеты и даже генеральный штаб старались в течение трех с половиной лет водить нас за нос? День за днем, с августа 1914 года, нас заверяли, что война, во-первых, нечто прекрасное и возвышенное, во-вторых, нечто необходимое. Австрийская пацифистка, однако, убеждала меня в гнусности организованного массового убийства и в возможности избежать его. Мне стало ясно, что катастрофу можно было предотвратить, будь наш кайзер несколько менее лихим и нахрапистым. Ответственность, следовательно, ложилась не исключительно на наших врагов, как

нас столь часто заверяли. Возможно, и в другом отношении эти враги были не так плохи, как их изображала националистическая пропаганда? Возможно, в действительности они были вовсе не извергами и недочеловеками, а просто людьми?

Подобные мысли были рискованными до кощунства. Они ставили под вопрос все, что у нас до сих пор считалось аксиомой, всю систему признанных принципов и идеалов. Потому что, если люди повсюду человечны, в какой бы стране они ни жили, кто же тогда их натравливал друг на друга? Кто хотел войны и обогатился на ней? Где военные преступники?

Мы слушали путаные и волнующие истории о революции, которая якобы произошла где-то очень далеко, в России. Народ там убил своего царя и избавился от генералов. Если подобные ужасы вообще возможны, не могут ли они повториться еще где-нибудь? А что, если и немецкому народу придет в голову последовать русскому примеру и обойтись с нашим чересчур лихим кайзером точно так же, как те со своим царем?

«Революция! Грузовики, полные солдат{52}, носятся по улицам; бьют оконные стекла; Курт Эйснер{53} — премьер-министр… Все звучит так фантастично, так невероятно. И все же как-то лестно представлять себе, что позднее о нашей баварской революции люди будут говорить так же всерьез, как о Дантоне и Робеспьере. К сожалению, мы не могли посетить представление иллюзиониста Уферино. Это было разочарование. Но в остальном день рождения был прекрасным. Теперь я владелец собрания сочинений Клейста{54}, Грильпарцера{55}, Кёрнера{56} и Шамиссо{57}. Пожалуй, уже целая куча».

Это начальные строки дневника, который я вел с 1918 по 1921 год с примечательной добросовестностью. Красивая книжица в кожаном переплете была преподнесена мне 9 ноября 1919 года в качестве подарка на день рождения. (9 ноября, собственно, день рождения Эрики, но на протяжении всего нашего детства мы отмечали наши дни рождения вместе, как близнецы. На самом деле я родился на один год и девять дней позже моей сестры.)

Далее запись от 11 ноября гласит следующее: «Перемирие подписано. Наконец мир! Но что теперь? Мы мчимся навстречу катастрофе. Школа снова началась. Наш учитель ужасно взбешен, оттого что было так шумно и оттого, что Германия должна заключать мир со своими подлыми врагами. Вчера вечером Милейн читала нам очень смешную историю Гоголя. Я прочел трагедию „Искупление“ Теодора Кёрнера. Жалкая вещица».

Произошло удивительное. Наш кайзер под покровом ночи

бежал через границу в Голландию. И великий Людендорф и другие герои также смылись. Все было очень неожиданно и нелегко понять. Германия была разбита — и все-таки снова нет. Наш учитель сказал, что все дело лишь в «ударе ножом», за который несут ответственность евреи и спартаковцы[58]. Они нанесли нашему кайзеру удар в спину как раз тогда, когда все складывалось наилучшим образом и мы, считай, имели победу в кармане. Для учителя германское поражение значило столь же мало, сколь немецкая республика. И она тоже была лишь еврейско-большевистским трюком, сатанински задуманным, чтобы окончательно обратить отечество в руины…

С миром было что-то не в порядке, никто, казалось, ему не радовался, люди выглядели еще более раздосадованными, чем во время войны. Да и взбитые сливки, долгожданный символ мира, все не появлялись. Еда зимой 1918–1919 годов была по меньшей мере так же плоха, как в последние военные годы.

И почему все еще так много стреляли? Перед перемирием воевали где-то далеко; сейчас, однако, выстрелы раздавались угрожающе близко.

21 февраля 1919 года прямо за углом нашей школы был застрелен баварский премьер-министр Курт Эйснер. Мои дневниковые записи, касающиеся этого инцидента, отличаются несколько беспомощным пафосом. Там говорится, что я проливал по убитому «горькие слезы», — утверждение, должно быть, несколько преувеличенное, однако едва ли так уж взятое с потолка, как это предполагали мои. Уже не помню теперь, как получилось, что именно эта запись стала известной в семейном кругу (я по большей части прятал свой дневник), но припоминаю, что из-за «горьких слез» меня много дразнили. Что меня побудило к этому риторически-стилизованному излиянию, так это, пожалуй, не столько мое горе по поводу смерти Эйснера, сколько мое отвращение к цинизму, с которым мюнхенские филистеры, включая моих учителей и соучеников, приветствовали известие о смерти. Премьер-министр, елейный интеллигент в фетровой шляпе и с бородой Христа, не был популярен; радовались избавлению от «чужеродного» преобразователя мира и друга человечества. Убийцу, кавалера из графского дома Арко[59], массы встречали как героя, с ликованием, тогда как жертве поклонились только левые радикалы. Один из друзей Эйснера, Генрих Манн, закончил свою надгробную речь замечанием, что покойный заслуживает почетного имени «литератора цивилизации».

Лихорадочная интерлюдия коммунистической диктатуры в Баварии была непосредственным следствием убийства Эйснера. В

моем воспоминании эта недолговечная «республика Советов» становится беспорядочным фарсом. Яркий, дребезжащий кавардак кричащих плакатов, швыряемых камней, людских сборищ, импровизированных ораторских трибун, красных знамен и открытых грузовиков, наполненных молодцеватыми фигурами с красными повязками. Вся история имела привкус дикой Gaudi [14] (пользуясь мюнхенским диалектным выражением, которое кажется здесь особенно подходящим), чего-то несерьезного, карнавального. Разумеется, при этом карнавальном эксцессе не обходилось совсем без террора; все респектабельные бюргеры впали в состояние истерической паники. Рассказывали жуткие вещи о разграбленных банках, изнасилованных женщинах и детях, над которыми надругались. На соседних с нами виллах искали тайники с оружием; перепуганные домовладельцы разражались после этого фантастическими описаниями пережитого ими кошмара. Казался удивительным тот факт, что человеческие существа способны вынести так много ужасов. Но, хотя спартаковские изверги так жестоко обошлись с нашими соседями, они были вместе, друг подле друга.

Наш дом, впрочем, правительственные войска щадили. Мы сначала считали это счастливой случайностью, однако позже узнали, что патрулю было приказано оставить дом Томаса Манна в покое. Хотя дом производил подозрительное впечатление и настроения хозяина дома, с марксистской точки зрения, совсем не безупречны, но революционные вожди, которых противники изображали как банду кровожадных вандалов, были в действительности людьми, уважавшими талант и неприкосновенность писателя, даже если не были согласны с его политическими взглядами. Многие из этих якобинцев по основной профессии или побочно занимались литературой. Поэт и энтузиаст прекрасного Эрнст Толлер{60}, который имел вес в республике Советов, не допустил бы, чтобы слишком приближались к автору «Будденброков» и «Смерти в Венеции».

Мой дневник сообщает под датой 13 апреля: «Утром ходили слухи, что большевистское правительство свергнуто. Левине{61} и Толлер вроде бы бежали. Левине, говорят, прихватил с собой в Швейцарию полмиллиона марок. Эриха Мюзама{62} арестовали. Утром отправился в Национальный музей посмотреть еще раз коллекцию средневекового оружия. Довольно интересно. Лучше, чем школа».

Слухи оказались преждевременными, красные еще некоторое время продержались. Наш город находился на самом настоящем осадном положении. Дело доходило до весьма серьезных битв между революционной милицией и добровольческими корпусами

генерала Эппа[63]. Для нас гражданская война означала лишь отдаленное громыхание, сопровождавшее наши игры. «До обеда мы играли в мяч и слышали при этом грохот орудий, — отмечаю я 2 мая. — Красные и белые воюют близ Дахау. Позднее мы рассмотрели большой пулемет, который красные установили на Куфштайнерплац. Хлеба вообще нет. Вместо него Фанни испекла своего рода лепешки. Довольно вкусно. Прочел прекрасную историю Вальтера Скотта».

5 мая, когда войска генерала уже ворвались в город, я вышел, чтобы купить себе экземпляр повести Гоголя «Шинель», и нашел город «кишащим солдатами». Три дня спустя было официально объявлено, что гражданская война окончена, и повседневная жизнь снова обрела свой скучный ход. Но повсюду оставались воспоминания о кровавых событиях последних недель. Дневниковые записи от 8 мая 1919 года: «Снова в школе — к сожалению! Учитель рассказывает нам, что в гимназии имени Вильгельма расположился знаменитый полк — те самые солдаты, говорит он, которые укокошили Розу Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине. Мне не понравилась манера, как он это сказал — как будто это было что-нибудь хорошее. Позавчера в нашем школьном дворе казнили пятерых спартаковцев. Одному из них было только семнадцать лет. Он не позволил завязать себе глаза. Учитель говорит, что это доказывает, насколько тот был фанатичен. Но я нахожу это достойным восхищения».

Революция и гражданская война, мирные переговоры и классовые бои, все эти большие перевороты и конфликты, которые я так наивно комментировал, затрагивали мою настоящую жизнь лишь постольку поскольку. Я был достаточно сообразителен и тщеславен, чтобы интересоваться этими вещами, не совсем понимая их решающей важности; но где-то в самой глубине души я все же еще был склонен усомниться в реальности и существенности этого «мира взрослости».

Мое интеллектуальное состояние в то время походило на состояние определенных поколений, коим судьбой было предназначено жить на рубеже двух культурных эпох — уходящего средневековья и начинающегося Ренессанса. Эти проблематичные поколения несли в себе двоякую идею Бога и мира. Их ум был уже тронут и взбудоражен предсказанием новой свободы, нового знания, в то время как их сердце все еще было с благочестивым упорством привязано к обрядам и идеалам уходящей эры. Так они жили в двух мирах: одной половиной своего бытия еще на неподвижном, перекрытом небесным сводом диске, как представлялась наша Земля средневековому человеку; другой — уже в динамично-революционном Космосе Коперника.

Старая картина мира имеет достоинство традиции, авторитет отцовского наследства, но новое с неотразимой силой апеллирует к любопытству, честолюбию, жажде риска и приключений.

Мальчик на пороге грядущего созревания находится в очень похожем психологическом состоянии. Мой незрелый ум разрывался между двумя противоречащими друг другу сферами чувств и интересов: на одной стороне претенциозные, запутанные абстракции мира взрослых, на другой — хорошо организованная, близкая, осязаемая иерархия детства. Как ни влекло меня новое, чужое, трудное, я все же колебался целиком отречься от веры в богов и кумиров ранних лет. Детские мифы еще не были мертвы.

Мифический чин Аффы оставался невредимым; никакой Ренессанс созревания не мог ей быть страшен. Она всегда была с нами, достойная сама по себе внимания и любви, что бы она ни делала. Она баюкала нас на коленях, когда мы были младенцами; она вырывала у нас качающиеся молочные зубы с помощью тонкой шелковой нитки, которую умела ловко обернуть вокруг шейки зуба; она украшала рождественскую елку и давала Милейн советы при выборе кухарок и вечерних платьев; когда же Милейн бывала в санатории, а Волшебник устраивал мужские общества (мифическое событие большой знаменательности, особенно если в число гостей входил и доктор Чечони!), то не кто иной, как Аффа настаивала на том, чтобы подавали суп из бычьего хвоста и мороженое а-ля князь Пюклер — совершенно оригинальные, несколько причудливые блюда и именно потому столь подходящие для мужского Soirée. Аффа была знатоком. Аффа была высший класс.

Правда, нельзя отрицать, что с годами она становилась все более самовластной и капризной. Война как-то ее испортила; смех ее теперь часто звучал вызывающе резко, вдобавок в глазах сверкали зеленые огоньки. Другие девушки жаловались на нее. «С Йозефой нет больше никакого сладу», — причитала кухарка. (Настоящее имя Аффы было Йозефа, но, чтобы называть ее так, требовалось много неприязни и необразованности.) «Да у нее просто мания величия, вот что у нее!» Аффа со своей стороны считала коллег способными на самое дурное. Всегда, когда Милейн недосчитывалась какого-нибудь предмета — а случалось нередко, что у нее пропадало что-то: пара перчаток, кусок мыла, зонтик, — Аффа была тут как тут, чтобы прошипеть ей на ухо: «Это Фанни взяла, кто же еще? Вышвырните ее вон, милостивая фрау! Нечего тут с ней и разговаривать, она ведь все станет отрицать. Уволить, да и все».

Милейн делала так, как ей велели. Фанни уходила; следующая оказывалась еще хуже. На этот раз мистически

исчезли лучшие запонки Волшебника. Мы все были возмущены; больше всех разволновалась Аффа. «Запонки? Красивые золотые господина профессора? — Она всплеснула руками над головой. — Ну, знаете, это уже слишком!» И после короткой паузы, с героической решительностью: «Если нынче нет больше честных девок, то с этого момента всю работу я буду делать сама! Пусть Фанни катится из дома, воровка проклятая!»

Но эта Фанни, маленькая брюнетка с желтовато-худощавым лицом и фанатично черными глазами, не позволила избавиться от себя так легко, как ее предшественницы, она защищалась, она отважилась на контратаку. «Меня это вообще не касается, — говорила отчаявшаяся девица (все хроникеры согласны в том, что именно таковы и были ее слова). — Меня это не касается, милостивая фрау, но однажды вы все-таки должны узнать, кто в этом доме воровка. Это — не я, милостивая фрау! — И, указывая длинным тонким пальцем: — *Это* она! Ваш перл! Ваша Аффа! Эта падаль, Йозефа!»

Сцена, должно быть, была ужасной, сравнимой разве что с легендарными схватками Брунгильды с Кримхильдой, Марии Стюарт с Елизаветой. Но, несмотря на стихийную запальчивость вспышки ярости Аффы и громкой ругани Фанни, вся афера, как и некоторые подобные скандалы среди слуг, так и ушла бы в песок, если бы не вмешался Волшебник собственной персоной. Потревоженный в высшей степени нецивилизованным шумом, он спустился в подвальный этаж, чего не случалось с доисторических времен. Эффект, произведенный только его появлением, был таким, что даже Аффа на время потеряла самообладание.

Когда отец размеренным тоном велел ей открыть запертую дверь ее комнаты — «пусть хотя бы для того, чтобы опровергнуть поразительные обвинения кухарки!», — возражений со стороны Аффы не последовало: она повиновалась. Хроника отмечает, что ее лицо, в то время как она медленно приближалась к двери, было очень бледным и что она громко скрипела зубами. Уже держась за дверную ручку, она кричала, торжественно воздев, как для клятвы, правую руку: «Я невиновна! Господин профессор еще когда-нибудь пожалеет, что он меня сейчас подозревает!» — замечание, представляющееся почти безумным в своей абсурдности перед лицом доказательств вины, которые грудой ожидали моих родителей за мистической дверью.

Они были здесь, заполняя шкаф и комод, упрятанные в картонные коробки, рассунутые по уголкам, — все те предметы, которые тщетно искали и в конце концов считали потерянными: зонтик и мыло, хорошие перчатки, запонки, ах, да чего там только не было! Резиновая обувь и салатницы, кружевные платки

и сервелатные колбасы, куклы и пепельницы, драгоценности и старые лохмотья — ничто не было слишком ничтожным или слишком дорогим для бешеной страсти Аффы к награбленному добру. Очевидно, грабеж многих лет, возможно десятилетий, накапливался здесь в запутанной неразберихе. Что делала клептоманка со своими сокровищами? Получала ли она удовольствие от того, что ночами копалась в куче ворованных галстуков, серебряных чайных ложек и французских роскошных безделушек? Красовалась ли одна перед зеркалом в золотой цепочке, которую Эрика получила от Омамы на крестины и которая загадочно исчезла в седую старину?

«Все это принадлежит мне! — утверждала Аффа пронзительно, в то время как родители остолбенели, потеряв дар речи. — Все моя собственность». При этом она, казалось, прижимает к себе комнату вкупе с ее фантастическим содержимым размашистым, диким и жадным жестом. «Не трогайте здесь ничего, милостивая фрау! Руки прочь, господин профессор!»

Она спорила из-за каждой вещи, мегера с горящим зеленым взглядом. «Это *моя* прогулочная трость! — визжала она. — У господина профессора, может, и была когда-то похожая, но эта для меня свята, память о моем кузене… павшем под Верденом… такая подлость… теперь у меня хотят отнять трость моего незабвенного Ксавера… моего жениха… погибшего на Восточном фронте… единственное, что у меня осталось от него!»

Отец забыл о трости, обнаружив под кучей расшитых скатертей три бутылки своего любимого бургундского, добрый сорт мирных времен, которого столь долго уже не было! «Мое бургундское!» — воскликнул он, от души взволнованный, как при свидании со старым другом.

«Мое бургундское! — голосила Аффа. — Подарок моего усопшего дяди…» В пылу спора за красное вино Аффа подняла руку на отца. Да, произошло невероятное: она ударила его кулаком и раздробила бы ему нос, не отскочи он в сторону с поразительным присутствием духа. Все же она попала ему в левое плечо, после чего он, по совпадающему мнению всех хроникеров, внятно сказал: «Ау!» Некоторые историки утверждают, что после краткого размышления он еще добавил: «Ну, это уже чересчур!»

Совершенно очевидно: Аффа зашла слишком далеко. Не только родители чувствовали это, но и Фанни, кухарка. Проскользнув к телефону, она шепнула на ушко полиции страшную весть: «Весьма опасная уголовница в доме господина доктора Манна… наша Йозефа… да, Аффа… она дерется напропалую… Заберите ее немедленно… да… ведь нельзя

поручиться за жизнь… Господин профессор уже весь в крови…»

Аффа подняла руку на хозяина дома! Это была крайность, катастрофа. Это была революция…

Аффа, кощунственно вырядившаяся в красивейшую шляпу Милейн, сверкающая украшениями Оффи, опьяненная вином Офея, размахивающая тростью Волшебника, — так кончается мир, так рушится порядок, так начинается апокалипсис…

Задним числом выяснилось, что Аффа была не только воровкой, но и мессалиной. Нас бомбардировали телефонными звонками и анонимными письмами. Все соседи дивились нашему долготерпению. Каждую ночь другой солдат! Как мы могли терпеть такое скандальное поведение?

Достопочтенная вдова, трагичная и импозантная в старомодном траурном костюме, попросила доложить о себе Милейн и заполнила салон своими рыданиями. Аффа сначала совратила супруга вдовы, а затем довела его до самоубийства. «Она еще тот тертый калач!» — констатировала матрона не без горького одобрения.

Я начал восхищаться Аффой. Такое обилие порочности было впечатляюще. Плохого человека можно осуждать и презирать; но перед символом всего дурного, верхом всех пороков испытываешь своего рода ошеломленное уважение, к которому примешивается сочувствие.

Да, испытываешь и сочувствие. Ибо понимаешь и постигаешь, что Аффа — жертва всеобщего ослабления и потрясения, что она есть жертва войны. Ее моральная устойчивость оказалась недостаточно прочной, чтобы противостоять волне аморализма и жестокости, которая накатила на континент и подорвала его нравственные основы. Почему бы ей не менять каждую ночь любовника, ведь он мог быть убит до следующего свидания? Почему бы ей не красть и не лгать, не предаваться блуду, если заповеди Господни, очевидно, аннулированы? Родись она в мирной и упорядоченной обстановке, она — кто знает — вышла бы, возможно, замуж и вела бы разумную жизнь. Но то время было ужасным, и такой ужасной стала и Аффа.

Не совсем лишенным логики, хотя опять-таки поразительным оказалось, что судьи полностью ее оправдали. Так уж это случилось: Аффа выиграла процесс. Она представляла угнетенный класс, пролетариат, она лгала с вдохновением и большой убедительностью. Ее ядреной шуткой, ее исконно народной находчивостью зал суда был очарован. Она владела сценой, блистала и торжествовала; Милейн и Волшебник охотнее всего провалились бы сквозь землю, когда Аффа принялась рассказывать о бургундском. С трогательным красноречием

описывала она, как пытались украсть у нее красное вино: «Только три маленькие бутылочки — единственная память, какая у меня от сводного брата, незабвенного капитана фрегата, а тут врываются эти пруссаки, эти эксплуататоры, эти шишки, и еще хотят заграбастать у меня эти три бутылочки, а у самих целый подвал ломится от шампанского, водки и всего для пьянства…» Из публики раздались возгласы негодования, протеста. Чем больше бедные родители вбирали головы, тем победнее сияла Аффа.

Она была одета в плотно прилегающую блузу из зеленого атласа, под туго натянутой гладкостью которой особенно красиво проступала ее значительная грудь; вдобавок сверкающие серьги и высокий испанский гребень в старательно завитой прическе. Странным образом этот помпезный внешний вид повсюду воспринимался как естественный атрибут ее революционного достоинства. Даже кухарка, которая первой уличила Аффу, не находила теперь мужества повторить свои обвинения публично. Это был настоящий триумф обвиняемой, самое замечательное мгновение ее жизни. От ее торжественно разгоряченного лба исходило свечение, когда она поднялась, одновременно победительница и мученица. С поднятой головой, впечатляюще выпяченной атласной грудью покинула она скамью подсудимых и направилась к выходу, не преминув в дверях сверкнуть еще устрашающим взглядом в сторону мышино-серой пары, на лицах которой оставалось озадаченное выражение.

Был ли это последний акт драмы Аффы? К сожалению, нет. Должен был последовать еще мрачный эпилог. Слава ее сошла столь же быстро, как и возникла. Она стала призраком, терзавшим семью, к которой некогда она имела право себя причислять. Когда смеркалось, когда бледнели небо и предметы, мы видели Аффу, блуждающую по улицам нашего квартала. С приближением вечера она все ближе осмеливалась подходить к нашему дому. Она кружила вокруг сада, в котором обычно играла с нами в прятки. Из надежного укрытия мы следили, как она покачивалась и неразборчиво говорила, поверяя свои беспутные тайны пустынной аллее.

Какой опустившейся она выглядела! Ее лицо оставалось полуприкрытым отталкивающего цвета драной шалью. Но мы узнавали не без содрогания пресловутую атласную блузку, некогда символ триумфа Аффы, теперь такую тусклую и заношенную. Фигура, солидная пышность которой была восторгом баварских полков, казалась теперь слабой, бесформенной, отечной массой, промоченной, насквозь пропитанной, разбухшей от многих ливней, многих слез, многих

возлияний.

Она задерживалась перед нашей дверью, словно еще жила у нас и только что вернулась с невинно-увеселительной прогулки. Что искала она в своем черном мешке? Ключ? Но у нее не было его! Несмотря на это, она еще немного копалась, пока наконец до нее не доходило безрассудство собственного поведения. Тут она впадала в гнев. Мы видели, как она совершала верхней частью туловища покачивающееся движение, жест безумия, не лишенный абсурдной красоты. При этом она плевала прямо на наш порог.

То, что случалось затем, было еще более устрашающим. Раздосадованная отсутствием ключа и переменчивостью своих бранных успехов, она поднимала оба кулака и бормотала проклятия. Мы не могли понять слов, но они, должно быть, были ужасны: шипящий звук ее голоса был достаточен, чтобы мы застывали. Еще более ужасным было ее лицо, теперь открытое, так как шаль соскальзывала. Слегка откинутое, оно представало в непристойной наготе тусклому свету уличного фонаря, — нечеловеческая маска, разбухшая под спутанной кроной растрепанных волос. Ненависть и нищета запятнали ее лицо, исказили, разъели, словно чума. Рот зиял, разверстый для немой жалобы, а глаза, стеклянные от похмелья, опустошенно уставились в небо.

Так она стояла минуту — вечность, как нам казалось, — окаменев в жесте проклятия, пока наконец не опускала руки, как-то вдруг уставшая, протрезвевшая. Ее тело, ее черты, даже ее одеяние, казалось, поникали, в то время как она отворачивалась и снова окутывала голову изношенной шалью. Стоял раз прохладный вечер, Аффа мерзла. Сдвинув плечи, поеживаясь, закутавшись в свой легкий платок, она ушла прочь, ни разу не оглянувшись. Мы глядели ей вслед в подавленном молчании. Наконец один из нас крикнул: «Аффа!» Это сделала Моника, самая младшая. Но ответа на ее слабый призыв не последовало: Аффа исчезла в темноте.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА
ВОСПИТАНИЕ
1920–1923

Нас шестеро. Оба младших родились в разгар мятежа и кризиса: Элизабет весной 1918-го; Михаэль годом позже. Благодаря прибавлению новой парочки, Голо и Моника были произведены в статус «средних», тогда как мы с Эрикой повысились почти до ранга взрослых. Рядом с этими крохотными созданиями мы казались себе весьма почтенными и рассудительными, почти как дядя и тетя. Мы должны были признать, что они были в высшей степени забавными и милыми, немного обременительными, когда кричали, но прелестными, когда улыбались или спокойно спали. У Элизабет, прозванной Меди, было сладенькое фарфоровое личико; Михаэль (Биби) производил, скорее, впечатление сангвиника. Элизабет была явной любимицей отца; Милейн, чтобы восстановить равновесие, баловала своего младшенького. Обоим малышам родительская ласка уделялась в повышенной мере, от чего мы, естественно, несли определенный ущерб. Мы осознавали неизбежность этого процесса и принимали его по возможности стойко.

Для Голо и Моники положение было особенно щепетильным, так как, будучи со своей стороны средних лет, они больше не могли конкурировать с Меди и Биби в изящной миловидности, не в силах, однако, тягаться с нами, большими, в живости и жажде приключений. Моника — одновременно застенчивая и самоуверенная — не казалась, несмотря на это, недовольной своим скромным существованием, в отличие от Голо, честолюбивого и сложного, вынужденного проявлять больше энергии и воображения, чтобы создать собственный стиль и свой собственный язык. Глубоко увязший в чудесных картинах и грезах своей Голосферы, он участвовал в наших играх и авантюрах, соблюдая одновременно уважительную и ревнивую дистанцию. Он был тем, кому я поверял все свои фантазии, заботы и планы, потому что он умел хорошо слушать — редкий дар даже у зрелых мужчин и женщин. Я сочинял, хвастал, шутил и жаловался, он оставался спокойным и внимал. Никогда я не узнавал, как перерабатывал его непроницаемый ум мои идеи и какие превращения претерпевали в его душе причуды моей экспансивной фантазии. Он был моим доверенным, я же не был для него таковым, что можно, пожалуй, приписать отчасти моему

наивному эгоизму, отчасти его гордости и его робости.

Его должно было обижать то, что наша близость ограничивалась лишь теми часами, в которые я желал излить свою душу и поведать ему свои истории. Ибо в области реальной жизни я был связан с Эрикой, наша солидарность была абсолютной и безоговорочной. Мы выступали как близнецы: и взрослые и дети воспринимали нас как единое целое. Единственным сектором жизни, который мы не делили, единственной сферой, которая нас разлучала, была школа, докучливая необходимость, о которой пеклись как можно меньше. Эрике не было доступа в мрачную гимназию имени Вильгельма, где я был вынужден сносить столько скучищи, а я не мог участвовать в веселых проказах, на которые она подстрекала своих преданных соучениц в женской гимназии. В связи с этим, вероятно, разделением все подробности тех безотрадных утренних часов совершенно поблекли в моем сознании. Школа была до того бездарной и незначительной, что она даже ни разу не пробудила чувство непокорности. От школьных трагедий, доставлявших так много хлопот отцовскому поколению, мое было избавлено; «учебное заведение» более не принималось всерьез. И не с ненавистью и не с умилением вспоминаю я старую гимназию имени Вильгельма, но лишь со скучным безразличием.

Мне не приходится благодарить государственное обучение. Даже если бы учебный материал был содержательнее и увлекательнее, чем он был на самом деле, то унылый педантизм баварских учителей отравил бы мне и самый интересный предмет. К счастью, подборка литературных произведений была такова, что по большей части не составляло заметной разницы, что с ними предпринимал педагог. Я вспоминаю, что в течение целого семестра мы проводили уроки немецкого за чтением эпической поэмы под названием «Тринадцать лип». Никто не знает, почему. Если меня не обманывает память, речь там шла о сентиментальной эпигонской низкопробщине последней степени, вряд ли годившейся для того, чтобы пробудить или обогатить юношескую фантазию. Большая немецкая литература к преподаванию принципиально не допускалась; нас потчевали Паулем Гейзе и Теодором Кернером, Гёте же и Гёльдерлина{64} тщательно избегали. Все, что я имею в литературном образовании, я обрел вне школьных уроков.

Голоса поэтов смешиваются в моем воспоминании с голосами тех, кто мне их впервые преподносил: есть определенные шедевры немецкой романтической школы, которые я не могу читать, не услышав вновь интонаций глубоко взволнованного и полнозвучного голоса Милейн. Она, пока мы были детьми и нам

было еще трудно читать самим, имела обыкновение читать нам вслух. При этом все проходило чрезвычайно уютно и непринужденно: Милейн лежала на софе, и иногда вторгалась кухарка, чтобы обсудить меню на следующий день. Но такие домашние перебои не могли нарушить очарование, которое исходило от сказок братьев Гримм или чудесных фантастических вещей Тика{65}, Брентано{66} и Гофмана.

Милейн довольно умело вызывала определенные призрачные настроения; Оффи, разумеется, была еще искуснее и динамичнее. Наш литературный контакт с ней начался относительно поздно: мне было примерно двенадцать, когда предприимчивая бабушка однажды в дождливое воскресенье после обеда предложила, дабы скоротать долгие часы между обедом и чаем, почитать нам один рассказ Диккенса. Она выбрала «Рождественский вечер»; успех был полный. С того момента час Диккенса стал регулярным. В последующие годы для нас понятие «Диккенс» и «воскресное послеобеда» были неразрывно связаны друг с другом.

Оффи, бывшая звезда театра Великого герцога в Мейнингене, умела превосходно характеризовать разнообразные типы мира Диккенса. Голос ее звучал дребезжаще и сварливо, когда она воплощала язвительную старую деву; она становилась елейной или резкой, кряхтящей или мелодичной в зависимости от характера и ситуации. Известные забавные чудаки со своими языковыми ошибками и гримасами оживали перед нами, тогда как злодеи тотчас распознавались по коварной мимической игре. Короче, это было первоклассное представление, и мы наслаждались им очень. Мы надрывались от смеха над некоторыми эпизодами «Пиквикского клуба», были в восторге от «Дэвида Копперфилда» и почему-то находили исторический роман «Повесть о двух городах» (в действительности одно из самых слабых произведений Диккенса) еще более увлекательным, чем «Приключения Оливера Твиста».

С театральным темпераментом Оффи конкурировать не мог никто. И все же спокойному голосу Волшебника мы внимали с еще большим благоговением. Иногда — не очень часто — он вопрошал нас с некоей торжественной небрежностью, не почитать ли нам немного после ужина — «если у вас нет других планов», как он добавлял наполовину в шутку, наполовину из рассеянной вежливости.

Других планов у нас не бывало. На душе у нас становилось как-то празднично, когда нам дозволялось вступить в его кабинет, где характерный аромат библиотеки смешивался с запахом его сигары. Книжные шкафы были переполнены; новые публикации приходилось громоздить на столах, стульях и скамьях.

Волшебник, усмехаясь, покачивал головой при виде такого изобилия. «Продуктивность моих дорогих коллег принимает характер бедствия, — замечал он весело и одновременно озабоченно. — Мне б и в самом деле надо заиметь новый книжный шкаф. Наверху на вашей маленькой предфасадной площадке для завтраков было бы, наверное, самое подходящее место».

Мы смеялись. Это было так свойственно ему — говорить о передней на втором этаже, где мы пили свой чай, как о «вашей маленькой предфасадной площадке для завтраков». И как типично для Волшебника — этот внезапный интерес к месту расположения нового книжного шкафа! В общем он относился совершенно безразлично к тому, что происходило в доме. Ни новый холодильник, ни наши отремонтированные велосипеды не могли пробудить его любопытство. Но как только речь заходила о его частной, личной жизненной сфере — его гардеробе или библиотеке, — каждая деталь казалась ему исключительно важной. Его раздражало, его просто оскорбляло, если он обнаруживал какой-нибудь мелкий предмет с письменного стола не на своем привычном месте; тот самый Волшебник, который был способен не заметить где-нибудь в доме несколько новых кресел, сетовал, если со слепых глаз его гомеровского бюста плохо стерта пыль.

Мягкий педантизм в его личной сфере повышался еще более, когда дело касалось какой-либо любекской фамильной реликвии. Монстры в стиле барокко — чучела медведей или разукрашенные золотым витиеватым орнаментом кружки — годами хранились как драгоценные сокровища, в память о прошедших днях рождения или деловых юбилеях. По сути, он, конечно, полностью сознавал свою слабость и предавался ей не без самоиронии. Примечательно, что ему бы никогда не пришло в голову обезобразить свою собственную спальню или свой рабочий кабинет уродливыми медведями и урнами; причудливые вещи из наследства закреплялись за столовой или «верхней» передней. Единственным сувениром ганзейского происхождения, украшавшим его рабочий кабинет, была пара высоких семисвечных из хорошо отделанного бронзой с позолотой дерева светильников, которые стояли недалеко от письменного стола перед стеклянной дверью. Вечерами, когда дверь прикрывалась зелеными бархатными портьерами, крупные канделябры делались весьма эффектными.

«Надеюсь, где-нибудь вы себе местечко отыщете», — говорил отец рассеянно и обнадеживающе. После этого сам он занимал место в большом кресле у торшера. У нас только-только хватало

времени спихнуть с табуретов некоторые новинки издательства С. Фишера. И затем начиналась большая беседа.

Любимыми его авторами были русские. Он читал нам толстовских «Казаков» и удивительно детские, примитивно-дидактические притчи его последнего периода. Мы слушали повести Гоголя и даже кое-что Достоевского — а именно тот жуткий фарс, который носит название «Скверный анекдот».

Действительно, отцу приходилось многократно прерывать свое чтение, сотрясаясь от смеха, в котором, казалось, искреннейшая веселость перемешивалась с легким ужасом перед столь зловещим комизмом.

В другой раз он выбирал что-нибудь более невинное или романтическое. Ему мы обязаны нашим первым знакомством с сочным юмором великого Марка Твена. Или он блестяще преподносил одну из жемчужин великой немецкой традиции — достойную любви новеллу Мёрике о Моцарте{67}, трогательную историю Грильпарцера{68} о бедном музыканте или обольстительно-темную, магически-завораживающую сказку Гёте{69}.

Несомненно, прекрасные вечерние часы в отцовском кабинете стали не только толчком для нашей фантазии, но и для нашего любопытства. Однажды вкусив чары и утешения большой литературы, хочешь овладевать все большим — другие смешные истории и мудрые притчи, многозначительные сказки и удивительные приключения. И так начинаешь читать для себя.

У нас никогда не было случая путешествовать, кроме как между Мюнхеном и Бад-Тельцем. В тринадцатилетнем возрасте я еще не видел моря и не знал ни одного большого города, за исключением того, в котором мы жили. И вот книги стали тем волшебным экипажем, который уносил меня далеко, в невиданные дали. Город Багдад и Исфахан раскрывали свои сладостные и опасные тайны, напоенные ароматом мускуса, крови и роз, дурманящее волшебство восточных дворцов и базаров было еще неотразимее, чем продуваемая ветрами ширь американских прерий, с которыми мы познакомились в куперовских историях о Кожаном Чулке.

Как многообразен и безграничен ландшафт фантазии! Мы путешествовали с Гулливером к великанам и лилипутам, с Жюлем Верном к центру Земли и на Луну. Маугли, грациозно-дерзкое человеческое дитя среди волков, змей и обезьян, скрывал меня в убежищах и местах охоты индийских джунглей; с Робинзоном Крузо на необитаемом острове я наводил такой уют, какого только пожелаешь. Соленой свежестью овевал воздух в северной стране сказок Сельмы Лагерлёф; с каким удовольствием

дал бы я мощным взмахам крыльев ее гусей унести себя к фьордам и скалам!

Часто мне кажется, что только тогда, тринадцати-четырнадцатилетним, я и умел читать по-настоящему. Каким разборчивым и нетерпимым стал я с тех пор! Ныне мне надо преодолеть мощные барьеры, прежде чем приняться за толстенное чтиво; в те же далекие дни наидлиннейшие драмы и эпос были для меня недостаточно объемисты. Стоило однажды пробудиться моему интересу к определенному автору, как я жадно глотал все собрание его сочинений: двенадцать томов Шиллера, четырнадцать томов Хеббеля![70] Чем больше написали господа, тем выше они оценивались мною…

Собственные мои незрелые попытки были, естественно, лишь слабым и сбивчивым эхом многообразных настроений и мыслей, которые я впитывал в себя с таким ненасытным голодом. Мое продуктивное усердие чуть отставало от моего восприимчивого энтузиазма. Не знаю, сколько школьных тетрадей заполнил я своими драматическими набросками, лирическими излияниями и фантазиями в прозе, но боюсь, что число «томов», которые я изготовил в четырнадцать или пятнадцать лет, должно достигать сотни. Я писал любовные истории и истории с убийствами и исторические трагедии. Я писал о вещах, совершенно чуждых моему опыту, в которых я ничего не понимал и не мог понимать. Я писал без цели и плана, только чтобы писать. Никто не читал этой ерунды, кроме Голо, который знал почти все наизусть. Иногда я заставлял его, используя сильнейшие психологические и физические средства давления, отнести стопку моих неразборчиво исписанных записных книжек в редакцию литературного журнала или редактору какого-то издательства. Он прилагал все усилия убедить подозрительного портье, что эти детские с виду рукописи являются произведениями его вдохновенной мачехи, знаменитой поэтессы Наташи Хубер. Но стражи с отеческой усмешкой или сочной бранью давали ему поворот от ворот славы. Мы с Голо были до глубины души поражены низостью и невежеством наших современников.

Мало-помалу я отважился на автобиографические темы. Чем шире становился мой собственный горизонт и возрастала интенсивность внутренних происшествий, тем больше претило мне копировать неуместные образцы. Испытав свои силы в столь многих досужих подражаниях, я ощутил потребность в самопознании и самоизображении. Я честно старался, пусть все еще напыщенным и несоразмерным слогом, высказать заботы и сомнения, которые меня действительно допекали. Почему обретаемся мы в этом запутанном и безумном мире? Каково

значение всех тех фарсов и трагедий, в которые мы оказываемся впутанными? Что скрывается за пустыми остротами и сомнительными оценками взрослых? Что есть гений? Я — гений? Почему нет? Где Бог? Реальность ли Бог или он лишь одна из многих наших иллюзий?

Мне было лет четырнадцать, когда я набросал длиннейший трактат, посредством которого раз и навсегда хотел доказать несуществование Бога. Сам по себе факт, утверждал я, что люди молятся столь многим различным богам — аллаху, Иегове, католическому Богу, Богу Мартина Лютера, — подсказывает догадку, что его, очевидно, вообще не существует. И я яростно ссылался на столь запутанное положение Бога в войне. Как объяснить, что обе враждующие партии взывали к одному и тому же божественному авторитету? Господь принимал противоречащие друг другу челобитные, не вставая на сторону ни одной из враждующих групп. Итак, чьим же он был Богом? Богом кайзера и генерала Людендорфа или Богом мосье Пуанкаре и президента Вильсона? Или же он не симпатизировал ни одной из сторон, но просто смотря по обстановке держался заодно с сильнейшим? Прелестный нейтралитет! И перед таким столь ненадежным оппортунистическим божеством валяться на коленях? Еще и благодарить его за все эти благодеяния, что он даровал нам, — войны, железнодорожные катастрофы, аппендициты, домашние задания по латыни? Бог, который так вел себя, не мог претендовать на наше почитание; он может радоваться, если мы ему прощали. «Есть единственное извинение для Бога — то, что он не существует…» Не думаю, что в ту пору я уже знал стендалевскую замысловато-многозначительную остроту. Ницше назвал ее единственной атеистической шуткой, которую охотно придумал бы сам, чего я, однако, в свои четырнадцать еще не знал; иначе в своем трактате я наверняка процитировал бы как Ницше, так и Стендаля и солидаризировался бы с обоими.

Но и без столь сиятельного ассистирования я пришел к убедительному заключению, что все дело с дорогим Богом является явным надувательством, очевидным трюком для запугивания и эксплуатации масс. Я заканчивал свое размышление обычной провокацией: «Если Ты существуешь, Господи, почему не накажешь меня за мое богохульство? Я не верю в Тебя, Бог! Ты слышишь меня? Почему Ты не поразишь меня знаменитым Твоим громом? О, я знаю, в чем дело; Ты не поражаешь меня, потому что Ты меня не слышишь; Ты не слышишь меня, *так как Ты не существуешь*».

Что от меня тогда ускользнуло, так это тот парадоксальный

факт, что подобное детское бахвальство все же как-то предполагает и признает существование Бога, как, впрочем, и стендалевское кощунство. Проклинать Его — уже означает исповедовать Его. Да, я подчас думаю, что богохульный протест ближе подлинно религиозному чувству, чем ханжество какого-нибудь бравого прихожанина…

И все-таки как поверхностны и тривиальны даже самые страстные, искреннейшие сомнения по сравнению с чудовищным фактом очевидной, необъяснимой реальности Бога! Как жалок ропот крохотного грешника перед лицом Его молчаливого величия! Он терпелив. Он ждет и внимает, недвижный, неколебимый. Молча терпит Он лицемерные молитвы и инфантильные поношения, которые поднимаются к Нему с нашей планеты. Все это имеет не больший эффект, продлится не дольше, чем стук глиняного колокольчика. В ледяном безмолвии ждет Он подлинной мольбы, действительного стенания. Он требует истины, квинтэссенции, сердца и мозга нашего бытия. Меньшим Он не удовольствуется. Ужасными карами Он добьется правды нашей жизни. Громы — это игрушки, мистический фокус-покус. Великий Молчальник не снизойдет до таких дешевых демонстраций. У Него есть время. Он терпелив. Он велик. Он выше всяких слов.

Давай же, маленький крикун, дразни своего господина! Не будет никакого наказания, никакой реакции — не теперь, глупый карапуз! Еще нет… Приговор будет приведен в исполнение, но не тотчас. А знаешь, что тебя ожидает? Ты будешь лежать в прахе перед величием, над которым ты сейчас по-детски глумишься; извиваться ты станешь и молить о милости. Тогда-то Он заговорит с тобой. Да, ответ придет, он тебя не минует. Раны, слезы, тщетные взлеты, неосуществленные надежды — ты это переживешь, выстрадаешь, будешь выпотрошен и оставлен коленопреклоненным под Его могущественной дланью…

Но что ты знаешь обо всем этом? Тебе только четырнадцать. Только четырнадцать… Твое детское личико, гладкое и чистое, силится принять трагическое выражение. Ломая голову над своим дневником, незадолго до ужина, ты пытаешься высказать то, что теснит твое сердце. Наконец записываешь такие слова:

«И снова наступает ночь. Как тоскливо… Я должен, должен, *должен* стать знаменитым…»

Юность ужасно эгоистична. Четырнадцатилетний обладает, подобно зверю или гению, замечательной способностью держать от себя на расстоянии все проблемы и феномены, которые не оказывают непосредственного воздействия на его порывы.

Никогда до или после того в жизни не был я в такой степени отрешенным и одержимым своим Я, как в этот период, с тринадцати до семнадцати лет. Интерес к литературе настолько захватил меня, что у меня отсутствовала всякая склонность, всякое понимание социальных вопросов.

После крушения Баварской республики Советов и последовавшей реакционной военной диктатуры убыл мой политический интерес. Я больше почти не читал газет или же ограничивался литературным приложением. Даже такое столь драматическое событие, как убийство министра иностранных дел Вальтера Ратенау{71} в 1922 году, оставило меня довольно холодным. Насколько сильнее подействовало на меня тремя годами раньше известие о смерти Эйснера! А ведь Ратенау был несравненно значительнее убитого баварского премьер-министра не только как государственный деятель, но и как литератор. Подлое преступление, учиненное над ним фанатичной молодежью, характеризует один из самых тревожных моментов развития Веймарской республики. Я ощущал безумие, гнусность акции и испытывал отвращение, но недостаточно сильное. Я был слишком горд своим соблюдением дистанции, своим аристократическим скепсисом. Чернь была жестока и глупа; она аплодировала убийцам, которые в свою очередь были чернью. Надо ли этому удивляться? Стоило ли протестовать против этого? Благородный юноша, полагающий, что он все знает, все видит насквозь, был настроен, скорее, на то, чтобы, презрительно сморщив нос, удалиться в одиночество.

Я считал Мюнхен глупейшим, скучнейшим и провинциальнейшим городом мира, наверное, потому, что он был единственный, который я знал. Кроме того, баварская столица к тому времени имела плохую репутацию у прессы либеральных кругов. Мюнхен слыл цитаделью реакции, центром антидемократических течений и интриг. Издатель одного берлинского левого еженедельника преподносил все известия из города на Изаре под крупным заголовком: «Из вражеской заграницы». Мюнхенцы со своей стороны были убеждены в том, что Берлин управляется бандой еврейских спекулянтов и большевистских агитаторов.

Политика была бесполезной и удручающей; я отказывался заниматься ею. Что я знал о таких решающих событиях, как оккупация Рейнской и Рурской областей союзниками? Да то, что заимствовал из ярких плакатов, развешанных по всему городу. Я тщательно изучал их; не без приятной жути читал я кошмарные истории о поведении цветных оккупационных войск. Одно сообщение глубже всего сохранилось в моей памяти. Речь там

шла об одном марокканце, который якобы изнасиловал не только дюжину отроковиц и отроков, но вдобавок еще — высшая степень развращенности — ладную кобылу, единственное имущество честного крестьянского рода. Эта абсурдная выдумка преследовала меня годами, почти столь же продолжительно и интенсивно, как определенные сцены ужасов из «Хижины дяди Тома». Экстраординарная потенция бесстыжего африканца подействовала на мою фантазию, а так называемый «национальный позор» едва ли производил на меня какое-либо впечатление. Красивое стихотворение или картина казались мне интереснее «черного бесчестья» Дюссельдорфа (если, конечно, шла речь не об изнасилованной кобыле) или обесценивания немецкой марки. Невелика разница, составят ли наши карманные деньги двадцать пфеннигов или двадцать марок: на бумагу для писания всегда хватает.

У нас дома жизнь была теперь менее спартанская, чем в мрачные дни 1917-го. Еда, правда, все еще оставляла желать лучшего, но время гнилой картошки и брюквы миновало. Наш образ жизни начал принимать определенную степень буржуазной элегантности, прежде всего благодаря неустанной заботе Милейн. Мы, дети, никогда не спрашивали себя, как это удавалось ей держать на ходу большое домашнее хозяйство, без роскоши, но все-таки бесперебойно и комфортабельно. Мы все считали само собой разумеющимся, что она способна творить чудеса, поддерживаемая Волшебником, которому, конечно, тоже нельзя было отказать в магическом на свой лад таланте.

Особенно плодотворным оказалось сотрудничество одаренной четы в жанре прибыльных посланий, которые они вместе составляли для Соединенных Штатов Америки, или, скорее, писем; их, собственно, писал отец (непринужденная болтовня о немецких обстоятельствах и проблемах), после чего Милейн немедленно все перепечатывала и спешила на почту отправить в Нью-Йорк заказным письмом драгоценные страницы. Адресатом являлась личность или контора, которая именовалась «Дайел пресс» и была, по-видимому, не только богатой, но и доброй.

Ибо стоило только «Дайел» получить заказную посылку, как она в свою очередь отсылала нам самые радужные приветы. Это всегда чуточку напоминало Рождество, когда прибывали красивенькие чеки из Нью-Йорка. Милейн, радостно возбужденная, доставала из подвала свой велосипед и спешно катила в маленький банк господина Фейхтвангера. Там она получала внушительную кину добрых, солидных немецких инфляционных марок взамен декоративных, но все же несколько

легкомысленных записок, которые использовались в Америке в качестве денег.

Мы продали Тельцхаус и всю выручку вложили в военный заем. Это, несомненно, доброе патриотическое деяние, однако, с деловой точки зрения, промах. Доходы от немецких книг были все еще весьма скудными, но Волшебник с неистощимым оптимизмом полагал: «Нет оснований для тревог, покуда у нас есть наша „Дайел“»[72].

Он тогда почти полностью вернул свою умеренно веселую манеру держать себя; раздражительный колдун, который копался в глубинах германской души, становился мало-помалу военным воспоминанием, как флаги, песни и тяжелораненые. Ныне все это было позади, и отец вновь мог обратиться к мирным трудам, которые он прервал в августе 1914-го из патриотического чувства долга.

К началу войны он был занят двумя прозаическими произведениями; теперь он колебался между этими проектами, которые оба казались заманчивыми. За что ему следовало взяться сначала: записки авантюриста Феликса Круля, остроумно-задорную вариацию его старой темы — моральная нечистоплотность творческого человека, — или маленькую новеллу, действие которой разыгрывается в разреженном воздухе одного швейцарского легочного курорта и исследует деликатные взаимосвязи между смертью и любовью, туберкулезом и чувственностью? Круль был очень занимателен, но и санаторная история имела свои прелести. Из этого должно было получиться что-то вроде легкого противопоставления, сатирического проигрывания «Смерти в Венеции». Можно бы назвать это «Волшебная гора» — неплохое заглавие для зловеще-юмористической сказки о болезнях… В материале недостатка не было: тут имелись письма Милейн времен ее различных пребываний в Давосе и Арозе[73] и собственные дневниковые записи, которые во время кратких пребываний там наверху были в мудром предвидении положены на бумагу. Выбор между обаятельным уголовником и не менее соблазнительными туберкулезниками был тяжел. В конце концов он решился на третий сюжет, а именно на нашего славного пса Баушана.

Вот уж всегда вредно форсировать события. Жизнь длинна, она дает нам достаточно времени для исполнения разных проектов. Если колеблешься между двумя заманчивыми темами, то это может означать, что момент неблагоприятен для обеих. Но в мире так много вещей, о которых можно писать; вот, к примеру, собака — забавное и достойное любви создание неопределенной породы. Продолжительные прогулки в обществе Баушана были

утешением и отдыхом в тяжелое время. Почему бы не поставить любимой дворняжке скромный памятник?

Можно обойтись без действия. Ничего не надо, кроме точности, доброжелательной аккуратности при описании Баушанова своеобразия. Ландшафт на реке Изар представляет собой прекрасный фон, непритязательный, при этом неповторимый. Будет увлекательно мысленно и на бумаге еще раз пройтись по многим тропинкам, где так часто бродил в веселом обществе Баушана. Коли даже сам, описывая, развлекаешься, то и написанное получится не скучным. И в самом деле, история «Хозяин и собака» читается приятно, даже без напряженного сюжета.

Это — идиллическое мгновение в жизни автора, потому уместным кажется довольствоваться чисто идиллическим материалом. Оставьте другим, помоложе, посмелее, предаваться экстатическим видениям и вызывающим экспериментам! Баушан интереснее, *действительнее* вашего экспрессионизма, этой туманной мешанины из оптимистически-революционных и мистически-апокалипсических настроений и акцентов. Долгая литературная карьера богата превратностями и перепадами; за фазой быстрого движения наступают спокойные времена. Как раз теперь мы находимся в одном из спокойных периодов. Невозможно и непостижимо находиться всегда в свете рампы, всегда на вершине, в авангарде. Если модное направление не согласуется с нашими внутренними наклонностями, нашим темпераментом, благое дело отойти на некоторое время от литературного процесса. Чего нам расстраиваться, если пара молодых краснобаев называет нас стерильными и старомодными? Лихорадочный темп этого послевоенного поколения поведет, может быть, не так далеко, как наше осмотрительное продвижение вперед. Мы переждем. Мы воздержимся.

Автор «Размышлений» мог бы легко сделаться вождем и фаворитом реакционной клики. Но лестные предложения, которые делались ему из этих кругов, он отклонял со спокойной вежливостью. Сродство между ним и немецкими националистами, если оно когда-либо существовало, было преходящим и отчасти ошибочного толка. Даже в самых своих тевтонских настроениях он не имел ничего общего с жестокостью и сентиментальностью агрессивного ура-патриотизма. Но его добросовестному уму требовалось время, чтобы основательно подготовить решающий поворот к демократии, обращение к республике. Начиная колебаться между двумя патриотическими убеждениями, он снова становится аполитичным.

Насколько я могу припомнить, тогда у нас вряд ли были

какие-то политические разговоры. Возможно, я просто не прислушивался, когда взрослые беседовали о политике; тем не менее мне кажется, что разговор вертелся большей частью вокруг тем культуры. И гости, казалось, тоже больше интересовались литературой и музыкой, чем выборами или партийными программами.

Мы, дети, классифицировали и оценивали друзей наших родителей, как если бы они были шутниками, нанятыми для нашего удовольствия. Некоторых из них мы находили блестящими — виртуозы в области искрометной беседы, — тогда как другие считались безнадежными занудами. Ни одному из посетителей, пожалуй, не приходило в голову, что мы сидим напротив него как строгие судьи. Скорее мы производили впечатление послушно-робких детей, которые едва ли как-то участвовали в беседе, но умели хранить уважительное молчание. От нас, однако, не ускользало ни единое слово из разговора взрослых, и мы обменивались насмешливыми взглядами, когда шутка не имела успеха. Удачные остроты мы отмечали кивком головы со знанием дела; если гость нас не удовлетворял, мы по возможности сразу же после стола удалялись. Иногда завзятый остроумец оказывался разочарованием или вдруг общепризнанный зануда был поразительно занятен. Тогда после ужина мы вдоволь наговаривали друг другу: «Жаль! Бьёрн был сегодня совсем не на высоте» — или: «Профессор Литцман был для разнообразия почти остроумным!» Это звучало так, как если бы мы обнаружили слабинку в голосе Карузо или неожиданный блеск в голосе неизвестной хористки. Но в общем признанная иерархия сохранялась: любимцы оказывались на высоте, скучные были так скучны, как только можно пожелать.

Что касается Бьёрна Бьёрнсона, сына знаменитого норвежца, то он был действительно «потрясающе занятным», как он сам имел обыкновение говорить о своих историях, очень резко выговаривая при этом «с» в слове «потрясающий» на потешно-иностранный лад. Мы делали на него небольшие ставки из-за его норвежского акцента, его великолепно белоснежной шевелюры и его бесчисленных анекдотов о Генрике Ибсене, Эдварде Григе и всем северном Олимпе. Он был рассказчик высокого старого стиля, тип, вымирающий, как викинги.

Категории гостей были различные: великие проезжие, которые задерживались в Мюнхене только на пару дней, временные близкие, которые появлялись в определенные периоды очень часто, чтобы затем опять показываться редко и в конце концов совсем исчезнуть; и, наконец, настоящие друзья.

Бьёрн, который проводил всю жизнь то в Норвегии, то в

Италии, был идеальным представителем первой группы. Другие делали у нас остановку на своем пути из Вены в Берлин — Якоб Вассерман{74}, например, одновременно лукавый и мрачный, полный вдумчивого достоинства, неуклюжий и важный, или Гуго фон Гофмансталь{75}, чьи стихи я любил еще подростком, но в чьей личности — при всем ее неуловимо-уклончивом очаровании — я в ту пору еще не разбирался. Кроме того, были путешествующие с севера, *en route* [15]из Берлина к баварским озерам, в Тироль или Венецию. Господин Фишер, издатель, развлекал нас своей патриархальной веселостью и своей огромной нижней губой. Герхарт Гауптман, который тоже время от времени удостаивал нас вниманием, как известно, внешне напоминал Гёте, что само по себе уже делало его интересной фигурой в наших глазах. К этому добавлялась еще выразительная игра морщин на его мощном лбу, внушительная невнятность его речи и пророческий полет его бесцветного, притом повелительного взгляда. Но его своеобразное обаяние я постиг гораздо позже через господина Пеперкорна. Персонаж из «Волшебной горы» передает квинтэссенцию, секрет гауптмановской личности, которая тогда впечатляла нас, детей: одновременно стихийность и несовершенство этой поэтической натуры, обаяние, трагичность маскообразной псевдозначительной физиономии…

Гауптман не был другом; его редкие посещения с гордой супругой и слишком уж элегантным сыном Бенвенуто носили характер официальных государственных визитов уже по необычно большому потреблению красного вина и шампанского. Другом, почти членом семьи был «крестный» Бертрам (он крестил Элизабет, «детку») — профессор Эрнст Бертрам{76} из Кёльна, который свои долгие каникулы проводил в основном в Мюнхене, часто в нашем доме. Он не был ни виртуозом занимательности, ни занудой, но мягким разговорчивым человеком, который любил свои рассудительные речи сопровождать педантично-грациозными профессорскими едва заметными жестами. Мы охотно его слушали, когда он болтал о тонких, высоких материях — о Гёльдерлине, Платене, Ницше, готических соборах и фугах Иоганна Себастьяна Баха. Иногда он мог становиться весьма ехидным, особенно когда заводил беседу — что случалось нередко — о положении в оккупированной Рейнской области. О цветных солдатах он говорил с ненавистью и издевкой, называя их «обезьянами» и «скабрезниками», да и французов он ставил немногим выше. Национализм принял у него в последующие годы характер навязчивой идеи.

Другим частым гостем, квартировавшим как в Мюнхене, так и

в Тельце, был Ганс Рейзигер[77], поэт и переводчик, — намного веселее и терпимее, чем ученый-крестный. С Рейзи можно было пойти поплавать и поиграть на лугу, можно было с ним «подурачиться» (он был исключительно одаренный «шут») и можно было заставить его рассказывать о звездах; он знал все их названия и ведал, насколько они удалены — невообразимо, ужасно далеко… Мы любили Рейзи, были всегда любимы им. Он долго принадлежал нам и наверняка остался бы охотно нам верен, если бы люди не затруднили ему это. Нельзя требовать от великодушного и любезного, но ипохондрически-робкого и неустойчивого характера большего, чем он может дать…

Ганс Пфитцнер был лишь другом военных лет, он окончательно отошел, когда мой отец избрал республику. Романтический композитор, респектабельный, хотя и несколько анемичный имитатор немецких мастеров, был оголтелым консерватором, если не сказать махровым реакционером. Духовный контакт между ним и отцом продолжался примерно столько же, сколько работа над «Размышлениями аполитичного». Лучшая, может быть, глава в этой проблематичной книге та, которая трактует пфитцнеровский шедевр «Палестрина». Мы, дети, не очень симпатизировали нервному и язвительному маленькому господину с жиденькой козлиной бородой. Наши герои были другой стати. Вот два Бруно, например: Бруно Вальтер[78] и Бруно Франк[79].

Бруно Франку, собственно, надлежало бы отвести место среди мифов детства; наша дружба началась, когда мы были маленькими детьми, и он был чудесен. Он покорял нас своим размахом, своим теплом, своими роскошными подарками и веселыми историями. Позднее мы любили его за его книги, которым свойственна та же мужественно-сердечная светскость, какая составляла обаяние его личности. Волшебник и Милейн всегда, когда он бывал у нас, казались особенно оживленными. Его визиты — частые, но нерегулярные, потому что он много путешествовал, — были одновременно задушевными и праздничными. Он был щедрым и жизнерадостным дядюшкой, который еще качал нас на коленях; но к прелести такой старой близости добавлялось и очарование авантюрно-светской эксцентричности. Рассказывали поразительное о его успехах у женщин, о его рискованных ставках за карточным столом в Монте-Карло, Каннах и Баден-Бадене. Иногда он говорил о своих долгах, своих кредиторах — никогда без сердечного гудящего смеха. «Ваш старый дядя Бруно опять сел-таки основательно в лужу», — поверял он нам. Подобные признания необычно услышать от взрослого. Бруно был единственным в своем роде.

Притягательность, которая исходила от Бруно Вальтера, была совсем другого рода, однако не менее неотразима. Великий дирижер был нашим соседом в приветливом квартале вилл, где все знали друг друга. Однако никто не осмелился бы приблизиться к нему, когда он ехал на трамвае к центру города, где располагалось здание оперы. Я вижу его перед собой стоящим, как обычно, на трамвайной платформе, углубившимся в мысли, с чуть бледным, переутомленным лицом под широкополой шляпой, со взглядом, задумчиво устремленным вдаль. Вокруг него было таинственное Нечто, отдалявшее от окружающего, — магическое эхо музыки.

В кругу своих или у нас в гостях он держался сердечно и непритязательно. Он боготворил двух своих дочерей, обеих наших любимейших подружек.

Мы виделись с ними каждый день, они были нам как сестры. Гретель, младшая, моя ровесница, походила на отца; темные выразительные глаза, голос, жестикуляция — все у нее от него, как и музыкальность, проникающая до кончиков пальцев, передавалось походке, улыбке, взгляду человека. Гретель была обворожительна, дика и боязлива одновременно, хрупко-нежная и безыскусная по характеру. Я находился под ее обаянием и ничтоже сумняшеся назначил ее своей первой любовью. В виршах, которые я ей посвящал, я стилизовал ее в жестокую красавицу, подходило это ей или нет. Ей полагалось быть столь же капризной, столь же демоничной, как дамам, от которых страдал юный Генрих Гейне; ибо я тоже желал страдать.

Лотта, слишком взрослая, чтобы рассматривать ее в качестве объекта моих лирических излияний, взяла на себя роль бескорыстной поверенной. Впрочем, я никоим образом не был невосприимчив к нежным прелестям. Если Гретель представляла идеальный тип пикантной брюнетки, то ее старшая сестра, не менее привлекательная, относилась к категории мечтательных блондинок. Обе казались мне безмерно соблазнительными и достойными восхищения, ибо они обладали не только своим собственным очарованием, но и чарами чужого и удивительного мира — мира оперы, симфонических концертов, всей магической сферы музыки и театра.

Музыка была чем-то прекрасным и возвышенным, особенно когда за дирижерским пультом стоял Бруно Вальтер; театр был еще лучше. Но наилучшим из всего была опера — счастливое соединение драмы и симфонии, совершенное наслаждение искусством. Так это казалось нам тогда. В зрелые годы обычно менее склонны признавать музыкальную драму высочайшим эстетическим откровением: но наивный впечатлительный дух с

некритическим энтузиазмом реагировал на комбинированный эффект красок и мелодии, синтез балета и трагедии, священнодейства и цирка, чистого чувства и праздничного пестрого бурлеска.

Мюнхенская опера при Бруно Вальтере была первоклассной. Великий капельмейстер собрал вокруг себя ансамбль великолепных голосов: проникновенное сопрано Делии Рейнгардт, несравненное колоратурное сопрано Марии Ивогюн{80}, мощный бас Бендера, благородно-одухотворенный тенор Карла Эрба{81}, звучный баритон Густава Шютцендорфа и много других. Знаменитый институт — один из центров европейской музыкальной жизни во времена Бюлова, Моттля{82} и Леви{83} — переживал свою вторую молодость, поздний расцвет, вероятно последний.

Оба левых угловых места первого ряда всегда были зарезервированы для «господина генерального музыкального директора», и благодаря именно этим привилегированным местам мы смогли присутствовать на множестве великолепных постановок. Блестящий ряд моих ранних оперных переживаний, начинается с «Гензеля и Гретель»{84} — этой любимейшей из всех музыкальных сказок, которая была бы еще более достойной любви без мощных эффектов оркестровки, которую маэстро Хумпердинк, к сожалению, перенял от вагнеровского стиля. Годами мы с Эрикой не могли ответить на вопрос, какой опере отдать предпочтение — «Гензель и Гретель» или «Ундине»{85} Лортцинга{86}, которая была первым оперным впечатлением Эрики. Эрика была очень честолюбива и ревниво отстаивала приоритет «Ундины». Это была ее опера, ее персональное достояние, так же как «Гензель и Гретель» — мое.

«Летучий голландец» принадлежал нам обоим, ибо им мы наслаждались вместе, с воспоминаниями об этом вечере и связано впечатление, что еще и сегодня это раннее, словно бы «предвагнерианское» творение осталось любимейшим из всех вагнеровских опер. Относительно непритязательная, относительно невинная романтика этой драмы и этой музыки — музыки, которая еще не отрекается от своего родства с Лорцингом, Маршнером{87} и Вебером, — действует на меня трогательнее и убедительнее, чем агрессивное величие «Кольца» или нарочитая фольклорность «Мейстерзингеров»{88}. Уже открывающая спектакль сцена очень впечатляет, если хоть сколько-нибудь симпатизировать кораблю призраков и его поющей команде. В мюнхенской постановке зловещий характер судна в высшей степени эффектно подчеркивался обильным использованием голубоватых снующих молний: то, что

разыгрывалось на сцене, было своего рода обманчивой зарницей, наблюдать это было крайне волнующе и доставляло наслаждение. Тем больше я жалел бедную Эрику, которая сидела так далеко слева, что из этого призрачного великолепия не могла разглядеть ровным счетом ничего. Естественно, она разразилась слезами — единственная уместная реакция ввиду такого удара судьбы. Когда, однако, Голландец выступил вперед и трогательно оплакал свое несчастье, она скоро забыла про свое.

Как много незабываемых часов! Какое разнообразие лиц и мелодий! «Риголетто» и «Лоэнгрин», «Мадам Баттерфляй» и «Аида», «Дон Паскуале» и «Кавалер роз», «Вольный стрелок» и «Фигаро», «Ганс Гейлинг» и «Дон Жуан»{89} — какое великолепное, расточительное изобилие драматического благозвучия! Я влюбился в образ Кармен, а думал, что очаровала меня певица Луиза Виллер. Она была импозантной брюнеткой, роскошный голос, неподдельный темперамент. Я послал ей сердце из медового пряника с октябрьского народного гуляния и попросил автограф. Она приняла сердце и осчастливила меня надписанной фотографией. Карменсита верхом на табурете, черный локон на лбу, сигарета наискосок в уголке рта, каждый дюйм — бессовестной неотразимости. Первый и последний раз в своей жизни я послал даме пряничное сердце в качестве знака своего поклонения и просил ее дать автограф.

Опера была нашей грезой, нашей великой любовью. Если вальтеровские места были отданы другим, то мы не унывали, простаивая часами сперва перед кассой, затем у театрального входа, лишь бы только оказаться среди первых, когда открывались двери. Слегка усталые, но в высшей степени в прекрасном настроении слушали потом «Гибель богов» или «Травиату». Стоя, конечно!

Почти столь же волшебно, как и сама постановка, даже в некотором отношении еще чудеснее, было, когда Бруно Вальтер проигрывал своим дочерям и нам что-нибудь из оперной партитуры. Усердный папа старался, словно мы были директорами театров, которых стоило убедить в замечательности и сценичности произведений. «Вы должны к этому еще представить себе декорации, — кричал он по ходу музыки. — И костюмы! Итак, Царица ночи появляется на заднем плане, паря на лунном серпе…» В то время как его пальцы исторгали из клавиш звучание целого оркестра, его уста — голоса Памины, Папагено, Зорастро, трех резвых дам{90}. Он прерывался, чтобы с воодушевлением указать нам на особые красоты; он жестикулировал, шутил, кукарекал, гремел, жужжал; он был лирическим тенором, флейтой, колоратурным сопрано, большим

барабаном; он доводил нас до смеха и до слез; мы почти понимали произведение или угадывали его величие благодаря этому неотразимому, восхитительному и восхищающему красноречию.

Все это стоит перед моими глазами! Из глубин памяти всплывает затонувшая картина, вызванная на поверхность моим страстным желанием, моей нежностью. Вот она снова — сцена, которая, казалось, давно прошла. Она движется, дышит, звучит; она современна, непреходяща со своими мелодиями, взглядами, жестами и смехом.

Праздничные, веселые послеобеденные часы — как хорошо пережить их еще раз! Вот знакомое помещение, вальтеровская гостиная с большим портретом Густава Малера на рояле, а снаружи знакомые деревья, знакомая мостовая доброй старой Мауеркирхерштрассе. Лотта, Гретель, Эрика и я сидим на обитой скамье, которую мы придвинули ближе к роялю. Мы сотрясаемся от смеха, потому что Куци — так называют вальтеровские девочки своего Волшебника — представляет нам невероятную жалобу Папагено: «Я, бедолага, так наказан, ибо лишился языка…» Это очень, очень комично, наше ликование разносится по всему дому.

Фрау Вальтер спускается вниз по лестнице, шурша платьем, причитая и жестикулируя. Она воздевает руки в пышном пестром домашнем одеянии из жесткого шелка; ее голос резок, она ведь жалуется и бранится: неужто Бруно нечего больше делать, как играть нам, глупым озорникам, музыку? Уже давно пора переодеваться в оперу! Гретель еще не сделала своего домашнего задания. А Лотта должна наконец написать тете Труде просроченное письмо. Что же касается детей Маннов, ну, так они же известны! Ничего, кроме безобразий, в голове… Между тем фрау Вальтер не может все-таки удержаться от смеха, так как Бруно, отчаянно пожимая плечами, изображает юмористическую гримасу боли Папагено, которому дамы зажали рот.

Мы благоволим к фрау Вальтер. Ее брань носит характер полушуточного ритуала; веселый маленький шок, как холодный душ или внезапный порыв ветра. Это решительно забавно — быть обруганным фрау Вальтер.

Лотта и Гретель тем временем принимались клянчить: «Ну еще только одну эту арию! Пожалуйста, пожалуйста, мамочка! Это ведь недолго…»

«Ну ладно, еще одну эту арию, — решает фрау Вальтер и добавляет с неожиданно мягкой, почти нежной улыбкой: — Эту прекрасную мелодию Тамино мне бы хотелось и самой послушать… еще раз…»

Она опускается рядом с нами на софу, положив руку на плечо Гретель.

«Дети Маннов», у которых, по мнению фрау Вальтер, «ничего, кроме безобразий», в голове нет, начинают приобретать определенную известность, пусть даже не очень хорошую. Мы составляли настоящую банду: Эрика, девочки Вальтеров, я, Рикки… Однако вдруг выяснилось, что я еще совсем никак не представил Рикки. Какое неприличие. Оно досаждает мне тем более, что я ощущаю, каким симптомом серьезной опасности является такого рода утаивание и как следует остерегаться его при написании автобиографии. Большинство мемуаристов склонны останавливаться почти исключительно на своей дружбе со знаменитостями, тогда как отношения с менее известными пропускаются. Фальсификация, или это вводящее в заблуждение выпячивание определенных элементов за счет других, может быть просто выражением тщеславия и снобизма; во многих случаях, однако, объясняется это менее презренными мотивами.

Автобиография по необходимости фрагментарна, из бесчисленных опытов, составляющих человеческую жизнь, автору необходимо выбрать те, которые важны и актуальны не только для него. Из скромности он отдает при этом предпочтение тем воспоминаниям, которые относятся к фигурам или событиям всеобщего «исторического интереса». О встрече с Бисмарком или Эдисоном всегда читают охотно; но кому захочется слушать подробности о неизвестном юном друге детства автора?

Кто намерен ввести в свое повествование личного друга, тот обрекает себя на столько же хлопот, сколько возникает у романиста, представляющего вымышленную фигуру. О знаменитостях можно говорить намеками и сокращениями; однако эта техника отказывает, когда речь идет о лицах, о которых читатель ничего не знает, да и знать-то поначалу ничего не желает. Поэтому несравненно удобнее рассказывать о Бруно Вальтере, чем, скажем, о Рикки. Того я могу упомянуть, не пускаясь в долгие объяснения, этот же — чистый лист, чужак. Есть всего несколько близких, кто помнит его внешность, его жизненные обстоятельства, его талант. Но пишут не только для друзей, но якобы для «общественности». Следовательно, я делаю доброе дело, представляя чужого Рикки с известной торжественностью. Итак, эпик, собирающийся вызвать из небытия новую фигуру, откашливается, глубоко вздыхает и начинает вещать.

Рихард Хальгартен, сын высококультурной еврейской семьи, был привлекательным и странным мальчиком. Мы знали его с самого раннего детства, так как его родители состояли с нашими

в добрососедских отношениях. Он производил впечатление одновременно деликатного и отчаянного, дикого и чувствительного. Копна темных непослушных волос нависала над его низким лбом, который часто нервно омрачался. Глаза, близко поставленные друг к другу, под густыми, красивого разлета бровями, с трогательной искренностью отражали бурно меняющиеся настроения его души. Он обладал сложной, тревожной прелестью болезненного подпаска, истеричного цыгана. Он был остроумен и наивен, невинен и хитер. Лицо его было по-детски мягким; руки же у него были сухие, жесткие, со вздувшимися жилами, — руки очень старого человека. Рикки был постоянной проблемой и нескончаемым удовольствием. Он ненавидел школу и симулировал нелепейшие болезни, чтобы быть отосланным в деревню. Он не хотел учить латынь; он хотел рисовать. Против этого родители, разумеется, не возражали бы, если бы только все его картины не были столь печальны и зловещи. На Риккиных картинах всегда были калеки, слепые старцы на фоне жутко пустынного ландшафта, горбуны с тощими кошками, большеглазые, бледные маленькие девочки, оцепенелой группой стоящие друг против друга. Он любил и детей, и кошек, и горы, а мы любили его. Мы вместе направлялись в школу (когда он снисходил до посещения школы) и ходили плавать и кататься на коньках. Мы дрались, и философствовали, и смеялись, и слушали музыку вместе. Мы открывали тайну пола («Так, значит, делаются дети! Это уж ни на что не похоже!»), мы решали мировые загадки, хихикали над взрослыми, а на себя напускали важность — вместе, всегда вместе…

Мы основали театральный союз — Эрика, Гретель Вальтер, Рикки и я. Сперва это было только довольно скромное предприятие: мы поставили в нашей прихожей «Гувернантку» Кернера{91} (Рикки и я играли двух юных девушек), одноактную пьесу Коцебу в хальгартеновском салоне. Мало-помалу мы становились честолюбивее и отваживались на Шекспира, Лессинга, Мольера. Лотта была прелестной Минной фон Барнхельм; Эрика завораживала в роли Виолы{92} своей пажеской статью и застенчивой грацией. И звучание ее голоса было прекрасно; ее одушевленный взгляд пленял публику. Именно тогда она открыла в себе любовь к театру и решила стать актрисой. Торжественная премьера «Как вам это понравится» состоялась в родительском доме Рикки. Он был больше и роскошнее нашего. После представления давался бал-маскарад. Лотте и Гретель не разрешили в нем участвовать. Фрау Вальтер была против «Любительского союза немецких мимов» (как называлось наше театральное общество). «Новое безобразие! —

сетовала она пронзительным тоном. — Эти дети Маннов! Ничего, кроме глупостей!»

Она была не так уж не права. Наши проказы становились все отчаяннее. Нас забавляло водить за нос глупых взрослых. Особенно охотно для сомнительных целей мы использовали телефон. Как же потешно было позвонить жене санитарного советника Мейера и внушить ей, что это горничная жены доктора Рудерера: «Моя фрау доктор будут очень рады, если фрау санитарная советница с господином санитарным советником пожалуют к нам на ужин в следующий четверг». Фрау санитарная советница обещала прибыть в назначенное время. Мы прыскали в кулак. Представьте-ка себе Мейеров, как они, разряженные, заявляются в четверг вечером к ничего не подозревающим Рудерерам!

Эрика умела подражать всевозможным голосам. Она словно была одним из тех гномов, которые превращаются в кого угодно и могут говорить чужим языком. В одной пьесе Кокто, «Круглый стол»{93}, подобный демон играет в высшей степени подстрекательную роль. Было удивительно, как скрипуче-вульгарно мог звучать Эрикин голос, когда она воплощалась в мюнхенскую лавочницу, и какие звучные трели издавал тот же голос, когда она имитировала драгоценное дарование певицы Делии Рейнгардт! Она умела ворковать и лаять, картавить, заикаться и вопить, русский акцент давался ей так же легко, как и саксонское наречие. Признаваясь в любви моложавому первому любовнику нашего городского театра, Альберту Фишелю, она прикинулась простоватой девчонкой-поклонницей, едва способной хоть слово произнести без хихикающих ужимок. «Вы мне так здорово нравитесь, господин Фишель! — утверждало покоренное создание, представившись по телефону как Фридль Рукташерер. — Ваша внешность и ваши стройные ноги — все так аристократично!»

Молодой щеголь, полурассерженный, полупольщенный, согласился на рандеву, о котором она молила. Какова же была сенсация, когда вместо экзальтированной Фридль на свидание явилась вся наша банда! Актер выпутался из этой аферы с юмором. Мы подружились. Стать близкими с настоящим художником сцены — это было исполнением самых смелых наших мечтаний! Он стал нашим товарищем: мы были с ним на «ты» и могли называть его «Берт». Вечерами же мы присутствовали в его уборной при чудесном зрелище его превращения. Перед нашими почтительно раскрытыми глазами из Берта получался возлюбленный Марии Стюарт, Мортимер, или Дон Карлос, инфант Испании. Это было даже слишком

очаровательно — смотреть, как он укладывает себе жабо, оставляя костюмеру повязывать шарф. «Теперь еще шелковый плащик, и мы неотразимы!» — восклицал Берт и делал несколько победоносных шагов в своем черном трико.

Я боготворил его. Он являл пылкость и одновременно притягательную усталость, эдакий настоящий герой, но не без меланхолически-декадентского оттенка. Натянутая грация жеста, рассеянная улыбка, затуманенный взор — я не мог досыта наглядеться на это. Дело решенное: я стану актером, вторым Бертом, таким же интенсивным и танцующим, таким же окрыленным и похожим на пажа!

Никакой, собственно, причины хранить в тайне от родителей нашу дружбу с Бертом не было; он, с точки зрения взрослых, был вполне приемлемым знакомством — образованный, тактичный, надежный. Но родительская санкция лишила бы эту связь ее прелести. Захватывающим было все тайное, незаконное. Ночные рестораны, детективные фильмы, неприличные книги — их любили не сами по себе, а из-за того, что они находились под запретом. Здорово было после полуночи выскользнуть из дому; мы встречались с девочками Вальтер на Куфштейнерплац — Лотта одета в спортивный костюм Куци с бриджами, Гретель наряжена под цыганку, в развевающейся красной шали спешила она впереди нас, через Изарский мост. Что могла предложить нам улица в этот час? Ну, пару полусонных прохожих, которые скользили по нам удивленными взглядами. Мы, однако, наслаждались своей абсурдной экспедицией. Сознания, что совершаешь недозволенное, было достаточно, чтобы заставить биться сильнее наши сердца. Час ночи, уже несколько часов, как мы должны спать, а вместо этого носимся по городу! Мы ощущали вопиющую фривольность нашего деяния — отсюда наш лихорадочно воспаленный зуд. «Ух!» — восклицала Гретель, смерч с всклокоченной черной гривой. Мы окружали дородного обывателя, который из пивнушки стремился домой. «Эгей!..» Гретелин красный платок летел в лицо толстяку. Он костил нас вдоль и поперек, а мы с визгом улепетывали.

Чем преступнее, тем лучше! Шоколадные конфеты вкусны; как же изыскан должен быть вкус украденных сластей!

Берт уязвлял наше честолюбие, рассказывая о своих достижениях по части воровства. Если верить его сообщениям, он ребенком был настоящим заправским вором. Раз так, надо ему доказать, что и мы не лыком шиты! Однажды мы пригласили его на званый пир. Родители были в отъезде, тайный друг мог рискнуть пожаловать к нам. Подавалось сладкое вино, сосиски, пирожные, сыр, финики, ветчина, марципаны — все стибренное,

все это великолепие. У бедного Берта, который со своей стороны никогда не заходил так далеко, кусок застрял во рту, когда мы похвалились перед ним: «Представь себе, Берт, песочный торт в виде башни! Это тебе не мелочь — вынести его под суконной пелериной!»

Как только мы додумались оказать доверие фрейлейн Теа? Она была бонной. Не нашей уже, конечно, а Элизабет и Михаэля: дюжинная особа с соломенными косами, насквозь нравственная, совершенно бестолковая. Нам следовало бы знать этот тип! Конечно же, она пошла и наябедничала. Едва родители вернулись из поездки, как все было разоблачено: дружба с Бертом, кражи, наши ночные эскапады. «Дети сбились с пути истинного, милостивая фрау, — с их собственных слов мне известно, что они бывали в различных ночных заведениях, в „Зеленом корабле“, например, и еще в другом, под названием „Боккаччо“, где танцуют и поют. У „Папы Бенца“, это тоже такой кабак, им пришлось вылезать через окно, чтобы не быть замеченными их тетей, женой Генриха Манна…»

Открытия фрейлейн Теа оказались для родителей, пожалуй, не такими уж неожиданными, как хотелось бы думать простодушной доносчице. Волшебник и Милейн при всей своей снисходительности и терпении не были, однако, все же слепыми. Вряд ли они питали иллюзии относительно нас: мы явно вступили в самый трудный возраст. Тем не менее родители не грозили нам наказаниями и нравоучениями; скорее, они полагались на наш здоровый моральный инстинкт и на благотворное влияние целительно-цивилизованной домашней атмосферы. Не слишком ли они были оптимистичны? Похоже, почти так. Дело с ворованным застольем зашло далековато. Потребовался внушительный урок.

Урок оказался относительно мягким. Мы были посланы в сельскую школу-интернат, совсем не исправительное заведение с железной дисциплиной. Место, куда морозным утром 1922 года Милейн доставила меня и Эрику, производило самое отрадное впечатление.

Бергшуле Хохвальдхаузен, одна из тех «свободных общин», которые тогда были модой в Германии, состояла из комплекса скромных деревянных домов и бунгало в сурово-идиллической местности. Мы находились здесь в центре Германии, в Рёне, недалеко от города Фульда. До сих пор мы не знали Германии, мира, только Мюнхен и Верхнюю Баварию. Это было чем-то новым. Каково будет жить в чужой атмосфере и с чужими людьми? Нам было все-таки немного страшновато, когда Милейн, в свою очередь разволновавшись, прощалась с нами.

Но мы были вместе, и это делало все сносным. Да и Штехе, директор заведения, действовал вовсе не устрашающе: благожелательный, интеллигентный человек с беспомощно-озабоченным выражением лица. Среди учителей обращали на себя внимание различные своеобразные типы, мужчины и женщины высоких духовных амбиций, в некоторых из них проглядывало разочарование: непонятые гении, неудавшиеся творцы, что выдавала горькая складка у рта. Что касалось учеников, девочек и мальчиков от семи до семнадцати, то они были преимущественно из интеллигентных семей. Тем не менее внутри школьного сообщества наличествовали типы и группы очень разной социальной чеканки. Однако, что бы ни отделяло и ни отличало подростков друг от друга, у них было одно основное переживание, один определяющий стимул — *молодежное движение.*

Я пытался иногда ассоциировать суть, значение этого в высшей степени курьезного, типично немецкого феномена с явлениями вне немецкой языково-культурной среды. Безнадежно. Молодежное движение, как танцевальное искусство Мэри Вигман{94} или поэзию Стефана Георге{95}, можно постичь только в стране, их породившей. Это хвастливое самопрославление молодежи в качестве идеалистически-революционной программы, это создание определенной биологической базы в качестве автономной жизненной формы — только в Германии было возможно подобное. Как самобытна, как по-немецки *опасна* эта мешанина из систематики и расплывчатости, из революционного размаха и злостного обскурантизма, которую мы находим характерной для молодежного движения! Несомненно, романтический бунт против нашей механистической эпохи содержал чреватые будущим, истинно прогрессивные элементы: однако одновременно он скрывал также и зародыш беды. Кто бы мог что-либо возразить против задушевно-разгульной тяги к старонемецким песням и танцам, против пафоса Retour a la nature [16] с гитарой, рюкзаком и безалкогольными напитками? К сожалению, эти безобидные игры не оставались свободными от претензий прямо фатального свойства. «Перелетные птицы» (Wandervőgel) не довольствовались тем, чтобы шокировать склеротичное и заевшееся старое поколение посредством вызывающих одеяний и причесок; гораздо больше кичились «мировоззрением», в котором самые разнообразные настроения и тенденции как попало перемежались друг с другом. Реакционные, националистически-расистские склонности, уже ощутимые у основателей молодежного движения вроде Блюера{96}, вскоре взяли верх. В конце концов «Революция молодежи» распалась на

множество политических групп, из которых самым влиятельным суждено было стать первопроходцами национал-социализма.

Этот процесс разложения уже наступил, когда я соприкоснулся с деятельностью «Перелетных птиц». Тем не менее дух молодежного движения все еще был достаточно живуч, чтобы передаться такой общности, как наша. Стиль жизни Свободной школьной общины, наши разговоры, манеры и эмоции целиком определялись тем молодежным мятежом, который обрел свое начало незадолго до первой мировой войны и заразил постепенно всю страну своим пафосом, своими лозунгами. Никогда, может быть, прежде в истории не были молодые люди так сознательно, так кричаще, так вызывающе молоды, как немецкое поколение этих лет. Говорили: «Я — молод!» — и формулировали философию, испуская боевой клич. Молодость была заговором, провокацией, триумфом. Когда мы встречались в наших голых комнатах или на улице, в лесу или у лавочника в деревне, мы обменивались тайными взглядами и кивками:

«Я — молод!»

«Я — тоже!»

«Твое счастье! Старики — свиньи и дураки».

«Ты прав. Кому за тридцать, надо повесить. Что касается меня, то я чувствую себя сегодня до того молодым, что сердце так и прыгает в груди…»

Было тревожно, тяжело и здорово быть молодым, постоянная проблема, бесконечное блаженство. Ко всем, кто прозевал это сладостно-возбуждающее состояние и как растяпа постарел, мы испытывали сострадание с примесью пренебрежения. Неужели когда-то раньше ненавидели и даже боялись своих учителей? Это, должно быть, было давно. Старые люди заслуживали нашей жалости. Чего же еще? Директор Штехе, например, посмотрите только, как он жалок! Уже под пятьдесят, мешки под глазами, а все еще разыгрывает из себя «камерада» молодежи! Даже не знаешь, смеяться или плакать от такой наивности…

На самом деле если добрый Штехе и мог вызвать сострадание, то вовсе не из-за своего пожилого возраста, а оттого, что мы делали его жизнь весьма тяжелой. Он добросовестно старался соединить высокопарные идеалы и чаяния молодежного движения с каким-то минимумом организаторской дисциплины и научной методики. Его усилия разбивались о нашу строптивость. Мы были анархисты; директор, мягкий, чувствительный человек без динамики, без фантазии, не справлялся с нами. Мы подрывали его авторитет, разрушали его школу.

Штехе признал себя побежденным. Старшие классы его сельской школы-интерната были закрыты. Не кто иной, как сам

директор, посоветовал забрать домой своих своевольных детей.

В Бергшуле мы нашли новых друзей, с которыми расставались неохотно. Некоторым из этих отношений суждено было стать продолжительными, прежде всего моему сердечному товариществу с толстой Герт, из которой потом получилась тонкая, красивая, больная Герт. Она была сиротой неопределенно аристократического происхождения, удочеренная зажиточной франкфуртской супружеской четой. Мы звали ее «слоненок» из-за исполинской полноты. Большой изогнутый рот, карие глаза смеялись на ее широком, милом детском лице. С каким неистовством, с каким энтузиазмом кинулась она в авантюру нашей дружбы! Она не экономила себя, отдаваясь целиком всегда, что бы ни делала. Когда позднее она вознамерилась загубить себя, то выказала при этом такое же экзальтированное рвение, какое прежде проявляла в играх и в нежности. Во времена Бергшуле она начиняла себя до отказа шоколадом; десять лет спустя это были уколы морфия, к ним она пристрастилась, и так пристрастилась, что скоро лишилась бренной плоти, но никогда, до самого горького конца, — детскости смеющегося взгляда… Толстая Герт — слишком стройная Герт во власти яда побывала со мной во многих городах и на многих побережьях. Но так прекрасно и весело, как тогда в Бергшуле, нам уже больше никогда не было.

Было нечто особенное в этих сельских школах-интернатах, этой невинно-радостной и одновременно проблематично-напряженной совместной жизни молодых людей на полной свободе, далеко от условностей города, родительского дома. У того, кто однажды вкусил очарование такой формы существования, в крови остается тоска по ней. Мне хотелось этого больше. Больше этой дружбы, этих дискуссий, этих вылазок и хороводов вокруг романтического костра. Я настаивал, к удивлению родителей, чтобы на время, когда Эрика оставалась в Мюнхене для подготовки к экзаменам на аттестат зрелости, меня послали бы в другую сельскую школу.

Оденвальдская школа{97} под Хеппенгеймом на Бергштрассе, недалеко от городов Дармштадт и Гейдельберг, была педагогическим учреждением высокого ранга и международного признания. Руководитель ее Пауль Гехеб{98}, или «Паулюс», ветеран молодежного движения, поборник свободной школьной общины, был в противоположность Штехе личностью; в нем глубокая *опытность* старого воспитателя соединялась с необычайно ясновидческим психологическим инстинктом и упрямо стойким, по-детски верующим идеализмом. Со своими глубокими, вдумчивыми глазами и роскошной серовато-белой

бородой он производил впечатление отшельника, живущего травами и мудростью. В самом деле, свое коренастое тело Паулюс питал исключительно овощами, фруктами и овсяной кашей, свой дух — индийской, китайской, греческой философией и наследием великого немецкого столетия, от Гердера и Лессинга до Шиллера, Канта и Фихте. Виллообразные строения, в которых находились наши жилые и рабочие помещения, носили имена святых — хранителей Гехеба. Самое солидное здание, где собирались во время еды и других общественных мероприятий, было названо в честь Гёте, мой собственный участок был в Платонхаусе, тогда как Паулюс и «тетя Эдит» (фрау Гехеб, урожденная Кассирер) избрали в качестве резиденции Гумбольдтхаус. Любимым его местом, однако, была отгороженная часть сада, принадлежавшая животным — милым косулям и красивым птицам, за которыми старик ухаживал с великой нежной добросовестностью и кормил их. «В обществе моих детей, — имел он обыкновение говорить, — я отдыхаю от взрослых; с моими зверями я отдыхаю от детей».

Тем не менее он был расположен к детям и даже ко взрослым на свой мягкий и рассеянный лад. Его педагогика исходила из той предпосылки, что человек в основе своей добр или добру *доступен.* Призвание воспитателя, как его понимал и пытался реализовать Паулюс, заключается в том, чтобы усилить и развить в каждой индивидуальности ее имманентное добро, этот ее своеобразный закон («Будь тем, кто ты есть!»), одновременно, однако, внушив каждому его зависимость от коллектива, его ответственность перед обществом.

Этот ваятель людей — право, Пауль Гехеб был именно им, если я вообще когда-либо знал такового! — не верил в «вождизм»; более того, он считал, что демократический метод наилучшим образом подходит для установления и удержания необходимого баланса между свободой и дисциплиной. Оденвальдская школа была республикой, в которой власть исходила от народа, это значит от молодых людей, руководитель же довольствовался ролью отеческого советника, посредника и представителя. Школьники, называемые «камерадами», образовывали парламент, которому надлежало решать все важные вопросы общественной жизни. Собрание школьников, или «Школьная община», которая заседала через регулярные промежутки времени, определяла законы и иерархию учреждения; она могла наказывать или даже исключать асоциальные элементы; она имела право модифицировать, даже отменять распоряжения, которые отдавал сам глава.

Ведь могла же когда-то быть такая школа в Германии! Национализм и расовые предрассудки никогда не переставали

отравлять общественную жизнь рейха; здесь же, в этом оазисе благонравия, господствовала терпимость. Общество, которое собрал вокруг себя Пауль Гехеб, друг Рабиндраната Тагора и Ромена Роллана, было космополитически пестрое. С одинаковым гостеприимством принимал он сыновей и дочерей промышленников и безденежной богемы. Среди моих «камерадов» были дети вождя французских коммунистов Марселя Кашена{99} и русские эмигранты, похвалявшиеся своим родством с домом Романовых, сын известного берлинского актера, маленькая гречанка поразительной грации, несколько индусов, лучезарно прекрасная итальянка — как сейчас вижу ее перед собой, ее имя было Летиция, — отпрыски голландских кофейных магнатов, австрийских поэтов, китайских ученых и американских банкиров.

Я подружился с тремя берлинскими девочками, одна умнее другой: Ильза играла Баха и интересовалась философией; Ода рисовала гротескные кошмары и красовалась в вычурных одеяниях (мы выступали вместе в танцевальных номерах; я вспоминаю один, где она представляла черта, а я взял себе роль монашенки, которую манит и страшит зло): Ева была универсальным гением. Она хотела стать врачом, но занималась одновременно музыкой, поэзией, живописью, социологией, историей религии. Ева была интеллектуальна до чрезвычайности — в постоянно высоком напряжении мозга, как бы вибрируя от духовной интенсивности.

Мы все были невероятно активные. Я читал девушкам свои вирши, что сопровождалось самыми бурными дискуссиями. Концерты камерной музыки, которые бывали по воскресным вечерам в Гётехаусе, сменяющиеся красоты природы, книги, картины и игры — все стимулировало к жарким разговорам, к страстно ищущим, сверлящим, блуждающим, воспаряющим путаным дебатам. Мы льстили, провоцировали, критиковали друг друга. Старались измерить глубину друг друга — один другого, но прежде всего самого себя. Стремились доказать себе и партнеру собственную исключительность. Ева считала себя гениальной. Ода считала себя гениальной. Ильза восхищалась Евой и Одой, но и саму себя тоже не занижала. (Она играла Баха, изучала философию.) Я восхищался Евой, Одой и Ильзой, придавая, однако, значение тому, чтобы они в свою очередь признавали меня.

Мне было шестнадцать лет. Я писал стихи в свободных ритмах. «Моя песня бури», «Моя песня любви», «Песня о глупости», «Песня о красоте», «Песня о себе самом». Курсы меня не интересовали. (Четкого деления на классы в Оденвальдской

школе не было, а была система курсов, так что отдельному ученику разрешалось присоединяться по каждому предмету к той группе, знания которой в данной области соответствовали его собственным.) Паулюс, понимавший мое стремление к одиночеству и приватному чтению, освободил меня от многих учебных часов. Большая часть дня принадлежала мне самому — моим собственным мечтам и размышлениям. Я использовал время, которое было мне столь великодушно предоставлено. Я читал.

Читал я жадно, с энтузиазмом, ненасытно. Между тем это уже не было больше проглатыванием без разбора массы печатных слов, как в ранние годы моей читательской одержимости. Мой вкус развивался в определенном направлении; я начал осознавать собственные склонности и потребности. Я находил своих мастеров, своих богов; я открывал свой Олимп.

Я разглядываю их, святых, демонов моих шестнадцати лет, и не нахожу среди них ни одного, кого бы мне сегодня пришлось стыдиться. Правда, некоторые из этих ранее любимых фигур больше не занимают в моем сердце центрального места, которое тогда в экзальтации первого умиления, первой благодарности я им с такой готовностью уступил. Блеск, который когда-то ослеплял и опьянял меня, мог в некоторых случаях немного ослабнуть, да и прибавлялись другие звезды, сделавшие спорным ценностный ранг первых. Но они все еще светят, солнца моей юности; их огонь, даже если и потерял где в силе, остался чистым. Нет, я не позволил ввести себя в заблуждение обманному свету и искусственному пламени; я не молился ложным богам.

В немеркнущей славе сияет созвездие четырех, которое правило моим небом в это время и которому я охотно доверяюсь и сегодня: Сократ, Ницше, Новалис и Уолт Уитмен{100}.

Я любил Сократа — создателя «Пира» и «Федона», потому что он любил красавиц — ах, с каким лукавством, с тонким почитанием и с отливом иронии! — и потому, что он все знал об Эросе и никак не выдавал своего ужасного знания. Только некоторые намеки и наводящие знаки подавал он нам. Он говорил нам, что Эрос безобразен, некрасив. А также он говорил нам, что Эрос есть некрасивое, жаждущее красоты божество любящего, не любимого. С каким удовольствием я это слушал! Какое горько-сладкое удовлетворение доставляла мне такая мудрость! Я знал, что Сократ говорил правду. Да, Эрос уродлив, не красив. Да, божество у любящего, не у любимого. Прав ли Сократ, и жизнь называя болезнью? Когда ему принесли чашу с ядом, он заметил, улыбаясь, что вот и настало для него время

посвятить петуха богу врачевания{101}: «Ибо, друзья мои, я долго был болен». И это тоже правда? Я никогда не переставал задавать себе этот вопрос. И чем дольше пытаюсь я вникнуть в суть его последнего прорицания, тем больше попадаю под чары этого неотразимого демона и лукавого святого, этого великого Любящего и софиста, тем задушевнее я люблю Сократа.

Я любил Ницше, не за его учение (ни «сверхчеловек», ни «вечное возвращение» никогда меня не убеждали), но как художника, как явление. Сначала меня пленил «Заратустра», чей несколько деланный жест стал мне с того времени чужд, почти болезненно неприятен; потом меня обольщали, будоражили, ослепляли «Антихрист», «Падение Вагнера», «Ecce homo»[17]. Воззрения и убеждения, декларируемые в этих книгах с таким назойливым упорством, оставляли меня довольно холодным. Какой колоссальной была та страсть мысли, что обнаруживает себя в столь увлекающих, гибелью окрыленных ритмах и акцентах! Я ощущал озноб почти сверхчеловеческого одиночества, дыхание истребляющего пламени за сверкающей элегантностью поздней прозы Ницше. Зрелище его интеллектуальной страсти, его химер, его крушения определило мое понятие о сути гения. Ему обязана моя юность первыми догадками о сути трагического и о сути демонического. Антитеза между героем и святым предстала для меня в его фигуре, его драме. Он был святым героем, мятежником и мучеником одновременно. Прометей и Христос, Дионис и Распятый. Он был сбывшийся человек. Юность хочет поклоняться, хочет молиться. Образ Ницше всегда был над моей постелью, портрет времени страданий, с трагически омраченным челом, взглядом страстотерпца, уже отсутствующим, вглядывающимся в Ничто, в Бесконечное. Эта наклоненная вперед голова, что общего у нее с белокурой бестией, сверхчеловеком? Се — Сын Человеческий, тот, кто выносит такую муку и такие раны: «Ecce Homo, voila l'Homme!»

Я любил Новалиса, так как он казался мне глубже всех других сведущим в мистериях ночи, сладострастия, смерти. Очарование немецких романтиков рано подействовало на меня и никогда не отпускало из своего плена. Истории Тика об эльфах и Белокуром Эккбарте, чудесные баллады и сказки Эйхендорфа, Арнима, Брентано, жестко-прелестные галлюцинации Э. Т. А. Гофмана; Петер Шлемиль Шамиссо и Ундина де ла Мотт-Фуке как вечно трогательные и вечно действенные символы неприкаянности, тоски по родине, вырванности с корнем — вся эта сфера, в которой высшая одухотворенность и чистейшая поэзия, наитие и рафинированность, магия и шутка соединяются

в радужном единстве, всегда имела для меня очарование, как, быть может, никакая другая замкнутая в себе группа или «школа» мировой литературы. Среди такого множества обольстительно-влиятельных умов обольстительнейшим и влиятельнейшим был для меня Фридрих Гарденберг. Мне надо было стать двадцатилетним, чтобы по достоинству оценить более строгое величие Гёльдерлина; но шестнадцати-семнадцатилетний я был восприимчив только к гипнотизирующе сладостному зову флейты, бездонному соблазну «Гимнов к ночи». Смесь эротики и метафизики, фанатичнейшей набожности и лихорадочной сексуальности — этот одновременно монашески чистый и болезненно чувственный экстаз чахоточного чудеснейшим образом был созвучен моему собственному настроению в те чувствительные годы. Как глубоко этот ясновидящий больной был посвящен в тайны божественной природы, где все — Эрос и метаморфоза! Я, открыв рот, с благоговейно расширенными глазами внимал ему, говорящему мне о процессе спасения, который, может быть, постоянно протекает в природе; ибо если Бог согласился на то, чтобы стать человеком, то почему бы ему не превратиться в камень, растение, животное и элемент. Концепции развязки и спасения вливаются друг в друга, смерть и наслаждение становятся одним. Все сотворенное хочет наслаждения, все насладившиеся желают смерти. Жизнь есть лишь начало смерти, существует лишь ради смерти; смерть — это начало и конец одновременно. О, каким это будет сладким, великим брачным торжеством, когда там, в царстве ночи, вещи и понятия сольются и проникнут друг в друга в желанном универсальном совокуплении! Материя сплавилась с идеей; человек — наконец освобожденный от проклятия индивидуализации — становится частью природы; избавленная, развязанная природа опускается своему творцу на восхищенное сердце… Мне было недостаточно подобных утешительно-возбуждающих пророчеств. Я любил этого туберкулезного духовидца, чей нежный голос приносил мне столь огромную весть.

Я любил Уолта Уитмена, американца, «of mighty Manhattan the son» [18]{102}, потому что он воспевал тело, электрическое тело, и потому, что хотел быть моим товарищем. Его ободрение было сильнее, чем призрачные намеки романтического провидца, менее парадоксально и патологично, чем грубое самовосхваление, самобичевание Заратустры, менее выморочно и двусмысленно, чем ироническая диалектика Сократа. Трансатлантический бард обращался ко мне с порывом, который ни разу не выродился в истерически-маниакальный.

Реалистичный при всей увлеченности, он превозносил в дифирамбах великолепие этого творения. Да, этот атлетический пионер юной страны света, новой цивилизации заслуживал моей любви, так как со своей стороны он умел любить столь гигантски щедро. Он любил en masse [19], любил человека как такового, без различия пола, возраста, национальности и расы («The armies of those I love engirth me, and I engirth them»)[20]{103}, он любил как демократ, любил демократию ради человека, чье психофизическое свойство казалось ему столь безмерно трогательным, столь достойным удивления и любви. Мальчик, уединенный в своей голой комнате, не уставал воодушевляться этим охватывающим мир воодушевлением. Но, возможно, это извержение невероятной эмоциональной энергии и динамичного доброжелательства не затронули бы меня так глубоко и душевно, если бы я не ощущал в их здоровом энтузиазме привкуса трансцендентальной тоски. Правда, поэт Нового Света, явно в противоположность немецкому романтику, желал и пропагандировал передовое (слово «прогресс» появляется у него почти всегда только с большой буквы), современную технику и науку, интернациональную связь, освобождение народов от оков обскурантизма и рабства. И тем не менее этот мужественный оптимизм не лишен мистически-темных полутонов. Тот «вечный прогресс», которого Уитмен требует{104} и который славит, — в чем все-таки его конечная цель? Это космическое видение прогресса, где оно кончается? Куда оно ведет? Республики в товарищеском объятии, эротически побратавшиеся массы, перед которыми преклоняются «Листья травы», — разве не готовы и не зрелы они для именно того чувственно-сверхчувственного бракосочетания, для сладострастного апокалипсиса, о котором поет Новалис? Если для одержимого смертью романтика царство теней становится средоточием невинно-радостной искупленной и воскрешенной жизни, то Уитмен, друг мира, догадывается о близости смерти, присутствии потустороннего среди здешнего. Бард прогресса и демократии был накоротке с леденяще-ласковым дуновением, шепчущим напоминанием из темной сферы «the whisper of heavenly death»[21]{105}, и, возможно, эта посвященность, эта осененность романтическими сумерками в его светлой песне и сделала его целиком понятным, вполне достойным любви для меня.

Я любил Уолта Уитмена, гордого сына Манхэттена, за священный трепет, с которым он записал два коротких слова — *эти мертвые:*

Поскольку живущие — Это Умершие.

(Возможно, они-то и есть единственные живущие,

единственно реальные,
А я привидение, призрак)…[22]{106}

Вокруг этих четырех господствующих фигур моего пантеона группировались герои и святые меньшего масштаба. Недалеко от Новалиса стоит Ангелус Силезиус, херувимский странник. Его облик хранит рыцарскую серьезность, одновременно аскетически строгую и детски мягкую красоту, которой мы восхищаемся в фигурах мастера Рименшнейдера. Не помню, видел ли я когда-либо портрет Силезиуса; но я полагал, что узнаю его черты в голове Иоанна, выполненной Рименшнейдером. Фотография этой выдающейся скульптуры — откинутая назад голова любимого апостола, в исполненном слез экстазе взирающего на крест, — стояла на моем рабочем столе рядом с репродукцией греческого извлекателя терний.

Сочинения немецких мистиков выпускались тогда издательством «Инзель» в красивой книжной серии «Собор». В моей маленькой библиотеке тонкие голубые тома с белой оборотной стороной занимали почетное место. «Странник», чьи изречения (многие из них я знал наизусть, некоторые помню по сей день) я любил произносить про себя во время прогулок или вечером перед сном, был мне еще ближе, чем Мейстер Экхарт{107} и Мехтхильда Магдебургская{108}. Вера по ту сторону догмы, религиозность как глубоко личное переживание, независимое, даже противное клерикальной ортодоксии, — таковы были простые рифмы Ангелуса Силезиуса{109}, впервые мне открывшие и запечатлевшие эти духовные возможности.

Райнер Мария Рильке принадлежит к той же группе скитающихся богоискателей и уединенных богомольцев. Те его произведения, которые ныне для меня самые ценные, — «Сонеты к Орфею» и «Дуинские элегии» — были тогда еще мне незнакомы; но с какой благоговейной нежностью любил я «Часослов», «Заметки Мальте Лауридса Бригге»! Его манерность еще была для меня захватывающа и полна значения, его искусные завитки и арабески еще почитал я выражением монашеского рвения. В благородно чопорных тонах он пел о бедности и о смерти, его чистое усердие присягало Господу в изысканных рифмах и необычайных метафорах. Одна сторона моего существа отвечала этому сублимированному эстетизму, разделяла это ребячливое пристрастие к редким словам и красивым вещам: фонтанам, орхидеям, камеям, зеркалам, благородным камням, ангелам. К

ним прежде всего. Основы ангеловедения я изучал у Рильке еще до того, как открыл для себя Сведенборга{110} и подружился с подозрительным херувимом Жана Кокто{111}. «Каждый ангел ужасен», как позднее мне довелось узнать из «Дуинских элегий», но тогда я любовался, еще полный детского доверия, «смертельными птицами души», чей мягкий взмах крыльев так ласково исходил мне навстречу из «Книги образов» и «Часослова».

Что меня привлекало в Рильке прежде всего, так это переливающееся содержание его духовного облика, многослойность его идиоматики, его родословной. Этот немецкий поэт австрийско-богемского происхождения был как дома наполовину в Париже (он мог писать и французские вирши), наполовину в богатой куполами византийской Москве. К славянским и латинским компонентам добавляется, особенно в «Заметках Мальте Лауридса Бригге», скандинавский привкус. Проза Рильке, которая и сегодня представляется мне значительнейшим его трудом наряду с «Сонетами» и «Элегиями», принадлежит к великим сокровищам, откровениям моей юности. Полная уныния мелодия «Заметок» сопровождала меня все годы духовного и физического пробуждения, которые для всякой чувствительной натуры являются годами кризисной проблематики. Может быть, еще только один писатель значил для меня столь же много, его я любил с той же преданностью и восхищением, — Герман Банг{112}.

Я любил все его книги, от «Безнадежных поколений» до «Лишенных родины». Я любил его технику, рафинированную сдержанность его импрессионизма, эффект которого напоминает Моне и Дебюсси. Собственно драма развертывалась у Банта всегда между строк, едва высказанная, лишь обозначенная в нервном стаккато диалогов. Персонажи Банга, кажется, всегда говорят мимо друг друга: ни один не понимает робкой просьбы, призыва о помощи, крика отчаяния другого. Ужасная аура одиночества окружает их всех: окаменевших стариков в «Сером доме», акробатов и авантюристов «Эксцентрических новелл», несомых течением, затравленных, смертельно усталых виртуозов в «Лишенных родины», любящих, ах, как безнадежно любящих девушек и молодых женщин в «Белом доме», «У дороги», «Тине», «Холме Людвига». Изолированность сознания, тщетность чувства — другой темы у Банга нет. Когда одному из нас хочется приблизиться к другому, когда мы протягиваем руки для ласки, разверзается бездна, непреодолимая, беспощадная бездна, которая отделяет Мастера от Михаэля.

В «Михаэле» Банг дает квинтэссенцию, фундаментальную формулу трагедии, варьируемой им в других своих книгах. Этот

роман, как прямая исповедь и сознательная кульминация, занимает в банговском Œuvre место, подобное «Патетической симфонии» в музыкальном творчестве Петра Ильича Чайковского. Отсюда не следует, что «Михаэль» — самая значительная, самая удавшаяся книга Банга; ныне я склонен отдать предпочтение другим его произведениям, как-то: «Серый дом» и «Лишенные родины», точно так же, между прочим, как Пятую симфонию Чайковского нахожу превосходящей Шестую в художественном отношении. Но на шестнадцатилетнего производила впечатление эта несколько сентиментальная история о Мастере Клоде Зоре и его жестоком, боготворимом мальчике, впечатление более глубокое и стойкое, чем какой другой из многих шедевров, воспринятых им с большим или меньшим пониманием и наслаждением. У меня слезы навертывались всякий раз, когда я добирался до последних страниц романа. Частенько бывало, что я разрешал себе перед сном четверть часика читать «Михаэля»: сцена смерти Мастера была слишком печальной и душераздирающей, однако же при этом и в высшей степени усладительной, — болезнетворное лакомство, горькое блаженство. Представлять себе, как знаменитый старец — Клод Зоре, «художник страданий», — лежал в одиночестве в своем роскошном доме и ждал Михаэля! Смерти и Михаэля… Смерть пришла, она-то всегда в конце концов является; но не Михаэль. Красивый, гнусный Михаэль, которого Мастер осыпал своим великодушием и своей любовью, — он лежал в объятиях такой же красивой, такой же подлой женщины. В то время как они целовались, старый человек умирал. Михаэль не пришел. Пришла лишь смерть, Мастерова одинокая смерть…

Тоска моя усиливалась, когда я раздумывал, как умер автор этой трогательной истории, поэт Банг: один, как Мастер, бездомный, как один из артистов и виртуозов, которых он так охотно описывал. Его жизнь закончилась в американском пульмановском вагоне, где-то на диком далеком Западе, в краю под названием Юта, недалеко от города под названием Огден. Эта предсмертная поездка лишенного отечества через чужие, бескрайние степи, эта одинокая агония в железнодорожном купе, — не было разве это сценой из одной из его книг! «О Господи, дай каждому его собственную смерть», — молил Райнер Мария Рильке.

Мой Олимп полон больных и грешников. Жаждущий знаний мальчик верил, что от них сможет больше всего узнать о тайнах человеческой природы. Он, к примеру, с обреченным, истощенным лицом и иронически-скорбной улыбкой, выглядит так, словно слишком основательно сведущ в проблематике,

сомнительности и муке земного бытия. Песнь его порой занятна, порой потрясающа, никогда не скучна — окрыленная насмешкой, сладкая, умная песнь Генриха Гейне.

Гейне моего пантеона — это отнюдь не галантерейный юноша, приводивший «Книгой песен» в восторг эстетствующую буржуазию; это истерзанный поэт «Романцеро», привидение с рю д'Амстердам[113], это скрючившийся, выжатый, исщипанный и исколотый человечек, который живым или все же еще полуживым трупом гнил в матрацном склепе[114]. Но какие убедительные лирические акценты он находил, претерпевая свое мучение! А с какой искрящейся остротой и пронзительной проницательностью он умеет болтать! Любознательный шестнадцатилетний верно делает, очень внимательно слушая его, этого ловкого и зоркого посредника между германской и галльской культурой, между просвещением и романтизмом, христианско-иудейской и языческой философией. Он хорошо разбирается, много чего может порассказать мальчику: о больших натяжках и антитезах в нашей цивилизации, о сути германизма, сути иудаизма, будущем Европы, величии и опасностях социализма, об актуальных проблемах, грядущих столкновениях и вневременном чувстве, о красоте, любви, страданиях, смерти и боли.

Мальчик внимает ему с охотой и пользой. Ухо этого подростка открыто для всех тех, чье чело несет печать опыта страданий и кто в безднах — дома.

«De Profundis»[23][115]! За этот документ я поместил позднего Оскара Уайльда на столь видное место в зале славы; великое письмо заключенного к лорду Альфреду Дугласу значит для меня больше, чем «Портрет Дориана Грея», «Как важно быть серьезным» и «Саломея», вместе взятые. Блестящий Уайльд эпохи денди и успеха оставлял меня таким же холодным, как очаровательный молодой Гейне, который пел учтиво сложенным ротиком «Ты словно цветок»[116]. Превратившийся в руину и опустившийся Уайльд был тем, кто сам пожелал и спровоцировал собственное крушение (из наглой заносчивости? из христианской тяги к страданию?); Уайльд кающийся, у которого все еще слетают дерзкие остроты с некогда обольстительных уст. Уайльд, которого я с глубоким поклоном пригласил в мое сиятельное общество, был трагический Уайльд.

Туда присоединяется бедный Оскар — или он выступает под именем Себастьян Мельмот, из страха перед кредиторами? — к другим подозрительным и досточтимым фигурам. Заметен Эдгар Аллан По, чей остекленевший взгляд алкоголика устремлен в дали, которые полны для него жутко-любезными лицами. (Ребенком я боялся его «Черного кота», его «Колодца и маятника»,

его «Болтливого сердца», позднее мне больше всего казалась зловещей та его артистическая одержимость, поистине демоническая дисциплина и аккуратность, с какой он стилизовал свой горячечный бред в произведения искусства.) Тот, рядом с ним, с одухотворенными, напряженными, благородно-мефистофельскими чертами, — Шарль Бодлер{117}, кому Франция и Европа обязаны знакомством с произведениями По и другими хорошими вещами. В этой как-то даже слишком романтической Вальпургиевой ночи автор «Цветов зла» не должен отсутствовать. Нет, не то чтобы подросток был в состоянии полностью оценить трудное величие поэтического критика! Однако понятливому мальчику достало чувства интеллектуального богатства, эмоциональной напряженности, что таил этот изнуряюще взыскательный, смертельно серьезный культ красоты.

Верлена{118} понять легче. Рафинированная безыскусность его лирического стиля действовала непосредственно, неотразимо на чувствительно-впечатлительную юную душу. Как завораживали меня кроткая жалоба «Бедный Каспар»{119} и магически простая песня о «Белой луне»{120}, переливающейся звезде, «Дивный час»! Благочестивые напевы «Мудрости»{121} (которые я имел в красивом кожаном переплете) были мне так же близки и дороги, как и вдохновенная порнография «Людей»{122} (которую я ухитрился раздобыть себе в редком частном издании).

Что меня глубочайше трогало в Верлене, так это его чувство к Рембо{123}, Артюру Рембо, бунтарю, необузданному вундеркинду: Рембо le Voyou [24], Рембо le Voyant [25]{124}, он на моем Парнасе играл какую-то самодовлеющую, доминирующую роль, как Ницше, близ которого я полагаю установить его статую, — он был для меня захватывающим и удивительным, прежде всего как личность и судьба. Из его труда, этого великолепного фрагментарного, опасно взрывчатого Œuvre, у меня тогда запечатлелось только несколько стихотворений (недостаточное знание французского вряд ли позволяло мне упиваться «Озарениями»{125} и «Порой в аду»{126}): зловещее видение «Искательниц вшей»{127}, непререкаемое заклинание гласных («A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles — Je dirai quelque jour vos naissances latentes…»[26]) — и — надо ли это подчеркивать? — огромный поэтический подвиг «Пьяный корабль»{128}.

Вот уже три поколения, мое, равно как предшествовавшее и последующее, находятся под обаянием «Пьяного корабля». Наше «неприятие в культуре» требовало волшебства, хотело рывка и бегства, томилось по раскаленным горизонтам, металлическим радугам, знойным ночам и лихорадочным утренним зорям — по всем тем неслыханным красотам и ужасам, какими приворожил

нас, напророчил нам, обнажил перед нами Рембо. Уставшие от цивилизации, всей надломленности и разложения, которой мы еще, правда, не могли измерить, но все-таки с опасливым предчувствием уже ощущали, были мы вполне готовы следовать за этим динамичным ментором. Куда? В какие дали? В какие апокалипсические царства? Никакой остров грез не был для нас слишком далек, ни одна молния не сверкала для нас слишком ярко. Мы совместно пустились в это проклятое путешествие до последнего, предельного; мы любили опасность, бурю, катастрофы — по крайней мере в стихах…

Бегство Рембо было для меня символом, мифическим событием, столь же внушительным и полным значения, как безумие Ницше, самоубийство Генриха фон Клейста. Одержимый юнкер был принят в мой проблематично-избранный клуб умов не как автор «Пентесилеи» или «Михаэля Кольхааса», но благодаря своей ужасной смерти{129}, категорически и исключительно как самоубийца. Даже непотребная «Битва Германа» прощалась ему перед лицом того финального жеста, в коем разрушает и реализует себя прометеевски борцовская натура. Клейст моего пантеона стоит неподвижно, направив револьвер в собственный висок, трагическое чело сияет в блеске какой-то «невыразимой благостности», о которой идет речь в прощальном письме. «Правда та, что на земле мне нельзя было помочь, — говорит Клейст моего мальчишеского Олимпа. — И прощай…»

Георгу Бюхнеру{130} не надо никакого внелитературного удостоверения: его труд — достаточный паспорт. Не знаю, какая из трех его вещей была для меня самой любимой, я любил все три: глубокомысленно-дурашливую сказку о «Леонсе и Лене» (мы ставили ее в Бергшуле: я был Леонс, Эрика отдала глуховатый тембр своего голоса, свое еще неуклюже-застенчивое очарование Лене); горькую и смелую трагедию «Войцек» (которая теперь представляется мне его значительнейшим произведением); богатый красками и фигурами драматический ковер «Смерти Дантона». Именно этой драме я тогда, может быть, отдавал предпочтение: у меня была слабость к прекрасной и развратной Марион, от которой я слишком охотно узнавал о том, что совсем неважно, в чем мы находим свою радость, в детских ли играх, в божественном или в играх вожделения. «Кто больше наслаждается, больше молится».

Среди драматургов Бюхнер был моей великой любовью вместе с модернистом, относящимся к семье создателя «Войцека», Франком Ведекиндом{131}. В нем меня ослепляла резкая манера, пронизывающая, неумолимая, притом всегда слегка дьявольски-саркастически окрашенная серьезность, с которой он

демонстрировал и воинственно защищал свои рискованные, но для меня насквозь ясные моральные тезы. Таким образом, он занимал свое место среди моих героев, еще в атмосфере Ницше, недалеко от Гейне и Бюхнера, но уже торжественно изолированно: неуклюжая коренастая фигура, с агрессивным достоинством, полупаясничая-полупроповедуя, требует с пеной у рта «воссоединения морали и красоты». Он поучает, гримасничает, жестикулирует, совершает замысловатые скачки; он меняет костюм, но отнюдь не саркастический акцент, стилизованную манеру: пафос его всегда один и тот же и для меня всегда одинаково убедителен, преподносится ли он в данный момент в качестве д-ра Шена{132}, возлюбленного Лулу{133}, или в качестве маркиза фон Кейта{134}, в качестве короля{135} или покровителя{136}. Охотнее всего я вижу его в роли Замаскированного господина, который в заключительной сцене «Пробуждения весны» предоставляет выслушать свою сардоническую мудрость. Замаскированный господин берет за руку мальчика Мельхиора{137} и вводит его в жизнь, опасность и заманчивость которой он превозносит в яростно-отточенной речи. Он многозначен, остроумен и таинствен, этот Замаскированный господин; он жутковат и очень привлекателен; он достоин любви, как жизнь.

В пантеоне, отводящем столь авторитетное место дьявольскому моралисту Франку Ведекинду, не должен отсутствовать Август Стриндберг{138}. Его трагизм вырождается подчас в болезненную несговорчивость, из стенания становясь пронзительной руганью. Но в ином из его произведений его субъективное страдание концентрируется в объективное видение, обретает форму, убеждает, покоряет. Особенно пьеса «Игра грез», она так же значима для моей юности, как «Смерть Дантона» и «Пробуждение весны», обладая той не слишком обоснованной и тем не менее очевидной силой, сверхреальной реальностью и иррациональной логикой, которая относится к сути поэтического. Не без вещего содрогания повторял про себя шестнадцатилетний ужасно простой и ужасно правдивый рефрен: *жаль людей…*

От Стриндберга и Ведекинда прямая ведет к экспрессионизму, который был литературной модой. Между тем я не знал, что делать с анархистами и приверженцами немецкой послевоенной эпохи; большинство из них казались мне шумными попутчиками одной апокалипсической конъюнктуры. За судорожными жестами, чрезмерным запасом слов отсутствовало чувство, которое могло бы оправдать подобные издержки. У некоторых, разумеется, пафос был подлинным; самым подлинным, самым чистым, казалось мне, — у Георга Тракля{139}.

Если тогда еще неизвестный Кафка, по прекрасному выражению Германа Гессе, — «тайный король немецкой прозы», то Тракль относится к скрытым князьям немецкой поэзии. Его труд (австрийский поэт покончил с собой во время войны, оставив после себя один тоненький том) стоял на моей полке рядом с «Часословом», «Цветами зла» и «Гимнами к ночи».

Он подхватил лиру, выпавшую из рук Гёльдерлина. С мягкой настойчивостью он заклинал всегда одни и те же краски, те же тона и лица: немой лик сестры, беременная батрачка, монах — он погружает «гиацинтовый палец» в рану, как в источник, — бесцельный птичий полет над пустынной нивой, нежное золото астр и подсолнечников, пурпур мака, блеклая голубизна вечернего неба. Вот флаги звенят на ветру и осенняя твердь с желтым плодом склоняется к озеру, мальчик Элис выступает из голубой пещеры, широко распахнув «лунные» глаза в смертельном благоговении…

Тракль — самый глухой голос в моем хоре. Да и пение ли то, что он позволяет услышать? Часто это звучит как лепет. Запинающимся языком возвещает он содрогание развязки, крушения. Форма расплывается у него в пурпурном сумраке. Он ввел меня в мистерию двойного света. Где дух, что наставлял меня в тайнах ясности?

Les mystères de la clarté [27]: формула есть у Поля Валери, которого тогда я не знал. Но я знал Стефана Георге. К нему чувствовал я себя так близко, так глубоко привязанным и так глубоко ему обязанным, как никому другому из моих святых.

Не следовало ли мне поместить его среди центральных фигур моего Олимпа? Того же ли он ранга, что те четыре сиятельства, которых я назвал выше: Сократ, Ницше, Уитмен и Новалис? Несомненно, в «Году души»{140}, в «Седьмом кольце» — повсюду в его творчестве есть вещи, принадлежащие к ценнейшему достоянию немецкой литературы. И все же можно было бы согласнее, безоговорочнее восхищаться поэтом, не присвой он себе позу тирана. Да, Стефан Георге велик; однако обладает ли он тем из ряда вон выходящим масштабом, которым его наделил его «круг» с раболепным усердием? Если мое отношение к нему с течением лет стало прохладнее, скептичнее, то это наверняка заложено в моей неприязни к культу, который он прискорбным образом позволил сотворить из себя националистическим профессорам и реакционным снобам.

Но что бы ныне ни отделяло меня от него, в ту пору мое почитание не знало границ. Я видел в нем вождя и пророка, цезарско-жреческую фигуру, как он себя преподносил. Среди гнилой и жестокой цивилизации он возглашал, воплощал

человечно-художественное достоинство, в котором объединяются воспитанность и страстность, привлекательность и величие. Каждый из его жестов и пристрастий носил характер показательного и программного. Он превратил собственную биографию в миф; его любовное переживание — склонность к мальчику Максимину{141}, — составлявшее ядро философии, было для круга приверженцев откровением.

Встреча между поэтом и юношей под аркой Мюнхенских ворот победы, их связь, их краткое счастье, смерть Прекрасного, скорбная песнь на могиле, — эта драма, прославляемая в «Седьмом кольце», стала для меня неотъемлемой частью собственного чувствования и мышления. «Воссоединение морали и красоты», которое Франк Ведекинд — и не он один! — столь подчеркнуто рьяно рекомендовала мистерии о Максимине казалось свершившимся событием. Примирение между эллинским и христианским эпосом — его я находил здесь достигнутым. Упорядочивающий ум Стефана Георге разрешил, так мне хотелось верить, фундаментальный конфликт, который с интуицией и остроумием проанализировал Генрих Гейне и который трагическим лейтмотивом властвовал в творчестве Фридриха Ницше.

Моя юность почитала в Стефане Георге тамплиера, чью миссию и деяния он описывает в стихе. Вот черная волна нигилизма грозит поглотить нашу культуру, вот окоченела и устало бьется в мировой ночи великая кормилица, тут выступает на арену он — воинствующий прозорливец и вдохновенный рыцарь. Он хватает за косу непокоренную и обессилевшую; с его губ исходит магическое слово такой силы, «что она согласна продолжать свой труд: делать плоть божественной, а Бога воплощенным».

Это и были мои воспитатели! Пестрое, как вы заметили, смешанное общество, в котором, впрочем, были внутренне обусловлены по своему воздействию две дальнейшие фигуры: мой отец и Генрих Манн, то бишь два Художника, с которыми я был связан сродством весьма особой и глубокой природы.

При всей пестроте мой Олимп кажется несколько односторонним. Доминирует эротически-религиозный элемент, тогда как социальный остается почти полностью заброшенным. Реализм едва ли представлен на моем мальчишеском Олимпе, да и классики в строгом смысле слова туда не допускались. Пантеон шестнадцатилетнего оказывает предпочтение романтике, в которой встречаются и пронизывают друг друга ирония и грусть, сладострастие и благочестие, метафизическое наитие и сексуально-эмоциональный экстаз.

Разумеется, выбор моих святых в значительной степени был предоставлен случаю. Мое любопытство было незамкнутым. Я нуждался в руководстве; я хотел учиться, почитать; но прежде всего искал я толкования и подтверждения собственного запутанного, борющегося чувства. Мой незрелый, неокрепший дух открывался, отдавался всякому влиянию, в котором, мне казалось, я ощущал хотя бы отдаленнейшее сродство с моей собственной породой, моим собственным переживанием.

Среди моих бумаг того времени обнаруживаются эти строки, кои я, как еще припоминаю, написал, проснувшись однажды ночью:

«Чужой голос, сладкий и повелительный, пробуждает меня от глубокого сна.

Откуда приходит мне зов?

Добро пожаловать, мой вождь!

Я здесь — готовый следовать: меня не заботит за кем…

Кем бы ты ни был; с твоей помощью найду я в конце себя самого!»

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
НЕПОРЯДКИ И РАННЕЕ ГОРЕ
1923–1924

Всегда все тот же беспорядок: с незапамятных времен, то же страдание, то же увеселение…

Глубины органической жизни беспорядочны — лабиринт, болото смертельного вожделения и созидательной силы. Корни нашего бытия простираются вглубь, в муть, в тину, в трясину спермы, крови и слез, где оргия сладострастия и тления повторяется вечно, бесконечная мука, бесконечный восторг.

Видишь, из бурлящей тьмы поднимается бог течи, сатир и бык, покрытый тиной и пеной, переполняясь мужской силой, томясь желанием, смеясь, рыдая, содрогаясь в экстатической похоти, неодолимый, разрушительный элемент, дразнящий демон, одновременно херувим и бестия, страшный в высшей степени.

Он не амур, задорно шалящий кокетливым луком с игрушечными стрелами. Этот, ужасный, веселый и дикий, — хищный зверь, беспощадный охотник. Разумеется, он еще и плут и комедиант, постоянно склонный к маскараду и фиглярству. Да, я видывал его в разном обличье: заманчиво нарядным и в распутной обезображенности. Он обладает гордым великолепием павлиньего хвоста — смотрите, как он встряхивается! как он сладострастно вибрирует! — переливчатая величавость радуги, девственная глазурь весеннего цветка; у него змеиный взгляд, параноическая ухмылка, бесстыдное неистовство эпилептика. Иногда он прикидывается, кажется кротким и скромным, пока его шепот вдруг не становится криком совокупления, а милая улыбка перерождается в гримасу.

Он велик, бог течи, властелин самого раннего страдания, творческого беспорядка. За шедеврами и убийствами, проказами и трагедиями движущая сила — он. Он оплодотворяет, и он же опустошает, он несет счастье и ужас, ликование и зубовный скрежет. Его дыхание одушевляет сердце: рапсодические слова струятся с уст, которых он коснулся. Он запутывает разум: его тропа покрыта следами самоубийств и преступлений. Положения логики, этики и эстетики не имеют силы перед его упоенной властью. Кто отважится взывать к благочестивой традиции, нравственной норме там, где автономно правит фаллическое божество? В ответ — хохот. Бог течи издевается над нашей

критикой, ему плевать на предостережения.

Он не добр, не зол. Он есть бесконечная энергия, что в самодовлеюще-иррациональном ослеплении, не различая добра и зла, желает, объемлет, уничтожает и производит.

Всегда это тот же беспорядок, всегда то же полное желания смутное страдание. С начала мира.

Было ли мое поколение — европейское поколение, подраставшее во время первой мировой войны, — беспорядочнее и фривольнее, чем вообще бывает молодежь? Развлекались ли мы особенно распутно и необузданно?

Нравственно-социальный кризис, в центре которого мы находились и конца которого еще не предвиделось, ведь он был тогда уже в полном разгаре. Наша сознательная жизнь началась во время удручающей неизвестности. Все вокруг нас трещало и шаталось, за что нам было держаться, на какой закон ориентироваться? Цивилизация, с которой мы познакомились в двадцатые годы, казалась лишенной равновесия, цели, воли к жизни, созревшей для упадка, готовой к гибели.

Да, мы рано были накоротке с апокалипсическими настроениями, опытны в разных эксцессах и авантюрах. Между тем я не осознаю, чтобы когда-либо был знаком с «пороком». Я даже не знаю, что такое «порок». Одиночество и желание, голод, скука, ревность — это реальности. Но что есть «порок»? Кто определит мне понятие «греха»? Что касается меня, то я никогда не был в состоянии постичь какой-нибудь смысл этих высокопарно-пустых абстракций.

Мы не могли отклониться от нравственной нормы: таковой нормы не было. Моральные клише буржуазной эры, эти атавистические табу самодовольно-сытого и одновременно невротически настроенного общества, в военные и революционные годы потеряли свои авторитет и убедительную силу — окончательно, как нам тогда хотелось верить. Так основательно приконченной, так совершенно passé [28] казалась нам эта пуритански-бюргерская нравственность, что, казалось, не стоило наших усилий вступать с ней в полемику.

Что там было еще «демаскировать» в этике, чья фальшь и ущербность были давно разгаданы и заклеймены? Яростная битва против устаревшей псевдоморали, которую начали иконоборческие гении конца девятнадцатого столетия, была продолжена и завершена поколением наших отцов: аскетические идеалы — зло развенчанные Ницше, Уитменом, Золя, Стриндбергом, Ибсеном, Уайльдом — испустили дух своей сомнительно-умеренной жизни под сокрушительными ударами Д. Г. Лоренса{142} и Франка Ведекинда. От наших поэтов

переняли мы пренебрежение к интеллекту, акцентирование биологически-иррациональных ценностей в ущерб морально-рациональным, чрезмерное подчеркивание плотского, культ Эроса. Среди всеобщей пустоты и разложения ничто не представлялось действительно важным, кроме мистерии Сладострастия, собственно физического существования, либидо-миражей нашего земного бытия. Ввиду заката кумиров, ставящего под вопрос наследие двухтысячелетий, мы искали новое центральное понятие для своего мышления, новый лейтмотив для своих песнопений и находили «тело электрическое».

Эта тяга к физиологическому была у нас не просто делом инстинкта или настроения, но имела программно-принципиальный характер, чему едва ли следует удивляться, учитывая старую немецкую склонность к систематизации: здесь даже из хаоса и безумия создалась система.

Тогда, в дни политической невинности и эротической экзальтации, у нас, разумеется, отсутствовало всякое представление об опасных аспектах и потенциях нашей ребяческой сексуальной мистики. Все-таки я не могу не отметить, что наша философия «чувства тела» подчас ставилась во главу угла и эксплуатировалась довольно неприятными элементами. Прославление физических достоинств теряло для меня всякую привлекательность и всякую убедительность, если оно связывалось с воинственно-героическим пафосом, что, к сожалению, бывало часто. Впрочем, у меня также не было никакого понимания того спортивного фанатизма, который мы должны рассматривать как дальнейший симптом — может быть, важнейший! — тогдашнего антидуховного настроения. И что необычайно волнующего и чудесного находили люди в схватках боксеров и футбольных матчах? Я этого не понимал… К счастью, эти предметы играли лишь незначительную роль в системе Оденвальдской школы.

Тем не менее некоторые мальчики все же имели атлетические амбиции и развлекались игрой в мяч, метанием диска и другими физическими упражнениями. Я охотно смотрел на них, когда они боролись друг с другом или бегали наперегонки. Был один, кто прежде всего удостаивался моего внимания. Звали его Уто. Он был сильным и проворным, однако далеко не самым сильным и самым ловким среди товарищей. Да и особенно красивым он, пожалуй, тоже не был, не атлет, не Адонис. Но я любил его лицо. У него было такое лицо, какие мне нравятся. Можно испытывать нежность к различным лицам, если достаточно долго живешь и имеешь чувствительное сердце. Но есть только одно лицо, которое любишь. Оно всегда то же самое, его узнаешь из тысяч. У

Уто было такое лицо.

Он со своими высокими, сильно выступающими скулами и узкими глазами мог быть славянского происхождения. Или, возможно, он выглядел, скорее, как маленький швед, каким-то образом заполучивший каплю монгольской крови. Его светлые волосы временами производили впечатление соломенных, как бы обесцвеченных и высушенных обильным солнцем; иногда же они казались очень густой и мягкой субстанции и золотистого оттенка. А губы его часто бывали сухими и растрескавшимися, неожиданно затем (это никак не было связано с погодой, но скорее зависело от настроения Уто) расцветая и темно светясь. Его глаза имели цвет льда — льда, гонимого по реке, мерцающего в блеске зимнего утра. Они были не голубые, его глаза, но лучисто-серые, с примесью серебристо-зеленых огоньков. Невинность этого ясного взгляда была для меня сладка и пугающа. Бывает сияющая ясность, непостижимей пурпурной бездны полуночи.

Колени Уто большей частью были покрыты шрамами, что придавало ему воинственно-лихой вид. Руки его были шершавые, с красивой формы грязными ногтями. Голову он держал очень прямо.

Я писал ему стихи, которых он так и не прочел. Я обращался к нему с именами, которые он находил смешными: Ганимед, Нарцисс, Федр, Антиной… Между тем преданность моя ему льстила. Он считал меня ученым, что производило на него впечатление, и немножко глуповатым, что ему в дальнейшем не мешало. Он был хорошим парнем, скромным и мягким, незлобивым; тщеславным достаточно, чтобы радоваться моему преклонению, и все же слишком наивным, чтобы распознать истинный характер моей страсти.

Он говорил мне: «У меня еще никогда не было настоящего друга. Ты — мой первый. Это здорово — иметь друга».

Чело его было гладко и прохладно. Он был одинок и несведущ, какими бывают звери и ангелы.

Я написал на клочке бумаги: «Я люблю тебя».

Он прочел это, чуть покраснел (у него была особая манера мгновенно краснеть и стряхивать при этом смущенным жестом волосы со лба); потом он засмеялся и сунул бумажку в карман брюк. «Черт побери, — сказал он, не глядя на меня. — Это хорошо». И вдруг совершенно серьезно, рассудительно-приглушенным голосом: «Конечно, ты меня любишь. Друзья должны любить друг друга».

Я рассказал ему, что, может быть, скоро вынужден буду покинуть школу. Мои родители, дескать, мне написали. «Они

хотят, чтобы я приехал домой. Они настаивают на этом».

Он не поверил мне. «Ты же не поступишь так со мной, — сказал он (непостижима эта светлая ночь его взгляда!). — Ты ведь просто не можешь оставить меня здесь одного. Ты же мой друг. Твои родители наверняка это поймут, если ты им правильно объяснишь».

Я обманул его. Мои родители вовсе не хотели меня возвращать; напротив, их желание и предложение сводилось к тому, чтобы я еще на год-два остался в Оденвальдской школе, настолько долго, что смог бы там подготовиться к экзамену на аттестат зрелости. Но я не хотел готовиться к аттестату зрелости. Я не хотел оставаться. Несомненно, я был привязан к Еве, Оде и Ильзе, к Паулюсу, к этому прекрасному ландшафту, к доверительной и пленительной атмосфере свободного школьного сообщества. Но я не хотел оставаться. Я боялся.

Я боялся чувства, что грозило горестным блаженством взорвать мне грудь. Я боялся Уто. Он был так силен, настолько физически крепче, настолько легче в общении, чем я. Все в нем было силой и весельем, для него не было проблем. Мне же все становилось проблемой — непроницаемой, подавляющей. Я не осмеливался постигать намеки и знаки своей судьбы.

«Мои родители очень упрямы, — утверждали. — Если уж они что забрали в голову…»

Что за страдание гнало меня прочь? Каковым был новый беспорядок, что ждал меня?

Милейн и Волшебник были несколько поражены моим внезапным возвращением. Но в конце концов, если я предпочел завершить свои гимназические этюды в Мюнхене, почему нет? Быть может, мне пойдет на пользу в течение нескольких месяцев брать частные уроки для освежения моих довольно неполных знаний.

Одна ученая фрейлейн и один снисходительный профессор в отставке были ангажированы в качестве моих учителей. Фрейлейн — увядшую, в пенсне, с худым носом и серым цветом лица — мне было от всей души жаль, профессор же, напротив, — его фамилия была Гейст [29] — действовал мне на нервы. Гейст был преисполнен дядюшкиной снисходительности, с розовой физиономией и сердечно-раскатистым смехом; но глаза — очень маленькие глазки за толстыми стеклами очков — прятали коварные искры. Гейст был несимпатичен мне. Впрочем, он любил меня так же мало, как я его. Правда, он был со мной приветлив, хлопал меня по плечу, скалил зубы и балагурил: «Ну что, старина, опять ничего не выучил? Никак опять прокутил

ночку, а? Ничего. Ведь все когда-то бывают молодыми…» Однако за моей спиной он высказывался иначе. «Я озабочен вашим Клаусом», — говорил Гейст моим родителям. Как некогда пшеничная блондинка фрейлейн Теа, профессор теперь посчитал своим долгом предостеречь Волшебника и Милейн. «У юноши недостает основных понятий морали, — уверял Гейст, и глаза за стеклами очков становились коварнее, чем когда-либо. — Никакого чувства долга, никакой дисциплины! Это плоды современных методов воспитания, которым он подвергался в Оденвальдской школе».

Основные понятия морали, которых профессор Гейст у меня недосчитался, — где мне было их найти среди всеобщей неразберихи и коррупции? Моя ли вина, что я был рожден в век нравственной и социальной анархии? Европа, и в особенности Германия, была в начале двадцатых годов одновременно истощена и чахоточно весела. Не образумливания жаждало это выкачанное, не владеющее собой общество; гораздо более хотели забыть нынешнюю нищету, страх перед будущим, коллективную вину…

Колоссальная оргия ненависти и разрушения миновала. Насладимся сомнительными забавами так называемого мира! После кровавого разгула войны пришла зловещая шутка инфляции! Какое захватывающее дух увеселение видеть мир выходящим из колеи! Разве не мечтали когда-то отдельные мыслители о «переоценке всех ценностей»? Вместо этого мы переживали ныне обесценивание единственной ценности, в которую лишенная Бога эпоха поистине верила, — *денег*. Деньги улетучивались, растворялись в астрономических цифрах. Семь с половиной миллиардов немецких рейхсмарок за один американский доллар! Девять миллиардов! Биллион! Что за шутка! Умереть со смеху…

Американские туристы покупают мебель в стиле барокко за бутерброд, подлинного Дюрера получают за две бутылки виски. Господа Крупп и Штиннес{143} отделываются от своих долгов: маленький человек оплачивает счет. Кто там жалуется? Кто протестует? В целом смех, да и только, умора это, величайшая шалость так называемой мировой истории! Кто-то верил, что после войны человечество станет как-то разумнее и сплоченнее? Неужели какой-либо немец был столь наивен, что ожидал от революции очистительного действия? Как будто бы вообще у нас когда-нибудь была революция! Все надувательство! Все иллюзия!

Спекулянты танцуют фокстрот в Палас-отеле! Давайте же и мы вместе с ними! В конце концов, тоже не хочется быть нарушителем игры… Господа и дамы пахнут «Khasana» (made in

Germany [30]; почти так же тонко, как «Coty»!); джаз играет «Именно бананы» — это настоящие негры, гарантированно темнокожие, никакого подвоха! Мы находим джаз «фантастичным», «колоссальным», это — новинка, последний крик. Послушайте только, как они орут:

Киску из Ангоры ты с собой привез,
Ночку целую глядела на нее до слез…

И больше она так ничем и не занималась? Уж мы-то тут поумудреннее… Баснословный, синкопированный ритм… Этот темп… Вон господин там заказывает уже третью бутылку шампанского: имеет, должно быть, валюту… «Поедем со мной в Бразилию, в пампасы со мной пойдем…» Это шимми? Ах, не все ли равно… «Там создадим семью — друг другу подойдем…»

Любой подходит любому, дело не в этом. Эта девушка подходит этому юноше точно так же, как и ближайшему, и если фрейлейн ломается (у нее, может быть, интимная связь со своим скакуном или с кухаркой), тогда оба малыша, живо, живо, совершенно запросто и распрекрасно обойдутся без девиц… Доллар повышается — давайте падем и мы! Почему мы должны быть стабильнее нашей денежной единицы? Немецкая рейхсмарка танцует: мы танцуем с ней!

Миллионы мужчин и женщин, истощенных, коррумпированных, отчаянно похотливых, бешено жаждущих удовольствий, толкутся и качаются там в джазовом бреду. Танец стал манией, *idée fixe* [31], культом. Биржа скачет, министры шатаются, рейхстаг исполняет воздушные прыжки. Инвалиды войны и нажившиеся на войне, кинозвезды и проститутки, монархи на пенсии (с княжескими пособиями) и заслуженные учителя на пенсии (вообще без пособия) — все впадают в чудовищную эйфорию. Поэты извиваются в провидческих конвульсиях; Girls[32] нового театра-ревю возбуждающе трясут задом. Танцуют фокстрот, шимми, танго, старомодный вальс и шикарный танец черта. Танцуют голод и истерию, страх и алчность, панику и ужас. Мари Вигман — каждый дюйм угловатая возвышенность, каждый жест динамический взрыв — танцует священное, под музыку Баха. Анита Бербер — лицо застыло в кричащей маске под жуткими завитками пурпурной укладки — танцует коитус. Танцуют в античных одеяниях, готических доспехах и с обнаженным животом; танцуют à la Айседора Дункан, à la Нижинский, à la Чарли Чаплин; имитируют индейцев, негров Конго, полинезийцев и вымученную пантомиму заточенных зверей в зоологическом саду. Побитый, обедневший,

деморализованный народ ищет забытья в танце. Мода переходит в наваждение; лихорадка распространяется неукротимо, как эпидемии и мистические навязчивые идеи средневековья. Симптомы джаз-инфекции, симптомы скачущей болезни дают себя знать по всей стране; но наиболее опасным образом поражено пульсирующее сердце рейха — столица.

Берлин, одновременно чуткий и толстокожий, пресыщенный и тем не менее постоянно падкий до новых сенсаций, никогда не был в состоянии определять духовно-нравственный климат Германии, как, скажем, Париж во Франции. В противоположность французской столице немецкая одарена не творчески, но лишь организаторски. Это ее гений и ее историческая функция — подхватить и поглотить настроения и тенденции, витающие в немецком воздухе, драматически заострить их. Берлин — это мозг, в котором эмоции и интуиции, страсти и противоречия немецкого народа формулируются с научной точностью и журналистской хлесткостью. Метрополия не творит: она представительствует. Если Берлин кайзеровского времени выставлял напоказ, бряцая оружием, агрессивную динамику молодого германского национализма, то Берлин первых послевоенных лет с той же помпой отражал апокалипсическое состояние нравов побежденной нации.

«Только взгляните на меня! — гремела германская столица, хвастливо и еще в отчаянии. — Я Вавилон, грешница, чудовище меж городов. Содом и Гоморра вместе и вполовину не были столь развращены, вполовину столь подлы, как я! Только зайдите, господа, у меня тут дым коромыслом или более того, полный кавардак. Берлинская ночная жизнь, ну и ну, ничего подобного мир еще не видывал! Раньше была у нас первоклассная армия; теперь у нас первоклассные извращения! Порок еще и еще! Колоссальный выбор! Кое-что происходит, мои господа! Это надо видеть!»

Мне не было еще полных шестнадцати лет, когда я, в 1923 году, впервые приехал в Берлин, сначала лишь на короткий визит. Инфляция близилась к своей головокружительной кульминации. Город казался одновременно жалким и соблазнительным: серый, убогий, опустившийся, но все-таки вибрирующий от нервозной жизненной силы, блестя, сверкая, фосфоресцируя, лихорадочно оживленный, полный напряжения и обещания.

Я был на седьмом небе. Быть в Берлине уже само по себе означало возбуждающее приключение! Прозаические авеню и пустынные площади — все казалось мне волшебно оживленным, полным заманчивой тайны. Как чудесно фланировать вдоль этих

улиц, с названиями которых связывалось у меня представление о грешной суете и большом мире: Фридрихштрассе, Унтер-ден-Линден, Тауентцинштрассе, Курфюрстендамм… Как захватывающе в маленьком русском ресторанчике, какие тогда были на каждом берлинском углу, похлебать густого борща и дать возможность обслужить себя одному из изгнанных великих князей!

Русские эмигранты, которыми кишел Берлин того времени, действовали на меня с особой притягательной силой. Почему им пришлось бежать? Были ли они невинными жертвами большевистского произвола? Или они со своей стороны натворили зла, сидючи еще дома, в своих дворцах? Там, должно быть, и впрямь было люто-весело: лакомились водкой и икрой, тогда как крепостных секли кнутом, а дамы позволяли демоническим попам себя гипнотизировать. Да, тому, кто забавлялся со столь варварски-провоцирующей дикостью, пожалуй, поделом необходимость вкушать потом горький хлеб изгнания… Кстати, я не мог не спрашивать себя, так ли уж в самом деле горька жизнь в ссылке. Не имеет ли она и своих прелестей, при всей опасности и неудобстве? Приключение начиналось с побега из Москвы. Наряжались нищенствующими монахами, чтобы не быть опознанными кровожадной красной тайной полицией. После утомительного, но опять же волнующего странствия — по большей части ночью, заснеженными тропами — добирались наконец до Варшавы или Константинополя, Совсем ничего не сохранив, кроме своей жизни — и парочки бриллиантов неизмеримой ценности! Продажей драгоценностей (свадебный подарок царицы: расстаются с этим неохотно!) создают себе достаточный капитал, чтобы теперь незамедлительно открыть в Берлине излюбленную чайную. Или начать с салона мод в Ницце, борделя в Шанхае? Правда, частенько могла и впрямь раздражать эта кочевая жизнь из страны в страну, из одной части света в другую, постоянно травимыми тоской по матушке-России и агентами ужасного ГПУ; но все-таки оно имело свое обаяние, свое романтическое очарование, это ненадежное, богатое опасностями, светски-космополитическое существование эмигрантов. К сочувствию, испытываемому мною к бежавшим принцам и профессорам из Москвы, Киева и Санкт-Петербурга, примешивалась другая эмоция: что-то вроде ревности, иррациональной и абсурдной зависти.

Весьма похожего свойства были мои чувства по отношению к проституткам, кои ежевечерне с прусской пунктуальностью маршировали вдоль Тауентцинштрассе. Я не мог рассматривать

ни одну из пестрых дам, не сокрушаясь в душе: «Бедняжка! Что за жизнь она ведет!» Однако такая реакция была искусственной и условной; вздох шел не от сердца. Честнее был тот маленький мальчик, который на вопрос взрослых, находит ли он красивым, что у Аффы такой большой бюст, серьезно и точно ответил: «Красивым я как раз это не нахожу, но смотрю на него охотно!» С берлинскими шлюхами у меня было то же самое. Красивыми я их как раз не находил; однако мне доставляло бесконечное удовольствие наблюдать за их яркими процессиями.

Некоторые из них, в сущности, были еще детьми, тогда как другие уже не могли больше прикрасить глубоких морщин у рта и глаз никакой косметикой. Были зябнущие в изношенных пальтишках маленькие девочки, гордые кокотки в мехах, пышные блондинки с уютным рейнским акцентом, элегантные еврейки с зазывно-влажным взглядом. Демонстрировалась женственность на любую цену, на любой вкус, даже на самый вычурный. Несколько дам — свирепые матроны в костюмах строгого покроя — выделялись высокими сапогами из красной или зеленой кожи. Одна из этих осапоженных, к моему восхищению, хрипло шепнула мне: «Не хочешь ли побыть рабом?», щелкнув вдобавок еще и хлыстом в воздухе прямо у моей щеки. Я находил это чудесным.

Романтика дня была неотразимой. Берлин — или, скорее, тот аспект Берлина, который я увидел и по своей наивности посчитал единственно существенным, единственно характерным, — вызвал у меня энтузиазм своей бесстыдной гнусностью. Берлин был моим городом! Я хотел остаться. Но как? Глупая проблема денег!

Работать? Почему бы и нет… Но быть мойщиком посуды или лифтером — ни о чем подобном речь не шла. Место, которое я искал, должно было быть не только доходным, но и занятным. Как бы это внедриться с ангажементом в один из «литературных» кафешантанов, которые тогда, как грибы, вырастали из асфальта столицы?

Я был представлен одному из своих новых друзей — Паулю Шнейдеру-Дункеру, которого звали фаворитом немецкой малой сцены. «Паульхен, — сказал я ему почти угрожающе. — Ты ведь мой друг? Ну так вот, сейчас ты можешь мне это доказать. Я хочу выступать в „Тю-тю“, да ты знаешь, новое кабаре на Кантштрассе. Ты там знаешь кого-нибудь?»

«Ну конечно же, — ухмыльнулся Паульхен с неожиданной готовностью. — Для меня это будет особым удовольствием!» Просеменил к телефону, попросил соединить его с дирекцией «Тю-тю» и заболтал оживленно: «Это ты, Эльза?.. Благодарю, я поживаю средневеликолепно… Но что я хотел тебе сказать: у

меня тут к тебе одно грандиозное дело… да, для твоей программы открытия сегодня вечером… Юный поэт… да… настоящий гений! Декламирует свои собственные стихи — представь себе: все сочинил сам! Просто класс! *Естественно,* он тебе нужен… Ну да, это же само собой разумеется, самоговоря, самобормоча… Итак, прекрасно, он придет сегодня вечером…»

Я был вне себя от восторга.

Конец дня прошел в погоне за смокингом; надо было раздобыть также лаковые туфли и накрахмаленную рубашку. У меня не оставалось времени продумать свой репертуар. Вечером в наряде, взятом напрокат, я явился в «Тю-тю» за полчаса до премьеры, дрожа от нервозности.

Я нашел фрау директора в ее уборной, усердно занятую румянами и тушью для ресниц.

«Ну вот и я!» Мое радостное восклицание прозвучало, возможно, несколько форсированно.

«Очень рада, — сказала она с неподвижной миной. И после паузы, не оглядываясь на меня: — С кем имею удовольствие?»

Я напомнил о телефонном разговоре с моим другом Шнейдер-Дункером, после чего она медленно повернула ко мне голову и скользнула по мне ледяным взглядом. «Значит, *так* выглядит гений, — сказала она наконец, пожав плечами. — Ну, прекрасно». Затем она снова отвернулась к своему туалетному столику.

Я наблюдал, как она украшала свое худое, строгое лицо цветными грифелями. Очевидно, о моем присутствии она напрочь забыла. Я сдержанно кашлянул; она оставалась углубленной в лицезрение своего зеркального отражения, становящегося мало-помалу красивее. Я подождал еще несколько минут, прежде чем приглушенным голосом решился напомнить ей о своем присутствии. «Простите, милостивая фрау…»

«Все еще гений? Я думала, вы уже давно на сцене. — Она говорила, почти не двигая свеженакрашенными губами, вперившись в зеркало. — Поторапливайтесь, молодой человек! Иначе вы пропустите свой номер».

«Уже?.» — спросил я, вдруг задохнувшись. Я почувствовал холодный пот на лбу и стесненность в области желудка.

«Вы идете первым, — пояснила фрау директор резким голосом. — Если вы ничего не имеете против. Будьте теперь, пожалуйста, так добры, оставьте меня одну. Распорядитель покажет вам путь на сцену».

На что же я пустился? Но теперь уже не удрать, все разыгрывалось с ужасающей быстротой, как в кошмарном сне. Вот сцена (что я делаю здесь? как я попал сюда?) и вот занавес —

тяжелый занавес из зеленого бархата с богатым шитьем… Пока занавес тут, со мной ничего не может случиться: я в безопасности… Но вот он поднимается — и там пустота, черная дыра, бездна…

Я должен прочесть стихотворение, прямо в бездну… С какого только начать? Для начала я, во-первых, говорю: «Добрый вечер, мои дамы и господа!» При этом я низко кланяюсь. Поклон, должно быть, вышел неловкий: смеются; злое блеяние раздается из черной глубины.

Охрипшим голосом бормочу я одну из своих дерзких баллад, Это та, о маленькой герцогине Сюзанне, что имеет слабость к матросам. Ни одна рука не шелохнулась по окончании моей декламации.

После короткого, полного страха колебания я решаюсь на второй номер. «„Песня о гриме“! — выкрикиваю я надрывно. — Я хотел бы теперь, с вашего любезного разрешения, исполнить мою маленькую песенку о гриме». После чего я торопливо начинаю: «Нравится ль и вам — нравится ль и вам — нравится ль и вам — так здорово грим? — Но мне, господа, но мне, господа, но мне, господа, он необходим! — Грим, грим, грим действует так празднично — грим, грим, грим пахнет так заманчиво…» «Прекратить! — кричит голос снизу. — Кончай!» У меня еще хватает времени как раз произнести: «Без грима никуда не деться!» Тут уже с мягкой неумолимостью опускается тяжелый занавес. Все кончено. Провал… Итак, теперь я знаю, что такое фиаско, позор…

На следующий день я уехал назад в Мюнхен.

Годы спустя Шнейдер-Дункер признался, что за шутку он сыграл со мной тогда. Не из злобы, как он все время подчеркивал, а из воспитательных соображений. «Ты был тогда такой желторотый птенчик! — восклицал старый остряк. — Такой развоображавшийся маленький глупец! Да как только ты мог поверить, что я действительно порекомендую тебя в качестве большого аттракциона бравой Эльзе Вардт? Едва ты покинул комнату, я, естественно, перезвонил и сказал ей, что ты ни уха ни рыла не смыслишь. Потому-то она заставила тебя выступать, когда в театре еще ни единой души не было, только несколько рабочих сцены. Это должно было стать для тебя уроком, старина! Ну, надеюсь, это пошло впрок…»

Пошло ли это впрок? Пожалуй, вряд ли. Урок, пусть даже жестоко наглядный, оказался все же недостаточным, чтобы отбить у меня окончательную охоту к ночным заведениям, кафешантанам и рискованным маскарадам. Правда, в Мюнхене не

было «Тю-тю», как и Тауентцинштрассе и «Эльдорадо»; несмотря на это, затей у нас хватало благодаря нашей решительной предприимчивости.

Так как швабингские трактиры и ателье не казались нам привлекательными, мы образовали свою собственную маленькую Bohème [33], бесшабашный, хотя и несколько детский кружок. Один молодой человек по имени Тео финансировал наши эскапады; именно он ввел нас в дорогие рестораны и дансинги, которые до сих пор мы вожделенно созерцали только снаружи: казино «Одеон», бар «Регина», павильон «Привет», где так весело проходили карнавалы, знаменитое заведение господина Вальтершпиля, где так превосходно кормили. Тео заказывал шампанское и паштет из гусиной печенки, за что, не моргнув глазом, он выкладывал на стол семь миллиардов пять миллионов и четыреста тысяч немецких рейхсмарок.

У него были мечтательные голубые глаза и мина невинности Парсифаля под красиво завитой светлой прической. Его внешний вид позволял предположить чувствительный нрав и романтическую эмоциональную жизнь, что, однако, не препятствовало ему с отвагой и сноровкой спекулировать на бирже. Он был наивен и пройдошлив, циничен и сентиментален, продажен и щедр — типичный представитель немецкого послевоенного поколения.

Тео устраивал балы-маскарады, ночные санные поездки, роскошные уик-энды в Гармише или на Тегернзее. Когда одному из нас хотелось быть на праздничном ужине в отеле «Четыре времени года» или посмотреть новую инсценировку в Камерном театре, тотчас звонили Тео. Иногда ему приходилось отговариваться: «Сегодня нет. Подождем до следующей недели. Я должен сперва распорядиться». Это звучало зыбко и таинственно. Большей частью, однако, он радостно принимал предложение: «Конечно же! Встречаемся в семь в баре „Лукулл“».

Прелестные то были часы, что мы проводили с Тео. Им самим овладевала детская радость от собственного дорогостоящего гостеприимства. Временами, бывало, он между закуской и жарким триумфально взирал вокруг и с торжественной подчеркнутостью констатировал: «На этот раз опять совершенно великолепно. Мы развлекаемся. Музыка, вино, настроение — все чудесно! Да, эта наша встреча станет когда-то прекрасным воспоминанием».

Обменивались смущенными взглядами. Полагал ли Тео, что может усилить наслаждение моментом, предупреждая будущее воспоминание о нынешнем удовольствии и тешась этим уже сейчас? Когда беседа умолкала, он с лихорадочным

воодушевлением превозносил наш «маленький послевоенный круг». «Может, мы фривольны! — выкрикивал он, причем взгляд его агрессивно сверкал в сторону соседнего стола. — Да, может быть, мы эксцентричны, порочны! Но у нас есть размах и темп, вот в чем дело! Темп нашего времени! Будь здорова, Эри, маленькая ты сатана! Будь здорова, Золотко! Вилли, у тебя бокал пустой…»

Юный студент и начинающий литератор В. Е. Зюскинд{144}, которого Тео со столь ухарской доверительностью называл «Вилли», принадлежал к столпам нашего разгульного послевоенного круга. Девушку Золотко звали, собственно, Эллой; она была из Осло и занималась художественным ремеслом. Элла испускала ликующие возгласы и бранилась чарующим щебечущим голоском. Нам нравился ее норвежский акцент, и мы находили даже charmant ее маленькие ошибки в немецком. Она была прелестно неряшлива, безмерно кокетлива и жизнерадостна. Иногда вдруг глаза у нее становились рассеянными, и она переставала смеяться; тогда ею овладевала тоска по дому. «Ах, вы не имеете представления о том, как у нас чудесно! — сетовала девушка с Крайнего Севера. — Я вот танцую тут, в этом сплошном дыму, а дома — снег, всюду снег дома! А я, дурья голова, должна здесь отплясывать фокстрот!»

Зюскинд написал новеллу об Элле. Она принадлежит к прекраснейшему из того, что он когда-либо сделал. Впрочем, он был склонен использовать литературно своих знакомых юных дам. Он и Эрику изобразил. Интересный очерк характера, к сожалению только с мрачным оттенком: героиню в конце убивает рассерженный любовник. Таким противным и слегка зловещим манером этот юный писатель поклонялся дамам своего выбора. Чтобы доказать Эрике, что новеллистический смертельный удар не был злым умыслом, он посвятил ей свою первую печатную работу, исследование о «Танцующем поколении», которое, к нашей всеобщей гордости, было опубликовано в солиднейшем журнале Мюнхена «Нойер Меркур». Именно в этом с высокой достоверностью написанном эссе В. Е. Зюскинд пытался сформулировать пафос и философию всех фокстротно-веселящихся маленьких послевоенных кружков, включая наш.

Девочки Вальтер, к сожалению, выпали из нашего веселого круга. Злобная кампания — не без антисемитского привкуса, — проводимая против великого дирижера прессой, прежде всего «Мюнхенер нойестен нахрихтен», так испортила ему положение в нашей опере, что он решился принять приглашение из Вены. Лотта и Гретель, две элегантные венки, еще наносили нам лишь краткие редкие визиты; Тео, которому довелось сводить их в бар

«Регина», был от них в восторге. «Вечер, который будет причислен к нашим прекраснейшим воспоминаниям!» — решил он после второго бокала шампанского, сияя от довольства. Да и почему ему не пребывать в хорошем настроении? Жизнь неисчерпаемо пестра, Лотта и Гретель означали в высшей степени приветствуемый, пусть только и временный прирост к нашему послевоенному кружку, и, между прочим, спекуляция венгерской пенге обещала стать сенсационным успехом.

Подобно девочкам Вальтера, редким гостем в нашей среде был и Рикки. Он в ту пору недолюбливал город и охотнее пребывал в горах, где с какой-то маниакальной страстью мог концентрироваться на своей работе. Это было в те годы, когда возникли некоторые из его прекраснейших пейзажей, добросовестно реалистичные, но при этом какие-то блаженно-просветленные и заколдованные виды горных долин, водопадов, темных елей и заснеженных вершин, зубчатый контур которых с неумолимой четкостью проходит перед стеклянно-прозрачным небом, как тайнопись, чей возвышенный смысл не дано когда-либо расшифровать никому из смертных.

Иногда его охватывал страх перед ледяным покоем альпийской идиллии; тогда-то он позволял себе пару деньков развеяться и пообщаться с нашим городом, обнаруживая при этом ту же интенсивность зубовного скрежета, что и при рисовании и при любом другом занятии. Выражение «зубовный скрежет» здесь, кстати, следует понимать дословно; ибо Рикки имел обыкновение в эмоционально повышенные моменты — во время танцев, например, или в объятиях, или также когда сердился — точить друг о друга оба ряда своих крепких, симметричных и ослепительно белых зубов, от чего получался пронзительный скрежещущий звук. Это была одна из его странных привычек, немного раздражавшая и даже пугавшая, но, поскольку в остальном он был милым, к этому относились снисходительно.

Были другие случайные участники наших сборищ, в большинстве своем старше нас с Эрикой, настоящие взрослые и преуспевающие артисты, как Берт Фишель, фаворит Баварского государственного театра, и та серьезная молодая особа, которая импонировала нам мускульной грацией своих длинных рук и ног и небрежной самоуверенностью поведения. Она руководила школой гимнастики, позволяя себе, также как минимум один раз в сезоне, выступать в качестве сольной танцовщицы. Затем литераторы, иногда присоединявшиеся к нам отчасти из-за шампанского Тео, отчасти, пожалуй, и потому, что находили нас забавными. Некоторые из них уже опубликовали книги или принадлежали к редакционному штабу одного из

экспериментальных журналов. Мне решительно льстило декламировать таким знатокам что-нибудь из моей собственной продукции. Они сносили это из профессионального любопытства и чтобы выразить свою признательность за хороший ужин. Незабываемо для меня одно Soirée в квартире Зюскинда, где перед концом я декламировал значительное количество своих песен «бури и любви». Критик, чьему суждению я придавал большое значение — поразительно, но я могу еще вспомнить его имя: его звали Рутра, — завлек меня в конце концов в угол, чтобы приглушенным, однако все же мощно-звучным голосом заверить меня: «Ваши стихи ниже всякой критики. Но вы не смейте бросать писать!» Я поначалу не знал, должен ли обижаться; однако потом решил истолковать оракульскую лапидарность как поощрение.

Да, то была довольно пестро смешанная клика, и для ее увеселения Тео с бездумной непринужденностью разбрасывался своими миллиардами. Но маленькому послевоенному кругу все же недоставало динамического центра, пока к нам не пришла Памела Ведекинд, дочь великого писателя.

Мы познакомились с нею у нашего дяди Генриха; тетя Мими, пышуще-жизнерадостная чешская супруга Генриха Манна, пригласила нас со вдовой Ведекинда, фрау Тилли, и дочерью Памелой на один из своих обильных чаев. Тилли, скрывая с почти аскетической сдержанностью свой знаменитый темперамент, являла лишь мягкость и красоту — сонный ангел с потупленным серо-голубым взором и потрясающими ногами. В восемнадцать лет она была открыта великим драматургом, своим будущим мужем. Тогда она играла пажа во втором акте «Ящика Пандоры» — роль незначительная, но особенно подходящая, чтобы в выгодном свете выставить исключительную фигуру молодой актрисы. Позднее в той же пьесе она стала главным персонажем, в роли партнерши своего одаренного супруга.

Он обучил ее искусству ходить, говорить, улыбаться, петь, плакать. Он усилил и стилизовал ее природную вальяжную грацию, подобно Пигмалиону, оживлявшему свое мраморное творение созидательно-любящим дыханием. Смотрите, магически пробужденная открывает глаза, полные манящей нежности. В юбочке с блестками танцует она на катящемся шаре, декламируя при этом с замечательной концентрированностью стихи Ведекинда. Она бросает в публику воздушные поцелуи; она красуется, сверкает, торжествует, соблазняет. Она Лулу, дух земли, великая греховодница, воплощение и жертва пола.

Бедная Тилли! Да, она еще была способна вызвать любовь, вызвать желание своим искусным и одновременно детски наивным кокетством. Но голос ее — странно глухой, несмотря на

звучную полноту, — воспринимался так, будто она говорила из гипнотического транса. Алебастровый лоб чистого изгиба под изобилием матово-золотых волос казался затененным грезами. Иногда улыбка ее застывала и прекрасный взор устремлялся в неизвестное. Веселая вдова, безутешная вдова передергивалась, как под мимолетно-леденящим поцелуем из темной сферы.

«Тебе нехорошо, мама?»

Это был голос Памелы, — сверкающий, жесткий, с металлом, хорошо поставленный, проникновенный голос честолюбивой молодой актрисы. Она слегка склонилась вперед, чтобы коснуться руки матери. Тилли перенесла ласку, но уклонилась от открытого, испытующего взгляда дочери. Как они были ей знакомы, эти широко распахнутые, переливчато-глубокие глаза под мефистофелевски высоко поднятыми бровями! Черты Памелы и ее тренированный голос, церемонная агрессивность ее жестов и речей, да даже тираничная бдительность ее любви — все напоминало *его,* увековеченного мастера. Франк Ведекинд, казалось, воскрес в строгом обличье этой девушки с большим изогнутым носом, фосфоресцирующим взглядом, ярко накрашенным ртом, как-то извивающимся при улыбке.

«Но со мной все в порядке, дорогая», — уверяла Тилли глухим голосом, снова и снова пугаясь этой смешной, ужасающей схожести.

«Я надеюсь, мама», — говорила Памела, тонируя каждый слог с немилосердной точностью, целиком в стиле покойного папы.

Она все делала в его стиле, его образец определял ее мысли и жесты, ее акценты и эмоции. Она решила позднее продолжить, в качестве артистки, традиции Ведекинда на сцене. Когда она еще готовила себя к театральной карьере, ко времени нашей первой встречи, ее любимейшей игрой было петь *его* песни под гитару, все эти жутко-гротескные баллады и нежные уличные напевы, которые он раньше в «Одиннадцати палачах» исполнял сам{145}.

Какая чудесная, трогательная картина! Памела, сидящая под посмертной маской отца, на кушетке в его рабочей комнате, с его лютней в руках… Каменный лик мертвого с его орлиным носом и белыми незрячими глазами, величественно уставившимися под косыми бровями в пустоту, властвует в помещении. Лицо Памелы не что иное, как смягченная вариация и омоложенное повторение отцовской строгой мины.

Она сидит неподвижно, склонив отважную юную голову (да, это — гордая глава ренессансного мальчика!) чуть в сторону, с полуоткрытыми губами и внимательно сдвинутыми бровями, словно вслушиваясь с крайней сосредоточенностью в едва доносившиеся, из дальней дали навеваемые советы и

наставления. Как прямо держится она в черном, плотно облегающем платье с белым кружевным воротом! Она вслушивается, она ждет, в то время как ее пальцы механически перебирают струны инструмента. Наконец ее изгибающийся улыбкой рот объявляет, причем, однако, не без известной угрожающей торжественности, как если бы она обращалась не к интимному кругу дружественных слушателей, а к многочисленной и сопротивляющейся публике: «Прошу вашего внимания к одной из прекраснейших песен моего отца: „Слепой мальчик“». Голос ее несколько стеклянный, однако в высшей степени завораживающе одухотворен, как только она затягивает:

Детство, ты пора святая!
Детство, ты, увы, прошло!
Хоть душа была слепая,
Взор глядел тогда светло…

(Перевод В. Топорова)

Памела стала вскоре нашей лучшей подругой; она была неразлучна с Эрикой и со мной. Если не устраивали, как с Тео, дорогостоящих экскурсий, то встречались большей частью в квартире Ведекиндов, бюргерски уютных и просторных, но все же слегка эксцентрично обставленных апартаментах на аристократической Принцрегентштрассе, недалеко от берегов Изара. Естественно, Памела появлялась время от времени и у нас на Пошингерштрассе, но не очень часто и всегда не без известного стеснения. Между нею и нашими родителями отсутствовало то спонтанное, непосредственное отношение, которое столь метко характеризуют как «контакт». Что же касается Волшебника, то наша новая спутница была ему определенно жутка. Он на свой иронично-отстраненный лад восхищался Ведекиндом, возможно, даже любил, никогда, впрочем, не сближаясь с ним по-человечески, как, например, его брат Генрих, причислявшийся к ближайшим друзьям драматурга. Но запутанный, двусмысленный пафос, очаровывавший и потрясавший его в Ведекинде, раздражал в женски упрощенном варианте, в котором он представлялся ему теперь, не на подмостках сцены, а в нашей столовой или у камина, в прихожей. Резкая манерность Памелы была не в его вкусе.

Была ли наша подруга аффектированной, искусственной, ненатуральной? И да, и нет. Определенные характеры, к которым мы можем причислить Памелу, *неестественны по природе:* страстный жест и страсть у них не отделяются друг от друга, игра и страсть — одно. Несомненно: дочь поэта-драматурга была

насквозь комедианткой; она нравилась себе в своем высокостилизованном театральном виде, и иногда она, пожалуй, утрировала собственный стиль до смешного: мефистофелевская игра мимики и подчеркнутая дикция подчас производили комическое впечатление. Это не должно, однако, означать, что она была не способна на подлинное, сильное чувство. Напротив, она доказывала в дружбе ту чрезмерную преданность и страстность, тот же фанатизм, что был характерен для ее культа отца.

Атмосфера в доме Ведекиндов всегда была заряжена затаенным — или не так уж затаенным — напряжением, как диалоги покойного хозяина дома, не лишенным, однако, теплоты и обязательной мюнхенской «уютности» (которая, впрочем, несколько скрытным образом тоже входит в ведекиндовский стиль). Тилли была чрезвычайно милой и радушной хозяйкой как раз в силу своей мечтательной беспечности и рассеянности. В то время как она принимала своих кавалеров, Памела угощала своих друзей в соседней комнате, к тому же еще приходили посетители младшей дочери, Кадидьи, — прелестного и дикого создания, в ту пору четырнадцатилетней; я был ею околдован; да еще гости одной капризной дамы, которая жила у Ведекиндов: она называла себя Сибиль Ван и была прежде актрисой.

Актеров в этом гостеприимном доме хватало; большинство из них были те, кого видели в драмах Ведекинда на сцене (великий Альберт Штейнрюк, к примеру, частенько появлялся там), чем особенно подчеркивался постоянно оживляемый, ритуально отмечаемый намек на традицию Ведекинда. Иногда являлись также молодые поэты, которые пытались современными средствами имитировать метра или превзойти его. Я вспоминаю, к примеру, довольно шумные, с возлияниями вечера с лихим «Цуком» (Карл Цукмайер{146}), который составлял конкуренцию дочери дома тем, что, завернувшись в красную попону, он в свою очередь звучным голосом и в сопровождении гитары выдавал всевозможные собственные стихи.

«Это были все же прекрасные часы!» Кадидья наряжалась индеанкой, к восторгу Цука, который увлекался Карлом Маем{147}. Сибиль Ван подносила коктейли с совершенной грацией жрицы, исполняющей торжественный ритуал своего культа. Тилли была чуть рассеянна до момента, когда вдруг распускала тяжелые косы своей прически и позволяла волосам, словно драгоценной тяжелой мантии, упадать на плечи. Это было знаком, что теперь может начаться непринужденная часть вечера. Тогда Памела немедленно кусала в руку кавалера, с которым в тот момент танцевала. У нее было обыкновение кусать

неожиданно людей в руку; это было довольно больно и оставляло компрометирующие следы.

Иногда доходило до серьезных инцидентов. Случалось, что Кадидья вступала с одним из своих юных почитателей в серьезную боксерскую схватку, не принимая во внимание при этом мебель и нервы присутствующих дам. Питала отвращение к потасовкам прежде всего Сибиль Ван, капризная, каковой она и была. «Я прошу тебя, Кадидья! — И она изящно заламывала руки. — У тебя что, нет детской комнаты? В конце концов, ты же юная девушка, из хорошего дома…»

Что касается фрау Тилли, то ее не так-то легко было вывести из терпения; средь шума она всегда сохраняла мечтательно-ясное самообладание. Правда, бывали дни или целые недели, в течение которых она вообще не показывалась. Ее неустойчивый нрав знал периоды депрессии и помрачения, которые повторялись с определенной регулярностью и на время делали для нее невозможным всякое общение с людьми. Страдалица пряталась в своей затемненной комнате или в деревне, в санатории, чтобы в полном уединении выждать конца наказания.

У Памелы также происходило подобное, разве что в ее случае недуг проявлялся более резко и гораздо скорее проходил. Только что она искрилась и напевала, как вдруг закрывала лицо руками и начинала сотрясаться от внезапного истерического плача. К ней лезли с утешающими уговорами и озабоченными вопросами. Но она не говорила, что было причиной ее расстройства, лишь стонала, как при физическом страдании. Наконец сквозь конвульсивные всхлипывания ей удавалось произнести несколько слов. «Это из-за папы, — лепетала она. — Ведь он мертв… А мы смеемся здесь, в его рабочей комнате… Я не выдержу этого… это сведет меня с ума… что он мертв…» — И она снова закрывала обеими руками свое залитое слезами лицо; десять растопыренных пальцев вздрагивали перед ее лицом, словно красный, жутко оживший веер.

Именно в момент такой вспышки мне впервые бросилось в глаза странное строение ее рук. До этого я никогда не смел критически разглядывать какую-либо деталь ее внешности, запуганный и очарованный ее артистической бравадой и самоуверенностью. Но вот теперь я заметил неуклюжую форму ее руки. Да, это была рука Франка Ведекинда, тяжелая, неловкая, — трагически грубая рука скоморохов и философов, священнодействующих колдунов и бурлескных проповедников, которых он вызывал заклинаниями в своем творчестве и сам воплощал на сцене. Значит, унаследовала дочь эти трогательные, ужасные руки, которые всегда выглядели, как если бы они были

изранены и липки от крови и словно они причиняли боль.

Я видел ее руки и ее слезы, проступавшие между ее пальцами, и видел ее вздрагивающие плечи и склоненный затылок. Ее гордый, смелый затылок, теперь я видел его согбенным.

Я спросил ее: «Хочешь выйти за меня замуж?»

Мы были совсем ровесники, Памела и я, — ровно восемнадцать, ко времени нашей помолвки.

«Был бы ты ну хоть чуточку постарше! — сетовал мой отец. — Ты слишком юн, вот несчастье!» А бедная Милейн вздыхала: «Что нам теперь с тобой делать?»

Я только что прервал свои занятия с профессором Гейстом, просто улегшись в постель и известив семью, что нахожусь в разгаре тяжелого психического кризиса. Пассивное сопротивление в большинстве случаев ведет к цели. Я избавился от докучливого Гейста и мог чувствовать себя свободным человеком.

Родители, понятно, были несколько озабочены. Что из меня получится? Ответ у меня был наготове: «Я рожден танцором. Да, таково мое намерение — совершенствоваться в искусстве движения. Что в этом такого комичного? Я желаю брать уроки у Харальда Кройцберга{148}. Он — гений, и под его присмотром смогут развиться и мои способности. Что мне экзамен на аттестат зрелости? Это была бы пустая трата времени. Через пару лет я — всемирно известен, второй Нижинский. Да и с чисто финансовой точки зрения танцевальная карьера многообещающа».

Отец и мать со стойким спокойствием объявили, что в принципе они ничего не имеют против профессии танцора, хоть им, может быть, была бы приятнее иная карьера старшего сына, вроде архитектора или драматического тенора. Но раз я теперь чувствую себя призванным к искусству танца, быть посему! Только столь многозначительное решение не следует принимать, не обдумав обстоятельно. Разговор состоялся в апреле. Родительский совет сводился к тому, чтобы перенести дальнейшее обсуждение моего выбора профессии на осень. Тогда проблема увидится свежими глазами и, конечно, найдется решение. Но куда меня деть в этом промежутке?

Я предложил Гейдельберг. Из Оденвальдской школы я предпринимал туда пару вылазок и сохранил самые приятные воспоминания. Особенно очаровало меня одно живописное старое строение, расположенное за городом, на Неккаре, — приют Нойбург, прежде доминиканский монастырь, теперь — владение поэта Александра фон Бернуса{149}. Разве не был барон несколько лет назад довольно хорошо знаком с моими родителями? Можно

было бы справиться у него, не соблаговолит ли он принять меня у себя в качестве пансионера. Я мыслил увлекательно и уютно провести несколько месяцев в таком курьезном окружении. Между прочим, так уж случилось, что мой друг Уто, который вскоре после меня покинул Оденвальдскую школу, был дома, в маленьком городке недалеко от Гейдельберга…

Барон фон Бернус, в чьи привычки отнюдь не входило принимать чужих молодых людей в качестве paying guests[34] у себя, был, вероятно, несколько удивлен затеей моего отца. Однако он согласился — из любезности и, может быть, потому, что ему было интересно познакомиться с чудаковатым мальчиком, вбившим себе в голову принять участие в монастырской жизни замка.

Это была странная среда, в которую я теперь был принят с ясной непринужденностью. Сам барон по внешности и поведению вполне соответствовал образу, который создает себе о поэте народно-романтическая фантазия. Выражение его лица, эффектно обрамленного густыми шелковисто-вьющимися волосами, было исполнено мягкой кротости, почти жреческой, однако не без известной чувственной энергии. Он начал как литератор богемы, вскоре, однако, обратившись к более глубоким этюдам и опытам. Из неудачливого эстета получился мистик, из мистика — профессиональный адепт и провозвестник оккультной сферы. После кратковременного обучения у различных эзотерических групп он открыл для себя Антропософическое общество, основатель и руководитель которого, д-р Рудольф Штейнер{150}, был близок дому Бернуса. «Великий посвященный» был, наверное, как учитель и оратор, переполнен замыслами; жаль только, что ему недоставало дара перенести на бумагу свои прорицания и мифы в сколь-нибудь привлекательной форме. Барона, несмотря на его разборчивый вкус и не лишенного со своей стороны подлинного поэтического дара, казалось, все-таки не раздражала скудость Штейнеровой прозы. Значительная часть его времени и его энергии была посвящена толкованию и пропагандированию антропософического евангелия; в остальные часы хозяин замка приюта Нойбург занимался алхимией, астрологией и изготовлением по рецептам Парацельса{151} всяческих целебных порошков и настоек. В то время как поиск философского камня поначалу служил лишь причиной расходов, магические пилюли оказались золотым источником, потому-то барон и сосредоточился особенно на этой отрасли тайной науки. На ведьминой кухне работа всегда проворно спорилась, тем более что там сведущим советом ассистировала супругу баронесса.

Она была в высшей степени пикантная, пленительная

личность — баронесса Имоген фон Бернус, хозяйка приюта Нойбург. Ее одухотворенно-изысканная голова напоминала одну из интеллектуальных *grande dame* [35] французского рококо, сходство, которое она сознательно подчеркивала как своим костюмом, так и вычурной высотой своей серебристо-белой искусной прически. Между прочим, она охотно роняла замечания, забавно намекавшие на ее интимное знакомство с определенными знатными персонами *Dixhuitieme* [36]. Да, однажды она мне так прямо и сообщила — смеясь, но отнюдь не с шутливым намерением, — что она в своем прежнем воплощении была пользовавшейся успехом куртизанкой при дворе Луи XVI. «Я это давно подозревала, — сказала госпожа Имоген; она была одновременно плутовата и величественна: необычайно пикантная особа! — Но теперь у меня есть доказательства».

Маленькая болтовня о перемещении душ звучала повседневно в приюте Нойбург. Об архангелах, домовых и различных ступенях озарения беседовали с такой же естественностью, с какой в иных кругах дискутировали о положении на бирже или о погоде. Господин с рыжеволосой головой, который пребывал у семьи Бернус в качестве постоянного гостя, привносил особый оттенок, разбирая и решая злободневно-политические вопросы с оккультной точки зрения. Никакого чуда, что немецкие националисты так хорошо прошли на недавних выборах в Восточной Пруссии, ведь архангел Гавриил уже с последнего новолуния взял на себя надзор за этой местностью, а как раз этот херувим поддерживает, как известно, всегда консерваторов… Что касается господина с рыжеволосой головой, то он был анархист и как таковой в 1918 году играл где-то некую роль, чтобы затем, скоро, сойти с политической арены. «Я выжидаю своего часа», — уверял он нас за ужином. «Хорошо информированные источники» дали ему знать, что до 10 августа 1929 года анархистская мировая революция космически нежелательна и поэтому неосуществима. «Я все-таки не останусь на бобах», — говорил Характерная голова с мрачной улыбкой.

«Хорошо информированным источником», от которого мой сотоварищ по дому получал политические подсказки, был один очень сиятельный и услужливый дух, при случае вещавший в приюте Нойбург устами одного крестьянского парня. Крестьянский парень звался Маколь и служил не только медиумом, но и помощником барона в лаборатории. Он был лет восемнадцати, по-медвежьи сильный, крупный и красивый вполне мужской и здоровой красотой; никто не заподозрил бы в роскошном юном великане те жуткие дарования, которыми он в действительности располагал. Его восприимчивость или

проницаемость для соприкосновения с «потусторонним» миром была до того сверхразвита, что подчас голоса и лица навещали его совершенно неожиданно, в неловких обстоятельствах, к примеру когда он приятно возлежал в ванне. Тогда сам красавчик Маколь здорово пугался своих видений и пускался в паническое бегство. Так, я видел однажды, как он с ужасным ревом вырвался из ванной комнаты и помчался по коридорам приюта Нойбург, голый и мокрый, с всклокоченными волосами и неподвижно расширенными глазами. Он смотрелся отвратительно и опять-таки великолепно в своей дрожащей наготе, подобный тем мифическим фигурам, что, сопя и потрясая кулаками, жутко-живописно символизируют элементарную силу и неизбежность священного безумия.

Единственно «нормальным» существом в этой слегка эксцентрической среде была юная дочь баронессы, Урсула Пиа, ладное маленькое создание с резковатыми манерами в обхождении. Трезво и добросовестно орудовал этот подросток во фруктовом саду или в хлеву, заботясь и о несколько запущенном домашнем хозяйстве, пока взрослые отдавались своим диковинным играм и расчетам. Какой архангел вступит во владение космическим режимом в 1951 году? Какое обратное действие возымеет эта смена правительства на развитие алхимии? Сможем ли мы, под новым скипетром, открыть высочайше ценное, чего напрасно искал сам великий Парацельс, — камень абсолютной, квазибожественной мудрости? Когда мы найдем ее, священную формулу? Давно вожделенная, давно обещанная метаморфоза обычного металла в небесную золото-субстанцию, — когда она может произойти? «Эти рехнулись все, — ворчала Урсула, принося мне почту или чашку чая в комнату. — Почему вы, собственно, остаетесь здесь? — осведомлялась она подозрительно. — Вы что, тоже с заскоком?»

С заскоком?.. Бестактный вопрос, на котором лучше не останавливаться. А касательно моего пребывания здесь в приюте — и в самом деле, чего я здесь искал? Это оказалось не совсем легко объяснить. В конце концов, не мог же я маленькой девочке растолковать, что выбрал временным пристанищем замок просто потому, что в данный момент не было в распоряжении лучшего! И я только заметил несколько уклончиво: «Здесь так спокойно… И этот ландшафт! Посмотри-ка, как красиво! Река…»

Панорама, на которую я указывал ласковым жестом, была и в самом деле неповторимо мила. Между старыми липами и яблонями приютского сада открывался вид на Неккар, который протекал в золотом свете предвечерья как в ясном просветлении. На противоположном берегу стояли покатые цепи холмов,

приветно осиянных ясным небом. Вдали нежно и достопочтенно из серебристой дымки выступал силуэт Гейдельбергского замка.

«Посмотри же, это небо! Как из стекла…»

«Небо совершенно обыкновенное, — констатировала она сухо. — Небо не из стекла».

Странным ребенком была она, маленькая баронесса Урсула Пиа фон Бернус. Глаза ее были несколько блеклы, но полны тем не менее замечательной выразительности на бледном личике с крохотным вздернутым носиком и восхитительными ноздрями. Она заплетала свои жиденькие волосы в две маленькие косички, торчавшие по обе стороны головы как два тугих хвостика, напоминая два недоразвившихся крылышка. В противоположность грациозно-непринужденной манере поведения ее мамы Урсулины походка и жесты отличались в основном торжественной чопорностью и степенностью; когда, однако, она полагала, что за ней не наблюдают, то могла вдруг запрыгать весьма резво: полная достоинства мини-матрона, казалось, превращалась в проворную кошечку.

«Мне только хотелось бы знать, чем вы здесь, собственно, занимаетесь целый день», — говорила она вскользь и все же с неким материнским интересом.

«Ах, так, всякой всячиной…» — отвечал я неопределенно, в то время как мой взгляд опять терялся в серебристой прозрачности вечернего неба.

Искра мелькнула в глазах Урсулы Пиа, проскользнувшее пламя недоверия, любопытства, ненависти. «Магическая дребедень? — выведывала она сдавленным голоском, с отвращением и увлеченностью одновременно, как если бы напала на след грязной тайны. — Колдовство? Фокусы? Такая же ерунда, вероятно, какой папа и мама занимаются, стоит их оставить одних в их так называемой лаборатории…»

Я пытался объяснить ей отличие. «Твой отец, — сказал я, — хочет одну вещь превратить в другую, грибы в снотворные таблетки или старое железо в золото. Ну, а род искусства превращения, которым занимаюсь я, несколько иной. То, к чему я стремлюсь, это… как бы это выразиться? Ну, скажем, превращение чего-то невидимого во что-то видимое, чего-то скверного и путаного во что-то прекрасное и чистое. Если быть очень прилежным и терпеливым, то наверняка можно из злейшего беспорядка и наихудшего страдания сделать приличное и радующее стихотворение, или песню, или танец. Ты понимаешь это, маленькая Урсула Пиа?»

Она пожала плечами; взгляд, которым она меня измерила, был не очень дружелюбен. «Это я уже поняла, — заметила она

колко. — Но я против. Поэты, танцоры, колдуны — все они приходят к одному и тому же. Все одно и то же разбазаривание времени, одно и то же надувательство».

Она покачала головой с серьезным неодобрением, при этом ее хилые маленькие крылышки у висков забавно запрыгали. После короткой паузы она еще добавила: «Конечно, я бы тоже смогла немножко колдовать, если бы захотела. Но я не хочу. Ведь не имеет смысла! Испечь пирожное — это имеет смысл; или рвать малину. И дождь имеет смысл, и что господин учитель в школе рассказывает об электричестве и Тридцатилетней войне и о притоках Дуная. Это все интересно, и это стоит внимания, потому что *это — правда.* Но волшебство *не есть правда.* Я не интересуюсь этими выдуманными, выморочными вещами».

Теперь я в свою очередь измерил ее сторонним взглядом — не подозрения, но забавного удивления. Вот стоит она, складное, хитрое существо, твердо на своих двух ногах. Ее серьезное лицо с курносым носом и своенравным лбом перламутрово-бледно мерцало в полутьме, заполнявшей теперь помещение. Наверняка ей было бы легко выполнять задания по черной магии, столь же успешно и добросовестно, как школьные домашние задания. Но она была против темной сферы; она подобное не может терпеть, отвергая это высокомерным пожатием плеч. Дитя колдуна не желало иметь ничего общего с колдовством.

А как же обстояло с сыном Волшебника? Что ожидало его? Беспорядок как длительное состояние и перманентный стиль жизни? Или балетная школа? Или его участь — наследовать отцовский пример? Не испытать ли ему себя в той самой специфической области магии, в которой старик уже многие годы славно проявляет и утверждает себя?..

«Становится поздно, — заметила Урсула своим сухим тихим голосом. — Время ужина». Однако она не шелохнулась.

Да, становилось поздно, летний день кончался. Это час, когда река и небо бледнеют, а дуновение с серебристых высот заставляет трепетать кустарник и листву деревьев. Когда умолкнет стенание вечернего колокола, на землю опускается он, тишайший час, *l'heure exquise, l'heure bleue* [37], *час* предчувствий и нежностей. Все стоит недвижно — сирень в парке, дерево можжевельника; даже родник молчит. Миг интервала между днем и ночью повергает природу в покой, какого не знает сама глубочайшая полночь.

Мы тоже останемся как бы окаменевшими в молочно-бледном сумраке, маленькая девочка и я. Не шевелись, Урсула Пиа! Не оглядывайся! Это безмолвие нечисто; привидения бродят в твоем странном отчем доме…

Если мы подольше задержим дыхание, то услышим, как говорят вещи. Тяжелые розы в синей вазе, распятие, свеча, картины на стене, сейчас они шепчут свою весть! С заботливо-ласковым взглядом и ясной улыбкой, волшебно ожившие меж рам черного дерева, приветствуют меня четыре человека, которые в этот час мне ближе и дороже всего: мать, сестра, невеста и юный парнишка с высокими скулами и глазами непостижимой ясности… Кого из них я люблю больше? Конечно, каждого на свой лад… Но какой лад самый сладкий?

Не вслушивайся теперь, я предупреждаю тебя, целомудренная маленькая Урсула Пиа! Замкни свои уши, как закрыла ты уже глаза! Ибо теперь говорит бог течи.

Смотри, из бурлящей тьмы снаружи выдвигается он в пурпурной полноте плоти. Виноградная листва на лбу, а в руке — флейта, инструмент Пана. Остерегайся его песни, его соблазна, маленькая Урсула! Избегай зрелища его проделок и маскарадов! Он — архиволшебник: его взгляд, его дыхание заколдовывают человека, зверя и растение. Не гляди на него, маленькая фрейлина, как исполняет он сейчас в вечернем саду свои скачки сатира, качаясь, припрыгивая, пошатываясь, лепеча, соблазняя, — одновременно непристойный и роскошный, гротескный и святой в своем бесстыдно диком уповании.

И все-таки смотри на него, Урсула Пиа! Он не позволит избежать себя, как не позволит себя победить; он неизбежен, неодолим. Он озаряет, ослепляет, мучает, осчастливливает нас — ах, следы на его тропе! Кровь, пепел, растоптанные цветы… Он двулик, как всякий настоящий демон: убийца и творец, болезнь и откровение. Он — водоворот, который ввергает нас в глубину, но и волна, которая возносит нас наверх, к головокружительной высоте.

Сможем ли когда-нибудь уклониться от его хватки? Освободимся ли мы от его ненавистного, возлюбленного ига? Пожалуй, едва ли… Пока мы ходим во плоти, он будет понукать нами и внушать нам, дурачить и водить. Как долго еще? И куда это должно вывести?.. Ну ладно, маленькая сестра! Терпи это! Переноси это, если можешь! Радуйся этому! Наслаждайся — если ты достаточно сильна для этого…

«Мы не знаем пути, — громко сказал я неожиданно для самого себя. — Терпи, маленькая сестра. И не принимай это слишком близко к сердцу».

«Постараюсь». Голос девочки звучал полнее и мягче, чем обычно, как если бы она вдруг созрела стать женщиной. С подчеркнутой серьезностью она добавила: «И ты должен сделать то же самое! Если ты не будешь строг к самому себе, то у тебя все

легко может пойти наперекосяк. Ты относишься к тем, у кого легко совратимое, легко уязвимое сердце. Тебе надо особенно стараться и быть особенно строгим к себе».

Что это было? Кто обращался тут ко мне нежно-звучным голосом? Что она знала обо мне, эта курносая маленькая сивилла со смешно торчащими косичками и бледным бодливым лбом? Как ребенок пришел к тому, чтобы изречь это так рассудительно и благонамеренно?

Но было не место и не время задавать такие вопросы. Разве не сообщила мне сама Урсула Пиа, что очень хорошо могла бы чуточку колдовать, если бы только имела охоту? И разве это был не по праву признанный и в известной степени заколдованный дом, в котором я находился? Да, и река там снаружи, и Неккар был знаменитым и пресловутым, как источник волшебства романтического вдохновения, как колыбель прелестной иллюзии…

Не спрашивай! Это час предчувствий и молчания. Весточка от родника — да, теперь он опять журчит, — тихий зов можжевельника усмиряют и укрепляют легко совратимое, легко уязвимое сердце. Дыхание сирени и вечера смягчает печаль, превращает беспорядок в гармонию. На протяжении одного щедро одаренного мгновения все кажется примиренным и сливающимся друг с другом: распятие, цветы, любимые лики и по-разному любимые губы, тень бога течи, бесцельное желание, бессловесная мука, танцы, которые еще предстоит танцевать, слезы, которые еще придется пролить, невысказанные, непроизносимые молитвы.

ПЯТАЯ ГЛАВА
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ТАНЕЦ
1924–1927

Призрак инфляции был позади, опять понадобилось приспосабливаться к будням умеренных цифр и умеренных жизненных обстоятельств. Настроение отрезвления и похмелья витало в воздухе, но и было одновременно все-таки что-то вроде благоразумно-сдержанной уверенности, чувство начала нового — нового долга, нового шанса. Опыт преодоления страха содержал в себе эффект шоколечения. После такого жестокого вмешательства пациент чувствует себя укрощенным и дрожащим, но и облегченным и освеженным.

Немецкий народ теперь по крайней мере знал, как действовать. У него больше не было абсолютно ничего — ни кайзера, ни денег, ни Эльзаса, ни флота, ни колоний{152}. При столь всеобщей распродаже, что ни говори, был сбыт также и некоторый балласт, например иллюзии. Кто свободен от иллюзий и хочет работать, тот не все потерял. Он может смотреть в глаза будущему с трезво-реалистическим чувством собственного достоинства.

Именно этот дух — дух лишенной иллюзий доброй воли и честной радости творчества — встречался, насколько мне не изменяет память, в Германии тех дней не так уж редко.

Восемнадцатилетний молодой немец хотел тогда начать литературную карьеру. Как же он поступал?

Будучи сыном известного писателя, он, естественно, располагал определенными связями, которыми, однако, из гордости и упрямства не хотел поначалу воспользоваться. Имя его оставалось неназванным, когда впервые некоторые из его рукописей, три коротких эссе о Рембо, Гюисмансе{153} и Георге Тракле, были предложены одному взыскательному литературному журналу, берлинскому «Вельтбюне»{154}. Издатель этого журнала, Зигфрид Якобсон{155}, принадлежал к тем фигурам духовно-политической жизни Германии, которые вызывали наибольшую ненависть, наибольшее восхищение и наибольшие споры; этот маленький человечек — мне он вспоминается как проворный гном — обладал большой энергией, большим юмором и большой гражданской смелостью. В лирико-аналитических набросках анонимного новичка он неожиданно

нашел что-то такое, что заставило его прислушаться. Он принял эти три рукописи. К сожалению, он скоро разузнал, кто я, и настоял на том, чтобы опубликовать эссе под моим именем, что для «Вельтбюне» означало маленькую сенсацию, для меня же, вероятно, решающую ошибку моей юной карьеры. Ибо отныне я стал в глазах «литературного мира», который в Германии коварнее и завистливее, чем где бы то ни было, заносчивым сыном знаменитого отца, не постеснявшимся использовать преимущество своего происхождения в деловых и рекламных целях.

Будь я менее юн и глуп, я проявил бы большую сдержанность. Все идет, казалось, так легко и гладко, как в игре, как во сне: это было удивительно и забавно. Что бы я ни предложил, у меня брали, находили интересным. Самые взыскательные газеты и журналы печатали мои короткие истории, болтовню и соображения: я появлялся в достопочтенных «Фоссише цайтунг»{156}, «Симплициссимусе»{157}, в фишеровской разборчивой «Нойе рундшау»{158}. Денег понемногу прибывало — кто бы мог подумать? Вдруг у меня появились средства отправиться из Гейдельберга во Франкфурт, из Франкфурта в Берлин, оттуда обратно в Гейдельберг, где меня ничто больше не удерживало; скоро я опять был на своей любимой Курфюрстендамм{159}.

Там я устроился в довольно дорогом отеле и решил написать книгу. Или, скорее, представить коллекцию своих набросков и рассказов в форме книги. Мне недоставало еще одного куска, чтобы закруглить мой том. В большинстве моих новеллистических опытов речь шла о типах и проблемах моего поколения. Первая же история, озаглавленная «Молодые», описывала странные отношения в Бергшуле Хохвальдхаузен с не очень тактичной ясностью. Стиль и настроение в целом, однако, имели все же уклон в романтически-сказочное. Этот тон, мистически-эротическая, уныло-ускользающая мелодия, которую я хотел еще раз подчеркнуть и дать прозвучать ей возможно полнее в финале. Романтическая тема, романтический герой, которого я искал, нашелся чуть ли не сам собой: Каспар Хаузер.

Фигура таинственного найденыша давно меня занимала, и «Бедный Гаспар», как его назвал Верлен в хватающем за душу простотой стихотворении, означал для меня квинтэссенцию далекой от мира невинности, благородной меланхолии. После немого и темного детства в пещерном логове выходит на свет шестнадцатилетний юноша, робкий и безмолвный (он еще не научился разговаривать, не научился еще лгать), трогательно прелестный при всей неловкости, еще совершенно чистый, еще не

запятнанный грязью мира, который хотел избавиться от него и уничтожить его. Действительно ли он принц из правящего дома, брошенный бессовестными родственниками в глуши? Некоторые считают его обманщиком или душевнобольным. Он умирает, заколотый неизвестными убийцами. Его тайна остается невыясненной. Он живет как легенда, как поэтический символ, именно потому, что его загадка не находит разгадки. Он — юноша, который выходит из пещеры с лепечущими устами и чистым взглядом, безымянный, безродный, бессловесный, гордый, как зверь, как принц. Он — чужак.

Таким образом я все же удалился от манящей, оживленной Курфюрстендамм в свою роскошную келью (с собственной ванной и неоплаченным счетом), чтобы немедленно приняться за работу. Цикл «Легенд о Каспаре Хаузере» — вот что даст моему «Опусу I» стилевую завершенность! В то время как за моим окном звенели трамваи и продавцы газет с монотонной настойчивостью повторяли свои причитания («Полуденный „Б.Ц.“»![160] «Б.Ц.!»), я сидел за шатким гостиничным письменным столом и усердно царапал (у меня тогда еще не было пишущей машинки). Мой друг Каспар Хаузер являлся мне в диалоге с проезжей проституткой (она хочет взять его к себе в свою импозантную коляску, но он чопорно отказывается), в обществе незнакомой маленькой девочки (задорная Сивилла в миниатюре, которой я придал черты моей подруги Урсулы Пиа), на интимном рандеву с одним красивым мертвецом (при этом не обошлось без нюанса осквернения трупов) и в других пикантных комбинациях.

Итак, дело сделано: моя первая книга лежала передо мной, совсем готовая, пусть пока еще и не напечатанная. Посвящение — «Моей сестре Эрике» — было давно определено. И на название я уже решился: «У порога жизни», тем самым я признавал, что моя жизнь, собственно, еще не началась — я стоял еще у ее порога, полный сластолюбивого любопытства, но и полный благоговения перед лицом ее угрозы, ее обещания, ее бесконечных возможностей.

Один предприимчивый молодой издатель в Гамбурге, Курт Энох, выказал готовность выпустить том. Я подписал договор с правом выбора, авансом и всем надлежащим. Стоял ли я действительно еще *у порога* жизни? Колеблешься, церемонишься, мечтаешь — и вдруг ты в самой середине, так сказать «состоявшийся человек»… How curious! How real! [38][161] Чувство радостного, дух захватывающего удивления, которое вложил Уолт Уитмен в это восклицание, было очень сильно во мне, так как я собирался взяться за жизнь всерьез. Как необычайно это было! Как *действительно!*

Так вот, я заимел профессию или по крайней мере место — третьим театральным критиком при одной не очень изысканной, но популярной берлинской газете «Цвёльфурмиттагсблатт». Естественно, мне давали писать вовсе не о больших премьерах у Макса Рейнхардта{162} или в Государственном театре; я должен был довольствоваться мероприятиями менее сиятельного ранга.

Однако Берлинский театр достигал тогда в общем столь высокого уровня, что можно было позволить себе смотреть второклассные и третьеразрядные постановки. Там, где лучшее поистине превосходно, там и посредственное должно быть по меньшей мере сносным.

Впрочем, мне моя новая должность доставляла бы удовольствие, даже если бы все сцены столицы рейха были распоследней бродячей труппой. Сколь ни глупа и лишена фантазии была вещь, которую мне надлежало критиковать, но тот факт, что я, восемнадцатилетний, могу в качестве серьезного критика восседать в партере, был сам по себе достаточно забавным и фантастичным. У актеров там, наверху, могло недоставать энергичности и сосредоточенности — я сосредоточивался на своей собственной роли. Театральный критик был человеком с престижем, уважаемой персоной в страдающем театроманией Берлине двадцатых годов. Итак, я принадлежал к этой благородной гильдии и как коллега по профессии обменивался небрежно-веселыми приветствиями с господами Керром, Куртом Пинтусом, Монти Якобсом, Гербертом Иерингом. Что за комедия! Даже если на сцене было не над чем смеяться, я втихомолку посмеивался. Хихикая исподтишка, я спешил после представления в редакцию, чтобы, сотрясаясь от внутреннего смеха, положить на бумагу свое суждение о новой инсценировке «Принца Гомбургского» в Штеглицер Шлоссетеатр или о новом ревю в «Адмирал паласт». А несколько часов спустя в метро, в кафе, в автобусе суетливые берлинцы читали то, что написал эксперт из «Цвёльфурмиттагсблатт». Эти взрослые! Как легко позволяют они водить себя за нос! Раньше мы мистифицировали их ложными телефонными вызовами; теперь я пользовался другими методами.

Эксперт из «Цвёльфурмиттагсблатт» мог быть кусачим. Я вспоминаю, что однажды из чистого каприза ужасно отчитал весьма пожилого и весьма знаменитого характерного актера Фердинанда Бонна. Иногда, однако, он бывал чуть ли не слишком милостивым. Особенно эксперт давал себе волю, когда речь шла о некоем молодом актере с привлекательной боксерской физиономией и металлическим звонким голосом. Молодого мима — его звали Ганс Браузеветтер — хвалили всюду, но нигде столь

чрезмерно, как в «Цвёльфурмиттагсблатт». Там славословили в его честь, восемнадцатилетний критик рассыпался в дифирамбах.

Как далеко я мог зайти, не вызывая недовольства? Может, я и вызывал недовольство — не в том дело. Браузеветтеровский голос звучал приятно для моих ушей, и меня подмывало дать публичное выражение моей симпатии. Моя потешная должность давала мне эту возможность. Веселая выходка, она удалась! Глупые взрослые читали в метро, где-то между Целендорфом и Александерплац, мои детские излияния и кивали серьезно: «Этого Браузеветтера опять превозносит рецензент в „Цвёльфурмиттагсблатт“. Надо бы все-таки посмотреть его в новой роли…»

…Это была бурная зима, богатая работой, богатая надеждами и развлечениями. Я находил радость в своей профессии, а Эрика точно так же была увлечена своей деятельностью. Она была приглашена в театр Макса Рейнхардта; в послеобеденных представлениях и во втором составе она уже могла играть большие роли, но весь сезон она выступала преимущественно в роли немой придворной дамы в блистательной инсценировке трагедии Шоу о Жанне д’Арк. Это был великий триумф Элизабет Бергнер, находившейся тогда в зените своей карьеры. Дебютантка находила поучительным и волнующим ежевечерне вблизи наблюдать игру прославленной коллеги; скоро Эрика умела имитировать прелестный манерный тон Бергнер так же поразительно похоже, как прежде бархатный голос Делии Рейнхардт и пронзительную тарабарщину баварской лавочницы.

Памела, которая завоевывала свои первые лавры в городском театре Кёльна под руководством Густава Хартунга, наносила нам время от времени торопливые визиты. Мы квартировали все вместе в ветхо-щеголеватой анфиладе меблированных комнат на Уландштрассе, типичной, в скверном вкусе берлинской квартире периода грюндерства, разумеется не без известной пропыленной уютности. Наша хозяйка, фрау Шмидт, была сокровищем; мы называли ее «матушкой бандершей» и были к ней сердечно привязаны. Я еще вижу ее перед собой, проворно переваливающуюся с боку на бок по затхлым темным комнатам и коридорам своего заведения. Кругленькая старушка, поразительно подвижная, голова украшена обилием забавно непокорных кудряшек, по-детски толстощекое морщинистое лицо, всегда сияющее, всегда оживленное. Если ее квартира была «наихудшим Берлином», сама она, бодрая мамаша, была лучшим: добродушная, при этом мудрая, с грубоватым юмором и хитростью, несентиментальная, готовая помочь, великодушная. Она снисходительно смотрела на всех нас, находя нас забавными.

Когда наш счет принимал тревожные размеры, она, вероятно, призадумывалась; однако нам не пришлось услышать от нее ни единого нетерпеливого слова. Мы будили ее в три часа ночи, чтобы взять в долг полторы марки для шофера такси; она не обижалась, смеялась всеми морщинами: «Эти дети! Такие сумасброды!»

Нам великолепно жилось у нашей матушки бандерши. Но когда зима клонилась к концу, я снова становился неутомимым. Я видел достаточно пьес. Я хотел сам написать одну. Для такого предприятия самыми удобными казались условия в мюнхенском родительском доме. Я подал прошение в «Цвёльфурмиттагсблатт» об отпуске.

О чем она должна быть, моя пьеса? Естественно, о вещах, которые мне были близки, которые я любил. Это будет пьеса о молодых людях. Что же иное? Пьеса о собственных мечтах и воспоминаниях, заветных желаниях и страстях…

Местом действия для своей сентиментальной драмы я выбрал некий странный институт, так называемый «Приют отдыха для падших детей», под чем следовало представлять себе смесь из балетной школы и санатория с налетом тюрьмы, борделя и монастыря. Патриархальная фигура, стоящая во главе этого курьезного сообщества, недвусмысленно носила черты моего учителя и друга Пауля Гехеба. «Старик», с развевающейся бородой и загадочной усмешкой, все знает, все видит, все понимает, говорит лишь в виде исключения. Его подопечные — кроткие, покорные создания, которых едва ли примешь за «падших», — упражняются в богоугодных групповых танцах и хоровом пении. Во время экзерсисов руководят ими две юные девушки, Аня и Эстер, и два юноши, Якоб и Каспар, все четверо начавшие свое поприще «падшими детьми» под покровительством Старика и, кажется, решившие остаток своей жизни провести в «Приюте отдыха». Как почти само собой разумеющееся, между этими четырьмя царят трагически-сложные отношения. Обе девушки состоят в лесбийской связи, которая, однако, для сумрачной, меланхоличной Ани означает гораздо больше, чем для не больно совестливой Эстер. Якоб, сдержанный меланхолик, обижает Аню, тогда как Каспар, который является сводным братом Ани (оба каким-то косвенным, несколько подозрительным образом происходят от Старика), любит всех и никого. В известной мере он вообще, кажется, принял решение остановить свой выбор на одном из питомцев, маленьком Джимиетто. Затем, однако, прибывает Эрик, из-за чего уже сама по себе щекотливая ситуация в «Приюте отдыха» становится просто невыносимой.

Ибо Эрик — это сорвиголова и авантюрист, который «извне»,

из злого, пестрого мира врывается в монастырски-душную отрешенность нашей танцевальной школы. Он сокрушительно привлекателен, Эрик, матрос; Эстер тянется к нему. Теперь нет больше удержу, накопившаяся истерия неприкрыто взрывается. Эстер становится очень грубой по отношению к Ане, которая со своей стороны молча страдает. Каспар тоже скорее пришиблен, оставаясь, однако, словоохотливым и спокойным, так как ведь его отношению к маленькому Джимиетто, кажется, непосредственно не угрожает убийственная чувственность Эрика. Якоб, напротив, совершенно теряет самообладание. Он ненавидит Эрика, которому в конце концов даже угрожает револьвером. Эрик никому не хочет причинять боль, однако в силу своего анимального очарования он не может не вызывать всеобщего смятения. Старик усмехается, кормит своих зверей и понимает все. Дети поют. В конце концов Эстер и Эрик сбегают — это, пожалуй, так и должно было случиться. Аня и Каспар обмениваются меланхолическими замечаниями относительно человеческой судьбы вообще и нашего послевоенного поколения в частности. Якоб где-то ежится от тоски и ненависти. Дети продолжают петь. На этом занавес закрывается.

Пьеса писалась сама собой, как под диктовку. За четырнадцать дней я положил ее на бумагу. Обе заглавные роли, Ани и Эстер, были предназначены для Эрики и Памелы; в фигуре неотразимого Эрика я представлял Браузеветтера с металлическим голосом. Ему намеревался я посвятить книжное издание пьесы.

Я настаивал на том, чтобы прочесть драму вслух в семейном кругу, после ужина, в рабочей комнате Волшебника, где сам он тогда имел обыкновение угощать нас на пробу медленно растущей «Волшебной горой». Помню, что на чтении присутствовала фрау надворная советница Лер, наша тетя Лула, не нарушавшая бюргерских традиций, трагически своенравная, проблематичная сестра Волшебника. После первой картины, выдержанной на витающей темной ноте в духе Метерлинка-Стриндберга, воцарилась несколько подавленная тишина. Тетя Лула, очень прямая, очень корректная, зябко пожимая плечами, как если бы ей стало холодно в ее углу на софе, отозвалась наконец нервозным покашливанием. «Эти обе юные девушки, — сказала она с полной страха озабоченной улыбкой, — они кажутся так очень… ну, как бы мне только выразить… так сильно привязаны друг к дружке. Почему эти обе молодые девушки так *сильно* привязаны друг к другу, дорогой Клаус?»

Вместо меня ответил отец. «Ну, подобное встречается…» Это звучало успокаивающе. «Сентиментальное отношение между

школьными подругами, так это, вероятно, понимается, не правда ли?»

Все согласились, что моя романтическая пьеса совершенно определенно имеет «атмосферу».

Я вернулся в Берлин, но не затем, чтобы долго там задерживаться. Как только в руках оказался первый чек издательства Эноха, моего постоянства как не бывало. Путешествовать! Видеть мир… Я алкал света другого неба, мелодии чужих языков.

Поездка в Англию с В. Э. Зюскиндом была условлена несколько месяцев назад. Он казался мне идеальным спутником. Во-первых, потому, что он бегло говорил по-английски (Зюскинд читал в оригинале Д. Г. Лоренса и Олдоса Хаксли, на что я тогда отнюдь не был способен), и потом, опять же потому, что он был моим другом, кем-то, кто владел нашим семейным жаргоном, тарабарщиной нашего круга; кем-то, с кем я мог посмеяться и порадоваться и поспорить.

Какой возбуждающий момент — первое пересечение границы! Это, стало быть, и была заграница! По-немецки уже не говорили… Сначала, правда, мы слышали вокруг себя всего лишь голландский, близкородственный нашему родному языку, однако неотесанный сын Нидерландов, продававший нам кофе и пирожные на пограничной станции, казался нам тем не менее воплощением экзотического волшебства; мы называли его Mynheer [39], что он, в общем-то, не находил комичным, тогда как мы со своей стороны не могли не смеяться. Помню, Зюскинд, который был взволнован по меньшей мере так же, как и я, заметил, сделав одно из своих беспокойно-выразительных легких движений рук: «Вон из Германии! Ведь это тюрьма — там, позади нас. Тюрьма, — повторил он настойчиво. — Всякое отечество, наверное, таково…»

Восемь лет спустя мне суждено было вспомнить эти слова и напомнить их ему.

Лондон был разочарованием. Я его не видел; я был слеп. Я видел мрачный Boarding-House[40], в котором мы проживали, и несколько мумий в Британском музее; я видел длинные ряды такси — старомодно высоко поднятые и тем не менее поразительно верткие — и бесконечные вереницы улиц, парки, площадки и мостовые. Но Лондона я не видел. Я ждал Парижа, Лондон был чем-то подавляющим, сверхмерным, монстром, давящим и запутывающим. Париж, еще незнакомый, уже близкий, уже любимый Париж по другую сторону канала, казался мне ближе, реальней, чем Лондон с его исполинской реальностью.

Прогуливаясь вдоль Темзы, я воображал себя уже на Сене. Я уговорил Зюскинда сократить наше пребывание. Мы решили возвратиться на континент самолетом.

Первое впечатление от Парижа… Но подобное, пожалуй, не поддается описанию, это все равно что попытаться проанализировать первую встречу с человеком, которого давно и страстно любишь.

Разумеется, я прибыл в Париж со своего рода предвзятым энтузиазмом, готовый все находить прекрасным. Однако это благоприятное настроение могло все же обернуться горчайшим разочарованием, будь Париж именно разочаровывающим. Меж тем действительность я нашел еще более чарующей, чем представлял ее в своих самых смелых мечтаниях.

Не то чтобы это первое парижское пребывание было богато сенсационными переживаниями! Я влюбился в город — это все; в город с его запахами, красками и шумами, с его безграничными перспективами и тихими уголками, с его ритмом, его мелодией, да, и с его светом…

Этот свет, вероятно, был прежде всего тем, что меня с самого начала пленило. Атмосфера этого города, ласково-сдержанное небо Парижа, кажется вполне подходящей вкусу, стилю зрелой и рафинированной цивилизации. Здесь она разумно распределена и тем не менее расточительно выплеснута: светлые тона Ренуара — улыбающаяся розовость, сочная синева, светящийся кармазин; торжественные тени, знакомые нам по классическим ландшафтам Пуссена; бесконечная шкала серого, которой с королевской беспечностью владеет Мане; режущие цветовые контрасты, которыми манили публику бульваров в театры афиши Тулуз-Лотрека; динамический черный великого Жерико, прекрасный коричневый и желтый Брака, болезненно синий раннего Пикассо… Какая палитра! Какое обилие колористических эффектов, драгоценных нюансов!

Почему влюбляются в этот город, Париж? Ну, из-за перламутровой бледности, которая временами просветляет деревья и статуи Люксембургского сада; из-за священной солидности, с которой Нотр-Дам врос в землю Иль-де-Франс; из-за аромата аниса, «Вэн руж» и «Коти» в маленьких бистро и из-за трогательной плюшевой элегантности, с которой нас встречают какие-то рестораны и кабаре, подобные отцветающей красавице; из-за опереточной потрепанной предприимчивости порока Монмартра и забавных претензий Монпарнаса; из-за Мадлен и шумных кафе на Больших бульварах, из-за полных прелести хриплых голосов шлюх и герцогинь («Paris, je t'aime!» [41] — горланит неувядающая Мистингет), из-за очаровательных

бриошей и изумительных школьных булочек (ванильным кремом также никоим образом не стоит пренебрегать) и из-за Елисейских полей; из-за художественных лавок на рю де ля Бёти, абсурдного великолепия Эйфелевой башни и вида с Сакре-Кёр; из-за ромовых баб у Румпельмейера, рю де Риволи и из-за чудесного запаха в «Чреве Парижа», где фрукты и овощи сияют и благоухают ранним утром еще прекраснее, чем сияющие, благоухающие горы роз, гвоздик, сирени, гиацинтов. Париж любят за стройные колонны на площади Вандом, за желтовато-броширование книги и множество кошек и множество монахов; любят его за бордели и бульвар Сен-Жермен и за множество дешевых отелей; и потому, что всюду к еде подают вино, un petit vin rosé [42] и в самом дешевом кабачке; его невозможно не любить, ибо все напоминает о Бальзаке (кто тот молодой человек вот там у бара? не Растиньяк ли его имя?), и о Луи XIV, и об Оффенбахе, и о Прусте, и о Русском балете, и о Дантоне, и о Генрихе Гейне. Париж достоин любви, потому что там так хорошо кормят и потому что все люди говорят по-французски, и за множество статуй и фонтанов — они так декоративны, — и за множество писсуаров — они так практичны, — и за музыку губной гармошки в народных дансингах («Passez le money!» [43]), и за букинистов на набережных Сены, и за Лувр. Париж любят, потому что площадь Согласия постоянно кружится: гигантская карусель, вертящаяся со всеми своими монументами, велосипедами, цветочными клумбами и автобусами вокруг египетского обелиска.

За что любят Париж — не за «приключения». Приключенческими городами могут быть Берлин, и Шанхай, и Нью-Йорк — но не Париж, Париж высокоцивилизован, скептичен, элегантен, уравновешен, вообще не эксцентричен. Ночная жизнь в Каире, Чикаго, Будапеште, Неаполе «авантюрна», хочу сказать — грязна и криминальна; парижская же ночная жизнь — естественная и неотъемлемая составная часть парижской жизни. Есть ли в Париже «дно»? Может быть, однако оно не играет бросающейся в глаза роли. Во всяком случае, никому бы не вздумалось причислять ко «дну» бравую проститутку или ее усердного сутенера. Сфера полового, со всеми своими аспектами и даже в своих вычурных манифестациях, рассматривается в этом городе со смесью веселого реализма и почти религиозного благоговения, что характерно для отношения к Эросу любой зрелой цивилизации.

Кто ищет в Париже авантюр, будет разочарован. Но мне было не до приключений. В Париже я хотел не развлекаться; я хотел в Париже *жить*. Поэтому для меня не было никакого разочарования. Каждый, кто захочет *жить* в Париже, не будет

разочарован.

Зюскинд возвратился в Мюнхен точно в тот день, который был первоначально установлен для конца нашей поездки. В противоположность мне он был аккуратным молодым человеком. Я остался в Париже совсем один; точнее, я нашел новое общество. Старший друг, в сопровождении которого я теперь пребывал, пригласил меня в путешествие по Средиземному морю.

После жемчужно-серой дымки, лежащей над парижским ландшафтом, — яркая декорация Марселя! Если Париж околдовывает своей рафинированной сдержанностью — Марсель поражает буйством своих красок, своих запахов, своего темперамента. Марсель блистает, хвастает, воняет, визжит, жестикулирует. Даже золотая мадонна, великодушная покровительница матросов и шлюх, с почти гневным рвением сверкает со своего наблюдательного поста. Какая неистовая суета на Канебьер! Главная улица Марселя — очаровательная пародия парижских бульваров — хочет, кажется, постоянным брожением доказать и утвердить себя в качестве настоящей авеню большого города. Слоняешься мимо нарядных кафе на Канебьер. Все равно очутишься в Старой Гавани. Вот же она, наша прелестная площадь Старой Гавани, ярко осиянная солнечным светом! Голубое море с его парусниками, раковинами, водорослями, матросами вдается в город: город принадлежит морю.

Не хотим ли мы уже сесть на одну из этих яхт? Нет, мы еще не видели «злачный квартал». Свернем направо! Поблуждаем в узких, вонючих переулках! Здесь щеголяет, заманивает, ухмыляется и скулит порок en gros [44], с бесстыдно обнаженной назойливостью и алчностью; это — гротескная распродажа любви, примитивная массовая оргия, наполовину колоссальный бордель, наполовину луна-парк.

Рискованные прелести портового города, уже напоенного ароматом арабских побережий, вызвали во мне желание чудес Северной Африки. Мы сели на ближайшее судно в Тунис, чтобы оттуда проникнуть дальше в глубь страны. Я увидел Сахару и нашел ее еще прекраснее и еще ужаснее, чем даже океан и глетчеры; никакая высокогорная панорама, никакое волнующееся море не имеют жуткого стихийного величия этой бесконечно раскинувшейся, бесформенной, безжизненной поверхности, этого иссушенного праландшафта и послепотопной идиллии смерти.

Мы посетили города-оазисы Бискру и Кайруан; мы вернулись в Тунис и задержались там. Я находил его даже прекрасным: я не мог оторваться.

Таким сильным, полным такого стойкого очарования было это первое впечатление, произведенное на меня миром Востока,

что еще и поныне понятие экзотического и сказочного в моей фантазии почти равнозначно ландшафту и атмосфере северо-африканского побережья. Я вспоминаю слово «Тысяча-и-одна-ночь» — древнюю, магическую формулу заклинания, — и поднимается все, что тогда меня восхищало: мечети с их массивными и одновременно элегантными куполами; дикий нищенский танец темнокожих детей; угрожающий и тем не менее многообещающий взгляд, которым закутанные женщины, поверх своей черной чадры, испытывают чужого; глупо-гордо покачивающаяся поступь верблюдов — один из них вынес меня в пустыню столь величественно-качающейся походкой, что я чуть было не заболел морской болезнью; шумящая толпа в тенистых базарных закоулках, Souks [45], где пестрый хлам, кажется, взламывает пещерообразные тесные лавки и изливается в роскошной неразберихе на мостовую. Мне было забавно лакомиться подозрительной конфетой, щупать ядовито-зеленые сахарные палочки, жесткое миндальное печенье, шелковые ткани, выискивать себе из груды кожаных бумажников и башмаков самые красочные и изящные. С каким сладострастием вдыхал я тяжелые, сладкие запахи — мускус и розовое масло! А как потешны были бородатые продавцы со своим хриплым красноречием, своими заклинающими жестами, дервишеским воем своих проклятий и клятв! Они казались эдакими надувалами. Да, они здорово играли, сознательно или бессознательно, роль восточного торговца, до чьей пройдошливости не дорос даже черт, и все же бывали в конце всегда одураченными. Ибо я радовался их лукавой возне как водевильному акту, потягивая в свое удовольствие чашечку-другую густого ароматного напитка, называемого там турецким кофе, пока вдруг не замечал с веселым удивлением, что, к сожалению, вообще не прихватил с собой денег…

Я оставался в Тунисе, пока старший друг хотел платить — и даже несколько дольше. Когда же пришлось уезжать, я с отвращением сел на судно в Палермо.

Италия оставила меня равнодушным, неудовлетворенным. В Сицилии я тосковал по Сахаре-оазису. Грязь Неаполя казалась мне прозаической и удручающей, совершенной противоположностью поэтическим нечистотам атмосферы тысячи-и-одной-ночи, из которой я прибыл. В Бискре я воспринял бы как домашнюю обстановку присутствие в моей комнате гремучих змей или маленьких шакалов; в Неаполе мне досаждало, что в нашем «Альберто» были клопы. Правда, я все еще жаждал приключений и как-то позволил завлечь себя подозрительным типам в Maison-de-rendez-vous [46], где и был, как

это полагается, до нитки обобран и, между прочим, чуть ли не убит; но даже этот инцидент не доставил мне удовольствия, хотя он-то, бесспорно, имел характер «авантюры».

Оставил меня равнодушным и Вечный город. Гораздо позже, двадцатью годами позже, мне привелось научиться узнавать и любить Рим; но тогда он раздражал меня своей помпой, своей тяжестью, своей амбициозной Grandezza [47].

Как объясняется такой недостаток впечатлительности у обычно внимательного и готового к восприятию молодого путешественника?

Отчасти моя антипатия к Италии была, наверное, просто реакцией на сентиментально-педантический культ, творимый именно из этой страны немецким учителем средней школы и образованным филистером. Немецкий учитель средней школы был против Франции, из патриотических причин; Северной Африки он не знал, считая ее, вероятно, вряд ли достойной этого. «Памятники классического искусства», которые там могли найтись, были не первого класса, о «чужерасовых» арабах как о «культурном народе» не могло в конце концов быть и речи… В Италию же предпринимали серьезные учебные поездки и развлекательные свадебные путешествия. Всякий знающий себе цену немец должен был повидать площадь Святого Марка и Венецию, падающую Пизанскую башню, Уффици во Флоренции, Колизей, Сикстинскую капеллу, Везувий и Синий Грот. Общепринятый энтузиазм обывателей внушал мне отвращение к стране.

Присоединялось, однако, еще и кое-что другое — феномен, благодаря, кстати, которому любовь к Италии у тевтонского буржуа еще повысилась: фашизм; его я ненавидел тогда, в 1925 году, как ненавижу его сегодня, разве что в то время мое неприятие было сплошь инстинктивным или эмоциональным, целиком лишенным интеллектуальной основы. У меня еще отсутствовало всякое представление об адских методах и последствиях фашистской диктатуры; но я все-таки имел достаточно вкуса и чуткости, чтобы найти неприличными хвастливые жесты, кичливую жестокость фашистского стиля. Великолепнейшие дворцы ренессанса и барокко теряли для меня свою привлекательность, когда перед ними стояла в патруле пара чернорубашечников; благороднейшие фасады казались мне обезображенными псевдоцезарской рожей плакатного «дуче»; фашизм со своей бряцающей тягой к парадам и праздникам, со своим фальшивым «порядком», со своим фальшивым «темпом» искажал, извращал естественный ритм итальянской жизни.

Как же мне было полюбить Италию? Я знал ее только в

состоянии вырождения. Италия Муссолини была недостойна любви. Там у нас, в республиканской Германии, это происходило все-таки сравнительно демократично и миролюбиво.

Действительно ли это было так? Не имелось ли пугающего знака и симптома и севернее Альп, где я теперь снова находился? Не бросилось ли мне что-то в глаза? Хотел ли я ничего не замечать?

Кое-что произошло в любимой отчизне, пока я шатался по свету. Президентом республики был избран как преемник умершего Фридриха Эберта генерал-фельдмаршал фон Гинденбург — явно тревожная новость. Я был тоже немного встревожен. Не то чтобы политические события меня вообще тогда много занимали! Однако дело с Гинденбургом зашло все же далековато. Старый милитарист в качестве главы Веймарской республики? Я чувствовал что-то вроде угрызений совести. Вот был потерян мой голос за относительно либерального, относительно интеллигентного кандидата, и сотворил это прусский юнкер…

Между тем приспели другие впечатления, заставившие меня скоро опять позабыть мои опасения, например публикация моих обеих первых книг: по возвращении домой меня встретили том новелл «У порога жизни» и моя романтическая пьеса «Аня и Эстер». Двое очень милых деток, опрятно отпечатанных и изящно оформленных. С каким гордым отцовским счастьем я обнюхивал их, ощупывал, ласкал! А на моем письменном столе — радостнейший сюрприз — громоздились уже письма и газетные вырезки. Первые рецензии — какая сенсация! (Большинство из них были глупыми, многие неприязненными, но что поделать?) Первые послания от незнакомых читателей и знаменитых коллег! Я наслаждался каждым словом как знаком начинающегося успеха, как обещанием будущих триумфов.

Прекраснейшее ободрение пришло от Стефана Цвейга, которого я тогда лично едва знал. Неустанный открыватель и покровитель молодых талантов нашел тон, который проник мне до самого сердца: «Только так и продолжайте, дорогой друг! Пусть некоторые склонны разделаться с Вами как с сыном известного отца. Не обращайте внимания на такое предубеждение! Работайте! Говорите, что Вы имеете сказать — а это целая уйма, если я во всем не обманываюсь… Я ожидаю многого от Вас. Пишите новую книгу! И думайте, работая, обо мне — о надежде, которую я на Вас возлагаю, о доверии, которое я Вам оказываю!»

Я думал о нем. И это помогло.

Из путешествия я привез с собой не только французские

книги и арабские антикварные вещи; в моем чемодане была также солидная связка торопливо исписанных листов: первые заметки к моему первому роману. Да, на сей раз это должно стать взрослым романом, я считал, что наступил момент дать полную исповедь, излить свою душу. Мне не терпелось поведать обо всем том тяжелом и прекрасном, что мне встретилось и встречалось ежедневно; делом моей чести было в художественной форме описать сомнения и радости одной молодой жизни, да чего там — тревоги целого поколения.

Жизнью, как я ее тогда знал и понимал, были прежде всего вечная неутомимость, поиски, постоянная тоска сердца, краткое чувственное счастье. Юность, стоящая выше моральных предрассудков, равно как и социальных связей и политических догм, вкушает и претерпевает земное бытие как красочную мистерию, которая в себе самой несет свое оправдание, свой смысл. «Понять» ее не дано, но хочется только просто лицезреть и наслаждаться. Не напоминает ли она игру, эта бесполезная и бесцельная, сладкая, жестокая жизнь? Нет, скорее уж танец, в котором великие чувства — желание, грусть, страх, отказ, благодарность — укрощаются в сакральной церемонии, в благочестивом танце. И вот я уже имел название для своего романа: «Благочестивый танец» — конечно, он должен называться так!

Я был очень молод, когда таким способом изображал и, как в игре, преувеличивал опасности и возможности собственного существования. Эрика была очень молода, Памела и Густав Грюндгенс{163} тоже. Мы были все еще полудетьми, когда встретились в Гамбурге, чтобы поставить мою пьесу «Аня и Эстер». Грюндгенс был звездой первой величины гамбургского Камерного театра, который под руководством Эриха Цигеля превратился в литературную сцену высокого класса. Он сверкал и искрился талантом, очаровательный, изобретательный, пленительный, кокетливый Густав! Весь Гамбург находился под его обаянием. Какая способность к перевоплощению! Какая виртуозность ведения диалога, мимики, жеста! В его репертуаре были самые разноплановые роли. Тот же самый актер, который вчера еще самым жутко-впечатляющим образом воплотил трагического адвоката в «Игре грез» Стриндберга, сегодня был сама прелесть и улыбающаяся чувственность в «Анатоле» Шницлера, чтобы на следующий вечер в классической роли — вроде Маркиза Позы — появиться с благородно-зажигательной осанкой перед восхищенной публикой. Одарен Густав был настолько, что мог выглядеть на сцене стройным, как тростинка, хотя в действительности он уже смолоду был скорее склонен к

легкому ожирению. Удивительная пластика, которую он в роли Эглона или Гамлета{164} демонстрировал, была просто продуктом искусства притворяться, триумфом воли над материей.

Густав был блистательным, остроумно-пресыщенным, светским. С какой небрежной элегантностью подавал он «соль» в комедии «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда! Густав бывал мрачным и демоничным. Густав бывал усталым и подавленным. Густав бывал чрезмерно оживленным; он поочередно бывал юным любовником, pere noble[48], интриганом и бонвиваном; он был всем и ничем. Он был комедиант par excellence[49].

В одной из своих внезапных, интенсивных причуд он влюбился в мою пьесу; прежде всего его прельщала идея поставить «Аню и Эстер» с Эрикой и Памелой в главных ролях. И я, автор, тоже должен был играть Густав вбил это себе в голову. Его приглашение, присланное мне в форме сумбурной телеграммы, застало меня совершенно врасплох Я никогда не думал о том, чтобы попробовать себя в качестве актера. Но почему бы, в конце концов, и нет? Это станет новым приключением, прелестным экспериментом… Я согласился, также и от имени Памелы с Эрикой.

Первая встреча с Густавом останется для меня незабываемой. Он ворвался в наш гостиничный номер подобно невротическому Гермесу. Походка его была столь легка, что было невозможно не коснуться недоверчивым взглядом его несколько поношенных, но тем не менее каких-то шикарных сандалий. Не было ли на них крыльев? Нет, и не античное одеяние богов наброшено им с благородной небрежностью на плечи, но лишь довольно потертое кожаное пальто.

Он был прекрасен: прямой, немного мясистый нос, гордые губы, выдающийся подбородок — все было крепкой и чистой формы Легкое искажение его лица объяснялось, вероятно, его моноклем, который он носил из-за сильной близорукости. С очками его тщеславие не хотело смириться.

Он страдал от своего тщеславия, как от раны. Это лихорадочное, страстное желание нравиться — вот что давало его существу размах, подъемную силу, но этим же он, казалось, изводил самого себя. Каким глубоким должен был быть комплекс неполноценности, который хочет компенсировать себя в подобном фейерверке обаяния! Какая тревога, какое мучительное недоверие скрывается за этой экзальтированной бодростью! Кто уверен в самом себе, не стал бы так задаваться. Кто действительно познал любовь только *одного* человека, вряд ли нуждался бы в том, чтобы постоянно соблазнять.

Густав той ранней поры, еще не проявивший себя, еще неизвестный, снедаемый честолюбием новичок, был, при всей своей бдительности, не лишен трогательных, даже трагических черт. На лице, казавшемся без грима странно бледным, блеклым, как пепел, переливались его холодные, печальные глаза-алмазы, как глаза очень редкой, очень ценной, может быть, заколдованной рыбы.

Если его поведение в обращении с людьми, прежде всего с такими, чье суждение ему могло быть важным, отличалось судорожной нервозностью и беспокойной неуверенностью, то стоило ему оказаться в привычной ему жизненной и рабочей обстановке, на сцене, как он обретал самоуверенность и уравновешенность. Каким беспомощным, каким сконфуженным я чувствовал себя, сравнивая свои собственные неуклюжие артистические усилия с прирожденной, при всей молодости уже опытной смелостью Густава! Я должен был играть Каспара, тогда как он довольствовался столь неблагодарной ролью мрачно-сдержанного Якоба, Но на репетициях он едва заботился о своем собственном тексте, зато был прежде всего режиссером, который с достойным уважения авторитетом руководил всеми нами и следил за всеми. С какой нежной бережностью он готовил и одобрял Эрику! Как он умел расслабить и одновременно укротить Памелу! Со мной же у него были досаднейшие хлопоты; он мне показывал все, как делать. «В этом месте, Клаус, следовало бы изобразить коварство. Ведь ты понимаешь, что я имею в виду? Легкая улыбочка — с задней мыслью, предательская… нет, не так! Все еще недостаточно коварная… Попробуй еще разок!»

Премьера состоялась осенью 1925 года, одновременно в Гамбурге и Мюнхене. В Мюнхене, где Отто Фалькенберг инсценировал пьесу в Камерном театре, реакция у прессы и публики была одинаково враждебная. Наша гамбургская постановка, напротив, может расцениваться, пожалуй, как решительный успех — по меньшей мере как довольно громкий succès de scandale [50]. От берегов Северного моря до Вены, Праги и Будапешта по газетному лесу прошелестело: «Дети писателей играют в театр!» Некоторые статьи были ехидными, тогда как другие отличались благосклонно-снисходительным тоном; кое-кто из критиков даже в известной степени уразумел намерения и достоинства моей пьесы. Но ироничны и благожелательны были комментарии, их обилие нам следовало приветствовать как рекламу. «Дети писателей» играли перед полным залом.

Театр доставлял мне удовольствие — интриги, конфликты и триумфы в жизни комедиантов. Было забавно и интересно познавать все это. Мне нравилось сидеть с фрау Лойей, комичной

старушкой, в прокуренном буфете и выслушивать последнюю сплетню о фрау Мирьям Хорвитц, супруге господина директора; я находил удовольствие, подставляя перед спектаклем гримеру для разукрашивания свое лицо. А потом — снова волнующий миг! — минута, прежде чем поднимется занавес… Полтора года назад, в «Тю-тю», то было моментом кошмарного страха и стеснения; теперь же я чувствовал себя увереннее, почти убежденный в победе: вместо мучительного страха я испытывал лишь приятную жуть. Свет в зале гаснет, разговоры в партере приглушаются до полной тишины. Я был тем, кого они ждали! Еще одна секунда — и мы станем друг перед другом, здесь наверху, в ярком освещении я, а там внизу, в темноте многоголовый монстр — неисчислимый противник, которого надо перехитрить, победить; недоступная возлюбленная, которую я насильно заключая в свои объятия… Все готово? Каждый на своем месте? И вот уже поднимается со сдержанным шуршанием бархатная стена, которая только что еще была между нами и публикой. Из затемненной глубины пристально взирает на нас оно, легко обольстимое, легко ранимое, строптивое, одновременно грубое и чувствительное коллективное существо: масса.

Я еще вижу себя и Густава стоящими позади кулис, напряженными, словно готовыми к прыжку в ожидании нашей реплики. Густав выглядит прямо импозантно в своем монашески строгом темном костюме, немного истерично кося глазами под затейливым убором парика. Он обнял меня за плечи; мы вслушиваемся в диалог на сцене, лирически взволнованный, страстно обостренный разговор между Аней и Эстер, «Разве она не чудесна, — тихо шепчет мне этот герой с огненными волосами. — Ее голос…» И я знаю, какой из голосов он имеет в виду.

Мне было хорошо в Гамбурге. Дни с Эрикой, Памелой, Густавом и пестрым выбором новых друзей, вечера в театре, ночи в кабаках и матросских дансингах Сан-Паули — все способствовало тому, чтобы сделать меня счастливым. Как долго? В продолжение шести недель или восьми… Мое беспокойство — или мой страх перед повторением, монотонностью и скукой — никогда не давало мне задерживаться в одном месте, в одном дружеском кругу, на одном занятии. Меня гнало прочь. Всегда гнало меня вперед, к новой авантюре, Я порывал (или спасал) человеческие отношения, рисковал профессиональными успехами, прерывал учебу и развлечения — только из нервозно-иррациональной потребности к перемене и движению.

Из Гамбурга я поехал сначала в Берлин, потом дальше — в Мюнхен, Вену, Ниццу. Я познакомился с Лазурным берегом,

которому позднее суждено было стать столь любезно-милым. Начинающаяся весна застала меня уже опять в Париже.

Это было более долгое, богатое событиями пребывание, три или четыре месяца, почти райски просветленные в моем воспоминании. Любимый город дарил себя со своей гостеприимной улыбкой, да, в эту лучезарную весну 1926 года он казался более, чем когда-либо, достойным любви. Жизнь была удобна и разнообразна и, кстати, дешевле, чем в Германии. Обесценивание французской валюты еще не имело характера национального бедствия и не было еще настолько значительно, чтобы цены, также в ресторанах люкс и элегантных магазинах, сделались недоступными для посетителей, каковым я и был.

Париж кишел иностранцами всех рас и национальностей; из всех частей Европы, из Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Австралии прибывали они сюда и привозили валюту. Потому-то и обращались с нами парижане с почтительностью, правда слегка окрашенной иронией. Просторные кафе на Больших бульварах и Елисейских полях, ночные заведения Монмартра и Монпарнаса, парикмахерские, рестораны, книжные лавки, парные бани, даже Лувр были переполнены охочим до зрелищ, жадным к знаниям, жаждущим удовольствий народом из Токио и Бирмингема, Детройта и Туниса, Бреслау и Рио-де-Жанейро, Шанхая, Стокгольма и Канзас-Сити. Это было подлинное вторжение — мирное, но подавляющее — шумящих бэббитов{165}, томных жиголо, дам света и полусвета, художников с талантом и без, с оригинальностью и без, пьяниц, миллионеров, крупных мошенников, игроков, яростных лесбиянок, накрашенных продажных мальчиков, робких провинциалов, авантюристов, модисток, новобрачных, студентов, политических беженцев, поэтов, аббатов, журналистов, старых дев, всемирно известных и непризнанных гениев. Мне кажется, вряд ли когда еще в своей жизни я познакомился со столькими людьми, чтобы их тут же снова потерять из виду, как тогда в Париже. Какое обилие флиртов и дружб! Какое богатство интеллектуальных контактов! Встречались на террасе кафе дю Дом, в «Селекте», в мастерских художников — у Рудольфа Леви, ученика Матисса, чей звучный бас господствовал в любом обществе; у Нильса де Дарделла, датчанина, в чьей студии на Монмартре всегда был щебечущий концерт светлых северных женских голосов (все, что он делал и выдавал на свет божий, было в стиле затейливого танцующего рококо; он изготовил мой портрет и превратил меня в изящно-унылого пажа с незабудково-голубыми глазами, сладко вытянутым ротиком и розовым фарфоровым цветом лица), у Жюля Пассена — американского гражданина

восточноевропейского происхождения, — которого я никогда не видел трезвым и никогда без гарема меланхоличных проституток, казавшихся вывезенными прямо из борделей Бухареста или Варшавы. (В моем воспоминании Пассен-дамы одеты всегда в домашние туфли и короткие свободные рубашки — может, потому, что на его эскизах и картинах они оказываются по большей части представленными в этом костюме). Дискутировали о Джойсе, сексуальных извращениях и Дягилеве. Русские эмигранты (мы проводили долгие, уныло-печальные самоварные вечера у чудаковатого Ремизова и некоторых его друзей) говорили о Ленине и Антихристе. Эрнст Роберт Курциус, гейдельбергский романист, которому я обязан своими первыми познаниями в современной французской литературе, показывал мне драгоценные уголки старого Парижа — аристократические дома, часовни, сады и кондитерские, — которые описаны в книгах Пруста, Валери, Ларбо и Жироду. Вильгельм Уде, аристократический пруссак, который нашел путь от «Бисмарка к Пикассо», объяснял мне Valeurs [51]произведений Делакруа, Курбе, Руссо и Мари Лорансен{166}.

Именно в эту прекрасную, богатую весну встретил я молодого французского писателя Рене Кревеля.

Он имел сходство с расхожим образом парижского homme de lettres[52], который так упорно удерживается в фантазии международного обывателя. Рене не был ни изворотливым, ни элегантным, ни «духовно богатым» в общепринятом смысле. Его взрывному шарму — да, это был, возможно, самый щедро наделенный обаянием человек, какого я когда-либо знал! — был свойствен элемент трагически-дикого, отчаянной непристойности, которая произрастала из самой его сути и выражалась во всех его возбужденных жестах, словах и взглядах. Что-то неописуемое было в его глазах — далеких, светящихся звездах, распахнутых как бы в неизбывном ужасе или в непрерывном восхищении. Подобные глаза едва ли еще встречаются в нашу несовершенную эпоху. Они не имели определенного цвета, но казались сотворенными из переменчивого света; чудовищное происходило в их взволнованной глубине: за взрывами потустороннего электричества следовали стремительные помрачения, как будто бы тени боли опустились со страдальческого чела на эти лучистые небесные светила.

Он был приветлив и великодушен, однако мог быть агрессивным, даже жестоким. Его фанатичная цельность возмущалась всем низким и обыденным. Он ненавидел безжалостнейшим образом как раз то, что считал типичным для

собственного класса — буржуазии Третьей республики, Ни один порок не казался ему столь непростительным, как жадность и самодовольная ограниченность, в которых он яростно упрекал среду, из которой вышел, родителей, учителей, родственников.

Его симпатии и антипатии, даже его внешний вид были целиком определены этим страстным негодованием против буржуазной семьи, в особенности против матери. Так как старая мадам Кревель носила исключительно черное, Рене выбирал для своих костюмов, рубашек, носков и галстуков ярчайшие краски Часто он и в самом деле выглядел эксцентрично; ибо к оригинальному костюму добавлялась своеобразная физиономия — полуархангела, полубоксера — с по-детски толстыми губами, дико растрепанными волосами и невероятными глазами.

Он проводил свои дни с американцами, немцами, русскими и китайцами, потому что его мать всех иностранцев считала криминальными и патологическими субъектами. Он пил виски и джин, так как запах от них вызывал у нее тошноту. Он ненавидел христианство, потому что она ходила в церковь. Она была националисткой; он отпускал неуважительные шутки насчет la douce France [53] и ее священнейших благ. Мадам была пуританкой; он шокировал ее скабрезностями. Ему доставляло удовольствие в большом обществе пошутить по поводу самоубийства своего отца; ибо он знал, что вдова старалась скрыть этот семейный позор. Мало того, что месье Кревель-старший покончил с собой (мадам как-то вечером нашла его повесившимся в ее салоне, где она как раз собиралась принять несколько особо знатных гостей), — он также был сумасшедшим, сифилитиком в последней стадии, если верить жутко занимательным рассказам сына. Великолепная идея, не правда ли, — при подобных обстоятельствах произвести на свет ребенка! «Моя добрая мама была слишком богобоязненной, чтобы сделать аборт, — объяснял сын с отчаянной бодростью, — хотя она знала, что я буду больным… Грехи отцов, известное дело. Я должен теперь искупать пороки старого господина — и добродетель его супруги».

Иногда я бывал обескуражен, просто напуган ригоризмом его суждений, резкостью его реакций. Его антипатия к известным властям и учреждениям имела чуть ли не маниакальный характер; католическая церковь, армия, Французская академия — назвать только эти — были ему ненавистны, как личные враги, чьи интриги угрожают его жизни, отравляют воздух. В оскорбительных речах, которые исходили из его детски-мягких губ с каким-то яростным энтузиазмом, грубо-юмористическое арго парижского предместья поразительнейшим образом

перемешивалось с научно-лирической лексикой сюрреалистов, к кругу которых он принадлежал. Он бранился и сквернословил, как молодой бог, которому отвращение к земной подлости и наслаждение земными винами затуманили сознание. Кстати, он немного шепелявил, из-за чего его свирепое красноречие обретало что-то трогательное и инфантильное.

Как свежи у меня в памяти эти послеобеденные часы, долгие вечера, проведенные нами вместе! Я жил в маленьком отеле недалеко от военной школы, где он, испытывая злость, как раз отслужил свои два года. Он входил в мою комнату, небрежно бросал свое светлое пальто на стул, на пол; его появление было всегда бурным и нервозным, как если бы он явился с ужасными новостями, или бежал от кого-то, или взволнован большой радостью. Затем он удобно усаживался на мою кровать и живо начинал мне читать. Молодой писатель в серых фланелевых брюках и голубой рубашке с розово-красным галстуком, сидящий на гостиничной кровати, склонив голову над рукописью, — так сохраняю я для себя его образ.

Роман, из которого он мне тогда читал, называется «Трудная смерть». Пьер, проблематичный молодой герой, — это автопортрет, точно так же как чувствительный Андреас из моего «Благочестивого танца». Мать Пьера, ужасная мадам Дюмон-Дюфор, явно имеет черты старой мадам Кревель; литературная карикатура действовала на меня тем тревожнее, что я узнал, что мать Рене лежала тогда при смерти. Когда он окончил чтение главы, в которой буржуазная старуха играет особенно неприятную роль, я робко справился, не улучшилось ли как-то состояние его мамы. Напротив, отрезал он сухо, дело ее скверно. «Она, пожалуй, долго не протянет».

Я спросил его также, что должно статься с Пьером; он улыбнулся и странно отсутствующе посмотрел сквозь меня, словно я привидение, или облако, или вовсе не существую. «Я его убью, — сказал он наконец, пожав плечами, причем его улыбка становилась все более гордой и рассеянной. — На что он еще годится? Pauvre petit…» [54] Позднее он мне открылся, что намеревается заставить своего бедного маленького Пьера проглотить смертельную дозу фанодорма, снотворного, которым часто пользовался сам. Где-нибудь на улицах Парижа, на скамейке он испустит дух. «Ибо у сына мадам Дюмон-Дюфор нет дома, где бы он мог жить или умереть».

Так росла в нем его смерть, его тяжелая смерть. Она росла в недрах его психического и органического бытия, подобно смертоносному плоду, стремящемуся созреть; и когда он зрел и мягок, он вскрывается, чтобы излиянием своего пурпурного сока

затопить и уничтожить нежное сердце, которое его питало.

Работал я, как всегда, много, почти без передышки. Появился большой рассказ «Детская новелла». Сочинил я также несколько эссе, в которых задумал исполнить свой долг молодого европейского интеллектуала.

Молодой европейский интеллектуал — формула стала для меня чуть ли не чем-то вроде программы. Это был все же прогресс по сравнению с прославлением юности просто как биологического состояния. Подчеркивание «европейского», которому я теперь придавал значение, означало протест против расхожего национализма, тогда как понятие «интеллектуал» обращалось против романтики «крови-и-почвы» германских реакционеров.

Одно сочинение, которое тогда я писал и с пристрастием публично зачитывал, так и носило гордый подзаголовок «К ситуации молодого европейского интеллектуала». Это было объемистое эссе — названное «Сегодня и завтра», — в котором я подытоживал свои взгляды о Боге, жизни, литературе, марксистских догмах, загадках пола, Стефане Георге, демократии, немецком национализме и других актуальных темах.

Сходной трудности и сходной важности были проблемы, которые я пытался решить довольно легким способом в своей второй пьесе, «Ревю вчетвером». Премьера состоялась в Лейпциге, с Густавом, Эрикой, Памелой и мною самим в главных ролях, две счастливые молодые пары, так сказать, ибо фрейлейн Ведекинд и я были все еще помолвлены, тогда как Эрика стала между тем женой Густава Грюндгенса. Преследуемые проклятиями саксонских критиков, мы отправились, с собственной труппой и собственными декорациями, впрочем без Густава, в большое турне, которое устроил для нас неустрашимый агент. Декорации были с большим вкусом выполнены также одним из «детей писателей». Теа Штернхейм, прозванная «Мопса», дочь драматурга, была художницей значительного дарования, к тому же добросердечным, мужественным и милым человеком — одна из совсем немногих старых друзей, к которым я поныне чувствую привязанность.

В берлинском Камерном театре мы были освистаны («Здесь можно разыгрывать семейные сцены», — написал плутоватый Вернер Краус у входа на сцену), в Мюнхене обруганы, в Гамбурге нам аплодировали, в Копенгагене, где любезная Карин Микаэлис{167} организовала нам гастроли под покровительством ведущей либеральной газеты «Политикен», были приняты с благосклонным любопытством. Иногда наши представления

бывали скорее борьбой с публикой, чем цивилизованным увеселением. Нас это не трогало.

Настоящей причиной всего этого крика и возни, как враждебной, так и лестной, был, естественно, постоянно возрастающий успех моего отца. В то время, о котором здесь идет речь, он больше, чем когда-либо, находился в центре общественного внимания. Если «Будденброкам», эпической лебединой песне немецкой буржуазии, потребовалось относительно долгое время, чтобы завоевать благосклонность масс, то «Волшебная гора» была встречена с одобрением и признана первым немецким романом европейского масштаба.

Мишурный блеск, окружавший мой старт, только тогда становится понятен — и только тогда простителен, — когда осознаешь солидный фон отцовской славы. Я начинал свое поприще в тени отца и, чтобы не остаться совершенно незамеченным, понемногу барахтался и вел себя слегка вызывающе. Следствием этого было то, что меня стали слишком замечать. Чаще всего со злым умыслом. Раздраженный постоянными лестью и колкостями, я вел себя, как назло, бестактно и капризно, чего, очевидно, от меня и ожидали.

Что я себе недостаточно уяснил или с чем я недостаточно считался, так это с тем фактом, что моя опрометчивая эксцентричность приносила всякого рода неприятности и моему знаменитому отцу. Его имя всплывало, как само собой разумеющееся, почти в каждом из сатирически-полемических комментариев, которыми немецкая пресса тогда столь богато одаривала меня. Я вспоминаю один рисунок в «Симплициссимусе» — одну не очень дружественную карикатуру мастера Т. Т. Гейне, — на котором я изображен стоящим позади стула своего отца. Он бросает на меня недоверчивый взгляд через плечо, в то время как я вызывающе замечаю: «Говорят, папа, что у гениальных отцов не бывает гениальных сыновей. Стало быть, ты не гений». А поэт Бертольт Брехт, который терпеть не мог ни моего отца, ни меня, начал одну забавную статью в берлинском журнале «Дас тагебух» следующей остротой: «Весь мир знает Клауса Манна, сына Томаса Манна. Кто, впрочем, такой Томас Манн?»

Анекдоты о нашей семейной жизни выдумывались остроумными головами и усердно распространялись прессой. Иногда эти россказни содержали пикантную, чтобы не сказать парадоксальную, прелесть и были правдой. К примеру, история с посвящением, которое написал мне Волшебник к рождественскому празднику 1925 года на экземпляре «Волшебной горы» и которое на самом деле гласило: «Почтенному коллеге —

его подающий надежды отец». К сожалению, я был недостаточно предусмотрительным, чтобы не показать эту шутку друзьям, которые в свою очередь проболтались. Лакомый кусок для дорогих журналов!

Кстати, случай с посвящением на «Волшебной горе», который стал столь широко известен, каким-то образом характерен для позиции, занятой моим отцом в то время по отношению ко мне. Это была позиция иронического доброжелательства и выжидательной сдержанности, полускептическая, полузабавляющаяся. Я не верю, чтобы он когда-либо проявлял серьезную заботу обо мне. От этого его удерживала природная индифферентность и замкнутость, но, вероятно, и его доверие к моей интеллигентности и моим здоровым инстинктам; однако мои экстравагантности подчас могли действовать ему на нервы больше, чем он показывал или чем я хотел замечать. Между тем он всегда оставался при своем старом педагогическом принципе, который состоял в том, чтобы не вмешиваться, но только примером собственного достоинства и дисциплинированности оказывать косвенное влияние. Как бы сомнительно и рискованно мы ни вели себя, он присматривался. Иногда с шутливой улыбкой, иногда нахмурившись, но ни разу не вмешавшись и не проявив слишком живого интереса к нашей деятельности. Знал ли он вообще, где я задерживался, что делал, с кем общался в течение долгих месяцев, которые я теперь ежегодно проводил вдали от Мюнхена, вдали от отчего дома? Но не в его манере было донимать вопросами возвратившегося сына.

«Откуда ты на этот раз?» — мог осведомиться он за обедом с рассеянной сердечностью. В таких случаях Милейн имела обыкновение вмешиваться с веселым упреком. Она ведь привыкла играть роль посредницы между ним и миром, несущественные детали которого он не держал в памяти. «Но Томми! — восклицала она. — Ты уже совсем не ориентируешься. Разве ты не знаешь, что наш сын только что пережил приятный успех со своей пьесой в Базеле? Он же нам телеграфировал!» Или: «Нет, в самом деле, дорогой, как же мне не удивляться тебе! Будто бы я тебе *не рассказывала,* что Клаус навещал своего друга Кревеля в Давосе! Он тяжело болен, бедный Рене, история с легкими… Что, ты его *не знаешь?* Однако, это уже слишком! *Естественно,* ты знаешь Кревеля. Мы же встречали его в прошлом году в Париже, на этом отвратительном приеме у баронессы Х. Он тебе даже очень понравился, хотя говорил так быстро, что ты вообще ничего не мог понять». И тогда отец делал одно, может быть, замечание о Рене, из которого неожиданно явствовало, что он знал о нем много больше, чем позволяла предполагать его первая реакция.

Временами у нас появлялось подозрение, что в действительности он осведомлен о наших делах лучше, чем это казалось; в другие мгновения он озадачивал нас своей неосведомленностью и, более того, своей незаинтересованностью. Но именно когда мы начинали себя спрашивать, принимает ли он вообще какое-нибудь участие в наших хлопотах и проблемах, он поражал и трогал нас одним небрежно брошенным словом, одним кажущимся совершенно случайным жестом. Случалось, что в журнале, который он регулярно читал, печаталась обидная критика на меня и он ее, опять-таки мне в обиду, казалось, совершенно игнорировал. За столом он болтал о погоде, в то время как в моем вдвойне уязвленном сердце бушевали бури. После еды же, как раз когда Милейн объявляла: «Ну, больше ничего нет, дети!» — он как ни в чем не бывало покачивал головой с притворной печалью и замечал, вздыхая: «Да, да, мир полон злобной глупости. К этому надо привыкнуть. Каждое утро мне приходится проглатывать по меньшей мере одну ядовитую жабу… Кажется, подобным образом жаловался в своем дневнике Флобер. А добрый Ханс Кристиан Андерсен при чтении враждебной критики просто разражался слезами. Друзьям, пытавшимся убедить его в незначительности поклепа, он с меланхолическим упрямством возражал: „Мне эта гадкая рецензия причинила сильную боль, и, таким образом, она, наверное, не может быть совершенно незначительной“. Это было все-таки очень неразумно со стороны нашего милого Андерсена, не так ли?»

Постоянные приходы и уходы в нашем доме, казалось, скорее развлекали отца, чем мешали. Впрочем, он и сам бывал часто мимоходом. Добродушно и добросовестно, не без определенной иронической торжественности, принимал он на себя многочисленные общественные обязанности, которые приносят с собой слава и литературные конгрессы, доклады, банкеты, интервью. Никто не удивлялся, если после завтрака он откланивался с небрежным кивком: «Итак, adieu, дети — до начала будущей недели! Да, ведь мне надо, к сожалению, во Франкфурт, на гётевские торжества, — разве Милейн не упоминала? Разумеется, это тягостно, но что поделаешь! Мне надо поторопиться, иначе еще пропущу поезд».

Не терял он самообладания и когда Милейн вдруг начинала причитать: «Ах, бедная моя головушка! Ну вот, опять забыла сказать шоферу, что Эрика прибывает в девять сорок! Или в десять двадцать пять? Я потеряла телеграмму, такого-то со мной еще никогда не случалось! Она везет с собой еще вроде бы и друга или подругу или дружескую пару — откуда мне это теперь

знать? Раз телеграмму я потеряла…» Тогда Волшебник, удивленно и обрадованно, поднимал брови: «Так, так, Эри прибывает сегодня вечером! — И добавлял задумчиво: — Давненько я ее не видел — очень давно, так мне кажется. Хорошо, что она приезжает».

Каждый из нас появлялся в доме со своими друзьями. Михаэль и Элизабет, которые ходили в школу в Мюнхене, приводили своих полувзрослых товарищей; Моника, тишайшая из всех нас, принимала за чашкой кофе своих немногих друзей, чтобы посплетничать; Голо приезжал из Гейдельберга, где он изучал философию у профессора Ясперса, с серьезными товарищами по университету. А вокруг нас с Эрикой всегда кипела жизнь. Иногда наш дом походил на непринужденный отель за городом или штаб-квартиру бойкой банды заговорщиков. Здесь возникали интриги, флирты, дискуссии, истерические вспышки, художественные представления, ночные пирушки. Всегда что-нибудь происходило: один читал вслух стихи, другой заказывал междугородный разговор с Лондоном, в то время как третий устраивал кому-то сцену ревности или выходил из себя, потому что не мог в железнодорожном справочнике найти вечерний поезд на Бреслау. Все болтало, шутило, ругалось друг с другом на быстром и причудливом тарабарском языке, перенятом большинством друзей у семьи Манн.

В этой всеобщей неразберихе был лишь один человек, который обозревал многочисленные драмы и интересы различных обитателей дома и гостей в их совокупности: моя мать. Она, забывающая или путающая, казалось бы, простейшие вещи, обладала в действительности организаторским гением, который шел не от головы, а от сердца. Хотя ее основной интерес постоянно был сосредоточен на благополучии и трудах отца, она все-таки умудрялась помогать, заботиться о наших аферах и поддерживать друзей сердечной симпатией и умным советом. Милейн точно так же была в курсе денежных забот и эмоциональных конфликтов «Райзи» (Ганса Райзигера), как и скрипичных уроков «Биби» (Михаэля) и философских умозрений Голо. Она была посвящена в душевные беседы Рикки (он любил одну прелестную, но несколько садистски настроенную молодую даму, чьи капризы доводили его до грани помешательства) и в трудности новой роли Эрики; В. Е. Зюскинд шел к ней, когда не мог придумать названия нового романа, и я шел к ней, чтобы пожаловаться на критиков, или стрельнуть сотню марок, или просто облегчить свое сердце. Весь дом приходил к ней — каждый со своими заботами, надеждами и недугами.

Конечно, бывали в общежитейской жизни дома приливы и

отливы. Случалось — не очень часто, правда! — что мы отсутствовали, занятые какими-либо работами или приключениями в какой-нибудь отдаленной области страны или континента. Тогда дом на Пошингерштрассе должен был утихомириваться. Вместо шума, который обычно распространяли вокруг себя мы и наша банда, звучала приглушенная речь родителей. Для меня всегда бывало как-то удивительно трогательно представлять себе вдруг ставший одиноким или спокойным дом. Каким преувеличенно просторным, каким пустым он теперь казался, солидный детский дом без детей! На верхнем этаже, где располагались наши комнаты, было, наверное, всегда темно, когда нас не было.

Между тем жизнь в доме продолжалась и в наше отсутствие. Отец строго придерживался своего давно испытанного распорядка. Всегда в одно и в то же время за письменным столом, регулярные прогулки, послеобеденная сиеста, вечернее чтение. Где-нибудь в гостиничной комнате, в Марселе или Копенгагене, я вспоминал, бывало, подчас идиллическую сцену и видел его перед собой, возвращающегося вечером домой после променада, входящего в прихожую (сменив предварительно свои грязные сапоги на пару мягких домашних туфель!) и целующего со слегка иронической нарочитой галантностью руку моей матери: «Как тебе жилось, мое сердце? Отвезла ли ты прастарцев в оперу?» «Прастарцы» было нашим обозначением дедушки и бабушки; оно употреблялось трогательно-забавным образом также и «старцами», то бишь родителями.

Да, Милейн пунктуально отвозила стариков к началу «Мейстерзингеров»; это относилось к ее бесчисленным обязанностям — катать повсюду Оффи и Офея в автомобиле и доставлять им развлечения. Я видел отца и мать издалека, как они еще некоторое время улыбались друг другу в прихожей — задушевно тихое, интимное маленькое ухаживание — и затем садились вдвоем за ужин. О чем же говорили они за круглым столом, под висячей лампой? Говорили ли они о вещах многолетней давности, о которых мы совсем ничего не знали или же имели лишь смутное представление? Или они говорили о делах будущего — о наших делах? Были ли мы предметом их приглушенного диалога за ужином, наши проблемы, наши перспективы и возможности, опасности, которым, как они знали, мы подвергались? Мысль, что это так и могло быть, что так, вероятно, и было, способна была тронуть меня подчас до слез.

В подобные мгновения приятной краткой тоски по дому я любил вспоминать одну определенную ситуацию, которая — сама по себе вовсе незначительная — у меня в памяти тем не менее

навсегда останется волнующей.

Я вижу себя спускающимся по каменным ступеням входа нашего дома и пересекающим сад, в то время как Ганс, шофер, ожидает меня снаружи на Феринграллее у открытой машины. Это один из моих многих отъездов, я не знаю, куда еду. Я куда-то еду, я несу свой чемоданчик, несколько книг, плащ. Как раз когда Ганс с вежливым легким поклоном открывает для меня дверцу машины — «К главному вокзалу, господин Клаус?» — у окна своей спальни на втором этаже появляется отец. Сейчас, должно быть, четыре часа пополудни — его час отдыха. На нем его темный шлафрок, красивая роба из голубой парчи, в которой он почти никогда не позволяет себе перед нами показываться, и он как раз собирается опустить жалюзи. Но прерывает свое движение, так как замечает машину, багаж, шофера и меня внизу на аллее.

Как отчетлива эта картина перед моими глазами! Отец там наверху, в раме открытого окна… И вот он мне машет, с усталой и серьезной улыбкой.

«В добрый час, сын мой! — говорит отец с полушутливой торжественностью. — И возвращайся домой, если будешь отвержен!»

ШЕСТАЯ ГЛАВА
ВОКРУГ СВЕТА
1927–1928

Виноват во всем был, собственно говоря, нью-йоркский издатель Хорас Ливрайт. Он выпустил американское издание моей «Детской новеллы» («The Fifth Child» [55]) и теперь счел остроумной идеей пригласить молодого автора на пару выступлений в Соединенные Штаты. Письмо, которое я получил от «Бони энд Ливрайт Инкорпорейтид», было составлено в сердечном, но ни к чему не обязывающем тоне — только запрос, не готов ли я в принципе когда-нибудь, может быть в будущем году, приехать на пару недель в Нью-Йорк.

Я никогда не думал о таком путешествии и поначалу был едва ли склонен принимать во внимание предложение мистера Ливрайта. Я вспомнил об этом предложении лишь через несколько недель.

Была тропически теплая ночь середины августа. Мы с Эрикой гуляли по живописным берегам Штарнбергского озера недалеко от Фельдафинга. Жили мы тогда с друзьями в скромной гостинице за городом. Каждую ночь сюда наезжала Эрика, закончив свой спектакль в мюнхенском Камерном театре.

«Не знаю, что со мной происходит, — жаловалась она. — Все идет так, как я хочу, но меня это не радует. — Помолчав, она добавила: — Штарнбергское озеро прекрасно, пусть таким и остается. Но я не хочу оставаться. Мюнхен прекрасен, и играть в Камерном театре мило. Но я охотнее была бы где-нибудь в другом месте. В десяти тысячах миль отсюда…»

«Совсем не плохая идея, — сказал я. — Существует достаточно вещей, от которых хотелось бы сбежать…»

Я думал о своих ненавистных критиках и о своей капризной невесте. Всего пару дней назад Памела сообщила мне, без обиняков, в деловито краткой форме, что она любит стареющего драматурга Карла Штернхейма и в обозримое время намерена сочетаться с ним браком. Что за странная причуда! Правда, не подлежало спору, что Штернхейм обладает талантом, живостью ума и оригинальностью; однако сразу выходить замуж! В конце концов, он бы мог быть отцом Памелы (не это ли ей как раз и нравилось?), и, кстати, он, как известно, совершенно спятил, его мания величия неприятно бросалась в глаза.

«Может быть, Рикки был совсем не так уж не прав, —

промолвил я задумчиво. — Может, действительно надо бежать прочь, в широкий мир…»

Рикки и след простыл. Прочь от Европы, прочь от семьи, привычной жизни. Он своенравно отказывался от любой финансовой помощи со стороны своей все еще состоятельной мамы. Из упрямства и гордости, а может быть, чтобы наказать и впечатлить свою жестокую подругу, которая стоила ему таких больших денег. В Мексике он перебивался в качестве водителя грузовика; теперь он разносил цветы в Нью-Йорке.

Кстати, Нью-Йорк… не там ли обретается чудак, обнаруживший недавно желание приветствовать меня на Гудзоне? Почему бы мне не принять его любезное приглашение? Или более того, почему бы не *нам?* Ибо для меня сразу стало ясно, что мы поедем вместе, если вообще ехать.

Не долго думая, мы сформулировали энергичное послание по телеграфу ничего не подозревающему мистеру Ливрайту: «Восхищен Вашим любезным приглашением, которое достигло меня только сейчас точка готов примерно через четыре недели с моей сестрой, известной актрисой Эрикой Манн, отбыть в Нью-Йорк точка намереваемся пробыть в США зиму…»

Хорас после короткой паузы ответил депешей: «Бесконечно сожалею, что Вы не решились раньше точка season now overcrowded [56] точка настоятельно советую отложить поездку на будущий год».

Но мы зашли уже слишком далеко. Все друзья знали о нашем предстоящем путешествии; было бы позорно отказываться теперь от всего предприятия. Таким образом, нам не оставалось ничего иного, как отправить вторую депешу, еще более бодрую, чем первая: «Тысяча благодарностей… так остается как договорено… ждите нас начале октября Нью-Йорке».

В бюро «Бони энд Ливрайт Инкорпорейтид», должно быть, были совершенно ошеломлены. Все же нашу дерзость сочли, наверное, столь обезоруживающей, что глава издательства, вместо того чтобы просто от нас отвернуться, в дальнейшем оставался заинтересованным и готовым помочь. Он связался с одним из влиятельнейших лекционных агентов. Поразительным образом не без успеха. Отчаянный импресарио заявил о своей готовности устроить для нас турне и предложил минимальную гарантию в полторы тысячи долларов. Это было сверх всех ожиданий. Эрика тотчас купила себе меховую накидку — опрометчивый и провоцирующий жест, который я осуждал по тактическим и моральным причинам. «Впрочем, у тебя она долго не задержится, — предостерегал я ее. — Вещь у тебя стибрят. Вероятно, еще раньше, чем мы приедем в Нью-Йорк. Меховые

пальто — это как раз то, на что всегда больше всего зарятся международные гангстеры».

Мы собрали авансы у редакторов газет (разумеется, по пути будут писаться многочисленные статьи) и рекомендательные письма наших друзей. Оказалось, чуть ли не каждый имел где-нибудь в Соединенных Штатах пару кузенов; впрочем, американские знакомства можно было завязывать уже в Мюнхене и Берлине. Наша подруга Криста Хатвани (которая позднее стала известна под своей девичьей фамилией Криста фон Винслоу как автор пьесы «Девушки в униформе») представила нас гостье своего дома: «I want you two kids to meet my friend Dorothy Thompson, of the most brilliant American newspaper women!» [57] Дороти — какой лучезарной, юной и прекрасной была она тогда! — смогла только достаточно хорошо понять, что мы жаждем поскорее отправиться в Нью-Йорк. «Вы правы, ребята! — поощрила нас энергичная особа. — Молодым людям надо посмотреть мир. И кстати, вы блестяще развлечетесь».

«Вы найдете Америку отвратительной!» — предсказывал другой «янки», рыжеволосый, жилисто-сухопарый парень по имени Синклер Льюис. Мы провели с ним веселый вечер в берлинской квартире издателя Эрнста Ровольта, у которого была привычка поедать стаканы и рюмки вместе с содержимым в отличие от его американского автора, предпочитавшего наполнять стаканы шнапсом и одним махом заливать содержимое за воротник. Он был явно против нашего путешествия. «Чего вы хотите от этой ужасной страны, где нечего пить или дают лишь паршивое пойло? — громыхал сочинитель „Бэббита“ и „Главной улицы“. — До тех пор пока в Штатах мы придерживаемся этой смехотворной преступной Prohibition[58], весь цивилизованный мир должен нас бойкотировать».

Но мы оставались при своем намерении. У нас не было совершенно никакого сомнения, что по ту сторону океана мы найдем не нечто ужасное, а, напротив, отличные развлечения. Молодцеватая Дороти обладала большим знанием мира и людей, чем провинциальный Синклер — почему последний и вбил себе в голову сделать ее своей женой.

Мы путешествовали, «and we certainly had a wonderful time»[59], как выразилась бы будущая миссис Льюис. Нам было двадцать: мир улыбался нам, так как мы улыбались ему. Какой гостеприимной показалась нам чужбина! Повсюду были открытые двери, дружеские лица. Двумя годами позже, ко времени «великой депрессии», американские друзья встречали бы нас, наверное, с застегнутыми карманами и кислыми минами, но в 1927 году в Соединенных Штатах еще господствовало Prosperity

[60], каждый имел деньги; бизнес и культура процветали. Разве не играла благоволящая сытая улыбка на гордых чертах статуи Свободы? Из серебряного тумана нам навстречу выступала она, импозантная дама с величественно вытянутой рукой и материнской грудью. Позади же нее показывались, фата-моргана парящей хрупкости и титанических размеров, силуэты небоскребов — столь прославленная и все же всякий раз удивительная, невероятная, подавляющая «линия горизонта» Нью-Йорка.

Это был город, который из всех городов (после или наряду с Парижем) мне суждено было полюбить больше всего. Я понял это, когда мы ехали от порта в отель «Астор» на Таймс-сквер. Если Париж — это современный город восемнадцатого и девятнадцатого столетия, то Нью-Йорк сразу произвел на меня впечатление метрополии двадцатого, столицы нашей эпохи. То была *новая* красота — почти готическая со своими круто устремленными ввысь конструкциями и узкими перспективами, — поразившая меня; смело экспериментальный, практично-грандиозный стиль, от которого у меня захватывало дух и сильнее билось сердце.

«Но это колоссально», — с усилием выдавил я из себя. Мы были теперь на Сорок второй улице между Восьмой авеню и Бродвеем, с видом на могуче громоздящееся, странно треугольное, остроконечное здание «Нью-Йорк таймс». «Вот это да! — прошептал я. — Бывает же такое!..»

Прозвучало это, надо полагать, весьма комично; все засмеялись: Рикки, который ждал нас на пристани (он выглядел более одичавшим и цыганоподобным, чем когда-либо), и радушные, щеголеватые молодые господа, которые представляли фирму «Бони энд Ливрайт Инкорпорейтид» и бюро «Лекционный посредник».

И потом, в «Асторе», журналисты ревели от смеха, когда мы рассказывали им, что Синклер Льюис, предупредил нас относительно сухого закона («Ha ha ha. That's a good one!»[61]), и что мы жаждем познакомиться с американскими поэтами и увидеть Бруклинский мост и «Метрополитен-опера», и что мы близнецы с Эрикой («Twins?! Now, isn't that *delightful!*» [62]. Трюк с близнецами был дерзкой импровизацией, идея пришла нам всего пару дней назад, мы выдумали себе это развлечение среди океана. Успех превзошел наши самые смелые ожидания. THE LITERARY MANN TWINS[63] был жирно напечатан заголовок, под которым появились в прессе наши фотографии и интервью. Каждый казался растроганным и восхищенным, когда мы упоминали о том, что мы близнецы. «Twins?! How cute! How

charming!» [64]. Мы были шуточным двойным существом, забавно-импрессивным вундеркиндом с двумя головами, четырьмя ногами и одним мозгом, полным европейских капризов и вычурного знания — «full of Continental wit and sophistication» [65].

Литературные Манны-близнецы ринулись в исследование колоссального лабиринта и шумной мистерии Нью-Йорк-Сити. Мы бродили от Гарлема, где живут негры, вниз до Уолл-стрит, где преступные спекулянты зарабатывают на южноамериканских революциях и европейских гражданских войнах увесистый доллар; от Китай-города мы прогуливались до немецкого квартала, от Таймс-сквер мы ехали в невероятно скором Subway [66] (экспресс «Даунтаун» — «Аптаун») в Бруклин и Бронкс, дико чужие города-великаны со своим центром, собственной атмосферой, которые, однако, все же образуют с Манхэттеном ошарашивающее колоссальное целое.

Мы находили все примечательным и веселым. Торопливая кормежка в шумных кафетериях, где сами себя обслуживают, была так же вкусна и хороша, как изысканная еда в нашем роскошном отеле или в доме богатых друзей. Как все же интересна была еда в Америке! Странные фрукты, называемые «грейпфрут», вкусный гермафродит лимона и апельсина, которого у нас дома еще не знали; устрицы, которые считались верхом роскоши, здесь были повседневным продуктом питания; вместо привычных вина или пива к жаркому подавалось кофе с ледяной водой. Вообще все было со льдом, что нам очень импонировало. Стакан сливового — кто слыхал когда о сливовом соке? — становился деликатесом, когда его подносили в чрезвычайно вместительной чаше, полной маленьких кубиков льда. Мы ели по-китайски, армянски, мексикански и верхнебаварски; если во время «обеда» мы подкреплялись настоящим венгерским гуляшом, то к «ужину» мы хотели настоящего итальянского ризотто или настоящего индийского рисового блюда. В Манхэттене можно без всяких трудностей провести кулинарное кругосветное путешествие. Возможность, которой мы в конечном счете и пользовались с энтузиазмом.

Панорама садов на крышах небоскребов была чудесна; чудесно и на Кроличьем острове, и в гигантском луна-парке, где гвалт был оглушительнее, горки опаснее, карлики меньше, а великаны больше, чем где-нибудь в Европе. Метрополитен был впечатляющ, но не уступала и «Метрополитен-опера». Не то чтобы мадам Ерица в качестве Кармен могла бы тягаться с моей Луизой Виллер, но зато дамы в ложах имели гораздо более красивые меха и жемчужные колье, чем в добром старом Мюнхенском государственном театре.

Более возбуждающими, чем толстая Ерица с ее всемирно известным, однако несколько ограниченным голосом, были даровитые, самоуверенные и как на подбор рослые молодые дамы, которые с виртуозной медлительностью раздевались в популярных «Бурлесках» перед толпой, состоящей из горланящих мужчин. Еще больше, чем «Бурлески», нравилась страшная пьеса под названием «Граф Дракула», в которой нас очаровал прежде всего жуткий доктор. Он должен был исцелить милую девицу Люси от ее состояния слабости, хотя именно его, ужасного врача, следовало привлечь к ответственности за ухудшающееся состояние бедняжки. Днем он производил вполне достойное и ученое впечатление, склоняясь с притворным участием над страдалицей, чтобы осведомиться: «And how is our patient today?» [67] И голос его при этом звучал, разумеется уже предвещая беду, странно, что еще больше бросалось в глаза, когда сам же он, не без фатоватой улыбки, давал озабоченный ответ: «Our dear Miss Lucy looks very tired this morning» [68]. Неудивительно! Ибо прошедшей ночью достойной сожаления девице был нанесен в высшей степени ужасный визит: существо с черными крыльями и оскаленной пастью впорхнуло к ней в покои и сосало у парализованной от ужаса кровь из вен. Угадывалась идентичность вампира: не кто иной, как сам домашний врач, вел себя отвратительно.

«Дракула» был блаженством; мы приняли его в круг наших интимнейших мифов, так что я еще сегодня охотно называю свою любимую сестру «My dear Miss Lucy» [69], особенно когда она кажется усталой или анемичной и мне хочется предостеречь ее от крылатых кровопийц.

Сильнейшим из всех театральных впечатлений, однако, мы обязаны негритянской труппе, которая представляла тогда в рамках высоколитературного «Театрального Союза» музыкальную драму Гершвина «Порги и Бесс». Негры, так я воспринимал, обладали тем, что у американской сцены того времени полностью отсутствовало и от чего она еще и сегодня большей частью отказывается, — истинным, спонтанным, но тем не менее сознательно развиваемым и последовательно поддерживаемым стилем. Театр на Бродвее двадцатых годов казался почти не затронутым тенденциями и экспериментами, которые наложили отпечаток и повлияли на европейскую драму со времен натурализма. На Бродвее было меньше претензий и путаницы, чем в Берлине экспрессионистской и постэкспрессионистской поры; но было и меньше фантазии, меньше духовной серьезности и страстной отдачи. Театр здесь подразумевался не как «духовно воспитательное учреждение», но служил развлечению — еще

исключительнее и очевиднее, чем это было в Париже и Лондоне. Негры же — и *только* они! — отличались от рутинного однообразия богато финансированной, гладко функционирующей индустрии наслаждения; у негров был темперамент, острый ум, ритм, пафос, комизм, нежность; негры предлагали нечто существенно *новое* — одновременно первобытно примитивное и светски рафинированное искусство, которое меня возбуждало и восхищало именно своей экзотической оригинальностью, точно так же как смелая архитектура мостов и небоскребов.

К сожалению, среди многих знакомств этих первых недель на американской земле не было «colored people», цветных. Расовый предрассудок — хотя на Атлантическом побережье и намного смягченнее или по крайней мере менее бросающийся в глаза, чем где-нибудь в Южных штатах, — в Нью-Йорке остается все же достаточно сильным, чтобы сделать социальный контакт между черным и белым почти невозможным. Но, помимо этого изъяна (который я уже из морально-принципиальных причин воспринимал как помеху и даже оскорбление), наше общение по разнообразию не оставляло желать лучшего. Мы вращались в обществе утонченных людей, водились с богемой и, наконец, также с известным типом грубоватых, но веселых молодых людей, которые заявлялись к нам в «Астор» в обтрепанных брюках и поглощали невероятное количество бутербродов.

Эти всегда голодные, всегда уверенные и богатые на затеи парни смешанной национальности — порода людей, которая весьма существенно и характерно принадлежит к городской картине Нью-Йорка, — были друзьями Рикки, еще подвизавшегося со своей стороны в качестве рассыльного в цветочном магазине. Оплата была плохой, на самом деле столь ужасающе плохой, что перед нашим приездом он зачастую не мог позволить себе пяти центов на метро или почтовую марку. Наш Рикки — избалованный, эксцентричный Рикки из роскошной виллы на берегу Изара — бедствовал, претерпевал лишения; это было по нему видно: он похудел, черты приобрели новую резкость. Подобное, значит, было в этом богатом, гордом Нью-Йорке. Город Prosperity, город небоскребов, длинноногих девиц и устриц со льдом — он был, значит, также и городом голода и нужды.

В кругах богемы, куда мы нашли доступ, нужды, разумеется, не чувствовалось. Располагались в квартале, несколько напоминающем итальянский, называемом Гринвич-Виллидж, который казался состоящим почти исключительно из уютных studios (ателье) и speakeasies. Этот speakeasy, ресторанчик, где (нарочито или в принципе) говорилось тихо, потому что там

давали выпить запрещенного вина или водки, был весьма важным заведением Америки времен Prohibition. Имелись speakeasies любого стиля, по любой цене. Веселее всего бывало там, где собирались литераторы и художники. И как раз с этими кругами мы познакомились ближе всего.

Мой издатель Хорас Ливрайт был ловким, не знающим устали проводником по этим красочно-забавным джунглям Гринвич-Виллидж. Он знал всех, все знали его. Хорас был больше чем только влиятельный издатель (положение, которое уже само по себе награждало его в этой среде известным нимбом). Он был чаровник, ловец людей, оригинал, или a character [70], как американцы имеют обыкновение называть с веселой симпатией таких чудаков.

Хорас любил parties [71] — cocktail parties, supper parties, theater parties, midnight parties, — вечеринки были для него лучшим развлечением. Он брал нас с собой на многие, но всегда казалось, что это одна и та же: всюду те же привлекательные девушки с одинаково красным лаком на ногтях, одинаково подзапущенными волосами и одинаково элементарной склонностью к крепким алкогольным напиткам, всюду те же многообещающие, но, к сожалению, все же не совсем признанные поэты (некоторым из них суждено было пробиться позднее — Торнтону Уайлдеру{168}, например, с которым мы тогда познакомились); всюду те же шутки, жалобы и дискуссии. Разговаривали о любви (или, скорее, «сексе»), об алкоголе (все ругали Prohibition), о Гертруде Стайн{169}, которая из Парижа влияла на мышление и жаргон нью-йоркского интеллектуального авангарда, о могущественном критике Г. Л. Менкене, который вздымал в это время свой скипетр редактора «Американ Меркури» с агрессивным остроумием и неоспоримым авторитетом.

Мы провели несколько вечеров у великого человека, который, впрочем, жил не в Виллидж, а имел свою штаб-квартиру в довольно дорогом отеле между Таймс-сквер и Пятой авеню. Он угостил нас очень хорошим бургундским, бранил Америку и говорил о немецкой литературе. Во время войны, как друг Германии, он перевел Ницше и стал объектом ненависти. Мы нашли его неожиданно хорошо подкованным в немецких классиках и живо интересующимся всеми новыми надеждами или достижениями нашей литературы. Этому его пристрастию ко всему германскому суждено было позднее стать опасной прихотью и сделать его, воинствующего либерала, сторонником национал-социализма. В те сравнительно невинные и веселые дни, однако, мы были только довольны, что он выказывает такое интеллигентное расположение к нашему языку и культуре, —

наша беседа от этого становилась сердечнее и оживленнее.

Что касается «утонченных», хочу сказать, очень, очень богатых людей, то знакомством с ними мы были обязаны нашему забавному и очаровательному другу Коммеру. Он был на самом деле единственной в своем роде фигурой — «Рудольф К. Коммер из Черновиц» (как он со странной гордостью подписывал все свои письма), кругленький, приветливо-сдержанный, умный маленький литератор, который никогда ничего не публиковал, не делал, казалось, никакого дела, но, несмотря на это, жил на самую широкую ногу и был на самой короткой ноге с великими мира сего. В Вене и Зальцбурге он действовал как секретный посредник между Максом Рейнгардтом, принадлежа к его близким, и интернациональной haute finance [72]; в Лондоне он встречался с Дафом Купером за ленчем, с Бернардом Шоу за чаем и с Уинстоном Черчиллем — за обедом; в Нью-Йорке, где проводил зимние месяцы в роскошном отеле «Амбассадор», он знал все, что хорошо и дорого, от Астора до Вандербилда. Друг миллионеров, он в свою очередь не был человеком состоятельным, никто не знал, как он финансировал свою дорогостоящую жизнь. В чем была тайна его ослепительных общественных успехов? Почему этого неразговорчивого, толстенького, маленького восточного еврея принимали в кругах, которые обычно высокомерно закрывали двери перед любым посторонним? Коммер был загадкой, над которой ломали голову на многих cocktail-party между Беверли-хиллз и Будапештом; психолог общества ранга Марселя Пруста сделал бы из этой курьезной личности крупную фигуру.

Mistery man [73]из Черновиц взял нас под свое крылышко; именно он ввел нас в большие дома, где hostess [74] принимают под подлинником Боттичелли, a five o'clock tea сервируют под подлинным Рембрандтом, — например, в дом великого Отто Х. Кана, где Коммер был регулярным и влиятельным завсегдатаем. Мистер Кан, баснословно богатый банкир, был, насколько я помню, первым мультимиллионером, с которым я познакомился лично. Он несколько разочаровал меня; если бы не множество старых мастеров на стенах, можно было бы и не заметить, что находишься у полубога. Нам бросилось в глаза, что мисс Кан не сняла за чаем шляпы, хоть и была как-никак у себя дома — в известном смысле очень элегантная, но все-таки не особенно дорого стоящая причуда, которую могла себе позволить и дама менее состоятельная. Отто Х. — современный Лоренцо ди Медичи с серебряными усами и бюро на Уолл-стрит — снисходительно болтал о немецкой литературе (в которой он мало понимал) и о «Метрополитен-опера» (которую он — совсем

между прочим, как бы между делом — финансировал). Мы были несколько скованны. Мысль об ужасно больших деньгах, которыми располагал этот приветливый пожилой господин, действовала на нас как-то парализующе, тем более что сами мы называли своими собственными только еще семь долларов и шестьдесят центов.

Наш агент прилагал все усилия, чтобы организовать для нас турне с лекциями, однако дела у него шли не очень успешно. Время от времени мы навещали бравого человека в его бюро, причем нам бросалось в глаза, что мина его от раза к разу становилась все озабоченнее. «Our poor Miss Lucy! — шептали мы, полные сочувствия друг к другу. — She looks very very tired again!» [75] Импресарио опасался за наш рассудок, что могло настроить его только еще хуже. Он вытирал пот со лба, тогда как мы сатанинским голосом Дракулы осведомлялись: «And how is the patient now?» [76] Это должно было звучать убийственно. Он содрогался.

В конце концов ему надоела эта расстраивающая нервы игра, и он без обиняков объявил, что, к сожалению, не в состоянии хоть что-нибудь сделать для нас. «Если бы ваш английский был немного получше! — сокрушался он. — Ваша присказка о „poor Miss Lucy“, правда, очень эффектна, но все же недостаточна для „лекционного турне“!» Взгляд, которым мы ему ответили, должно быть, был как сочувствующим, так и угрожающим, ибо наш менеджер поспешил прибавить: «Конечно, я даю себе отчет в том, что у меня с вами договор и вы можете подать на меня жалобу, если я позволю себе прервать наш контракт без уважительной причины. С такими вещами здесь не шутят…»

Мы пробормотали, что все-таки между цивилизованными людьми возможен какой-либо разумный и приличный компромисс, на что храбрец усердно закивал: «Вот именно! Компромисс между цивилизованными людьми! Мы поняли друг друга… у меня на языке вертелось… Тысяча долларов… Вам этого хватит?»

Он выписал чек, меланхолично, но вполне достойно и хладнокровно. Его улыбка была опечаленной, однако не лишенной благосклонности, когда он подал руку на прощание. «Когда вы намереваетесь возвратиться в Европу?» — спросил он по-отечески.

В Европу?..

«Европа может подождать! — воскликнули мы радостно. — А пока для начала двинем в Голливуд».

Добрый человек был поражен. Особенно когда мы заносчиво добавили: «А оттуда мы уж организуем нашу маленькую

лекционную поездку. Ибо *мы* имеем настоящие связи! Good-bye, Sir. The pleasure has been ours!»[77]

Это была долгая поездка. Какая колоссальная страна! Мы представляли себе ее большой, но все же не *такой* большой! Мы находили континент между Атлантическим побережьем и Тихим океаном большим и пустынным сверх всякого ожидания. Наступит ли когда-нибудь конец этим степям, этим нивам? Вот мы и в пути, уже четыре дня и четыре ночи. В нашем пульмановском вагоне стало жарко. (Кондиционеров тогда еще не было в помине в американских поездах.) За окнами расстилалась песчаная глушь. Местность, по которой продвигались, был пустыней. Закончится ли когда-нибудь эта поездка?

Но утром после четвертой ночи пейзаж за окном предстал вдруг волшебно изменившимся. Пышная декорация садов вместо голых плоскостей! Земля обетованная, она лежала здесь, осиянная солнцем, со своим изобилием красок и плодородия, со своими апельсиновыми рощами, кипарисами и фиговыми деревьями, своими гордыми пальмовыми аллеями и увитыми цветами виллами. Все-таки окупили себя эти четыре долгих дня и ночи: в конце поездки нас приветствовал рай.

Разочарование началось в Лос-Анджелесе. Какое аморфное и пустынное впечатление производил он после строгой и динамичной красоты Нью-Йорка! Лос-Анджелес — это не город, а огромный конгломерат улиц, зданий, транспортных средств, кишащих людских масс. Город — это организм, который постепенно вырастает и возникает вокруг пульсирующего сердца, центра. Лос-Анджелес же не имеет центра. У Лос-Анджелеса нет никакой структуры, никакой субстанции, никакого лица, он похож на разросшийся гриб, гипертрофированную медузу, массивный полип, который в слепой алчности протягивает свои щупальца по всем направлениям.

Руки полипа — это пригороды, которые бесконечно простираются вдоль морского побережья и в глубь страны. Один из этих пригородов — Голливуд. Туда мы стремились. Название притягивало нас, как магнит.

Голливуд (важно отметить, что речь идет о Голливуде второй половины двадцатых годов, не о Голливуде сегодня!) произвел на нас впечатление провинциального города, который предпринимает отчаянные усилия имитировать Голливуд. Эти пальмы, которыми мы восхищались из нашего пульмана, эти уж слишком блестящие, слишком сочные фрукты и овощи, витрины, отели, кинодворцы, где «звезды смотрят свои собственные фильмы», да даже солнечные закаты с их чрезмерными цветовыми

эффектами — это было все таким до смешного «голливудским», таким недействительным и вычурным! Вся местность, казалось, провозглашала: разве я не выгляжу точно так, как Голливуд, заветная мечта всех красивых девочек и честолюбивых мальчиков? Придите и осмотрите виллы ваших любимых звезд — с Swimming Pool[78], собственным баром и всеми принадлежностями! Полный круговой маршрут всего за пять долларов! Наш гид покажет вам домашний очаг Лилиан Гиш{170}, Мэри Пикфорд, Рамона Наварро, Чарли Чаплина и других фаворитов!

Первый очаг, к которому привел нас случай, был дом Эмиля Яннингса, находившегося тогда на вершине своей международной славы. Он принял нас с большим энтузиазмом — бодрый мясистый колосс с грубыми чертами, чья экспрессивная подвижность приносила ежедневное жалованье в тысячу долларов. Он имел роскошный дом (с бассейном, собственным баром); дворецкого, который был столь полон достоинства, что говорил только шепотом; собаку чау-чау с красивой львиной головой, темно-синим языком и злобными маленькими глазками, попугая, который пронзительно выкрикивал непристойности (тот, кого это шокировало, больше не приглашался); добродушную дочь и необычайно забавную жену, которая раньше была популярна в Берлине под именем Гусси Холл. Первым супругом Гусси был Конрад Вейдт{171}, который в ту пору переживал триумф в американском немом кино. Мы почти каждый день встречали его у Яннингсов, и он показал нам киноплощадку «Юниверсал-сити», где мы любовались его жуткой маской в фильме «Человек, который смеется». Даже и без такой маскировки Конни Вейдт выглядел решительно «демонически» — впрочем, в действительности он был непритязательным, добросердечным и талантливым парнем. У Яннингса внешний вид тоже был обманчивым, но по-другому. Если Конни по профессиональным причинам работал под демона, то Эмиль играл простодушного человека — грубая оболочка, здоровое ядро, несколько неуклюж и неотесан, зато сердце — золото! Требовался взгляд психологически более искушенный, чем наш, чтобы за этим истово немецким фасадом распознать характер холодной хитрости и бесцеремонного эгоизма.

Мы представляли себе жизнь в Голливуде непринужденно-веселой. Наивное заблуждение, как скоро выяснилось! На самом деле среди киношников господствует китайская косность, кастовая система, позволяющая вступать в контакты друг с другом лишь лицам одинаковой национальности и примерно одинакового дохода. Общественный центр как дом Яннингсов — в

ту пору квазиофициальное место встречи немецкой киноколонии — оказался замкнутее, нежели какой-нибудь аристократический салон: туда не имел доступа никто, кто не мог предъявить недельный доход по меньшей мере в тысячу долларов. (Эрику и меня терпели как забавных прохожих, но не принимали всерьез.) К постоянным гостям принадлежали кроме Вейдта австрийский драматург Ганс Мюллер — человек замечательнейшего остроумия и темперамента, с которым мы сердечно подружились, — и очень капризный и обидчивый, очень кокетливый поэт-режиссер Людвиг Бергер{172} со своим братом Бамбергером, так называемым «Бамом»; кроме того, режиссер Мурнау (длинный и молчаливый, чрезвычайно одаренный, с небезосновательной и не несимпатичной надменностью), режиссер Эрнст Любич{173} (чьи комедии и поныне причисляются к привлекательнейшим из того, что когда-либо имело американское кино), уже несколько потрепанная Лия де Путти (партнерша Эмиля в незабываемом фильме «Варьете») и еще несколько других подобного ранга.

Иногда к нашему кругу присоединялась одна удивительно юная особа — большей частью без предупреждения, зачастую лишь в поздний час. Сидели за виски на террасе после ужина, вдруг тут как тут она — захватывающее дух видение, движущееся к нам сквозь благоухающую темноту сада горделивым и замедленным шагом. Она была с непокрытой головой и в расстегнутом дождевике, к тому же сандалии без каблуков. «Как же я ужасно уста-а-ала!» — кричала она нам вместо приветствия очень жалобным тоном, мелодично растягивая гласную в «устала», бросаясь при этом в кресло. Повернувши голову, трагически опустив уголки рта, она требовала виски: «Но большую, Эмиль! Двойную!»

Лик ее под львиной гривой был ошеломляюще красив — красивейшее, как мне казалось, лицо, которое я когда-либо видел; и в самом деле, более красивого лица я не встретил по сей день. У нее было мраморное чело скорбящей богини и большие глаза, полные золоченой темноты. Длинные, взлетающие брови заботливо подбриты и подведены, голубые тени на веках искусно углублены; в остальном же она не пользовалась гримом, даже губной помадой, оттого-то рот ее и казался очень бледным — еще бледнее, больше, упрямый рот несравненного рисунка на бледном, крупном и смело вылепленном упорно-грустном лице.

Ее глубокий, раскатистый голос казался обремененным мрачно-сладостной тайной, говорила ли она о погоде или о фильме, в котором как раз была занята. Было неописуемо трогательно видеть ее улыбающейся, что все же редко случалось. Ее прекрасное, безутешное лицо прояснялось замедленно; но

стоило улыбке раз поселиться вокруг ее дремлющих глаз и гордого изгиба рта, она задерживалась как-то слишком долго, теперь в свою очередь медля оторваться от столь миловидного пейзажа. Наконец, однако, она угасала — эта чуждая улыбка, собственно не идущая ей, — и трагическая актриса опять становилась самой собой.

Раскатистым голосом Пифии она требовала второго виски, а потом заявляла, ко всеобщему удивлению, что теперь желает танцевать. Она танцевала танго с дочерью хозяина дома — крупно вышагивая, в несколько натянутой манере, довольно значительно удалив белое лицо с опущенными веками от партнерши. Ее большие, благородной формы руки держали девушку крепкой хваткой. У нее были немного тяжелые запястья, длинные ноги и широкие плечи античной юношеской фигуры.

После танца она звучным воплем давала нам знать, что теперь чувствует себя определенно лучше. «Я благодарю вас всех, — говорила она не без торжественности. — Когда я пришла, то была *ужасно* уста-а-алой; но теперь мне хорошо. Я потанцевала и выпила. Thank you ever so much» [79]. И она исчезала в тяжело благоухающей темноте калифорнийской ночи, из которой она — захватывающее дух видение — горделивым и медленным шагом пришла к нам.

Эмиль рассказал нам, что она шведка, только недавно прибыла из Европы. Один из ее земляков, известный режиссер Мориц Стиллер{174}, привез ее в Голливуд. Стиллер вернулся в Швецию и там умер, в то время как его протеже осталась на калифорнийском побережье — одна со своей удивительной красотой и со своей будущей славой.

«Девица будет иметь потрясающий успех, — предсказывал Эмиль с профессиональным почтением. — Она пробьется, подождите только! Через два-три года весь мир узнает ее имя».

Имя ее было Грета Гарбо.

Эрика усердно писала письма многочисленным организациям и лицам, которые, на наш взгляд, могли заинтересоваться нашими докладами. Я, не менее усердно, писал статьи для немецкой прессы. Эрика самым капризным образом отказывалась со своей стороны писать статьи. В нашей семье уже достаточно писателей, твердила она упрямо, а она же как-никак актриса по профессии. На что я мог только сочувственно хихикать. «Бедная крошка! Ты тоже не убережешься от этого — писательства, имею я в виду. Это фамильное проклятие».

Было много о чем писать, даже помимо царства живых теней и баснословных заработков. Я писал о большом футбольном

матче в Пасадене и о встрече боксеров в Лос-Анджелесе. (Что забавляло меня на футболе, так это орущая, бессмысленно возбужденная публика, боксерское же состязание — одно из немногих, на котором я когда-либо присутствовал, — я нашел просто отвратительным.) Я писал о перекрещенке Эме Мак-Ферзон, которая в «Храме ангелов» приводила в истерическое неистовство гигантскую аудиторию своей смесью истинного экстаза и наглого надувательства, и писал о великом романисте Эптоне Синклере, который пытался на свой терпеливо-педагогический лад объяснить нам фундаментальные проблемы американской экономики и психологии.

Первоначально мы намеревались задержаться в Голливуде только на пару недель; но из недель складывались месяцы — мы едва замечали это. Голливуд оказывает странное действие на чувство времени посетителя. С ним происходит почти то же, что в «Волшебной горе». В однообразной ли погоде, в монотонном ли глянце калифорнийского неба вся причина? Как бы то ни было, забываешь, что время проходит, или по крайней мере не осознаешь, как быстро оно проносится. Кто захочет думать о Рождестве в климате, который позволяет нам каждый день плавать в океане, будь то декабрь или июль? И тем не менее вот он и подошел внезапно — пестрый, громкий рождественский праздник Голливуда, с его искусственным снегом, его яркими цветочными гирляндами и нелепыми колоссальными портретами Санта Клауса, ухмыляющегося вам из каждой витрины, с крыш и плакатов.

Это было первое Рождество, которое мы с Эрикой должны были провести вдали от родительского дома. И было немного не по себе, особенно из-за того, что опять на этот раз кошелек наш был пуст. Да, мы не смогли бы позволить себе даже рождественской депеши дорогим родителям, если бы Эрике не пришла в голову оригинальная и опять-таки лежащая на поверхности мысль поспешить со своей лучшей вещью в ломбард: не что иное, как когда-то столь глупо мною порицаемая меховая накидка оказалась теперь, в час нужды, нашим спасением! Однако суммы, которую мы получили, хватило лишь на веселое послание в Мюнхен и на несколько житейских приобретений — ни цента не оставалось для оплаты гостиничного счета, который в течение незаметно промчавшихся месяцев тревожно вырос. Администратор отеля — вначале такой предупредительный — уже нанес нам скорее неприятный визит. С большой затратой нервозного красноречия мы попытались убедить его в том, что ему — очень его просим! — совсем не следует беспокоиться: в конце концов, мы двое очень благородных и знаменитых молодых

людей, и если мы несколько затягиваем оплату своего до смешного маленького долга, то пусть он и воспримет это именно как причуду художника и простит. Но господин из дирекции имел мало склонности к нашим капризам. «I want my money, — говорил он с безобразным упрямством. — Or else…» [80] После чего он нас покинул. Голос его звучал отнюдь не любезно.

«And how is the patient now?» — пророкотала моя сестра со своим лучшим дракуловским акцентом, как только чудовище оставило нас одних.

«My dear Miss Lucy [81], — ответствовал я серьезно, но с готовностью. — Здесь остается только одно: мы должны собраться и выработать план».

«Как насчет телеграммы? — предложила Эрика мечтательно. — Можно было бы составить эффектную телеграмму».

Это не могло не быть и для меня очевидным. «Отлично, — сказал я и с торжественной убедительностью добавил: — Кто не телеграфирует, ничего не получает».

«Прекрасное старое изречение, — кивнула Эрика. — Кому телеграфируем?»

«Только не родителям, — сказал я решительно. — Это было бы лишено фантазии и вызвало бы недовольство. О прастарцах тоже вряд ли может идти речь». Ведь мы пообещали друг другу не обращаться за финансовой помощью к близким, как бы ни складывались наши дела, даже безотносительно к поездке. Намерение, которому мы энергично оставались верны в самых щекотливых ситуациях.

Мы погрузились в задумчивое молчание, пока Эрика не предложила с форсированной бодростью: «Давай сначала справим Рождество!»

Рождественский вечер у Яннингсов был большой аферой, одновременно уютной и роскошной. Между тем мы были на волосок от того, чтобы испортить нашим друзьям весь праздник, — или скорее то была безудержная фантазия рисовальщика Адриана, из-за которой радостное сборище подверглось опасности. Жильбер Адриан — молодой художник оригинальных дарований (позднее весьма преуспевший как модельер), с которым мы подружились в Голливуде, — был так любезен, что пообещал нам рисунок в качестве рождественского подарка для мадам Яннингс. Это должна была быть вещь с цветами или лихая карикатура — что-нибудь эдакое безобидно-декоративное. К вечеру 24 декабря, незадолго до начала вечера в доме Яннингсов, мы зашли к Адриану, чтобы получить обещанный дар.

«Вот и вы, ребята! — воскликнул Адриан возбужденно. — А вот подарок для вашей Гусси! Я уж постарался изо всех сил…»

Все было так изящно упаковано, что мы не решились открыть и поспешили оттуда с нашим закутанным сокровищем — не забыв сперва благодарно расцеловать друга Адриана в обе щеки. Но в такси, лишь в двух минутах от дома Эмиля, нас все же одолело любопытство и мы решили бросить взгляд на свой подарок. Торопливо удалили пестрые шелковые бумаги — и чуть не упали в обморок от ужаса! То, что мы держали в руках, было шедевром порнографии, фаллическая композиция в лучшем стиле Бердслея{175}: очень привлекательно, очень «умело», но абсолютно *невозможно!* Прийти к немецкой матери на Христов праздник с подобной скабрезностью — какова идея!

То, что мы теперь должны явиться с пустыми руками, было достаточно скверно; однако еще больше нас беспокоил вопрос, как же теперь быть с одиозным предметом. Ни в коем случае мы не хотели его выбрасывать: он был слишком хорош. Таким образом, не оставалось ничего другого, как спрятать скандальное изделие в саду под цветущим кустом.

Все уладилось превосходно. Гусси мягко улыбалась, когда мы бормотали свои извинения: не успели докончить рукоделие, ночной колпак, домашние туфли — все еще в процессе изготовления… Господствовала совершенная гармония, настоящее рождественское настроение, пока Эмилю, сразу после застолья, не пришла злополучная идея предпринять маленькую прогулку по саду. И что же он обнаружил под своим красивейшим кустом роз?..

«Кому принадлежит эта мерзость?»

Вопрос его прозвучал так ужасно, что мы покраснели и сознались. Его лицо налилось пурпуром, тогда как глаза стали от гнева крохотными. «Это и есть, значит, маленькое рукоделие, которое вы приготовили для моей Августы, — сказал он, угрожающе понизив голос. — Прелестный сюрприз. Очень тактично, должен заметить. Блистательная шутка — не правда ли, Августа?»

То, что он называл свою жену Августой, подчеркивало серьезность ситуации. Он употреблял это имя только при самых скверных и драматических обстоятельствах.

«Очень смешно! Просто очаровательно! — продолжал он с ужасным сарказмом, причем голос его постепенно становился все громче. — С особым вкусом, если учесть, что здесь в доме юная девушка. Рут-Мария, где-ты?» — рявкнул он неожиданно, словно во внезапном страхе. Не случилось ли чего с дорогим ребенком? Не изгнали ли стыд и возмущение из дому чувствительное

создание? Однако же она была тут! Она сидела на софе, со спокойным удовольствием углубившись в созерцание рискованной шутки Адриана.

«Что все-таки стряслось, папа? — Ее голос звучал лениво и сонно. Казалось, что она вот-вот начнет мурлыкать, как большая кошка. — Ведь рисунок прелестен! И такой рождественский. Я охотно возьму его себе, если мама не хочет».

Все общество разразилось гомерическим хохотом, к которому волей-неволей пришлось присоединиться еще только что столь разъяренному Эмилю. Смех Греты Гарбо был гортанным и звучным, как глубокое воркование магического голубя. Лия де Путти визжала от веселья, Конни Вейдт ржал, Мурнау мычал, Любич блеял. Радостное волнение достигло своей бурной кульминации, когда мадам Яннингс вырвала картину у дочери и с большой решительностью заявила, что никогда, ни при каких обстоятельствах не расстанется со столь прекрасным произведением искусства — даже за все драгоценности Мэри Пикфорд!

Именно в эти праздничные дни я впервые услышал «Голубую рапсодию» Джорджа Гершвина и был тотчас очарован порывом, пафосом этой пленительно новой музыки. («Что вы хотите? Мне был двадцать один год, и я жил в большом городе Нью-Йорке, — отвечал Гершвин на вопрос журналистов, как он пришел к тому, чтобы написать рапсодию. — Какого же рода музыку можно было от меня ожидать? Получилось совершенно само собой…»)

И в ту же ночь — ночь под новый, 1927 год — наш друг Раймунд фон Гофмансталь (еще одно «писательское дитя»!) чуть не разбил нас в своем подержанном, своенравном маленьком «форде». Мы взбирались на холм, дорога была узкой, извилистой и опасно крутой; мы здорово напились — шампанское и эль, и виски с содовой, и эль с шампанским, и, наконец, снова виски (без соды…). Тормоза потешного старого автомобиля были не в порядке, ну и что? Мы пели главную тему «Голубой рапсодии», восторгались Гретой Гарбо и смеялись над наглым рисунком Адриана. И Лос-Анджелес лежал у наших ног, могуче распростертый, — мерцающий океан, бесконечность пляшущих влекущих огней.

Наши телеграммы возымели действие, как если бы разослали по миру волшебные слова. Деньги прибывали от любезных редакторов из Берлина и Мюнхена, от милосердных друзей тоже. Не очень много денег, но все-таки достаточно, чтобы умиротворить неумолимого администратора голливудского отеля «Плаца» и заполучить два сидячих места в пульмановском вагоне

от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.

Рикки ждал нас на Большом центральном вокзале. Он выглядел лучше. Уже не такой одичавший и истощенный. Очевидно, появилась девушка, заботящаяся о нем. Мы знали девушку — Еву Герман, молодую рисовальщицу изысканной прелести и большой одаренности, — именно мы познакомили ее с нашим Рикки.

«Я почти счастлив, — признался он нам со смущенной ухмылкой. — Снова работаю — комичные вещи: небоскребы, коровы — все подряд… Теперь иногда испытываю тоску по родине — по баварским горам… Мы с Евой хотим вскоре вернуться в Европу».

Мы прибыли как раз вовремя на свой первый доклад, который был организован в высшей степени респектабельным Колумбийским университетом. Авантюра сошла определенно менее мучительно и позорно, чем мы опасались. За вступительной речью Эрики (она заучила английский текст наизусть, и поразительнейшим образом это звучало почти естественно) следовала моя (по-немецки) Causerie [82] о молодой европейской литературе, после чего Эрика эффектно завершила программу декламацией нескольких стихотворений из новейшей немецкой поэзии. Представление наше было принято довольно дружелюбно. Гораздо дружелюбнее, чем в свое время «Ревю вчетвером». Немецкое отделение знаменитого Гарвардского университета пригласило нас на доклад; то же самое — не менее изысканный Принстонский университет.

Нам доставляло чрезвычайное удовольствие путешествовать повсюду. Наш аппетит к новым впечатлениям и знакомствам оставался ненасытным, хотя теперь уже мы больше не были новичками. Но снова и снова нам встречались лица, без которых невозможно обойтись, — достойные знакомства, достойные любви, незабываемые…

Странно — черты и высказывания иной знаменитости, с которой мы встречались в то время, исчезли из моей памяти, но я помню тех, кто тогда не имел еще имени и тем не менее уже выделялся, был отмечен. Тут был, например, этот молодой человек, семнадцатилетний сын нашего гостеприимного хозяина, где-то близ Филадельфии. Откуда мы знали, что он был поэтом? Наверное, что-то исходило от него, излучение, свечение… Физиономию нашего хозяина, некоего профессора Прокоша{176}, я давно забыл. Но когда позднее мне попала в руки книга Фредерика Прокоша «Азиаты» — десять лет спустя после нашего визита в его дом, — то я тотчас вспомнил его юное лицо, каким я его видел тогда: прелестное чело, которое так легко омрачалось,

темный взгляд, исполненный надежд. С какой ожесточенной сосредоточенностью он вслушивался, когда мы обсуждали с его папой планы нашего дальнейшего путешествия!

«Значит, вы хотите в Азию?» — спрашивал он сдавленным голосом, в котором, казалось, смешиваются зависть и восхищение. Да, наносили мы удар, пару азиатских стран мы, пожалуй, посетим. «Азия…» — повторял юный Фредерик с тоскливо расширенным взглядом и омраченным челом.

Я ездил туда, а он нет. Несмотря на это, он лучше понял Азию, чем я, как доказывает его книга «Азиаты».

Мы давно решили вернуться в Калифорнию, чтобы оттуда как можно скорее отплыть в Гонолулу и Японию. Это был отчаянный, даже сумасбродный план, учитывая критическое финансовое положение, однако мы настаивали на нем вопреки всем предостережениям, которые высказывали нам наши озабоченные родители и друзья. Пока же нашей наличности хватало на железнодорожный билет от Нью-Йорка до Чикаго, где «литературные близнецы» должны выступать в немецко-американском клубе. А дальше посмотрим.

Все получилось, как мы хотели. От Чикаго в штате Иллинойс мы пробивались в штат Канзас, где опять была пара «лекций» и пара долларов. Наконец мы добрались до старого знакомого Голливуда, но прежде, как добросовестные кругосветники, посетили и полюбовались сказочным Большим каньоном — колоссальным, удивительно красочным ущельем Аризоны.

В Калифорнии нам также удалось, на сей раз за деньги, показаться и дать послушать себя изысканному клубу «Утром в пятницу», в Пасадене нам уплатили гонорар в пятьдесят долларов, к чему, однако, добавилась еще одна неожиданная сумма. Ибо, выступая в Пасадене, мы имели случай познакомиться с той доброй и рассеянной старой дамой, которой мы — больше из потребности поделиться, чем из презренной расчетливости, — рассказали о своем плане путешествия и денежных проблемах. Старушка кивнула — я еще вижу ее перед собой: у нее большое, серое, очень-очень доброе лицо с обвислыми щеками — и пригласила нас на музыкальный вечер в своем доме. Мы пошли туда без особого энтузиазма, как можно представить. В перерыве между Бахом и Брамсом мы хотели незаметно удалиться, удрученные столь святотатственным дилетантством и, между прочим, также мыслями о своей бедности, но были замечены хозяйкой дома. Она поманила нас к себе, приветливо-рассеянно улыбаясь при этом. «У меня тут кое-что есть для вас, ребятки», — мягко сказала она и протянула нам загадочно выглядевший документ, опрятно завернутый и

украшенный шелковой розовой ленточкой. Это была ценная бумага, стоившая тысячу долларов, которую мы вскоре продали. На вырученное мы приобрели два билета от Сан-Франциско до Кобе в Японии.

Фриско — своеобразнейший, красивейший город Америки наряду с Нью-Йорком. Никакое другое место в Соединенных Штатах не могло быть более подходящим, чтобы наполнить сердце уезжающего желанием возвратиться. Золотые ворота, которые маняще открываются на Восток, — это также сияющие врата в Западное полушарие, в Новый Свет. Своей двойной перспективой и двукратным обещанием порт Сан-Франциско, кажется, одновременно отсылает и удерживает странника.

Дни в Тихом океане были долгими, вялыми и полными мечтаний. Мы глядели на волны и летающих рыб и на меняющиеся оттенки огромного неба. У нас было много времени поразмыслить и повспоминать. Мы думали об Америке и о Европе и, вероятно, также о себе самих. Что он значил для нас — этот первый контакт с Соединенными Штатами?

Он означал для нас нечто чуждое, великое, подавляющее. Нью-Йорк был большим, чужим и подавляющим. Калифорнийское побережье, Большой каньон Аризоны, бесконечные просторы Среднего Запада, ненасытная динамика Лос-Анджелеса, молодежь в университетах, молодежь на дорогах страны, молодежь на шумных стадионах, вдохновенный порыв «Голубой рапсодии», ритм негритянских танцев, Гарлем, «Бурлески», да даже сцены ужаса на бойнях Чикаго, нищета в Slums [83], массовая истерия в храме одиозной жрицы мисс Эме Мак-Ферзон — это было все великим и диким и по-новому волнующим. Но это был не наш мир. Это был бесконечно богатый, великолепно динамичный мир, но это было не наше. Мы были восхищены, напуганы, воодушевлены Америкой. Но мы оставались европейцами.

Путешествие наше длилось еще несколько месяцев, но от этих последних месяцев немногое осталось в моей памяти. Мы задерживались всюду гораздо дольше, чем намеревались первоначально. Отчасти потому, что повсюду находили интересное, но прежде всего потому, что не было денег для отъезда. Снова и снова случалось так, что нам приходилось интенсивно «собираться», чтобы поразмыслить, кому бы на этот раз отправить депешу, ибо *«кто не телеграфирует, ничего не получает»* — это-то уж точно. Один раз немного денег перевел нам как аванс за книгу путешествий друг отца Зами Фишер, в следующий раз нас выручал из беды редактор газеты или другой благодетель.

Сначала мы оставались привязанными — за отсутствием cash

[84] для дополнительных расходов на судне — в течение нескольких недель в райски цветущем Гонолулу (мы жили там в одном очень живописном бунгало на море, за пределами вполне американизированного города); затем повторилась та же самая ситуация — давно знакомая и все же опять и опять расстраивающая нервы — в японской столице. Отель «Империал» в Токио, где мы не совсем добровольно провели месяцы, — один из самых помпезных и смешных люкс-караван-сараев мира; цены, которые нам приходилось там платить, были столь же абсурдны, как мавританский фасад роскошного строения, в котором один из наших друзей-шутников находил «решительное влияние „Аиды“».

Токио — самая жесткая и безобразная столица мира. Природа пытается снова и снова разрушить этот мощный и неприветливый город (во время нашего пребывания тоже было довольно сильное и впечатляющее землетрясение); но из всех испытаний огнем он выходит скорее окрепшим, чем ослабленным или очищенным. После каждого наказания Токио снова быстро восстанавливается, как одно из тех мифических чудовищ, чьи отвратительные когти и щупальца отрастают быстрее, чем их можно отсечь.

Что меня в империалистическом Токио, как и в фашистском Риме, отталкивало и оскорбляло, так это воинственный балаган, вызывающий жест национализма, надменного, жаждущего власти. Подобный крепости дворец бога-императора — впрочем, великолепная архитектурная конструкция — производил на меня впечатление массивного символа коварно-ненасытной агрессивности. Единственными проявлениями японского гения, которые мне нравились и покоряли, были садовое искусство и театр. Сады Токио — шедевры, а театральная улица грандиозно пестра и оживленна, так что стоило только ради этого одного неповторимого впечатления посетить город. Вот мы и проводили большинство наших вечеров в театрах — как в популярных, где со строжайшим церемониалом инсценировалась классическая драма, так и в маленьких авангардистских театрах, которые с замечательным умением отваживаются на европейские стилевые эксперименты. Одна из таких прогрессивно-прозападно настроенных трупп играла тогда как раз нашу любимую пьесу — «Пробуждение весны» Ведекинда. Было до слез мило видеть знакомые сцены в такой экзотической инсценировке, и нас растрогала беседа после представления с японскими актерами, которые прилагали столько таланта и старания, чтобы имитировать жесты и язык нашей собственной юности.

Мы посетили Никко, священный город храмов, и осмотрели Киото, древнюю императорскую резиденцию, где остановились в отеле. Там никто не понимал ни слова ни на одном европейском

языке, а еда состояла из чая, сырой рыбы с острым коричневым соусом и риса в разнообразном приготовлении. Кстати, есть приходилось лежа или на корточках, так как стульев в наличии не было, равно как и ножей, вилок и кроватей. То была идиллия соломенных циновок в стиле Лафкадио Херна{177}, прелестно оживляемая хихикающей стайкой усердных и проворных гейш, которые не могли вдоволь назабавляться и наудивляться нашим дурным манерам и нашей неловкости. Зато мы действительно были в Японии; в лишенном стиля европейски-американизированном Токио мы видели лишь его безобразно-претенциозный фасад.

Мы решили свое путешествие домой проделать через Корею и Россию, так как Пекин после поражения Северной армии был практически отрезан. В отеле «Империал» журналисты и дипломаты рассказывали нам всякие ужасы о положении в Среднем Китае. Немецкий посол в Токио Зольф — жизнерадостный господин, с которым мы состояли прямо-таки в сердечных отношениях, — тоже настоятельно предостерегал нас от опасной поездки в китайскую столицу. Таким образом, нам пришлось отказаться от Пекина, который охотно посмотрели бы, и довольствовались Мукденом.

В действительности же древняя маньчжурская столица настолько впечатляюща, что заставляет забыть о том, что не смог посмотреть в Китае — особенно если его не знаешь. Китайский Мукден — отделенный от международных районов исполинской стеной — все-таки дает путешествующему предвкушение необыкновенного величия Пекина. Монументальная скромность императорского дворца и знаменитых гробниц Пе-Лин, расположенных за пределами города, и архитектура Мукдена таковы, что заставляют даже прибывшего сюда проездом понять, отчего Китай настолько сильнее и таинственнее своего вызывающе предприимчивого маленького соседа Японии.

Чунг-Чанг — наполовину китайский, наполовину русский; Харбин — на две трети русский, на треть космополитический коктейль; Красноярск — русский, Омск, Иркутск — русский, русский, русский… Сибирь была бесконечной и немыслимо жаркой. Солнце жгло, и водка жгла, но нам недоставало денег, чтобы купить столько водки, сколько мы бы охотно выпили. Поездка от Харбина до Москвы казалась нам в двадцать раз длиннее, чем от Манхэттена до Лос-Анджелеса. Курица в Омске стоила больше, чем роскошный обед на голливудском бульваре. Деньги у нас кончились посреди Сибири. «Мы умрем от голода!» — пророчествовал я мрачно. А Эрика, не менее удрученная: «Голод был бы не самое худшее. Но жажда!» Между тем наш

ангел-хранитель и на этот раз опять проявил себя очень прилежным и изобретательным. Незнакомый попутчик, к которому мы обратились с отчаянным письмецом («Дорогой незнакомец!.. приобрели слишком много азиатских произведений искусства… загадочным образом оставлены на произвол обычно столь надежным банком… не будете ли Вы, ради Бога, так любезны выручить нас несколькими рублями… в Москве возвратим…»), оказался немецкими писателем Бернградом Келлерманом{178}, сочинителем «Туннеля», автором С. Фишера, старым знакомым Волшебника. Пришел конец всей нашей нужде!

Последним большим впечатлением путешествия была Красная площадь — почти пугающе великолепная в своей просторной простоте, с богатырскими кремлевскими стенами, цветными куполами собора Василия Блаженного и кубической конструкцией мавзолея, где мумия Ленина, хрупкий, нежный и все же могучий кумир, принимает преклонение нации.

…«Ну вот вы и здесь, дети!»

Это было родное звучание голоса Милейн. «Боже милостивый! — смеялась она. — Боюсь, вы выглядите *чуточку* смешно! Действительно, не как пара взрослых гуляк по свету».

«Я попрошу, однако! — Эрика была уязвлена. — Я выгляжу как довольно знатная дама в меховом капо».

«С тобой все в порядке», — сказал отец успокоительно. Было очень впечатляюще и трогательно, что он вопреки своему обыкновению прибыл к поезду, чтобы нас встретить. А это в одиннадцать утра — в его рабочее время!

На душе у нас было прямо-таки упоительно. Обе «крошки», Элизабет и Михаэль, предстали красиво наряженными, с большими букетами цветов. Они значительно выросли за время нашего отсутствия. Еще бы, ведь нас на было почти год…

«Ты сильно постарела! — сказал я Элизабет. — Полна достоинства, но морщиниста. My dear Miss Lucy, — добавил я таинственно, — you seem more tired than ever today!»[85]

Родители обменялись озабоченными взглядами, тогда как двое детей захихикали.

«И что же было прекраснее всего из увиденного вами в кругосветном путешествии?» — осведомился Михаэль пару минут спустя, когда мы удобно устроились в машине.

«Бернгард Келлерман!» — объявили мы с Эрикой в один голос.

Наши родители улыбались изумленно.

«А что еще? — допытывался Михаэль. — Что еще было прекрасного, кроме господина Келлермана?»

«Немного, — сказал я. И с великолепным и небрежным

выражением: — Rien que la terre…»[86]

«Я же говорил тебе, — перешептывались крохи друг с другом. — Оба старшие стали какими-то *странными*! Теперь чудной Клаус говорит с нами уже по-японски!»

СЕДЬМАЯ ГЛАВА
В ПОИСКАХ ПУТИ
1928–1930

Все еще никакого направления? Все еще никакой программы? После стольких поездок все еще никакой цели?

Отнюдь: я попытался дать имя своему пристрастию, назвать свое наследие и свои обязательства. *Европа!* Эти три слога стали для меня воплощением красоты, достоинства, вдохновляющим стимулом, политическим вероисповеданием и морально-духовным постулатом.

Что такое Европа? Незначительный отрог азиатского массива, полуостров сложной структуры, названный именем финикийской принцессы. Она была похищена Зевсом, который, дабы ей понравиться, явился в обличье быка. Что за магическую искру несли они с собой — божественное животное и его восхищенная невеста, в своем упоительном путешествии на остров Крит? Семя олимпийского чудовища взошло в лоне королевской дочери, в освященной земле, земле Греции, оно расплодилось. Из священной почвы возникло чудо: рождение Запада.

Вот так и случилось на берегах Эгейского моря: маленький отряд атлетов и философов воспротивился неизмеримости Азии и Африки. Столь отважны и горды были эти люди, что провозглашали свой стиль жизни единственно достойным человека, единственно *человеческим:* не-эллинский мир слыл у них хаосом. Вне Греции было не что иное, как тьма, застой, молчание. Снаружи: мертвая страна, страна кактусов, недвижная и засохшая под свирепым солнцем, снаружи: удушливость и жестокость, культ тиранов, смертное дыхание пустыни. В Азии и Африке магические ритуалы и безмолвные страхи, жертвоприношения, величие могил. В Элладе же — élan vital, творческая нервозность, рождение личности.

В Элладе начало эпоса и трагедии, учреждение полиса на агонистическом принципе и педагогическом эросе; в Элладе мечта о совершенном человеке (не только дух его благороден, но и его тело, его жест); в Элладе мечта о свободе, воля к познанию, удовлетворение в дискуссии, в противоречиях, смехе, радостно-чувственный контакт между человеком и человеком, между людьми и богами.

Варварский мир застывает в окоченелой монотонности; Запад же преобразуется, изменяется и растет, усваивает все новые

ритмы и идеи, омолаживает свою субстанцию в бесконечных метаморфозах и авантюрах. Эллада соединяется с Римом; новое образование, возникшее таким образом, римская мировая держава греческой культуры, воспринимает и несет откровение христианства. Из этого супружества — эллинский пафос свободы и красоты, подкрепленный римской любовью к порядку, освещенный радостной благовестью христианской любви к ближнему, — проистекает вечно действенный закон, фундамент западной культуры.

Если Европа и стала достойной любви и великой, то она обязана своим блеском этому двукратному наследству. Голгофа и Акрополь — гаранты европейской цивилизации, европейской жизни. Континент ставит на карту свое достоинство, даже свое *существование,* как только он отрекается и забывает этот двойной базис — Элладу плюс христианство.

Не отрекался ли и не забывал ли европейский человек довольно часто свою миссию? Он, кто должен был бы прийти как провозвестник свободы и милосердия, сделался бичом чужих рас, эксплуататором наций, бременем мира. Список его преступлений ужасающе длинен; у себя дома, как и в дальних краях, белый человек стал потребителем и совратителем, надсмотрщиком и врагом тех, кто здесь влачит жалкое существование и подневолен.

И все-таки и несмотря на все, история европейских злодеяний — леденящая кровь хроника войн и захватов, массового убийства, жадности, лицемерия — это опять же одновременно, парадоксальным образом, история расцвета, триумфального шествия европейского гения. Та самая Европа, которая несла за моря мучение и злодейство, приносила и свою освященно-творческую искру — возбудитель прекраснейших деяний, источник бесконечной надежды, вечного обещания. Если европейский дух с его неутомимо-неутолимым честолюбием растревожил и развратил пять континентов, то та же сила оказывалась все-таки достаточно изобретательной, чтобы одновременно произвести противоядие и исцеляющее средство.

Европейская драма осуществляется в диалектической форме: каждое движение и тенденция провоцирует собственную оппозицию, на каждый тезис следует антитезис, и даже кажущийся синтез противоположностей есть не что иное, как новый эксперимент, преходящий союз в игре соперничающих сил. Бесконечные напряжения и взрывы внутри европейского микрокосмоса часто тормозили и порой парализовали прогресс цивилизации; но с упрямой живучестью континент вновь и вновь поднимается, подобно Фениксу, из праха и пепла почти смертельных катастроф. Загнивание или истощение одного из

элементов, составляющих суть Европы, могло постоянно исправляться и компенсироваться. Стоило Риму предать свою миссию — тут как тут Мартин Лютер! Стал *ancien régime* [87] невыносимым скандалом? Здесь Кромвели и Робеспьеры! Бонапарт появился, когда революция выполнила свое назначение. Схватка между папой и императором во времена средневековья, борьба между протестантизмом и католицизмом в шестнадцатом и семнадцатом столетии, великие распри между национальными государствами восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого, этот постоянный ток напряжения и примирения, эта диалектическая игра конкурирующих друг с другом, пополняющихся энергий есть собственный источник европейской силы и стойкости.

Центр власти континента никогда не бывал долго стабильным: он оставался в движении, сдвигался, перемещался с юга на север, с востока на запад, от одной расы, одной нации к другой. Учреждение новой политической гегемонии — вроде испанской или французской — означало также всегда (временно) и триумф определенного национального стиля жизни, языка, философии. Так каждый оттенок в европейском калейдоскопе однажды имел свой исторически обусловленный шанс определить окраску системы в целом, пусть и в продолжение пары десятилетий. Впрочем, такое преходящее преобладание определенного европейского компонента никогда не было абсолютного, непременного свойства: другие элементы никоим образом не выключались полностью, но оставались подспудно активными и влиятельными, всегда готовыми воспринять любое новое колебание в равновесии сил и стать в свою очередь ведущими.

Горе части света, горе европейской культуре, если одному из ее компонентов доводилось когда-либо надолго присваивать себе безусловную гегемонию над всеми! Перманентное преобладание одной из составных частей было бы равнозначно распаду, размыканию целого. Гармония Европы покоится на диссонансах. Закон, имманентный структуре, сути европейского гения, запрещает тотальное униформирование, «унификацию» континента. Привести Европу к *одному* знаменателю — будь он немецким, русским или американским, — «унифицировать» Европу означает Европу убить.

Европа должна выполнять, чтобы не погибнуть, двойной постулат: сохранять и углублять европейское *единство* (Европа — это неделимое целое); но одновременно сохранять живым *разнообразие* европейских стилей и традиций. (Европа — драгоценный и трудный аккорд, в котором диссонансы находят

друг друга, чтобы никогда не разъяться.)

Какой крохотной и уязвимой выглядит она, наша милая старая Европа, если смотреть из Канзаса или Кореи! Растроганная нежность, с которой я в пути думал о далекой родине, была не свободна от заботы. Пока я не покидал Европы (североафриканские путешествия в этой связи не считаются: Тунис и Марокко — это европейская окраина), мое мышление оставалось ограниченным чисто европейскими понятиями и представлениями. Встреча с чрезмерными далями Америки и Азии привела меня к мысли, что *Европа не есть мир* и что Европа должна потерять свое место в мире, если продолжит изнурять и терзать себя в братоубийственном раздоре.

Впечатления, которые приносит с собой кругосветное путешествие, способны окончательно излечить даже самого тупого, самодовольного европейца от его иллюзий. Путешественник не может не заметить, что его родина — Европейский континент — это лишь центр культуры среди других. Именно она создала универсальную цивилизацию, чтобы управлять вселенной. Ненадежность европейской позиции становится очевидной в мире, который достаточно научился у Европы, чтобы теперь сделаться независимым от своего старого воспитателя и эксплуататора.

Почти все, что я писал в течение последующих двух или трех лет, трактует, более или менее прямо, проблематику Европы в ее отношении к другим континентам. Я пытался подойти к этому деликатному и комплексному предмету с различных точек зрения; но что меня интриговало и стимулировало, так это контраст и сродство между американской послевоенной молодежью и моим собственным европейским поколением. Эта тема открывала мне конфликты в сфере чувств, психологии, интеллекта, которые влекли не только к теоретическому рассмотрению, но и напрашивались воплотиться в драматическом и эпическом жанрах. Что мне всегда было важно, так это показать американца как олицетворение здоровой наивности — брызжущей силой, жизнеспособной, почти отталкивающей простоты, — тогда как его трансатлантический партнер всегда кажется словно зараженным бледной немочью мысли, искушенным в недугах, посвященным в различные мутные и сомнительные тайны. По закону эротической диалектики эти двое неизбежным образом притягиваются друг к другу, сияюще здоровый атлет и углубленный в себя интеллектуал: «les extrêmes se touchent» [88]или жаждут хотя бы прикосновения. В большинстве случаев, разумеется, проблематичный флирт

заканчивается фиаско, что с обеих сторон вызывает горечь, чуть ли не ненависть: к чему-то подобному, во всяком случае, это сводится в моей «американской» комедии «Напротив Китая». Действие разыгрывается в калифорнийском колледже, где в качестве студентки по обмену подвизается некая одухотворенно-привлекательная европейка. Девушка с другой стороны океана любит одного из великолепно беззаботных парней американского Запада, но в конце отказывается от него, отчасти из великодушия (одна сладенькая, глупенькая, маленькая американка также клюет на красивого футболиста), отчасти из меланхолической надменности: «Мы не подходим друг другу, что он знает обо мне? Ах, что за миры отделяют меня от его невинности…»

Боюсь, что комедия «Напротив Китая» совсем никуда не годилась. Сюжет был построен неудачно, с избытком сентиментальности. Несмотря на это, пьесу сыграли в одном из ведущих провинциальных театров Германии с довольно большой помпой. Мы с Эрикой поехали на премьеру в сопровождении Рикки, который между тем вернулся в Европу. Мы развлекались. Почему бы и нет? Ведь мы были вместе, а когда мы вместе, мы смеемся. Не то что публика — никакой реакции. Моя комедия показалась странной, не понравилась. Это был провал.

Моя слабая пьеса не заслуживала иного. Наверняка тема, которую я пытался раскрыть в драматургической форме — неопределенно-двойственное отношение между европейской духовностью и американской силой, — была жизненно актуальной (факт, казалось, ускользнувший от моей провинциальной публики и тупой прессы); но дорос ли я до проблемы… Достаточно ли я знал о больших фактах и тенденциях американской действительности?

Я видел несколько американских ландшафтов (по крайней мере один из них, нью-йоркский пейзаж, глубоко меня тронул), я был дружен с несколькими американцами, я прочел несколько американских книг. Я любил Уитмена. Я написал три-четыре статьи об американской литературе. Я писал о музыке Джорджа Гершвина, о гении негритянских артистов, об архитектуре небоскребов. Одна новелла, которую я вместе с двумя другими опубликовал в маленьком томе в издательстве «Реклам», — «Авантюра» — изображала жизнь бедных статистов в Голливуде. Я считал себя чем-то вроде эксперта в американских делах. Однако моей великой любовью, сердечной привязанностью, моей страстью, моей проблемой оставалась Европа. Я ненавидел национализм (прежде всего немецкий; в отношении французского я вел себя терпимее) и сам был все-таки националистом — а именно европейским.

Некоторое время я находился под сильным впечатлением и влиянием логически ясного и одновременно проникновенно верующего призыва графа Куденхове-Калерги{179}. Основатель и вождь панъевропейского движения убеждал не только своим красноречием и своими аргументами, но и рыцарским обаянием своей личности. Космополитичный аристократ — наполовину японского, наполовину смешанно европейского происхождения — делал своим красивым лицом и изысканными манерами рекламу идее смешения рас. Подобная воспитанность и внешность не могли не подкупать. Тем более что она сочеталась с риторически-журналистским талантом.

Пан-Европа, какую с таким усердием и искусностью пропагандировал кротким голосом аристократ с миндалевидными глазами, была несколько ограниченная или фрагментарная пан-Европа: ни для Британских островов, ни для Советского Союза не было места в его континентальной системе. Что касается Англии, то Куденхове-Калерги той поры считал ее хотя и не собственно «европейской», но все же в остальном вполне достойной внимания. Граф был за тесное сотрудничество между этими обеими независимыми, однако же дружественными державами — Великобританией и пан-Европой, да и его собственная философия была значительно определена английскими идеалами и традициями. В сочинениях Куденхове-Калерги снова и снова превозносился в качестве носителя и гаранта европейского Ренессанса характерный тип совершенного Gentleman-manly [89],при этом gentle [90], — одновременно изысканный и героический.

Что же касается России, то здесь панъевропеец показывал себя гораздо менее примиримым. Россия была «азиатской», что полуяпонскому Куденхове, естественно, должно было действовать на нервы. Или внук интернациональных феодалов испытывал такое раздражение, скорее, по отношению к коммунизму? Не то чтобы он со своей стороны был против социального прогресса! Но его идеализм не очень признавал экономические реформы; его волновала мораль. К чему обобществлять средства производства? Стоит наемным рабочим и работодателям повести себя «по-джентльменски», как с классовой борьбой будет покончено!

Панъевропейское движение — несмотря на известные недостатки и неясности, которые могли быть ему свойственны, — нашло поначалу большой отклик у интеллектуальной молодежи. Лишь позднее, когда банкиры, кардиналы и промышленники сделали графа своим патроном-заступником, его либеральные друзья стали подозрительными и постепенно отстранились от него. К чему он стремился? К единению континента или к

крестовому походу против Советской России? Вскоре мы уже не могли не задать себе этот вопрос. Хотим ли мы видеть пан-Европу под господством Ватикана, месье Шнейдера-Крезо{180} и И. Г. Фарбен{181}?

Однако в 1929 году эти зловещие течения куденховеского учения, пожалуй, еще не бросались в глаза. Или по крайней мере недостаточно бросались в глаза такой политически безграмотной голове, как моя. Я был против национализма — так как же мне было не стоять за пан-Европу? Схема, которую предлагал и за которую ратовал Куденхове-Калерги, вполне меня убеждала. Разве не был он прав, изгоняя Россию, полумонгольского колосса, из своего европейского государства будущего? И что касается Англии, то ее островной образ мышления всегда оставался чужд и неприятен «добрым европейцам» немецкого языка. Достаточно вспомнить ужасную резкость, с которой Ницше судил и отвергал все британское, или язвительные сарказмы Гейне! Что имели в виду оба эти светлейших ума, говоря «Европа»? Германию или Францию. Только о них шла речь! Европейская проблема разрешима — мы верим в это вместе с Гейне, — если два великих народа Европы наконец образумятся, наконец объяснятся. Авангард немецкого либерализма, к которому я себя охотно причислил бы тогда, желал, пропагандировал, требовал немецко-французского rapprochement [91] в качестве основы и гарантии нового наднационального порядка.

Столь, безоговорочной, столь наивной была моя вера в желательность и *необходимость* этого соглашения, что я даже приветствовал визит Пьера Лаваля{182} «в интересах мира». Что я знал о Лавале? Только то, что он прибыл из Парижа, и этого уже было достаточно, чтобы считать его симпатичным. Кстати, «премьер» путешествовал в сопровождении своего министра иностранных дел Аристида Бриана{183}. Разве не слыл сей за благороднейшего и важнейшего представителя европейской мысли? Значит, его шефу также можно доверять… Событие осталось у меня в памяти — государственный визит пробивного, циничного политика и уже несколько утомленного, уже почти побежденного, наполовину лишенного иллюзий идеалиста. Ибо случилось так, что в тот же день я познакомился с другим, менее официальным французским визитером. Социалистический писатель Анри Барбюс тоже был за дружбу между нашими обеими странами, но он не был за Лаваля. Лицо его окаменело, когда в книге, которую я ему вручил, он прочел посвящение: «Анри Барбюсу, автору величайшего романа против войны, — в день, когда оба его земляка, Бриан и Лаваль, служат в Берлине делу мира». Какой толк в том, что я пытался разъяснить

ошеломленному, испытывающему отвращение поэту, что у меня не было намерения превознести личность господина Лаваля, которая не означала для меня ничего, кроме символа великой французской нации? Лаваль — символ французского народа! Жестокий реакционер и продажный спекулянт как поборник международного взаимопонимания! Барбюс мог лишь горько посмеяться, всплеснув при этом руками над головой. «Неужели вы не знаете, кто такой этот Пьер Лаваль?» — спросил он меня. Мне пришлось признать свое невежество, на что автор «Огня», вздохнув, пожал плечами: «Таковы вы, либералы и идеалисты! Всегда красивые чувства, всегда красивые слова! Действительность же вас не интересует…»

Такими мы были, или, скорее, — так как мне не подобает обвинять других — таково было мое собственное поведение. Я был безответствен; я был поверхностен. Теоретически я хорошо осознавал и подчеркивал политическую ангажированность литературы. Кто мнит себя призванным выражать сумму человеческого опыта через слово, не должен пренебрегать неотложнейшими человеческими проблемами — организацией мира, распределением земных благ — или вовсе игнорировать их; это я хорошо знал и охотно высказывал. Однако, вместо того чтобы разобраться с крупными политическими и социальными вопросами самым тщательным и трезвым образом, я довольствовался в своих речах и манифестах обвинениями и требованиями ни к чему не обязывающего толка: «Долой злой милитаризм, гадкий национализм, отвратительное господство денег! Хороший европеец — за социальную демократию, в которой все ладят, все преуспевают, все счастливы».

Если одному из моих слушателей или читателей выдумывалось мучить меня докучливыми вопросами, у меня был наготове ответ. «Мой дорогой друг, — говорил я слегка раздраженно, не без известного плаксивого пафоса, — эти второстепенные технические вопросы действительно не мое дело. В конце концов, я не политик, но писатель, а это означает, что в первую очередь я интересуюсь таинственными глубинами жизни, лишь во вторую — ее практической организацией».

Я отработал себе свое изреченьице весьма чистенько и убедительно. По одну сторону — так я охотно констатировал — великие мистерии земного бытия: желание, смерть, упоение, одиночество, неутолимые страсти, творческие интуиции… По другую сторону (и тут надлежит серьезно наморщить лоб!) наша социально-политическая ответственность — досадная вещь, но ее же не убрать из мира. Раз уж мы занимаемся этой ерундой (ее не всегда можно обойти), то давайте будем по-настоящему дерзкими

и трезвыми! Когда же исполним противное социальное задание, мы сможем снова заняться нашими экстазами.

Но так не получается. Жизнь неделима, она не позволяет расколоть себя на различные «отрасли» с ограниченной ответственностью. Что бы ни делал и чем бы ни занимался — требуется полная ставка. Цена, которую приходится платить за каждую стоящую мысль, каждый творческий поступок, неизменно та же: страдание, терпение, работа, концентрация, упорная страстная битва за знание, — знание, которое, если его наконец находят, само приносит глубокие страдания.

Писатель, желающий ввести в свое художественное творчество политические проблемы, должен перестрадать политикой так же глубоко и горько, как должен перестрадать любовью, чтобы о ней писать. Он должен пережить ужасные страдания — это и есть цена, дешевле он не отделается.

Моя ошибка была в том, что я отважился на эти роковые политические вопросы, не сознавая того, что они действительно были нужны мне позарез, стали бы действительно частью собственной моей жизни, личной драмы. Мне бы взять пример со своего дяди: политическое мышление Генриха Манна обладает интенсивностью, подлинным пафосом, идущим из крови, из сердца. Я же долго думал — до 1933 года, чтобы быть точным, — что политику возможно улаживать как бы походя, словно выполнять «задание на прилежание». Скорее из наивного чувства долга, чем из честолюбия, я посвящал свое «свободное время» решающим проблемам эпохи. Как мог мой вклад быть убедительным и эффективным? Он не был оплачен страданием.

Странным образом время с 1928 по 1930 год в моей памяти имеет мало общего с обнищанием масс и политической напряженностью. Скорее — с благосостоянием и культурным оживлением. Конечно, я знал, что число безработных ужасающе росло — три миллиона? или уже пять? Можно было только надеяться, что правительство скоро окажет помощь… Впрочем, дела, казалось, идут не совсем плохо, несмотря на «кризис», о котором так много читали в газетах. В культурной области, во всяком случае, зарабатывали хорошо: преуспевающие немецкие авторы, актеры, художники, режиссеры, музыканты прямо-таки купались в деньгах. Очевидно, все же еще была достаточно жизнеспособная часть якобы разоренного среднего сословия, которая оставалась в состоянии тратить значительные суммы на билеты в театр, книги, картины, журналы и граммофонные пластинки.

Гангстер по имени Фрик{184} правил где-то в средненемецкой провинции, но в Берлине все шло своим привычным ходом. На

Тауентцинштрассе процветал «промысел на панели» (не так лихорадочно, как в дни инфляции, но все-таки довольно бойко), в «Хаус Фатерланд» бывали искусственные грозы и солнечные закаты, ночные заведения были переполнены (мы часто посещали тогда одно новое, под названием «Жокей», которое открыл наш седовласый, миловидный друг Фредди Кауфман из Мюнхена), галерея Альфреда Флехтгейма продавала кубиста Пикассо и прелестные статуэтки животных Рене Зинтени{185}, Фрици Массари{186} переживала триумф в новейшей репризе Легара, в салоне на Курфюрстендамм, в Грюневальде и в квартале Тиргартен бредили новейшим фильмом Рене Клера, последней инсценировкой Макса Рейнгардта и последним концертом Фуртвенглера, у фрау Штреземан давались большие приемы, о которых сообщалось в «Элеганте вельт» под заголовком «Говорите ли вы еще…».

Казалось, готовится гражданская война, продемонстрировали свою чудовищную мощь обе партии — националистическая «Стальной шлем»{187} против социал-демократического «Железного фронта»{188}, наци против коммунистов. Рейхсвер между тем интриговал и дурачил публику своей «нейтральной», «аполитичной» позицией, в действительности тем временем тайно поддерживая и поощряя антиреспубликанские силы. Республика же с незыблемым оптимизмом уповала на Бога, старого Гинденбурга и хитрые маневры доктора Яльмара Шахта{189}.

В то время когда в политической сфере все более заметными делались преступные элементы, в Немецком театре сенсационный успех выпал на долю пьесы под названием «Преступник» (Фердинанда Брукнера{190}). Гвоздем представления был Густав Грюндгенс в роли болезненного гомосексуалиста. Гамбургская звезда в конце концов была открыта знатоками столицы: Берлин привлекала его гнусная развращенность, истерическая походка, многозначительные улыбки, острый взгляд. Эрика между тем развелась с ним.

Это было великое время открытий. Тяжелая индустрия открыла «созидающие силы» в национал-социализме. Эрих Мария Ремарк открыл невероятную привлекательность Неизвестного Солдата. Национальные хулиганы открыли вонючие бомбы и белых мышей как аргументы против пацифистского или просто недостаточно воинственного фильма. Находчивый поэт Бертольт Брехт открыл старую английскую «Оперу нищих», делавшую в его редакции под названием «Трехгрошовая опера» полные сборы, «tout Berlin» [92] напевал и насвистывал прекрасные баллады о «морском разбойнике Дженни» и о Мекки-Мессере, которого

никак невозможно уличить. Мощная UFA{191} превзошла, как обычно, всех конкурентов и с безошибочным инстинктом открыла ноги Марлен Дитрих, которые вызвали сенсацию в фильме «Голубой ангел». (В данном случае реакционная, лишенная фантазии немецкая киноиндустрия могла бы открыть, что даже из хороших романов могут делаться кассовые фильмы: в основе «Голубого ангела» лежит мастерское произведение Генриха Манна «Учитель Гнус».)

Группа шведских профессоров и критиков открыла «Будденброков».

Уже несколько лет пресса дразнила нас слухами о Нобелевской премии: «Томас Манн должен… может, в следующем году… как сообщила осведомленная сторона, уже проинформированная из Стокгольма…» Были преждевременные извещения, неприятные поздравления. Когда же давно предсказанное событие наконец сбылось, отец лишь поднял брови: «На сей раз серьезно?»

Это были торжественно-оживленные дни. Журналисты штурмовали наш дом, на всех столах скапливались телеграммы. Милейн стонала, потому что приходило так много людей и телефон не давал ни на миг покоя. Ах, и все эти бесконечные вещи, которые ей надо покупать для поездки в Стокгольм! «Ах, я совершенно не знаю, что мне надеть ко двору, — сокрушалась великомученица. — Не заказать ли мне что-нибудь с большим декольте, как прежде предписывалось у кайзера? Кто бы мог подумать, что Нобелевская премия принесет с собой так много проблем!»

Она принесла также и много удовольствий. Мы с Эрикой получили Нобелевский подарок: все наши задолженности были оплачены, включая те, что мы наделали в нашу авантюрную прогулку «вокруг» Америки и Японии. Хоть нам ничего особенного и не досталось, но настроение наше все-таки повысилось. А как было увлекательно изучать письма и депеши, которые поступали отовсюду! Я еще вижу перед собой телеграмму, в которой выражал свои поздравления Андре Жид: «Не с Нобелевской премией, а с завершением „Волшебной горы“, которой Вы заслужили эту честь». (Шведская премия была присуждена моему отцу преимущественно как автору «Будденброков», что можно было понять как бы в пику «Волшебной горе».) Веселый близнец Милейн, наш дядя Клаус, телеграфировал из Токио, где он с недавнего времени работал музыкальным руководителем академии в Уэно{192}: «Все-таки милая маленькая награда!» Другое послание гласило просто: «Большая радость Вашего Рене Шикеле». (Забавно: скромная

формулировка сразу мне запомнилась.) Другие коллеги, напротив, рассыпались в несколько кисловатых, двусмысленно витиеватых поздравлениях. Часто цитировалось в нашем семейном кругу «пожелание счастья» заведомо ревнивого, заведомо бестактного Йозефа Понтена, который тогда как раз находился в научной командировке в Соединенных Штатах. «Не переоценивайте, пожалуйста, значения Нобелевской премии, дорогой друг! — писал этот добропорядочный писатель. — Меня в последнее время довольно часто спрашивают американцы: „Кто, собственно, этот Томас Манн?“».

Родители поехали в Стокгольм получить премию и поесть за королевским столом, с золотых подносов (так, во всяком случае, мы это себе представляли); мы оставались в Мюнхене и прослушивали по радио драматические сообщения немецкого корреспондента, который, спрятавшись за колонну, удостоился чести присутствовать на церемонии. «Вот оно, великое мгновение!» — нашептывал нам радиорепортер из северной столицы. Хрипло-сдавленным голосом, задыхаясь от почтительного возбуждения, описывал он торжественную процедуру: «Привычный к фраку Томас Манн движется к королю… Его величество протягивает руку…»

«Привычный к фраку» — *прекрасно сказано!* Мы не слышали конца репортажа, так смеялись!

«Милая маленькая награда» означала для моего отца не только прямую финансовую прибыль, но и принесла ему значительные косвенные преимущества. Возрастал его престиж в мире, быстро увеличивалась международная популярность его произведений; в Америке стала бестселлером «Волшебная гора», в то время как в Германии почти беспримерный успех имело новое народное издание «Будденброков»: за короткое время издательство С. Фишера продало более миллиона экземпляров! У Милейн, распорядителя финансов, вдруг не стало больше никаких забот.

Не то чтобы стиль нашей домашней жизни существенно изменился, он по-прежнему определялся особыми потребностями и привычками Волшебника. Если в трудные годы он с упрямо-гордой рассеянностью отказывался признавать нужду и бедность, то теперь он вряд ли находился под глубоким впечатлением своего относительного благосостояния. Его природное чувство меры и сдержанности, как и его не совсем здоровый желудок, не позволяло ему предаваться каким-либо кулинарным или увеселительным излишествам, о вечеринках с шампанским, пышных приемах гостей у нас не могло быть и речи. Единственной роскошью, которую позволил себе почти

разбогатевший отец, был красивый граммофон с богатым ассортиментом пластинок, два мощных автомобиля (открытый «бьюик» и лимузин «хорх») и дача весьма скромных размеров.

Новый летний дом — гораздо менее просторный и представительный, чем дом в Тельце, который он заменил, — был далеко от нашего мюнхенского центра, находился в районе литовского Мемеля, как раз по ту сторону немецкой границы. Место, в которое влюбились мои родители и где они теперь оседали на летние месяцы, называлось Нида, идиллическая балтийская деревня, знаменитая песчаным простором дюн и особой породой лосей, которые своими гладкими массивными тушами загораживали пешеходу и автоводителю песчаную дорогу. Действительно ли у них был только один рог, у этих кротко-упрямых, прелестно-тяжелых созданий? В моей памяти они существуют как сказочные звери… Заколдованные фигуры мифического зверинца с глазами, полными золотой печали, под ровным, широким, безропотно и одновременно угрожающе опущенным лбом.

Другой местной достопримечательностью был большой лагерь — в нескольких километрах от Ниды, уже на немецкой территории, — где молодые люди подвергались основательному и профессиональному тренажу во всевозможных полувоенных видах спорта, особенно в планерном. В хорошую погоду до нас доносились из отечества резкие крики команд и веселые песни молодых людей. Иногда мы хорошо видели также некоторых планеристов — их, должно быть, были сотни — прогуливающимися по нашему тихому побережью. Их рубашки и свитера были украшены свастикой. Мы наблюдали их неуклюжие, несколько бешено-диковатые игры в дюнах, в морских волнах. Их плавки также демонстрировали на видном месте национальную эмблему.

Такова была Нида — примитивная и живописная, не лишенная известной угрюмо-приятной прелести. Я лишь однажды задержался там на пару недель. Было так много мест, казавшихся заманчивыми. Европа была такой маленькой и при этом все же такой богатой разнообразием, — уютный ландшафт, полный пестрой неожиданности.

Я написал стихотворение для «Квершнитт», обозрения, в котором я еще сегодня нахожу наиболее чисто и ярко воплощенным дух этой особой эпохи и моего особого круга. Стихотворение называлось «Благодарность сотой гостиничной комнате». Было ли их действительно только сто? Мне мерещатся бесчисленные комнаты, рассеянные по всему континенту, от

Шпицбергена до Севильи, от Палермо до Брюгге и Шевенингена[193]. Я проводил свою жизнь в гостиничных номерах. «Дома» — это означало для меня гостеприимство моих родителей или помещение где-нибудь, в одной из убогих гостиниц или в одном из роскошных отелей со всем комфортом нового времени.

Жизнь моя была не лишена известной размеренности, почти монотонна, несмотря на все беспокойные блуждания. Почти никогда не прерывал я своей литературной работы; писание было для меня естественной функцией, как еда, сон, пищеварение. Я писал путевые письма, рецензии на книги, короткие истории, интервью, политические заметки; мои сочинения, опубликованные сначала в газетах и журналах, появились позднее в сборнике под названием «В поисках пути». Я писал новый роман, «Александр, роман утопии», — историю македонского героя. Мой багаж был нагружен сочинениями Гомера, Ксенофонта[194], Аристотеля. Как только я прибывал куда-нибудь — в Прагу, в Цюрих, в Жуа-ле-Пен[195], — тотчас распаковывал чемодан и с нервозным педантизмом приводил в порядок весь справочный материал, маленькую подручную библиотеку. «Александр» доставлял мне больше хлопот и больше радости, чем какое-либо из прежних моих литературных начинаний. Что меня прельщало в моем новом герое, так это чуть ли не наглая притязательность его мечты, огромные размеры его авантюры. Со времени своего кругосветного путешествия я любил мыслить планетарными масштабами. Македонец хотел не только покорить мир: ему было важно объединить его и сделать счастливым под своим скипетром. Разве не золотой эрой, даже раем было то, что он задумал принести? Какая детски отважная, какая божественно вдохновенная утопия! Однако едва ли менее наивным и дерзким был мой собственный риск написать роман о такой утопии, да еще и в путешествиях. Я штудировал вавилонские мифы в Гранд-отеле Стокгольма, персидские хроники на вилле Фьезоле под Флоренцией. Отель «Добро пожаловать» в Вильфранш-сюр-Мер, одно из моих любимейших местопребываний, оживлялся для меня тенями античных воинов, философов и гетер: я жил с Александром; его боль за Клейтоса, хрупкого друга, была также и моей; я вмешивался в его разговор с Аристотелем.

Таким образом, я постоянно находился в обществе, даже когда я был в пути один. Впрочем, я часто путешествовал и с друзьями. Как-то с моей любимой Герт (той толстой Герт из Бергшуле Хохвальдхаузен, теперь уже исхудавшей, уже подверженной наркотикам), или с Мопсой Штернхейм, или с Рикки, или с Гансом Фейстом, уже несколько лет

принадлежавшим к нашему самому узкому кругу, к нашей семье. (Его мать, Гермина Фейст, известная как собирательница фарфора высокого класса и еще больше как эксцентрическая особа, была подругой моей бабушки Оффи.) Фейст, первоначально врач по профессии, начал тогда обращать на себя внимание как переводчик. Его переложения итальянской и английской поэзии позднее стали знаменитыми. Сперва он переводил по преимуществу для театра произведения Пиранделло, Жюля Ромена, Жироду. Мы были вместе в Лондоне, в Италии, в Париже. Снова и снова конечным пунктом моего бесцельного странствования был Париж. Город на Сене оставался пульсирующим сердцем, истинным центром Европы — несмотря на всю свою фривольную пресыщенность, свою циничную продажность. Скандальные аферы финансистов и политиков, подрывная работа реакционных клик, обычные происки лавалей, фланденов, тардьё{196} — что общего имело все это с Парижем, который я знал и любил? Разумеется, «моя» сфера — то бишь литературная, — вероятно, соприкасалась иногда с тем светским дном общества: существовали интеллектуальные салоны, где можно было встретить того или иного из официальных гангстеров (при белом галстуке и большой розетке ордена Почетного легиона). Некоторые писатели — Андре Моруа, к примеру, и не менее честолюбивый Жюль Ромен — весьма гордились своими отношениями с властью; другие, опять-таки — назову только Клоделя, Жироду, Морана{197} — дипломаты по профессии, относились к тем кругам, что в бульварной прессе обозначаются «les milieux officiels»[93]. Но в целом все-таки контактов между духовно-художественным Парижем и тем сомнительно-блестящим миром биржевых спекуляций и политических происков было мало.

Молодые люди, с которыми я общался в Париже, не очень отличались от моих друзей в Берлине и Мюнхене. Встречались ли в «Селекте», на Монпарнасе или в Романском кафе у мемориальной церкви, в гостеприимном доме мадам Жак Буке в Париже или у венского домашнего очага надворной советницы Берты Цуккеркандль, лица и разговоры оставались всегда приблизительно те же. Друг друга понимали, говорили ли по-французски с немецким акцентом или болтали друг с другом на несколько неуклюжем английском; у другого всегда можно было предположить известный опыт и знания, полезные для самого себя; любили тех же поэтов, тех же художников и композиторов, те же ландшафты, ритмы, игры и жесты. Такое наднациональное единодушие между представителями определенного поколения и класса существовало, наверно, всегда: феномен старше, чем

технический аппарат, благодаря которому он теперь становится просто естественным и неизбежным. В восемнадцатом столетии юноши пяти континентов с энтузиазмом, который повсюду был одинаково безмерным, одинаково истеричным, реагировали на известные чувствительные клише, знаменитейшим из которых остается универсальная «вертеровская эпидемия». В девятнадцатом затем прошли ницшеанская лихорадка, бацилла Рихарда Вагнера, бодлеровский невроз. С той же экзальтацией позволила интернациональная часть моего поколения увлечь себя определенными идеями, настроениями, лозунгами. Это было то симпатетическое сродство, на которое намекал Жан Кокто, когда в своем предисловии к французскому изданию моего романа об Александре обращался ко мне как «un de mes Compatriotes» [94]: «Je veux dire, d'un jeune homme qui habite mal sur la terre et qui parle sans niaserie le dialecte du coer»[95].

Сам он, Жан Кокто, принадлежал к мифам нашего наднационального братства; его имя — как имя Андре Жида, Кафки, Пикассо — было одним из девизов, по которым молодые поклонники прекрасного узнавали друг друга от Кембриджа до Каира, от Зальцбурга до Сан-Франциско. Несколько лет спустя звезда его начала терять что-то от своего блеска, своей сияющей притягательности: теперь теми, к кому больше всего тянулась молодежь, были активисты, динамисты, барды действия, жертвы и авантюристы, как Мальро{198}, Хемингуэй, Сент-Экзюпери; но тогда — 1928-й, 1929-й, 1930-й — поэт «Орфея», «Трудных детей», «Адской машины» находился в зените своей славы. Мы были очарованы смелой бравадой его виртуозности, радикальной безусловностью его эстетизма, — эстетизма, который отважился на решающий шаг через Оскара Уайльда, к чрезвычайнейшей концентрации и стилизации, к квазиаскетической жестокости, к несентиментально-трагическому.

Я познакомился с ним в 1926 году. Его друг Реймон Радиге{199}, молодой романист, чей не по возрасту зрелый гений открыл и с любовью выпестовал Кокто, с год как умер. У Жана позади было несколько нервных потрясений, также курс лечения воздержанием (он воздерживался от употребления опия) и его сенсационная, пусть и не очень основательная склонность к католицизму. Он проживал тогда в квартире своей матери, на рю д'Анжю, где при моем первом визите я был принят дородным молодым брюнетом в черном одеянии священника. Кокто заставлял себя ждать; дородный семинарист — его имя было Морис Закс{200} — убивал время задушевно-мечтательными, при этом остроумно насыщенными речами. «Jean est adorable!»[96] Это был рефрен, который возникал снова и снова. «Quelle finesse! Et

au même temps — quelle simplicité! Je l'adore…»[97] (Позднее, в своей книге воспоминаний «Шабаш», 1947 г., Заксу удалось нарисовать совсем другой портрет Кокто. Враждебность, с которой в этой книге он обвиняет и высмеивает бывшего друга и наставника, столь же безмерна, столь же истерична, как тогда, во время нашего первого разговора, было его восхищение и благоговение.) Поэт, когда он наконец к нам присоединился, в свою очередь много говорил о simplicité[98]… То было его любимое слово в этом сезоне. «La vie simple![99] — восклицал он снова и снова. — Voilà la seule solution…»[100]

С тех пор я навещал его во многих различных жилищах, но все оставалось по-прежнему. Менялись лишь «любимые последователи» да любимые слова. Впрочем, переезжая из отеля в отель, с одной квартиры на другую, этот беспокойный человек сохранял все же верность определенному городскому кварталу: району между церковью Мадлен и Пале-Рояль — то есть уголку старого, но не самого старого Парижа, — где он чувствовал себя дома. Его невозможно было бы представить себе ни на одной из светлых, элегантных улиц Пасси или Отей, равно как и в мрачно-живописных переулках вокруг Бастилии и в ателье на бульваре Монпарнас.

Однако, где бы он ни поселялся — в сомнительном ли маленьком отеле у порта Тулона или на вилле в Биаррице одного из своих светских покровителей, — ему всегда удавалось создать свой собственный мир, свою неизменно личностную атмосферу. Магически-капризная обстановка, которая его окружает, принадлежит ему, это составная часть его существа, его артистичности. Эскизы Пикассо и красивые старые модели судов, античные бюсты между пурпурными драпировками, китайские опиумные трубки и пожелтевшие театральные программы, гипсовые слепки мужских ступней и женских рук (последние в красных резиновых перчатках), гравюры Поля Гюстава Доре, картины Марии Лорансен, Джорджо де Кирико и Сальвадора Дали (работы *раннего* Кирико{201} и *раннего* Дали, как, вероятно, надо бы специально подчеркнуть ввиду теперешнего упадка обоих этих художников!), фотографии Сары Бернар, Нижинского, Радиге, скелеты, зеркала, водолазные колокола, оставшиеся без ответа письма, маски, медицинские пузырьки, цирковые плакаты, газетные вырезки и закутанные лампы — вся эта неразбериха сувениров, фетишей и трофеев, кажется, возникает из узких, длинных, нервно подвижных рук Жана, как жутко фосфоресцирующая субстанция протоплазмы изо рта, живота, подмышек медиума.

Никогда бы я не смог представить себе Кокто в естественном

или общепринятом окружении; в лесу он был точно так же неуместен, как и в бюргерской гостиной. Он принадлежит к своему кабинету курьезов. С какой окрыленной проворностью резвится он посреди своего заколдованного домашнего совета! И каким странно усмиренным и сосредоточенным кажется его худое, без возраста лицо, когда он, растянувшись на ложе, тренированными пальцами набивает свою трубочку! Не спеша, благоговейно-церемониальным жестом подносит он инструмент ко рту, как флейту; он сосет, не улыбаясь и не жадно, но с серьезностью, которая просветляет и одновременно делает жестче его черты; глаза широко открыты, отблеск маленькой лампы на склоненном лбу, вдыхает он ароматный наркотик, сладкий дым макового препарата, о котором Пабло Пикассо якобы сказал, что его запах «moins stupide» [101], менее безумен, чем какой-либо другой аромат на свете. «Алкоголь вызывает пароксизм глупости, — говорит Кокто. — Опиум — пароксизм мудрости».

Мудр ли Кокто? Мудрость стремится к *совершенству,* а как раз совершенствование необходимо этому причудливому отшельнику. Его упрекали в бесхарактерности, называли оппортунистическим снобом и тщеславным клоуном. Однако, чтобы отнестись к нему справедливо, надо, пожалуй, вначале и прежде всего постигнуть его и оценить как *эстетический* феномен, то есть как феномен, точно так же уклоняющийся от моральной критики, как павлиний хвост, милый обман радуги. Лжет ли павлин, когда он самодовольно распускает хвост? Что за принципы предает радуга, которая переливается, играет своими красками? Для павлина и радуги существен лишь один принцип: блестеть, соблазнять, быть прекрасным.

Кокто не моралист и не циник, а абсолютный эстет, фанатик формы, видимости, выразительности, жеста. Для него непростителен лишь один грех: отсутствие стиля, дилетантизм. Этот несравненный виртуоз среди поэтов, этот истинный поэт среди виртуозов так же далек от пресловутой башни из слоновой кости, как от политической арены. Его авантюра разыгрывается на высоте, которая заставляет думать не об освященно-олимпийском, но скорее об отталкивании акробата, который исполняет свою сложную работу высоко над головами потрясенной толпы на парящей трапеции или тугом канате.

Снова и снова рискованный прыжок, *Grand Ecart*{202} при онемевшем оркестре. Надо быть без нервов, да, следует стать, может быть, бессердечным и бездушным, если должен вечер за вечером, год за годом с одинаковым хладнокровием, одинаковой бравурностью выдерживать такую крайность. Снова и снова, вечер за вечером, год за годом та же немилосердная альтернатива.

Совершенная удача или смертельное падение! Справишься ли с этим? Плохо кончишь? Кокто с этим справляется.

Все ему удавалось (за исключением лишь пары несколько вялых работ самого последнего времени), какой бы формой искусства он ни пользовался. Его карикатуры и графические фантазии столь же умелы и оригинальны, как его стихи (фактически Кокто, может быть, единственный поэт такого ранга, способный сам иллюстрировать, не замутняя и не искажая собственного видения, свои произведения); его романы и короткие истории по структурной точности и эмоциональной насыщенности равняются его драмам. Кокто — мастер лирико-критического афоризма: некоторые его опыты в области *critique indirecte* [102], например выдающийся этюд о Кирико, относятся к привлекательнейшему из того, что он написал. Зонги, которыми он одарил мюзик-холл «Звезды» (Ивонна Жорже и Марианна Освальд с песнями Кокто имели величайший успех), так же эффектны, как и его знаменитые либретто для балета и оперы. Мне представился удобный случай наблюдать его за работой в кинопавильоне (он инсценировал тогда свой первый и лучший фильм «Кровь поэта»): как режиссер, он демонстрировал ту же фанатичную сосредоточенность, тот же дисциплинированный порыв, что и при создании рисунка, стихотворения или статьи.

Это то щедрое, безусловное напряжение всего таланта и умения при всяком исполнении, в каждый миг, которым Жан Кокто как человек привлекает и очаровывает. Он не экономит себя, не изменяет себе: все его акценты и жесты, его Bonmots и гримасы обладают последовательно выдержанным, сознательно заостренным стилем великого виртуоза, чьи честолюбие и raison d'être [103] как раз и состоят в том, чтобы постоянно доказывать, постоянно действовать, поражать, восхищать своей виртуозностью. Как мастер вести разговор, он сегодня не имеет равных себе; с таким взрывным пылом, так страстно расточаемым воодушевлением, пожалуй, не беседовали со времен Оскара Уайльда.

Часы, которые мне довелось провести с ним, в моей памяти сохраняются как веселые сцены из комедии масок, с оттенком магического ритуала и причудливой колдовской кухни. Жан — всегда с трубкой в руке, опять и опять корчащийся при свете вечной лампочки — комедиант и волшебник, первосвященник радостно-мрачного культа. У него глаза гипнотизера, руки вора-карманника. Ломко-чувствительный пергамент его подвижного лица, жесткие черные волосы, тонкие губы, проворные пальцы — вся его внешность кажется высушенной, опаленной, почти дематериализованной злым налетом ядовитых горячих ветров. Не

тот ли самый дьявольский сирокко кружит его сейчас перед нашими удивленными, ужасающимися взглядами по комнате и побуждает ко все новым выходам? Он имитирует кинозвезд, боксеров, птиц, старух, параноиков, украшая себя при этом перьями, масками, пестрыми платками. Он сверкает, хихикает, пританцовывает, закутывается в свой шлейф. Вот-вот он задушит себя шелковым шарфом, как Айседора Дункан, как королева Иокаста в драме Кокто «Адская машина»! Он раскачивается, вспархивает, парит, взлетает, становится невесомым. Держится ли он как Нижинский, который в свою очередь в состоянии болезненного исступления выдавал себя сперва за лошадь, потом за ласточку и в конце концов и вовсе за облако? Нет, окрыленный Жан и не удавится, и не потеряет рассудка. Он остается одухотворенным, еще в наркотическом трансе. То, что сходит у него с губ, не лепечущее откровение. Это отшлифованные Aperçuss [104], готовые к печати остроты, едкие Bonmots. Воодушевление его сильнее, чем излюбленное снадобье; ни разу в дурмане он не дал себе зайти столь далеко, чтобы говорить правду. Или как раз ее-то он и говорит, разбрасывая вокруг себя парадоксы? Не есть ли игра, маска, представление его истины? «Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité» [105]… Великий лжец, великий изрекатель истины выбрал это присловье девизом для автобиографии.

Подчас Кокто хочет заставить нас верить, что за его трюками и позами скрывается тайна. Но, может быть, вовсе нет никакой тайны? Может быть, маскарад тут не окольный путь или средство, а самоцель? Кокто, который часто нравился себе в роли сфинкса (декламация монолога Сфинкса из драмы Эдипа — один из его блестящих номеров: записан на граммофонные пластинки!), — что же ему скрывать? Подлинный сфинкс, наверное, вел бы себя менее вызывающе; он наделен скрытым демонизмом.

Не кто иной, как Жан Кокто, установил, что «тайна начинается тогда, когда сделаны все признания», — выражение содержит столько же истины, сколько все его обманы. Сформулируй такое предложение Андре Жид, оно было бы воистину истинным.

Кокто при всем его честолюбии — хороший товарищ. Участливый, готовый помочь, не лишенный подлинной симпатии и тепла — свойства, которые производят особенно трогательное и выигрышное впечатление именно у одного из таких, похожих на гнома, существ. Этот кокетка не обидчив; мстительность, злопамятная мелочность ему не свойственны. Однажды, в серьезном деле, я поступил с ним несправедливо, ошибочно или

по крайней мере с излишней резкостью обвинив и осудив его. Любой другой жестоко невзлюбил бы меня, но не Кокто. Он прощает, из великодушия или из рассеянности (которая, однако, в свою очередь есть, может быть, лишь особо элегантная форма великодушия). Я был благодарен ему за это. Я ему за многое благодарен; общение с ним много значило для меня в ту пору. Его по-кошачьи гибкая, грациозно гротескная фигура стала для меня символом, воплощением артистической одержимости, наполовину предостережением, наполовину моделью мальчиков, ревностно занимающихся искусством, преданных и присягнувших ему в поисках верного пути.

Но скольким поучительным и развлекающим я ни обязан этому вдохновенному жонглеру, глубочайшую признательность я выражаю другому современнику, другому французу: Андре Жиду.

В иной связи, в рамках монографии о Жиде, я попытался отдать должное значению этого духа, изобразить и проанализировать привлекательность этой личности. Здесь не место еще раз вдаваться в разнообразные аспекты и переплетения творчества Жида, противоречиво смешанные черты и возможности его характера. Однако я исказил бы или оставил бы слишком фрагментарной историю своего собственного развития, если бы не упомянул в этом месте большого писателя, чей образ и чья миссия оказали столь решающее воздействие на меня.

В одной из предшествовавших глав этой книги шла речь о голосах, пробуждающий призыв которых изначально формировал и чеканил мое мальчишеское восприятие жизни: Сократ, Ницше, Уитмен и Новалис, Рембо и Стефан Георге, Рильке, Герман Банг, Ведекинд, мой отец и Генрих Манн (еще раз перечисляя только наиболее близких мне). Постепенно добавились и другие влияния. Андре Жид был сильнейшим. Встреча с ним — не с человеком, а с творчеством, в котором обнаруживается эта богатая, комплексная человечность, — помогла мне больше, чем какая-либо другая, найти мой путь, путь к себе самому.

Если я подчеркиваю, что встреча с сочинениями Жида для меня значительнее встречи с человеком, я не хочу тем самым сказать или дать понять, что он разочаровал меня как личность: напротив, знакомство с ним я причисляю к драгоценнейшим и отраднейшим в моей жизни. Однако я бы не желал произвести впечатление, будто был близким другом великого человека или будто сей когда-либо проявлял особый педагогический интерес ко мне. Интерес был односторонний. Я восхищался им. Он позволял это.

Наши отношения с ним начались довольно давно: я представился ему впервые в начале лета 1925-го с

рекомендательным письмом от Эрнста Роберта Курциуса. Я тогда еще не много читал Жида, но тем не менее уже был под его обаянием: тоненького томика поэтической прозы — «Возвращение блудного сына» в мастерском переводе Райнера Марии Рильке — оказалось достаточно, чтобы дать мне первое волнующее понятие о полноте этого духа, о возвышенной сдержанности этого искусства.

Жид был очарователен со мной. Он пригласил меня на завтрак; мы ели в маленькой brasserie [106] близ Люксембургского сада и оживленно беседовали, было весело — я наслаждался им с радостным, благодарным сердцем. Жид собирался тогда вместе со своим другом Марком Аллегре{203} предпринять экспедицию в глубь Африки; вскоре после возвращения я увидел его снова; номер его телефона чаще всего был первым, который я набирал сразу по прибытии в Париж; иногда он бывал в отъезде, но, если я находил его дома, он оказывал дружеский прием; встречались в ресторанчике на бульваре Сен-Жермен или в маленькой квартире Жида на рю Вано. Однажды мы также были вместе за столом моих родителей в Мюнхене; Жид задержался тогда на несколько дней, мы предприняли с ним автомобильную поездку к Штарнбергскому озеру, вечером того же дня он присутствовал на лекции моего отца в университете. Он позволил мне показать ему также некоторые курьезности мюнхенской ночной жизни, о которых, разумеется, в его «Дневнике» ничего не встретишь. Между тем там находится довольно подробная запись о визите в наш дом, докладе в университете и автомобильной поездке. При этом речь идет не только о моем отце (к творчеству которого начиная примерно с «Волшебной горы» Жид проявлял постоянно растущий интерес), но и — очень любезно — о моей матери, о друзьях, с которыми он познакомился через нас (например, о Бруно Франке), и о моих младших сестре и брате, Элизабет и Михаэле, которые ему особенно понравились. Я тоже упомянут, но таким образом, который тогда должен был меня огорчить и, наверное, также немного поразить: после моего имени стоят слова: «…que je ne connais encore qu'â peine»[107]. Дневниковая запись от 1 июля 1931-го. Шесть лет, как я был в личном контакте с Жидом. Наивно, безрассудно-тщеславно я уверовал, что связь, которая столь значима для меня, и в сознании партнера должна стать чем-то иным, нежели лишь поверхностным, быть может, даже обременительным знакомством.

Могло статься, что его отношение ко мне с течением лет как-то изменилось: письма от него, которыми я располагаю, пожалуй, позволяют сделать такое заключение. Когда я ему, вскоре после начала второй мировой войны, послал статью о его «Дневнике

1889–1939», опубликованную мною в одном швейцарском обозрении, он высказал в ответном послании слова благодарности и признательности, великодушие которых меня тронуло и устыдило. В том же письме он высказал намерение посвятить мне одну из своих книг. («Vous me donnez désir d'éc; rire des *Retouches* à mon *Journal,* comme j'ai fait pur mon *Retour de l'URSS, et, si je mène à bien ce projet,* j'aurai plaisir à vous le dédier, car c'est vous qui m'en avez donné l'idée» [108].)

Но игнорировал ли он меня или принимал мои критические поклонения с благосклонностью, может, даже с некоторым удовольствием и выгодой, — мое честолюбие было не в том, чтоб он узнал и оценил, но чтоб научиться у него, что значит: найти путь от него к себе самому. Куда же еще ему меня вести? Ни один ученик не воспринимает извне то, чего у него самого уже не было бы внутри, пусть даже лишь скрыто, в подсознании. Полагая, что копирует мастера, он познает и развивает собственные силы. Жид, который много занимался проблемой влияния, знает это прекрасно; у него мы читаем:

«Быть может, это довольно рискованное утверждение, что некоторыми идеями обладают и не зная авторов, от которых эти идеи происходят. И все-таки я склонен верить, что моя картина мира была бы примерно та же, что есть и сегодня, даже если бы я никогда не читал ни Достоевского, ни Фрейда, ни Ницше, ни X или У. То, что я воспринял бы от них, было, пожалуй, скорее подтверждением, чем сигналом к пробуждению (plutôt une autorisation qu'un éveil). Прежде всего они учили меня не сомневаться более в себе самом, не пугаться более собственной мысли, но вверить себя ее руководству, ибо тут-то и выявилось, что они вели меня в том же самом направлении».

Таким образом, Жид сделал для меня то, что Фрейд, Ницше и Достоевский, X и У, по его собственному высказыванию, некогда сделали для него: он вселил мужество в меня самого. Об эротическом здесь нет и речи, но я во избежание всякого недоразумения все же хочу специально подчеркнуть: как раз в этой области я вряд ли нуждался в одобрении. Что он мог мне предложить, что меня притягивало к нему, так это «autorisation» [109] морального, интеллектуального рода: духовное узаконивание и художественное опредмечивание моего субъективного беспокойства и неопределенности. Его *inqiétude* [110] — я чувствовал это — было также и моим; но то, что во мне было только смутой, растревоженностью и стеснением, в его книгах принимало форму, становясь одновременно ясным и пластичным, управляемым, оформленным, творчески упорядоченным суверенной волей.

Его пример показывал мне, что возможно объединять в себе изумительное многообразие противоречивых импульсов и традиций, не соскальзывая при этом в анархию; что существует гармония, в которой диссонансы находят друг друга, не расторгаясь или не уничтожаясь взаимно. Эта снова и снова подвергаемая опасности и опять завоевываемая гармония, которой я восхищался в Жиде, — не соответствовала ли она ненадежному равновесию европейской духовности, тому, как оно развивалось сквозь столетия и, несмотря на все угрозы, все кризисы, опять и опять возрождалось и утверждалось? Да, автор «Яств земных», «Подземелий Ватикана» и «Фальшивомонетчиков» ценился мною как *хороший европеец par excellence,* как благороднейший представитель и летописец европейской судьбы. Напряжение между Элладой и христианством, между романтическим чувством и классической формой, между разумом и верой, индивидуализмом и социальной обязанностью, свободой и необходимостью — все великие антитезы Запада были частью его личной драмы, были им глубочайше пережиты и выстраданы. Ценности и проблемы, на которых покоится наша цивилизация, образовали тему спора, под знаком которого находилось все его творчество и который внутренне никогда не успокаивался.

Знал ли он ответ на мои вопросы? Предлагал ли он программу? Нет, он мог предложить только свой *пример,* пример своей духовной целостности и храбрости, своего любопытства и правдолюбия, своего терпения, своей гордости, своей страсти, своей нравственности. Через него я узнал, что философия и вера, знание и любовь не исключают друг друга; ибо он был искушен во всех безднах человеческой души (феномен *зла* снова и снова возбуждал и занимал его чутье психолога), однако никогда посему не отказывался от своей веры в Добро в человеке, в *способности улучшения* нашей натуры: чем глубже этот неустрашимый ум проникал в мрачные тайны человеческой души, тем сильнее и постояннее горел свет его веры, его искушенной любви.

Его пример доказывал мне, что можно быть распорядителем и представителем великого культурного наследия и одновременно любимцем будущего, вестником и товарищем еще не родившихся поколений. Никакой писатель нашей эпохи не воспринял в себя больше преданий, больше духовного богатства прошлого, чем Жид, которого вдохновили и одарили все гении Запада: светлый дар Греции был ему столь же желанен, сколь и темное приданое, которое он унаследовал от пуритански строгих в нравственном отношении предков; питательно здоровый вклад Монтеня признан с такой же готовностью, как и проблематичное

завещание того же Ницше, того же Достоевского; у Данте, Шекспира, Гёте можно научиться столь же многому, как и у мастеров собственной страны — Расина, Стендаля, Бальзака, Бодлера… Но какой ценностью обладало бы наследство, если бы оно не несло в себе зародыш будущего? Культурный консерватизм Жида никогда не был самоцелью; занятие *вчерашним* всегда у него имело отношение к *сегодняшнему* и к *завтрашнему.* То, что *было,* — он часто это говаривал — значило для него меньше того, что *есть; существующее,* однако, не так сильно захватывало его, как *становящееся:* то, что *могло бы быть* и, значит, однажды *будет.*

Он внушил мне, что каждому из нас дан свой собственный, индивидуальный закон, который опять и опять взыскует быть заново запрошенным и исследованным, опять и опять исполненным без оглядки на моду и предубеждение, без компромисса. *Быть верным самому себе,* в этом все дело. Кто предает себя самого, тот не сможет служить и сообществу, социальному целому. Чем независимее и последовательнее личность, тем больше вклад, который она совершит ко всеобщему благу! *Individualisme serviable* [111], впервые эту формулу Жид употребил в связи с Гёте. У своего немецкого маэстро нашел этот гражданин мира французской нации совершенное объединение свободы и чувства долга, именно тот индивидуализм, который заявляет о себе, но не подчиняется, который как раз в силу своей неуступчивой непреклонности может стать чрезвычайно полезным на службе обществу.

Пример Гёте. Хорошо, он был всегда. Но нам его приводили слишком уж часто: ему недостает прелести новизны. Гёте был для меня слишком далеким, слишком мраморным, слишком олимпийским. Жид был более чужим и одновременно более внушающим доверие — современник, почти старший брат и тем не менее человек, окутанный тайной. Разве не обладал он добродетелями, которые прославлял у Гёте? Было что у этого «старшего брата» узнать об *individualisme serviable,* к чему добавлялись еще и другие притягательные моменты.

Жид казался мне тем более приемлемым в качестве образца, что он явно не стремился производить впечатление образцового. Поза магистра была чужда ему; при всем величии он оставался проблематичным, всегда неудовлетворенным, всегда ищущим. Однако как раз тем, что он не определял себя, он себя находил; тем, что изменялся, он исполнял собственный закон.

В мгновения незрело-опрометчивого честолюбия я, наверное, желал себе стать возможно более похожим на эту истинную, неповторимую личность — Андре Жида. Однако чем больше я

учился у него, тем отчетливее становилась для меня тщетность подобного чаяния. Уподобляться другому? Не к этому он нас побуждает. Гораздо больше относится к каждому из нас совет, который он в «Новой пище» возглашает своему условному другу и ученику:

«Не доверяй никому, кроме голоса собственной совести! Будь откровенен прежде всего перед самим собой! Познай свою собственную суть! Иди своим собственным путем! *Стань тем, кто ты есть!*»

Путь, который ведет нас к самим себе, к самопознанию и самоосуществлению, — это не всегда прямой путь; извилистейшая тропа может зачастую быть ближайшей. Кто слишком уж боязливо избегает темноты, может быть, никогда не сумеет найти света. На зыбкой основе — а кто из нас имел твердую почву под ногами? — легко проваливаются: разве только приспособить собственное равновесие ко всеобщей качке.

Склонность к причудливости и невоздержанности, разделяемая мной со многими моими ровесниками, не объясняется, конечно, только снобизмом и оригинальничанием. Что одному из старших поколений в искусстве могло казаться подозрительным или искаженным, было вполне соразмерным нашему вкусу и ощущению жизни: это соответствовало нашему опыту. Тому, который уже приобретен, и тому другому, который еще должен прийти. Что знало искусство девятнадцатого столетия, что знали эти идиллические романтики, реалисты и импрессионисты об удивительной действительности, которую знали мы или которая уже возникала перед нашими глазами? В ужасных видениях того же Пикассо, того же Руо{204}, того же Кирико она находила свое адекватное выражение.

Я любил задерживаться в мастерских крупных парижских художников и наблюдать мастеров за работой. Визит к Марку Шагалу, например, был как экскурс в сферы, с которыми до этого можно познакомиться только во сне: не без веселого удивления прогуливаешься по этому чарующе-заколдованному ландшафту. Пурпурные коровы на крыше русской избы, кроткий полет фиолетовых барашков, экстатические евреи-торговцы с развевающимися бородами и в кафтанах, оцепенелая улыбка влюбленных, блаженно лежащих в объятиях друг друга в глубине фосфоресцирующего неба, — всегда предчувствовалось, что подобное бывает. Хозяину дома — впрочем, большей частью слишком занятому, чтобы пускаться в длинные разговоры, — не нужно было ничего объяснять: в его мире летающих голов, переливающихся месяцев и взрывающихся цветов чувствуешь себя

дома. Разумеется, закон силы тяжести эмпирической реальности здесь не действует; вместо этого, однако, имелось поэтическое равновесие, магическая логика, греза-баланс, законность которой — для нас — *сама собой разумеющаяся.* У Марка Шагала ничто не было сомнительным, наигранным или эксцентричным: все соответствовало истине, имело свою подлинность. Когда он заставлял распускаться цветы из стальных опор Эйфелевой башни, то речь шла не о милом капризе, а об интересном открытии; да, там были розы, как странно, что их до сих пор не заметили. Меж цветов парили, совершенно логично, отделившиеся головы Клер{205} и Ивана Голла{206}: лирически настроенная супружеская пара воспринималась на венчающем шпиле Эйфелевой башни гораздо правдоподобнее, да, гораздо рельефнее, чем в какой-нибудь из студий между Отей и островом Сен-Луи, где они тогда давали свои литературные приемы.

Эти Голлы, поэтические космополиты немецко-французского происхождения, помогли мне впервые войти в парижские «milieux littéraires» [112]. Благодаря их радушно-общительному посредничеству, я вступил в сердечный контакт со всякого рода колоритными фигурами, с Морисом Ростаном{207}, например, этим чересчур изящно-чувствительным, добросердечным сыном популярного Эдмона Ростана, и с остроумными мужами, как Леон Пьер-Квинт, критик и биограф, занимавший меня пикантными и поучительными, хотя и слегка жутковатыми анекдотами из vie intime [113] Марселя Пруста.

Из французских писателей этой эпохи наряду с Жидом, Кокто и Рене Кревелем были прежде всего еще двое, к кому я тянулся и дружба с кем была мне важна: Жан Жироду и Жюльен Грин{208}. Жироду околдовал меня сразу обоими своими первыми романами: «Белла» и «Шиповник» кажутся мне еще сегодня полными более глубокого, неповторимого очарования, чем прелестные театральные пьесы, с которыми Жироду позднее имел всемирный успех. Первая из этих привлекательно-задушевных пьес — «Зигфрид» — как раз появилась тогда в Париже; в Германии ее тоже должны были в скором времени поставить. Мой друг Ганс Фейст позаботился о переводе. Проблема, которую поэт-дипломат раскрывал в своем первом драматическом опыте, была немецкой; напряженность и сродство между двумя великими европейскими народами никогда не прекращались, тревожа и творчески возбуждая этот чувствительный, искренне озабоченный дух. Жироду, автор «Ундины», имел явный интерес к германской душе, склонность, разумеется, к которой часто примешивалась известная тоска. Тевтонски-романтический сумрак привлекал высокоцивилизованного, чрезвычайно

интеллектуального латинянина, который, впрочем, обладал вполне нордической внешностью. Жироду был высокого роста, светлоглазый, белокурый, спортивно-небрежно-элегантный. Так выглядит шведский чемпион по теннису, который получил от своей матери немного галльской крови (отсюда скептическая улыбка, непринужденный блистательный поток речи, доведенный в Оксфорде или Кембридже до совершенства *perfect gentleman* [114], отсюда расслабленно самоуверенное поведение, любезные и одновременно высокомерно небрежные манеры) и которому одно расово безупречное сказочное существо — балтийская русалка или северогерманская фрейлейн с душой и золотыми волосами — навсегда вскружило голову (чем и могла объясняться мечтательная рассеянность его светлого взора).

Если двойственно-романтический элемент в обаятельно светлом существе Жана Жироду производил впечатление совершенно парадоксальной цитаты и пикантного нюанса, то он преобладает, становится определяющей чертой в творчестве и характере Жюльена Грина. Он уже написал некоторые из своих прекрасных книг, когда я впервые повстречал его в Париже: «Адриенна Мезюра» и «Левиафан» — два мастерских романа невероятно мрачной окраски — уже сделали его имя знаменитым. Я знал эти книги; я любил их, потому что они были так печальны. Еще печальнее или по крайней мере более строгой, холодной печали, чем любимые книги моего Германа Банга. Как должен был быть хорошо знаком этот французский писатель американского происхождения, Жюльен Грин, с безднами боли! У него не было другой темы — только боль, печаль: великая тяжелая, неизбывная печаль, в которую — словно в вечность — вливается все наше чувство; но и само чувство есть лишь пролог этой печали, ее вступление; таким образом о женщине, рассерженной или мстительной или, быть может, счастливой, с ужасающей самоочевидностью говорится: «И печаль вновь заструилась в ее сердце, как море вновь покрывает берег».

Как представить себе поэта, который пишет такие предложения? Я воображал его себе уже пожилым мужем, может быть, седобородым, с согбенной спиной, согбенной от «нервной борьбы, которая разыгрывается между ним и некоей таинственной неопределенной властью». Среда, в которой происходило действие его книг, — французская провинция с ее удушливой ограниченностью, ее удручающей монотонностью — была, несомненно, и его средой. В неуютном ресторане, который мы находим в «Левиафане», он, наверное, на протяжении многих лет принимал свою трапезу; отчий дом, из которого он вышел и который сформировал его черты, должен был походить на

мещанский ад, в котором Адриенна Мезюра страдает и гибнет.

Стройного и проворного молодого господина, посетившего меня однажды в отеле «Якоб» на рю Жакоб (теперь не помню, кто устроил встречу), я посчитал сначала сыном трагического атлета, произведениями которого я восхищался. Но нет, это был он сам: этот гладкий, стройный юноша сдержанно космополитической элегантности написал романы отчаяния, заглянул в нашу боль, наш прастрах и оформил в соответствующее произведение искусства. Он был чуть старше меня, на четыре-пять лет, может быть. Его лицо казалось не тронутым напастями и приключениями, которые он уже испытал и отобразил. Или просто опыт страдания не выдавал себя в кротко-рассеянной улыбке, в застенчивом взгляде? Несомненно, взгляд был необычным. Полный бархатного уныния, притом не без известной мрачной напряженности и остроты. Все же самих прикрытых завесой, притом внимательных глаз было недостаточно, чтобы я понял или хотя бы лишь принял феномен этой полной предчувствий поэтической посвященности. Мне становилось не по себе в присутствии корректного, светски радушного гостя, который — как мне было слишком хорошо известно лишь из его сочинений — столь ужасающе по-свойски ориентировался в дьявольских лабиринтах самых темных побуждений и самых таинственных мук. Откуда приходило к нему это знание? Эта дурная близость с преисподней — каковой благодати или проклятию он мог быть обязан ею?

Позднее как-то, когда я знал его лучше, я спросил его без обиняков: «Как вы приходите к своим темам? Ведь Адриенну Мезюра вряд ли встретишь в наших кругах. И где вы находите фигуры типа ужасной Гере, бедной маленькой Анжель, жалкой мадам Грожорж, которые вы изобразили в „Левиафане“?»

Никогда не забуду ту несколько насмешливо веселую улыбку, тот ускользающий взгляд, когда он мне ответил: «Но мой дорогой друг! Тот, кто пишет моей рукой, ведь не *я*! Кто-то другой водит моей рукой. Чужой…»

Очевидно, он думал так на самом деле. И он говорил правду.

Раздвоение личности, шизофреническое наитие, в котором Жюльен Грин признавался с такой цивилизованной беспечностью, стало шумной программой, назойливо рекламируемым лозунгом у сюрреалистов. Эта группа — единственная оставшаяся от всех разнообразных авангардистских движений военных и послевоенных лет — находилась тогда на вершине своей известности: это было несколько даровитейших молодых художников, поэтов и литераторов, которые объединились вокруг Андре Бретона, основоположника и вождя сюрреализма, к их

кругу относился и Рене Кревель. Через него я познакомился с сюрреалистами.

Что касается самого «маэстро» — Андре Бретона, — то мое отношение к нему оставалось сдержанным и прохладным. Натуры «вождей» меня скорее отталкивали, а Бретон, пожалуй, один из таковых, хотя он способен вести и вдохновлять лишь в духовной сфере. Его интеллектуальные капризы и интуиции слывут у преданной ему клики откровением, высшим законом. Кто терпит вокруг себя лишь поклонников, скоро окажется отчужденным именно от лучших умов своих друзей. И действительно, только один, собственно, из старой гвардии сюрреалистов — художник Макс Эрнст{209} — еще и сегодня сохраняет верность тиранически своенравному Бретону. Другие, причислявшие себя в конце двадцатых годов к столпам «движения» и с которыми я в ту пору иногда встречался, отошли: поэт Поль Элюар, оставивший в моем воспоминании строгий, прекрасный облик, отважно одухотворенный взгляд юного крестоносца; Луи Арагон, в то время «литературная надежда», о которой знали лишь в посвященных кружках (Как победоносно нес он маленькую, легкую, благородной формы голову! А его жестам — как молод он был тогда! — была присуща элегантность, которой мы восхищались у тореадоров…); романист и критик Филип Супо, с которым я был на особо дружеской ноге — его энтузиазм мог увлекать, когда он, к примеру, рассказывал о Гийоме Аполлинере или чрезмерно превозносил какую-нибудь полузабытую литературную жемчужину вроде истории Ахима фон Арнима или трагедии Елизаветинской эпохи. У меня на слуху еще детски торопливая интонация, с которой он — обедали в переполненном, прокуренном, очаровательном старом ресторанчике на бульваре Сен-Мишель — обращал мое внимание на произведение Марло или Флетчера. «Как, вы не знаете этого? — восклицал он на несколько затрудненном немецком. — Но вам это *надо* п'очитать! Это *п'елестно!* Еще *гораздо п'елестнее,* чем Шекспир!»

Также и Сальвадор Дали — ныне высокооплачиваемый в Америке и глубоко презираемый всяким правоверным сюрреалистом — тогда принадлежал еще к бойко-агрессивной компании маэстро Андре. Последний самолично открыл талант каталонского художника и представил широкой публике, — талант, который мог бы развиться в подлинную художественность, но сущности которого вскоре суждено было развратиться и растратиться цинично тщеславным образом. Ныне Дали — это наполовину делец, наполовину проигравший *blagueur* [115]. В те давно прошедшие времена его шутовские видения еще

имели вынужденную подлинность. Однако я уже тогда не мог не покачать слегка головой, когда сюрреалистические критики ставили своего Дали рядом — или даже над — Пикассо. С особенной убедительностью вступался Кревель за блистательного каталонца, чье творчество он восторженно анализировал в обстоятельном эссе «Дали, или Антиобскурантизм».

Хорошо ли это было для Рене, что он воспринял бретонское влияние со столь ревностной доверчивостью, столь безусловно подчинившись ему? Кто его любил — а я любил его, — должен был заботиться о нем. Конечно, сюрреализм как эстетико-психологическая доктрина и сюрреалисты как воинственно заговорщическое братство могли кое-что предложить: шутку, стимул, незатасканные артистические прелести, лирико-псевдонаучный жаргон, который в этой форме, со столь вызывающими акцентами, еще не подавался. Маркиз де Сад и Апокалипсис, Маркс и Рембо, Ленин и Фрейд, паранойя и ярмарка — кто бросает в один горшок столь несогласуемые элементы и мешает в коктейль, уж наверное должен ожидать что-нибудь пикантное. Напиток, может быть, подействует стимулирующе. Но утолит ли он жажду внутренне обеспокоенной, растревоженной и взбудораженной юности? Мой друг Рене Кревель в поисках пути доверился руководству лукаво парадоксального, самодержавно дерзкого духа. Молодой человек чудесных дарований в наше тупоумно вульгарное, враждебное юности и духу, отчужденное время чувствовал себя настолько изолированным, настолько беспомощным и угнетенным, что вынужден был цепляться за какую-нибудь программу, догму. Не была ли эта программа эпатажем и нигилизмом, превратившаяся в догму студенческая шалость? Сюрреалистические иконоборцы, к веселому флажку которых он примкнул, — уяснили ли они себе направление и цель? Они развлекались тем, что охотно подшучивали над этическими и эстетическими нормами прошедших эпох. К черту мораль христианства, Просвещения, Французской революции! Долой скучную красоту античности и Ренессанса! Венеру Милосскую — на свалку! Взамен ее мы поклоняемся теперь новой богине, Венере с рыбьим хвостом, глазами, полными вшей, и роялем вместо груди. И таким образом вышвырнули за борт широким революционным жестом все стереотипы прошлого, чтобы в конце концов влипнуть в новое клише, отличающееся от прежних только своей мерзостью…

Бедный Рене! Дожидался ли он утешения и руководства от анархистов, которые так легко позволяли себя дурачить новой ортодоксальностью, от крушителей икон, которые уже снова падали на колена перед новыми изображениями божеств? Но,

может быть, как раз этими культами невроза, вызывающим прославлением сумасбродства и пленялся мой друг. Исповедуя философию бессмыслицы и безумия, он имел в виду, наверное, побороть *действительное* безумие, безумие вокруг нас, как и то, которое, по его мнению, угрожало ему самому, собственному разуму.

Ибо у него был страх. Страх перед разрушительными, катастрофическими потенциями отказавшегося от Бога, дезориентированного общества; страх перед собственным «я» разрушительной сущности, которую он перенял от ненавистных родителей. Тень буржуазного папы, нелепо повесившегося в парадной комнате, преследовала, мучила, предостерегала мятежного сына. Был ли его ужас перед всеобщей подлостью и развращенностью знаком клинической сверхчувствительности, симптомом предопределенного ему неотвратимого духовного упадка? Бессмыслица человеческой суеты, человеческой алчности наполняла его ужасом: позволяло ли это заключить, что он со своей стороны не в своем уме? Он ли был сумасшедшим или окружающие и современники, наш мир, наша эпоха?

Рене глядел вокруг себя своим прекрасным, диким, по-детски распахнутым звездным взглядом. «Êtes-vous fous?» [116] — спрашивал он окружающих и современников, спрашивал он мир. И так как ответа не следовало, с еще большей настойчивостью, с растущим ожесточением: «Взбесились вы, что ли?» В конце концов это звучало почти как крик отчаянья.

Молодой романист избрал этот упрямо поставленный, гневно-тревожный вопрос в качестве названия одной из своих книг («Вы с ума сошли?», 1929). Это был, собственно, не роман в строгом смысле слова, скорее полемическая лихорадочная греза, гротескная галлюцинация, припадок бешенства и протест, принявший эпически-сатирическую форму. Герой странной хроники, Вагальм (автопортрет писателя), блуждает бесцельно по свету, изображенному полуборделем, полусумасшедшим домом. Испытывая то отвращение, то наслаждение пустотой и лицемерием современной жизни, тащится этот уязвимый, строптивый «Кандид» от одного «Культурного центра» к другому, и, куда бы он ни пришел, он пугает людей устрашающим вопросом: «Êtes-vous fous? Si поп…» Ученые и общественницы, священники и политики, эксплуататоры и эксплуатируемые — все экзаменуются подобным образом и, обескураженные, пожимают плечами. Неистовая шутка Вагальма Кревеля направлена против папы и против фрау Козимы Вагнер, против французской грамматики, Д'Аннунцио, графа Куденхове-Калерги и его панъевропейского движения, швейцарских санаториев,

Голливуда, католического писателя Мориака и чешского промышленника Бати. Ни относительно безобидная гильдия лесбиянок, ни достопочтенный старый кайзер Франц-Иосиф не находят пощады под этим немилосердно сияющим, чистым и твердым взглядом. Вагальм — шутник, правдоискатель, судья — издевается над палатой лордов в Лондоне, Французской академией в Париже и институтом сексуальной науки в Берлине. Основатель и шеф упомянутого института, профессор Магнус Хиршфельд — многие годы известный мне как солидный исследователь и добросовестнейший, отзывчивый человек, — выступал в фантастической сатире Рене как отвратительный шарлатан по имени д-р Оптимус Церф-Майер.

«Как же можно делать эдакое? — спросил я насмешника с ангельскими глазами. — Выставить моего старого друга Магнуса Хиршфельда своего рода Молохом, заглатывающим ежедневно по меньшей мере одного гермафродита или извращенца? Это же несправедливость, в самом деле. И, конечно, не единственная, в которой ты повинен! Если бы люди действительно выглядели так, как ты их описываешь в своей книге, тогда бы в этом мире существовали только идиоты и уголовники!»

«Только идиоты и уголовники, — подтвердил ясновидящий со злой веселостью. — Разве это не так?»

«Ну, я не знаю, — улыбнулся я, слегка уязвленный. — Несколько исключений должно все же найтись».

И Вагальм — вдруг смягчившимся, нежно приглушенным голосом: «Одно исключение, разумеется, есть. Есть моя маленькая Йоланда».

Йоланда — ангел-хранитель, спутница, за которую Вагальм, отчаявшийся бродяга, цепляется в своей нужде; Йоланда — чистый цветок, который цветет среди разложения: она единственная, только она выдерживает грозный взгляд сатирического провидца. Ее он не угнетает своим риторическим и все же горьким, серьезно продуманным вопросом; он оставляет ее в покое, желает ее, любит ее, как она есть. Будь даже Йоланда умалишенной, она в силах защищать любимого, бедного Вагальма от призрака безумия.

Êtes-vous fous? Ужасный, ужасающий вопрос, лейтмотив Рене исходил из многих уст, тревожил многие сердца; я слышал его при разных обстоятельствах и на разных языках, выкрикнутым в гневе, произнесенным шепотом свысока в пронизывающем презрении, навеянным в горе и стеснении: «Ты сумасшедший? Или…»

«Совсем рехнулся!» Это Йоландин голос — хриплый, но

звучный и полный освежающей сердечности. Милая спутница Вагальма — это в действительности Теа Штернхейм, моя дорогая подруга Мопса, дочь как раз того демонического драматурга, который сделал мою невесту своей супругой. Следовательно, Памела — мачеха Мопсы, которая на два-три года старше ее. Как же я породнен с Мопсиной мамой, роскошной фрау Стойси Штернхейм? Она разведенная жена человека, который женился на мачехе ангела-хранителя Рене. Следовательно… Конец! Это же чистое безумие…

«Так тебе и надо!» — хихикала Мопса Штернхейм, которой я только что рассказал, что хотел бы посетить ее папу в Баден-Бадене: он проводит там свой медовый месяц с моей бывшей невестой. «Старик совершенно рехнулся, — констатировало не без задора „дитя писателя“. — Знаешь, что он мне недавно написал? Он твердо решил на старости лет стать по меньшей мере столь же прекрасным, как господин генерал фон Сект{210}! Звучит довольно дурно, а?»

В отеле «Стефания» в Баден-Бадене господин и фрау Штернхейм принимали меня в столовой; за стол сели, не ожидая меня; у драматурга смокинг с бросающимся в глаза высоким жестким воротником, молодая супруга блистает в вечернем платье. Я не видал их обоих с тех пор, как мы с Эрикой собирались в большую поездку «вокруг света». «Ты хорошо выглядишь», — сказал я Памеле.

«Даже приблизительно не так привлекательно, как его превосходительство вон там», — замечает господин Штернхейм, бросив злобно-похотливый взгляд на соседний столик. Там пирует бывший шеф рейхсвера, элегантный старый кавалер с холеными белыми усами, моноклем и всеми причиндалами. «Ослепительно, а? — каркает драматург и добавляет агрессивно: — Viol`a un homme!»[117], при этом ликующе смеется. «Не правда ли, он нравится тебе, господин генерал?» Угрожающий вопрос обращен к Памеле.

Она говорит корректно: «Господин фон Сект — мой тип». Ее лицо с импозантным носом и широко раскрытыми, чистыми глазами остается неподвижным над неподвижным кружевным воротником. Она смягчает свой голос, наклоняясь через стол к супругу: «Ешь свой суп, дорогой!»

Однако он, вместо того чтобы сконцентрироваться на своей тарелке, продолжает превозносить элегантную фигуру генерала. «Орел! — восклицает он с внезапным раздражением, как если бы ему кто-нибудь возражал. — Его превосходительство и я, мы принадлежим к орлиному племени! А от вас, молодого поколения, проку нет. Ни размаха, ни выправки, ни породы.

Хромые утки вы все, кто здесь сидит. Хромые утки — вся сегодняшняя молодежь!»

Это нацелено, очевидно, не только на меня, но и на молодую мадам Штернхейм, урожденную Ведекинд. Ее между тем это ничуть не тревожит, она лишь стеклянным гипнотизирующим голосом напоминает: «Суп, сокровище! Ты забываешь о своем супе!» После чего он окончательно отодвигает тарелку в сторону и сварливо настаивает: «*Орел,* говорю я тебе! В отличие от вас, хромых уток, в нас с господином фон Сектом ясно распознаются орлы!»

Генерал, который не может не ухватить какие-то отрывки штернхеймовской болтовни, кажется одновременно позабавленным и раздраженным. Сейчас, прикрывшись салфеткой, он что-то шепчет своей даме, скользя при этом по нашему странному обществу холодно-развлекающимся взглядом-моноклем. Я-то слишком хорошо знаю, что он говорит. «Только не смейся, Фридерика! — нашептывает его превосходительство. — Парень вон там назвал меня только что орлом!»

«Всерьез? — Генеральша хихикает вопреки его ожиданию. — Нет, каково! Окончательно спятил!»

Я ерзаю и потею от смущения, в то время как драматург дальше шпионит за нашими надменными соседями. Разве же он не прав, элегантный рубака, презирая интеллигента, который унижает и срамит себя подобным образом? Карл Штернхейм, язвительнейший сатирик, «циничного столетия полнейший всезнайка», как сам назвал себя, — и валяется на брюхе перед закрученными усами, подтянутой офицерской фигурой!

Поэтому мы проиграем войну, с внезапной болью ощутил я. Что еще за войну? Да *нашу,* естественно, извечную войну между милитаризмом и цивилизацией, между рыцарями-разбойниками и приличными людьми. На «нашей» стороне — стороне цивилизации — слишком много извращенного восхищения гнусным глянцем, жестокостью силы…

На следующее утро я возвратился в Берлин.

Через несколько дней после моего визита в Баден-Баден писателя Карла Штернхейма пришлось отправить в сумасшедший дом.

«Sei pazzo?» [118]

Это Венеция — ее переливающийся двойной свет, мавританская волшебность ее архитектуры, страстная песнь о Большом канале.

Две девушки и два молодых человека лежат, растянувшись, в одной гондоле — мы с Эрикой да еще один из моих друзей и

наше «швейцарское дитя» Аннемари, эксцентричная наследница одной из старинных аристократических фамилий. Она честолюбива, нежна и серьезна, с чистым юношеским лицом под мягкими пепельными волосами.

Красива ли она? Когда она впервые обедала у нас в Мюнхене, Волшебник, оглядев ее со стороны со смесью опасения и удовлетворения, в конце концов констатировал: «Странно, если бы вы были *юношей,* то все равно, должно быть, считались *необычайно* милы».

Все же и в качестве девушки она красива. Французский писатель Роже Мартен дю Гар знал, за что благодарил ее, когда в одной из своих книг писал ей это посвящение: «*Pour Annemarie — en la remerciant de promener sur cette terre son beau viage d'ange inconsolable…*» [119]

«Швейцарское дитя! — увещевал я ее. — Не делай безутешным свое ангельское лицо! Что с тобой случилось?»

«Ах, ничего особенного, — ворчала она со своей слегка гортанной интонацией. — Или наоборот, самое разное. Есть так много печальных вещей».

«Например?»

«Мама снова рассвирепела на меня». — Она делает в слове «мама» ударение на первом слоге, что звучит особенно трогательно.

«Ну и что же!» — Я пытаюсь пренебрежительно пожать плечами.

Некоторое время не слышно ни звука, кроме тихого плеска, с которым гондола скользит по воде, маслянисто-покойной, зловонной, зачарованной воде Большого канала. Наконец Аннемари снова заговаривает. «Она была сегодня спозаранку прямо-таки взбудоражена, когда звонила мне из Цюриха. Нашей лучшей лошади не повезло на скачках, и вот за такое-то должна расплачиваться я. То бишь снова я лишена душевного равновесия и полна дурных инстинктов. Всегда одна и та же песня».

После новой паузы она приглушенно добавляет: «И о Тосканини я тоже не могу не думать».

«Артуре? Он тоже сделал тебе выговор по телефону?»

И Аннемари, «швейцарское дитя», вдруг поднимается с гневно посуровевшим лицом и темным пламенем во взоре: «Ударить его в лицо! Эта фашистская сволочь! Потому что он не захотел играть их идиотский гимн! И никто не протестует против чудовищности! Все идет своим чередом в Венеции, в Италии, в Европе, словно бы ничего не произошло! Это сводит с ума!»

Гондольер, который ничего не понимает, ободряюще улыбается громогласной иностранке. Очевидно, синьорина не

совсем хорошо себя чувствует. Если он улыбнется, она успокоится и даст побольше чаевых. Однако она не успокаивается, как ни сверкает венецианец глазами и зубами. Вместо того чтобы ответить на щедрую улыбку, иностранка показывает красивому гребцу-слуге непримиримо-суровое лицо. «Дать ему пощечину! — все еще бормочет она с упрямым отчаянием. — Лучшему человеку, который у них есть! Их *единственному* великому человеку! И никто не протестует…»

«Sei pazzo», — ухмыляется гондольер.

«Are you mad?»[120]

…Мюнхен, лето 1929-го.

Место действия — огромный шатер на Терезиенвизе. В шатре толчется народ — двадцать-тридцать тысяч человек. Темно, только трибуна оратора ярко освещена. И оттуда, с освещенной платформы, доносится звук — отвратительный вой бешеного пса.

«Евреи! — лает ужасный голос. — Эти свиньи евреи виноваты. Кто же еще?»

Молодой парень совсем рядом с нами вдруг визжит, словно укушенный тарантулом: «На виселицу их! Перевешать! На виселицу еврейскую сволочь!» На что голос отвечает мерзко-шутливо: «Только терпение, соотечественник! Терпение приносит розы!»

Толпа ревет, ржет, сотрясается в кровожадной веселости.

«Dear me![121] — шепчет наш английский друг Брайен Говард, который так стремился поприсутствовать на этом зловещем мероприятии. — He's a paranoiac!»[122]

«Кто владеет так называемой республикой?» — вопрошает голос зверя, в ответ раздается: «Еврейский сброд! Кто же еще? Свиньи евреи! Повесить их!»

«How extraordinary![123] — шепчет наш друг Брайен. — Он же явный сумасшедший. Неужели люди этого не замечают? Или они сами помешанные?» Он растерянно качает головой.

А голос, теперь задыхающийся, запыхавшийся, хриплый от ненависти: «Кто владеет так называемой Лигой Наций? Прессой? Международными картелями? Кремлем? Так называемой католической церковью?» И на каждый вопрос следует точно такой же топот и рев: «Свиньи евреи! Перевешать их!»

«Are they mad? Or what?» [124] Брайен снова и снова задает вопрос на разных языках. В конце концов он обращается прямо к полногрудой поклоннице Гитлера, своей соседке: «Вы в своем уме, фрейлейн?» Звучит это не агрессивно — лишь вежливо-заинтересованно. К счастью, белокурое создание в своем возбужденном состоянии не способно понять оклик. Она топочет,

хрипит, хихикает, стонет и пищит в квазисексуальном экстазе. Лицезрея столь вопиющие симптомы, наблюдатель может лишь пожать плечами: «Вам бы следовало посоветоваться с хорошим психиатром, сударыня».

Как это на него похоже! Таков он, наш друг Брайен-Брайен Говард из Лондона, писатель по профессии, сотрудник либеральных литературных обозрений, поборник европейской мысли. Он любит Германию, каждое лето приезжает в Баварию, как раз сейчас мы живем вместе в маленьком отеле на Вальхензее. Но чем ближе кому-то к сердцу немецкая судьба, тем отвратительнее должен быть ему этот голос — голос лжеца, хвастуна, фанатика, уголовника. Брайен не тот человек, кто дает ему запугать себя. «Мерзость, — бормочет он довольно громко. — Аж тошно».

Это совсем не безопасно. В любой миг один из коричневорубашечников может услышать предосудительное бормотание и отомстить. Брайена это не беспокоит. Мужественный до отваги, при, кстати, хрупком телосложении, он, пожалуй, вступил бы один в схватку с целой армией хулиганов.

Однако до этого мы все же не допустим. «Мы можем с таким же успехом уйти, — предложил я приглушенным голосом. — Он пустой болтун, и больше ничего. Его никто, так или иначе, всерьез не принимает».

Вокруг нас, когда мы поднимаемся со своих мест, слышится ропот. «Иностранцы, вероятно», — презрительно объясняет гитлерюнге коллеге. А другой: «И эти тоже еще увидят!»

Пока мы пробиваемся к выходу, нас преследует звериный голос, доносимый и усиленный громкоговорителем, через зал собраний. «Версаль… удар кинжалом… национальный позор, — бушует клоун-маньяк под колеблющимся сводом циркового шатра. — Я обещаю вам, немецкие матери… Покатятся головы… Я обещаю вам, немецкие крестьяне… Наше национальное возрождение… нордическая раса… наше прекрасное отечество… высокие цены на молоко… Я обещаю вам, немецкие ремесленники… масоны… долговое рабство… А кто наживается на этом? Наш заклятый враг, эти паразиты и мошенники, кривоносая вонючая банда преступников…»

Неужели так и не ускользнуть от этого непристойного лая? Лапландия достаточно далека? Или портовый город Кадис на южной оконечности Испании?

Эрика — превосходный водитель. Ее маленький «форд», хотя и выглядел старым и обшарпанным, проявил себя, однако, более выносливым, чем некоторые лимузины. Мы ездим вместе вдоль и поперек Европы, словно в бесконечном бегстве. В Петсамо, на

северной оконечности Финляндии, мы мечтаем об эскападах в полярные зоны. От Кадиса рукой подать до Марокко. Достаточно ли будет велико Марокко? Сможем ли мы там хоть немного успокоиться?

Город Фес — чарующ. Между тем наш арабский проводник настаивает на том, что мы не сможем как следует понять и оценить истинного очарования Востока, не отведав восточного дурмана, волшебной травки гашиш.

Аппетитной она вовсе не выглядит. Своеобразный зеленовато-черный порошок. Проводник утверждает, что он самого лучшего сорта, la qualité des princes [125], нечто совершенно превосходное.

«Мошенник, — жалуется Эрика. — Я вообще не чувствую никакого действия. Принцево качество состоит из шоколадного порошка с корицей». Я соглашаюсь, что это обидно, однако все-таки предлагаю проглотить еще немного этого средства. «Только одну-две чайные ложки. Повредить-то это никоим образом не может, так как речь идет о шоколадной корице».

Мы потребили уже раза в три больше, чем рекомендовал наш друг. И вот мы пропускаем еще одну изрядную дозу, невзирая на его предостережения.

Через незначительное время нам становится необыкновенно весело. Все заставляет нас хихикать. Форма графина для воды, кисточки на домашних туфлях Эрики; название отеля, мебель которого так презабавна, название арабского города, куда привезла нас наша в высшей степени смехотворная машина. «Фес! — повторяли мы снова и снова, бессмысленно веселясь. — Что за название! Visitez Fez, la Mystérieuse! [126] Почему, ради всего святого, вы не посетите загадочный Фес, где каждый носит фес, фес с кисточкой на нем, шапку-башмак благороднейшего качества: даже у нашего проводника есть один, наш шутливый маленький guide, наша газель, которая соблазняет нас кисточкой. Mes princes et mes princesses! Visitez donc — et plus vite que ça! — le mystère de la qualité, les guides Feziens aux principes Hashishaux, le Hashish Marocain aux qualités mystérieuses! [127]»

Так мы резвились, безумно хохотали около часа. Потом внезапно уснули.

Эрика лежит на кровати, я удобно устроился в кресле. Меня разбудил ее вскрик. Она на ногах, мечется хаотично по помещению. Я вижу ее совершенно безумный взгляд на ее мертвенно-бледном лице; я слышу ее вопли, но едва ли понимаю, что она говорит. Я еще охвачен сном. Мой сон был глубок, как транс…

«Я умираю!» Вот теперь я кое-как начинаю понимать. «Я

умираю! — кричит Эрика, скача при этом между кроватью и окном с бледным от ужаса лицом, снова и снова взад и вперед, те же три или четыре шага. — Со мной кончено! О Боже мой!»

«Что случилось? Что такое?» Как тяжело моим губам, моему языку произнести слова! Получается только лепет.

«Это чертово зелье! — произносит она, охая. Еще ни разу не видел я ее в подобном состоянии. Ужас в ее взгляде сообщается мне, тем более что теперь она, уронив руки и запрокинув голову, терзающим душу голосом кричит: — Мы отравлены, оба! Этот гашиш… Нам конец!»

«Мне еще хорошо», — лепечу я. Тогда она прикрикивает на меня: «Мне нет!» — и снова принимается за свою ужасную скачку от окна к кровати и обратно…

Что-то жуткое, должно быть, случилось с ней во сне, некий почти смертельный шок, как явствует из ее с усилием выталкиваемых слов, пытка совершенно ни с чем не сравнимой, неописуемой природы. «Я была слишком далеко… слишком глубоко внизу, — уверяет она меня, снуя безостановочно между кроватью и окном. — Я провалилась так глубоко! Не было больше совсем никакой опоры! Это чертово зелье! Мы отравлены, оба… Мы…»

Я хочу пригласить врача, но Эрика решает: «Пойдем!»

В халате и домашних туфлях? Я колеблюсь, но она тащит меня к двери, наружу, в теплую темень африканской ночи.

Нам приходится пересечь весь парк, чтобы достигнуть центральной части длинного отеля. Огни все погашены, только из нашего помещения льется матовое мерцание, а где-то далеко в главном здании мигает лампа ночного портье. Разнообразные ароматы растений и цветов тревожаще крепки и сладки во влажном, бархатном воздухе. Еще более возбуждает, угнетает, чем запахи, монотонный концерт цикад и лягушек…

«Скажи же что-нибудь! — взывает ко мне Эрика, когда мы, спотыкаясь, бредем бок о бок через ночной лабиринт цветочных клумб и кустов. — Если ты не заговоришь, — шепчет она задыхающимся голосом, — то я опять провалюсь. В черную дыру, в пучину, в бездну… Ну почему ты не говоришь ничего?»

«Мне ничего не приходит на ум… — Мой собственный голос звучит откуда-то издалека, глухое, чужое гудение. — Только, если тебя интересует… Чудеса с моей рукой… Моя правая рука: она отлетела прочь… просто потерялась… А теперь еще и левая тоже! Не странно ли?»

«Что стряслось с твоими руками?» Она хватает меня за плечи, трясет меня. К тому же ее хриплый вскрик: «О, чертово зелье!»

Никогда не смогу я описать, что тут со мной случилось.

Жутко было несказанно. Это было безумие. Да, это был ад.

Сперва отлетели мои руки, потом мои ноги; за ними последовали шея и голова, наконец, все тело. Я растворился, разорвался на тысячу кусков. Моя личность лопнула: фрагменты моего «я» порхали по ночному черному благоухающему саду. О мой нос! Кончики моих пальцев! Они там, запутались в терновнике… Ах, и мой отчужденный ужасный рот тараторит несусветное с верхушки кипариса! Ступни мои бесцельно и безвольно бегут по влажной траве, в то время как сердце мое — клубок распущенных, дергающихся нервов и мускулов — пляшет где-то между небом и землей.

Утверждение, что личность моя «лопнула», может, впрочем, несколько ввести в заблуждение. Да, эта формулировка имеет нечто непозволительно *смягчающее,* принимая во внимание мучительную осознанность, с какой я вынужден был переживать эту гнусность. Ибо наихудшим в этой авантюре и было то, что я посреди катастрофы полностью отдавал себе отчет о чудовищности происходящего и регистрировал процесс своего собственного распада с ужасающей заинтересованностью. Мозг мой — изолированный, но отнюдь не омраченный или парализованный — парил в жестоком бодрствовании где-то над шизофреническим хаосом.

«Это происшествие чрезвычайно серьезно, — осознавал мой одинокий мозг. — Очень даже может статься, что мои руки и губы больше никогда не вернутся ко мне. Во всяком случае, это продлится долго, пока я вновь не обрету свою плоть, и целым мне, пожалуй, никогда не выбраться из этого адского шока».

Я слышал голос Эрики, поразительным образом он доносился с крыши главного здания. «Да почему ты так прыгаешь вокруг? — спрашивала она меня. — Прекрати же танцевать!»

Я отвечал ей с фонтана: «Я не танцую. Ты ошибаешься, ты фантазируешь. А если бы я это делал, то тот, кто это делает, был бы не *я!* Как же я могу прекратить танцевать, когда тот, кто танцует, не был бы *мной, если бы я* танцевал?»

…«Êtes-vous fous?»[128]

Сперва неизбежный вопрос задал нам заспанный ночной портье; потом шофер, которого, на счастье, раздобыли в каком-то кабаке. Он был пьян и не прекращал на протяжении всей дороги в госпиталь грязно бранить нас: «Ça alors! Merde alors! A trois heures du matin! Les fous, alors…»[129]

Машина плыла сквозь облака, Эрика пела, я танцевал. Шофер требовал, чтобы мы постыдились. Я не мог стыдиться. Я боялся. Я орал от страха, потому что голова моя делала рискованные прыжки по крышам; под конец эта добрая старая штуковина вовсе

затерялась на круглом гладком куполе этой статной мечети!

«Не ори так идиотски! — ругался шофер. — Я тебе врежу, если еще хоть пикнешь!»

Эрика между тем заламывала руки с такой порывистостью, что можно было слышать, как трещат суставы. Она пела и заламывала руки. Вероятно, чтобы таким образом бодрствовать. Стоило ей заснуть, как тут же являлась черная дыра, бездна, пучина.

Уже рассвело, когда шофер наконец высадил нас у ворот французского военного госпиталя. Вдруг похолодало, или, может, здесь всегда было свежее, чем внизу, в арабском городе, где располагался наш отель.

Солдаты расспрашивали нас и смеялись над нами, пока шофер беседовал с пожилым человеком в белом халате. «Ага, глотнули слишком много гашиша, — услышал я голос старика из неизмеримой дали. — Что за ребячество! Ну что ж, дадим им снотворного. Хорошо, что вы доставили их сюда… Такой шок может иметь серьезные последствия, если вовремя не вмешаться».

Его голос звучал мягко и нарочито приветливо. Симпатичный человек. Его белая одежда сразу успокаивающе подействовала на меня.

«Но я же говорю вам, мы *не* цыгане!» — уверяла Эрика солдат, которые потешались над нашими пестрыми робами.

«Они небось чокнутые, — смеялся один из парней. — Des pauvres fous»[130].

Однако старик в белом халате нам улыбался! Не беда! — говорила его улыбка, понимающая, ободряющая улыбка старого ученого и солдата, который многое во многих странах повидал и пережил. Ну назвали вас придурковатыми, подумаешь, беда какая! Так ведь в данный момент вы маленько не в себе. Такое вполне может случиться: подчас блуждают в поисках пути. Вы зашли далековато, вплотную к безумию. Однако все-таки не *слишком* далеко! Вы найдете дорогу обратно. И чем хуже было заблуждение, тем больше насладитесь вы потом восстановлением равновесия спасенной личности.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА
ПИСЬМЕНА НА СТЕНЕ
1930–1932

«Это — страшная потеря…»

Обсуждали известие о смерти Густава Штреземана{211}. Бруно Франк сказал: «Это начало конца!» — при этом он угрожающе кивнул. Я еще вижу этот зловещий кивок. Голос его, при всей скорбности, сохранял тот мощный теплый тон, который так в нем любили.

Мы знали, он прав. Несомненно, какой-то отрезок немецкой и европейской истории приближался к своему концу. Интермедия обманчивого благосостояния, благих, но слабых намерений, наивных намерений, наивных иллюзий. Что должно было наступить теперь, оставалось непредсказуемым, но обещало стать скорее катастрофой.

Над нашим миром нависла угроза. От кого? Как звучало имя этой опасности? Мы все еще отказывались признать, что какая-то политическая партия, некая банда авантюристов и фанатиков, которая хвастливо обозначила себя как «национал-социалисты», способна поставить под вопрос всю прочность западных ценностей и традиций. В состоянии подавленности и неизвестности мы подвергали обыску историю в надежде найти аналогии, с помощью которых было бы легче понять и пережить собственную ситуацию. Бруно Франк был одним из первых, кто попытался еще полускрытый кризис истолковать повествовательно, привести его еще неотчетливо понимаемый смысл к сжатой художественной формуле. В его «Политической новелле» мы находим чудовищную проблематику поворота времени упрощенной до драматически-дидактической притчи. Здесь это два государственных мужа — французский и немецкий, — которые становятся представителями европейской трагедии. Мы свидетели их встречи, где-то на Средиземном море; мы вслушиваемся в их диалог, за невозмутимым тоном которого становится явственно ощутима забота о континенте, цивилизации. Один из парламентеров — немецкий — уже отмечен судьбой: мы видим, как он шатается, падает. Будет ли оставшийся в живых Аристид Бриан достаточно сильным и мужественным, чтобы одному встретить врага? Защитит ли он доверенное ему наследие — наследие Греции и христианства — от вечного супостата нашей культуры, напирающего варвара,

перса? Понятием «перс» в контексте этой одухотворенно-ассоциативной истории определяется все, что по существу несовместимо с нашей концепцией человеческого достоинства, — все, что этой концепции агрессивно противоположно. Ценности и противоречия, за которые сражались под Саламином, — те же самые, о которых идет речь в этой «Политической новелле». *Персы идут…* Испуганный возглас и боевой клич эллинов не утратил своей роковой актуальности.

Но история — это вариации и развитие мифологической модели, а не ее повторение. Угроза, которой оказались подвергнуты греческие государства, кажется чуть ли не безобидной в сравнении с той, которую приходилось измерять и переживать нам теперь. Ибо на сей раз на штурм акрополя отважился не внешний враг: опасность шла изнутри, в нашей сердцевине рос дьявольский посев. Мы стояли объятые ужасом, парализованные перед лицом этого гибельного буйного разрастания; да, иные из нас унижались — намеренно или нет — до пособников и подстрекателей разрушительных сил. Самоуправство и слабость, сварливость и глупость в наших рядах стали мощными союзниками врага.

Яд реакции, враждебной культуре, развращал не только политическую жизнь, но и начал уже разлагающе влиять на настроения и идеи так называемой «либеральной» интеллигенции. Культ «крови-и-почвы», злостное смакование биологических ценностей в ущерб духовным, переоценка инстинкта и интуиции вкупе с относящейся к этому недооценкой критики — все эти симптомы фашистской чумы отмечались не только в праворадикальной, националистической прессе, но и в претенциозном жаргоне модных философов и литераторов. Все, кто разбирался в духе времени и желал шагать с ним в ногу, видели в национал-социализме «грядущее», the Wave of the Future [131], как позднее одна американская фашистка назвала скандал с Гитлером. Было мучительно видеть мазохистскую ухмылку, с которой еврейские критики превозносили откровения националистических мракобесов как «драгоценные документы времени». Автобиография убийцы Ратенау Эрнста фон Заломона{212}, к примеру, стала сенсацией в отделе хроники неарийских газет. Та «Франкфуртер цайтунг», которую блаженный Гитлер имел обыкновение именовать «еврейской шлюхой», восхваляла до небес книгу убийств; восхищались там и Эрнстом Юнгером{213} (такая переменчивость! что за интуиция!), тогда как от прекрасной и важной новеллы о Бриане Бруно Франка докучливо отмахивались. Так интеллектуалы левого толка отпиливали с самодовольным хихиканьем тонкий сук, на

котором как раз им еще удавалось сидеть. Кто посмеивался в кулачок, так это доктор Геббельс.

Я не был моралистом и не получал взяток от республики, которая резервировала свои деньги для восточноэльбских крупных помещиков, рейнских промышленников и любимых военных, но эта постоянно растущая путаница понятий в собственном лагере начинала все же мало-помалу меня здорово раздражать. Вульгарная поспешность, с которой столь многие из моих коллег искали и находили смычку с «грядущим», а именно с грядущим варварством, казалась мне неприличной до degoutanten[132]. Так себя не ведут, если чувствуешь себя ответственным за состояние духа нации, если ты — писатель. Французский литератор Жюльен Бенда{214} дал меткое определение этого скандального извращения интеллектуалов — la trahison des clercs [133]; в предгитлеровской, созревшей для Гитлера Германии столь верная формулировка никому не пришла бы на ум. Да, это достаточно дурно и печально, когда нечистый совращает профанов, невежественных людей, но бесконечно противнее непристойный флирт между заклятым врагом и священником. А именно это, к сожалению, слишком уж часто происходило в Германии той финальной фазы перед возникновением третьего рейха. Священники, то бишь интеллектуалы (не все, но большинство), втирались в доверие к антихристу, то есть к противнику духа, свободы, цивилизации.

Один из них, кого я особенно почитал, поэт Готфрид Бенн, зашел так далеко, что оклеветал идею прогресса как «величайшую вульгарность человеческой истории». Курьезное высказывание ввиду триумфального наступления сил, которые казались хоть и наверняка враждебными прогрессу, но при этом все же не лишенными известной вульгарности. Бенн — большой поэт: некоторые из его прямо-таки гипнотизирующих, трагически смелых стихов навсегда запечатлелись, их ритм остался у меня в крови как эхо прежде услышанных, прежде полюбившихся заклинаний. И лично я тоже был тогда в сердечных отношениях с внешне столь корректным и сущим провидцем, который не находил ниже своего поэтического достоинства трудиться по совместительству или по основной профессии в качестве специалиста по кожным и венерическим заболеваниям в одном берлинском рабочем квартале. Там я посещал его время от времени. Вдохновенный доктор (его взгляд был сонным и прикрыт очень тяжелыми веками) угощал меня по доброму бюргерскому обычаю кофе с сухим печеньем. Мы болтали о поэтах. Иногда он исчезал на несколько минут в соседнюю комнату, где находился пациент. «Глупая история, — замечал он

благодушно после этого, — запущенный триппер. Почему она не приходит своевременно, эта безмозглая особа?» Затем снова заговаривали о литературе. Мы друг друга понимали в литературных вопросах. Он любил Ницше (которого роковым образом воспринимал буквально), Гёльдерлина, Рембо. Он любил Генриха Манна, чье шестидесятилетие отметил прекрасной праздничной речью. Однако единодушие исчезало, как только подходили к политическим проблемам, которых мы, правда, только изредка касались в своих беседах. Бенн доводил флоберовское презрение к буржуазной вере в образование и прогресс до той рискованной крайности, где оно оборачивается злостным нигилизмом. У того, кто принимает и прославляет «трагическое» и «героическое» как наивысшее, как единственно законные ценности, для идеалов и чаяний демократии найдется лишь насмешливая гримаса. Д-р Бенн строил гримасу, размышляя о справедливом распределении земных благ, организации международного мира, миссии Лиги Наций. Все это считалось им пошлым «девятнадцатым столетием», пустой выдумкой гуманистов, совершенно нетрагической и негероической. Национал-социализм, напротив, это было кое-что другое! Не целиком, может быть, вызывающий симпатии, но динамичный, интересный, полный жестоко-привлекательных возможностей! Увлеченный идеями Ницше, дерматолог был приятно тронут антигуманистическим, антихристианским радикализмом, иррациональной жестокостью гитлеровского движения. Он вообще имел дело с «иррациональным». Да и я некогда был влюблен в этот термин, содержание которого остается столь же текучим и неопределенным, как именно сфера естественно-аморальных импульсов в противоположность сфере критическо-морального духа. Однако если «иррациональное» в своих нежно-мечтательных, эротически связующих формах проявления нравилось мне, то оно пугало меня в своих агрессивно-грубых манифестациях, особенно где таковые грозили принять характер разрушительной массовой истерии. Затаенное или даже с улыбкой признаваемое удовлетворение, с которым наблюдал и принимал этот омерзительный феномен такой во многом мне родственный и достойный восхищения дух вроде Бенна, не могло не действовать мне на нервы. Я счел себя вынужденным публично занять позицию против него, хотя тогда мы еще были дружны и я еще не мог знать — однако, может быть, все-таки уже предчувствовал, — как далеко он зайдет в своей циничной, безответственно-парадоксальной trahison [134] позднее, после переворота 1933 года.

До полемики, впрочем, дело так и не дошло. Сентябрь 1930

года принес триумф партии Гитлера на выборах в рейхстаг{215}; ситуация обострилась, из скрытого кризис стал явным. Однако даже перед лицом такой кричащей опасности интеллектуалы, эти продажные священники, не прекращали потворствовать злу. В литературных салонах с фривольным оживлением обсуждали неизбежную победу «национальной революции», от которой, казалось, ожидали, благоприятного воздействия на книжный рынок.

У некоторых — как у Бенна — была дьявольская склонность к игре, другие употребляли свою гордость на то, чтобы оставаться «объективными», «понимающими», «справедливыми» даже и по отношению к смертельному врагу. К этому типу относился Стефан Цвейг. Я любил его, ценил его как писателя и друга, был ему благодарен за ободряющее участие, оказанное им моей работе. Мне нравилось в нем, что он был таким открытым, таким чувствительным и терпимым, таким «возвышенно пацифистским» (пользуясь выражением, которое он однажды в разговоре применил к самому себе, произнося его по-венски, с носовым оттенком, бархатисто-мягким голосом). Однако примиренчество и любовь к справедливости могут привести к опасным ошибкам. Так поступил Стефан Цвейг, пытаясь на свой лад истолковать катастрофу сентябрьских выборов как достойный приветствия «бунт молодежи». Это все же слишком «возвышенно пацифистское» понимание до такой степени разозлило меня, что я счел необходимым выступить против него. Мне представляется в известной степени небезынтересным воспроизвести здесь некоторые места из открытого письма, которое я тогда, в 1930 году, направил Стефану Цвейгу под названием «Молодежь и радикализм» и которое позднее опубликовал в своем томе эссе «В поисках пути»:

«Есть также и умение все понять, эдакая услужливость по отношению к молодежи, которая заходит слишком далеко. Не все, что делает молодежь, направлено в будущее. Высказываю это я, а сам я молод. Большая часть моих ровесников — и еще более молодых — с порывом, который должен был обусловить движение „вперед“, решилась пятиться „назад“. Этого мы не смеем одобрять ни при каких обстоятельствах. Абсолютно ни при каких обстоятельствах!

Вы же делаете это, называя ужасный исход немецких выборов в рейхстаг некоим „может быть, неумным, но по своей сути естественным и вполне положительным бунтом юности против высокой политики“.

Ваша прекрасная симпатия к юношеству сама по себе заставляет Вас, боюсь, проглядеть, *в чем суть этого бунта.* Чего

хотят национал-социалисты? (Ибо о них идет речь сейчас, никоим образом не о коммунистах!) В каком направлении они радикализируются? Ведь в конечном счете все дело в этом. Один радикализм — это еще ничего позитивного, а уж тем более, когда он так малопривлекателен, но демонстрируется так разнузданно и бездарно, как у наших рыцарей свастики… Это значит то, Стефан Цвейг, что я отдаю Вам на откуп свое собственное поколение или по меньшей мере *ту* часть поколения, которую Вы как раз извиняете. Между нами и этими невозможна связь, кстати, те — первые, кто отрицал бы какую-нибудь связь с резиновыми дубинками. С помощью психологии можно понять все, даже резиновые дубинки. Я, однако, к ней не прибегаю, к этой психологии. *Я не хочу понимать тех, я их отвергаю.* Я принуждаю себя к утверждению, хотя оно выступает против моей чести как писателя, что феномен истеричного национализма меня ничуть не интересует. Я считаю его никаким иным, кроме как опасным. В этом состоит *мой* радикализм.

Военный призыв 1902 года мог сказать: „La guerre — ce sont nos parents“ [135]. А что, если бы призыву года 1910 пришлось бы сказать: „La guerre — ce sont nos frères“[136]?

Тогда наступил бы час, когда мы до глубины души устыдились бы принадлежать к поколению, чей напор активности, чей радикализм таким чудовищным образом извращен и обращен в негативное».

Пока все в порядке. Спорным остается, был ли я со своей стороны вправе разыгрывать из себя политического эксперта и представителя «доброго дела». Что я сам делал для улучшения и защиты нашей столь сильно нуждавшейся в защите и улучшении демократии? Где был мой собственный вклад в спасение подверженной опасности республики? Каким боевым деянием или социальным свершением я мог бы похвалиться?

Бесспорно, я был против Гитлера — с самого начала, безусловно, без каких-либо оговорок психологически-пацифистского или дьявольски-парадоксального рода. Даже моему бдительнейшему смертельному врагу не удалось бы во всей моей писанине обнаружить ни единого пассажа, который в каком-то смысле соответствовал или делал уступки нацистской философии, нацистскому вкусу. Все направление мне не подходило, было для меня мерзостью и пакостью, сплошь ненавистным и противоестественным. Это уже нечто, аргумент, который можно все-таки привести в пользу моего морального инстинкта и моей политической компетентности. Но этого недостаточно.

Да, может быть, дело обстояло даже так, что это полное отсутствие контакта с нацистским образом мышления прежде всего затруднило или сделало невозможным действенно бороться как раз против этого образа мышления. Наша ненависть, наверное, становится только там активной и действенной, где мы ощущаем известное сродство с противником. Не одолевают, даже не щадя сил, того, что презирают совершенно. Стоит ли логически опровергать очевидную чушь и наглое сумасбродство? Довольствуются тем, что с отвращением пожимают плечами.

Эти нацисты — я их не понимал. Их газеты — «Штюрмер», «Ангрифф», «Фёлькишер беобахтер» или как там еще называлась эта мразь — могли бы с таким же успехом появляться на китайском языке: до меня это не доходило. О чем же шла речь в странных песнях, которые заставляла слушать в переулках коричневая чернь? О чем говорилось в их памфлетах и манифестах? Только что-то должно ведь было скрываться за всей этой абсурдной болтовней о евреях, процентной кабале и версальском диктате — какой-нибудь тайный смысл, доступный одному посвященному. Он-то понимал, может быть, что имелось в виду, когда со странной настойчивостью утверждалось, что израильтяне хотят разрушить Германию, — подозрение, несостоятельность которого была очевидной для всякого разумного. Но, может быть, в мистерии нацистской души и нацистского жаргона были посвящены лишь те, кто преодолел в себе разум, окончательно от него отказался? Если же еще так далеко не шагнул, то на душе у тебя перед лицом такого количества глупости и лжи могло сделаться, пожалуй, весьма тоскливо.

У меня было тоскливо на душе, но недостаточно тоскливо — именно потому, что я не хотел понимать, что большинство моих сограждан давно принесли sacrificium intellectus [137] и убили в себе разум как досадную помеху. Подобные вещи долго считаешь делом невозможным. Пока не убедишься, что все возможно. У меня не укладывалось в голове, что немцы на полном серьезе могли считать Гитлера великим человеком, мессией, да и только. Этот — и великий? Ведь достаточно лишь посмотреть на него!

Мне еще раз представился случай изучить эту физиономию. Как-то раз примерно в течение получаса я находился совсем вблизи. Это был 1932 год, за год до «захвата власти». Чайная «Карлтон» в Мюнхене была в ту пору одним из его постоянных заведений — факт, о котором я, впрочем, не имел никакого понятия, когда однажды в полдень зашел туда побаловаться чашкой кофе. Я решил зайти в это заведение, потому что кафе «Луипольд» — прямо напротив, на другой стороне

Бриннерштрассе, — недавно стало местом встречи СА и СС: порядочный человек там больше не бывал. Фюрер, как теперь оказалось, разделял мою антипатию к своим храбрым мужам; он тоже предпочитал интимность изысканного кафе.

Тут он и сидел, окруженный несколькими привилегированными сообщниками, и наслаждался своим земляничным пирожным. Я занял место за соседним столом, отдаленным едва ли на метр. Он отведал еще одно земляничное пирожное со взбитыми сливками (пирожные в «Карлтоне» были хороши); потом третье — если уже не четвертое. Я сам весьма охотно ем сладкие вещи; однако зрелище полуинфантильной, полухищнической прожорливости отбило у меня аппетит. Впрочем, я хотел, раз уж случай привел меня сюда, сконцентрировать все свое внимание на лакомке за соседним столом, что вряд ли было бы возможным, если бы я лакомился сам.

Два вопроса прежде всего занимали меня в течение этих тридцати минут жуткого соседства. Во-первых, в чем состояла тайна его воздействия, его колдовства? И, во-вторых, кого он мне напоминал, на кого он был похож? Несомненно, он походил на какого-то человека, которого я не знал лично, но чей портрет часто видел. Кто же это был? Не Чарли Чаплин. Ни в коем случае. У Чаплина есть эти усики, но ведь нет этого носа, этого мясистого, вульгарного, просто непристойного носа, который тотчас произвел на меня впечатление отвратительнейшей и наиболее характерной детали гитлеровской физиономии. Чарли Чаплин обладает обаянием, изяществом, умом, экспрессией — свойствами, которых и следа не было заметно у моего поглощающего взбитые сливки соседа. Этот казался скорее в высшей степени неблагородной субстанции, эдакий злобный обыватель с истерически замутненным взглядом на бледной, отечной физиономии. Ничего, что могло бы дать основание подумать о величии или хотя бы одаренности!

Это было, конечно, отнюдь не отрадное чувство — сидеть вблизи от подобной твари; и тем не менее я не мог досыта наглядеться на эту противную морду. Особенно привлекательным я его, правда, никогда не находил, ни на фотографиях, ни на освещенной трибуне; но уродство, которое я обнаружил перед собой, тем не менее превзошло все мои ожидания. Вульгарность его черт успокаивала меня, действовала на меня благотворно. Я смотрел на него и думал: ты не победишь, Шикльгрубер, даже если вырвешь себе душу из тела. Ты хочешь править Германией? Хочешь стать диктатором — с *эдаким* носом? Не смеши меня! Ты до того уродлив, что мог бы вызвать почти жалость — если бы

твое уродство было бы не столь отталкивающим… Закажи только себе еще земляничного пирожного, Шикльгрубер, — это, наверное, пятое? — через пару лет ты не сможешь больше себе этого позволить; нищим, преданным забвению станешь ты через пару коротких годков. Ты никогда не придешь к власти!

Неужели не было кровавого ореола вокруг его главы, чтобы предостеречь меня? Никаких письмен на стене{216} чайной «Карлтон»? Ничего тревожного я не замечал. Только розоватый сдержанный свет, приглушенная музыка, громоздящаяся выпечка и посреди этой сладкой идиллии некий несимпатичный, но, конечно, безобидный маленький человечек с комичными усиками и своенравным лбом, который в кругу столь же незначительной компании сотрапезников отхлебывал из чашки шоколадный напиток. Я улавливал отрывки их беседы, они обсуждали состав музыкального фарса, который в тот самый вечер должен был впервые идти на сцене мюнхенского Камерного театра. Одна наша ближайшая подруга, выдающаяся характерная актриса Тереза Гизе{217}, играла ведущую роль. Фюрер объявил, что он радуется представлению. Во-первых, потому, что оперетта вообще — это нечто милое («…здоровый юмор… наконец-то основательно посмеешься…»), во-вторых, и в особенности, из-за Гизе, которую он, фюрер, находил «просто примой». «Национальнейшая артистка, какую только найдешь в Германии», — констатировал он вызывающе и помрачнел, когда один из товарищей — уж не Штрейхер{218} ли? — осторожно указал на то, что дама, насколько он знает, не является чисто «арийской» крови. «Какой-то изъян… с расовой точки зрения не совсем безупречна…» — пробормотал бестактный сообщник, после чего усики, говорившие доселе с несколько нарочитой осторожностью, угрожающе повысили голос. «Зловредная сплетня! — решил он, наморщив лоб. — Как будто я не вижу разницы между германским прирожденным талантом и семитской уловкой!..»

Мне стоило усилия, чтобы не брякнуть чего-нибудь. Гизе бы сюда, чтобы она это послушала!

Ты никогда не придешь к власти, глупый Шикльгрубер! — думал я опять, теперь в лучшем настроении. Когда я подзывал официантку, чтобы оплатить счет, мне вдруг снова пришло в голову, кого напоминает этот субъект. Хаармана, само собой разумеется. Как это я сразу не додумался? Разумеется же, он выглядел как убийца мальчиков из Ганновера, чей процесс недавно стал сенсацией. Был ли он, австрийский завсегдатай оперетты за соседним столом, столь же усердным, как его северонемецкий двойник? Этому гомосексуальному Синей Бороде

удалось завлечь в свой гостеприимный дом тридцать-сорок малышей, где он во время любовного акта перекусывал им глотку, а из трупов делал вкусные колбасные изделия. Изумительное достижение, в особенности если учесть, что прилежный друг детей располагался в одном битком набитом доходном доме между бдительными соседями! Где есть воля, есть и путь: с упорной целеустремленностью добиваются даже невозможного… Сходство между обоими людьми действий поразило меня. Усы и завиток, затуманенный взгляд, жалостливый и одновременно жестокий рот, упрямый лоб, да даже непристойный нос. Все было одно и то же!

Такой-то никогда не придет к власти! Я был совершенно уверен в этом, двигаясь теперь к выходу.

Ты пустышка, Шикльгрубер. Тебя хватит самое большее на убийство на почве полового извращения!

Никакого кровавого сияния? Никаких письмен? Никакого предостерегающего знака?

Нация, которая прежде гордилась многими своими поэтами и мыслителями, признавала в качестве «человека судьбы» клопа. Как могло зайти столь далеко? Эти немцы, я их не понимал.

Но разве я не был одним из них? Конечно же, я был таковым. Не только по языку. Немецкая культура сформировала мое мировоззрение, мою духовную суть или все-таки решающим образом повлияла на нее. Родительскому ли дому, как мой, и тем, кто оттуда вышел, ничего не знать о немецкой национальности? Провести детство под знаком немецких песен и сказок, юность с Новалисом, Ницше, Гёльдерлином, Георге — и пребывать чуждым немецкому духу?

Быть может, слишком родственными ему чувствовали себя, слишком близко связанными с этим великим и прекрасным духом, чтобы содействовать его подделке и унижению или даже просто наблюдать вместе со всеми; быть может, так глубинно зарождены в сфере европейски-универсальной немецкости, что обречены лишиться родины в стране, где универсальная мысль оставалась живой только еще как мечта о мировом господстве.

Да, только взрослым я узнал, что такое быть лишенным родины, и все-таки еще жил в стране своего рождения, Германия была мне чужая, я был чужаком в Германии еще до того, как окончательно с нею расстаться. При всем восхищении великими деяниями немецкого гения, при всей симпатии к определенным чертам и возможностям немецкого характера я не испытывал никакого воодушевления от нации и от того, как она теперь развивалась и, по всей видимости, будет развиваться дальше. Я чувствовал себя не принадлежащим этой нации. Уже потому нет,

что понятие национального государства воспринимал как устаревшее вообще и верил в необходимость национального соединения. Никакой другой национализм, однако, не казался мне таким пагубным и при том таким смешным, как *немецкий* с его добропорядочностью «Мейстерзингеров» и подавленностью «Тристана», его бряцающей оружием напористостью и его всхлипывающей сентиментальностью, его вечно неудовлетворенным притязанием, его с избытком компенсированным комплексом неполноценности, его примитивным коварством и продувной наивностью, его чванством, его манией преследования, со всей его мучительной, стерильной проблематикой.

Разве представители этого национализма — нацисты и их друзья — не были правы, называя существ, таких, как я, «лишенными корней»? Я не имел корней, не хотел иметь. В земле, которую те характерным образом столь охотно связывали с кровью — а именно с кровью, которой они хотели напоить свою возлюбленную землю. Родимый клочок земли не удерживал меня; по большей части я предпочитал асфальт чужих больших городов или светлый песок какого-нибудь южного побережья. Как же мне было научиться, как следует понимать глубину немецкой проблематики — и величину немецкой опасности, — если большую часть года я шатался по заграницe? «Заграницей», или по крайней мере зараженной заграницей, была, впрочем, с точки зрения немцев, и наша среда в Мюнхене и Берлине. Круг в родительском доме — за некоторыми исключениями, типа доморощенного Йозефа Понтена{219} и сверхпатриота, чтобы не сказать шовиниста, Эрнста Бертрама, — наши с Эрикой друзья: сплошь интернациональный сброд, интеллигентские бестии, культурбольшевики, лишенные корней, чуждые народу элементы!

Разумеется, мое общение никоим образом не ограничивалось интеллектуальной или светской сферой, напротив, некий более популярный тип сильно занимал меня — пусть даже и не по причине патриотической убежденности и добродетельной привязанности к клочку земли. Среди молодых друзей скромного происхождения, с которыми я водился тогда в Германии, вероятно, были и те, кому позднее довелось оказаться «персом» и принять активное участие в убийстве культуры. И я ничего не замечал? И не становилось мне боязно в их внешне столь безобидном бодром обществе? И я не распознавал знака предстоящей вины на их гладком, милом, еще невинном челе?

Несомненно, такой парень, как мой друг Ганс П., был одним из потенциальных «персов», несмотря на свои приятные манеры и свою бодрящую веселость. Я симпатизировал ему, моему другу

П., в такой же мере, как моему другу Вилли Х. или моему другу Отто У.; может, даже еще несколько больше. Он был таким, каковы они были все: ленив, прожорлив, добродушен, полон юмора, с некоей чувственной жизненной силой, в которой поначалу еще, казалось, отсутствовал элемент жестокости. Глупым он не был, Ганс П., отнюдь не лишенный природного ума; однако его необразованность была вопиющей. Иногда я забавлялся тем, что задавал ему коварные вопросы, как, например: «Ты ведь знаешь, что Иоганн Вольфганг фон Гёте был тем отважным генералом, который в 1870 году вел нас к победе против китайцев?» Тогда мой Ганс добродушно ухмылялся: «Ясное дело, старик!»

Он положительно совсем ничего не знал, кроме веса международных боксеров и жалованья кинозвезд. Он вышел из того слоя немецкой мелкой буржуазии, который пролетаризировался вследствие инфляций; у него не было никакой профессии, никакого домашнего очага, никакой амбиции, никакого убеждения. Можно было заставить его поверить во все, ибо он совсем ни во что не верил. Он был нигилистом, отбросившим все философские системы и моральные постулаты, не зная их. Такие понятия, как «культура», «мир», «свобода», «человеческое достоинство», были лишены для него всякого смысла, всякого содержания. Он жил одним днем. О собственном будущем он, казалось, заботился столь же мало, сколь и о будущем нации и человечества.

Был ли он счастлив? Едва ли. Где-то — пусть даже в подсознании — ему все же требовался, наверное, некий закон, некая вера, которая придала бы его существованию цель и содержание. Почему я не сделал попытки вывести этого подверженного опасности, но еще не потерянного брата на правильный путь? Почему я не порадел об этой лишенной устойчивости и направления, но ведь наверняка не никчемной душе? Ах, сколько упущено! В сколь многих грехах неисполнения приходится исповедоваться, каяться!.. Так как юноше не предоставлялось правильного руководства, он попался на удочку великому мошеннику.

Я был опечален — но нельзя сказать, что поражен, — повстречав его однажды в изящном, плотно облегающем фигуру мундире гитлеровской личной охраны. Мой смех, должно быть, прозвучал несколько напряженно, когда я спросил его: «Что это с тобой стряслось? Никак совсем спятил?» Он угрюмо пожал плечами: «Ну, жить-то надо». «Это точно, — сказал я. — Но почему в этом маскараде?»

На что Ганс П., к моему изумлению, чуть ли не торжественно

произнес: «Ну, ты это оставь! Так, может быть, только и хорошо. Нацисты кое-что понимают. Хотят Германию из дерьма вызволить. И вообще, мы станем господами, понятно?»

«Ими вы не станете, — заверил я его, теперь в свою очередь серьезно. И после паузы: — Ты что, веришь во всю эту чепуху, Ганс?»

Вместо ответа он лишь повторил, одновременно уклончиво и угрожающе: «Господами мы станем. Вот увидишь!»

Да, теперь я видел это: он покидал меня, был уже потерян для меня и моего мира. Он ненавидел его, этот мир, мир культуры и человеческого достоинства, мир «демократии», который остался виноватым перед ним. Стать господином там, где им так долго пренебрегали и не замечали его! И в качестве «господина» сметь разрушать то, что должно было ему казаться чуждым и враждебным, — цивилизацию!

«Тогда, значит, между нами конец, Ганс, — сказал я. (Я мог бы его спасти. Быть может… Надо бы было все-таки попытаться! Ах, эти упущения! Эта вялость сердца!) — Будь здоров».

А он — причем избегая моего взгляда: «Будь сам здоров, Клаус! И если тебе когда понадобится влиятельный друг в партии — ну, ты же знаешь мой адрес!»

…Был ли он среди буянов, штурмовавших зал, в котором Эрика декламировала антивоенное стихотворение? Стихотворение за мир и согласие… Неприятный инцидент произошел во время собрания, созванного одной пацифистской женской организацией. Эрика выступала как артистка, не как политический оратор. Гвоздем вечера была делегатка из Парижа; она передала с задушевным красноречием привет французских женщин, которые ни за что не хотели разрешить своим супругам, братьям и сыновьям идти на войну против немецкого народа. Она говорила по-французски. Рассаженные по всему залу нацисты не понимали ее и не знали, где «вонзить зубы».

Только при выступлении Эрики нацистская банда проявила себя. Эрика стояла на помосте. Тонкая, прямая, прекрасный пламень во взгляде. Сначала казалось, что она вовсе не слышит хриплых выкриков, с помощью которых незваные гости надеялись сбить ее с толку. Но как мог ее ровный голос противостоять первобытному крику варваров? «Кончай! — ревел дремучий лес. — Государственная измена! Стыд и позор! Мы протестуем от имени нации!»

Публика, заплатившая за свои места, протестовала в свою очередь, но, как можно понять, без успеха. Эти героические нападающие — между прочим, обряженные не в коричневые рубашки, а в гражданские — пробивались, размахивая

резиновыми дубинками, к пацифистским дамам. Несколько студентов-социалистов пытались остановить нацистов. Возникла дикая, кровавая свалка с паническим массовым бегством к выходу, переломанной мебелью, истеричным плачем и всем прочим. Мне стало несколько жутковато при виде этой сцены насилия, не столько за себя самого (странным образом мне не приходила мысль, что подлые убийцы могли причинить что-то мне лично), сколько прежде всего за Эрику, которая, очевидно, совершенно не осознавала, что находится в серьезной опасности. Вместо того чтобы уйти с помоста, как это повелевала бы осторожность, она подступила вперед, к рампе, наблюдая мятеж у своих ног с яростно-веселым любопытством. Не знаю и просто не могу себе представить, что произошло бы с ней, если бы патриотические громилы достигли помоста прежде, чем вмешалась полиция. К счастью, в последний момент на горизонте появилось несколько охранников, после чего отважных антипацифистов как ветром сдуло.

Не без удивления читал я на другое утро следующий лозунговый заголовок в «Фёлькишер беобахтер»: «Террористическая полиция жестоко обращается с немецкими юношами, которые совершают „преступление“, присутствуя на открытом собрании». Таким, значит, образом это делается! Раньше, наверное, довольствовались бы тем, чтобы чуточку подкрасить правду, отретушировать, выправить ее в интересах собственного дела; теперь же просто переворачивают, ставят ее на голову, утверждают противоположное тому, что было на самом деле. Это вовсе не трудно, надо только иметь наглость. «Еврейский лоточник кусает немецкую овчарку!» Почему бы в самом деле этой часто цитируемой остроте не происходить из листка Геббельса? История о «террористической полиции» была точно так же фантастична.

Статья, которую «Беобахтер» преподнес под таким ошеломляющим заголовком, изобиловала оскорблениями в адрес Эрики, которая была обозвана «плоскостопой мирной гиеной». Это было хоть и забавно, однако не совсем безопасно, как слишком скоро должно было подтвердиться. Молодая актриса, сделавшаяся непопулярной у нацистов в Германии 1931 года, причиняла себе ущерб, почти разорялась. Директор одного провинциального театра, который ангажировал Эрику на несколько ролей в рамках летнего фестиваля, был вынужден уведомить ее телеграммой об аннулировании договора: «мирные гиены» на его сцене нежелательны. Это была только первая ласточка, другие не заставили себя ждать. Баварский государственный театр, Мюнхенское радио, кинокомпания

«Эмелька» — все вдруг отказывались от услуг Эрики на будущее. Это был бойкот; политически скомпрометированной отказывали в поддержке.

«Подумать только! — Она говорила это, покачивая головой, скорее удивленная, чем возмущенная. — Читаешь этакое безобидное стихотворение, и вот тебе на, попадаешь вдруг в переплет! Я ведь понятия не имела, во что ввязалась… Ну что ж, это меня устраивает! Если этот сброд хочет драки, я к их услугам. Пусть я буду мирной гиеной; но все-таки не трусихой!»

Нацизм объявил нашему дому войну, семья Манн была у него бельмом на глазу. Особенно действовала ему на нервы Эрика: она позволила себе подать жалобу на «Беобахтер» за оскорбление. У фрейлейн Манн нет головы, утверждал листок. Лишь «головоподобное образование». Суд, которому она переслала множество портретов (она не была тогда в Мюнхене и считалась отсутствующей по уважительной причине), не нашел в ее голове никаких недостатков. Гитлеровскому листку пришлось извиняться да еще и выплатить штраф, что было воспринято как непростительный скандал.

Что касается меня, то у пробуждающейся Германии я тоже не был на хорошем счету. Конечно, того, что я делал против нацистов, было немного, было постыдно мало; но и шпилек, которые я при случае умел подпустить в докладах, статьях, интервью, было все же достаточно, чтобы привести тех в бешенство. «Погоди же, парнишка! — грозили мне в коричневой прессе. — Придет день, когда ты перед нами покаешься!»

Генрих Манн был противником, которого восприняли всерьез. Его голос нельзя было пропустить мимо ушей: ему присуща убедительность, идущая от подлинной страсти, искреннего чувства, сердца. Нацистов он, автор «Верноподданного», видел насквозь, изображал и разоблачал раньше, чем они еще консолидировались в «движение». Он был усерднейшим поборником и защитником немецкой республики, но также и ее острейшим критиком. Теперь ему приходилось видеть, как она терпит крушение как раз от тех ошибок, от которых он ее вновь и вновь предостерегал, удерживал. Неминуем ли был крах? Нет, если бы силы сопротивления сплотились! Именно этого требовал политический писатель Генрих Манн: объединения антифашистских партий против Гитлера, конца междоусобиц среди социал-демократов и коммунистов. Призывы к спасению демократии, которые он в эти годы — последние перед катастрофой — обращал к ослепленной нации, дышали пафосом, тем глубже трогающим, что на его блеске лежат тени уныния, отречения.

Но даже если бы он действительно знал или предчувствовал, что это напрасно, такой боец, как Генрих Манн, не прекратил бы бороться и надеяться. До последнего мгновения, с отважным упорством и стойким энтузиазмом он будет вызывать к себе ненависть, которой удостоит его противник.

Если и был кто, кого они ненавидели еще больше, чем Генриха Манна, последовательного республиканца, так это его брат, которого они упрекали в «непоследовательности» и который слыл у них за предателя. Его политическая карьера началась с аполитичных размышлений о культуре, музыке, протестантизме, Шопенгауэре и «симпатии к смерти» — вот почему от него требовалось, чтобы он в дальнейшем придерживался немецкого национализма. А раз он этого не делал, значит, был ренегатом, продажным оппортунистом.

Да, он был достаточно «оппортунистичен», чтобы дважды в течение двух десятилетий бросить вызов интеллектуальной и политической моде, господствующему мировоззрению. Ибо «литератор цивилизации», против которого он в 1918 году направил свою отчаянную полемику, как раз и был тогда моральным победителем, человеком, задающим тон. А что было «последним криком» в 1930 году? Именно та агрессивная мистика «крови-и-почвы», то антигуманное «сверхчеловеческое», кои автор «Размышлений» сделал предметом своих обвинений и атак. И что же он заслужил от этой мучительной вражды? Наверняка никакой благодарности от республики. Она-то вела себя совершенно равнодушно по отношению к усилиям своих литературных представителей. Ни один писатель не мог надеяться снискать золото и славу, вступаясь за обанкротившуюся немецкую демократию. Это было неблагодарное занятие, не говоря уже об опасности, которую оно несло с собой. Такой «вредитель» и враг национального дела, как Томас Манн, осыпался не только оскорблениями, но и угрозами. Патриотически подогретые юнцы письменно или по телефону обращали его внимание на то, что они намереваются его успокоить, в случае если он еще хоть раз пикнет против национального подъема. К сожалению, не было причин легкомысленно относиться к подобным угрозам. Число жертв было уже устрашающе велико. Несмотря на это, надо было бороться дальше.

«Немецкое обращение», которое мой отец читал в Бетховенском зале в Берлине 17 октября 1930 года, спустя почти ровно месяц после роковых выборов в рейхстаг, означало драматическую кульминацию этой долгой и горькой борьбы. Переполох начался в зале, когда оратор с настоятельнейшей серьезностью призвал немецкую буржуазию заключить мир с

организованными рабочими и принять наконец идею социалистической демократии, что предотвратит позор и катастрофу третьего рейха. В этом месте уязвленная немецкая честь поднялась со своих кресел и разразилась лаем.

Немецкая честь была в темных очках (как блаженный генерал Людендорф, когда после проигранной войны бежал через границу); однако все-таки можно было тотчас разглядеть, что это был Броннен{220}. Помнят ли еще такового? Арнольт Броннен, эдакий вызывающий юнец, который сначала сделал себе имя как автор экспрессионистски усложненной порнографии. В его «Сентябрьской новелле» дым коромыслом, забавы, полные инспирированной похоти, при этом не совсем уж бездарно. Талант вскоре иссяк, после чего гномик с места в карьер проявил свои национальные настроения.

Таковы были наши враги, отребье. Таковы были будущие господа.

Могли ли мы строить какие-либо иллюзии относительно исхода борьбы, которой мы теперь безвозвратно присягнули? Хотелось крайность — учреждение диктатуры Гитлера — считать невозможной; цеплялись за ободряющие знаки, причем ставшие уже достаточно скромными, чтобы такие сомнительные «успехи», как переизбрание дряхлого Гинденбурга весной 1932 года, воспринимать как «ободряющие». Однако в целом было все же настроение горькой готовности и воинствующей покорности, которое господствовало в нашем кругу и в нашем доме. Мать моя, которая во время войны была поразительно прозорливой, вновь доказала свой здоровый реализм. Очень отчетливо вспоминается мне разговор, в котором мы предвосхищали суровые испытания эмиграции, наполовину шутя, наполовину с боязливым ознобом. Очень ли будет худо? — спрашивали мы друг друга. А потом кто-нибудь из нас поспешно добавлял, словно заранее опровергая какое-то возможное возражение: «Потому что мы же не останемся, естественно, в Германии, если… я имею в виду, в случае…» Мы понимали все.

Мой дневник подтверждает то, что у меня остается так свежо в памяти, — это полное предчувствий подавленное настроение тех дней. Ограничусь только двумя примерами: «25 мая 1931. Серьезная беседа о необходимости покинуть Германию. Ужасающий триумф безумия». И под датой следующего дня: «Снова долгий разговор с Милейн, касающийся нашего будущего изгнания. В самом деле это неизбежно?»

То же чувство напуганности и смятения обнаруживается и в моих литературных работах этого времени, то есть последних, которые я должен был завершить и опубликовать в Германии. Не

о политической полемике и заметках я думаю прежде всего. Им свойствен часто торопливо-уверенный или елейно-риторический тон, который теперь мне неприятен; скорее я говорю о вещах, где печаль моя стремилась найти художественное воплощение — более действительное и подлинное. Роман и театральная пьеса, которые я тогда (1930–1932) написал, кажется, поэтически предвосхищают боль утраты родины. Каковы бы ни были литературные достоинства и слабости этих экспериментов, они во всяком случае дают представление об ужасном одиночестве, к которому оказался приговоренным европейски-либерально настроенный немецкий интеллигент в Германии той поры, когда республика доживала последние дни. Лишенный корней? Никогда не ощущал я этого так сильно, как тогда, в уже ставшей чужой отчизне, отравленная атмосфера которой задушила мой голос, лишила меня всякого отклика и действия.

С внешним успехом или неуспехом это имеет мало общего. Это правда, моя последняя попытка в жанре драматургии — «Братья и сестры» по прекрасному роману «Трудные дети» Жана Кокто — закончилась полным провалом: Эрике, игравшей в мюнхенской премьере главную роль, пришлось употребить всю свою энергию и авторитет, чтобы предотвратить вспышку дикого театрального скандала. Пресса моего любимого родного города исходила в привычных тирадах брани. Немногим дружелюбнее звучало то, что сказали критики в Мюнхене, Берлине и других немецких культурных центрах о моем романе «Место встречи в бесконечности» (1932). Но отсутствия общественного признания самого по себе все же вряд ли было бы достаточно, чтобы меня поразить или даже обескуражить. Разве я не привык к этому? Оба произведения, которые я предложил теперь немецкой общественности, очень занятой политикой, — мою драматическую версию в высшей степени деликатной французской поэтической прозы и мою попытку изобразить в художественной форме сложную проблематику группы интернациональных представителей богемы, — могли, вероятно, и в самом деле представлять интерес только для некоего узкого круга. Вне этого круга они вызывали лишь раздражение, которое — как это водится — принимало безобразно-неприязненные формы. Как будто это для меня было чем-то новым! Однако на сей раз это испугало меня. Почему?

Неприязненность — это я вынужден был хорошо заметить — углубилась, стала злее, холоднее, враждебнее. Неприязненность, которая стремится уничтожить. Сперва получить, а потом убить. Убийственная неприязнь, нацистская ненависть — вот это-то и было написано на газетных полосах и на лицах театральной

публики. Это нельзя было больше принимать как нечто комичное, как скандалы моего прежнего времени. Это стало серьезным.

Не то чтобы пребывали уже в «отчаянной ситуации», бедствовали бы! Напротив, имелось все еще достаточно дел, доходы не оставляли желать лучшего, иногда даже это было похоже на успех. Писалось для больших журналов «Уху», «Даме», «Квершнитт», «Вельхаген унд классингс монатсхефте»; при случае также и для одного из еженедельников левого толка, «Вельтьюне» и «Тагебух», или для литературно амбициозной ежедневной прессы: «Фоссише цайтунг», «Берлинер тагеблатт», «Ахт-ур-абендблатт». Выступали по радио, читали из ненапечатанного в концертном зале или в одной из библиотек, продавали идеи фильмов… Но при всей этой финансовой и, кстати, не лишенной развлекательности выгоде оставалось чувство пустоты, тщетности. Среди всеобщего разложения собственная суетливость превращалась в зловещий фарс. Трепались, шутили, предостерегали, проповедовали — а ответа не было.

Или все же был? За все еще исправным фасадом нашего жутко, вхолостую тянувшегося существования явился угрожающий знак. Кроваво-красные иероглифы на омраченном горизонте:

МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС…{221}

Кто постигает предостережение невидимого бога?

Пропустишь его мимо ушей или ложно поймешь его смысл — падешь. И падешь, если понимаешь изречение, но не имеешь сил ему следовать. Лишь того ожидает пощада, кто понимает и имеет силы.

Проявили милосердие? Он будет обязан жить. Участь, которую он выбрал, — самая трудная.

Я потерял больше друзей из-за самоубийства (под чем здесь могут подразумеваться и косвенные формы саморазрушения), чем из-за болезни, преступлений или несчастных случаев. В самом узком моем кругу несколько раз доходило до эпидемий самоубийств. Первая произошла в годы непосредственно перед возникновением третьего рейха.

Не знаю, да и не хочу выяснять, что превратило жуткую практику в моду. Был ли это пример парижского живописца Пассена, которого знали столь многие из нас? Он сделал это основательно, в вызывающе-картинном стиле, а именно перерезав себе артерии, а затем еще удавившись на дверной ручке — не без того, однако, чтобы предварительно не начертать собственной кровью последний привет на стене. «Ne m’ouble pas, ma chérie! Je t’adore!» [138]

Письмена! Кровавые письмена на стене…

Должно быть, бацилла смерти была в воздухе.

К мифам нашего детства относилась красивая, истеричная тетя, актриса Карла Манн, якобы умершая от сердечного приступа, однако все знали, что в доме своей матери она выпила кислоту и в смертельных мучениях вынуждена была полоскать горло. Теперь последовала тетя Лула, старшая из сестер, но младше оставшихся в живых братьев Генриха и Томаса; она повесилась. Она всегда была очень бюргерской и утонченной на жеманно-церемонный лад, с матовыми глазами и клиновидным ротиком, при этом, однако, втайне распутной, с меланхолической тягой к наркотикам и прилично выглядящим господам поднимающегося среднего сословия. С одной стороны, повышенная утонченность, с другой — жажда морфия и объятий. Этого было слишком много, она была повержена, схватилась за избавительную веревку. Весть о ее смерти оставила меня тогда довольно равнодушным: я никогда не питал к этой тете особых чувств. С тех пор, однако, мои мысли, полные сострадания, стали возвращаться к ней.

Клирики и спиритисты утверждают, что самоубийцам на том свете приходится туго; по широко распространенному мнению, их ждет там нечто ужасное. Это представляется несправедливым, так как их земная жизнь была отнюдь не веселой, уже не говоря о горечи преждевременно наступивших последних минут. Тетя Люльхен умерла, как известно, не легкой смертью. Пусть же муку, которую она приняла на себя в этом мире, не придется ей искупать еще и в другом месте. Умей я молиться, я помолился бы за эту бедную душу.

Также и тете Ольге желаю я самого лучшего. Она была помолвлена с одним из братьев моей матери, была русского происхождения, художница по профессии, между прочим очень одаренная, не лишена обаяния и забавности, однако с пагубно порывистым темпераментом и тяжелым характером. Кончила она худо: выбросилась из окна. Это произошло в Берлине, незадолго до «захвата власти».

Дочь венского писателя Артура Шницлера сделала это в Австрии — или в Венеции? Подробности мною забыты, помню только еще, что все происходило как в одном из рассказов знаменитого отца. Не было ли там итальянского офицера и морского берега, на котором любили и ссорились? Потом прозвучал выстрел, совсем как у Шницлера. А он, описывавший подобное столь часто и столь блестяще, теперь тряс головой: «Дитя мое, мое дитя… Это первый раз, когда мне есть действительно за что на тебя обижаться».

Нелегко быть ребенком гения. Старший сын Гуго фон Гофмансталя, Францль, пустил себе пулю в лоб. Незадолго до этого отцу приснился кошмарный сон, который он рассказал своим за завтраком, не будучи в состоянии вразумительно разъяснить им весь ужас той приснившейся ситуации. Речь шла о некоей шляпе — «повседневной» прогулочно-выходной шляпе Гофмансталя, которая безобидно и как всегда висела на своем крюке. Когда же поэт захотел ее снять, эта хорошо знакомая вещь уклонилась от его руки. Не то чтобы шляпа теперь висела выше или отчаянно старающийся взять ее сильно съежился. Только добраться до себя головной убор не позволял. Как насмерть перепуганный ни прыгал, ни скакал и ни вытягивал руки, шляпа уклонялась от него. Это был скверный сон.

В утро погребения, когда поэт собирался следовать за гробом сына, случилось так, что он потянулся за своим цилиндром и был не в состоянии его схватить. Он тянул руки — шляпа уклонялась от него. Он застонал, пошатнулся, рухнул, умер. Паралич? Трагедия в высоком стиле античности. Гуго фон Гофмансталь был убит своим сном и своим горем. Может быть, он умер потому, что за неуловимой шляпой увидел что-то. Примету, письмена на приснившейся стене…

МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ…

В Париже, в один серый зимний день после обеда ко мне в комнату вошел молодой человек. Чужой, я его никогда до этого не видел. В запинающейся, скованной и одновременно наивно-доверительной манере он рассказал мне, что он живописец, родом из Швейцарии; он знает мало людей в Париже. Не возражаю ли я, если он побудет у меня полчасика?

Мы говорили о книгах и картинах, и оказалось, что у нас было кое-что общее — художественные пристрастия и антипатии. Помнится, что среди литературных новинок, которые он нашел на моем столе, одна возбудила его особое внимание — «J'adore»[139], первое произведение молодого Жана Десборда, которого тогда «открыл» Кокто и с которым я тоже был хорошо знаком лично. Незнакомец спросил меня о содержании книги. Содержании? Речь шла ни о чем, обо всем, о жизни, которая тут восхвалялась во всех своих проявлениях с нежным пылом и деликатным экстазом. «Жан Десборд счастлив, — сказал он. — Он боготворит жизнь».

«Да, она может быть достойна почитания, жизнь, — согласился мой посетитель. — Vraiment adorable[140]…» И со странно ускользающим взглядом и застенчивой, почти стыдливой улыбкой: «Пока хватает сил ее выносить».

Он не выглядел так, будто его покидают силы. Он был высокого роста, красив, со светлыми волосами и прекрасным,

ясным лбом. Хорошим ли художником он был? Мне бы хотелось это узнать. Он обещал мне при нашей следующей встрече показать некоторые свои работы.

Я пунктуально явился на рандеву, пару дней спустя, в кафе дю Дом; но он не пришел. Я нашел это все-таки досадным. Сперва вторгнуться ко мне в обитель и потом меня же подвести! Невоспитанный малый, очевидно, богемный тип без дисциплины и манер. Вероятно, влюбился в белую статую в Люксембургском саду или в черную проститутку на бульваре Клиши. Tant pis pour lui, ou tant mieux…[141]

«Tant pis pour lui, ou tant mieux»: он был мертв. В тот день после своего визита ко мне он застрелился. В тот же день, после того как сказал мне, что жизнь может быть «adorable», пока хватит сил ее выносить.

«Нежные — легко разрушимы».

Мой друг Вольфганг Гельмерт избрал эти слова Гёльдерлина эпиграфом для своей новеллы «Дело Веме Хольцдорфа», единственной большой, впрочем, работы, какую он довел до конца. Он был как раз не честолюбив, мой друг Вольфганг, не очень-то стремился к тому, чтобы утвердиться в этом мире. Да и к чему? Скорее, у него было на уме, как можно быстрее удрать.

Среди тех, кто был мне ближе всего, эта склонность встречалась слишком уж часто. Двое моих самых дорогих друзей, Рене и Рикки — которые, впрочем, никогда не встречались, — любили смерть и боялись жизни. Оба были одержимы страхом сойти с ума, если останутся жить. Одновременно, правда, они казались совершенно готовыми и способными наслаждаться прелестью этой жизни — с большей отдачей и благодарностью, чем иной здоровый, крепко укоренившийся в этом мире гражданин земли.

Рикки, говоривший о себе, что он не только «двуполый», но и «истерично-эротичный», был очарован мирозданием, в котором он не чувствовал себя как дома. Цветы, горы, книги, дети, звери, парусники, снег, море, музыка, картины, женщины, цирк, театр, небоскребы — все восхищало, околдовывало его. Несмотря на это, он иногда говорил о самоубийстве как о некоем немного подозрительном увеселении, которое он однажды все же позволил бы себе; иногда как о некоем фатальном долге, коего, к сожалению, не избежать. «Слишком глупо, что это должно произойти, — говаривал он с жутковато-рассеянной улыбкой. — Как раз теперь, когда у меня есть домик и Вольфрам».

Вольфрам был длинношерстый, низкорослый терьер с длинным туловищем, шелковистое создание, очень милое, с

умным взглядом. На шее он носил серебряный колокольчик, который приятным звоном возвещал о его приходе. За ним шел Рикки.

Примерно каждый второй день он ездил из Аммерзее, где у него был домик, в Мюнхен — поболтать там с друзьями, сходить в кино или рассеяться. Он тратил много времени таким образом, но это нельзя было сразу изменить: он утверждал, что ему, с одной стороны, надо жить за городом, однако, с другой стороны, он там не выдерживает. Во всяком случае, перерыв не без повода. Спустя некоторое время — так признавался он нам — одиночество, в котором он все же нуждался, становилось для него совершенно невыносимым. Его не удерживала работа, сельская мастерская. Он нуждался в поощрении. «Скажи мне, что я хороший художник, — требовал он с шутливой алчностью. — Ранга Рембрандта!» И причитал: «Ах, ты этому *не веришь!*»

Из гордости и сдержанности он стилизовал под гротеск именно то, что его глубже всего мучило: страх перед безумием, сомнения в собственном таланте. Он страдал от женщин и отпускал шутки по поводу своего «мазохизма». Среда, откуда он происходил — высококультурная еврейская буржуазия, — была ему ненавистна: вот почему он сам характеризовал себя со свирепейшей веселостью как «еврейское господское дитя». Иногда он сокрушался перед зеркалом: «Сегодня я опять выгляжу точно как мои франкфуртские кузены! Вы этого не замечаете, ребята? Ах, естественно, вы это прекрасно замечаете! Отвратительно, а? Скажите же ему в лицо, вашему Мазоху, что он отвратителен!» После чего он переходил к тому, что забавлял нас злобно инспирированными имитациями всей своей родни, от бабушки до новорожденного лейпцигского двоюродного брата, который уже в колыбели говорил по-саксонски. «И я один из них!» — говаривал он под конец, обессиленный своими жуткими причудами. Он смеялся с нами, но его прекрасные темные глаза были полны горечи.

К политике он никогда не испытывал большого интереса, но в эти последние годы случалось, что какое-нибудь гадкое или пугающее газетное известие вдруг вызывало у него бурю отчаянного красноречия. «Все кончено! — сетовал он тогда сам не свой и вскидывал руки, будто во время молитвы. — Что же мы еще притворяемся? Мы проиграли, с нами покончено! Кончено, кончено, кончено, с вами и со мной, с нами всеми, с Оффи и Офеем, и по-саксонски говорящим беби и Гинденбургом, и кардиналом Фаульхабером и В. Э. Зюскиндом, и профсоюзами! Придут нацисты и убьют мою маленькую собаку Вольфрама и уничтожат машину Эрики и твои книги, Клаус, и мои картины

тоже!» Потом он копировал Гитлера — еще комичнее, чем до этого бабушку и лейпцигского сосунка, пока мы все не начинали плакать от хохота, вместо того чтобы от печали и страха. Он веселился вместе с нами и под конец еще, бывало, замечал: «Этот придурок! И оттого, что нечто подобное имеет успех, надо заплатить головой? Свихнуться можно».

Мы не хотели, чтобы он заплатил головой. Он был нашим любимейшим другом, нашим братом. Утрата его была бы горчайшей утратой для нас, невосполнимой. Из эгоизма и любви мы делали все возможное, чтобы задержать его, заставить отказаться от подозрительного увеселения и фатального долга, который он себе так упрямо вбил в голову.

Путешествие в Персию, которое мы тогда планировали, было только одной из наших хитростей, предназначенных для того, чтобы отвлечь Рикки от его пагубного направления мыслей. Намечалась экспедиция на двух автомобилях, через Балканы и Малую Азию, к далекой, заманчиво экзотичной и колоссальной стране Персии. Аннемари С., «швейцарское дитя», тоже бы участвовала, вместе с Эрикой, Рикки и мною. Это была великолепная идея, не правда ли? Новые впечатления! Приключения! Прочь от немецкой затхлости, европейской узости!

Мы с головой окунулись в приготовления к путешествию. Тысячу вещей надо было обдумать, исполнить: виза, финансовые дела, газетные контракты, оснащение машин. Рикки думал обо всем. Он покупал брезент и термосы, панамы, непромокаемые комбинезоны, карты местности, солнцезащитные очки, перевязочный материал («В случае, если Клаус как-нибудь сядет за руль и произойдет несчастье…»), даже персидскую грамматику. Особенно гордился он парой обуви, которую выторговал, — очень прочные, при этом нарядные коричневые сапоги, которые якобы должны продержаться пятнадцать лет. Он закупил все соответствующие тома путеводителей Бедекера, толстые шерстяные носки, активированный уголь («Там легко испортить себе желудок…») и даже револьвер, для защиты от персидских разбойников.

Он, казалось, был целиком поглощен сборами, предусмотрительный, изобретательный, полный энтузиазма. Иногда, правда не очень часто, случалось, что посреди всех этих хлопот он вдруг мрачнел. Выражение его лица в такие моменты было не столько грустным, сколько злым и строптивым, — *враждебное* выражение, как если бы он нас всех ненавидел. Подобное было для меня новым в этом хорошо знакомом лице. Новым было также краткое мерцание, одновременно резкое и потаенное, которое теперь подчас возникало в его глазах, делая

его прекрасный взор чуть ли не коварным. Не совсем свободными от коварства воспринимались, впрочем, и некоторые кажущиеся бессмысленными или по крайней мере несущественными вопросы, которые он при случае с наигранной небрежностью поднимал в дебатах. Так, он осведомился однажды — скользнув по мне наихудшим своим ненавидящим взглядом, — доставило ли бы мне удовольствие нежданно огрести приличную сумму денег: «Десять-пятнадцать тысяч марок, просто так, ни с того ни с сего, с ясного неба, без всякой ответной услуги с твоей стороны! Это бы тебе, пожалуй, подошло, старый перс, а?»

У меня от всего этого было не совсем хорошо на душе. И уж, право, мы не знали, как быть, когда он внезапно предложил, чтобы мы начали путешествие без него: «Вы двое выезжаете с вашим швейцарским ребенком, а я вас догоню дней через десять. Встретимся в Праге или в Бухаресте. Согласны? Это дало бы мне время еще быстренько смотаться во Франкфурт, привести там в порядок мои дела». Но поскольку мы нашли его предложение неожиданным и не совсем приемлемым, он тотчас от него отказался. «Глупая идея, вы абсолютно правы! — поспешно согласился он с нами. — Додуматься до этакого может только Мазох! Беру все назад и утверждаю прямо противоположное. Да, кстати, а какой у тебя размер обуви, Клаус?»

Какое отношение к делу имеет мой размер обуви, осведомился я, вновь странно тронутый. Он хихикнул: «Да так! Я надеюсь, твои ноги не больше моих. А то мои новые роскошные сапожки будут жать тебе целых пятнадцать лет, представляешь?»

Наш отъезд был намечен на 5 мая 1932 года. За день до этого мы поехали на студию кинокомпании «Эмелька», где нас должны были снимать для недельной хроники. Мы были в своих новых комбинезонах, панамах, солнцезащитных очках и всех причиндалах; наши два «форда», свежеотлакированные, серо-стальные с большим количеством никеля, сверкали на солнце. Это был великолепный день.

Рикки пребывал в наилучшем настроении, в блестящей форме. Пока операторы заставляли нас ждать, он угощал пивом рабочих, слоняющуюся без дела братию статистов. Все потешались над его клоунадами, были очарованы им.

Продолжалось это около часа, пока режиссер не подготовился к съемкам. Он разместил Аннемари и Эрику на водительских сиденьях обоих «фордов», тогда как нам с Рикки надлежало лечь под одну из машин, чтобы создать видимость, будто умелой рукой ремонтируем колесо. Технические приготовления затянулись; осветительные аппараты и камера были выключены; Рикки между тем не переставал балагурить и дурачиться.

Насколько мне помнится, он не упустил возможности подтрунить над неловкостью моих рук — неизменная шутка между нами обоими. «Ну это же может мило кончиться! — издевался он надо мной, лежа рядом на брюхе. — Прежде чем ты починишь колесо, мы помрем от жажды в персидской пустыне!»

В это мгновенье был подан знак к съемке, после чего выражение его лица вдруг пугающе изменилось. Только что оно было смеющимся, а тут превратилось в гримасу горя и ужаса. Даже волосы, темный локон которых нависал над его странно низким лбом, казались теперь злобными, враждебными — жутко завитой убор, змеиные волосы над сумрачным взглядом. Взгляд — полный страха, расширенный, слепой — направлен в пустоту. Случилось так, будто он позволил маске упасть на одну ужасающую секунду, в которую фотограф запечатлел и сохранил то, что он скрывал от нас из гордости и упрямства, — его истинный лик.

Словно в этой мимической демонстрации было недостаточно ужаса, он сопроводил ее также звуком. Растянувшись рядом с ним, я, к сожалению, вынужден был слышать, что он заскрежетал зубами. Звук, возникавший подобным образом, был тихим, но пронзительным, некий в высшей степени отвратительный легкий шум, хуже всякого вопля.

И тут же он снова смеялся. Инцидент, подлинный каприз Рикки, был скоро забыт.

Мы провели остаток дня вместе; особенно милым был вечер в баре «Регина». Расстались мы за полночь. Рикки надо было еще съездить в Аммерзее за своим багажом. Мы условились, что встретимся с ним на следующий день около трех часов после обеда.

На следующее утро, пока мы паковали свои чемоданы, он дважды звонил нам из Уттинга: сперва посоветовать Эрике, чтобы она заправлялась определенным сортом бензина, который, как он утверждал со странной настойчивостью, несравненно лучше обычно предпочитаемого нами, потом, вскоре после одиннадцати часов, чтобы с несколько лихорадочным усердием обсудить одну мелкую деталь, касающуюся пути в Прагу.

За обедом у нас были гости, наши подруги Аннемари С. и Ева Герман, немецко-американская карикатуристка с миловидным лицом камеи, с которой Рикки в последние годы был в дружеских отношениях. Это было воскресенье и, между прочим, наша прощальная трапеза, в связи с чем еда подавалась особенно вкусная. Ели с удовольствием. Предметом оживленного застольного разговора было, естественно, путешествие, которое мы думали начать в тот же день. Мне помнится, что Милейн

неоднократно призывала меня ехать все-таки осторожно. «Пусти за руль Рикки, как только начнешь уставать или если дорога плоха, — говорила она. — *Ты-то* ведь не очень способный шофер. У Рикки это получается гораздо лучше!»

После еды сидели, как обычно, все вместе в гостиной, каждый со своей сигаретой (Милейн — единственная из нас, кто не курит), рюмкой ликера и черным кофе. Зазвонил телефон в соседней комнате. Мы с Милейн встали одновременно, чтобы подойти к аппарату, получилось маленькое состязание в беге; я бы выиграл, однако вежливо уступил ей первенство. Она сняла трубку. Я стоял рядом с ней.

«Алло! — сказала она, еще немного задыхаясь от бега и еще улыбаясь. — Алло… Да, фрау Манн… лично, да, конечно же… Кто говорит?.. Я не могу понять вашего имени, говорите же громче!.. Кто?.. Полиция? Полицейский пост Уттинга на Аммерзее?..»

Как будто это было вчера, и я не могу этого забыть… Лицо матери моей стало вдруг очень серьезным, какое-то серое лицо, словно на него выпал дождь из пепла. Я слышу ее голос — как будто это было вчера, — хриплый шепот, при этом уважительный и корректный, как это надлежит при устном общении по телефону с начальством. «Да, господин вахмистр… да, теперь я поняла вас… Врач констатировал… Да, конечно… Никаких писем… да… Тогда, вероятно, мне следует сообщить это матери… Все необходимые шаги… Расходы… естественно… я понимаю… Благодарю, господин вахмистр… Всего доброго».

Он пустил себе пулю в сердце около двенадцати часов дня. Прежде чем это сделать, он отослал прислугу в сад выполнить какое-то поручение — хитрый ход; ибо он хотел, чтобы она была поблизости, на случай если ему, раненому, но не мертвому, понадобится ее помощь; с другой стороны, она должна была быть достаточно далеко, чтобы не помешать ему исполнить его фатальное увеселение-долг своим бестолковым вмешательством. В качестве единственного прощального привета он оставил записку, на которой начертал своим барочно вычурным почерком следующие слова:

«Глубокоуважаемый господин вахмистр! Только что застрелился. Пожалуйста, сообщите фрау Томас Манн в Мюнхен. С почтением — Р.Х.».

…Общество в гостиной между тем разделилось на две болтающие группы: одна сидела за низким кофейным столиком, тогда как другая стояла вокруг граммофона, из которого теперь исходило насыщенное благозвучание: вальс «Кавалер роз». Нам с матерью пришлось еще несколько секунд продержать нашу

ужасающую тайну про себя, пока кто-то не выключил граммофон и нам удалось наконец привлечь внимание ничего не подозревающих гостей. Но кто знает приличный способ сообщать такую вот несказанную весть? Впрочем, не оставалось ничего иного, как, заикаясь, жестикулировать и заставлять других гадать о том, чего сам не рискуешь выговорить. «Произошло нечто ужасное… Рикки…»

Этого хватило. Кто-то вскрикнул: «Он мертв?»

Кошмарная сцена! Есть жесты и реакции, которые можно высмеивать как клише, много раз описанные в общепринятом стиле сентиментального романа: «Она стала белой как полотно. Почти в обмороке, опустилась она на стул… Она разразилась рыданиями…» Но какой новой и неслыханной, какой потрясающей становится эта традиционная пантомима, если она совершается взаправду перед нашими глазами, исполняемая людьми, которых мы любим и чья шоковая боль, кстати, является и нашей тоже. Да, лицо Аннемари — «son beau visage d'ange inconsolable»[142] — *стало* белым как полотно; Ева *опустилась* в одно из больших кресел у камина, в полуобморочном состоянии, как казалось; а Эрика, ах, с какой душераздирающей стремительностью разразилась слезами.

«Что за безумие! — застенала она, и снова, и снова: — Что за безумие! Безумие!» Я вижу своего отца — вчера это было, — как он, склонившись над съежившейся Эрикой, гладит ее вдруг спутавшиеся волосы и осушает ее слезы своим большим, пахнущим одеколоном носовым платком. «Будет, будет, будет, — говорил отец. — У тебя все еще много друзей, и они все тебя любят!» Но она не переставала скулить: «Что за безумие!» Она выглядела такой юной, съежившись тут, маленькая девочка, сотрясаемая рыданиями, с непокорной гривой над мокрым от слез, красным, беспомощным, исказившимся, подергивающимся лицом.

Я кинулся наверх бесцельно, сам близкий к безумию. Но моя комната на третьем этаже была пуста — только наполовину упакованные чемоданы, никакого Рикки. Неужели ему больше совсем нечего было сказать мне? Я прислушался. Ничего… И в гостиной, где я скоро снова очутился, тоже между тем стало очень тихо. Никто здесь, казалось, не шевелился, пока я был наверху; все стояли или сидели все в той же позе, в какой я их покинул, парализованные, окаменевшие от болевого шока. Единственным звуком оставался теперь более приглушенный безудержный плач Эрики.

Остолбенение прошло, оно сменилось скоро жуткой хлопотливостью. Ах, как усердно-уютно это проходило, в течение

следующих часов и дней! Черный кофе, вздохи, сигареты, общие слезы, унылые воспоминания-пересуды! Как мы торчали вместе, согревая друг друга, утешая, сочувствуя, — разве мы все его не любили? Разве не были мы все ограблены? Да, это действовало благостно или по крайней мере унимало боль — обсудить все в грустном, скорбящем обществе, как это произошло и не могло произойти иначе. Так, некоторые его загадочные жесты и высказывания последнего времени становились только теперь понятны. Когда он, например, сделал нам предложение начать путешествие без него, что он все ж таки имел на уме? Ведь не встречу же в Праге или Бухаресте, о которой болтал! Его хитрый маленький план состоял скорее в том, чтобы сперва от нас отделаться, а затем на досуге покончить с собой, причем он, может быть, еще внушал себе, что мы, уже находясь в пути, будем продолжать, вероятно, экспедицию и без него. Так как эта хитрость не удалась, он решился водить нас за нос до самого горького конца.

Но почему? Кто принуждал его к этому вояжу? Что побуждало его симулировать страсть к путешествию, которую он не испытывал? Или частью своего существа он действительно жаждал Персии? Был ли энтузиазм, с которым он занимался подготовкой, в конце концов не больше чем обманный маневр? Две, наверное, различные поездки одновременно его влекли, и для обеих он одновременно держал себя в готовности. Ту, которая намечалась в Тегеран, он совершил бы с нами, ради нас, из любви к нам, в другую же отправляются в одиночку, в панцире одиночества, который не может больше пронзить никакая любовь.

Мука раздвоенности. Он вдоволь пережил ее в свои последние дни и недели. Его радость от красивых коричневых сапог была, конечно, не наигранной. Пятнадцать лет эти сапоги должны продержаться… Но к чему тогда вопрос о моем размере обуви? Теперь я его понял. И эти толки о десяти тысячах марок, которые должны были мне свалиться на голову «с ясного неба», тоже обрели теперь свой зловещий смысл. Да, если маленькое состояние Рикки шло шести ближайшим друзьям — как значилось в его завещании, — то моя часть составляла примерно десять тысяч марок…

На следующий день мы с Эрикой поехали в Уттинг на Аммерзее. Мы запретили сопровождать нас; любой четвертый, даже Ева или Аннемари, помешал бы Рикки и нам. Утро было прекрасное; хорошо знакомый ландшафт с его лесистыми холмами, мягкими лугами, старыми крестьянскими домами дышал покоем, о совершенстве которого я не могу думать, не ощущая при этом укола ностальгии да тоски по дому. Лишенный

корней, все же не перестаешь любить его, этот баварский ландшафт. Крестьянские дома, холмы, луга, стада, распятие у дороги, колодец и яблоня; позади в серебряном мареве величественно нежный силуэт горного хребта — в это утро все казалось милее, чем когда-либо. Один из тех, кому дорога казалась красивой, ее потерял: она была любима вместе с ним, для него, любима в нем, а впрочем, нам тоже было известно или по крайней мере мы предчувствовали, что сами скоро потеряем эту благословенную землю.

Вот и озеро; мы остановились перед домом Рикки. Здесь, казалось, тишина стала призрачной. В нижней части сада, близ воды, разрастались блеклые болотные цветы и густой камыш. Почва была мягкой, зыбкой. Пахло болотом. Маленькой вилле, расположенной на некотором возвышении, придавали миловидность заросший плющом фасад, зеленые ставни, красная герань в горшках. Такова, значит, была та идиллия, к чьей не совсем надежной тишине он часто бежал от нас… Когда мы подошли ближе, нас встретил серебряный перезвон — колокольчик на шее Вольфрама.

На пороге мы заколебались. Шепот указал нам путь: «Только наверх! Не бойтесь, молодая дама! Наверху все выглядит прилично. В спальне он лежит, на катафалке, как положено!»

Мы сперва не заметили их, две массивные темные фигуры, которые стояли по обе стороны лестницы. Это были обмывальщицы покойников. Они кивали и бормотали, держа при этом руки сложенными над выпяченными животами.

Вместо того чтобы ответить обеим ужасным старухам, мы с Эрикой заплакали — внезапно и, между прочим, совершенно одновременно, точно по тайно переданному знаку. Сквозь пелену слез я видел, как Эрика приближается к лестнице с усилием, маленькими шажками, словно она шла по гвоздям или раскаленному песку. Я догнал ее. Рука об руку, двое преисполненных страха детей, поднимались мы сквозь бледный полумрак наверх к комнате страха, где лежал наш с Эрикой застрелившийся брат.

Обе женщины кивали и бормотали позади нас, подружелюбнее теперь, как мне показалось. Очевидно, они одобряли наши слезы, нашу тяжелую поступь. Молодой господин и молодая дама, прибывшие в автомобиле из города, чтобы посмотреть тело своего кузена, школьного друга или коллеги, вели себя — на взгляд обмывальщиц — общепринято, точно так, как мы это именно и делали. Я очень хорошо знал, что наше всхлипывание производит на двух старух великолепное впечатление, — мысль была мучительной и одновременно

лестной.

Наконец мы достигли узкого коридора в конце лестницы. Эрика открыла дверь, и там было это, поразительно светлое в солнечном свете, холодное и жуткое; место происшествия, очаг преступления, камера смерти, арена агонии, угасающего взора, финального хрипа.

Но кто была эта кукла, там наверху, на кровати? Она казалась миловидной, однако и ужасной при этом, чужая драгоценная вещица из воскового хрупкого материала. Какое высокомерие в этом незнакомом лице со слегка оттянутыми кверху уголками рта! Оно улыбалось, это лицо, сдержанно, но несомненно. Какая улыбка! Нет, то был не Рикки!

Ни Эрика, ни я не видели ни одного мертвеца с того легендарного похода на тельцское кладбище. Теперь нам вспомнилось леденяще безупречное чело утонувшего подмастерья-пекаря: в Риккином невыразимо отчужденном лице мы чуяли то же самое враждебное просветление. Мертвые похожи друг на друга. Но рот пекаря был милосердно прикрыт черной повязкой. Улыбки не было видно…

«Какой он *маленький!*» — выдавила наконец Эрика, больше пораженная, чем испуганная.

Я кивнул ей; он был почти невероятно мал, съежившийся, усохший, уже ставший мумией. И я понял, что умереть означает просто *высохнуть*. Существенным различием между живой плотью и мертвой является никоим образом не различие между движением и покоем. Живой человек может быть совершенно неподвижным, и почему бы мертвецу при особых обстоятельствах не начать кивать, бродить или даже прыгать. Но мертвец сух, совсем без сока и влаги. Нет больше выделяющего слюну рта, полного слез взора, кровоточащей раны, семяизвержения, капающего носа — все премило высушено, обезвожено, очищено.

«Как чисты его руки! — услышал рядом с собой шепот Эрики. — Взгляни же на ногти! Такими опрятными я их никогда не видела».

Затем она издала подавленный слабый крик и указала на стену за кроватью. «Что это?..» Стена была забрызгана кровью. Он окропил последними следами своей влажной бренной жизни, словно узором обоев, меловую поверхность.

Мы стояли близко друг против друга, вцепившись друг в друга, словно парализованные ужасом. Мои собственные слова прозвучали для меня бессмысленно, почти непристойно и кощунственно: «Он, должно быть, попал в артерию… сердце, может быть… Он, наверное, этого больше не чувствовал».

Кровавые письмена на стене глазели на нас, последняя весть,

смысла которой мы не могли уловить.

МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ…

К чему относилась она, призрачная формула? Разве что к постыдному фарсу, который должен был в скором времени разыграться на нашей опустевшей родине? Дерзкий государственный переворот, который предпринял некий фон Папен{222} — любитель-наездник и интриган крупного пошиба — летом 1932 года против прусского правительства, имел и свой положительный результат: он продемонстрировал политическое и моральное фиаско, отречение, крах немецких левых по собственной вине. Легальная власть, во главе которой стояли социалисты, сдалась бесстыжему барону{223} и паре вероломных полицейских. Почему? «Сопротивление могло бы привести к кровопролитию». Это дали понять вышвырнутые Браун{224} и Зеверинг{225}, могильщики немецкой демократии.

Из потусторонней сферы в ответ звучит издевательский смех: «Что вы за комики, господин Зеверинг, с вашей осторожностью! Сопротивление могло бы привести к кровопролитию? Согласимся, ваши превосходительства! Однако присмотритесь-ка теперь, к чему приведет прежде всего ваша благородная сдержанность! Миленькая, жирная кровавая баня, ваши превосходительства, вот к чему это сведется благодаря вашей изысканной политике! Ручьями потечет она — священная кровь, этот совершенно особый сок! Хроника грядущей беды уже написана на стене кровавыми красными чернилами. Имеющий глаза да увидит! Вы не имеете глаз, господин Зеверинг? Вы слепы, господин Браун? Никто из вас не умеет читать?»

Герой Танненберга{226}, богатырь немецкой республики (да, мы тоже аплодировали его переизбранию!), публично хвастался своей безграмотностью. «Со времени моего кадетства не дотрагивался ни до одной книги», — ворчал старый вояка. Как мог он иметь какое-нибудь понятие о скрытом смысле магических кровавых иероглифов и узоров на обоях? Он был тупоумен, наш ворчливый фельдмаршал, и имел спокойную совесть. С истинно германской, нибелунговой верностью предал он того благочестивого канцлера, которому был обязан своей властью: Брюнинг{227} бежал. Против его преемника, сравнительно либерального генерала фон Шлейхера{228}, в скором времени начались упорные интриги. Господин наездник фон Папен, всегда полный остроумных затей, и бессовестный сын президента, майор по званию, убедили своего старого шефа в опасности, которую представлял канцлер. Он был большевик, если верить господину Папену и Гинденбургу-младшему, нацеленный на то, чтобы посредством скандального «плана помощи Востоку»{229}

разрушить прусское крупное помещичье землевладение в целом и семью Гинденбурга в частности. У дряхлого шефа пока еще было достаточно разума, чтобы никоим образом не потерять свое прекрасное поместье Нойдек. «Шлейхер увольняется!» Это должно быть ради латифундий, насколько соображал господин из поместья Нойдек. А что теперь? У Папена было наготове свое предложение: кабинет «национального единства» — с Гитлером во главе!

Богемский ефрейтор? Это было, пожалуй, слишком для старого господина. Однако теперь его ухо, большое, волосатое, достаточно туговатое ухо старого витязя, было открыто для фон Папена. Интриган нашептывал: «Здесь, ваше превосходительство, надо поставить подпись! Этот Гитлер, конечно, неприятный патрон, плебей без роду-племени, богемский ефрейтор… С другой стороны, здоровая национальная основа, большое число приверженцев, может стать колоссально полезным — как *инструмент!* Ваше превосходительство ведь понимает? Собственно власть останется при консервативных силах, как я могу заверить ваше превосходительство. Правят немецкие националисты, генеральный штаб, индустрия. Гитлер — это только вывеска, фасад. Подпишите же, пожалуйста, наконец, ваше превосходительство! Чистая формальность…»

И вот сидит он, богатырь, уставившись на белый кусок бумаги, покрытый черными значками. «Не могу больше читать, — бормочет старик. — Проклятая писанина всегда меня раздражала. Не по сердцу солдату. Богемский ефрейтор — чудовищное дело это. Но чего не сделаешь для отечества. Поместье Нойдек — ура! — нужно сохранить. Прусский бог, пожалуй, не будет иметь ничего против… хотя, естественно, с другой стороны… Как зовут парня? Шикльгрубер! Свинство! Ладно уж, я подпишу… Где перо, барон?»

Счастливы мертвые, которые оказались избавленными от бессовестной комедии! Если наблюдать с надежной дистанции, то весь инцидент может восприняться комически; у очевидцев и современников смех пропадал от такого избытка смешного. Как представители капиталистической демократии позволили себя одурачить помешанному убийце-извращенцу из австрийской провинции! Как возились и спекулировали и хотели обделать делишки с чертом! От министерства иностранных дел в Лондоне до канцелярии Святого отца в Риме, от Детройта до Рура, от восточноэльбских «мелких поместий» до аристократических салонов Фабурж-Сен-Жермен — повсюду установление немецкой диктатуры было воспринято с радужной благосклонностью. Даже в Москве полны надежд. Что вредит социал-демократам, должно

быть хорошо для коммунистов, а мировая революция, кстати, может только выиграть на хаосе…

Никто не понимает апокалипсических знаков, континент веселится над собственной трагедией, смеются буквально до смерти. Хозяева тяжелой промышленности, кардиналы, банкиры, офицеры генерального штаба, министр иностранных дел, философы консервативно-идеалистического и марксистско-материалистического толка — все они считают пронзительную вызывающую песню о Хорсте Весселе потехой, письменами на стене для юмористического журнала.

МЕНЕ, МЕНЕ…? Как смешно!

ТЕКЕЛ…?

ПЕРЕС…?

Ухмыляясь, хихикая, рыча от смеха, они, пошатываясь, падают в пропасть.

30 января 1933 года я рано утром покинул Берлин, словно гонимый недобрым предчувствием. Улицы были еще довольно безлюдными, когда я ехал на вокзал. Заспанный и не в духе, я почти не взглянул на утренний сонный город. Это было бы моим последним взглядом на Берлин, прощанием. Я покинул Берлин, не попрощавшись.

Моей целью был Мюнхен, но мне надо было прервать поездку в Лейпциге. Там меня ожидал Эрих Эбермайер, совместно с которым я подготавливал тогда инсценировку романа Сент-Экзюпери «Ночной полет» (работа, насколько я знаю, позднее была завершена без меня).

Эрих выглядел бледным и обеспокоенным, когда приветствовал меня на вокзале. «Что случилось?» — спросил я его.

Он был удивлен. «Ты что, ничего не знаешь? Старый господин назначил его, час тому назад».

«Старый господин?.. *Кого?»*

«Гитлера. Он — канцлер».

* * *

И это есть значение письмен, написанных на стене, и написанных кровью. — МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС.

Исчислены дни царствия твоего. Взвешен ты и найден слишком легким. Разделено царство твое, мидянам и персам будет отдано царство твое.

Персы! Персы идут…

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА
ИЗГНАНИЕ
1933–1936

Изгнание началось в Мюнхене. Пруссия и другие части рейха уже находились под нацистским террором; но Бавария еще упрямилась, разумеется недолго… Тем не менее остается примечательным, что немного оттянул тотальную «унификацию»{230} южнонемецкий католицизм. В феврале 1933 года — незадолго до поджога рейхстага и особенно после этого события — некоторым политически или расово скомпрометированным приходилось осторожности ради менять место своего проживания и уезжать с берегов Шпрее на берега Изара. Люди, которых в Берлине давно заключили бы в тюрьму и истязали, в Мюнхене еще пользовались полной свободой: они могли гулять в Английском саду или развлекаться на маскарадах, да, им не возбранялось даже аплодировать антинацистским шуткам «Перцемолки».

«Перцемолка» — детище Эрики, это литературно-артистическое кабаре с сильным политическим уклоном, прелестно игривый, при этом, однако, язвительнейший, страстный протест против коричневого позора. Тексты большинства номеров — шансоны, декламации, скетчи — Эрикины (некоторые также и мои); Эрика была конферансье, директором, организатором; она пела, играла, ангажировала, вдохновляла — короче, была душой всего.

Нет, у «Перцемолки» была двойная душа; другая половина звалась Терезой Гизе. Она служила делу верой и правдой, и с каким энтузиазмом, с какой безусловной отдачей! Прославленная звезда мюнхенского Камерного театра — одна из артистичнейших личностей мощной жизненной силы и большого мастерства — предоставила в распоряжение еще не оперившегося и, кстати, политически сомнительного кафешантана всю полноту своего опыта и своего таланта. Без нее «Перцемолка» не стала бы тем, чем она была на протяжении лет, — самым успешным и действенным предприятием немецкой эмиграции.

Но мы еще в Мюнхене. Первое представление «Перцемолки» состоялось 1 января 1933 года в одном очень камерном, очень милом маленьком театрике с подходящим названием «Бонбоньерка». Авантюра (ибо было авантюрой открыть такое кабаре в Германии 1933 года) родилась под счастливой звездой.

Труппа, которая собралась вокруг Эрики и Терезы, состояла почти исключительно из молодых, среди них были весьма одаренные люди. Композитор и пианист Магнус Хенниг выдумывал мелодии, прелесть которых отчасти отнимала у безжалостных текстов горечь и агрессивность. Публика была очарована; даже пресса держалась относительно благожелательно. «Перцемолка» притягивала! «Перцемолка» пользовалась спросом! Радовались ее рискованной остроте, ее бескомпромиссной шутке. Все билеты в маленький театрик на «пятачке» были каждый вечер распроданы.

…Эти последние мюнхенские недели представляются в моем воспоминании наполненными каким-то отчаянным весельем. Наслаждались карнавалом или по крайней мере делали вид. Были пока еще так по-настоящему вместе, старинная компания, испытанная братия: Отто Фалькенберг из Камерного театра, которому вскоре после этого пришлось уволить всех своих «не-арийских» актеров; наш друг Фриц Штрих{231}, известный германист и культуролог, который тогда уже принял приглашение из Швейцарии; Бруно Франк со своей женой, нашей дорогой Лизль; балтийский рисовальщик Рольф фон Хершельман, маленький, но бодрый господин замечательной одухотворенности; красивая, хотя уже и несколько полнеющая, радушно-разговорчивая, рассеянно-талантливая Криста Хатвани-Винелоу, В. Э. Зюскинд и Берт Фишель, наши друзья детства; все встречались не без щемящих предчувствий, в дурацких костюмах и в оживленном настроении.

Незабываемым остается для меня «перцемольный» бал в нашем доме, на Пошингерштрассе, 1, одно из последних карнавальных празднеств, в связи с чем в особенности и шел пир горой. Некоторые из самых аристократичных гостей явились, разумеется, со значительным опозданием; им это простили, во-первых, потому, что все еще была масленица, во-вторых, потому, что они сумели достойно извиниться. Господа прибыли прямо с обстоятельного совещания с принцем Рупрехтом фон Виттельсбахом{232}, которого монархически-сепаратистская группа тогда надеялась возвести на баварский трон. Это было бы славной шуткой, неприятной для Гитлера, забавной для баварцев. Но королевское высочество не имело никакого желания к такому рискованному предприятию, как шепнули нам запоздавшие заговорщики на бале-маскараде. В «перцемольных» кругах выслушали это с сожалением.

Между танго и вальсом рассказывались самые свежие и самые ужасные вести из Берлина. Мы танцевали в отеле «Регина-паласт», в то время когда заполыхало здание рейхстага. Мы танцевали в отеле «Четыре времени года», в то время как

поджигатели обвинили невинных в преступлении, которое подготовили сами. Это было 28 февраля — первый день масленицы, — а днем позже была «среда пепла»[143]. Когда гестапо арестовало анархиста Эриха Мюзама, пацифиста Карла фон Осецкого{233} и коммуниста Эрнста Тельмана, в Мюнхене выметали с улиц воздушных змеев и конфетти. Наступало похмелье. Масленица прошла.

«Перцемолке», пользовавшейся удивительной популярностью, пришлось сделать небольшой перерыв. Изящная «Бонбоньерка» оказалась слишком маленькой для пользующегося успехом предприятия; Эрика присмотрела театр повместительнее. Она нашла таковой в Швабинге; возобновление представлений в расширенном составе было назначено на первое апреля. Таким образом, фрау директор имела целый месяц, чтобы отдохнуть и сочинить новую программу. При этом я должен был помогать. Вместе мы поехали в Швейцарию, в Ленцерхайде, где разместились у друзей. Мы проводили свои дни частью в лыжных прогулках, частью расходовали их на сочинение забавно-полемических песенок и сцен. Настроение было хорошее — на улице, на чудесно свежем, ароматном воздухе, и за работой. Но стоило включить радио или заглянуть в газету, как становилось дурно.

Что происходило в Германии? Разве «посвященные», «реалисты», не заверяли снова и снова, что канцлер Гитлер, собственно, не «у власти», он просто марионетка в руках крупных промышленников и генерального штаба? Они часто ошибаются, эти «реалисты», что не мешает им, однако, развивать свои взгляды с импозантной уверенностью. «Сохраняйте спокойствие!» — советовали они нам и самодовольно добавляли, что не так уж страшен черт, как его малюют. Шикльгрубера не стоит принимать всерьез — подставное лицо, кукла. Всерьез принимать стоит скорее И. Г. Фарбена, дом Круппа, дом Тиссена, тайного советника Хугенберга{234}, мужей и учреждения, которые позаботятся о спокойствии и порядке. Антисемитские эксцессы (в особенности когда они были направлены и против богатых евреев), террор штурмовиков, нарушение «долговой кабалы», массовая истерия — все это было вовсе не в духе промышленников; да и фон Папен, в сущности, не хотел этого, и так обошлись бы. В конце концов, ведь был же еще и «старый господин»! Если уж «реалистам» больше ничего не приходило в голову, они ссылались на Гинденбурга. «Диктатура? Исключено! Старый господин никогда не призвал бы Гитлера, не имея известных гарантий…»

Верили ли мы «реалистам»? После мартовских выборов{235}

это было уже едва ли возможно. Мы знали, должны были знать, что теперь все потеряно, также и в Баварии, где твердолобое клерикальное правительство до сих пор препятствовало крайностям. Теперь в Баварии больше не существует оппозиции, а значит, и «Перцемолки». Несмотря на это, мы поехали обратно, то ли из какого-то отчаянного любопытства, то ли потому, что все еще строили себе иллюзии…

В тот самый день, когда мы прибыли в Мюнхен, там принимали гитлеровского гауляйтера, некоего фон Эппа. Он уже и раньше обращал на себя внимание, служа фашизму. Баварское правительство не арестовало его на границе, что, может быть, первоначально и намеревалось сделать, однако до этого не дошло. Более того, вскоре был арестован премьер-министр Хельд{236}; фон Эппу же воодушевленное население присягнуло на верность. Мюнхен был побежден, «унифицирован», мы ощутили это, почуяли это, как только вышли на главном вокзале из нашего швейцарского поезда.

Ганс, шофер семьи, ожидал нас на вокзальной площади с семейным «бьюиком», как обычно. Но поведение его, весь его облик странно изменились. Он выглядел бледным и растерянным, большой сильный парень, и дрожал! Да, рука, которой он открыл нам дверь машины, тряслась, и это явно бросалось в глаза; голос его тоже подрагивал. «Будьте, ради Бога, поосторожнее! — прошептал он взволнованно. — Вы оба, но особенно вы, фрейлейн Эрика! Вы должны знать, что они охотятся за вами, эти, из коричневого дома! Не выходите на улицу, фрейлейн Эрика! И никому не сообщайте, что вы в городе, господин Клаус! Если вы попадетесь им в лапы…» Его жест не оставлял никакого сомнения в том, что с нами могло произойти.

Только позднее довелось нам узнать, отчего наш верный Ганс в тот день был так нервозен и откуда так хорошо осведомлен. Он был махровым предателем с вдвойне нечистой совестью, коренастый обыватель с белокурым чубом и задумчивым взглядом голубых глаз. Уже много лет он работал шпиком на коричневый дом, куда обо всем, что у нас происходило, регулярно доносил. На этот раз, однако, в драматический момент, он позабыл свой долг и предостерег нас, просто по-человечески, как мне кажется. Ему, наверное, было нас жаль. Он ведь знал, что «они» сделают с нами, если схватят…

Полными боязни и лихорадочной суеты были эти последние часы на Пошингерштрассе в Мюнхене, в Германии. Помня предостережение подлого, но все же по-своему милосердного шофера, мы попрятались в свои комнаты, даже кухарка и горничная не должны были знать о нашем прибытии. Зато

телефон работал, и мы немедленно заказали разговор с Арозой, где Волшебник с Милейн отдыхали от тягот лекционного турне. В Брюсселе, Амстердаме, Париже и других городах отец рассказывал о «Страданиях и величии Рихарда Вагнера»{237}, по окончании лекционного турне программой предусматривалась передышка в швейцарских горах. Теперь он собирался, опять же соответственно программе, ехать домой; мы сочли разумным отговорить его от этого намерения.

При этом надлежало соблюсти некий секретный способ выражения: было возможно или даже вероятно, что наши телефонные разговоры подслушиваются. Мы остерегались, следовательно, впрямую намекать на политическое положение, а говорили о погоде. Она в Мюнхене и округе скверная, утверждали мы; родители поступили бы умно, задержавшись еще на некоторое время. К сожалению, наш отец выказал свое нерасположение поддаться на такого рода аргументы. Не так уж страшны эти весенние грозы, заметил он, и, кстати, в Арозе тоже пахнет дождем. Ссылка на состояние в нашем доме («Здесь такое творится! Черт ногу сломит!») произвела на него, казалось, столь же малое впечатление. Он упрямился, не желая ничего понимать: «Беспорядок мне не мешает. Я хочу домой. Мы отправляемся послезавтра». — «Да нет же, ты не должен приезжать». В конце концов мы высказали ему это с отчаянной прямотой: «Оставайся в Швейцарии! Тебе здесь было бы небезопасно». Тут он понял.

Несколько наших друзей уже были арестованы, как нам дали знать в осторожных выражениях; другие исчезли. Да и мы едва ли чувствовали себя в силах пойти на рискованное столкновение с новыми господами. Весь этот бред долго наверняка не продлится, так уверяли мы друг друга без искренней убежденности. Несколько недель, несколько месяцев, быть может, потом немцы должны будут образумиться и избавиться от позорного режима. Но до тех пор время лучше скоротать за границей. «Я беру с собой только один чемодан», — решила Эрика. Я тоже упаковал самое необходимое: два костюма, немного белья, несколько книг и рукописей.

Эрика отбыла вечером того же дня в Швейцарию, где хотела встретиться с перепуганными родителями. Я уезжал через сутки в Париж.

Двадцать четыре часа одному в пустом доме, одному в уже чужом, ставшем враждебным городе! Я был очень печален, гораздо печальнее, полагал я тогда, чем был для этого повод. Дом — наш «дом детства» — стал для меня пугающим, угнетающим. Что мне еще здесь искать? Каждый миг могли прийти сыщики. Скорей бы, наконец, время отъезда. Но минуты ползли, сутки все

не хотели кончаться. Без отдыха слонялся я по пустынным комнатам. Как было тихо! Таким тихим я никогда не знал дома. Родные вещи, картины, шкафы, длинные ряды книг, слепой Гомер, любекские канделябры молча взирали на меня.

Одиночество становилось невыносимым, я позвал шофера; вместе мы выпили несколько рюмок лучшего французского коньяка Волшебника. Подобного еще никогда не случалось; но как Ганс, так и я находили, что это уже неважно. Мы чокнулись, причем взор его увлажнился и дрожание руки опять стало заметным, срывающимся, при этом сильным голосом он пожелал мне доброго пути и «счастливого будущего за границей». Были многократные рукопожатия, сперва в доме, потом на вокзальной площади, наконец, через открытое окно моего спального вагона. Я не чувствовал больше себя столь печально, потому что здесь был голос, который со мной говорил, и рука, которую я мог пожать.

Последним человеком, кого я видел на родине, последним, кто утешал меня, был добродушный подлец и голубоглазый двойной предатель.

Я покинул Германию 13 марта 1933 года.

Два инцидента больше всего из этих первых недель изгнания запомнились мне, оба кажущиеся случайными и незначительными, но тем не менее поучительные и характерные.

Первый инцидент произошел в одном парижском ресторане, где я обедал со своим немецким другом — эмигрантом. Кто-то из нашей компании принес с собой первый номер нового журнала, одну из тех хорошо задуманных, однако несколько претенциозно оформленных публикаций, посредством которых изгнанные немецкие интеллектуалы надеялись тогда «развенчать» из-за границы гитлеровское государство. Журнал, которым мы как раз любовались, изображал на титульной странице огромную свастику, обильно обагренную кровью, с ухмыляющейся рожей черта в середине. Но от внимания американской дамы, занявшей место за соседним столом, эти детали ускользнули, не заметила она и того, что большинство моих спутников были явно «неарийского» типа. Она видела только свастику и слышала, что мы говорили друг с другом по-немецки. Вот она и поднялась, статная и прекрасно сохранившаяся особа среднего возраста в пенсне и шляпке с пером, шагнула к нам и пронзила нас устрашающим взглядом. «You should be ashamed of yourselves!»[144] — проговорила дама. И… по-немецки, с трогательно плохим акцентом: «Стыдиться вы должны! Это здесь — ваш позор! Ваш стыд!» При этом она с негодованием указывала на свастику. Повернулась и отошла, предварительно плюнув

перед нами. В первый и, впрочем, последний раз в моей жизни видел я «леди», плюющую с апломбом и сноровкой разгневанного мусорщика.

А мы так и сидели разинув рты. Ни у одного из нас не хватило духу или мужества просветить свирепую даму, отклонить ее абсурдный упрек. Не следует ли нам впредь подчеркивать свой эмигрантский статус ношением особых знаков отличия? Может, придумать нарукавные повязки с надписью: «Я против Гитлера!» или «Я не имею ничего общего с третьим рейхом!»? Однако скоро мы отказались от этой идеи. Нарукавные повязки сделали бы невозможной нашу жизнь.

Ибо почтенная матрона с другой стороны Атлантического океана не была исключением, как нам слишком скоро пришлось убедиться. Большинство людей косо поглядывали на нас не потому, что мы были немцами, а потому, что мы покинули Германию. Такое не совершают, по мнению большинства людей. Приличный человек не покидает своего отечества, независимо от того, кто там правит. Кто противопоставляет себя законной власти, становится подозрительным, бузотером, если и вовсе не бунтовщиком. А разве Гитлер не представлял законную власть? Представлял, по мнению этого большинства.

А это было вторым поучительным шоком, который я помню, — не «инцидент», собственно, не драматическая сцена, только один учтивый разговор на террасе кафе.

Собеседником моим был швейцарский друг, который посетил меня в Париже. Приятный, культурный человек, я радовался его обществу. Однако гармонии между нами пришел конец, как только речь зашла о политике. Мой гость находил, что я поднимаю слишком много шума по поводу нацистов. «Правительство как и всякое другое», — заметил он, пожимая плечами. А затем он засмеялся. Разве я сказал что-то комичное? «Это не правительство как всякое другое, мой дорогой, это чертово дерьмо, величайший скандал эпохи!» Таковы были мои слова: гражданину Швейцарской Конфедерации они показались забавными. Веселость его возросла, когда я добавил: «Нога моя не ступит в эту страну, пока там господствуют нацисты».

«Ведь ты это не всерьез! — воскликнул хорошо настроенный молодой человек из свободной Швейцарии, все еще веселясь, притом не без настоящей озабоченности. — Все-таки не отказываются от своей родины, карьеры, друзей, хозяйства и всего только потому, что не нравится нос какого-то Гитлера! Знаешь, я вынужден сказать, что нахожу это просто глупым!»

Не могу забыть его смех, полувеселое, полуукоряющее и даже возмущенное выражение, с которым он повторял: «Так глупо! Как

только можно совершить подобную глупость!»

Он не понимал, о чем речь. Он не имел никакого представления.

Из оставшихся в Германии друзей многие казались тоже странно ничего не подозревающими. Письма, которые нашему брату тогда еще отваживались писать друзья с родины, звучали отчасти бранливо, отчасти удивленно и укоряюще. Некоторые не ограничивались приватным посланием, но отчитывали нас публично, Готфрид Бенн к примеру: сердитое нравоучение, которое он направил мне, было напечатано в «Дойче альгемайне цайтунг», а затем еще и прочитано по радио. Сей вдохновенный лирик, сей интеллектуальный нигилист и враг прогресса нашел прекрасные слова для восхваления «нового государства»; мне же и другим «предателям» он наносил молодецкие риторические удары. Курьезный документ!

В. Э. Зюскинд выражался повежливей, не столь круто и категорично. Он был достаточно тактичен, чтобы не помещать своего письма в газету; словно с глазу на глаз, изящным четким почерком он взывал к моей совести. Неужто я растерял все свое любопытство, свою открытость, свой юмор? Как спрашивал друг юности. С каких это пор я стал политическим доктринером, закосневшим апостолом республиканской добродетели, Катоном? «Возвращайся!» Меня звал друг юности. Он манил: «Сейчас у нас интересно, интереснее, чем когда-либо прежде. Дискутируют, экспериментируют, есть движение, что-то происходит, почему ты устраняешься? Возвращайся! Тебя никто не обидит. Будь здесь так дурно, как ты думаешь, разве бы я оставался? Советовал бы тебе приезжать? Тебе следует мне больше доверять. Если я призываю тебя возвратиться, то тебе есть над чем задуматься. Не упрямься! Приезжай!»

Он не понимал, о чем шла речь. Никакого предчувствия!

Я ответил ему несколькими короткими строками: «Благодарю за твой совет, которому, к сожалению, не могу последовать. Я не вернусь, пока там Гитлер. Можешь считать это упрямством…»

Должен ли я был объяснять ему, почему мысль о возвращении была для меня запретной? Это было бы слишком трудно или слишком просто. Страх играл, пожалуй, лишь второстепенную роль в том комплексе чувств, который определял мою позицию. К «расово преследуемым» я не мог себя причислять, не говоря уж о том, что организованный антисемитизм в это время еще не развернулся в полную силу. Даже так называемые «нюрнбергские законы», которые были изобретены более трех лет спустя, признали бы за мной, если не ошибаюсь, статус «метиса, призванного возродить черты

нордической расы» или «арийца второго класса». Моя «расовая наследственность» была, правда, отнюдь не безупречна, но все же недостаточно испорчена, чтобы сделать меня совершенно несносным для третьего рейха.

А мое политическое прошлое? Это можно было бы поправить. Можно было раскаяться, попросить прощения, поползать на коленях — подобное случалось. Нацисты не были непримиримыми. Они практиковали великодушие — где это казалось им выгодным. К.М., небезызвестный отпрыск известного Т.М., в качестве ренегата! Это весьма подошло бы нашему Геббельсу. Еще милее ему было бы «обращение в другую веру» всей семьи. С какой широкой ухмылкой принял бы нас дьявольский шеф рекламы!

Значит, мы были «добровольными» эмигрантами?

Все-таки не совсем. Мы *не могли* возвратиться обратно. Нас убило бы отвращение, отвращение к собственной низости и к гадкой суете вокруг нас. Воздух в третьем рейхе был непереносим для определенных легких. На родине грозила смерть от удушья. Хорошая, поистине уважительная причина держаться подальше!

Гитлер распространял смрад, *был* смрадом. Там, где он внедрялся, клубился едкий дым; где он правил, государство становилось клоакой. Гитлер — судьба? Гитлер — проблема? Чумой он был, чумой, от которой бегут. Разумеется, был и опасностью, с которой борются.

Действеннее ли боролся бы я, боролись бы *мы* с ним, если бы оставались дома или вернулись на родину? Этим вопросом мы часто задавались, с первых дней эмиграции, а потом вновь и вновь. Позднее этот вопрос нам задавали и другие, именно те, кто пережил этот смрад на месте. Среди них были настоящие борцы; как раз с этими мы, эмигранты, стремились сохранить контакт, подчас мы могли им и помочь. Другие впоследствии утверждали, что боролись; они причисляли себя к «внутренней эмиграции», некоему скрытому движению сопротивления. Возникал вопрос, были бы наше присутствие, наше содействие в годы смрада полезны и плодотворны. Говоря «мы», я имею в виду не только членов своего дома, но и многих не-еврейских товарищей по судьбе, которым тогда вместе с нами приходилось спрашивать себя, к какой категории они принадлежат. Уже не говоря о том, что в силу темперамента мы не очень-то подходили к «тихим», наша плохая репутация скомпрометировала бы тайное résistance[145]. Слишком открытые, чтобы исчезнуть в массе, слишком политически заклейменные, чтобы симулировать тонкое безразличие, мы имели бы в нацистской Германии выбор лишь между бессмысленным мученичеством и оппортунистическим

предательством. Концлагерь или приобщение к господствующей идеологии — никакой третьей возможности нам не представлялось «внутри». «Вовне» было что делать — служить интересам той «лучшей Германии», веры в которую мы не хотели терять.

Это еще вопрос, было ли наше место в третьем рейхе… Я поставил его себе и сам ответил. Ответ гласит: *нет.*

В жизни часто ошибаешься, в разном раскаиваешься. Сделав одно это правильно, больше из инстинкта, чем из «убеждения», можешь быть благодарен судьбе?

Эмиграция была нехороша. Третий рейх был хуже.

Эмиграция была нехороша. В этом мире национальных государств и национализма человеку без нации, лишенному гражданства приходится туго. Его преследуют невзгоды; власти страны пребывания относятся к нему с подозрением; к нему придираются. Нелегко найти возможность заработать. Кто обязан нанимать ссыльного? Какая инстанция защищает его права? За ним «ничего не стоит» — ни организации, ни власти, ни группы. Тот, кто не принадлежит ни к какой общности, — один.

Или наша эмиграция образовала что-то вроде общности? Да нет, пожалуй, вряд ли. Ведь среди изгнанников оказались относительно немногие, кто покинул Германию по убеждению или из «инстинкта», то есть лишь немногие, кого мы могли рассматривать как своих товарищей по судьбе и борьбе. В большинстве своем речь шла о совершенно неполитических (или по крайней мере политически вовсе неактивных) жертвах гитлеровского расового наваждения: еврейские коммерсанты, адвокаты, врачи, ученые, журналисты, которые, несомненно, довольно охотно остались бы в Германии, если бы это позволили обстоятельства. Эта констатация не имеет ничего унижающего, не содержит никакого упрека. Конечно, среди немецких евреев было так же много воинствующих антифашистов, как и среди так называемых «арийцев». Да, такой тип мог в «не-арийском» лагере встречаться даже чаще в процентном отношении. Однако большинство немецкого еврейства, а значит, и большинство нашей эмиграции тоже, тем не менее как раз состояло из бравых бюргеров, которые в первую очередь ощущали себя «добрыми немцами», только во вторую — евреями и в самую последнюю, или вообще нет, — антифашистами. Против Муссолини они ничего не имели. Эмиль Людвиг[238] и Теодор Вольф[239] говорили от лица многих своих соплеменников, когда публично курили фимиам дуче. Муссолини не был антисемитом. Гитлер был.

Этот вопрос уместен и важен, поскольку здесь описывается характер эмиграции, эмиграции, которая не была общностью. И быть не могла: ей недоставало общих целей, единой программы, представительства.

Разумеется, среди эмигрантов было какое-то политически активное и организованное меньшинство, и не одно, а несколько. Представители разгромленных немецких партий — весьма далекие от того, чтобы хотя бы теперь сплотиться в единый фронт против Гитлера, — враждовали друг с другом в изгнании с еще большим ожесточением, чем прежде. Не утихали прежние распри между социал-демократами и коммунистами, в то время как монархисты плели свои собственные интриги, а католики упражнялись в мудрой сдержанности. В конце концов, между папским престолом и теперешним немецким правительством существовал конкордат. Кстати, профессиональные политики оставались верны традициям Веймара и в том, что избегали контакта с независимыми интеллектуалами или, во всяком случае, не искали его. Отношения между писателями и партийными функционерами оставались в изгнании столь же прохладными, какими были дома.

Немецкие писатели — это можно констатировать с удовлетворением — проявили себя в 1933 году лучше, чем какая-либо другая профессиональная категория людей. Накануне возникновения третьего рейха создавалось впечатление, будто некоторые из них готовы примириться с гнусностью и даже ей способствовать, и в самом деле ведь в ренегатах недостатка не было. Некоторые совершенно серьезно полагали необходимым распознать в национал-социализме новое, революционное и восхититься им (как это сделал ослепленный Готфрид Бенн); другие пытались приспособиться к новому режиму путем трусливых компромиссов. Однако число тех, кто позволил себя одурачить или подкупить, все же относительно ничтожно по сравнению с ужасающе обширным списком «унифицированных» философов, историков, юристов, врачей, музыкантов, актеров, художников, педагогов. Гораздо больше авторов высокого литературного ранга сразу и самым решительным образом выступили против диктатуры, во враждебности *разуму* которой не могло быть ни малейшего сомнения ни у кого, кто непредвзято смотрел на реальность. Наступил массовый исход писателей; никогда еще нация в течение нескольких месяцев не теряла так много своих литературных представителей. Не только «расово скомпрометированные» искали спасения в бегстве; с ними ушли многие безукоризненные представители нееврейской крови: Фриц фон Унру и Леонгард Франк, Бертольт Брехт и Оскар-Мария

Граф, Рене Шикеле и Аннете Кольб, Вернер Хегеман и Георг Кайзер, Эрих-Мария Ремарк и Иоганнес Р. Бехер, Ирмгардт Койн и Густав Реглер, Ганс Генни Янн и Бодо Узе, Генрих и Томас Манны — назовем лишь этих.

Литературная эмиграция могла себя показать; в ее рядах были слава, талант, боевой подъем. В то время как партийные функционеры ссорились, писатели держались вместе, даже если политические взгляды отличали их друг от друга. Особенно сильным и подлинным было чувство сплоченности в течение первых лет изгнания, с 1933 до 1936 года. Да, ссыльные литераторы образовывали, пожалуй, что-то вроде однородной элиты, подлинную *общность* внутри диффузной и аморфной эмигрантщины.

Знали, чего хотели; требование дня казалось ясно предначертанным. Немецкий писатель в изгнании ставил перед собой двойную задачу: с одной стороны, речь шла о том, чтобы предостеречь мир от третьего рейха и объяснить истинный характер режима, оставаясь, однако, одновременно в контакте с «другой», «лучшей» Германией, нелегальной, то есть противостоящей тайно, и снабжать движение сопротивления на родине литературным материалом; с другой стороны, надлежало на чужбине сохранять живой немецкий язык и развивать своим творчеством великую традицию немецкого духа, — традицию, для которой в стране, ее зародившей, больше не имелось места.

Нелегко было соединить друг с другом обе эти обязанности — политическую и культурную. Необычная, духовно раскованная, во всех отношениях сверхъестественная ситуация требовала необычайного усилия, сверхъестественного напряжения сил. История литературы будущего (если нам даровано будущее, которое еще будет интересоваться подобным!) установит, что эмигрировавшие немецкие писатели совершили нечто значительное. Почти всем удалось удержать свой уровень; некоторые переросли самих себя и именно теперь, в изгнании, создали свои лучшие произведения. Эмигрантские издательства, учрежденные тогда в Амстердаме, Париже, Праге и других европейских центрах, выпускали продукцию отменного качества. Литературный урожай эмиграции стал благодаря своему богатству впечатляющим протестом против варварского режима, изгнавшего из страны так много талантливых и трудолюбивых людей.

Не менее необходимым и существенным, чем этот косвенный протест, казался многим из нас прямой политический манифест, разоблачительный анализ, сатирический или информативный комментарий к немецкой драме, все снова варьируемый, заново

аргументированный клич «J'accuse»[146] {240}против гитлеровского государства. Немецкие антифашисты за границей не имели права уставать, снова и снова убеждая еще свободные, еще не «унифицированные» или присоединившиеся нации: «Вы в опасности. Гитлер опасен. Гитлер — это война. Не верьте его показному миролюбию! Он лжет. Не заключайте с ним договоров! Он их не выполнит. Не дайте ему запугать себя! Он не так силен, как выдает себя, *еще* нет! Не позволяйте ему набрать силу! Сейчас было бы достаточно одного жеста, одного сильного слова с вашей стороны, чтобы его свергнуть. Через несколько лет цена станет выше, в конце концов это вам придется расплачиваться миллионами человеческих жизней. Чего вы ждете? Свергните его сейчас, пока это просто! Порвите с ним дипломатические отношения! Бойкотируйте его! Изолируйте его! Покончите с ним!»

Неужели нашему призыву недоставало убедительной силы? Он не убеждал, он замирал. Те свободные, еще независимые нации, у которых мы, эмигранты, поначалу нашли убежище, воспринимали наши кассандровы крики с «реалистичным» скепсисом. Кое-какие происшествия в третьем рейхе — сжигание книг, антисемитские демонстрации, резня 30 июня 1934 года{241} — могли покоробить; однако то были всего лишь маленькие изъяны, которые охотно прощались преуспевающему и во многих отношениях симпатичному правительству. Гитлер был против коммунизма, и этого было достаточно, чтобы сделать его популярным в аристократических европейских кругах. Если у него и были захватнические планы, то ведь они же направлены исключительно против Востока, то бишь против Советского Союза. Тем лучше! Аристократическим кругам это могло быть только на руку. На предостережения некоторых сбежавших литераторов — насмешливая улыбка или нетерпеливое пожимание плечами.

Разумеется, в приютивших нас странах были люди ясного разума и чистых убеждений, которые целиком разделяли наш ужас перед чумой нацизма. Но эти честные в большинстве случаев сами не имели влияния и, кстати, как раз из-за своей честности и справедливости часто были склонны ослаблять свою позицию и свою аргументацию известными моральными оговорками. Не то чтобы они хотели защитить или приукрасить позорные дела Гитлера! Однако они считали все же уместным напомнить нам о Версале, несправедливом мире, который якобы загнал немецкий народ в отчаянье и тем самым в руки демагогов. Без Версаля не было бы Гитлера! И каким бы скверным он ни был, разве нельзя, несмотря на это, жить с ним в мире? Честные были

пацифистами. Большинство эмигрировавших писателей, о которых идет здесь речь, также могли претендовать на это звание. Тем глубже их отвращение к немецким деспотам и поклонникам насилия.

Бескомпромиссная позиция этих писателей отчуждала, зачастую отталкивала. Их упрекали в односторонности, преувеличении; ненависть — так, наверное, это называлось — делает их слепыми; острота их суждений воспринималась как типичный симптом «эмигрантского психоза», и от нее отмахивались. Если бы немецкий режим действительно был бы очень плохим, как мы это изображали, мог ли бы он тогда держаться? Так вопрошали реалисты, приходя тотчас к заключению: факт, что режим держится и даже процветает, опровергает ужасающую пропаганду изгнанников. Немецкий народ не стонет под гитлеровским террором, напротив, большинство людей там, кажется, просто довольны, царит достаток, ликвидирована безработица. Признают это эмигранты или нет, но диктатура популярна у масс, немецкий народ стоит за своего фюрера.

Мы не соглашались. «Гитлер — не Германия!» Изгнанные настаивали на этом, повторяли это снова и снова. Гитлер — не Германия! «Собственно» Германия, «лучшая» Германия была против тирании, упрямо заверяли мы мир. Немецкая оппозиционность принимала в наших статьях и манифестах громадные размеры: миллионы (мы настаивали на этом) рисковали жизнью и свободой в борьбе против ненавистной системы. Мы не пускали пыль в глаза: мы *верили.* Наша подлинная, пусть и наивная вера в силу и героизм внутринемецкого движения Сопротивления давала нам моральную стойкость, стимул, в котором мы при нашей изолированности и беспомощности так настоятельно нуждались.

Да, мы были глубоко убеждены в том, что говорили от имени всех «лучших немцев», именно тех мучеников и героев, которых террор на родине принудил к молчанию. Вопли задушенных в концлагерях, критика шепотом, подавленный крик, страх, вопрос, растущая угнетенность лучшей части общества — все это стремились мы членораздельно произнести и довести до сведения летаргически-невежественного мира. Ожидали ли мы эха? Оно откликнулось нам в форме разнузданной брани. Пресса Геббельса начала швырять, кстати весьма плоские, проклятия и оскорбления в адрес «эмигрантского отребья», что все-таки на свой лад означало резонанс. Очевидно, наши усилия были не совсем напрасными. Мы рассердили господ, нас заметили; тот факт, что где-то на свете есть немцы, которые отваживаются открыть рот,

был воспринят берлинским министерством народного просвещения и пропаганды как невообразимый скандал. Как прекратить его? Наши журналы и книги, наши доклады и театральные пьесы невозможно было запретить «извне». Но можно было лишить нас гражданских прав, исключить нас из народной общности. Если мы уже не немцы больше, то и протест наш несколько менее скандален. Так додумались до забавной идеи «лишения гражданства». Мужчины и женщины, которые были немцами по своему рождению, а также проживали в Германии до недавнего времени и приносили там пользу, одним росчерком пера теряли свою национальность.

Утрата переносимая, тем более что ее считали временной. С нацистской Германией и без того не хотели иметь ничего общего; после падения режима смехотворный гитлеровский декрет больше не будет обладать никакой значимостью. Вернувшись назад, все равно опять будешь гражданином, лишали тебя гражданства или нет. На этот час мы уповали, пожалуй, даже верили: он вскоре наступит. Восстание народа против угнетателей, немецкая революция, ведь она больше не может заставлять себя ждать. И даже если она из-за гестаповского террора чуточку затянется, в конце концов она все-таки разразится; мы твердо рассчитывали на это. «Наступит день!» Это обещал нам один из наших духовных вождей — Генрих Манн.

Его имя появилось в первом списке лишенных гражданства — заслуженная честь! Он давно доставлял немецкой реакции много хлопот; теперь же он обратил на себя внимание особой боевитостью. Еще никогда не был стиль его политических выступлений так блистателен: он сохранял в гневе, в отвращении такую страстность, что из актуальной заметки, политического памфлета получалась чуть ли не поэзия. В статьях, появившихся уже в 1933 году в виде книги под названием «Ненависть», есть акценты, которые из журналистски-агитационных перерастают в лирически-вдохновенные, почти в волшебно-пророческие. Неудивительно, что тонко чувствующие нацисты сумели оценить противника такого ранга и первым занесли его в список членов «ордена почетного легиона»{242}.

Наша семья была вообще отмечена: в каждом из первых четырех списков на лишение гражданства род Маннов был представлен. После знаменитого дяди пришел мой черед. 6 ноября 1934 года я узнал через прессу, что я больше не немец, и это едва ли могло удивить меня. Вместе со мной целый ряд других небезызвестных соотечественников был подвергнут опале. Помнится, среди них были поэт Леонгард Франк, режиссер Эрвин Пискатор и политический писатель Отто Штрассер. Особо

ставилось нам в упрек то, что мы подписали воззвание, в котором советовали населению Саарской области голосовать в предстоявшем тогда плебисците против Германии Гитлера. Это было «государственной изменой», за которой в большинстве случаев шли вдобавок и другие «антигосударственные» акции.

Что касается меня, то я честно старался действовать на нервы господам из третьего рейха. Мало того что мои еретические высказывания появлялись в общей эмигрантской прессе и других вольнолюбиво настроенных европейских газетах, я основал еще и свой собственный журнал, литературное (но все же не *чисто* литературное!) обозрение под названием «Ди Заммлюнг», которое выходило с сентября 1933 года ежемесячно в издательстве «Кверидо» в Амстердаме. Андре Жид, Олдос Хаксли и Генрих Манн взяли на себя патронаж, сотрудничали в нем почти все ссыльные немецкие писатели и публицисты, кроме того, еще и довольно внушительный ряд не-немецких авторов с международным авторитетом: Ромен Роллан, Жан-Ришар Блок и Филип Супо, Рене Кревель и Жан Кокто, Карло Сфорца, Бенедетто Кроче и Иньяцио Силоне, Викхам Стид, Стивен Спендер и Кристофер Ишервуд, Эрнест Хемингуэй и Шолом Аш, Илья Эренбург и Борис Пастернак, швед Пер Лагерквист и голландец Менно тер Браак. Делом моей чести было представить таланты эмиграции европейской публике и познакомить эмигрантов с духовными течениями в странах проживания. Добавлялось к этому в качестве существеннейшего элемента моей редакционной программы политически-полемическое начало. «Ди Заммлюнг» был литературно-художественным журналом, но при этом воинствующим, публикации на хорошем уровне и не без тенденции. Тенденция была антинацистская. Нацисты злились, потому и замышляли месть. Наказание, до которого они додумались в своей беспомощности, — а именно «лишение гражданства» — боли не причиняло. Напротив, я чувствовал себя польщенным.

Эрика шла в третьем списке. Она заслуживала быть на очереди еще раньше; нацисты вели себя иногда странно. 1 октября 1933 года была вновь открыта в Цюрихе «Перцемолка», наперченная больше, чем когда-либо, занимательнее, чем когда-либо, с роскошной Терезой Гизе, богатым на выдумки Магнусом Хеннигом и другими. Эрика была в отличной форме как автор текстов, как шансонье и конферансье. Даже там, где ей приходилось сокрушаться, обвинять и протестовать, она выигрывала благодаря прелести своей улыбки, голоса и жеста. Ее морально-политическое обращение действовало, потому что оно шло из сердца и преподносилось с художественной фантазией. В

представлениях этого необычного кабаре были не только нравственная серьезность и духовная актуальность, но и очарование, ритм, настроение — свойства, без которых никакое убеждение, сколь прекрасным оно бы ни было, не дойдет до театральной публики.

«Перцемолка» имела успех, она нравилась. Цюрихцы оказались восприимчивее и благодарнее, чем годом раньше мюнхенцы. Последовало турне по Швейцарии, затем гастроли в Чехословакии, Голландии, Бельгии, Люксембурге. На следующую осень — новая программа в Цюрихе, потом снова международный тур. Так и шло; за время с января 1933 до лета 1936 года «Перцемолка» дала свыше тысячи представлений. В Берлине было отчего прийти в бешенство!

Там выходили из себя все больше и больше. Сперва присудили к наказанию лишением гражданства — жест, который в данном случае оказался бессмысленным; ибо, выйдя замуж за английского поэта У. Х. Одена{243}, Эрика стала подданной ее Британского Величества.

Большей помехой, чем эти никчемные анафемы, были «спонтанные демонстрации», инсценируемые нацистами и их швейцарскими друзьями, «фронтами», против «Перцемолки». В цюрихском Курзале, где тогда гастролировала труппа, дошло до скандала, по сравнению с которым инциденты по поводу Эрикиной декламации Виктора Гюго, «Немецкого обращения» Волшебника и моей премьеры «Братьев и сестер» были веселой детской игрой. Швейцарские фашисты, натасканные и оснащенные своими немецкими мастерами, не довольствовались обычными зловонными бомбами и свистками с трелями; они стреляли боевыми патронами; не исключалась вероятность того, что где-нибудь под сценой могла быть спрятана бомба с часовым механизмом. До конца гастролей для охраны «Перцемолки» каждый вечер выделялся наряд полиции. Представления продолжались. Не только Эрика дорожила ими, но и швейцарские организации. Из соображений престижа они не были склонны поддаваться дебоширам, не желая, с другой стороны, давать повод для провокаций. Как вести себя в такой ситуации? Городской совет и другие инстанции занялись этим случаем, который в прессе вдруг из раздела светской хроники перекочевал в политическую рубрику. «Перцемолка» стала cause célèbre [147], что, однако, нисколько не помогло: ей больше не давали разрешения на выступления в Цюрихе, и в других швейцарских городах тоже появились трудности.

В то время как Генрих Манн, Эрика и я были давно официально объявлены вне закона и отвергнуты, положение

моего отца еще некоторое время оставалось неясным, во всяком случае формально. Он, с момента прихода нацистов к власти, еще не высказывался публично о немецком режиме; однако было известно, что режим этот для отца отвратителен. Он не причислял себя поначалу к эмигрантам, однако и не думал возвращаться в нацистскую Германию. (После нескольких месяцев в Тессине и продолжительного пребывания в Южной Франции он осенью 1933 года осел в Кюснахте на Цюрихском озере.) Его книги еще не были в Германии официально запрещены; однако уже в 1933 году никому не пришло бы в голову громко спрашивать в немецком книжном магазине произведения Томаса Манна. Нежелательный, подозрительный автор, хотя и не окончательно ошельмованный!

Он еще не был исключен из списка граждан, но его просроченный немецкий заграничный паспорт не был ему продлен. Он мог бы получить новый паспорт — так гласило чиновное разъяснение, — но только в Германии! Так пытались заманить его обратно. Одновременно, однако, конфисковали его имущество, банковские вклады, мюнхенский дом с библиотекой, мебелью, автомобилями — забрали все, что можно было разграбить; «послушная» пресса делала его почти ежедневно объектом абсурдной клеветы и вражды, «представители немецкой духовности», от композитора Рихарда Штрауса до карикатуриста Олафа Гульбрансона, объединили свои усилия, чтобы обвинить доклад «Страдания и величие Рихарда Вагнера», который большинство господ, как было признано, не читало, в «поношении германского гения».

Возвратиться на такую родину? Он мог это не взвешивать. Но разлука была горькой, много горше для него, кровно связанного с немецким характером и традициями, чем для его сроднившихся с целым миром детей. Мысль быть окончательно или же впредь до дальнейших распоряжений отрезанным от своей немецкой публики мучила и огорчала его; он пытался насколько возможно отсрочить неизбежное. Мы с Эрикой торопили — ошибка, вероятно, ведь осмотрительность была, пожалуй, главенствующей чертой его духовно-морального склада.

Он должен был оставить себе время, год-два; в конце концов он созрел. В рецензии одной швейцарской газеты была унижена эмигрантская литература, причем критик констатировал, что Томас Манн к этой категории не причисляется. Томас Манн прореагировал недвусмысленным признанием эмиграции. Нацисты сделали вывод: автор «Будденброков», согласно распоряжению Гитлера, больше не являлся немцем. Вместе с ним лишенными немецкого гражданства были объявлены его супруга,

Катарина Манн, урожденная Прингсхейм, и четверо его младших детей — Ангелус Готфрид Томас (Голо), Моника, Элизабет и Михаэль.

Эмиграция была нехороша, но привыкают ко всему, к неудобствам, унижениям, к опасностям тоже. Некоторые изгнанники были похищены или убиты нацистами, философ Теодор Лессинг, например, и писатель Бертольд Якоб. Подобное могло случиться с каждым из нас. Рекомендовалось быть начеку. И были. Все, что имело общее с Германией, становилось жутким, пугающим. В здание, где находилось немецкое бюро путешествий или даже германское консульство, входили неохотно. Может, там были тайные люки, которые вдруг разверзались под тобой — и ты пойман. Вокруг «мерседеса» с немецким номером на всякий случай делали боязливый крюк. Отважишься слишком приблизиться — тут-то и откроется дверца машины, появится рука, цепкий кулак, и вот уже эфирная маска у лица, а когда опять придешь в себя — ты в Германии: то есть в аду.

Германия была адом, непроходимой областью, проклятой зоной. Иногда снилось, что ты в Германии, это было ужасно. Раньше, бывало, во сне блуждал голым по оживленному бульвару или оказывался в мешковатом костюме на сцене, чтобы играть роль, из которой не знаешь ни слова, — сплошь ситуации комические. Но новый кошмар, эмигрантский зловещий сон страха, был несравненно хуже.

Начиналось все безобидно. Ты брел вдоль какой-то улицы, вид которой казался знакомым, *слишком* знакомым, как постепенно выяснилось, знакомым неким угрожающим, зловеще-интимным образом. То была *немецкая* улица, ты находился в Мюнхене или в Берлине: отсюда боязнь, растущая неуютность. Как я здесь оказался? Чего мне здесь искать? И как мне уйти отсюда прочь? Спрашивая себя об этом, пытаешься казаться по возможности беззаботным, эдакий беспечный прохожий, который наслаждается веселой суетой на Курфюрстендамм или Театинерштрассе. Но что толку от непринужденной позы? Ты узнан, все более угрожающими становятся взгляды, которыми осматривают тебя проходящие мимо. Вдруг вспоминаешь, что несешь под мышкой в открытую один из запрещенных журналов, экземпляр «Ди нойе вельтбюне» или «Дас нойе тагебух». Тебе хочется избавиться от компрометирующего тебя печатного издания, дав ему незаметно соскользнуть на землю или хотя бы по крайней мере исчезнуть в твоем кармане; но поздно: ты узнан. Неужели нет лазейки? Нет; ибо против тебя не только люди, но и дома, мостовая, враждебное небо. А ты все-таки хочешь бежать!

Улица длинна, тебе не достигнуть ее конца, и, даже если ты доберешься до конца улицы, тебя схватят охранники, они повсюду. Несмотря на это, ты мчишься, ослепнув от страха, задыхающийся, в панике, бесцельно, безнадежно. Адова улица заставляет тебя мчаться, метаться, прыгать, так как она знает, что тебе не ускользнуть от ее смертельной хватки. Ты мчишься между стен, знамен, людских масс, которые все ближе теснятся к тебе, все опаснее смыкаются вокруг тебя, ты мчишься — пока не просыпаешься в холодном поту.

Этот очень скверный сон являлся часто в эмигрантских кругах. Бывали времена, когда мне приходилось видеть этот очень скверный сон чуть ли не каждую ночь.

Германия, отчужденная, искаженная, ставшая отвратительной, — родина, которую мы смели видеть лишь в кошмарном сне! Границы рейха стали огненным кольцом, в котором было только уничтожение. У нас становилось тяжело на душе, когда мы оказывались слишком близко от этой границы — в Зальцбурге, например, или в Базеле. Поездка из Цюриха в Амстердам, весьма часто тогда совершаемая мною, была отнюдь не безопасна. Спальный вагон, который должен был перевезти меня через Францию, Люксембург, Бельгию в Голландию, мог быть отцеплен, случайно или по дьявольскому плану. Вдруг оказаться по ту сторону огненного кольца, прямо в самом пекле! Глядишь из окна и читаешь: «Кёльнский Центральный вокзал»… Такое наваждение вызывало психическое недомогание.

Между тем не совсем уж обстояло так, будто эмигранты только и жили в страхе и ужасе; так думать не следует. Тот, кто не пережил эмиграцию сам, мог бы вообще быть склонным переоценить драматические и романтические аспекты этой формы существования. Юношей я был очарован русскими беженцами, которые массами появлялись тогда в Берлине. Как это должно быть интересно — не иметь больше отечества, бездомно блуждать по свету, с ненавистью и тоской в сердце! Какое приключение — быть эмигрантом! Ну а теперь я сам был таковым, не испытывая постоянного возбуждения от этого факта и не воспринимая его как авантюрный.

Отнюдь не беспрерывно пребываешь в боевитом настроении, тоска по дому тоже проявляется только при случае, и не проводишь целый день в злобе на тиранов — короче, не всегда являешься эмигрантом «по основной профессии». Подчас забываешь, что находишься в ссылке. Даже в изгнании случаются веселые часы, которые, впрочем, и на родине были редки.

Денежные заботы! К ним привыкаешь. Капиталистом никогда не был, скорее всегда приходилось терпеть нужду. И теперь

перебьемся, хотя на чужбине бедствовать, разумеется, еще хуже, чем дома.

Новой явилась проблема паспорта, отныне это штука совсем нешуточная. Жить без паспорта человек не может. С виду незначительный документ поистине почти столь же драгоценен, как тень, ценность которой бедный Петер Шлемиль осознал по-настоящему именно тогда, когда по своему легкомыслию от нее отказался. Транзитные визы, разрешение на работу и пребывание, cartes d'identité [148], titres de voyage[149] — эти вещи играли непременно доминирующую и довольно мучительную роль в мыслях и разговорах немецких переселенцев. Но в конце концов по большей части какой-нибудь выход находился. В моем случае помогло любезное правительство Нидерландов. В мое распоряжение был предоставлен голландский «паспорт иностранца», который давал не имеющему подданства некоторую свободу передвижения. Позднее великодушие президента Бенеша сделало нас всех — моих родителей, Генриха Манна, моих братьев и сестер (за исключением британской Эрики) — гражданами Чехословакии.

Жили в Амстердаме, в Цюрихе, в Париже и не воспринимали эти прекрасные города как «ссылку». Париж уже с давних пор был своего рода deuxième patrie [150], в Амстердаме были друзья и работа; в Цюрихе были друзья и родительский дом.

Вилла в Кюснахте под Цюрихом, правда, никоим образом не могла сравниться по солидности с потерянным мюнхенским очагом, но на свой скромный лад была так же мила и приветлива. Впрочем, теперь в «доме детей» постоянно квартировали из шести братьев и сестер только двое, оба младших. Они ходили в школу в Цюрихе, позднее посещали консерваторию. Михаэль хотел стать скрипачом, Элизабет — пианисткой. Оба были детьми, когда мы покинули Германию; о тоске по родине у них не могло быть речи. Меди (Элизабет) говорила уже с легким швейцарским акцентом, да и выглядела как швейцарская девушка, серьезно-уравновешенная и одновременно чуточку бесцеремонная, с ясным, интеллигентным лбом, приветливым взором, ненакрашенными губами, в спортивном костюме: этот тип известен, он больше всего располагает к себе. Биби (Михаэль), показавший себя менее восприимчивым к тамошнему диалекту (мы с Голо ведь тоже так и не овладели баварским наречием, в котором Эрика была мастером), влюбился, однако, в настоящую швейцарку, что, вероятно, является мужским способом ассимилироваться в стране пребывания.

Наряду с двумя «маленькими», которые вовсе не были больше такими уж маленькими, в гостеприимном «доме детей» бывал

всегда кто-нибудь из нас, старших, правда лишь с визитами и временно. Между утомительными турне «Перцемолки» для короткой передышки в Кюснахте останавливалась Эрика. Приезжала Моника из Флоренции, где она тогда жила и где, между прочим, познакомилась с молодым венгерским историком искусств Енё Лани, которому суждено было позднее стать ее мужем. Голо, доктор философии и истории, которому в Германии наверняка была бы обеспечена значительная академическая карьера, трудился в качестве доцента во Франции, сначала в Высшей педагогической школе в Сен-Клу под Парижем, позднее в университете Ренна; каникулы же молодой ученый проводил у гостеприимных родителей.

На кюснахтской вилле бывало людно, почти так же оживленно, как когда-то на Пошингерштрассе. Из старых мюнхенских друзей появлялись, разумеется, только те, кто, как и мы, порвали отношения с нацистской Германией; тот же, кто хотел еще там жить и зарабатывать, избегал нашего опороченного дома.

Единственными, или чуть ли не единственными, кто тогда еще поддерживал с нами связь из Мюнхена, были Оффи и Офей, удивительные прастарцы. Они не отказывали себе дважды-трижды в год наезжать к нам в гости, одряхлевшие, но с железным жизнелюбием и замечательным упрямством. Прекрасный дворец на Арсиштрассе, который почти полстолетия был их домашним очагом, им, правда, пришлось неожиданно покинуть: он располагался близ коричневого дома и подлежал теперь сносу, чтобы высвободить место для нового партийного здания. Арсисси, символ и источник легендарнейших воспоминаний, один из драгоценнейших и любимейших мифов детства, пал жертвой честолюбия некоего бездарного, но могущественного архитектора…

Оффи с Офеем находили это прискорбным, однако отнюдь не были склонны позволять таким мелочам влиять на свои решения. Вообще на них нелегко было повлиять, по крайней мере нам. Мы заклинали их решиться на эмиграцию и перебраться в Цюрих, где они, все еще зажиточные, каковыми тогда были, могли бы приятно прожить свою старость. Но нет, Офей не хотел, Оффи тоже была против. Эмигрировать? Почему? Прастарцы находили это бредовой идеей. Они считали, что младшее поколение прямо-таки до смешного переоценивает серьезность гитлеровской опасности. Что касается прастарцев, то они решили всякий национал-социализм начисто игнорировать. Вместо того чтобы перебраться в Цюрих, они приобрели себе милую квартиру в Мюнхене, недалеко от своего старого дома. Оттуда они безо

всякого стеснения регулярно наносили визиты в Кюснахт.

Было приятно видеть их у нас. Итак, Арсисси больше не существовал, но, пока так несокрушимо существовали Оффи с Офеем, кое-что от мифов детства оставалось живым и настоящим. Офей скрипел, Оффи переливалась жемчугом. Она все еще была красива, с серебристо-белой прической в стиле рококо, прелестно подвижным ртом и выразительным взглядом. Настоящая личность наша Оффи! Какой темперамент! А ее дух противоречия с годами, скорее, еще усилился. Когда кто-нибудь из нас осмеливался намекнуть на какое-либо ужасное событие в Германии, Оффи строго говорила: «Ты был при этом?» Приходилось отрицать. Она с триумфом улыбалась: «Вот то-то!» И все этим заканчивалось.

Оффи и Офей, выносливые предки, демонстрировали и гарантировали непрерывность нашей семейной жизни и жизни вообще, даже в этих коренным образом изменившихся обстоятельствах. Впрочем, имелись еще и другие миры, на прочность которых можно было положиться, отцовская рабочая комната к примеру. В кюснахтском доме она находилась на втором этаже, тогда как на Пошингерштрассе на нижнем; но в остальном она не намного изменилась. Благодаря какой-то военной хитрости удалось переправить из разграбленного мюнхенского дома в Швейцарию письменный стол с некоторыми принадлежностями. Они снова с нами, хорошо знакомые предметы в хорошо знакомой строгой, педантической определенности: кожаная папка, пресс-папье, чернильница, профиль Савонаролы, портрет Милейн в юности, изготовленный Каульбахом, египетский бюст. Атмосфера в кабинете тоже оставалась прежней — старая ароматическая смесь из сигарного дыма, одеколона и запаха книг в кожаных переплетах.

После ужина собирались в этой уютной и одновременно торжественно-серьезной комнате, в ссылке, как и дома. Может быть, тут и гости, те же, что в незапамятные времена детства: знакомый Ганс Рейзигер (он потом надолго не захочет более бывать у нас, но сейчас еще заходит), или наша покладисто-динамичная Гизе, или Аннемари, миловидное пажеобразное «швейцарское дитя». Но это могла быть и Аннетте Кольб, неожиданно прибывшая из Парижа или Базеля поездом; вот она сидит в углу софы, породисто-удлиненное лицо оживленно под непременной черной шляпкой, и болтает несколько рассеянно на своем самолично созданном верхнебаварско-парижском жаргоне. Или в этот вечер гостит Эрих фон Калер, философ и поэт, верный друг отца и семьи? Урожденный пражанин, на долгое время осевший под Мюнхеном, он живет теперь в Цюрихе и часто

приходит к нам. Это мог бы быть и Фердинанд Лион, чуткий слушатель и критик, его принимают охотно, хотя его образ мыслей не совсем лишен несколько раздражающего кукольного желания покрасоваться. А если это не Лион, то я представляю себе Франца Байдлера, этого политически и литературно очень деятельного внука Рихарда Вагнера, на которого он, между прочим, до смешного и странного похож внешне; Франц Байдлер, значит, был бы тоже желанен. С ним под конец появлялись даже милые Опрехты, Эмиль и Эмми, издательская пара, чей цюрихский дом стал оживленным местом встречи литературной эмиграции… Короче, в доме гости: попили черного кофе внизу в большой гостиной и теперь поднялись в рабочую комнату. Милейн еще проворно распределяет пепельницы, тогда как Волшебник уже откашливается в кожаном кресле, очки на носу, рукопись в руке. Затем в комнате становится тихо, и повествование начинается.

Оно не начинается, оно идет дальше. Рассказчик продолжает оттуда, где прервался в прошлый раз. Прошлый раз — не в Мюнхене ли это было, или в Лугано, или в Санари под Тулоном? Как бы то ни было, история набирает ход, протекает, развивается по собственному закону: терпеливо вытканная и красочно достоверная история и божественный вымысел об Иосифе и его братьях. Как же давно знаем мы уже прелестного отпрыска Рахили! Его прекрасный и милый образ нам так же близок, как звучный голос, голос отца, который умеет вызвать очарование этой давно минувшей, мифически далекой юности тщательно отобранными прилагательными, приблизить к нам и осовременить.

Да, тот все еще молодой, хоть уже и не совсем по-мальчишески юный Иосиф, которого мы не без растроганности снова встречаем на Цюрихском озере, это еще тот самый, тот, кто — сколько времени назад? — выклянчивал у достойно-рассудительного Иакова пестрые одежды и докучал братьям своими бестактными снами. Между тем, разумеется, с баловнем приключается всякое, его судьба была не легче нашей: изгнание — оно тоже не миновало его. Сперва угодил он в яму, потом на чужбину; но судьба бережет его в целости, а точнее, его завидные качества помогают ему выпутаться из беды.

Для эмигрантской публики было весьма ободряющим слышать, как скоро оправляется сперва казавшийся совершенно поверженным Иосиф от своего глубокого падения и делает карьеру в экзотических условиях. Его красноречие, его остроумие и обаяние, его врожденная учтивость оказываются столь же действенными, столь же неотразимыми в доме египетского

владыки, как и дома, в отцовском шатре. Даже госпожа, супруга Потифара — далекая от того, чтобы выказывать презрение к приблудному, — подпадает под власть этой чрезвычайно приятной улыбки, этой ребячески-лукавой словоохотливости, прекрасных темных Рахилевых глаз. Светская жрица и аскетически гордая *grande dame* домогается недоступного раба. Как она горит! Как страдает! Как изводится в горько-сладостном экстазе! Повествователь в кюснахтской рабочей комнате метко найденными и искусно пригнанными друг к другу словами делает прямо-таки наглядным, сквозь какой ад, какие восторги проходит эта пораженная, околдованная женщина. Покончено с ее благородной воздержанностью, жречески элегантным поведением! Она сбрасывает свое достоинство, словно обременительную маску. Любовь ломает ее гордость, портит цвет ее лица, уподобляет ее старой шлюхе, это невозможная, несбыточная, недопустимая любовь к чужому рабу, кстати девственному недотроге. Потифарова жена предается своей абсурдной страсти с таким же мазохистским радикализмом, с каким некогда на венецианском берегу предавался эмоциям подобного свойства стареющий романист Густав Ашенбах{244}. Теперь аристократическая египтянка унижает, низводит себя, как тогда зараженный холерой и эросом прозаик. Ради своей трагической, чрезмерной любви она готова рисковать всем: званием, репутацией, домашним очагом, состоянием. Эта невозможная любовь — ее проклятие, ее небо, ее лихорадка, ее изгнание.

Подобное переживается снова и снова, в изгнании тоже. О любви я мог бы многое рассказать, однако этого не делаю или лишь между прочим, намеком, не вдаваясь когда-либо по-настоящему в эту прекрасную и смутную тему. Почему эта сдержанность? Из стыда? Из осторожности? Может быть. Вероятнее оттого, что именно эту сферу я приберегаю и оставляю за собой для художественного воплощения.

Здесь я предпочитаю говорить о дружбе — комплексе чувств и переживаний, который, по моему опыту, лишь очень редко соприкасается со сферой эротического или даже сексуального. Разумеется, бывают пограничные случаи, переходы; в вожделении может содержаться зародыш дружбы, из товарищества появляется нежность; однако в общем мне кажется целесообразным строго различать эрос и симпатию, эмоционально-половое влечение и морально-интеллектуальное родство. Любовь почти всегда лишена взаимности; дружат лишь при взаимной склонности. Любят то, что чуждо и противоположно собственному существу;

дружатся с родственными себе. Любовь — это риск, опасность; дружба — надежность. Сексуальная сосредоточенность, страсть к определенному человеческому телу, определенному рту, определенным объятиям, причиняет такую жестокую боль, что мы едва ли перенесли бы ее без утешения дружбы.

Моя жизнь была богата дружбой; в этой документальной хронике вынужденно отсутствуют многие имена, которые мне были дороги и дороги поныне. Разлука с Германией, конечно, прервала сердечные контакты, которые охотно поддерживались бы; но большинство настоящих друзей отправились с нами в эмиграцию, и, впрочем, за границей скоро образовались новые товарищества, некоторые из них очень теплые и плодотворные.

Таково прекраснейшее человеческое отношение, которым я обязан в эти первые годы изгнания издателю Фрицу Ландсхофу. С 1933 года он является моим другом-собратом. Союзы такого рода заключаются по большей части лишь между очень молодыми людьми, тем значительнее счастливый случай поздней встречи. Не то чтобы я тогда был стар! С двадцатисемилетним может случиться еще почти то же, что и с юношей. Однако я был все-таки уже довольно опытным, поднаторевшим; я рано проявил себя в о всем, в дружбе тоже. Лучшего друга я только что лишился; после смерти Рикки я едва ли мог еще надеяться когда-нибудь вновь найти такое согласие и такую верность. И вот это повторилось еще раз, и опять, как в случае Рикки, это была дружба втроем. Эрика тоже имела отношение к этому союзу. Прочно в моей жизни было, пожалуй, только то, в чем она принимала участие.

Ландсхоф, который был в Берлине директором издательства «Кипенхойер», основал в 1933 году в Амстердаме издательство «Кверидо», немецкое отделение старой голландской фирмы «Уитгеверсми». Шеф издательства Эмануэль Кверидо — нидерландец португало-еврейского происхождения — был седовласым человеком маленького роста и большого темперамента, забавно-патриархальным, с ярко-синими капитанскими глазами на изрытом морщинами веселом, умном лице. Старый социал-демократ ненавидел фашизм в любом виде, но особенно в немецком; именно поэтому забота об антифашистской немецкой литературе была для него кровным делом. Его весьма толковая, кстати и весьма привлекательная, сотрудница Алисе ван Нахус взялась вместе с Ландсхофом за руководство новым немецкоязычным издательством. Большинство эмигрировавших значительных авторов печатались в «Кверидо»: Якоб Вассерман, Генрих Манн, Эрнст Толлер, Лион Фейхтвангер, Анна Зегерс, Арнольд Цвейг, Викки Баум, Эрих-

Мария Ремарк, Эмиль Людвиг, Альфред Дёблин, Бруно Франк, Леонгард Франк, Людвиг Маркузе, Йозеф Рот, Валериу Марку — достаточно назвать только этих. Что касается меня, то издательство печатало не только мои книги, но и мой журнал «Ди Заммлюнг», при издании которого мне были полезны организаторский опыт и литературный вкус Ландсхофа.

Немецкие книги и немецкие журналы издавали в Амстердаме потому, что этого нельзя было больше делать дома: там правил изверг. Об этом неприятном факте следовало всегда помнить, что, однако, не мешало находить весьма приятным во многих отношениях новое, не совсем добровольно избранное окружение. Город Амстердам красив, но радуется ли этой красоте эмигрант или развлекающийся путешественник? Изгнанник тоже восхищается благородно-скромной архитектурой старых патрицианских домов, ощущает некую чарующую прелесть судоходных каналов с их венецианскими запахами и перспективами. Стоячая вода этих живописных каналов завораживала меня всегда жутким образом. Как мне рассказали, в ее маслянистой глубине массами ютятся крысы. Это — ядовитая вода, мертвая вода; упадешь, наглотаешься и умрешь от эффектно-омерзительных шишек, как прокаженный в средневековье. Вдоль судоходных каналов тащатся бедные, но бодрые мужчины с передвижными шарманками — инструментами огромных размеров, часто оформленными с барочной пышностью, — и раздаются печальные напевы. Они требовательным жестом протягивают прохожим погромыхивающую жестянку и принимают монету как дань, по праву им принадлежащую. Узкие переулки кишат велосипедистами, чье беззвучно-проворное проскальзывание в сумерках может произвести впечатление призрачности. Повсюду портреты королевствующих женщин, королевы-матери, королевы, кронпринцессы; повсюду тюльпаны. Однако девицы, которые в известных районах города гостеприимно сидят у окна и заманивают прохожего крепким словцом, предпочитают искусственные цветы, Бог знает почему. Статностью напоминающие рубенсовские изображения, восседают они в креслах около вазы с бумажными розами и затемненной лампой. Даже «порок» — если уж это так хотят называть — подает себя в Амстердаме с разумно-архаичной уютностью.

Архаично-уютным был и пансион, где мы с Ландсхофом нашли скромное, но не без комфорта убежище. Дни проходили в работе. Если хотелось отдыха, то прогуливались по широко раскинувшемуся, радующему глаз, ухоженному Вандель-парку или проводили благоговейнейший час в Рийксмузеум перед

освежающе реальными, при этом захватывающе вдохновенными ландшафтами, портретами, религиозными сценами, натюрмортами, аллегориями и по-домашнему светлыми жанровыми картинами великих фламандцев. Вечерами в Концертном зале звучала хорошая музыка. Великий капельмейстер и странный человек Виллем Менгельберг, которому позднее суждено было быть дискредитированным по политическим причинам, тогда еще дирижировал в Амстердаме оркестром, ставшим под его руководством всемирно известным.

Сидели на террасе отеля «Американ» и пили можжевеловую водку, закусывали аппетитными кубиками голландского сыра или свежей сельдью. Именно в Амстердаме могла оказаться на гастролях «Перцемолка», ибо там пользовалась особой популярностью; тогда за нашим столом мы с удовольствием видели Эрику и Гизе. И тут же в нашей компании оказывался Ландауэр, тот тонкий, в высшей степени порядочный и в высшей степени рассудительный, остроумно-меланхоличный Вальтер Ландауэр, который совместно с Ландсхофом руководил издательством «Кипенхойер» в Берлине и которому теперь подчинялось немецкое отделение издательства «Аллерт де Ланге» в Амстердаме. Между его предприятием и «Кверидо» существовало своего рода дружеское соперничество, причем акцент скорее следует ставить на прилагательном, чем на существительном. Литературная эмиграция была достаточно продуктивна, чтобы обеспечить первоклассным материалом оба издательства.

Герман Кестен принадлежал к авторам издательства «Аллерт де Ланге», в котором, кстати, он трудился в качестве редактора и консультанта. Он жил в Париже, но часто приезжал в Амстердам, всегда неугомонный, веселый, полный ненасытного интеллектуального любопытства и неподдельного темперамента, скептичный до цинизма и идеалистичный до наивности, щедрый на парадоксальные остроты и доверчивый, шельмующий и великодушный, лояльный и ехидный, колкий юморист и благородный защитник прав человека, примерный ученик Вольтера, один из поклонников великого Генриха Гейне, хороший писатель, хороший борец и хороший друг.

Да и кроме них в посетителях недостатка не было; многие авторы, близкие одному из двух издательств — «Кверидо» или «Аллерт де Ланге», — появлялись при случае в Голландии. Приезжал Эрнст Толлер — личность очень трогательная и достойная любви: готовый по-товарищески помочь при всем эгоцентризме, откровенный при всей склонности к риторике, человек с благодарным сердцем и часто веселым нравом при,

между прочим, опасно ранимой психике и злополучной тенденции к маниакально-депрессивному. Являлся Леонгард Франк, серьезное, красивое, как на гравюре, лицо, одновременно отстраняющее и подкупающее странно-пронизывающим холодно-голубым взором и рассеянной, отчужденной и одновременно понимающе-благосклонной улыбкой. Останавливался на пару дней в Амстердаме между какими-нибудь авантюрными поездками Эгон Эрвин Киш, «неистовый репортер», пышущий нервозной жизненной силой, мучимый никогда полностью не осуществленными, может быть, невыполнимыми амбициями, агрессивный, полный юмора, энтузиазма, истинный друг всего мира, почти романтик, с марксистско-материалистическими принципами.

Визиты австрийского писателя Йозефа Рота вносили определенное возбуждение. Он настаивал на чрезмерных авансах — неважно, от «Кверидо» или от «Де Ланге», — и поражал господ из прессы замысловатыми политическими теориями, которые защищал с великой словоохотливостью и упорством. Спасение Европы — согласно Йозефу Роту — могло прийти только от дома Габсбургов, другой надежды не было. Если бы только сие помазанное величество вновь воцарилось в Венском дворце, то все бы было хорошо: рать «антихриста» уже исчезла бы. Разглагольствуя подобным образом, поэт потреблял удивительные дозы алкоголя; на моей памяти это были большей частью напитки необычайно темной, коричнево-мутной окраски и прямо-таки дьявольской крепости, их наш друг прихлебывал из рюмочек. С остекленевшим взглядом, но в остальном в достойно-собранной манере он вел себя в Cercle [151] в кафетериях Парижа, Вены, Амстердама и других метрополиях. И где бы ему ни пришлось задержаться, его стол всегда становился центром. Автору романов «Йов» и «Марш Радецкого», который, кстати, никоим образом не играл роль метра, присуща была та притягательность, которая относится к человеческим свойствам и проявлению таланта. Коллеги и поклонники окружали его, в то время как он с не очень ладным, скорее разудало-наигранным воодушевлением грезил кайзерской идеей, опрокидывая при этом темные стопки одну за другой. Смеси, которыми он подкреплял себя, выглядели как лекарства, но были ужасно вредны для здоровья: писатель Рот совершал медленное самоубийство, допиваясь до смерти среди поклонников и коллег.

Несколько сомнительно обстояло дело и с другим писателем, который посещал нас время от времени в Амстердаме, — Эденом фон Хорватом, венгерским драматургом и романистом. Хотя пил он не так много и вряд ли когда говорил о кайзере, но беседы его тем не менее не были лишены тревожащих нот. Хорват, одно из замечательных поэтических дарований своего поколения, охотно рассказывал о своей жизни, о несчастных случаях, немыслимых болезнях и всякого рода наказаниях. Призраки, ясновидцы, вещие сны, галлюцинации, предчувствия, предсказания будущего и другие привиденческие феномены тоже играли роль в его разговоре, ведшемся, кстати, отнюдь не робким полушепотом, но с игривой, часто довольно нарочитой веселостью. У Хорвата не было ничего от истерика или педантично-мрачного любителя оккультного; скорее он отличался крепким здоровьем и способностью наслаждаться. Он знал, однако, многое о *страхе,* о том глубоком, парализующем недуге, который Фрейд признавал центральным элементом нашей культуры и распространение которого, возможно, станет, собственно, решающим, роковым событием эпохи. «Перед нацистами у меня нет такого уж большого страха, — утверждал Хорват. — Есть вещи похуже, а именно те, перед которыми испытываешь страх, не зная почему. Я боюсь, к примеру, *улицы.* Улицы могут быть враждебными, могут уничтожить. Улицы наводят на меня страх».

После пребывания в Амстердаме он отправлялся в Париж, где вел переговоры с одной кинокомпанией. Перед отъездом он зашел еще к гадалке: от нее он хотел узнать, состоится ли прибыльная киносделка. Посвященная баба выразилась многозначительно, на старый оракульный манер: «В Париже, сударь, вы встретились с величайшей авантюрой вашей жизни!»

Переговоры он вел в одном бюро на Елисейских полях; дело, казалось, шло на лад, Хорват считал, что контракт уже в кармане. Так много денег! Вот это авантюра! Величайшая в его жизни, совсем как предсказывала ведьма… В оживленном настроении он отправился домой. Когда он брел вниз по Елисейским полям, поднялась маленькая буря, не то чтобы ураган, но все-таки довольно сильные порывы ветра. Жестокий бриз сорвал одну из многих ветвей одного из многих деревьев, стоящих по краю прекрасного бульвара. То было дерево, под сенью которого как раз находился писатель. На затылок ему свалился тяжеленный сук, он ударил ему в шею, как топор. Тот, который не боялся нацистов, был гильотинирован миролюбивым парижским деревом.

Умирали на чужбине быстро, скоропалительнее, чем дома. В этой хронике будет рассказано еще о ряде скоропостижных

смертельных случаев, причем большей частью речь пойдет об эмигрантах. Эпидемии самоубийств и инфарктов предстояло, разумеется, получить размах несколько позднее; однако уже в эти первые годы ссылки умирали с большим рвением. Очень скоро эмиграция опостылела юристу и преуспевающему драматургу Максу Альсбергу, с которым я был хорошо знаком: он покончил с собой уже в 1933 году. Следующим был Курт Тухольский. Он сделал это в Швеции, не преминув перед этим выразить свое отчаяние. Якоб Вассерман умер естественной смертью, которая, однако, судя по всему, не была для него столь уж нежеланной. Этому могучему прилежному старому сказителю и до глубины сердца обеспокоенному мыслителю, как еврею и немцу, слишком уж туго пришлось в жизни. В последнее время его лицо, которое никогда не было веселым, было искажено страхом, обезображено скорбью и усталостью. Он хотел покоя.

Для меня самой горькой была утрата двух друзей, чьи имена могут не много значить для общественности, которых я, однако, уже представил на этих страницах; теперь я должен дать им возможность уйти со сцены, моей дорогой Герт и моему дорогому Вольфгангу. Девочка Герт — припоминаете? — была мне близка с тех отдаленных, почти уже мифически блаженных дней в Бергшуле. Тогда у нее была такая потешно-колоссальная фигура, что мы называли ее «слоненком»; позже она похудела вследствие злоупотребления морфием. Она разрушала себя намеренно или по крайней мере с той неосмотрительностью, которая позволяет сделать вывод об известном ослаблении воли к жизни. Конец наступил в Париже, осенью 1933 года.

Вольфганг Хельмерт, который принимал по меньшей мере столь же значительные количества прелестно-пагубного снадобья, протянул еще годок, чтобы потом в свою очередь, в 1934 году, приказать долго жить, также в Париже. Перед тем этот высокоодаренный, но ленивый и, впрочем, не особенно заинтересованный в своей карьере человек собрался с силами записать некоторые прекрасные мысли. Несколько жемчужин, которые нашли в его наследии, — три-четыре заумно-напевных стихотворения, две в высшей степени проникнутые чувством внушения прозаические фантазии — появились в журнале «Ди Заммлюнг». К тому времени взыскующего яда, взыскующего смерти юного поэта уже не было на этом свете, он улетучился, к чему, впрочем, как уже было дано понять ранее, всегда стремился его гордый дух.

А мы все еще здесь; это может быть и преимуществом, и недостатком. В конце концов находимся в Амстердаме, на террасе отеля «Американ». Во имя общения. Кстати, оно отнюдь не

ограничивалось только немецкой эмигрантской средой. Подружились с голландцами; мне ближе других оказались литературно-философский эссеист Менно тер Браак, страстный и чистый дух исключительно оригинальной чеканки; писатель Йозеф Ласт, который как раз тогда издал одну из лучших своих книг, «Зейдерзе», и с которым мы вместе восхищались Андре Жидом; супружеская чета живописцев Карин и Эрнст ван Лейден, художники со вкусом и прилежанием, космополиты замечательной образованности и интеллектуальной увлеченности, к тому же гостеприимные милые люди, в чьем идиллически укромном сельском доме хорошо отдыхалось и работалось.

Приезжал из Парижа Рене Кревель, то с нашей общей подругой Теа (Мопсой) Штернхейм, то один или в сопровождении некоей элегантной южноамериканки, которой тогда обзавелся. Он ругался, острил, жаловался, напивался, читал отрывки из новых произведений, был нежным, нетерпеливым, услужливым, иногда жестоким. Он мог быть жестоким по отношению к самому себе, как и к другим. Пламя его широко распахнутых глаз не знало ни компромисса, ни жалости.

Из Лондона тоже исправно наносились визиты. Мой старинный английский друг Брайен Ховард являлся с обязательной свитой; молодой романист Кристофер Ишервуд{245}, стилист и великолепный психолог, на некоторое время осел в Амстердаме. Я знал его еще в Берлине, но там всегда были «дела»: друг для друга у нас времени не хватало. В более тихом Амстердаме в часы досуга можно было предаваться общению с человеком, если он казался стоящим. Душевный контакт с ним становился для меня с течением лет все ценнее.

Его присутствие притягивало других британцев: приезжал Стивен Спендер, динамичный, экзальтированный, всегда полный неосуществимых идей и прожектов, воинствующий мечтатель, поэт-авангардист, как он представлен в книге, одновременно задиристый и плутоватый, поэт-юноша с непреклонными принципами, Ариэль, прочитавший Карла Маркса; и У. Х. Оден Уистон, мой новый шурин, который в то время еще тоже переживал свой авангардистски-революционный этап. Разумеется, его порыв уже тогда казался гораздо менее наивным, чем риторическая сентиментальность или педантичная неуступчивость большинства леворадикальных бардов. У Одена все намного сложнее, глубиннее, спокойнее, таинственнее, *духовнее*. Человек такого склада никогда не пребывает в одном убеждении, в одном настроении. Ведя товарищей в некоем направлении и приобщая их к определенной догме, для самого

себя он делает иронические оговорки. Странно было наблюдать У.Х. в кругу его друзей и последователей! Что за лукавый, разносторонний молодой мастер!

Очень охотно вспоминаю я и день, который мы — Ландсхоф, Ишервуд, я и парочка других друзей — провели с Е. М. Форстером в Цандвоорте на море. Автор «Поездки в Индию» — романа, который в англоязычном мире единодушно был признан «a classic» (классическим шедевром), — принадлежит, правда, к значительно более старшему поколению, но пользуется особой популярностью у интеллектуального авангарда, смены, которая к этому времени была представлена прежде всего Оденом, Спендером и Ишервудом. Из всех литературных знаменитостей, с которыми более или менее близко познакомился я на протяжении лет (и Богу ведомо, их было много! более чем достаточно!), Форстер является одним из самых обаятельных, как раз потому, что он, кажется, совершенно не осознает своего обаяния, воздействия своей личности. Он весел, невзыскателен, наделен высоким тактом как человек и как писатель. Все у него understatement [152], пользуясь непереводимым английским выражением; нет никаких кричащих тонов, никаких резких или кокетливых жестов. В его обществе можно быть веселым, можно радоваться. Мы были веселы, и мы радовались в этот летний день в Цандвоорте; должно быть, это было в 1935 году. Мы плавали, а затем устроили забег на берегу, а затем мы лежали на солнце, нежились и рассказывали глупые истории, над которыми слишком долго смеялись. Это был настоящий день отдыха. Мы не думали о Гитлере. Мы забыли, что существуют концлагеря, и что, вероятно, будет война, и что положение в мире в общем и целом отнюдь не располагало к смеху.

Во время первого периода эмиграции Амстердам был моим местожительством и, так сказать, «ставкой»: я проводил там около пяти месяцев в году. Из остальных семи месяцев большая часть отдавалась Парижу и Цюриху; потом следовали более краткие пребывания на Французской Ривьере, вылазки в Вену, Прагу, Будапешт, один визит в Лондон или поездка на пару летних недель на остров Мальорка.

В Цюрихе был дом родителей и родительский круг друзей, но кроме того еще и многочисленные знакомые, с которыми встречались в кафе «Одеон», в опрехтской книжной лавке или в опрехтском доме, в фойе или буфете очень оживленного и прогрессивного дома актера на Пфауенплатц. Принадлежал к этому кругу А. М. Фрей, рассказчик очень личностного стиля, человек причудливой, впрочем, замечательной фантазии.

Мельком появлялась в нашем центре Эльза Ласкер-Шюлер, прозванная «Принц из Фив», несколько чудаковатая, иногда пугающе, иногда безумно комичная, но в каждом жесте, каждом слове, произнесенном застенчиво, шепотом, или же гневно, громко, — подлинная поэтесса, яркий талант, талант такой силы и настолько своеобразного склада, что на самом деле она почти заслуживает имени гения. Присоединялся к нам, бывало, Иньяцио Силоне, товарищ по несчастью из другой страны. Конрад Хейден{246} информировал о продвижении своей работы над биографией Гитлера, которой позднее суждено было принести ему международную известность. За тем или иным столом в «Одеоне», на «Террасе», в «Селекте» или другом цюрихском кафе бывал вольнослушателем Стефан Цвейг, изысканный, умный, пользующийся уважением, «возвышенно пацифистский», всегда готовый помочь, интересующийся работами и заботами других.

Не ссылка, а сплошное общение! Что за живительное изгнание! Пьешь ли свой стаканчик «можжевеловой» на Лейдсхеплейн в Амстердаме или обязательный кофе с вишневым ликером на Бельвю в Цюрихе — повсюду хорошо знакомые лица! Список лиц был велик, чтобы рискнуть назвать всех в рамках этих заметок. Тем не менее мне кажется важным дать какое-то представление, какую-то приблизительную картину богатства и многообразия немецкой литературной продукции за рубежом.

За одним исключением, я знал *всех* немецких писателей в ссылке. Не знал я только Эрнста Глезера, который в первые годы эмиграции прикидывался, что принадлежит к нам. Да, я могу сказать, что никогда не видел в лицо бойкого сочинителя романа «Год рождения 1902». Слишком очевидно было с самого начала, что он достаточно скоро будет сожалеть, что поставил «не на ту лошадь», и что в конце концов он будет где-нибудь редактировать нацистскую фронтовую газету. В эмигрантских кафе были не очень разборчивы, может быть, недостаточно разборчивы; но всему был свой предел.

Я хорошо чувствовал себя среди товарищей по несчастью, был в добрых отношениях со всеми, даже с теми, кто позднее с поразительной подлостью нанес мне удар в спину. Леопольд Шварцшильд, к примеру, я был к нему расположен, его уморительная маленькая персона нравилась мне, я восхищался его стилем. Как блистательно он писал в эти первые годы ссылки, борьбы! Праведная ненависть — да, он *ненавидел* нацистов! — окрыляла его прозу, делала его остроумным, изобретательным, красноречивым. Каждую неделю печатал он в своем журнале «Дас нойе тагебух» пламенные обвинения, политические комментарии и размышления чрезвычайной проницательности.

Шварцшильдовский еженедельник в то время, несомненно, играл живейшую роль; никакой другой публицистический орган немецкой эмиграции не воспринимался международной общественностью так серьезно, никакой другой не делал так много, чтобы разъяснить миру истинную природу и ужасные потенциальные возможности национал-социализма. Я гордился тем, что сотрудничал в «Дас нойе тагебух». За время с 1933-го до 1937 или 1938 года я опубликовал там, должно быть, многие десятки статей и заметок. А потом, в 1939 году, в том же самом «Дас нойе тагебух» обо мне вдруг можно было прочесть чудовищнейшие вещи. У Шварцшильда хватило наглости публично назвать меня «старым советским агентом». Я написал ему из Нью-Йорка: «Вы в своем уме? Вы же знаете, что это неправда. Опровергните!» Он и не подумал опровергать. Да и куда бы это привело? Я был не единственным, кого он оклеветал. Целый номер популярного еженедельника полон поправок и опровержений? Ведь это все-таки неприятно бы бросилось в глаза. Легче остаться при наглой лжи… Далеко зашло с этим талантливым издателем «Дас нойе тагебух». Чем объяснить его моральное падение? Некогда он вдохновлялся праведной ненавистью. Ненависть, которой он теперь был одержим, имела менее благотворные последствия. Может быть, это была несправедливая ненависть? Во всяком случае, она приводила к бессовестной несправедливости, не только в Шварцшильдовом случае…

Но я опять забегаю вперед — дурная привычка, волю которой мне следовало бы давать по возможности реже. Мы ведь описываем еще не 1939-й, но 1935 или 1936 год; Шварцшильд еще не разоблачил меня как «наемника Кремля», а сидит веселый со мной за Déjeuner[153] в одном славном венгерском ресторанчике, недалеко от своего бюро на рю де Фобур-Сент-Оноре; в парижских эмигрантских кругах пока еще относительно мирно, большие расколы и разрывы еще не начались. Георг Бернхард, сей бравый старый *bonhomme* [154], — прежний главный редактор бравой старой «Фосс» — редактирует еще «Паризер тагецайтунг», вокруг которой вскоре разразится грандиозный скандал и появится сильное зловоние. Вилли Мюнценберг еще коммунист, только что издавший очень броскую «Коричневую книгу». Артур Кёстлер еще коммунист и еще не всемирно известен. Мой одаренный друг Густав Реглер (рекомендую его роман «Потерянный сын»!) еще не такой рьяный коммунист, чтобы становилось страшновато от столь воинственного убеждения.

Коммунисты Анна Зегерс, Иоганнес Р. Бехер, Теодор

Пливье[247], Бодо Узе и Альфред Канторович встречаются в Союзе защиты эмигрировавших немецких писателей с либералами, такими, как Герман Кестен, Вальтер Хазенклевер, Эрнст Вайс, Фриц Вальтер, Вальтер Меринг, Клаус Манн, а то и вовсе с романтическими монархистами вроде Йозефа Рота.

Оба центра литературной эмиграции на юге Франции — Ницца и Санари-сюр-Мер. В Ницце засел Генрих Манн в маленькой квартирке, недалеко от роскошной променады Ангеэс, и работает над своим «Генрихом IV», два толстых тома: сперва «Юность», затем «Зрелые годы». У автора же, казалось, совпали зрелость и вторая юность; никогда еще со времени «Маленького города» и «Учителя Гнуса» этот писатель не был в такой форме. Теперь к творческой фантазии и художественной изобразительности прибавляется мудрость — результат долгой, осознанно и страстно прожитой жизни. «Генрих IV» становится его шедевром.

У дяди Генриха в Ницце бывает хороший ужин: об этом заботится его (вторая) супруга, фрау Нелли, урожденная Крёгер, из Любека. После еды идут в одно из больших кафе на площади Массена, где эмигрантская литература представлена почти так же богато, как в «Двух окурках» на бульваре Сен-Жермен.

Кого еще можно было увидеть в Ницце, с кем обменяться мыслями, опытом и планами?

Рене Шикеле принадлежал к местным. Эльзасец, всю свою жизнь колебавшийся между Германией и Францией, теперь был окончательно возвращен в западнолатинскую сферу. «Возвращение» станет названием первой — впрочем, и последней — книги, которую этот большой немецкий прозаик напишет по-французски.

Здесь Валериу Марку. Бесшабашный и разгульный — хотя, разумеется, погрязший в денежных заботах, — элегантный несколько на балканский лад (он родился в Румынии), в белых перчатках, круглой черной шляпе, с красной гвоздикой в петлице, он разбрасывает вокруг себя подзадоривающие дерзости и двусмысленные парадоксы. Молодым человеком он был дружен с Лениным[248], позже он специализировался на прусских генералах и писал книги о большой стратегии; в данный момент по каким-то непонятным причинам он якшается с католическими политиками; Марку — единственный из моих знакомых литераторов, который поддерживает общение с такими не-, точнее, антилитературными господами, как Брюнинг и Тревиранус[249].

Вильгельм Шпейер, равно как и я, лишь гость в этой местности, принадлежит к старой гвардии, к избранному кругу, с

его книгами взрослели. «Как мы счастливы были когда-то…», «Борьба шестиклассников», «Шарлотта помешанная» — эти названия для меня связаны с очарованием и тоской многих воспоминаний. Теперь, однако, я говорю со Шпейером не о прошлом, а о его новых вещах. «Я только что прочел ваш „Двор прекрасных девиц“, — говорю я ему. — Но послушайте, это же *отлично!* Вы пишете все лучше. Mes félicitations!»[155]. Когда Валери так двусмысленно-блистательно морочил голову, мы видели, что Шпейер ухмылялся; теперь он казался смущенным, чуть ли не страдающим. Есть авторы, которые как бы физически расцветают, если похвалить их продукцию; другие, наоборот, при упоминании их работы раздраженно поеживаются, даже если ощущают, что хвалебные слова идут от сердца. Шпейер относился к этой категории, которая для меня, кстати, всегда была более симпатична.

Живет здесь Теодор Вольф — он еще жив. Магнус Хиршфельд — тоже поблизости. Его институт сексуальной науки, над которым некогда так немилосердно потешался Рене Кревель, нацисты разграбили, он сам, отважный старый исследователь, человеколюбец, был сожжен in effigie [156] на городской площади в Берлине. Во плоти же он еще может чуточку погулять по берегу Средиземного моря, сопровождаемый просто прелестным китайцем, его помощником. Я бы охотно повидал его снова, моего старого друга Магнуса. Кто знает, как долго он еще будет с нами! Но завтра спозаранку я еду в Санари и, значит, должен лечь вечером не слишком поздно.

По пути в Санари я с удовольствием делаю остановку у Карло Сфорцы; его имение расположено недалеко от Тулона. Опытный эмигрант, антифашистский граф! Его добровольная ссылка растянулась теперь уже на двадцать лет; между тем его жизнелюбие кажется таким же несломленным, как и его гордость. Он говорит о родине, к встрече с которой всегда готов. Дуче падет, чуть раньше или чуть позже, — Сфорца по-прежнему убежден в этом. Как только родина окажется свободной, там найдется что делать графу, который намеревается незамедлительно отправиться домой со своей бельгийской графиней и юным Сфорцино.

Санари-сюр-Мер, расположенный между Тулоном и Марселем, — это живописная рыбачья деревенька с одним отелем, двумя-тремя кафе и несколькими нарядными виллами. В импозантной вилле, как положено, обитает Лион Фейхтвангер, упорный труженик, при этом всегда бодрый и жизнерадостный. Почему бы ему не быть веселым? Он верит в прогресс и, кстати, в свою очередь идет от успеха к успеху. «Семья Оппенгейм»,

которую он только что выпустил у Кверидо, — самое сильное, пользующееся успехом у читателей повествование о немецкой трагедии. Сейчас он опять занят своей большой исторической композицией, «Иудейской войной». Трудная работа! Фейхтвангер говорит, как тяжело ему приходится, но, рассказывая, смеется. Вообще он охотно смеется, нередко над самим собою. Например, ему кажется забавным, что он недавно стал пятидесятилетним. Я по этому поводу опубликовал в «Ди Заммлюнг» ряд поздравлений и хвалебных высказываний. Самое краткое от Эмиля Людвига: «Талант и характер!» — ничего более. Этого достаточно. Фейхтвангер заслужил свою красивую виллу.

Домом поменьше, но тоже прекрасно расположенным, владел Олдос Хаксли. Знаменитый автор «Контрапункта», несомненно, один из самых образованных людей своей эпохи, в личном общении скорее тих, стеснителен, с той застенчивой любезностью, за которой могут скрываться и высокомерие, и робость. Если высокомерие в нем и было, то Олдос непременно тщательно старался преодолеть в себе такую слабость. Ибо, некогда столь фривольный, скептичный, интеллектуальный жонглер и прожженный артист, он уже находился в первой стадии религиозного кризиса, которому суждено было в течение следующих лет его подстегнуть, расстроить, преобразить и омолодить; агностик ищет абсолюта; человек интеллекта жаждет озарения и откровения… О политике этот очищенный Хаксли больше не захочет знать: все мирское у мистического аскета будет неотъемлемой частью злого или по крайней мере ненастоящим, лживым, схематичным, химерным. Пока же еще он делает известное различие между не совсем хорошим и совершенно плохим. За его столом, как и там за фейхтвангеровским, ругают Гитлера, причем миссис Хаксли (бельгийка по рождению и потому вообще не слишком дружелюбно настроенная к немцам) вставляет крепкое словцо.

Захожу я в течение вечера и к Людвигу Маркузе. Его крупное лицо под львиной гривой излучает доброжелательность и интеллигентность. Идем гулять по побережью; беседуем о людях, книгах, проблемах, о работе. Я хочу получить от него статью для «Ди Заммлюнг», однако ему надо сперва закончить свою книгу об Игнатии Лойоле, он пишет последнюю главу.

Куда теперь? Может быть, в Барселону… Там состоится конгресс международного Пен-клуба, на котором я должен представлять изгнанную немецкую литературу. Почетная обязанность! Я уже в пути.

Или теперь лето и можно позволить себе каникулы? В этом случае моей ближайшей целью был бы Зальцбург. Там —

фестивали и бесчисленные друзья. Вальтеры — отец «Куци», мать «Муци», Лотта и Гретель: когда Эрика и я бываем вместе с ними, нам кажется, что мы возвратились в прошлое, на Мауэркирхерштрассе, в незапамятные времена, за тридевять земель. Да и Франки, Бруно с Лизль, которые проживали на утопающей в зелени улице в Мюнхене, они теперь тоже в Зальцбурге, вечерами встречаемся у них. У Франков прелестно: присутствует Массари, знаменитая мама Лизль, великая ведетта предгитлеровской Германии: grande dame в каждом жесте, искусница в каждом взгляде и улыбке. Впрочем, теперь она улыбается лишь в исключительных случаях. Прошло еще немного времени с тех пор, как она потеряла любимого супруга: Макс Палленберг, великий характерный актер и комик, погиб в авиакатастрофе. Очевидно, фрау Массари не совсем легко дается забыть свое горе хоть ненадолго, даже и сейчас здесь, в кругу близких. Но вот она все же улыбнулась, потому что Альфред Польгар сказал что-то забавное. Он друг дома, его любят и им восхищаются, наслаждаясь остроумной поэзией его меланхолично-шутливой, небрежно-элегантной речи.

Другой друг дома менее красноречив, но на свой лад столь же привлекателен: Рудольф К. Коммер из Черновиц. Помните еще? Он тот таинственный чудак с очаровательным лунообразным лицом, под чьим предводительством мы узнавали *high life* [157]Нью-Йорка; с тех пор прошло уже около десяти лет. Сказочно состоятельный покровитель Рудольфа Коммера, Отто Х. Кан, современный Медичи с серебристыми усами и офисом на Уолл-стрит, давно разделил участь всего земного; богатые тоже смертны. Однако жив еще Макс Рейнгардт и позволяет Коммеру устраивать свои праздники в замке Леопольдскрон. Мы участвовали в некоторых; пируют — при свечах, естественно! — с архиепископами, лордами и нефтяными магнатами; фрау Хеленс Тиминг-Рейнгардт — Hostess [158], стилизованная под готику обворожительная и улыбающаяся, а Макс… Ах, наш великий, единственный в своем роде, дражайший Макс Рейнгардт! Теперь, когда я пишу это, мысль, что его больше нет среди нас, причиняет мне боль. Как он был одарен! А что за *милый* человек! Он умел так хорошо слушать — редкая добродетель! Он смеялся так охотно, был таким восприимчивым, таким чутким, любознательным, таким наивным, в сущности, при всей пройдошливости. *Натура!* Гёте, который разбирался в таких делах, испытал бы истинное удовольствие от общения с ним. Мы это знали: чувственно-умный взгляд, вбирающий в себя мир с блаженным радушием; сердечная и одновременно рассеянная улыбка, гортанно звучный голос, авторитет, неуловимый

магнетизм этой подлинной личности. Настоящая личность; имя Макса Рейнкардта ассоциируется у меня с этим понятием — гораздо больше, чем, скажем, Герхарт Гауптман, официальность которого всегда мешала мне и за нею я, может быть, никогда не обнаружил бы очарование без помощи Пеперкона. Поэт Гауптман позировал; человек театра Рейнгардт был неподдельным, захватывающим, радующим, неотразимо реальным, наблюдать ли его на репетиции Немецкого театра или среди его затейливо роскошного, праздничного, оживленного зальцбургского домашнего быта.

В замке Леопольдскрон «Перцемолка» устроила гастрольное представление; Эрике было важно, чтобы ее увидели и американцы. Может быть, ее кабаре имело шансы в Новом Свете. Ибо что касалось Старого, то там обстановка становилась угрожающей. В осторожной Швейцарии предосудительный ансамбль едва ли мог еще выступать; в Голландии и в притесненной Чехословакии тоже уже возникали трудности. Тем более не могло быть и речи о Вене: реакционно-клерикальный режим Шушнига не испытывал ни малейшей симпатии к антифашистским малым сценам. Впрочем, к антифашистским журналам тоже: мой «Ди Заммлюнг» в Австрии был точно так же нежелателен, как и Эрикина «Перцемолка».

И все же Вена не стала еще недоступной территорией, не принадлежала к владычеству дьявола; там еще можно было останавливаться — возможность, которой я время от времени пользовался, несмотря на внутреннее сопротивление. В Италию я не ездил, потому что Муссолини был мне почти так же отвратителен, как его прежний ученик и будущий метр в Германии. В Вене я иногда выдерживал лишь несколько дней; атмосфера там была удушливой, но еще не жизнеопасной. Кстати, развлечений всякого рода там было предостаточно. Опера и концерты с Бруно Вальтером, театр с Максом Рейнгардтом и другими маститыми режиссерами, не говоря о большом числе опытных или даже превосходных актеров, которых немецкий режим прогнал из Берлина и которые работали теперь в относительно терпимой Австрии, — это были удовольствия, ради которых стоило, пожалуй, предпринимать вылазки в удушливый, но еще не-жизнеопасный город.

Из Берлина явилось несколько прирученных эмигрантов: «Крысы ступают на тонущий корабль», — как с замиранием в голосе пошутил гениальный, впрочем, во многих отношениях неприятный и даже абсурдный Карл Краус. Богатому на идеи издателю «Факела» ничего не приходило на ум по поводу Гитлера, не хватало духу{250}. Его хватило разве что еще на

парочку язвительных острот — не против нацистов, а против эмигрантов! — потом пожимание плечами, пренебрежительно-презрительный жест («после — все едино…»), и старый сатирик и пророк, клоун и моралист сподобился наконец закрыть глаза.

К досаде его, жили еще некоторые из тех, кого он гнал и карал с таким преувеличенно ядовитым усердием. Иные даже процветали именно при режиме Шушнига, ранее безоговорочно одобренном столь радикальным Карлом Краусом. Католический бундесканцлер, нимало не озабоченный несколько парадоксальными присягами на верность «Факелу» Крауса, охотнее придерживался Верфеля, который играл в тогдашней Вене роль квазиофициального poeta laureatus [159].

Краус был за Шушнига, но против Верфеля, тогда как я как раз наоборот, за Верфеля против Шушнига. Шушниг делал плохую политику; Верфель делал прекрасные стихи. (В его эпике тоже есть обилие значительных и достойных вещей; однако значительнейшим и достойнейшим любви представляется он мне как лирик.) Его религиозность, этот странным образом колеблющийся между иудаизмом и католицизмом экспериментирующий пафос веры был таким же спонтанным и подлинным, как и глубокая, чрезмерная музыкальность, которой казалось пропитано и овеяно все его существо.

Надо было видеть Верфеля, слушающего музыку, чтобы узнать его целиком. Какая-нибудь мелодия Верди — и он был околдован. Какой сияющий взор! Какая понимающая улыбка знатока! Какая внутренняя сосредоточенность восприятий и наслаждения! Американский издатель Бен Хюбш охотно рассказывал об одном ужине, на котором были гостями Франц Верфель и Джеймс Джойс. Оба писателя немногое могли сказать друг другу, но многое пропеть. Через стол один напоминал другому любимые арии, хоры и дуэты, поначалу сдержанно, вполголоса, но потом, к удивлению остальных гостей в ресторане, торжественно приподнятыми голосами. Чудесный обмен мыслями и более того — чувствами двух родственных душ! На подобного рода вечеринках мне доводилось присутствовать в венском обиталище Верфеля. Когда там в гостях бывал, скажем, Бруно Вальтер, как там пели! Один сидел за роялем, другой пел, оба были счастливы. Так как ее Францль казался на седьмом небе, то и фрау Альме становилось весело.

Величественная особа, в лучшем смысле слова, фрау Альма Малер-Верфель, вдова великого композитора, супруга великого поэта, состояла в родстве, в дружбе, в свойстве — так или иначе была связана со всей славой Австрии. Женщины такого масштаба в наше время уже редко встречаются; эта жизненная сила и

динамика, это соединение художественного вкуса и общественного самолюбия кажутся из другой, более блестящей эпохи: вспоминаются Козима, интеллектуальные музы немецкой романтики, гордые и блистательные дамы французской grand siecle [160]. Фрау Альма, которая близко стояла к Шушнигу и его кругу, создала салон, где встречалась tout Vienne[161]: правительство, церковь, дипломатия, литература, музыка, театр — все бывали здесь. Хозяйка дома, высокого роста, изысканно одетая, со все еще красивым лицом и осанкой, триумфально передвигалась от папского нунция к Рихарду Штраусу или Арнольду Шёнбергу, от министра к герою-тенору, от знатных, выживших из ума, дряхлых аристократов к многообещающему юному поэту. В одном углу будуара шептались о замещении высокого правительственного поста, в то время как в другой группе принималось решение о распределении ролей в новой комедии в Бургтеатре.

В Вене времен Шушнига не было ни Артура Шницлера, ни Петера Альтенберга, ни Гуго фон Гофмансталя; но все-таки не было недостатка в литературных фигурах, талантливых и оригинальных. Самым среди них дорогим для меня был Франц Чокор{251}, яркое поэтическое дарование, человек подлинной теплоты, великодушия и честности.

Второй мой любимец, Карл Чуппик{252}, уже умер. Я всегда отыскивал его в «Бристоле», где он постоянно останавливался, но, по всей видимости, никогда ничего не платил. Между ним и портье фешенебельного отеля существовало соглашение, тайну которого я бы желал постичь. Тем не менее оба партнера сохраняли совершенную сдержанность. Портье называл литературного постояльца «господин барон» и низко раскланивался перед ним, в то время как Чуппик со своей стороны предполагал в служащем почти сверхъестественные силы. Шла ли речь о большой политике или метафизической проблеме, Чуппик полагался на суждение сего посвященного, всезнающего портье. Почтение и нежность, ирония и страх смешивались в улыбке, с которой писатель упоминал о своем оракуле и покровителе. Чуппик был поэтом, одним из духовного сообщества чудесного Петера Альтенберга. И он сам был окружен поэтическим воздухом. Поэзия города была в его полном юмора меланхолическом взоре, его небрежных жестах, его непринужденной насмешке, оборотах его неряшливой и одновременно возвышенной речи.

У Эгона Фриделя тоже было что-то от этого специфического очарования, какой-то нюанс меланхолии и шутки. Венское очарование — это не просто изобретение оперетты и фельетона;

оно существует и оказывает воздействие даже там, где проявляется в искаженной, неестественной форме. Помнят ли еще Антона Ку{253}? Его имя приходит мне на ум, так как речь идет о потускневшем венском очаровании. В его случае искажение доходило до грубой карикатуры; в лихорадочно остроумных монологах Ку, обезьяньем ехидстве, своем нервном порыве венский кафе-литератор, казалось, пародирует самого себя, намеренно утрируя собственный стиль, превращая его в жутковатую гримасу.

Дух жутковатого был характерен для Вены этой эпохи. Жилось уютно, культура процветала, в кафе и салонах царила бодрая суета, но за привлекательным фасадом назревала катастрофа. Венские друзья, принимающие нас сегодня в своем ухоженном доме, завтра могли, как и мы, стать беженцами и бездомными. Этот замечательный обед у Зигфрида Требич{254}а, эта болтовня за кофе у Генриха Эдуарда Якоба{255}, эти полуночные беседы у Феликса Залтена{256} — это все было, быть может, в последний раз: через несколько месяцев хлебосольные хозяева, может, будут находиться уже в концлагере или ссылке.

Как долго еще продержится она, эта ненадежная, уже какая-то нереальная австрийская независимость? Будет ли в состоянии католико-реакционное правительство и в дальнейшем вести свою войну на два фронта: против нацистов и социалистов? Не придется ли Шушнигу положиться на протекцию Муссолини? И если дуче оставит в беде своего подзащитного или Гитлер вопреки оппозиции Муссолини отважится на прыжок в Австрию, хватит ли духу у западных держав mourir pour Vienne?..[162] Стоило ли? Была ли Вена при Дольфусе и Шушниге достойна мировой войны?

Чехословакия Масарика и Бенеша заслуживала, чтобы ради нее пойти на крайность. То была хорошая страна, хорошая демократическая страна — Чехословакия Масарика и Бенеша. Я горжусь, что был гражданином этой свободной и отважной республики, пусть даже это и было недолго и скорее формально. Хоть я и не осел в Чехословакии (да и где бы я когда-нибудь мог действительно осесть), я ощущаю свою законную принадлежность именно к этой нации.

Из всех европейских народов не кто иной, как чехи тогда мужественнее и яснее всех представляли те идеалы, то духовное наследие, которые были попраны в Германии и которые Запад из ложно понятого миролюбия или близорукого страха перед коммунизмом намеревался предать.

Поездка в Чехословакию входила в мою регулярную программу; ежегодно я задерживался там по меньшей мере на

несколько недель. Выступал с докладами в Праге, Брно (Брюнн), Братиславе (Пресбург) и других городах, по-немецки естественно: чешский я, к стыду своему, не изучил. Немецкий язык (не путать с нацистским жаргоном!) не был в это время там запрещен; потребовались многие годы коричневой оккупации, чтобы сделать ненавистной речь Гёте и Гёльдерлина. До кризиса 1938 года в Чехословакии довольно оживленно и плодотворно развивалась немецкая культура, правительством не только терпимая, но даже поощряемая.

Верно и то, что эта немецкая культурная жизнь находилась под сильным еврейским влиянием, особенно в Праге, где интеллектуальная элита, говорящая по-немецки, состояла почти исключительно из «неарийских» элементов. Без финансовой поддержки еврейской денежной аристократии немецкий театр, немецкая музыка и литература не могли бы существовать; без вклада еврейских талантов немецко-пражское культурное движение теряло свой неповторимый, очень привлекательный характер. Что за имена приходят сразу на ум, когда мы думаем о большой немецкоязычной литературе чешской столицы! Франц Кафка, Франц Верфель, Эгон Эрвин Киш, Макс Брод… Ни один из них не мог бы публиковаться в Германии после нюрнбергского расового закона.

Маленькая проворная фигура Макса Брода осталась в моей памяти приметой литературной Праги этой эпохи. Брод был знаменитейшим из всех немецкоязычных авторов, живших тогда еще в городе на берегах Влтавы, он был также активным, гостеприимным, хорошим товарищем. Самой большой радостью для него было открывать, воспитывать, пропагандировать юное дарование. Он открыл Кафку, слава которого в 1935 году не была столь сенсационной, как ныне, тогда надо было почти стыдиться, что любишь поэта, который восхвален столь многими снобами и газетными писаками (пусть даже и не всегда читавшими и уж тем более понимавшими его). У Брода есть вещи, которыми я восхищаюсь, роман «Реубени», к примеру, или «Путь Тихо Браге к Богу», однако первая мысль, которая ассоциируется у меня с его именем, это все-таки всегда мысль о Кафке. Не будь любящего умного друга и надежного попечителя литературного наследия, мы, может быть, ничего и не узнали бы о «Замке» и «Процессе», этих жутко навязчивых и навязываемых видений, в которых индивидуальная судьба, глубоко личная проблематика сгущена и объективизирована до общезначимого, универсального мифа.

Как светлело лицо Брода, какие огни зажигались в его взгляде, когда речь заходила о Кафке! «Учителю, который всегда учится, Бог вызвездил глаза…» Две строки, которые

запечатлелись у меня в памяти, взятые из стихотворения, посвященного Максу Броду, написанного (уже не помню, по какому поводу) одним из его учеников и протеже Гейнцем Политцером{257}. Молодой поэт, которого я иногда встречал в Праге и кое-что из его стихов опубликовал в своем журнале «Ди Заммлюнг», обладал очень самобытной интонацией, что среди лириков становится все более редким. Большинство пишет а-ля Стефан Георге, а-ля Рильке, а-ля Эльза Ласкер-Шюлер. Политцер уловил ощущения и чувства, которые витали в нашем воздухе, пражском воздухе, эмигрантском воздухе, и свел их к очень точным, песенно простым формулам. Когда я теперь перечитываю его стихи, лучшие его стихи, для меня вновь оживает атмосфера тех неспокойных, одновременно печальных и волнующих дней, так, как иногда кажется, что, слушая определенные мелодии, сказочным образом переносишься в прошедшие времена.

Рядом с местной литературой делалась заметной и литература эмиграции. Герман Буджиславский редактировал «Ди нойе вельтбюне», внештатным сотрудником которого был и я. Писал я для антисталинистских «Ойронеише хефте» (издатель Вилли Шламм); но были у меня и статьи в литературном ежемесячнике «Дас ворт», выходившем под редакцией прокоммунистически настроенного Виланда Херцфельде в пражском издательстве «Малик». Я дружил с Куртом Хиллером{258}, который враждебно относился к Советам, дружу, между прочим, до сих пор. Его страстная интеллигентность и его нравственный максимализм делают его симпатичным, даже если я не всегда разделяю его мнение. Но был я и в близких отношениях с баварским народным писателем Оскаром-Марией Графом, немецко-чешским критиком и романистом Ф. К. Вайскопфом, философом Эрнстом Блохом — писателями, которые принадлежали к кругу издательства «Малик» и были близки ортодоксальному марксизму.

Я не коммунист и никогда им не был. Я и не марксист. Я считаю, что ортодоксальные марксисты делают много ошибок во многих областях, — моральных, философских, психологических и политических ошибок. Однако я не считаю, что ортодоксальный марксизм представляет наибольшую опасность столетия. Наибольшая опасность столетия — это фашизм, заражающий легковозбудимые массы ядом расистской и националистической мании величия. Оправдывает ли цель средства? Абсолютный моралист ответит на этот вопрос отрицательно и, следовательно, должен будет отказаться от диктатуры пролетариата. Но все же не так однозначно, как от фашистской диктатуры, которая зла не только в своих средствах, но и в своих целях, в своей программе

— короче, в своей глубочайшей сути! Фашизм сегодня такая же опасность, как во времена первых триумфов Гитлера. Фашизм доказал свое дьявольское разрастание, свою ненасытную потребность в экспансии и мог бы сделать это снова. После того как в Германии к власти пришел динамично-экспансивный Гитлер, каждый здравомыслящий антифашист должен был знать, что оставалась лишь одна возможность спасти мир: сотрудничество с Россией. Если бы демократический Запад и социалистический Восток договорились, то у нападающего, оставшегося в середине, не было бы никаких шансов. Умный политик, такой, как французский министр иностранных дел Луи Барту, знал это, потому-то и стремился к альянсу между своей страной и Советским Союзом. Фашисты убрали его с дороги…

Я привожу эти замечания, чтобы сделать понятными мотивы, которые побудили меня в июле 1934 года согласиться на поездку в Москву. Я был приглашен для участия в Первом съезде советских писателей, хотя я не был коммунистом или как раз поэтому: официальная «линия» была тогда за «народный фронт», «front commun»[163] и присутствие «левобуржуазных» элементов (к которым меня причисляли) было, следовательно, желательным устроителям съезда.

Это было впечатляющее мероприятие, демонстрация большого размаха, почти народный праздник, эдакая помпезная гала-встреча советских писателей и советских критиков. Импонировала не только режиссура; она вряд ли стала бы столь эффектной без веры, воодушевления у ораторов и слушателей. Очевидно, литература была в этой стране делом, которым интересовалась не только пара тысяч посвященных; достижения и проблемы писателей волновали массы. Фабричные рабочие, крестьяне, солдаты и матросы, которые в большом количестве были представлены на каждом заседании, показывали себя жадными до знаний и полными энтузиазма, при этом взыскательными. Они вмешивались в дискуссии, задавали вопросы, выдвигали пожелания. Почему еще нет ни одного романа о металлургии? Чем объяснить, что больше не пишутся веселые пьесы, на которых бы хотелось смеяться? Одна крестьянка заказала отечественные баллады для своих детей. Молодая кондукторша трамвая хотела больше читать о любви, «какая она есть на самом деле».

Писатель в Советском Союзе (имею в виду официально признанного, политически «безупречного» писателя!) является «национальной фигурой» в гораздо большей степени, чем его коллега в какой-нибудь западной стране. Трогательно и ободряюще быть свидетелем спонтанного воодушевления, с

которым массы приветствовали и чествовали Максима Горького. Никакой политик, никакой генерал, никакой спортсмен или актер, никто, кроме самого батюшки Сталина, не был так популярен, как человек, написавший «На дне» и «Мать». Он был народным героем; его присутствие придавало съезду большую привлекательность, блеск и достоинство.

Не то чтобы он был самым эффектным оратором или самой колоритной фигурой! Датский делегат, например, Мартин Андерсен-Нексе, создатель популярного романа «Пелле-завоеватель», выглядел гораздо импозантнее со своей высоколобой, красиво обрамленной сединой гетевской физиономией. (Или он скорее был похож на Герхарта Гауптмана?) Что касается ораторского мастерства, то никто не мог конкурировать с французами Луи Арагоном и Андре Мальро: они гремели с пафосом Дантона, шутили с остроумием Вольтера, иронизировали с элегантностью Анатоля Франса, тогда как Горький, председатель съезда, свистящим фальцетом с усилием выдавливал из себя патриархальные, плоские шутки. То, что имел сказать космополитически поднаторевший, остроумно изворотливый — и несколько ветреный — Илья Эренбург, было гораздо разумнее и занятнее. Задумчивый и благородный поэт Борис Пастернак, искусный рассказчик Алексей Толстой, педантичный, но высокоинтеллигентный и ревностно старательный Бухарин, даже Карл Радек, этот рыжебородый интриган и интеллектуальный жонглер, — все они больше привносили в разъяснение литературных и культурно-политических вопросов, были в своих высказываниях оригинальнее, чем усталый, уже близкий к смерти, закосневший в своей славе почтенный старец. Тем не менее толпа приветствовала криками именно Горького. Когда он поднимался со своего председательского места, раздавались бурные овации; он открывал рот — и в зале становилось тихо. В благоговейном молчании внимали пролетарские поэты и ревностно занимающиеся поэзией пролетарии верещанию патриарха.

Кульминацией и завершением съезда явился обязательный прием в доме Горького. Писатель, познавший и изобразивший крайнюю бедность, мрачнейшую нищету, жил в княжеской роскоши; дамы его семьи принимали нас в парижских туалетах; угощение за его столом отличалось азиатской пышностью. Перед едой хозяин дома ответил на вопросы, которые задавали ему иностранные делегаты. Мы услышали кое-что о положении и задачах писателя в социалистическом государстве, дефиниции и постулаты не ахти какой ошеломляющей оригинальности. Затем было очень много водки и икры. Товарищ Молотов, товарищ

Каганович и товарищ маршал Ворошилов представляли власть. Генералиссимус Сталин{259}, чье появление нам было обещано, передал извинения.

Я оставался около двух недель в гостинице «Метрополь» в Москве и из советской жизни видел так много или так мало, как нам позволили увидеть наши провожатые. Мы посещали театры, санатории, картинные галереи, знаменитый московский Парк культуры, несколько фабрик, клубов художников, универмагов, газетных редакций и отделений государственного издательства. Нас щедро снабжали сигаретами, алкогольными напитками и пропагандистскими материалами. Еда была хорошая. После десерта велись мировоззренческие дискуссии. За немецкоговорящим столом бывало особенно возбужденно. Теодор Пливье, Густав Реглер{260}, Андерсен-Нексё представляли марксистско-ленинско-сталинскую догму в ее чистейшей и самой косной форме. Эрнст Толлер, в чьем революционном пафосе определяющим был эмоционально-гуманитарный элемент, страдал уклоном, заклейменным правоверными как «мелкобуржуазно-сентиментальный». Относительно терпимый Иоганнес Р. Бехер и светски остроумный Эгон Киш посредничали между ортодоксами и «идеологически ненадежными», к коим следовало причислять и меня.

Многое, что я смог увидеть в Москве и за короткое пребывание в Ленинграде, способствовало тому, чтобы повысить мое уважение к советскому режиму; одновременно, однако, подтверждались и мои возражения, усиливались мои сомнения. То, что меня больше всего беспокоило и отталкивало, был не культ вождя и героя, не назойливый милитаризм (даже на заседаниях литературного съезда не обошлось без милитаристских парадов), не наивное националистическое самодовольство: все эти настораживающие черты и тенденции можно было понять и до известной степени извинить как детские болезни молодого государства, как неизбежные реакции на враждебность капиталистического мира. Труднее удавалось мне мириться с одной административно предписанной философией, которая мне не по вкусу и не удовлетворяет разум. Мировоззрение, в котором отсутствует всякое представление о метафизическом, духовная система, в которой нет места для категории трансцендентального, лишены для меня чего-то существенного. Я никогда не смогу принять ее в качестве своего абсолютного кредо. А как раз этого требует авторитарное и тоталитарное коммунистическое государство от интеллектуала: чтобы он признавал и следовал марксистскому учению со всеми его предпосылками и выводами как абсолютно законному и

руководящему, как спасительной догме, как откровению и евангелию. Недостаточно желать и пропагандировать обобществление средств производства в качестве полезной или даже необходимой меры; интеллигент в коммунистическом государстве должен верить, что именно этой полезной или даже необходимой мерой решена проблема человека, устранен трагизм нашего земного бытия. Категория трагического для ортодоксального марксизма так же предосудительна, так же подозрительна и презренна, как категория потустороннего, сфера таинственного. Тот бесспорный факт, что религиозный импульс, метафизическая тоска человеческого сердца, которыми на протяжении столетий в преступных целях злоупотребляли господствующие классы, которые и поныне цинично используются, приводит ортодоксальных марксистов к тому, чтобы попросту отвергнуть эту тоску или проклясть как контрреволюционный трюк. Является ли занятие таинством обязательно и неизбежно саботажем социального прогресса? Не думаю. Мне кажется, что социального прогресса можно хотеть и ему действительно служить, даже считая все преходящее лишь подобием и полагая нашу посюстороннюю драму лишь эпизодом в одной величайшей, непостижимо большой потусторонней взаимосвязанности. Можно, мне думается, стоять за устранение или смягчение человеческих страданий и все же воспринимать ситуацию человека во вселенной и на этой земле как трагическую по сути, человеческую проблему как по существу неразрешимую, муку индивидуального существования как до конца неисцелимую. Да, для зрелого и свободного духа должно быть это возможно — одолеть суеверие и обскурантизм, способствовать просвещению и все-таки сохранить в себе благоговейный трепет перед тайной. Любовь остается тайной и в социалистическом государстве тоже; и что нас отстраняет в смерти, Маркс и Ленин также не выявили. Покровы остаются, загадки по-прежнему существуют, феномен жизни не открывает нам своего смысла, мы ничего не знаем. Мы можем коллективизировать сельское хозяйство, сажать в тюрьму саботажников прогресса и стремиться к бесклассовому обществу; однако мы не знаем, почему мы тут, откуда мы пришли и куда идем. Мы не знаем ничего.

Если бы я высказал нечто подобное на съезде советских писателей в Москве, разразился бы пренеприятнейший скандал. Между тем я был далек от мысли сыграть таким образом «роль провокатора» и нарушить гармонию торжественной встречи. Да и зачем? Правоверные коллеги, возглавлявшие съезд и пригласившие меня для участия, имели ведь, наверное, ясное представление о том, что я не их прихода. Несмотря на это, они

захотели моего присутствия, и я не раскаивался, что принял их приглашение. Визит в Москву был важен и поучителен для меня как соприкосновение с чужой, но не враждебной сферой. Понимание культуры ортодоксальными марксистами не было моим; но оно все-таки не было мне чуждо, так диаметрально противоположно, как фашистское варварство. В борьбе против кровавого атавистического иррационализма Гитлера и Розенберга{261} воинственный рационализм, «научное» верование в прогресс сталинистских писателей казалось мне приемлемым или даже необходимым союзником.

Я верил в возможность и желательность сотрудничества между Востоком и Западом, между нашей демократией и социализмом, чтобы служить миру, для защиты, для спасения неделимого мира, неделимого перед лицом общего врага, угрожающего цивилизации. Я верил в возможность и желательность единого фронта всех прогрессивных, антифашистских интеллигентов.

Первый роман, написанный мною в изгнании, «Бегство на север» (1934), повествует о молодой немке бюргерского происхождения, которая ненавидит немецкий фашизм и соприкасается с коммунизмом в нелегальной борьбе против Гитлера. Она вынуждена покинуть родину; случай забрасывает ее в Финляндию, где она находит временное убежище в поместье одной гостеприимной семьи. Здесь возникает эмоциональная дилемма, моральный кризис. Молодой помещик, которому наша героиня отдает свое сердце, богато одарен привлекательными свойствами, как психологическими, так и ярко выраженными духовными; между тем ему прискорбным образом недостает политической активности и социальной этики. Он живет одним днем, целиком отдаваясь чувственному счастью, желанию, меланхолии момента, мимолетной секунды. Впечатлительная амазонка из нацистской Германии забывается в его объятиях или по крайней мере старается забыть свою задачу. Ее задача — борьба против Гитлера. Но почему она должна бороться, когда ей так милы поцелуи возлюбленного? Зачем ей ехать в Париж, когда каждый день в этой северной идиллии одаривает ее новым блаженством? Классический конфликт между любовью и долгом, здесь он переживается еще раз, с наивной горячностью, с юношеской самоотдачей, как если бы это было впервые. Однако все уже было; моя героиня, ребячливая девушка Иоганна, стоит перед дилеммой, с которой уже пришлось справляться не одному патриоту и революционеру, солдату и священнику. Иоганна тоже в конце концов справится со своей классически испытанной и все-

таки вновь и вновь сбивающей с толку проблемой. Она, естественно, сделает выбор в пользу долга. Этому предшествует затянувшееся страстное свидание с индивидуалистом до мозга костей, но очаровательным любовником, автомобильная поездка к северной границе Финляндии, то есть чуть ли не на край света. И где-то у Полярного круга девушка Иоганна расстается наконец со своим Рагнаром, чтобы последовать зову долга и уехать в Париж — без большого энтузиазма, как можно предположить, но с отважной решимостью.

Туда мы ее уже не сопровождаем, а предоставляем ей возможность одной бродить по серым улицам добродетели, после того как мы нескромным образом заглянули на ее не очень нравственную тропу. Таковы сочинители историй! Услаждаются сперва моральной подавленностью и чувственной слабостью своих созданий, чтобы подло бросить бедные вымышленные характеры на произвол судьбы, как только минует проблемно-греховная эскапада и начнется проза жизни. Неунывающая антифашистка Иоганна, голодающая вместе с товарищами по борьбе в промозглой комнате парижской гостиницы и продолжающая подпольную работу, автора больше не интересует. Внутренне расколотая, растерзанная, взбудораженная Иоганна, сладострастная амазонка и воинственная любовница, любящая с нечистой совестью, героиня со склонностью к упоенно-эксцессивной сексуальности, — такие мне нравились, вызывали у меня интерес, человеческую симпатию.

Я писал роман «Бегство на север» с большой легкостью, все персонажи и ситуации казались сложившимися и готовыми; мне надо было только перенести их на бумагу. Чарующие живые декорации, через которые я заставил путешествовать свою любовную пару, эти тихие, широкие озерные и лесные ландшафты Крайнего Севера, были мне хорошо знакомы: в 1931 году, вскоре после смерти Рикки, мы с Эрикой совершили автомобильную поездку от Гельсингфорса в Петсамо. Я изобразил широкие просторы, которые меня тогда заворожили; я описал людей, которые мне встретились в Финляндии, их настроения и голоса, лица и акценты, которые оставались живыми в моей памяти. Девушке Иоганне я придал черты и манеры нашей швейцарской подруги, любимой и прекрасной Аннемари. Цюрихская дочь патрициев, добровольно присоединившаяся к немецким изгнанникам (она даже ездила со мной в Москву, поистине смелый жест для девушки подобного происхождения!), знала, может быть, по собственному опыту кое-что о конфликтах, которые пришлось преодолеть вымышленной героине в моей северной любовной сказке…

«Бегство на север», сказал я, писалось легко, почти само собой, как под диктовку. Я мог бы добавить, что у меня тогда, на этом первом этапе эмиграции, работа вообще особенно спорилась. Я писал с удовольствием, писал быстро и много, ежегодно по книге, вдобавок еще редакционные обязанности, доклады, статьи, тексты для «Перцемолки» и многочисленные другие побочные работы.

Второй мой роман, который смогло опубликовать издательство «Кверидо», называется «Патетическая симфония» (1935); герой его — русский композитор Петр Ильич Чайковский.

Я избрал этого героя, потому что люблю его и знаю его: я знаю о нем все. Я люблю его музыку, она мне по душе, часто она словно выражает самое сокровенное. «Великая» ли это музыка? Я знаю только, что она мне нравится. Разумеется, я знаю также, что автор слишком уж сладостной сюиты «Щелкунчик» и слишком уж эффектной музыкальной картины «1812» не Бетховен, не Бах. Но какой повествователь отважится взяться за этих титанов? У меня бы мужества не хватило. Как раз сомнительность его гения, надломленность его характера, слабость художника и человека делали его близким, понятным, достойным любви.

Его нервозное беспокойство, его комплексы и его экстазы, его страх и его взлеты, почти невыносимое одиночество, в котором ему приходилось жить, боль, которая вновь и вновь хочет превратиться в мелодию, в красоту, — я мог все это описать, ничто из этого не было мне чуждо. Даже если бы и не было никаких документов, свидетельствующих о его жизни и чертах его личности, прекрасная жалоба его адажио, затравленные ритмы его аллегро говорили достаточно: делом рассказчика было только произнести это мелодическое откровение, облечь в слова эту певучую исповедь.

Как же мне было не знать все о нем? Особая форма любви, которая была его судьбой, я ведь знал ее, была сверх всякой меры искушена во вдохновениях и унижениях, долгих мучениях и мимолетно кратких блаженствах, которые приносит с собой этот Эрос. Этого Эроса не почитают, ему не преклонишься, не став чужаком в нашем обществе; этой любви не предаются, не вынеся из этого смертельной раны. «Кто узрел красоту глазами — тот уже предоставлен смерти…» Это знал Платен; и Герман Банг, благороднейший датчанин, которого я любил так же сильно, как Петра Ильича Чайковского, — он тоже знал, что «лишен отечества» на этой земле.

«Лишенным отечества» мой великий, трогательный друг Петр Ильич был более чем в одном смысле. Не только своеобразный Эрос изолировал его, делал его посторонним, почти парией;

особенности его таланта, его художнический стиль тоже были слишком смешанными, слишком переливчатыми, слишком космополитичными, чтобы где-нибудь быть целиком признанными. В России он слыл «западным», в светской меланхолии Чайковского критикам не хватало варварской жизненной силы Мусоргского; немцы упрекали его за «азиатскую дикость», к чему еще, на взгляд лейпцигских и берлинских знатоков, добавлялось служившее помехой французское влияние. В Париже, напротив, находили его слишком «германским»: подражатель Бетховену, гораздо менее typiquement russe[164], чем популярный Римский-Корсаков.

Он был эмигрантом, изгнанником не по политическим причинам, но потому, что нигде не чувствовал себя дома, нигде не был дома. Он страдал всюду. В конце концов пришла слава — эта ироническая, по большей части запоздалая награда за мученичество, которое не знает оплаты и утешения.

Утешения не существует. Безутешный знаменитый Петр Ильич умрет своей безутешной, потаенной смертью; он, пятидесятитрехлетний, совершит самоубийство, хитроумно скрытое. «Странствие кратко — кого утомляет оно? Для меня уже долго, и слишком: боль утомляет…» Так это сказано у Стефана Георге — тоже одного из тех, кто познал кары Эроса.

Труд жизни Чайковского, особенно же его последний опус, является лишь прелюдией к этой одинокой смерти. Потому я люблю его музыку. Поэтому я написал свой роман «Патетическая симфония».

Почему я написал свой роман «Мефистофель»? Третья книга, которую я опубликовал в 1936 году в ссылке, повествует об одной несимпатичной фигуре. Актер, которого я здесь изображаю, обладает кроме таланта немногим, что бы говорило в его пользу. Особенно ему недостает тех нравственных качеств, которые подразумеваются под понятием «характер». Вместо характера у этого Хендрика Хёфгена — честолюбие, тщеславие, жажда славы, суетность. Он не человек, а комедиант.

Стоило ли трудиться, чтобы писать роман о такой фигуре? Да; ибо комедиант становился воплощением, символом насквозь комедиантского, глубоко лживого, нежизнеспособного режима. Лицедей торжествует в государстве врале и притворщиков. «Мефистофель» — это роман карьеры в третьем рейхе.

«Быть может, он (автор) хотел противопоставить жуткому спектаклю кровавых дилетантов истинного комедианта», — как справедливо предположил Герман Кестен в толковой рецензии на мою книгу («Дас нойе тагебух», 1937). Он продолжает: «Ему удается больше, он показывает тип попутчика, одного из

миллиона маленьких соучастников, которые не совершают больших преступлений, но делят хлеб с убийцами, не виноваты, но становятся виноватыми, не убивают, но молча потворствуют, хотят зарабатывать сверх своих заслуг и лижут ноги власть имущих, даже если эти ноги обагрены кровью невинных. Этот миллион маленьких соучастников „охоч до крови“. Поэтому они образуют защиту власть имущих».

Я хотел нарисовать именно этот тип. Свое намерение я не смог бы сам лучше сформулировать. «Мефистофель» — это не «зашифрованный роман», как его, случалось, называли. Бессовестно блистательный, цинично бесцеремонный карьерист, который стоит в центре моей сатиры, мог воплотить в себе отдельные черты некоего реального актера. Является ли государственный советник и директор Хендрик Хёфген, которого я описал в романе, портретом государственного советника и директора Густава Грюндгенса, с которым я был знаком в молодости? Не совсем все-таки. Хёфген в некотором отношении отличается от моего бывшего шурина. Но, даже признавая, что образ в романе более похож на оригинал, чем это есть на самом деле, все равно не надо считать «героем» книги Грюндгенса. В этом злободневном опыте речь вообще идет не о единичном случае, а о типе. В качестве образца мне с равным успехом мог бы послужить и кто-нибудь другой. Выбор мой пал на Грюндгенса не потому, что я считал его особенно скверным (он был, может быть, даже лучше какого-нибудь сановника третьего рейха), а просто потому, что случайно знал его особенно досконально. Принимая во внимание нашу прежнюю близость, я находил его падение столь фантастичным, нелепым, невероятным, что решил написать об этом роман.

Как случилось, что мы жили вместе, работали, спорили, играли, пировали, строили планы, поддерживали добрую дружбу — а теперь он сидел за столом чудовищного рейхсмаршала? И теперь он пировал, играл, разглагольствовал с убийцами? Неужели недостаточно было того, что он дышал отравленным воздухом, что он выжил в той атмосфере, которая стала недоступной для нас, он праздновал там победы. И с ним смеялись и радовались безобидным вещам и бранили вещи безобразные. Было решительно жутко представлять себе все это.

Жутко, да, так становилось на душе, когда вспоминали родину. Мысли приходили к нам ночью, как они приходили к эмигранту Генриху Гейне, и, как и его когда-то, лишали нас сна. Они были наполнены болью и страхом, ночные мысли. Они напоминали нам о мерзостях, ставших повседневностью в отчужденном отечестве, и о мерзостях, которые еще нагрянут.

Будет еще хуже. Предстояли нищета и разруха невиданного масштаба; мы знали это и не могли не задумываться об этом в бессонную ночь. В течение дня мы изо всех сил пытались что-то сообщить миру о том, что нам было известно, и о наших предчувствиях. Но никто не слушал нас. Мы были только эмигранты.

Эмиграция не была благом. Не создал ли я в этой главе впечатления, будто бы нам в ссылке все же в общем и целом бывало уютно и весело? Это не правда или по крайней мере правда, но не вся. Не будем говорить о тысячах голодавших на чужбине, часто умиравших от голода: даже у материально относительно обеспеченных оставались жизненные проблемы мучительной сложности, к чему добавлялось психологическое давление, душевное напряжение. Был страх, беспомощный, отчаянный страх перед роком, который казался все неотвратимее, все неизбежнее; и было тошно.

Как было тошно! Вид немецкой газеты вызывал приступ рвоты. Снимки нюрнбергского партийного съезда; какой-нибудь немецкий фильм с оттенком мазохизма — «Дядюшка Крюгер» или «Еврей Зюс»; несколько страниц диких бредней Розенберга или одного из его адептов; речь об appeasement [165] восторженного депутата английского парламента в Лондонской палате общин, произнесенная на изящнейшем оксфордско-английском: столько вообще уже не проглотить, чтобы тут же не захотелось стошнить (если процитировать блаженного Макса Либермана{262}). Спектакль немецкого одичания и европейского упадка был не только устрашающим, но и тошнотворным.

«Je suis dégoûté de tout…»[166] Эти ужасающие слова написал на клочке бумаги мой друг Рене Кревель, прежде чем открыть газ и — чтоб совсем наверняка — проглотить солидную дозу фанодорма. Это произошло летом 1935-го, примерно через три года после того, как другой мой сердечный друг и любимейший названый брат совершил самоубийство.

Да предостережет это меня навеки! Это предостерегает меня всегда. Я многое забываю, но мгновения, оповестившие меня о смерти одного из моих любимых, они остаются свежи в моей памяти. Всякий раз вместе с ними умирает и часть меня; всякий раз я чувствую себя на ступень более подготовленным. После стольких расставаний собственное становится легким. Уйти бы мне прежде, чем исчезнут все дорогие мне лица! Я бы охотно оставил того или иного, кто, может быть, помянет меня.

Я думаю о Рене. Я поминаю его. В память о нем пишу я эти строки.

Он был чист сердцем. Его глаза были очень красивы, широко распахнутые глаза неопределенного цвета. Он говорил скороговоркой, по-детски мягкими, чуть пухловатыми, неловкими губами. Ему казалось, что он ненавидит своих родителей, в особенности свою почтенную и сдержанную мать. Он не был корректен. Он ненавидел глупое и скверное. Он жаловался на подлость, хотя должен был знать, что она могущественна — «что бы тебе ни говорили». Могущественное ему не импонировало. Он был бунтарь.

Бунтарь нашел метра — Андре Бретона, главу клики сюрреалистов. Сюрреализм не сделал гордого и чувствительного бунтаря счастливым; запутанное учение метра Бретона не могло надолго удовлетворить его. В последний свой год жизни он стоял так же близко к коммунистам, как к сюрреалистам, или, скорее, он находился между обоими этими лагерями, которые ожесточеннейшим образом враждовали друг с другом. Некоторые из приверженцев Бретона и друзей Рене — прежде всего Луи Арагон и Поль Элюар — уже перекинулись к сталинистам. Рене, лояльный, еще колебался. Все же в 1935 году он зашел столь далеко, что предоставил в распоряжение возглавляемых коммунистами организаций свое имя и свой талант.

Писательский конгресс «Против войны и фашизма»{263}, заседавший летом этого года в Париже, был недвусмысленно партийно-инспирированным предприятием, хотя к участникам принадлежали и либералы. Рене должен был делать не только доклад, но он заседал также в подготовительном комитете, вместе с Андре Мальро, Андре Жидом и другими, которые считались тогда столпами французского коммунизма. Не то что Андре Бретон, который был *против* демонстрирующих писателей, хотя и не выступал прямо за войну и фашизм. Однако он все-таки не был опять же *настолько* пацифистом, чтобы уклониться, к примеру, от доброй потасовки! Дело дошло до драматического столкновения между главой сюрреалистов и представителем Кремля товарищем Ильей Эренбургом, при этом обе стороны вышли из драки с окровавленными носами, весь Париж смеялся над фарсом. Но Рене — простофиля — не смеялся. Вагальм, невинный глупец и воинствующий Парсифаль, принял комедию всерьез. Он все принимал всерьез: поэзию и революцию, сюрреализм и сталинизм, Бретона и Эренбурга. Он не хотел предавать ни революцию, ни поэзию.

Совершил ли мой друг самоубийство, потому что подрались Андре Бретон и Илья Эренбург? Он совершил самоубийство, потому что был болен. Он совершил самоубийство, потому что страшился безумия. Он совершил самоубийство, потому что

считал мир безумным. Почему он совершил самоубийство? Потому что больше не хотел пережить следующие полчаса, следующие пять минут, *невозможно* было больше переживать. Вдруг оказываешься у мертвой точки, у точки смерти. Граница достигнута — ни шагу дальше! Где газовый кран? Даешь фанодорм! Горек на вкус? Что поделать! Жизнь тоже на сладкая на вкус. Je suis dégoûté de tout…

Словно вчера это было, и я не могу этого забыть…

Я ехал с Леонгардом Франком в Париж, вероятно из Цюриха, чтобы принять участие в конгрессе писателей-антифашистов. Была жаркая ночь; Ландсхоф, прибывший из Амстердама, ждал нас на вокзале — тогда Рене был уже мертв, Ландсхоф знал, что Рене мертв, но мне этого не сказал; может быть, я выглядел немного усталым после поездки и он хотел избавить меня от шока до утра.

Я остановился в «Паласе» на Елисейских полях — к удовольствию радующегося роскоши Леонгарда Франка; мне гораздо милее и ближе маленькие отели левого берега. Прежде чем проститься с нами, Ландсхоф сказал мне: «Не уходи завтра с утра, пока я не дам о себе знать!»

Спалось мне нехорошо в узкой, удушливо жаркой комнате, которую мне отвели где-то под крышей. Утром, когда мы с Леонгардом Франком сидели в раскаленной комнатушке за завтраком, зазвонил телефон. Это был один из организаторов антифашистского конгресса, Иоганнес Р. Бехер. Мы побеседовали о программе предстоящих заседаний, о речи, которую я должен был произнести. Наконец Бехер сказал: «Эта история с бедным Рене Кревелем, отвратительна, правда?»

Так я узнал об этом.

Я, должно быть, изрядно побледнел. «Что-нибудь стряслось?» — осведомился Леонгард Франк своим глубоким вибрирующим голосом, напоминающим звук виолончели. Его голубовато-ледяной взгляд требовал ответа. Я рассказал ему. Он внимал, причем улыбка его была рассеянной и отчужденной, но и исполненной благосклонности и знания.

(«Легко понять, — напишет он мне много лет спустя по такому же поводу. — Но я могу на это лишь сказать, что жизнь не стоит того, чтобы ее лишаться».)

В тот же день начались заседания конгресса. Мой дядя Генрих говорил против войны и фашизма. Мой большой друг Андре Жид говорил против войны и фашизма. Рассудительный Хаксли, симпатичный Э. М. Форстер, эффектный Андре Мальро — все они говорили против войны и фашизма. А Рене был мертв.

Между выступлениями я разговаривал с Мопсой Штернхейм;

она была его подругой, она была моей подругой. Меня успокаивало то, что я вижу ее. Мы плакали вместе; плача, мы пропустили речь товарища Кашена — против войны и фашизма.

«Он был лучший, — снова и снова говорила Мопса. — Он был лучший из всех». Скорбь и жара подействовали так, что тушь на ее ресницах потекла. Черная жижа сбегала маленькими ручейками по щекам. Казалось, словно она плачет о своем любимом друге черными слезами.

«Он был лучшим, — повторяла она упорно. — Есть ли еще смысл бороться, если уходят лучшие? Стоит ли еще?»

«Пока мы здесь… — сказал я. — Пока он был здесь, он ведь тоже держался очень хорошо».

Кто-то кивнул мне из двери зала заседаний. Я был на очереди: меня ждали на трибуне.

Я вытер Мопсе черные слезы с лица. Я поцеловал ее. Затем последовал за господином с красной повязкой к помосту.

Я говорил против войны и фашизма.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
ВУЛКАН
1936–1939

Мы говорили против войны и фашизма. Но Европа в своем страхе перед мнимой опасностью коммунизма закрывала глаза на действительную угрозу. Из слепого, глупого, суеверного страха перед социальным прогрессом Европа приняла вопиющий социальный регресс, а именно фашизм и тем самым войну.

Было ли лучше Америке? Страна New Deal [167] {264} казалась еще свободной от смертельной заразы, которая поразила и осквернила наш старый континент. Ни обветшавших замков, ни базальтов! Никаких Гитлеров и никаких Муссолини, никаких Гинденбургов и Петенов! Еще здоровое, еще бдительное общественное мнение заботилось в Соединенных Штатах о том, чтобы политические авантюристы не прыгали выше головы. Человек же, который здесь правил, звался Ф. Д. Рузвельтом.

Мы с Эрикой решили попытать счастья в стране Рузвельта.

Не то чтобы тогда, осенью 1936 года, пребывание в Европе стало для людей нашего типа уже совершенно невозможным! «Перцемолка» делала еще полные сборы в Голландии, Бельгии, Люксембурге, Чехословакии; мои книги еще могли выходить в свет; для моей журналистской работы еще были заказчики в Париже, Праге, Амстердаме, Цюрихе, Базеле и некоторых других городах. Однако почва начинала уходить из-под ног. Чем больше силы и престижа набирал третий рейх, тем щекотливее становилась позиция немецких антифашистов в самой стране и за ее пределами, в ссылке. Повсюду нам давали почувствовать, что нас всего лишь терпят. Как долго еще? Это зависело от обстоятельств, которые вряд ли можно было предугадать и на которые, конечно, нельзя было повлиять. Опять ждать до последнего момента? Завтра нас могут выдать Германии или нацисты нападут на страну нашего проживания. Тогда будет слишком поздно. Лучше своевременно предпринять разведывательную поездку в ту часть света, где демократия была еще сильна и пользовалась достаточным спросом.

Я собирался представить себя «там» докладами и статьями; да и некоторые мои книги уже вышли в США; наконец, мой маленький роман о любви и эмиграции «Бегство на север». Я, таким образом, прибывал не как совершенно неизвестный. Эрика намеревалась представить в Нью-Йорке злободневно-лирическую

программу своего кабаре. По окончании необходимых приготовлений должна была прибыть и «труппа»: Тереза Гизе, Магнус Хенниг, Сибилла Шлосс, характерная танцовщица Лотта Гослар, чьи остроумно-затейливые танцевальные этюды стали в последнее время одним из гвоздей программы «Перцемолки». Поначалу же мы с Эрикой отправились одни. В середине сентября мы сели на голландский пароход, не на немецкий, как тогда, девять лет назад.

Девять лет… Да, столько или немного дольше прошло с тех пор, как мы в последний раз пересекли океан, двое любопытных, отважных детей в своем большом каникулярно-познавательном путешествии «вокруг света». Мы стали старше за эти девять лет; еще не старыми, но все-таки, пожалуй, несколько более зрелыми и опытными и более скептичными; прежнего энтузиазма и уверенности поубавилось. Однако какую-то часть своего подъема и своего оптимизма мы сохранили. То были девять напряженных лет, девять лет, исполненных горчайших, иногда печально-скверных событий. Но мы не чувствовали себя ни усталыми, ни уязвленными. Мы питали надежду. Да и смеяться мы еще не разучились.

Доверительно болтая и беседуя, сидели мы друг напротив друга за маленьким столиком в роскошном, просторном, время от времени надоедливо покачивающемся обеденном зале, как тогда, девять лет назад. Как тогда, лежали мы рядом друг с другом на палубных шезлонгах и смотрели на море — вместе; и молчали и говорили вместе, и представляли себе вместе будущее — наше совместное будущее в стране Америке… Что ожидало нас там? Новая родина, навстречу которой мы ехали, или лишь новая мимолетная остановка и краткий эпизод? Однако, что бы нам ни было уготовано по другую сторону большой воды, большая вода была прекрасна, прекрасна в своей освещенной солнцем синеве, в жемчужном глянце сумерек, в величественно вздымающейся темноте; прекрасна в штиле, прекрасна в волнении, в улыбке и в гневе. Великий океан был прекрасен, как тогда, девять или девяносто тысяч лет тому назад. Великий океан был прекрасен, как всегда, и мы были вместе. Брат и сестра — вместе: как тогда, как всегда, вглядывались в вечно великий, вечно прекрасный океан.

Ничего не изменилось.

Нью-Йорк тоже не изменился, или по крайней мере лишь до такой степени, когда улучшение собственного облика города, его стиля и ритма как раз и несет с собой изменение, превращение. Если меня очаровал Нью-Йорк 1927 года, то каким же

пленительным я должен был найти Нью-Йорк 1936-го! Огромное поселение, сверхметрополия и город городов начал теперь несравненно интенсивнее и осознаннее становиться самим собою; «идея Нью-Йорка» (выражаясь платонически) теперь расширилась, осуществилась и претворилась в динамичную реальность.

Новое здание Рокфеллеровского центра было массивным символом этого нового, самоуверенного соответствия. В то время как в Европе замышляли разрушение, здесь, в сердце Манхэттена, возникла колоссальная фигура смелого великолепия, грациозная и одновременно монументальная, приземленная и фантастическая, — величайшее архитектурное творение двадцатого столетия. Титаническая композиция из камня, бетона, стекла и стали представляет Нью-Йорк, выражает его суть, провозглашает его гордость, так же как собор представляет суть средневековой городской общины в торжественном великолепии и передает ее позднейшим поколениям.

Нью-Йорк двадцатых годов был волнующим обещанием, некоей еще не оформленной или полуоформленной массой, таящей противоречивые возможности. Нью-Йорк, с которым я теперь вторично познакомился и в который вторично влюбился, был готовым, цельным организмом, уже не хаотичным, уже сформировавшимся. Он знал о своем собственном величии, своей привлекательности, своей власти. Он имел лицо. Он имел голос.

Во времена сухого закона представители национальной литературы выезжали в Европу. Лучшие американские писатели той эпохи принадлежали к expatriates[168] или скрывались в speakeasies[169] Гринвич-Виллидж. Эти speakeasies были местами, где разговаривали приглушенными голосами, шепотом, как на тайных собраниях. Впрочем, жаргон литераторов остался бы непонятным для американских масс, даже если бы кто-нибудь из них объявился на шумной улице. Духовная элита послевоенного времени — the lost generation[170], как имели обыкновение сами себя называть эти авторы, — была занята проблемами, которые должны были казаться «человеку с улицы», крепкому среднему американцу праздными и надуманными. В то время как в стране царило несравненное prosperity [171] и народ с наивным энтузиазмом радовался своему благосостоянию, в книгах «потерянного поколения» речь шла преимущественно о disillusionment [172]. А как неясно выражались они, эти эзотерические барды безверия и озлобленности!

Голос? Америка послевоенной эры еще не имела его. В то время как поэты говорили на языке, которого народ не понимал, любимцы народа отличались последовательной молчаливостью. Боксерам и футболистам нет надобности в слове; их красноречие

заключается в тренированном кулаке, в стальных мускулах. Девицы из ревю и мюзик-холла, эти дисциплинированные грации, каждая из которых в отдельности, кажется, должна отказаться от своей индивидуальности, чтобы функционировать с другими в качестве шестеренок танцевального автомата, подбрасывают ноги с покорной точностью. И актеры того времени молчали, как атлеты, как танцовщицы. Снующая пантомима немого фильма была подлинным выражением еще не озвученной американской души. Экспрессивная тень трагикомического Чаплина, молчаливый аристократизм великолепного Валентино, отважные, но бесшумные проделки Бастера Китона и Гарольда Ллойда, красноречивый взгляд, неотразимая улыбка Лилиан Гиш, Мэри Пикфорд — это были образы, в которых юная нация с детски забавной благодарностью видела собственное приключение, собственную мечту, собственную еще не высказанную, еще невысказываемую сущность.

Потом пришел конец сухому закону, конец prosperity, конец немому кино. Звезды заговорили, как заколдованные существа, по чьей-то милости или в наказание — антиколдовство вдруг вернуло голос. Литературные expatriates возвращались домой, чтобы забыть свой парижский запас слов и усвоить американский. Speakeasies закрыли свои ворота. Америка становилась разговорчивой. Большая дискуссия, развернувшаяся теперь, имела свой естественный центр в крупнейшем, духовно оживленнейшем городе страны, в Нью-Йорке.

В богатые годы prosperity можно было позволить себе роскошь молчания и нарочитое избранничество тайных языков; бедные годы депрессии изгнали американского интеллектуала из башни из слоновой кости, где он до сих пор чувствовал себя довольно спокойно с электрическим холодильником, изрядными запасами виски, дорого оформленными авангардистскими журналами и некоторым разочарованием. Перед лицом экономического кризиса «the lost generation»[173] обнаружило свою социальную совесть. Интеллектуальные нигилисты и анархисты за одну ночь превращались в активных поборников прогресса; «social consciousness»[174] было в большой моде. В ателье и барах Гринвич-Виллидж, в духовно амбициозных салонах на Парк-авеню не говорили о Прусте, Джойсе и Пикассо, но о профсоюзных вождях, забастовках, о closed shops [175]и collective bargaining[176], о плановом хозяйстве, правительственных заказах, пособии по безработице. Короче, говорили о New Deal. Разговор, в котором во время нашей первой американской поездки преобладали эстетические термины, теперь кишел еще более таинственными формулами,

криптограммными сокращениями и инициалами, смысл которых непосвященному приходилось изучать постепенно, как новую идиому. Говорили о WPA, CIO, CCC, AAA{265}, SEC. Говорили о F.D.R. — формула, которую мы усвоили особенно легко и охотно.

Франклин Делано Рузвельт имел отношение ко всем нам. Он был не только вождем американской демократии; демократы мира, антифашисты всех стран видели в нем свою надежду, исторического противника лже-Цезарей из Берлина и Рима, высокий образец политического гения созидания.

Какая своеобразная фигура! Какой захватывающе богатый и цельный характер! Он был сложен, разнолик, переменчив, противоречив, при этом не лишен монументально-патриархальных черт; аристократичен, при этом истинный демократ; идеалистичен, при этом себе на уме. В нем соединились отвага и расчетливость, фантазия и лукавство, добро и честолюбие, ум и инстинкт — ценнейший сплав! Он был великим другом людей и великим государственным мужем. Он любил народ, но он любил и политическую игру, в которой был мастером. Он любил власть; разумеется, не ради нее самой, но как средство к достижению цели. Цель была благородной: он хотел улучшить участь масс, обеспечить мир, немного приблизить общество к идеалу (в конечном итоге недостижимому) совершенной свободы и справедливости. Тот, кто стремится к подобному, заслуживает авторитета, который он добыл упорной хитростью и на который, после четырехлетнего правления в Белом доме, теперь претендует вторично.

Будет ли F.D.R. снова переизбран? Вопрос этот осенью 1936 года был актуальным. Судьбоносный вопрос не только для Соединенных Штатов Америки!

Первые недели и месяцы нашего пребывания прошли под знаком большой предвыборной кампании. Престранный спектакль! Большинство индивидов, из которых состоит общество, казались благожелательно настроенными к президенту; но профессиональные выразители и интерпретаторы общественного мнения почти все враждебно относились к Рузвельту. Только что прибывшего, еще не знакомого с американской действительностью, это противоречие сбивало с толку. Почему именно газетные писаки ненавидели человека, который пользовался всеобщей популярностью? Или журналисты были столь неприязненны вовсе не по собственной воле, а бранились только по желанию своих заказчиков? Эта так называемая «свободная пресса», как все-таки обстояло дело с ее независимостью? Может быть, крупные газеты были лишь инструментом и рупором финансовых воротил? Эти что-то имели

против президента. New Deal слыл у них первым шагом к большевизму. Они были слишком глупы или уж очень parti-pris[177], чтобы признать рузвельтовский эксперимент тем, чем он был на самом деле: конструктивной, одухотворенно-смелой попыткой сделать устаревшую капиталистическую систему путем определенных реформ современной, своевременной и таким образом избавить ее от краха.

Могла ли без рузвельтовских решительных мер капиталистическая система преодолеть депрессию в 1932 году? Тогда даже миллионеры были за New Deal, решивший прежде всего проблему безработицы или по крайней мере, казалось, снявший с нее опасную остроту. Больше никаких голодных маршей! Призрак революции был изгнан… Но зато теперь появились высокие налоги и вмешательство государственных ведомств в дела частников — новшества, которые на свой лад были столь же обременительны, как и демонстрации ничем не занятых ветеранов войны. Богачи, вчера еще сидевшие тише воды, ниже травы из-за угрозы бунтов, снова становились агрессивными. Шок экономического кризиса длился недостаточно долго, чтобы исцелить экономических роялистов (как охотно называл их F.D.R.) от их заносчивости, их необузданной алчности. С прежним абсолютно неизменившимся бесстыдством набросились они именно на того государственного мужа, который-то и позволил им спастись. Как, этот Рузвельт осмеливается давать им предписания? Посягать на их священные привилегии? Неслыханно! Богачи мобилизовывали свою тяжелую артиллерию против «that man in the White House»[178], чей преступнейший режим ставил под вопрос фундамент американско-христианской морали — само Free Enterprise[179]. Только президент, который признавал и безусловно следовал принципу Laissez-faire[180] как высшей экономической аксиоме, был приемлем для промышленников и банкиров. Гардинг и Кулидж еще были вождями, которые знали цену американским идеалам и традициям. Президенту Гуверу не повезло: во время его правления разразился кризис. Разумеется, не его вина! Банкиры и промышленники относились к нему, несмотря на это, хорошо. Однако кандидатом, которого они теперь, в 1936 году, ставили против Рузвельта и надеялись привести к власти, был джентльмен по имени Ландон. Free Enterprise нечего было опасаться его. Независимая же пресса тоже ставила на джентльмена по имени Ландон.

Вновь прибывшие и такие Greenhorns[181], как мы, наблюдали продвижение кампании с захватывающим дух напряжением. Неужели народ позволит одурачить себя богачам, владеющим

прессой и радио? Неужели миллионы позволят миллионерам водить себя на помочах? Неужели нация предаст своего лучшего мужа по желанию привилегированной клики, для которой послушная посредственность в Белом доме была бы удобнее?

Американский народ ответил на этот вопрос импозантно однозначным, захватывающе спонтанным жестом. Победа F.D.R. была одной из самых впечатляющих, почти беспримерной в истории республики. Восторжествовал New Deal. Восторжествовало доброе дело. Его так часто видели поверженным, дело прогресса, свободы, разума. Какое удовлетворение сопережить одну из редких его побед!

Разумеется, раздумья и озабоченность тоже примешивались к этой радости. Многие из американских либералов, голосовавших за Рузвельта, казалось, ничего не знают, знать ничего *не хотят* о чудовищной опасности, которую означал европейский фашизм для демократии их собственной страны. Несколькими годами позднее одному здравомыслящему и отважному американцу Уэнделлу Уилки{266} доведется сделать популярным понятие *One World*[182]; но в 1936 году идея того, что мы живем в «одном мире», отнюдь не имела успеха. Не только в реакционных кругах склонялись тогда к «изоляционизму», прогрессивные элементы (за некоторыми исключениями) тоже обнаруживали злополучную тенденцию вообще не интересоваться Европой, или заграницей, чтобы уделить все свое внимание внутриамериканским проблемам, социальной реорганизации континента, великой авантюре New Deal.

Фашизм, прежде всего в немецком варианте, был непопулярен. Но даже если и находились немногие, кому гитлеровский «новый порядок» казался симпатичным или достойным подражания, то это все же были разобщенные единицы, которые чувствовали для себя непосредственную опасность или обеспокоенность из-за агрессивности держав оси. Гестаповский террор и открытые приготовления к войне в Германии, притязание Гитлера на Австрию и часть Чехословакии, итальянское нападение на Абиссинию, генеральский мятеж в Испании — все это казалось из Америки чем-то нереальным или по крайней мере несущественным. Старый Свет морально деградирует? Американский либерал мог находить это прискорбным, too bad, но что же ему при этом делать? Нечего соваться в чужие дела, лучше побеспокоиться о своих собственных! «Let’s mind your own business»[183].

Не предостерегали ли основатели республики снова и снова от вмешательства в чужие дела? Перед лицом европейского упадка тем более следовало принимать во внимание этот мудрый

принцип. Очевидно, в интересах нации следует держаться возможно дальше от безнадежной неразберихи по ту сторону океана.

Большинство американцев благодарили Бога за океан, отделяющий Новый Свет от Старого. Широкий вал, слава Богу! За таким барьером чувствуешь себя в безопасности, даже если где-то сотрясается земля и вулкан извергает огонь. В Европе царит заразная болезнь, современная форма черной чумы? Неприятно для европейцев! Однако санитарный кордон в пять тысяч миль все-таки, пожалуй, предохранял также и против столь злокачественной бациллы, как фашистская.

Фашистская опасность в Соединенных Штатах, в стране Вашингтона и Линкольна? Impossible![184] «У нас это невозможно…» It can't happen here…[185] Некоторые просвещенные умы знали об опасности этой иллюзии, Синклер Льюис к примеру, который самым впечатляющим образом предостерегал и убеждал своих сограждан. В своем утопическом романе «У нас это невозможно» он с меткой обстоятельностью представил, как именно американский фашизм смог бы все же стать возможным и в какой форме он проявился бы.

Инсценировка сенсационного романа была одним из больших театральных событий сезона 1936–1937 годов. Мы присутствовали на премьере или, скорее, на одной из премьер; ибо вещь была поставлена одновременно в четырех различных нью-йоркских театрах на четырех различных языках: английском, немецком, идиш и итальянском. «Продюсером», позволившим себе столь дорогостоящий эксперимент, был не кто иной, как US Government[186]. В рамках большой программы трудоустройства государство финансировало не только строительство шоссейных дорог, больниц, школ, парков и гидротехнических сооружений, но и различного рода учреждения культуры. Правительство раздало заказы писателям, художникам и композиторам; группы молодых артистов и режиссеров, для которых не нашлось работы на Бродвее, получали дотацию из общественного фонда. Стимулирующий эффект столь щедро составленной и энергично проведенной акции помощи обращал на себя внимание в области культуры, равно как и в чисто экономической сфере. Такое рискованное предприятие, как четырехкратная инсценировка важной в воспитательном отношении драмы Синклера Льюиса, могло осуществиться лишь с официальной поддержкой. Благодаря инициативе Рузвельта в Америке теперь было нечто, чего там никогда не было: театр, репертуар которого определялся не исключительно коммерческими соображениями, театральные подмостки, которые — пусть только и на время, под влиянием

экономической обстановки — могли выполнять свою воспитательную миссию.

Премьера спектакля «У нас это невозможно» (английский вариант) остается для меня незабываемой. Не столько из-за ее художественных достоинств (играли хорошо, но не блестяще), сколько благодаря атмосфере, которая царила в зале и на сцене, объединяя публику и актеров. Именно по контрасту с кровожадной мрачностью фашистского мира, которую драматург вызвал к жизни по педагогическим причинам, обстановка в театре производила особенно светлое, интеллигентное, человеколюбивое, нравственное впечатление. Прилагали усилия, проявляли рвение на сцене и в партере. И играли трагедию крайнего одичания и смотрели ее не для того, чтобы при этом думать с фарисейским чванством: «Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как эти!», но чтобы снова еще раз торжественно обещать: «Так далеко, до такого позора мы здесь не должны ни в коем случае допустить! Это может, наверное, случиться и у нас — если мы не будем бороться. Давайте же будем бдительны! Позаботимся о том, чтобы ужасная возможность осталась неисполненной, неосуществленной!» Такого рода чувства и мысли рождались у зрителей: это можно было видеть по лицам. Актеры, должно быть, ощущали нечто подобное, стремясь невероятное (ибо крайнее одичание *представляет* собой невероятное) сделать художественно убедительным.

После спектакля состоялась встреча в доме автора; помню ее очень хорошо, может быть потому, что это была одна из первых больших вечеринок, в которых я принимал участие в «новом», то есть заново открываемом, повзрослевшем Нью-Йорке. Синклер Льюис — по прозвищу «Красный», намек на цвет его волос, не на его политические убеждения! — был моим старым знакомым по Берлину. Его мировая слава с тех пор возросла и стала благодаря присуждению Нобелевской премии как бы официально признанной; сам же он остался жилистым, сухопарым, долговязым, непритязательным; веселый, стеснительный «парень» лет за пятьдесят, с несколько морщинистым, потрепанным от частого употребления виски лицом. Какой европеец подобного престижа оказался бы столь неторжественным, столь моложавым? Тип «олимпийца», cher *matre* [187], в Америке не существует. Писатель, позволивший себе перенять манеры того же Стефана Георге, того же Малларме{267}, д'Аннунцио или Герхарта Гауптмана, был бы высмеян в Нью-Йорке.

Ритуалы американцам не по душе. Парень типа Красного Льюиса, настоящий стопроцентный янки, каким он предстает в книге (например, в книгах Синклера Льюиса), неподходящий

объект для культового почитания); да и к тоскливой замкнутости его не тянет. Тот факт, что при написании книг большей частью пребываешь в одиночестве, кажется, напротив, скорее способен испортить форму существования писателя и сделать ее бременем; в тот вечер премьеры он выразительно по этому поводу высказался. The theatre is fun[188], объяснял Красный, держа в руке стакан виски, с агрессивным, побагровевшим лицом. «Театр весел — teamwork, if you know what I mean: работают вместе, группой, с товарищами, как следует. Сидеть одному за письменным столом, с рукописью в качестве единственного собеседника — it's getting on my nerves! After all, man is a sociable animal, стадное животное, как говорится у немцев… Don't you agree? Well, anyhow, have another drink!»[189]

В то время как романист (которому вскоре после этого довелось попробовать себя, впрочем без большого успеха, в качестве актера) сетовал на that damned loneliness, «это проклятое одиночество», к которому его вынуждает профессия, вокруг него толпились болтающие, смеющиеся, жующие сандвичи, потягивающие виски сотрапезники. Дым стоял коромыслом в этом комфортабельном жилище поэта. Способствовало тому не только жизнерадостное гостеприимство хозяина дома, но и динамичный темперамент жены Синклера Льюиса, широким и широчайшим кругам известной как Дороти Томпсон{268}.

Во время первой встречи — в Мюнхене, в доме нашей старой подруги Христы Хатвани-Винелоу — Дороти была неизвестной молодой корреспонденткой газеты — очень честолюбивой, очень одаренной, очень привлекательной. Синклер Льюис, тогда уже всемирно известный, был по уши в нее влюблен. Великий человек женился на маленькой журналистке, которая теперь сделала столь головокружительную карьеру, что ее популярность сравнялась с его или чуть ли не превзошла ее. Дороти Томпсон, которую мы снова увидела в Нью-Йорке, намеревалась стать национальной фигурой — a national figure. Ее регулярные комментарии по политическим, культурным и общечеловеческим вопросам печатались в сотнях американских газет; ее слово имело вес, к ее совету прислушивались.

Мы были за нее, ибо она была против Гитлера. Против Рузвельта она, правда, была тоже: ее пуританскому консерватизму New Deal должен был претить. Однако она слишком ясно осознавала опасность национал-социализма, чтобы долго составлять оппозицию крупнейшему антагонисту тевтонского фюрера, то есть F.D.R. При следующих президентский выборах, 1940 года, она сделала выводы из своих антифашистских взглядов и выступила за third term[190]. Однако

пока еще миссис Томпсон ругает Рузвельта — разумеется, не совсем с той убежденностью и силой, которые выказывает в борьбе против нацистов. Она грозный борец, наша пышущая здоровьем, крепкая Дороти. Мы охотно внимаем, как она красноречиво, с отвращением поносит ненавистного.

В Германии она однажды брала у него интервью, незадолго до «захвата власти». Человек не понравился ей, особенно, естественно, нос, но и остальное тоже. Она нашла его гадким до такой степени, что осмелилась в своей статье предсказать: он не добьется этого! *Никогда* такой не станет диктатором! — ошибаться свойственно человеку, как мне известно из собственного опыта. Я тоже позволил себе в чайной «Карлтон» обмануться насчет ординарной рожи своего соседа по столику. Дороти, впрочем, ошибка принесла удачу — с этого интервью с Гитлером началась ее блистательная карьера. То есть глупый Адольф, в конце концов все-таки придя к власти, срочно выслал американскую репортерку из страны, чем заложил фундамент ее славы. Вот тогда-то одаренная обличительница разошлась по-настоящему и показала, на что способна. По-женски эмоциональный пафос и интеллигентная обоснованность ее ненависти существенно способствовали тому, чтобы сделать реальной для американской общественности серьезность нацистской опасности.

Выглядит она все еще великолепно, хотя уже и не такой юной и поджарой, как тогда, когда рыжеволосый романист следовал за ней по пятам в Вену, Берлин и Мюнхен. Стройная и робкая девушка превратилась в матрону с самоуверенной статностью, женщину, привыкшую присутствовать на больших приемах и митингах в качестве madame Chairman (президентши), собирать вокруг себя с непринужденным авторитетом благоговейно внимающих почитателей на коктейлях, принимать на равных участие в доверительных встречах столпов общества. Она сама велика во всех измерениях: грудь, банковский счет, разум, престиж — все имеет крупный масштаб. Гордо поднятой головой и заносчивым лицом она напоминает известных римских императриц, чьими повелительными прелестями мы не без почтительной неловкости восхищаемся на портретах декадентской эпохи.

Синклер Льюис и Дороти Томпсон не единственные знакомые, которых мы видим в этот вечер или на других подобных встречах. Некоторые из американских друзей периода «вокруг света», разумеется, между тем отдалились. Хорас Ливрайт, например, мой первый нью-йоркский издатель, который тогда со своим знаменитым, правда несколько сомнительным,

обаянием заботился о нас; с другими старый контакт не возобновляли. Г. Л. Менкен относился к тем, с кем лучше было не встречаться. В 1927 году он благоговел перед нами, потому что мы прибыли из Германии, страны, к которой он всегда питал слабость. Ибо чем, если не слабостью, была некритичная, упрямая симпатия? Привередливый старый Менкен неравнодушен даже к третьему рейху, в то время как в адрес Рузвельта мечет громы и молнии. Такая большая оригинальность граничит с нелепостью. Вероятно, от его милого обращения с нами и следа не осталось бы, вздумай мы теперь заявиться к нему в качестве эмигрантов, так что уж лучше от встречи с ним воздержаться.

Но нередко происходили радостнейшие свидания. Торнтон Уайлдер, который девять лет назад был «обещающим» литератором, написал между тем некоторые из своих прекраснейших вещей и стал celebrity[191], в остальном совершенно не изменившись: такой же сердечный, такой же скромный, такой же полный юмора и рассудительный, каким мы его некогда знали. Такая невозмутимость при внезапной славе редка и особенно достойна славы. Переносить с достоинством непризнание, даже нищету — с этим справляются многие. Но человек, который не позволил успеху сбить себя с толку или подкупить, выдержал тяжелейшее испытание.

Перед тем же испытанием стоит Фредерик Прокош: у него теперь имя. Не то чтобы он многого достиг, как несколько старший Уайлдер! Но к нему становились внимательны, о нем говорили: его роман «Азиаты» считается повсюду одним из интереснейших и прелестнейших произведений молодого поколения писателей. Помните то завистливое восхищение, с которым он в доме своего отца слушал разговоры о наших планах путешествия? Тогда он был еще почти ребенком, но все-таки уже необычным, уже окруженным аурой творческой одаренности. Легковозбудимое чело, которое столь встревоженно омрачалось, темный взор, исполненный обещания надежд, — все указывало на то, что из юноши что-то получится. Не без удовлетворения замечаешь, что талант человека, личное обаяние которого коснулось тебя раньше других, теперь находит и общественное признание. Поздравляя Фредерика с его первыми триумфами, так и хотелось добавить несколько предостерегающих слов: а теперь за работу, молодой человек! Роман твой про Азию хорош, но все же не должен оставаться твоим лучшим произведением. Тебе суждено создать еще многие и получше этого, если только отныне не станешь ленивым и тщеславным. Не позволь же успеху сделать тебя ленивым и тщеславным! Это разочаровало бы тех, кто первым почувствовал в тебе талант… Естественно, ничего

подобного не говорят, да и как осмелиться?

Словно бы сам выше лени и тщеславия! Итак, из условности и скромности удерживаешься от маленькой проповеди, которая при всей своей бестактности, впрочем, молодому писателю, может быть, оказалась бы весьма полезной…

Были повторные свидания, и были новые встречи. Среди новых друзей есть те, с чьими именами и трудами уже давным-давно близко знаком, тогда как другие — как Фредерик в свое время — воздействуют пока только своей личностью и вызывают любопытство к своей будущей продукции.

Теодор Драйзер — это классик, один из трех великих пионеров современного американского романа. Двух других, Синклера Льюиса и Эптона Синклера, я знал уже лично; теперь произошла встреча с третьим, который, быть может, является и самым великим. Драйзеровский реалистический эпос — «Американская трагедия», «Сестра Кэрри», «Титан» — обладает неким мощным повествовательным дыханием, некоей общечеловеческой значимостью и пластичной объективностью — короче, некоей «гомеровской» чертой, которой совершенно недостает по-журналистски тенденциозно настроенным Льюису и Синклеру. В личном обхождении, правда, мастер романа как раз не производил впечатления «объективного» и уравновешенного; скорее он отличался раздражительной вспыльчивостью и какой-то по-крестьянски убийственно грубой агрессивностью. Именно этот дурно настроенный, гневливый Драйзер остался у меня в памяти. Вспоминая о том вечере, который я провел в его обществе (встретились в доме молодого поэта Селдена Родмана, в давно прошедшие времена часто приезжавшего в Мюнхен), я так и слышу вечно рассерженный, недовольный, брюзгливый голос. Грузный человек с широким морщинистым лицом сидит в кресле и ругается. Ругает он все, но с особенной обстоятельностью католическую церковь. Быть может, мне изменяет память; однако сдается мне, что великий писатель провел весь этот вечер, понося Ватикан. Не то чтобы его аргументы были совершенно абсурдны! Напротив, старый вольнодумец и анархистско-марксистский бунтарь — впрочем, выросший в строго католической среде — сумел выдвинуть много толкового и убедительного против поповщины. Но и наилучший аргумент теряет свою ударную силу и побуждает к возражению, если его повторяют с большой настойчивостью. Драйзер с таким упорством подчеркивал обскурантистские, враждебные культуре и прогрессу аспекты католической традиции, что я счел себя в конце концов вынужденным просто из справедливости и диалектической компенсации указать на культурные деяния, облагораживающее,

объединяющее народы влияние римской иерархии. Уж лучше бы я этого не делал! Ибо теперь воинствующий атеист стал считать меня ханжой, если и не вовсе подкупленный агентом папского престола, что теперь и сделало его по-настоящему напористым.

Иногда — ах, как часто! — лучше не знакомиться с художниками, чьими произведениями восхищаешься, в их обыденной жизни.

Была ли разочарованием и встреча с Томасом Вулфом? Его первый роман «Взгляни на дом свой, ангел!», который я прочитал раньше в замечательном, прекрасном немецком переложении Шибельхута, был для меня дорог, имел для меня особое значение по сравнению с другими произведениями новой американской литературы. Один ехидный критик сказал о Вулфе: «Это был талант, вообразивший себя гением». По моему мнению, он, скорее, был гением, которому недоставало таланта, я имею в виду дисциплины художника, организаторского дара, вкуса, воспитанности, меры, легкости, самокритичности, иронии. Он обладал одержимостью, трагическим пафосом, почти болезненной сосредоточенностью, тревожной памятью, сверхчувственной впечатлительностью гениального человека. В противоположность представителям старейшего поколения, трезвым хроникерам и критикам общества — Драйзеру, Синклеру Льюису и Эптону Синклеру, Вулф кажется настроенным целиком лирически-исповедально; его стиль ни журналистски-тенденциозный, ни эпически-объективный, но изначально поэтический; он провидец, вдохновенный певец среди великих повествователей пробуждающегося, осознающего себя континента. Со времен Уитмена американская душа не имела столь красноречивого, столь воодушевленного свидетеля.

Нет, писатель такой жизненной силы и полноты, пожалуй, и в личном общении не может разочаровать. Час, который я смог провести с автором «Взгляни на дом свой, ангел!» в его нью-йоркской квартире, остается для меня незабываемым, как те тривиальные и одновременно таинственные, наводящие на странные размышления эпизоды, из которых составляются автобиографические романы Томаса Вулфа.

Дом, в котором он жил, располагался в довольно удаленном, малопривлекательном районе великого города. Лестничная клетка и коридор отдавали сыростью, однако из его рабочей комнаты открывался прекраснейший вид на Ист-Ривер, мосты и суда которой расплывались в серой дымке приближающегося зимнего вечера. В момент нашего прихода писатель стоял в проеме открытой балконной двери, великан со странно детским и мягким выражением лица, погруженный в созерцание призрачно

скользящих мимо грузовых судов и бледных лодок. Он оглянулся на нас, указывая широким мягким жестом на заколдованную, неотчетливую панораму.

«It's glorious, isn't it?[192] Я бы целый день мог стоять здесь и смотреть». В его слова вклинилась судовая сирена, уныло протяжный, жалобный, призывный зов скрытых от взора вод.

Он говорил, как и писал — окрыленно и стесненно от богатства чувств и образов, которые он пытался сообщить разом, все в одном предложении или по крайней мере на одном дыхании. Не заикался ли он? Пожалуй, в собственном смысле этого слова — нет; однако его красноречию, каким бы плавным и непринужденным оно ни казалось, была все-таки свойственна какая-то сомнительная, беспокоящая, почти пугающая тяга к судорожному и форсированному, словно этого слишком уж общительного титана томил тайный страх, что язык и губы, прежде чем он успеет договорить, во внезапном параличе могут отказать ему.

Постоянно двигаясь из одного конца помещения в другой, он поведал нам неутомимо словоохотливыми устами о сумасбродстве американских рецензентов книг, об очаровании ночных поездок по железной дороге, о трагедии негров в южных штатах, о музыкальных впечатлениях и удивительных дорожных приключениях. Он пробыл недавно несколько месяцев в Германии, чтобы там на месте израсходовать замороженный в марках банковский счет, который держал для него наготове его издатель Ровольт. Многие из его анекдотов и на первый взгляд неуместных, бессвязных реминисценций воскрешали эти берлинские недели. Вулф, наверное, считал, что все связанное с Германией нас должно особенно интересовать; и впрямь, возможно, предполагал, что наша потребность в новостях со старой родины и является, собственно, причиной нашего визита. И так он рассказывал — великолепно, красочно, сумбурно — о немецких евреях, при аресте которых в зале ожидания берлинского вокзала он присутствовал; о театральных вечерах, общественных событиях и скандалах, экономической ситуации, официальной пропаганде и тайной оппозиции в третьем рейхе; о любовницах министра Геббельса и извращениях фюрера, о немецких поэтах и генералах, о немецких военных приготовлениях, о капризах издателя Ровольта и об уютной семейной жизни американского посла Додда, с которым он — рассказчик — во время своего пребывания сердечно подружился.

Завершением и кульминацией нашего посещения был еще один сюрприз, которым Вулф думал нас особенно порадовать. Сюрприз имел зоб, выпученные глаза, грязные ногти и говорил на

ужасающей смеси баварского диалекта и плохого американского. «Моя приходящая прислуга! — воскликнул разговорчивый великан с наивной гордостью. — Она родом из Мисбаха! Это ведь недалеко от вашего родного города Мюнхена? Вы можете поговорить с ней на вашем языке. Давайте! Меня не стесняйтесь!» Тактично отвернувшись, словно бы не желая мешать интимности этой встречи, он тем не менее не пропустил ни одной из неловких фраз, которыми мы обменялись с нашей зобастой соотечественницей. Разве не тоска по родине была лейтмотивом, снова и снова изменяющейся, внутренне варьирующейся темой его эпической поэзии? Поскольку его самого глубоко трогала и завораживала всякая весть из провинциального мира, откуда он был родом, то он, наверное, полагал, что звучание баварского голоса должно возбудить и в нас чувства подобного слащавого, уныло блаженного рода. В болтовне служанки мы должны были узнать чужеродный звук, великий утраченный язык, пропавшую без вести речь детства, ритм которой он на протяжении всей своей жизни пытался отыскать с терпеливо-ревностной нежностью.

«The best of luck to you![193] — пожелал он нам на прощанье. — Я надеюсь, что вам здесь понравится. Сначала кое-что в этой стране покажется непривычным, может быть даже безобразным или враждебным. Но вы со временем приживетесь. Да, я полагаю, я почти уверен, что вам у нас понравится».

Пророчеству писателя суждено было полностью сбыться. На самом деле, новое окружение какое-то время оставалось для нас непривычным или даже в некоторых отношениях казалось враждебно-безобразным, пока мы постепенно не прижились, не привыкли к американскому стилю жизни.

Вновь прибывшие делают ошибки; нас тоже не совсем миновал горький опыт. «Перцемолка» хотя и не провалилась с треском, но нашла в Нью-Йорке все-таки относительно слабый отклик. Эрика начала свои спектакли, может быть несколько опрометчиво, 29 декабря 1936 года в одном нарядном, но не очень впечатляющем маленьком театре, расположенном на самом верхнем этаже небоскреба, в Чанин Билдинг, близ вокзала Гранд сентрал. Часть прессы и публики не осталась равнодушной к особой прелести сцен, песен и деклamаций — некоторые из них исполнялись в английском переводе, другие в немецком оригинале. Но все же недоставало контакта между партером и сценой; программа не зажигала, не имела успеха. Тот энтузиазм, с которым принимались эти самые номера в Амстердаме, Цюрихе, Праге и других европейских столицах, здесь не возникал; напрасно мы ждали того великого «хохота», того взволнованного

молчания, тех почти охрипших от воодушевления криков «браво», тех бурных аплодисментов.

Отчего эта холодность? Литературное кабаре, неотъемлемая часть парижских бульваров и мюнхенской богемы, в Америке не имела традиции, почвы. Чтобы привить эту форму искусства в чужой среде, требовалось, наверное, больше финансовых средств и более основательная подготовка. «Американизированная», последовательно приспособленная к общепринятому в стране вкусу, «Перцемолка» могла бы стать сенсацией. Или следовало в качестве экзотического аттракциона представить немецкий кафешантан в его самобытной форме? И эта тактика, хотя и небезопасная, имела бы больше видов на успех, чем компромисс, на который мы решились. Нью-йоркская «Перцемолка» со своим двуязычным репертуаром и смешанным составом труппы была ни рыба ни мясо: слишком outlandish [194] для массы, недостаточно continental [195], недостаточно exotic[196] для избалованных снобов. Половинчатость, компромиссы никогда не окупаются — аксиома, действенность которой оправдывает себя в любой сфере жизни, в любой части света.

Между тем эксперимент все же оказался стоящим, не только для Эрики и некоторых членов ее группы, но и с американской точки зрения. Эмигрантское кафе, пусть даже еще в несколько ослабленной или искаженной форме, действовало тем не менее как любопытная новинка; столько грации и остроумия при таком подлинном, сильном, морально-политическом пафосе редко встретишь на нью-йоркских сценах, как категорически утверждали некоторые критики. Прелестный полемический конферанс и пение Эрики, умно владеющая природным талантом Гизе, очень личностный, очень фантазирующий и фантастичный комизм Лотты Гослар — многому можно было поудивляться и, пожалуй, кое-чему и поучиться молодым американцам, которые хотели попробовать себя в этой области искусства.

Выдающаяся Гизе, которой уже продолжительное время делал предложения Цюрихский драматический театр, и Магнус Хенниг, наш музыкант, возвратились в Европу, тогда как другие члены ансамбля — забавная Гослар, например, — хотели попытать своего счастья в США. Эрика тоже решила остаться. Выступления в Чанин Билдинг, к которым, впрочем, присоединились еще краткие успешные гастроли под эгидой Нового института социальных исследований (к сожалению, так поздно, что это не могло спасти уже сдавшуюся, уже признавшую себя побежденной «Перцемолку»), прошли для нее все-таки в некотором отношении ободряюще. Хотя предприятие Эрики и не удалось или по крайней мере имело лишь половинчатый, относительный успех,

сама же она понравилась. Американская публика охотно слушала ее, она производила приятное впечатление; на ее взгляд, ее улыбки, ее голос — короче, на ее индивидуальность реагировали дружелюбно. Это она теперь знала и имела все основания чувствовать себя благодаря этому ободренной. Воздействие личности имеет значение повсюду, но особенно в Соединенных Штатах, где чувственно-иррациональные симпатии и антипатии при оценке человека как в общественной, так и частной жизни играют гораздо большую роль, чем какие-либо точки зрения абстрактного или принципиального рода. Выигрышная индивидуальность — это капитал, с которым наверняка можно сделать карьеру, например карьеру lecturer [197].

Профессия lecturer — в других частях света почти неизвестная — относится к особенностям американской жизни. Романисты, полярные исследователи, политики, ссыльные принцы, мастера по теннису, религиозные деятели, повара, медиумы, цветоводы, корреспонденты газет, психоаналитики — лекторы по совместительству, тогда как другие вообще ничего иного не делают — только разъезжают и разглагольствуют. Теми, кто предоставляет развлекать и поучать себя таким странствующим ораторам за ленчем или после обеда, являются по большей части дамы средней и высшей буржуазии, члены знаменитых женских клубов; однако мужские сообщества тоже проявляют себя в этой области радушными, случается даже, что приглашения выступить с докладом поступают от смешанных групп, студенческих организаций, эстетствующих кружков, религиозных сект.

От докладчика (который, кстати, должен свободно и непринужденно изъясняться без помощи рукописи) требуется только одно — быть personality[198]. Надолго, правда, магнетического присутствия не хватит; успех держится только там, где к индивидуальности добавляются еще и другие качества — моральные и интеллектуальные, наличие которых публика все-таки смогла почувствовать, наверное, в Эрикиных «перцемольных» конферансах и позднее в ее лекциях. Как писательнице и журналистке ей тоже удалось скоро сделать имя в Америке, однако спецификой ее оставались прямое обращение и устный комментарий, сдобренный анекдотами доклад, кажущаяся импровизированной, в действительности тщательно подготовленная causerie [199], которая и убеждает отчасти благодаря очарованию говорящей, отчасти благодаря значимости собственной личности. Эрика могла бы стать одним из самых популярных лекторов континента, так как ей есть что сказать («She has a message!») и так как достойное внимание она доводит

до слушателей с настойчивостью («She has personality!»)[200].

Я тоже попробовал себя на ораторской трибуне, прямо в эту первую нью-йоркскую зиму, и произвел, должно быть, при этом неплохое впечатление; ибо один из ведущих лекционных агентов (без агентов в Америке дело не идет!) предложил мне довольно сносный договор на следующий сезон, 1937–1938. Итак, я мог чувствовать себя относительно уверенно и до некоторой степени был доволен результатом своей разведывательной поездки, когда в середине февраля снова отплыл в Европу. Не то чтобы пять месяцев нью-йоркского пребывания сделали меня богатым человеком или прославленной звездой! Напротив, мое финансовое положение в день отъезда было столь же затруднительным, каковым оно было по прибытии и каковым оно (я уже вполне свыкся с этим!), наверное, останется на всю мою жизнь. Что же касается «славы», то я был слишком хорошо знаком с сомнительностью или ничтожностью этого феномена, чтобы быть высокого мнения о себе из-за ее мимолетных проявлений (несколько быстро забытых газетных статей и быстро увядших букетов) или вообще принимать подобное всерьез. Между тем кое-что все же было, о чем я мог думать с удовлетворением на прогулочной палубе французского парохода «Чамплен», глядя на постепенно удаляющуюся статую Свободы. Определенные контакты личного и делового, профессионального характера, которыми я был обязан этому богатому событиями и работой пребыванию, казались мне надежными; корреспонденции о положении в Америке, которые я опубликовал в европейской прессе, не относились, кажется, к моим неудачным опытам; то, что я хотел рассказать американцам о европейских проблемах, как в устной форме, так и в письменной, было равным образом принято с известным интересом. Правда, как оратор я страдал от произношения чужих оборотов речи; с моим английским дело обстояло тогда еще настолько плохо, что даже самое краткое выступление мне приходилось составлять на любимом родном языке, чтобы потом выучить перевод наизусть и преподносить с утомительно наигранной непринужденностью. Буду ли я когда-нибудь в состоянии изъясняться по-английски правильно и прилично? Владения разговорной речью можно, вероятно, добиться прилежанием и доброй волей. Но как далек я был еще и тогда от той посвященности в идиоматические нюансы, от того совершенного знания словаря, того тонкого чувства ритмических и звуковых оттенков — короче, от той интуитивной языковой уверенности, которая необходима писателю! Писать английскую прозу? Стать американским автором? Идея казалась мне авантюрной, рискованной до абсурда…

Однако, как ни пугала и ни раздражала меня мысль о языковой перестройке, я покидал Америку все же с таким ощущением, что нашел новое поле деятельности и новую пристань, может быть даже новую родину. Я знал, что приеду сюда снова; не только потому, что обязан был это сделать по договору, но и из более глубокого побуждения и потребности. В первый раз с начала ссылки я ощущал желание примкнуть к определенной национальной общности, снова стать гражданином одной определенной страны. Ни один европейский народ не приемлет чужака; французом, швейцарцем, чехом или британцем не «станешь», если таковым не родился. Американцем же можно «стать», что, вероятно, связано с особой структурой и историей этой над-национальной нации. Да, я приеду снова не в качестве туриста, но в качестве переселенца, в качестве будущего американца. Было это еще не решением, не уверенностью, скорее надеждой.

«Надежда на Америку» назывался и доклад, который я вскоре читал в Европе. Естественно, рассказывал я людям в Голландии, Люксембурге, Швейцарии, Австрии, Чехословакии не о своих личных маленьких надеждах; более того, речь у меня шла о перспективах и возможностях американской цивилизации, американского характера. Европейская демократия не потеряна, как я пытался разъяснить своим слушателям, пока демократический дух удерживается по ту сторону океана с такой жизнестойкостью и силой. «Америка Рузвельта — это наш союзник в борьбе против мирового фашизма. — Я утверждал это с убежденностью. — При всех изъянах и слабостях она все-таки в основе своей здорова, Америка Рузвельта. С ее помощью победит демократия».

Это звучало утешительно, а в утешении нуждались в Европе 1937 года, особенно в странах, которые граничили с Германией. Всюду одна и та же моральная парализованность, то же пораженчество перед лицом растущей опасности! Острее всего это было заметно в Вене, где слово «надежда» едва ли еще отваживались высказывать — оно звучало уж слишком издевательски и парадоксально. Надежда, в стране, «свобода» которой защищалась ханжескими бюрократами, как Шушниг, и грубыми простаками, как принц Штархемберг? Плохо управляемую, брошенную Западом на произвол судьбы Австрию уже нельзя было спасти. Я это знал, когда пытался ободрить горстку удрученных венских интеллектуалов своим докладом об Америке.

А Чехословакия? Она тоже подвергалась угрозе; все же там еще можно было говорить о надежде. Чешский народ, со своей

стороны готовый оказать любому немецкому нашествию решительнейшее сопротивление, полагался на свой союз с Французской Республикой и на дружбу с Советским Союзом. К тому же чехи в отличие от своих австрийских соседей могли доверять собственному руководству.

Томаш Масарик, «президент-освободитель», ко времени моего посещения Чехословакии уже больше не служил, а проживал в сельском уединении. Его друг и преемник, д-р Эдуард Бенеш, любезно согласился принять меня в Пражском Граде. Я провел час оживленного разговора с человеком, чье имя — вместе с именем Масарика — стало символом чешской независимости и демократии. Государственный муж — и тем не менее человек! Умный политик — и тем не менее свободный от всякого цинизма! Если бы только Европа предоставила вождю столь редких дарований несколько больше власти! Имей континент лишь три-четыре такие фигуры, как эта, единственная в своем роде, — история последних десятилетий, *наша* история, наше настоящее выглядели бы по-другому!

Я всегда воспринимал Бенеша как духовного сородича Рузвельта; своеобразная смесь лукавства и идеализма, спонтанного великодушия и расчетливого скепсиса, интуиции и терпения точно так же характерна для великого чеха, как и для великого американца.

Неужели лишь невероятные размеры его страны и столь же чрезмерные последствия его деятельности позволяют Рузвельту казаться нам значительнейшим? Масштаб исторической фигуры, пожалуй, едва ли поддается абсолютному определению; он растет или сокращается вместе с исторической функцией, которая возложена на индивидуума судьбой. Ибо как раз этот наказ судьбы, отдаленный, случайный или второстепенный, является органичной частью феномена индивидуального величия. Жизненностойкий гений президента Рузвельта потому уже производит впечатление более импозантное и удивительное, чем чуткое благоразумие президента Бенеша, что правителю Соединенных Штатов — могущественнейшему человеку мира — отнюдь не требуется быть гениальным: человек в такой должности может позволить себе все, даже посредственность, как это слишком четко доказывает пример иного бездарного властелина, в Америке или где-нибудь еще. Чрезвычайное дарование Рузвельта воспринимается как княжеская роскошь, тогда как Бенеш, всегда подверженный опасности, маневрирующий между одной щекотливой ситуации и другой, целиком был предоставлен своему таланту.

«Будь я соней или рохлей, что стало бы с моей бедной

маленькой Чехословакией?» Этим риторическим вопросом он ответил на мое замечание о его осмотрительности, его бдительности. Он распространялся дальше об этом предмете, который, казалось, настраивал его на несколько унылый, может быть, даже чуточку горький лад. «Великие господа могут быть халтурщиками, — объяснил он с коротким смешком. — Но чтобы править малочисленным, постоянно подвергающимся угрозе со стороны превосходящих соседей народом, для этого нужна известная тонкость». Выражение его лица было лукавым, и он подмигнул мне почти плутовски, констатируя в заключение: «Нашему брату приходится полагаться на свою головушку». Звучало это гордо, при всей его скромности. Очевидно, он надеялся, что интеллигентности и такта будет достаточно, чтобы охранить доверенную ему нацию от новой напасти, нового насилия.

Оптимист Бенеш и в этом был, пожалуй, похож на Рузвельта. Хозяин Белого дома и хозяин Пражского Града оба оставались невозмутимыми, непоколебимо уверенными и в кажущемся безнадежным положении. Ни тот, ни другой ни разу, наверное, не сомневались в победе дела, которое на этот раз, опять же вне всякого сомнения, представлялось им правильным, справедливым. Не обманывались ли они, не были ли они в плену иллюзий, два умудренных опытом моралиста и нравственно вдохновенных тактика? Их героизм, их хитрость, их расчет и интуиция, жертвы, которые они приносили и которых требовали, не было ли все напрасно? Не тщетны ли все издержки? Победа, в которую верили Рузвельт и Бенеш, что станется с ней, когда она наконец придет? То, что они в конце пережили, было ли это вообще победой? *Их* победой? Или это был лишь обманчивый триумф, в котором уже возвещали о себе и созревали грядущие катастрофы? Знали ли они это в свои последние часы, оба победителя? Оба оптимиста, не в отчаянии ли умерли они, как потерпевшие крушение?

Такие вопросы напрашиваются, вероятно, в связи с ситуацией в мире, мрачность которой немилосердно пожирает всякий луч надежды и проблеск веры. Но может быть — кто отважится это решить? — мы еще более слепы в своем отчаянии, чем были те в своем оптимизме? Человеческая история, загадочная, смутная, как трагически таинственное творение, человек, который ее создает и переживает, перенося страдания, она не знает, может быть, ни победы, ни поражения, но знает в борьбе и пожертвовании вечно повторяющуюся игру сил, постоянное движение, кажущееся бесцельным или по крайней мере без какой-то осознанной нами цели. Кто в этом диковинном процессе

участвует с полной отдачей всех своих сил, тот все-таки живет, вероятно, не совсем зря, даже если его земные труды бренны и кажутся совершенно напрасными.

Напрасно? К этому, пожалуй, постоянно все сводится в этом химерически несущественном, обреченном на гибель мире. Напрасно? Этот приговор действителен для всех наших деяний. И что бы мы ни желали или ни могли бы свершить, наша вера, еще более прекрасный труд — это грех и ошибка: в мрачный час, который является и часом просветления, эта догадка подтверждается. Но если бы не стали более грешить и ошибаться, не стали бы более действовать, не было бы это еще хуже? Было бы еще хуже. По какой-то причине — совершенно недоступной нашему пониманию, но тем не менее неотложной — мы остаемся обреченными на напрасное деяние, на «тщету». Не обстоит ли дело примерно так, что мы должны действовать, чтобы снова и снова доказывать сомнительность всякой акции?

…Я предаюсь этим мыслям и заношу их на бумагу, потому что душа моя наполняется покоем при воспоминании об одном часе в Пражском Граде. Итак, человек с приветливо оживленным, умным, хоть и несколько утомленным, напряженным лицом, сидевший напротив меня за широким простым письменным столом, чувствуя в себе решимость действовать, вероятно, нуждался в вере в этическую законность и практическую возможность успеха своей программы действий. В плавной живой речи, может быть, слишком уж логично построенной и потому производящей впечатление слегка педантичной, он анализировал и резюмировал факторы, которые, по его мнению, оказывали решающее влияние на международную ситуацию в то время — весной 1937 года. Вывод, к которому он пришел, звучал коротко и ясно: «Мы справимся с этим!» Демократическая сторона, партия мира, к которой он естественно причислял не только западные державы, но и Россию, должна быть несравненно сильнее империалистически-фашистской коалиции. Гитлер и его вассалы не осмелятся на нападение. Хорошо информированный, бдительный и умный человек за письменным столом, казалось, был твердо в этом убежден. «До войны не дойдет!» — пообещал мне он, и его интеллигентное лицо, немного усталое, приветливо озарилось. И, с поучающе поднятым указательным пальцем: «Послушайте мои … *дувуды!»* В его чешски окрашенном выговоре немецкое «о» превратилось в «у» — деталь, которую я вспоминаю с умилением.

Он изложил мне *дувуды,* из которых ни один не показался мне таким уж основательным. Все, что он хотел сказать, было разумно и все было неверно, потому что разум-то и оказался

бессилен. Он был оптимистом, а оптимисты заблуждаются. Но пессимисты, разве они не заблуждаются? Я едва ли был склонен позволить себе суждение по столь щекотливому вопросу.

Мое суждение определяется человеческой симпатией и моральным инстинктом, а не грубо прагматическими и весьма относительными или расхожими категориями «ложно» и «верно». Склонный к заблуждениям д-р Эдуард Бенеш, по заключению моего чувства, был хорошим человеком — одним из лучших, кого мне привелось узнать. Я горжусь тем, что он удостоил меня своим доверием и позволил выслушать все свои «дувуды», как ни мало основательны, может быть, они были.

Впрочем, в душе он, наверное, и сам знал, что его рационально-оптимистическая аргументация не совсем твердо держится на ногах. На прощанье — я стоял уже в открытых дверях, между ним и мною лежала довольно широкая поверхность зеркального паркета — он крикнул, немного неожиданно: «До свидания! И, чтоб ни случилось, желаю вам крепких нервов!» При этом он мимолетно кивнул мне, как если бы я удалялся на легком челне и оставлял его, совсем не юношу (да, он вдруг показался мне чуть ли не старым!), на опасном посту. «Крепкие нервы» — да, они были нужны, чтобы жить под знаком вулкана, сохраняя еще и способность к творчеству. Куда бы ни направили мы свои стопы, повсюду глухие раскаты напоминают нам о неизбежности, неминуемости взрыва. Зловещий шум отчетливо ощущался мною, когда я выслушивал *дувуды* д-ра Бенеша; за веселым разговором с друзьями, в баре с визжащим джазом, на шумном или по-ночному успокоившемся перекрестке, в концертном зале, за рабочим столом — всегда мучительно монотонное музыкальное сопровождение, предостерегающее ворчание из чреватой бедами бездны. Когда извержение? Время до этого было только отсрочкой.

«До свидания!» — сказал Бенеш, оптимист, прежде чем пожелать мне «крепких нервов». До свидания — где? когда? при какого рода обстоятельствах? Я был, понятно, не настолько бестактен, чтобы задать вопрос; но он, наверное, прочитал его в моем робком взгляде, когда — одинокая фигура в великолепном просторном помещении — так меланхолично кивнул. (Свидание состоялось в Чикаго. Над Пражским Градом развевалась свастика.)

«Au revoir!»[201] Карел Чапек, известный чешский писатель, друг и биограф Т. Г. Масарика, тоже употребил эту обнадеживающую формулу, когда после сердечной встречи дошло до прощания. «Au revoir, cher ami. A bientôt!»[202]

Я со своей стороны старался говорить по-настоящему

беззаботно и лихо, что, однако, вероятно, удалось не совсем хорошо. Далекий ропот раздражал меня. Как долго еще?.. (Мне не пришлось больше свидеться с этим изысканным, одухотворенным и достойным любви человеком. Он умер, буквально от разрыва сердца, осенью 1938 года, вскоре после дня беды «Мюнхена»!)

Отсрочкой пользовались, насколько было возможно. К пребыванию в трагически осененной и все же столь отважно высокомерной Праге прибавилось несколько более краткое — в Будапеште, где мне, собственно, нечего было искать. То, что я обнаружил у власти в Венгрии, было не что иное, как фашизм; Хорти и Гёмбёш едва ли существенно отличались от своих знаменитых коллег, Гитлера и Муссолини. Но я как-то склонялся к тому, чтобы те мерзости, из-за которых покинул Германию и избегал Италии, в Будапеште не принимать совсем всерьез. Позволяет ли такая терпимость говорить о фривольности как существенной части моего характера или она объясняется, быть может, фривольным очарованием, опереточным климатом венгерской столицы? Как бы то ни было, я должен со стыдом сознаться, что довольно хорошо провел время в социально отсталом, продажном и управляемом террористами Будапеште.

Это был веселый, веселящий город, яркие Балканы с остатками староавстрийской культуры; щеголеватое место встречи международных прожигателей жизни, притом не без провинциально-идиллических и достопочтенно-живописных черт; богатый красками, богатый контрастами, являющий собой вопиющую бедность наряду с подозрительной элегантностью, по-восточному нищенские фигуры рядом с ослепительно нарядными кокотками и незамужними графинями; эротический рынок замечательного многообразия и качества, сексуальный спрос-предложение, который не убоялся бы сравнения с Берлином эпохи инфляции. Жизнь била ключом на прекрасных променадах дунайских набережных, в преувеличенно шикарных ночных ресторанчиках, в декорированных по-турецки купальнях, полумрак которых — сладострастно насыщенный паром горячих целебных источников — манил к бесстыдной коллективной оргии.

Кому хотелось быть нарушителем игры? Не мне, которому эти излишества вульгарно-коммерческой и все-таки опять же великолепно примитивной, гипертрофированной в антично-азиатском стиле чувственности были вполне симпатичны. Пресыщенный, грубо дающий себе волю разврат там, где он соединяется с финансовым интересом, веселит меня как единственно невинная или по крайней мере относительно безобидная манифестация наших животных инстинктов, которые

все же не позволили слишком возноситься: достигнутая, вынужденная степень сублимации вызывает в культуре недомогание, которое наводило на раздумья не одного великого Фрейда…

Разумеется, и в фривольном Будапеште я был не настолько фривольным, чтобы хоть на минутку забыть следующее: от животного, что мне нравится, не так уж, пожалуй, далеко до скотского, которого я страшусь. Если дело обстоит так, что удовлетворение инстинкта отвлекает от губительных импульсов или превращает их в вожделенное либидо, то ведь неоспоримо также и то, что раскрепощенная сексуальность имеет фатальную склонность вырождаться со своей стороны в смертоносный садизм. Массовая оргия, в которой я нахожу свое наполовину иронически-горькое, наполовину сладостно-ординарное удовольствие, содержит в себе зачаток массового убийства; любое опьянение есть потенциальное опьянение кровью — констатация, благодаря которой я хотел бы пусть и не отступиться от своего панегирика сладострастию, но все-таки пристойно его видоизменить.

Вулкан — я его слышал, я оставался в сфере его влияния и тогда, когда искал забытья в благоухающей пучине сильно окрашенного по-восточноевропейски и уже выходящего за европейские пределы порока. Забытье, бывает ли оно? Проблематика, которая раздирает нашу цивилизацию, остается всегда современной, наличествует всюду, охватывает все наше сложное, неделимое бытие. О происхождении и характере перманентно обостренных кризисов, через которые проходим, односторонне гениальный Фрейд может сказать так же мало, как и односторонне гениальный Маркс, что означает, что корни нашего бедственного положения находятся одновременно в индивидуальной и социальной, эротической и экономической сферах. Мятежное либидо не менее взрывчато, чем революционная классовая борьба: сновиденчески-темное предостережение, зашифрованный протест, идущий из подсознания человека, перемешивается с раскатами из другой преисподней — общественной.

Забытье? Духовно бодрствующему человеку, наверное, нимало не возбраняются декорированные по-турецки публичные дома-купальни, равно и как более достопочтенные места. Впрочем, я не хочу преувеличивать своего интереса к разврату, как порой это с хвастливой застенчивостью делают известные «исповедующиеся». Что касается меня, то о греховных излишествах речь может идти столь же мало, сколь и об относящихся сюда пароксизмах раскаяния; уже оттого нет, что я,

при всем знании подспудной связи между половыми и разрушительными побуждениями, самое эффектное удовольствие не воспринимаю ни как «излишества», ни как «греховность»: посему после своих зачастую несколько неразборчивых объятий я имею обыкновение пробуждаться отнюдь не по-христиански, когда кошки скребут на душе, а скорее (если это было приятное объятие) в язычески добром настроении. Но вряд ли жизнь, заполненная подобными развлечениями, не надоест быстро. Да я к ней и не стремился в это мое посещение опереточного Вавилона.

Кстати, Будапешт той поры ни в коем случае не был лишь злачным местом, он мог предложить удовольствия и развлечения совсем иного рода. Диктатура Хорти — в принципе и по своей сути точно так же враждебная духовности, как и всякий другой фашистский режим, — выказала при «унификации», сиречь угнетении интеллектуальной жизни, все же не такую убийственную последовательность и предусмотрительность, с какой, скажем, приступило к делу гитлеровское государство. В Венгрии 1937 года мог все-таки до некоторой степени безмятежно жить такой либерально настроенный гуманист и космополит, как барон Людвиг Хатвани, и даже, с некоторой осторожностью, заниматься литературой. Его положение, очень похожее на то, в котором столь долго пребывал Бенедетто Кроче в Италии Муссолини, разумеется, оставалось беспокойно-щекотливым и в любое время могло стать угрожающим.

Хатвани знал фашистские методы юстиции. Пламенный патриот, при всем вольтерьянском скептицизме и интернациональной устремленности, он нашел ссылку — сравнительно комфортабельную, безбедную ссылку в предгитлеровской Европе — невыносимой и добровольно вернулся на родину, заставив перед тем венгерскую сторону торжественно гарантировать полную безопасность такого шага. Гарантия или нет, Хатвани был арестован, едва ступив на возлюбленную мадьярскую землю. Вероятно, он бы и остался до конца своей жизни за решеткой, если бы за него энергично не вступилось тогда еще чуткое и влиятельное общественное мнение в Германии, Франции, Австрии и других странах. Протесты иностранных знаменитостей произвели впечатление: Хорти и его банда проявили умеренность и удовлетворились частичной конфискацией хатваниевского состояния; ограбленный, но еще не бедный барон был отпущен из-под ареста.

Я был его гостем во время моего будапештского пребывания. В элегантно-скромном дворце, где он обитал, в старой Буде, было оживленно и людно; некая интеллектуальная и общественная

деятельность, которая благодаря известному налету тайно-конспиративного становилась еще более пикантной, но и слегка призрачной. Очень молодая супруга политически подозрительного вельможи тоже происходила из очень скомпрометировавшего себя дома: ее отец, депутат от социалистов, был убит «белыми» террористами. Одна из прежних спутниц жизни не один раз женатого, вообще очень неравнодушного к женской прелести барона — моя старая подруга Криста Хатвани-Винслоу — не угодила своей популярной антимилитаристской, антипрусской пьесой «Девушка в униформе», что, однако, не препятствовало чете Хатвани и дальше сердечно принимать ее у себя. В этом внешне столь респектабельном, роскошном обрамлении встречался сплошь подозрительный люд; строптивый сброд, потенциальное или активное résistance [203]. За ужином разговаривали о погоде: хотя дворецкий и считался достойным доверия, но осторожность все-таки рекомендовалась. После еды в курительном салоне маски сбрасывались и нашептывалось еретическое; заговорщики среди своих, бунтовщики в элегантных вечерних костюмах, некий изолированный отрядик стойких, хотя и несколько напуганных борцов за свободу.

«Внутренняя эмиграция» — в доме моего друга Хатвани я ощутил, что подобное существует. Там люди находились в оазисе свободы духа и сопротивления, посреди господства власти тоталитарно-авторитарного государства. Как трогательно! Как импозантно! Маленькая группа безвластных интеллектуалов — писателей и ученых, представителей богемы и аристократов — отважилась составить оппозицию всемогущему режиму. Может быть, ничего при этом и не выходило, кроме сдержанно-рискованного шушуканья в курительном салоне. Но все-таки это было что-то! Шушукались ли так в Германии? Нашлись ли и там они, осторожно отважные, боязливо воинственные враги тирании? «Внутренняя эмиграция», с которой я вошел в соприкосновение в Венгрии и о существовании которой в Италии мне сообщали, имела ли она своих представителей в недоступной зоне, потерянном отечестве?

Впрочем, дворец Хатвани отнюдь не был лишь местом встреч мадьярских конспираторов; собирался там и безобидно-светский народ отовсюду. Для меня важнейшим и милейшим знакомством, которым я обязан этому гостеприимному дому, является знакомство с одним молодым американцем ирландского происхождения: Томас Квин Кертис — тогда еще двадцатилетний — с тех пор стал известен в своей стране как писатель, особенно как театральный критик. Ко времени нашей встречи интерес его

лежал прежде всего в области экспериментально-авангардистского кино. С этой сферой он вступил в контакт в Москве, будучи учеником и ассистентом великого Сергея Эйзенштейна. Еще больше, чем Эйзенштейном, он восхищался австрийско-американским режиссером и характерным актером Эрихом фон Штрогеймом. Кертис мечтал о том, чтобы поставить в Будапеште гротескный фильм à la Штрогейм, своего рода пародию на оперетту, насыщенный сатирой, иронией и психоаналитическим смыслом.

Новый друг напоминал мне другого, которого я потерял. Смелый изгиб этих бровей и глаза, по-детски расширенные, распахнутые, словно в постоянной панике или устойчивом восторге, — все это я встретил не в первый раз. Я знал форму этих скул, эти непослушные волосы; эти мягкие, толстые губы, которые понуждала к поразительно живому движению порывистая, прямо-таки отчаянная потребность высказаться. Точно так же или по крайней мере очень похоже смотрел на меня и говорил со мной тот первый, настоящий Рене Кревель.

Жизнь состоит из сплошных странностей! Чем дольше я познаю ее, тем таинственнее она становится для меня. Конечно, неожиданности, новшества едва ли еще встречаются в мои годы; приключения повторяются, в другой плоскости, под новыми знаками; все в конце концов сводится к вариациям. Но как тривиален все-таки шоковый эффект новизны в сравнении с колдовством остроумно измененного «еще-раз», обремененного воспоминаниями «снова-и-снова»! Психологи говорят, вероятно, о déja-vue[204]-чувстве — термин, который, как мне кажется, позволяет охарактеризовать чуть ли не все существенные впечатления и эмоции времени созревания. Юноша, у которого при виде чуждого ландшафта и в какой-то для него на самом деле небывалой еще ситуации вдруг появляется ощущение, будто он это уже однажды видел и пережил, подвержен, наверное, психически обусловленному обману, или же он догадывается о связях, разумом не улавливаемых. Тем же, кто в действительности (или по крайней мере в сфере, которую мы называем «действительной») уже довольно много пережил и повидал, овладевает при виде иной панорамы или иного лица это «déja-vue» — чувство, не замешанное на болезненном капризе или оккультной интуиции.

И вот ты становишься старше, не совсем молодым, и в один прекрасный день замечаешь, что теперь «все знаешь»; в течение трех десятилетий индивидуум завершает всю гамму переживаний. А потом? Что дальше? Дальше движения нет. Все начинается снова: вся пьеса da capo еще раз, опять снова…

Каждая ступень жизни — это новая вариация предшествовавших.

Так являются снова и ушедшие друзья. Примерно через год после смерти Рикки я познакомился с Ландсхофом, не копией первого, настоящего, но все-таки трогательным образом ему родственным. И теперь, не прошло и полных двух лет после скоропостижного расставания с Рене, появился этот юный Кертис. Я узнал взгляд, голос. Это было свидание.

Разумеется, вариация несет собственные мотивы. Кертис не был Кревелем: менее щедро наделен, менее проклят судьбой, жизнеспособнее, здоровее, чем тот. Рене, когда я встретил его в Париже, уже много страдал, ощущал себя больным и, может быть, уже хотел умереть. Он был старше меня. Восхищавший меня, он мог многому научить, и мужеству отчаяния тоже. По отношению к Кертису мне выпала роль дающего, обучающего. Он был моложе не только по годам, это было дитя молодой, недозревшей, динамичной цивилизации: американской. Мой более долгий жизненный опыт и европейское образование давали мне по сравнению с ним известное преимущество, которое, правда, уравновешивалось его большей жизнестойкостью, его темпераментом, его обаянием.

Мы путешествовали вместе; я показывал ему разнообразные станции моей европейской скитальческой жизни: временный родительский дом в Кюснахте на Цюрихском озере (мне было важно представить моего нового спутника семье); старые граубюнденские крестьянские дома в Силь-Базельи, где наше «швейцарское дитя» — верная, прекрасная Аннемари С. с парой друзей — Гизе, Эрикой — проживала летом; сокровенные каналы Амстердама, несколько парижских улиц, старые излюбленные места на Лазурном берегу: Вильфранш, Канн, Тулон, Санари.

Это было хорошее лето, несмотря на апокалипсическую угрозу, о которой жестоко напоминал любой политический разговор, любое газетное чтение. Странным, парадоксальным образом мы способны быть счастливы и под сенью угрозы. Я был счастлив.

Я ли это был? Рассказ, который я написал в то лето (большую его часть в энгадинерском доме Аннемари), звучит не очень-то задорно. «Зарешеченное окно» повествует о смерти одного человека, или, собственно, о его желании смерти, его бегстве во тьму. Трагическим героем, которого я на этот раз избрал, был король Людвиг II Баварский, не завитой сказочный принц и живописный Лоэнгрин, обожествленный своим народом и почитаемый в стихах парижскими символистами, а заклейменный, потерянный человек, жертва подлого коварства и собственной заносчивости, психопат, мученик, князь страданья,

больше напоминающий позднего Оскара Уайльда, чем вагнеровского полубога: уже несколько подпорченный, уже обезображенный, с плохими зубами и брюзгливыми губами, правда с сохранившимся прекрасным взглядом и все еще очень величественной осанкой. Вот таким я его описал, его воспоминания (причем глянец Лоэнгрина все-таки ретроспективно мог возникнуть), его последние экстазы, его достоинство в гибели, его ясновидение в паранойном помрачении.

Если это и не задорная история, то все-таки диковинный выбор материала представляется мне в известной мере дерзко вызывающим, недалеким от шалости. Ибо что-то диковинное все же есть в том, что автор, который сознает и уважает свою морально-политическую обязанность, совершает вдруг подобную выходку, веселенький экскурс в меланхолически-эстетическое, в дорогую, старую, интимно-болезненную страну сказок. Escapisme[205], суровейшее слово, которым, может быть, слишком часто оперирует пуритански-прогрессивная англосаксонская литературная критика, на сей раз представляется действительно уместным. «Зарешеченное окно» означает фактически морально сомнительную (пусть даже, как мне кажется, художественно не лишенную прелести) попытку прогулять урок.

Что же вдохновило меня на мой задорно-унылый маленький риск? Счастье, мимолетнейшая из иллюзий, которая, однако, все-таки реальна, это единственная реальность, именно пока она длится.

Вдохновленная счастьем новелла о смерти несчастного короля посвящена моему другу Томасу Квину Кертису.

Впрочем, то, что я себе позволил, было лишь кратким отпуском. За каникулярным летом последовал осенне-зимний сезон, полный напряженнейшего труда. В сентябре мой путь лежал назад в Америку, где мой дельный импресарио устроил для меня неожиданно продолжительное лекционное турне. Я говорил о Германии: немецкой опасности, немецкой трагедии, немецкой загадке, немецком будущем. Иногда речь моя была сухим изложением фактов, иногда аналитическим комментарием или риторическим манифестом; опять-таки при других обстоятельствах я перемешивал свой мрачный материал с лично-анекдотичным и преподносил кусок современной истории как рассказ о пережитом, как personal history: «Как это видел я… Как это пережили мы…»

Это имело успех. Чем личностнее, тем лучше! В моем докладе «Семья против диктатуры» были веселые, вдобавок сентиментальные места, благодаря которым слегка растроганные,

слегка развлеченные слушатели мне кое-что прощали, даже серьезность моего предостережения. Во многих городах и городках между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, между Беверли-Хиллз и Бруклином хотели что-нибудь услышать об этой уютной и воинственной German family [206], которая все-таки вступила, забавно-отважным, несколько сумасбродным образом, в неравную борьбу со злой сильной диктатурой. Я пел свою «семейную» арию перед дельцами в Балтиморе, «утопистами» в Чикаго, «лосями» в Каламазу (бывает и такое!); дамы Сан-Франциско были столь же захвачены и растроганы моим рассказом, как и студенты Огайского университета, утонченные юные девицы из «колледжа Смита» и интересующиеся политикой негры из нью-йоркского Гарлема. Могу похвастать, что убедил почтенных лиц города Ричмонда в штате Вирджиния в гнусности Гитлера, тогда как евреям Филадельфии, Детройта, Канзас-Сити и других центров лишь подтвердил то, что им уже было известно: антисемитизм несет не благодать, а сплошные zores [207], trouble [208] и неприятности. (При этом я, конечно, добавлял, что абсолютная подлость нацистов не является частным следствием их антисемитизма; скорее можно, я охотно подчеркивал это как раз в еврейской среде, понимать антисемитизм как одно из последствий и проявлений этой абсолютной подлости, которая, кстати, во всех без исключения формах своего проявления остается одинаково dégoûtant[209] и одинаково опасной.)

Образ жизни лектора имеет свои прелести, но и свои теневые стороны. Конечно, разъезжаешь, видишь страну и людей, чему-то учишься; часто это занимательно. Но часто и нет! Монотонное беспокойство может действовать парализующе. Движение ли это? Это кажется застоем. Ничто не меняется. Всегда, всюду одни и те же реакции, голоса, лица, фразы! Пульмановский вагон, доставляющий тебя из Сиэтла в Денвер, мог бы везти тебя из Омахи в Цинциннати — тот же запах, тот же шум, тот же старый господин, который хотел бы с тобой поболтать, тот же негр, который стелет тебе постель и чистит щеткой пальто. Отель в Бостоне похож на отель в Вашингтоне. На обед в Филадельфии тебе опять подают жесткую курятину с очень крупным, слишком зеленым горошком, какую ты оставил нетронутой на ленче в Ньюарке. (После этого бывает яблочный пирог с сыром или яблочный пирог с ванильным мороженым, последнее называется Apple Pie à la mode.) Жизнерадостный м-р Л. Б. Смит, который фигурирует в качестве chairman [210] на твоей лекции в Солт-Лейк-Сити, наверняка родственник, во всяком случае двойник жизнерадостного м-ра Р. П. Брауна, который представлял тебя публике в Буффало (или это было в Джоплине?). Ухоженные

седые волосы, пенсне, румяный цвет лица, галстук с фантазией, акцент, жест, улыбка — все у обоих общее, кстати, оба, конечно же, в родстве с м-ром Бруксом из Литл-Рока: тот говорил точно так же, точно так же выглядел. Брукс и Браун выговаривали мое имя, разумеется, беззастенчиво по-американски: «Ladies and gentlemen! It is my privilege to introduce to you Mr. Kloos Mähn, the distinguished son of a distinguished father…»[211] Смит же представлял меня оригинальным образом как мистера Клааса Муна, что он считал «германским произношением»…

Так прошла для меня зима 1937–1938 годов.

Становишься старше, выглядишь уже не совсем молодым, и глядь — время ускоряется. Год — раньше это было все-таки великое дело! А теперь? Едва начавшись, он уже прошел. Так, значит, взрослые правы…

Взрослые предупреждали ребенка, которому казались необозримыми три недели, два месяца. «Погоди только! — говорили взрослые с серьезной миной. — Заметь! Чем становишься старше, тем быстрее проходит время. Все скорее — заметь! — все стремительнее дело идет к могиле…»

Болтовня взрослых, важные речи, пожмешь плечами, ухмыльнешься за спиной гувернантки, бабушки, господина старшего учителя. И вот — какая неожиданность! — выясняется, что взрослые в виде исключения не солгали. Чем старше становишься — это правда, я подтверждаю это, — тем быстрее проходит время: к могиле, все поспешнее, все несущественнее.

Если бы жили лучше, в большем согласии с матерью-вселенной, может быть, для нас дни, времена года были бы прочнее, солиднее, *действительнее.* «О блаженство *маленькой твари* — всегда *остающейся* в лоне, которое выносило его…» Больше, чем кто-либо другой, об этом счастье растительной приспособленности, о потерянном рае «чистого пространства», «в котором бесконечно всходят цветы» и которому все еще принадлежит комар, «*маленькая*» тварь, знал Райнер Мария Рильке, чья поздняя философская лирика так часто служила мне утешением и советом. Но уже птица — трагически-сознательное, проблематично-независимое создание, почти Гамлет в сравнении с блаженно упорядоченной розой — не имеет больше полного покоя, только «полубезопасность». А мы?

Но мы лишь созерцать обречены
И видеть все,
Но видеть безучастно!
Мир полнит нас.

Мы всё приводим в строй.
Всё рушится. И рушимся мы сами.

(Перевод Г. Ратгауза)

Мы всё приводим в строй каждый на свой лад, по своему заказу. Я вынужден писать. Может быть, я лучше бы рисовал или выращивал тюльпаны; но выбора нет. Впрочем, можно сказать, что литературная форма «упорядочивания» не более бессмысленна и не менее необходима, чем любая другая. Манускрипт, который я усердно выстукиваю на машинке, пожелтеет, поблекнет, распадется; но что станется со статуей, цветочной клумбой, самолетом, собором?

Обреченный на тщетный труд, «на напрасно», я исполняю свою службу за пишущей машинкой. Страницы заполняются черными значками, выдвижной ящик заполняется отпечатанными страницами. Роман предназначен для обветшания, он еще менее прочен, чем собор из рассыпчатого камня, ломкий пропеллер или требующая ухода, находящаяся под угрозой сорняка и непогоды садовая дорожка. Моя книга, пока она здесь, называется «Вулкан: роман из жизни эмигрантов».

Ссылка тянулась долго, дольше, чем ожидалось или считалось возможным. Каким-то образом она в скором времени придет к завершению; либо немецкий народ совершит революцию (надежда, с которой мы упрямо не хотели все еще расставаться), либо Гитлер начнет войну. Апокалипсическое громыхание все приближается; знаки множатся. В Испании борются, *наша* борьба: относительно честные, устремленные в будущее и пробудившиеся против абсолютно дремучих, совершенно злых. Это пролог к трагедии рока, которой скоро суждено разыграться. Или в Испании уже играют первый акт?

В любом случае время торопит; оно мчится с такой скоростью, когда становишься старше и, кстати, когда живешь в постоянном ожидании. Лишенный родины, вырванный с корнем, он всегда ждет — чуда возвращения? катастрофы? — воспринимая, вероятно, свое бытие как некое временное состояние; годы ожидания не имеют для него никакого веса, он полностью не приемлет их. И тем не менее как много оно весит, как полнится оно пережитым, это кажущееся слишком легким, неприемлемое полностью время! Избыток впечатлений и проблем требует упорядочения, прежде чем мы сами распадемся.

Я сижу в комнате нью-йоркского отеля и стараюсь облечь в эпическую форму путаное, богатое событиями, тусклое существование в ссылке. Памятное и почудившееся, мечта и

мысль, благоразумие и чувство, инстинкт смерти, сладострастие и борьба (борьба, физическое насилие, убийство и жертва как парадоксально-отчаянное последствие морального решения), музыка и диалектика, невроз отторженности, ностальгия как заложник и стимулятор, дружеские лица и любимые голоса, ландшафты моей жизни (Париж, Прага, Цюрих, Амстердам, Энгадин, Нью-Йорк, остров Мальорка, Вена, Лазурный берег), рожа гнусности, ореол жалости (почему нет ангелов, когда есть черт?), многие формы бегства, escapisme (смертельный бальзам опия! экстаз и мука недуга!), многие формы героизма (Испания! А разве не известны примеры героизма в третьем рейхе?), встречи, прощания, страхи, одиночество, объятия и зачатие, рождение ребенка, и снова борьба, и снова прощание, снова одиночество, пафос «напрасно», решение «несмотря на» — все это надо было облечь в художественную форму, вплести в словесный ковер. Целому надо было придать мрачно-блеклый цвет опасности, добавить немного сернистого запаха приближающихся головней, фосфоресцирующей ауры рока.

Многоликая картина! Честолюбивый замысел! Это станет самой объемистой моей работой и моей лучшей, как я обещал сам себе. Писал я со рвением, правда и с сомнением тоже. «Для кого я пишу?» Вопрос для меня всегда оставался актуальным. Эту хронику многих заблуждений и странствований — кто станет читать ее? Кто проявит сочувствие? Где сообщество, к которому я мог бы обратиться?.. Идет ли наш зов в неведомое или низвергается совсем в пустоту? Эхо отсутствует? Чего-то вроде эха мы все-таки ожидаем, пусть даже и невнятного, отдаленного. Ведь не может оно остаться совершенно немым там, где зовут столь пылко.

Оно оставалось немо — или по крайней мере почти. Моя самая объемная работа, может быть моя лучшая — «Вулкан: роман из жизни эмигрантов», — появилась летом 1939 года, за несколько недель до начала второй мировой войны. Извержение настоящего вулкана заглушило мою весть. Кто услышал ее? (Среди немногих отзывов на эту книгу, которые я храню, есть для меня самое драгоценное и прекрасное — письмо моего отца. Кто еще ее услышит?)

«Для кого я пишу?» На сей раз вздыхаю не я или я вздыхаю все же чужим дыханием. Один из персонажей моего романа, молодой эмигрант Мартин Корелла, размышляет над романом об эмигрантах, который я заставлю его писать и который он, впрочем, никогда не закончит. В комнате тихо. Возлюбленный, его зовут Кикью, спит: после долгих разговоров и ласк без конца у него наконец все же сомкнулись глаза. Уже рассеивается мрак за

большим окном мастерской. Темнота блекнет, бледнеет, светло-серые тона смешиваются в тени; новый день, наверное, скоро наступит. Час рассвета — лучший час Мартина. Он пишет;

«Для кого я пишу? Всегда писатели озабоченно думали об этом. И если они этого и не знали, все равно высокомерно и смиренно, гордо и безнадежно утверждали: для грядущих поколений! Не вам, современникам, принадлежит наше слово; оно принадлежит будущему, еще не рожденным поколениям.

Ах, но что знают о грядущих поколениях? Какими будут их игры, их заботы? Как чужды они нам! Мы не знаем, что они будут любить, что ненавидеть. Несмотря на это, обращаться мы должны именно к ним.

Горизонты нашего бытия омрачены. Плотно сгустившиеся тучи уже давно возвещают грозу. Это может стать ни с чем не сравнимой грозой. Катастрофы, однако, не продолжительное состояние. Небеса, которые мы видим сегодня так глубоко затененными, снова, вероятно, прояснятся. Будем ли мы, кто теперь борется и страдает, еще озарены этим новым светом?

В пути другие, товарищи помоложе, младшие братья — мы уже слышим их легкий шаг. Подумаем об этих, когда утомимся! Полюбим еще безымянных! Их чело еще чисто невинностью, которую мы давно потеряли. Наши юные братья не должны стать виновными, как наши отцы и мы. Они должны развиваться свободнее и быть лучше и красивее, смелее и благочестивее, умнее и мягче, чем это было позволено нам.

Улыбка мимолетной, рассеянной благодарности, с которой товарищи помоложе, может быть, вспомнят о нас, должна быть достаточной наградой. Когда-нибудь они, кого мы так охотно себе представляем счастливее себя, наткнутся на следы, свидетельствующие о наших страданиях и битвах — тех страданиях и битвах, которые нас сегодня целиком захватили, о важности и горечи которых у тех мальчиков, однако, будет весьма отдаленное представление. Тогда прервут они на краткое время свои игры и свои труды. На несколько трогательных секунд задумчивость омрачит их чело, подобно облаку, которое быстро исчезает. Они полистают, не без сочувствия и, быть может, не без внимания, эту хронику скитаний и сомнений. Потом у них, вероятно, возникнет догадка о том, сколько нам пришлось грешить и каяться, бороться, страдать, — и мы не забыты».

Ни одна из других моих книг не занимала меня так долго, как «Вулкан»; работа, начатая осенью 1937 года, была доведена до конца лишь спустя полтора года, весной 1939-го. Разумеется, существовали различные побочные обязанности, не только

лекции и статьи, но и более крупные отвлечения. «Хотон Мифлин компани» в Бостоне — одно из виднейших американских издательств заказало нам с Эрикой книгу по возможности более объемную, более информативную о представителях искусства, науки и политики немецкой эмиграции, своего рода «Кто есть кто в ссылке»: очерк жизни, черты характера с интимно-занятными подробностями, а также и критику или по крайней мере оценивающий анализ. Получился весьма солидный том с несколько эвфемистическим названием «Escape to Life»[212], в 375 страниц, богато иллюстрированный, роскошно оформленный; впрочем, пользующийся порядочным успехом. Первая фотография запечатлела профессора Эйнштейна в белом льняном костюме на Observation Roof [213]Рокфеллеровского центра. Тут же напротив на титульном листе стоит в качестве эпиграфа фраза Дороти Томпсон: «Practically everybody who in world opinion had stood for what was currently called German culture prior to 1933 is now a refugee»[214].

Тех, о ком нам следовало рассказать, было много: романисты, поэты и драматурги, композиторы и виртуозы исполнители, художники и медики, философы и физики, актеры, певцы, режиссеры, журналисты, бывшие рейхсканцлеры, бывшие министры.

Рекламная аннотация, которой «Хотон Мифлин компани» украсила наш компендиум, наверное, не преувеличивала, обещая читателю: историю Альберта Эйнштейна и Томаса Манна; Брюнинга, Макса Рейнгардта, Арнольда Шёнберга и Эрнста Толлера; Георга Гроса, Лотты Леманн, Луизы Райнер, Бруно Франка и Лиона Фейхтвангера; Альберта Бассерманна, Зигмунда Фрейда, Стефана и Арнольда Цвейгов, Бруно Вальтера, Элизабет Бергнер и Ремарка. Не говоря уже о многих других.

Многие другие… Некоторые из них еще находились в Швейцарии, Голландии, во Франции, Англии, Скандинавии, в подвергающейся угрозе Чехословакии, даже в фашистских странах, как Италия, Венгрия, Португалия. Но чем более острой становилась ситуация в Европе, тем больше изгнанников, знаменитых и незнаменитых, устремлялось в Америку. На рубеже 1937–1938 годов важнейшим центром лишенной гражданства немецкой «интеллигенции» был уже Нью-Йорк.

В отеле «Бедфорд», расположенном в самом центре, на сравнительно тихой Сороковой улице, между деловой Лексингтон и фешенебельной Парк-авеню, полным-полно было товарищей по несчастью, почти как раньше в известных кафе Цюриха и Парижа. Мы с Эрикой принадлежали к завсегдатаям «Бедфорда». В то время как мы в своей комнате корпели над «Бегством в жизнь»,

описываемые в книге персоны, или по крайней мере некоторые из них, встречались внизу в баре на коктейле.

Кто присутствует на нем? Наш друг Мартин Гумперт{269} — врач, поэт, биограф, рассказчик; очень спокойный человек с круглой физиономией Будды, маленьким ртом и темными волевыми глазами. Во взгляде чувствовалась страстность, обычно скрытая за стоическим фасадом. Именно поэтому спокойствие производит столь убедительное впечатление: оно представляет собой обузданный темперамент, дисциплинированный огонь, не апатию или холодность. Характерная невозмутимость поэта-врача, которого не запугать, вскоре была увековечена, не самим Гумпертом, а автором тетралогии «Иосиф и его братья», в последнем томе которой черты нашего доброго друга носит достойно-доброжелательная фигура по имени Маи-Сахме. Что касается его собственной продукции, то и здесь казался, пожалуй, доминирующим элемент доброжелательно-достойного благоразумия и гуманной умеренности. Между тем в этом произведении имеются мгновения гордого полета, моменты подлинного вдохновения и пылкой взволнованности… Скрытый пыл слишком уж спокойного человека иногда может становиться пламенем, словом, художественно очищенным. В некоторых стихах и, еще более впечатляюще, в первом романе пятидесятилетнего писателя «День рождения» есть блеск.

Уже пятьдесят? Вот опять это безответственно-нетерпеливое высказывание, которое совсем не к лицу хроникеру, особенно когда речь идет об отнюдь не дерзко взмывающей, но скорее о спокойно шагающей фигуре, как Мартин Гумперт. Ко времени «Бедфорда» ему сорок и, между прочим, он только что прибыл в Нью-Йорк; на свой спокойный манер он будет на протяжении десяти лет осматриваться в великом городе, прежде чем с интимной нежностью знатока сможет описать его в «Дне рождения». Еще почти молодой или средних лет мужчина хочет на первых порах в новой стране устроиться практикующим врачом. Начать сначала; в середине жизни это будет нелегко, сознает этот сорокалетний, не пугаясь. Иллюзий у него нет, только надежда — надежда на Америку.

Другие более нервозны, но зато не менее предприимчивы. Курт Рисс, в до-гитлеровском Берлине спортивный репортер, пишет теперь по-французски для «Пари суар», он будет также писать еще и по-английски или, более того, по-американски о боксерах, кинозвездах, гангстерах, генералах, шпионах, наркотиках, высокой политике и любовной жизни Гитлера. «Я безусловно стану великим, уж будьте уверены!» Возражения, которого он, кажется, ожидает, не следует. Никто не сомневается

в том, что он сделает карьеру. Но будет ли успех велик так, как того требует этот голодный, почти дикий взгляд? Курт расхаживает по комнате взад и вперед, по-петушиному горделивый, как если бы он уже победил, однако же суетливой походкой: преследуемый, который только еще в бесцельном беге находит своего рода сомнительную безопасность и нечто вроде успокоения.

«Очень ли трудно здесь пробиться?» Это спрашивает другой, тоже «новенький», Билли Уайлдер кажется. Этот журналист-эмигрант добьется в Голливуде отличных результатов как сценарист, режиссер, продюсер и заработает много денег; такое развитие, однако, в данный момент едва ли предвидится. Еще не признанный Билли производит впечатление скорее озабоченного. «Конечно, это достаточно трудно!» Он вздыхает и ждет утешения.

Участие, которого он — и не он один! — жаждет, приходит от милосердной, умной женщины, она, единственная из здешнего круга, уже давно в Америке как дома и знает, о чем говорит, утверждая: «Тут не труднее, чем где бы то ни было! Помучиться надо всюду!» Викки Баум помучилась и пробилась. Она американка, свои книги уже совсем хорошо пишет на языке новой родины. Пришло бы такое время! Несколько растерянные «люди в отеле» (дом 118 по 40-й Ист-стрит) охотно позволяют дать совет и ободрить себя той, которая, собственно, больше не принадлежит к этому кругу. Фрау Викки, редкий гость из Калифорнии, где она солидно устроилась со своим супругом-музыкантом и двумя воспитанными по-американски сыновьями, авторитетна и очаровательна, дружественна и многоопытна. Мы внимаем ей с уважением и благодарностью.

Даже Рольф Нюрнберг — критический ум чопорной неудовлетворенности, воспитанный на Карле Краусе, — кажется, под впечатлением. Он ухмыляется, кивает, потирает руки: присущий ему забавно-проворный жест, которым он имеет привычку выражать одобрение, как другие громким рукоплесканием. Рольф, в сказочные доисторические времена мой коллега по берлинскому «Цвельфур-миттагсблатт», сейчас без постоянного места, однако постоянно усерден и возбужден. Он знает многое, хотел бы знать все. Его чрезмерное любопытство — прежде всего оно! — делает его мне симпатичным. Ябеда и эрудит, он одновременно является и ходячей энциклопедией, и chronique scan-daleuse [215] немецкой эмиграции на пяти континентах. У нашей же Викки, светски искушенной, благожелательно гуманной, есть чему поучиться даже человеку с обширными и разносторонними знаниями; потому-то Рольф и хихикает от возбуждения и, пригнув голову и приподняв плечи,

складывает руки для негромких, быстреньких аплодисментов.

Другой член Бедфордова братства, принц Губертус Фридрих Левенштейнский, выражает свое полное удовлетворение в более достойной форме; хихикать и потирать руки ему не пристало. Принц придает значение манере держать себя. У него кроткие глаза властителя и великолепно уложенный жиденький шелк волос над розовым выпуклым лбом. Его идеал — Стефан Георге, что меня искренне умиляет, но и раздражает, ибо досадно, когда наивный энтузиазм безоглядно продолжает любить там, где собственное чувство (разве оно не было любовью?) давно стало таким мучительно противоречивым. В романтически-консервативном, подчеркнуто *немецком* воспитании принца было вообще предостаточно неприятных черт, которые позднее, во время войны, провоцирующе выявятся. А вот году в 1940-м между нами дойдет и до разрыва; первое время мы еще работали вместе, даже довольно плодотворно. Губертус целеустремлен, вынослив, ловок и распорядителен, благодаря своему прекрасному титулу и своей грациозно-имперской личности обладает влиятельными связями. Как основатель и генеральный директор Американской ассоциации за свободу немецкой культуры — организации, способствовавшей развитию свободного немецкого духа, под патронатом выдающихся американцев, — он занимал внутри эмигрантской иерархии значительное положение. В разнообразной деятельности этой группы участвуют фактически почти все, кто имеет ранг и имя в наших кругах. А их много! И становится все больше…

Список членов ассоциации постоянно растет; круг лиц, описываемых нами в «Бегстве в жизнь», постоянно расширяется: из Австрии должно прийти новое пополнение, новые жертвы, новые беженцы… Немецкие войска маршируют на Вену. Шушниг капитулирует. Упругий, могущественный третий рейх с веселой жадностью заглатывает дряхлое, усталое маленькое соседнее государство. Триумфатором возвращается Гитлер в страну, из которой некогда был выдворен как паршивый негодник. Разве не так это должно было произойти? Массовые аресты, самоубийства, казни, оргия погрома, пронзительный шум пропагандистской лжи, крики пытаемых, ликование (да, садистски исцарапанная, опьяненная Геббельсовой болтовней и кровавым смрадом чернь в преступнейшей тупости торжествует!), даже еще пассивная реакция «мира», трусливая летаргия западных демократов — все относится сюда, наваждение в целом протекает планомерно. Несмотря на это, событие остается каким-то невероятным.

Разве мы не знали, что Австрия падет? И все-таки теперь как обухом по голове! Очень похожа наша реакция, когда умирает

дорогой человек после продолжительной агонии от той именно болезни, совершенно неизлечимый характер которой нам уже давно был известен. В нашу скорбь примешивается какой-то ужас, чувство вины. Когда мы говорим: «Он умирает!», то все же не верим, что он *действительно* умрет. Напротив, тайный смысл нашего пророчества — задержать «неизбежное». Мы говорим: «Это происходит», — с тем чтобы этого не произошло. В глубине души мы полагались на то, что Бог опровергнет наш пессимизм, доведет наше Кассандрово изречение ad absurdum[216]. Оказаться правым там, где хотел ошибиться, какой удар.

В судовой газете французского парохода «Иль-де-Франс» (опять-таки по пути в вулканически заминированный Старый Свет) я читаю об ужасном паломничестве, которое австрийскому бундесканцлеру пришлось предпринять в Берхтесгаден{270}. Я был ошеломлен. Как, то невероятное, которое в целях сдерживания называли «неизбежным», должно стать событием? Судьба действует всерьез, ловит нас на слове, подтверждает наше предчувствие? Абсурд! Невозможно! Нет, этого не может быть…

Это может быть. Это случилось в ночь с 10 на 11 марта 1938 года. На нашем столе в «Кафе де флор» — кипы газет. Ужасающую весть я обсуждаю с английскими друзьями: это мой дорогой, темпераментный Брайен Говард, Нэнси Кьюнард (эксцентричная, в обывательском смысле почти одиозная наследница знаменитой Кьюнард Лайн), молодой романист и критик Джеймс Стерн (тесно связанный с кругом Ишервуд — Оден— Спендер), рассудительная и сердечная Сибилла Бедфорд, бывшая Сибилла фон Шенебек (немецкого происхождения, но с годами совершенно «англизировавшаяся»), и другие. Брайен трепещет, лихорадочно возбужденный. Он знает Германию, жил в Австрии; он ненавидит Гитлера — в отличие от большинства своих соотечественников, которые либо вообще ничего не знают о национал-социализме, либо воспринимают его как bulwark against Communism[217]. Даже радикалы типа Нэнси Кьюнард, кажется, едва ли осознают «немецкую опасность». Нэнси интересуется проблемой американских негров, это ее хобби, ее специализация. О чем она думает теперь? О трущобах Гарлема? О суде Линча в «глубинке Юга» США? Во всяком случае, не о Вене. Ее равнодушие действует Брайену на нервы. «Now, really, — набрасывается он на нее. — It makes me *rather* impatient, my dear, to watch you eat this horrible Welsh Rarebit, while our friends in Vienna…»[218] И вдруг очень тихо, подавшись вперед и с торжественно застывшим выражением лица, потрясенный, подавленный внезапным открытием: «This means war, my dear!»[219]

Война? Еще нет! Мистер Чемберлен, месье Бонне, Английский банк, господа с Уолл-стрит, миллионеры Франции, Ватикан, Генри Форд, леди Астор, «Таймс оф Лондон», «оксфордское движение», близорукие пацифисты и реакционные интриганы — все желали мира с гитлеровским рейхом. Мир хочет мира.

Мир? Уже нет! В Испании воюют. Пролог ли или первый акт — это начало. *Incipit tragoedia* [220].

Мы с Эрикой едем в Испанию, не партизанами, а наблюдателями и корреспондентами. Первый контакт с реальностью современной войны! Вымершие деревни; проезжие дороги, забитые беженцами и танками, закамуфлированный лимузин офицера генерального штаба, убитая лошадь на обочине — лопнувшее брюхо, застывшие глаза жутко оживлены от кишащих паразитов; импровизированная ставка — хлев с телефоном, картой страны, биноклем, кофеваркой, окурками сигарет; голодные дети, гневные старые крестьяне, прожекторы; световые сигналы, затемненный вокзал, черный бульвар, ночной авианалет (технически еще несовершенный, но многообещающий), трескотня пулеметов, радиопрограмма с победными сводками и бодрой маршевой музыкой, яркие плакаты на обугленной стене — все это станет для нас в течение последующих лет привычными буднями, теперь же мы переживали это впервые.

Мы видим Барселону, позиции на Эбро, Валенсию. Мы видим Мадрид — уже почти легендарный символ сопротивления. Мадрид голодает. Мадрид кровоточит. Мадрид — почти два года осажденная крепость — кажется одновременно мрачным и просветленным в непреклонном величии своего героизма. Мадрид не поддавался. NO PASARAN![221] Девиз лоялистов стал категорическим императивом всего населения города. NO PASARAN! Досюда и не далее! Враг близок, буквально у ворот; штаб в университетском городке, на окраине столицы, остается удобнейшей целью для артиллерии мятежного генерала. Уже два года Франко, наемник Гитлера и Муссолини, приказывает своим арабо-итальяно-немецким наемникам: «Мадрид должен пасть!»

Мадрид не пал. Мадрид выстоял. Мадрид тверд и горд! Мадрид — скала.

Лоялисты верят, что победят. «Дело, за которое мы боремся, правое, — говорят лоялисты. — Отсюда наша сила. Трудящиеся массы всего мира с нами в этой борьбе».

Мы говорим с Хуаном Негрином и его министром иностранных дел Вальваресом дель Вайо. «Разумеется, — говорит министр, умный, добрый человек, с которым у нас завязывается

дружба, — разумеется, повсюду есть силы, не только в Риме и Берлине, которые хотят нам зла, которые желают нашего поражения и хлопочут о нем. Но реакционные клики недооценивают нашу решимость. У Франко нет шансов. NO PASARÁN!»

Мы разговариваем с солдатами, рабочими, домохозяйками, литераторами. Они верят в победу. Мы говорим с людьми из Интернациональной бригады, среди которых достаточно старых знакомых. Командир бригады Людвиг Ренн, очень высокий, очень худой, очень аристократичный, написал знаменитый роман против войны, теперь же он опять борется: выбора не остается. «Вы победите?» Ренн, который часто смеется, становится серьезным, когда мы задаем ему этот вопрос. «Победить? Мы *должны!* Ради дела!»

Генерал Юлиус Дейч{271} тоже не сомневается. Австрийский социалист видел триумф фашизма на своей родине. Этого нельзя допустить еще раз. Испания борется. «Неужели все это напрасно?» — спрашивает генерал. Его по-граждански мягкое выражение лица кажется вдруг жестким, посуровевшим. Он указывает на разрушенную деревню, беженцев, убитую лошадь, на колонну молодых солдат, марширующих мимо. «Это не напрасно!»

«Напрасно? Тщетно? Об этом не думают!» Этот — тоже интеллектуал, маскирующийся — ради дела! — под солдата. Его называют «полковник Ганс», его гражданское имя Ганс Кале. Под его началом дивизия сражается на Эбро. Он считается способным стратегом; скоро его повысят в чине до генерала. Палатка, которую мы делили с ним несколько дней, располагается недалеко от разрушенного города Тортоса. Неплохая картина! Нежный персидский ковер украшает стену, здесь есть граммофон, трофей из развалин Тортоса. Вечером мы сидим вокруг аппарата, в темноте; оливковая роща, в которой мы скрываемся, ни единым лучиком не должна привлечь к себе внимание врага. В черной мягкой ночи — палатка открыта, снаружи на легком ветру колышется листва — мы вслушиваемся в резкий, поставленный, металлически ясный голос немецкого певца (его зовут Эрнст Буш), который очень эффектно, очень искусно исполняет песни Интернациональной бригады. «Родина далека — но мы все же готовы! — возглашает металлический голос, задушевно и одновременно чеканяще. — Мы боремся и побеждаем за тебя, *сво-бо-да!»* Последнее слово становится триумфальным кличем, почти дрожащим от воодушевления.

Мы разговариваем с ранеными, с пострадавшими от бомбежек (некоторые пережили ужасы Герники), с подростками, со вдовами, с атеистами и верующими, с неграмотными и

грамотеями. Все утверждают: «Мы победим, потому что мы *должны* победить!»

Мы разговариваем также и с военнопленными, среди них есть немцы. Два саксонских пилота, сбитые недалеко от Барселоны, выказывают подобострастие и общительность. Они тоже верят в победу? Вопрос, кажется, вряд ли их занимает; они дрожат за свою жизнь. «Нас убьют?» Они жмутся к нам, потные, всхлипывают, лепечут. Мы заверяем их: «С вами ничего не случится, вас не расстреляют. Как только кончится война, вас отпустят, вы сможете вернуться домой. Почему, кстати, вы сюда прибыли?» На это новая вспышка сетований. Разве это *их* вина, что они здесь? Долг! Приказ! Дисциплина! Честь мужчины! Воля фюрера, кто спрашивает о причинах? «Я же только маленький человек, никто!» — так говорит тот, что покрупнее, а другой, который в самом деле скорее маленького росточка, ревностно подключается: «Маленький человек — я тоже! Только *совсем* маленький!»

Как часто я еще буду слышать подобное, шесть, семь лет спустя… Всегда одна и та же формула, тот же плаксивый тон! «Я не виноват… Приказ сверху, еще свыше, с самого верха! *Приказ фюрера…»* Тем самым проблема вины исчерпана.

Авторитет, на который ссылаются двое низвергнутых летучих бедолаг, — немецкий фюрер, а за ним ось, мировой фашизм, — становится все могущественней, все агрессивней. Appeasement [222] — это пароль, который должен означать: Гитлер угрожает, Гитлер вымогает, Гитлер диктует — а другие не пикнут.

Испанская республика отклоняет appeasement и становится жертвой. Мадрид, скала сопротивления, должен пасть: приказ фюрера, чьи намерения, впрочем, как раз в этом случае отрадно совпадают с планами международных *haute finance* [223] и Ватикана. Теперь диктатор доволен? У него есть основания; ибо все идет как задумано. Сплошные победы! Сегодня Испания, завтра Чехословакия…

Начало «мюнхенского» кризиса я пережил еще в Европе, конец — в Нью-Йорке. Плохие дни, наихудшие дни эпохи; дни позора, дни боли; не хотелось бы им подобные пережить еще раз.

В Париже, где я провел неделю с 10 по 17 сентября, войны ждали, без воодушевления, но и без паники. Рискнул ли бы Гитлер начать ее тогда? В самом деле, был ли это блеф, или он решился на крайность? Праздный вопрос. Достоверно, что путем капитуляции крайности нельзя было избежать; даже если бы захотели капитулировать окончательно и безоговорочно. Готовы ли были демократы к окончательному выходу в отставку? Могло случиться и такое в тот момент…

М-р Чемберлен, навряд ли инициатор, но исторический образец политики appeasement, казалось, был действительно намерен отдать континент нацистской гегемонии: во-первых, потому, что Англия не была вооружена; во-вторых, быть может прежде всего, потому, что в кругах м-ра Чемберлена гораздо больше ненавидели и боялись русского коммунизма, чем какого-то фашизма. Пусть этот гитлеровский «новый порядок» не совсем такой уж «салонный» в некотором отношении, но разве, несмотря на это, он не может быть полезен как солидный «bulwark against Bolshevism»[224]?

С нацистами против красных! Тот же мотив, что некогда подвигнул господ Гутенберга, фон Папена и сообщников к их фатальному альянсу, имел решающее значение в Лондоне и Париже. Снисходительный премьер-министр с зонтом, портфелем и заячьими зубами действовал лишь как последовательный и лояльный представитель своего класса — пусть и не всей нации, — когда, миролюбиво осклабившись, отправился на самолете в Берхтесгаден. Поначалу не пришли ни к какому соглашению; неуступчивый фюрер требовал больше, чем мог предоставить даже этот в высшей степени услужливый коммивояжер. М-р Чемберлен покинул живописный «Бергхоф» так же внезапно, как и прибыл, с заячьими зубами, портфелем, зонтом и, правда, несколько бледным лицом. Итак, все-таки война?

Я был уже в открытом море, где-то между Саутгемптоном и Нью-Йорком, когда сей неутомимый, непоколебимый джентльмен второй раз «отправился в Каноссу»{272} — совершил полет на этот раз в Годесберг. Состоится ли отвратительная сделка на этот раз? Опять не сладилось. Первый министр ее Британского Величества вынужден был еще раз несолоно хлебавши ретироваться, вряд ли еще раз осклабясь, но с невредимым Parapluie[225].

В день моего прибытия в Нью-Йорк — было это 25 сентября 1938 года — война опять, казалось, вот-вот готова разразиться. В газетах читали о столкновениях между чешскими и немецкими пограничниками. Бенеш, которому можно было пожелать «крепких нервов», склонялся принять поддержку Советского Союза. Гитлер грозился, неистовствовал, орал, размахивал руками. В Париже и Лондоне нервничали, но вели себя с достоинством. Несомненно, Франция вспомнила наконец о своем союзническом долге. Нападение на Чехословакию обойдется фюреру подороже, чем марш на Вену…

Да здравствует Бенеш! Слава Чехословакии! Долой Гитлера! Hitler must fall! [226] Эти призывы исходили от американцев, от десятков тысяч американцев. Mass meeting — демонстрация

внушительных размеров — состоялась на Мэдисон-сквер; я прибыл прямиком из порта как раз вовремя, чтобы услышать Дороти Томпсон и моего отца. Дороти кричала в микрофон, что Гитлер должен пасть, Бенеш же и его страна должны жить. В ответ — гул десятитысячной толпы, ревущий хор стихийной силы. Когда мой отец повторил то же пожелание в более спокойной и более изысканной манере, ураган пронесся еще более яростный. Как *один* человек, масса поднялась со своих сидений — свистя, горланя, топая, махая шапками и платками. «Long live Czechoslovakia! Death to Hitler! Down with the Nazi gang!»[227]

Этого не должно быть — *еще* нет; Чемберлен был против. Мы сидели в отеле «Бедфорд» и думали: вот как далеко зашло… Тут раздался междугородный звонок из Вашингтона. Одна из тех знакомых, которые всегда все знают немного раньше, возбужденно сообщила: «Премьер-министр летит в Мюнхен, с месье Деладье и месье Бонне. Муссолини прибудет тоже. Большая конференция в коричневом доме! Русские, естественно, не приглашены. Это ли не великолепно? Войны нет!»

Войны нет! Чемберлен опять мог осклабиться. Он осрамился в Берхтесгадене и в Годесберге? Из Мюнхена он привез с собой нечто привлекательное — Peace with Honour[228]. И без России, естественно… Peace in our time![229]

Таким образом, следует набраться терпения и ждать конца этого времени! Час Бонне и Чемберлена не может продолжаться вечно. В конце концов народы поймут обман. То, что политики-мироборцы называют «Peace with Honour», есть лишь бесчестное затягивание конфликта, который только теперь — как раз теперь по-настоящему! — стал неизбежным. Мир с Гитлером? Но Гитлер — *это война!* Развитие национал-социализма имеет лишь одно побуждение, лишь эту одну цель: лишь в тотальной войне оправдывает и осуществляет себя это тотальное государство. Воплощенная тяга к разрушению, персонифицированная агрессия в качестве хозяина Европы — и это должно сойти? Какая причудливая затея!

После «Мюнхена» все идет вкривь и вкось и под откос! За «Мюнхеном» грядет пропасть войны, которая именно из-за этой отсрочки, этой предательской распродажи кажется лишенной своего морального смысла, еще не начавшись. После «Мюнхена» грядет пропасть. Желаю крепких нервов! Пропасть грядет. Пропасть! Подождите только…

И вот ждут. Год боязливого ожидания начался.

Год ожидания? Так-то оно так, но совсем буквально этого понимать не следует. Не следят ведь и не слушают беспрерывно:

приближается ли грохот? Он, наверное, гремит уже ужасающе близко. Между тем жизнь, несмотря на это, идет дальше. Жизнь имеет тенденцию продолжаться, покуда она именно продолжается. Пока еще продолжается.

Осенью 1938 года мы переехали в новое жилище в Принстоне, маленьком, но изысканном университетском городке в штате Нью-Джерси, около двух часов езды скорым поездом от Нью-Йорк-Сити. Новым домом была довольно старая вилла внушительных размеров — гораздо просторнее только что покинутой обители на Цюрихском озере. Living room[230] на первом этаже, со стеклянными дверями в сад, напоминала чуть ли не зал: в ней можно было отмечать торжества. Этого не происходило. Многолюдно здесь никогда не было, друзья появлялись поодиночке или маленькими группками: из Нью-Йорка — Мартин Гумперт, У. Х. Оден, Том Кертис; или принстонские соседи, среди них Альберт Эйнштейн с прекрасной серебристой гривой, выпуклым лбом и плутоватым глубоким взглядом. Что за глаза! Он мог бы ничего не говорить — а то, что он говорил, бывало часто незначительным, — и признания ему тоже не требовалось. Глаза, напоминавшие звезды, свидетельствовали о его величии.

Бывал также тут и Эрих фон Калер, преданный друг Волшебника и умный критик. С ним приезжал Герман Брох, австриец, чей роман «Лунатики» считался у англо-американского авангарда шедевром. Новые слушатели присоединялись к старым; в Принстоне, как и в Кюснахте, а до этого в Мюнхене, не было недостатка в понимающей публике. Волшебник читал вслух.

Итак, все же сохранялась преемственность в этот год робкого ожидания. Жизнь шла дальше, а с ней и труд отца. На сей раз он вел нас не в мифически-далекий ландшафт (предпоследний том тетралогии «Иосиф и его братья» был закончен, последний еще не начат); только зарождающаяся, терпеливо сочиняемая история разыгрывалась в относительно близкой среде. Веймар, это знакомо; одно время, которое, правда, тоже уже кажется мифически-далеким, там ведь иногда останавливались. И пусть даже широкоизвестный городок муз ныне отодвинут в недосягаемое и невообразимое прошлое, все-таки в его уютно-возвышенном прошлом чувствуешь себя как дома. Да, было вовсе не трудно с величайшей точностью вообразить дом на Фрауенплане, роскошные помещения для званых торжеств, как и скромные комнатки для сна и работы: на звучный голос рассказчика можно было положиться, он ничего не упускал, каждая деталь была добросовестно отмечена.

Я вспоминаю рождественский вечер (Рождество 1938-го!

Праздник Христа в год ожидания!), когда отец читал нам части из седьмой главы «Лотты в Веймаре». Какой чудный звук вдруг заполнил нашу чересчур просторную, слишком уж помпезную living room в Принстоне, Нью-Джерси! Какая призрачная музыка слова! Какой магический заговор! Говорил Гёте. Гёте мечтал, размышлял, погружался в раздумья. Он сидел перед нами, становясь современным в священно-трезвом свете утреннего часа. Начинался его рабочий день, один из очень многих его, почти неисчислимых, благословенных и тяжелых рабочих дней. Приходили парикмахер, сын, камердинер; он разговаривал с ними; мы слышали, что он говорил, призрачный голос! Он оставался один; мы могли его подслушивать; магическая нескромность разоблачала его тайну. Гёте поверял нам свои заботы, свои догадки, частицы своей мудрости, кое-что из своего счастья. Странная исповедь под зажженной елкой! Мы лакомились американским печеньем, семья без родины, в чужой стране, которая должна стать родиной. А гений утраченной родины, немецкий миф говорил…

Жизнь шла дальше, новый труд отца приближался к завершению. С девяти утра до полудня в рабочей комнате творилась ворожба, это было привычно, и так оно и оставалось в год ожидания. То, чем занималась и что свершала мама Милейн, не только с девяти до двенадцати, но и весь день и каждый день заново, имело, пожалуй, дело с колдовством. Энергия, которая проистекает из любви, сохраняет волшебную силу и выносливость. Она не ослабевает, она кажется неистощимой, эта вдохновленная сердцем, питаемая задушевным чувством энергия. Спутница жизни сложного творческого человека, мать шестерых детей, которые в свою очередь вовсе не так уж просты, сколько практически-деятельного участия, сколько совета и утешения, сколько снисходительности от нее ждали! Ее обязанностям нет числа; бесчисленные жертвы, которые ей приходится приносить. Обязанности и жертвы кажутся ей само собой разумеющимися; «Для этого я и существую!» Она еще и шутит, совершая чудеса. Она, принимающая свою службу слишком серьезно, избегает торжественности; ибо веселость есть часть ее службы. Все только для других, она вряд ли думает о себе самой: «Да и к чему? Я не так важна…» Никакой другой член семьи не был столь невзыскательным. И все-таки этой семьи не было бы без этой женщины и этой матери. Что сталось бы с нами, что было бы со сложным творческим человеком и шестерыми совсем не простыми детьми, если бы неустанная энергия любви не охраняла и не согревала бы маленький кружок?

Впрочем, удивительная Милейн печется отнюдь не только о

ближайших и не только о присутствующих в данный момент. На ее письменном столе громоздятся призывы о помощи от родных и друзей на пяти континентах. Даже Оффи и Офей стали в конечном итоге детьми, требующими забот. Оба престарелые, Офей почти девяностолетний, Оффи немногим моложе, живут все еще в Мюнхене; после лишения гражданства зятя у них в наказание отобрали паспорта. Увидит ли когда-нибудь Милейн дорогую чету стариков? Из последнего свидания, накануне отъезда в Америку, ничего не получилось. По ту сторону немецкой границы сидели старики, вооруженные бумагой, которая давала им право на посещение Швейцарии. Нацистские стражи не посчитались с этим. «Наша дочь! — кричал почти девяностолетний. — Она ждет нас в Крейцлингене там, по ту сторону, за шлагбаумом. Пустите нас к ней, только на полчаса!» Но стражи лишь пожимали плечами: «Ну так пусть она и приходит, если вы ей важны! Пусть едет в Германию, ваша дочь!» Это было бы концом Милейн. На счастье ее и наше, она не пошла в ловушку. Но родного скрипучего голоса отца, серебристого смеха матери она, вероятно, больше не услышит; хоть бы удалось двум старцам переехать в Швейцарию до начала войны… Милейн надеется и ждет.

Что касается младшего поколения, то оно в данный момент не дает повода для сильного беспокойства. Голо довольно хорошо себя чувствует в своем любимом Цюрихе, где подвизается в качестве редактора журнала «Мае унд верт». Моника живет в Лондоне со своим мужем, венгерским искусствоведом Енё Лани — ей было нелегко найти подходящего, но вот теперь он у нее есть и она может быть счастлива. И Меди-Элизабет — кто бы мог подумать! — уже зашла так далеко, что захотела выйти замуж. Спутника, которого она себе выбрала, зовут Джузеппе Антонио Борджезе, итальянский эмигрант, теперь американец и исследователь с международной известностью, человек выдающихся дарований и динамичной жизненной силы. Свадьба состоялась в Принстоне. Уистон Оден, Эрикин супруг, поражает общество сочиненной по сему поводу «эпиталамой» — прелестное, полное намеков, подходящее для этого случая стихотворение, в котором вызываются заклинаниями гении западной культуры как ангелы-хранители итальяно-немецко-американской пары. Появляются почти все, начиная с Данте, изгнанника — «a total failure in an inferior city», — затем Моцарт и Гёте («ignorant of sin, placing every human wrong») до «Hellas-loving Hôlderlin»[231] и того позднего, уже довольно сомнительного святого, Рихарда Вагнера, «who… organised his wish for death into a tremendous cry»[232]. Вот его подозрительный голос вмешивается

в свадебный хор: «All wish us joy!»[233]

Всеобщее умиление, отчасти от вдумчиво-умного английского художественного стиха, отчасти потому, что наша Меди теперь выдана замуж и связана союзом, хотя ведь вчера еще была «деточкой», которую воспевали в немецких гекзаметрах. Так жизнь, значит, идет дальше, довольно быстро даже, с жутко возрастающей скоростью…

А теперь еще и мой младший брат, Биби-Михаэль! Он тоже нашел уже себе девушку, она позднее прибудет к нему из Швейцарии, очень хорошенькая и приятная швейцарка по имени Грет; она станет женой Биби, моей невесткой. Вот тебе и Михаэль, всегда считавшийся особенно юным, несмотря на свою виртуозную игру на скрипке! Чего доброго, он еще и детей на свет произведет! Его относительно немолодой брат удивляется и, между прочим, чуточку завидует…

От меня не будет детей, только книги, меланхолично-неполноценный эрзац. Но уж если ничего не делать для размножения человечества, то хотя бы обеспечить бедных малышей грядущих эпох по меньшей мере интересным чтением. Итак, «Вулкан» закончен; «Бегство в жизнь» тоже — конечно, продукция не очень основательная — может наконец отправиться в набор: «Хотон Мифлин компани» уже начала терять терпение. Но в конце концов мы с Эрикой не виноваты: пока мы стремились привести нашу эмигрантскую галерею в надлежащий вид, она постоянно увеличивалась. К немцам и австрийцам теперь добавились еще и чехи. В марте 1939 года Прага была занята нацистами.

Это событие — логическое следствие политики appeasement и предательства «Мюнхена» — внесло все же известное прояснение в удушливую атмосферу. Гитлер зашел слишком далеко: его новый удачный ход разбудил, встревожил, шокировал общественное мнение, прежде всего в Англии, где группа Чемберлена наконец стала утрачивать влияние. Будет ли теперь создана большая антифашистская коалиция? Тогда войны, может быть, еще можно будет избежать…

Но Соединенные Штаты упрямо оставались при своем принципе нейтралитета («никакого вмешательства в европейские дела!»), тогда как переговоры между Лондоном, Парижем и Москвой безрезультатно затягивались. Почему не могли договориться Восток и Запад? Что за недоразумения и соперничества тормозили и запутывали дипломатическую беседу столь судьбоносной важности? Почему англо-французский блок колебался предоставить советскому партнеру ту стратегическую позицию в Прибалтике, на которой Москва — конечно, не без

основания — вынуждена была настаивать? Возможно ли было представить, чтобы Кремль в своем ожесточении, в своем страхе взвешивал союз или по крайней мере пакт о ненападении с нацистской Германией? Слухи такого рода, уже курсировавшие с некоторого времени, обрели правдоподобие из-за внезапной отставки русского министра иностранных дел Литвинова. Он слыл поборником коммунистически-демократического единого фронта; как никто другой он выступал за «неделимый мир», за «Collective Security»[234] — и именно теперь он ушел в отставку? Это не могло означать ничего хорошего.

Что предстояло? К каким бедствиям готовиться? И где тот авторитет, великий посвященный, на совет которого можно было бы положиться?

Начнется ли война? И когда? Я пытался задать этот бестактный вопрос президенту Соединенных Штатов Франклину Д. Рузвельту, когда имел честь быть ему представленным; это произошло 11 мая 1939 года. Прием в Белом доме явился кульминацией международного конгресса писателей, на который была приглашена американская группа Пен-клуба по случаю нью-йоркской Всемирной выставки.

Миссис Рузвельт, приветствовавшей и угощавшей писателей, удается придать даже и официальной массовой кормежке прелестно-интимную ноту. Рассудительная сердечность ее улыбки оживляла любое застолье; ее добрый взгляд распространял доверие. И, с кем бы она ни беседовала, она живо интересуется мнениями и проблемами своего визави, — интерес, носящий вовсе не высочайше-милостиво-условный характер, но внушающий доверие своей теплотой и спонтанностью и поощряющий к общению. Только женщина столь аристократической породы и столь демократического сердца может найти достаточно мужества для той совершенной простоты, с которой эта непринужденно-веселая First Lady[235] выступает, говорит и действует.

Она дала знать, что президент очень занят и поэтому не может принять участие в нашем обеде. Тем не менее он все же хотел поприветствовать писателей. Итак, мы были препровождены в его рабочую комнату; он сидел за письменным столом, отодвинув свое кресло-коляску так, чтобы повернуться лицом к дефилирующим мимо писателям. Каждый был ему представлен, каждому он подал руку. Улыбка его была приветливой, хотя и несколько рассеянной и усталой. Взгляд же, сопровождающий улыбку, был одновременно испытующим, радушным и проникновенным, почти играющим. Эти глаза! К ним как-то я не был подготовлен. На знакомом лице они были

большой новостью, прекрасной неожиданностью — интенсивная голубизна взора. Светлый тон действовал тем поразительнее, что он выделялся на почти темном фоне окружающих его теней. Глубокие круги вокруг глаз относились к сокровенным чертам этого тысячи раз сфотографированного лица; однако никакой портрет не передает светлой интенсивности взора.

Глаза! Какие они *голубые!* И так *ясны*… Удивительно ясны! Кто бы мог подумать… Таково было мое ощущение, когда я, стоя напротив него, пожал руку, которую он с несколько усталой рассеянной улыбкой, но с пристальным взглядом приветливо протянул навстречу. Я не спросил его о положении в мире; это было бы неприлично. За мной уже ждал следующий писатель.

Писатель, который шел за мной, был Эрнст Толлер; на пути от Нью-Йорка в Вашингтон он был рядом со мной в пульмановском вагоне, мы провели день вместе. Богатый, пестрый праздничный день в пути! Толлер, человек впечатлительный, благодарный, отзывчивый, казалось, наслаждался визитом в Белый дом. Пару раз, правда, он пожаловался на усталость. «Если бы только я мог сегодня немного поспать ночью!» Это было легкое стенание, предназначенное лишь для меня, ибо мы были друзьями. Коллеги вокруг нас смеялись и болтали на многих языках, английском, испанском, французском, китайском, португальском. Толлер сказал мне очень тихо и по-немецки: «Скверно, когда не можешь спать. Это наихудшее». Он вдруг показался изможденным; но потом опять с нарочитой бодростью принял участие в общем разговоре.

То было последнее наше совместное пребывание. Несколько дней спустя газеты сообщили, что Эрнст Толлер повесился в своем номере нью-йоркского отеля.

Почему? Не осталось последнего письма, чтобы объяснить нам его мотив. Кто его знал, тот прекрасно понимал и без письменного объяснения. Один из старейших борцов за свободу тоскует о сне, который в этом мире не приходит к нему ночами. Ночи приносят не забвение, а воспоминание… — Мюнхен 1919-го, 1920-го, республика Советов, дни действия, молодость, жизнь кипит; долгое заключение в крепости, работа (как легко пишется!), ласточка за решеткой камеры (как нежно еще любишь! как ты молод!), затем берлинский период, театральные успехи, слава, женщины, деньги, много действий, но мало сна, конгрессы, собрания, премьеры, много женщин, много побед, поражений тоже (убывает талант? иссякли силы?) — и нет сна; все новые битвы, новое разочарование, остаешься верным делу, которое тем не менее напрасно; все новый взлет, и нет сна; в конце концов

ссылка — и все еще слава, борьба, революционные жесты (и нет сна). Жизнь дается все тяжелее, работа тоже, на речи еще сил хватает. Отважная осанка, снова и снова, прекрасный голос, трибуна, знакомые лозунги: «Товарищи! Друзья! Прогресс… пролетариат… непобедим… не остановить… Будьте едины! Верьте! Будьте сильными!» Ах, сил-то уже нет. Нет сна, нет сна… Дело напрасно: великая тщетность, снова и снова — и вовсе нет сна… Наконец берешь его силой. Секретаршу, которой только что диктовал, умышленно отсылаешь на ленч. Вооруженный веревкой, изнуренный борец за свободу прокрадывается в ванную комнату. Щебечут ли ласточки за окном в Центральном парке? Даже их не хочется больше слышать.

Мне пришлось говорить у его гроба. Он лежал позади меня, рубец от веревки на шее милосердно прикрыт. Я не отваживался посмотреть ему в лицо. Я боялся. Я стыдился своих слез. К кому они относились? Не к нему же, который смог наконец уснуть?

В июне этого года мои родители с Эрикой отправились на пароходе в Европу. Я поехал в противоположном направлении, в Калифорнию, на сей раз не поездом, а в диковинном старинном экипаже, который разве что в шутку можно было счесть за автомобиль. Я плохой шофер; друг, с которым я путешествовал, тоже понимал в моторе немного. Его звали Юрий, он был русского происхождения, крупный, медлительный человек с сонными киргизскими глазами и густыми, медового цвета волосами. Что-то успокаивающее исходило от него, или это на мои нервы благодатно действовала и придавала чувство безопасности необъятная ширь страны? Америка очень большая и очень малонаселенная. Я уже многократно замечал это, но всегда только из окна пульмановского вагона. В моем разболтанном старом «форде» я пережил это величие и эту пустоту с новой остротой. Европа казалась слишком удаленной. Опасность войны, была ли она? Где-то существовал ничтожный маленький выскочка, который смехотворным образом вознамерился покорить эту большую страну, этот большой мир? Слишком глупо! Как будто можно покорить территорию таких размеров! Да и зачем? Имелось достаточно места для всех, огромные пространства бесконечно простирающейся неиспользованной, необжитой земли…

Проблемы, казавшиеся столь незначительными и далекими в глуши Миссури, Юты и Невады, на Западном побережье скоро опять стали злободневными. Действовала ли на это относительная близость агрессивной Японии? И Европа тоже, столь милостиво отдаленная, оказалась вдруг придвинутой ужасно близко.

Маленький дом в Санта-Монике, где я проводил это роковое лето со своим раскосым спутником, был оснащен радио. С утра до полуночи драматически взволнованные или леденяще деловые голоса просвещали нас насчет дальнейшего развития международного кризиса. Новость о немецко-русском пакте ненападения было осмыслить труднее всего. Неизбежное следствие западной политики, которая в своих действиях да и, наверное, в своих намерениях всегда была антимосковской, всегда профашистской? Логический результат appeasement и «Мюнхена»? Конечно. Но, несмотря на это, тошноту и головокружение вызывал вид господина фон Риббентропа, сфотографированного в задушевной беседе со Сталиным и Молотовым. А Гитлер снова предъявил «последнее территориальное притязание», на сей раз к Польше. Неужели он вступит в Варшаву, как в Вену и Прагу? Разве Чемберлен уже не в пути к «Бергхофу»? Закономерная нервозность в Лондоне и Вашингтоне! Шантажистское бряцание оружием, угрожающая истерия в Берлине и Мюнхене! А в Париже устало пожимают плечами: «Mourir pour Danzig? Ça alors… après tout…»[236]

Совсем нелегко терпеливо выжидать за письменным столом при такой грозовой напряженности. Но мы с Эрикой снова подписали договор; новая книга «Другая Германия» сдавалась осенью; мы, таким образом, должны были поторапливаться. В то время как моя сотрудница, удаленная от меня на несколько тысяч миль, царапала свои страницы где-то в Швеции, я томился на Тихом океане. «Другая Германия», о которой я писал, это была та «лучшая», та «настоящая», от которой мы все еще ожидали, что она когда-то все-таки проснется, поднимется. Крайность, экстремальное злодеяние, войну наша «другая Германия» не допустит! А если уж дойдет до этого, ужас будет недолгим: «лучшие» немцы станут воевать не за Гитлера, а против него! За освобождение, против тирана!

Так мечтали мы, один автор на Северном море, другой — на Тихом океане. И вот дело зашло так далеко. То, что сообщили драматически взволнованные или леденяще деловые радиоголоса 3 сентября, означало извержение вулкана, апокалипсическое затмение.

Небо над Санта-Моникой оставалось ясным и мягким. Я спросил Юрия, не видел ли он кровавого меча. Его раскосый, сонно волоокий взгляд проверил горизонт.

Кровавый меч? Здесь еще нет. «Но в конце концов будет и у нас», — сказал мой друг Юрий, американец русского происхождения. Он добавил с серьезным видом, чуть ли не угрожающе: «Unless your Other Germany does something about it,

pretty soon…»

Если твоя «другая Германия» что-либо немедленно не предпримет!

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА
РЕШЕНИЕ
1940–1942

Из дневника

Нью-Йорк, 14 июня 1940. Нацисты в Париже. Германия ликует, «другая» Германия тоже. Гитлер исполняет танец радости. Кошмарный сон… Но он столь же фантастичен, сколь страшна сама действительность.

18 июня. Вести из Франции становятся все отвратительнее. Теперь ясно, что определенные очень влиятельные круги желали и ускоряли поражение собственной страны. «Лучше немецкая оккупация, чем господство социалистического единого фронта!» Я сам слышал такие высказывания. Наверняка и маршал Петен тоже этого мнения. Победитель Вердена в качестве пособника врага! Ненавистный старец. (Скольких приходится ненавидеть в наши дни!)

Важно: экстремальный консерватизм ведет, при нынешнем положении дел, не только к тотальному оболваниванию, но и к полнейшей подлости. Бедная Франция! Преданная тупой подлостью…

Единственный просвет: де Голль. (Который внезапно объявился в Лондоне и сегодня эффектно выступал — правда, тоже консерватор.)

19 июня. Если Соединенные Штаты останутся нейтральными и пожертвуют Англией, если Гитлер посмеет вступить в Лондон, как в Париж, а Америка не пошевелит пальцем, что станется тогда с американской демократией? Стерпи Америка победу фашизма, она в свою очередь оказалась бы созревшей для фашизма. Ужасная мысль! Роль Квислинга{273} вместо престарелого маршала здесь сыграл бы задорный морской летчик. Чарлз Линдберг в Белом доме…

Но нет, там сидит F.D.R. It can't happen here[237].

26 июня. Странное новое знакомство: юная Карсон Мак-Каллерс, автор прекрасного романа «Сердце — одинокий охотник». Только что прибыла с Юга. Удивительная смесь рафинированности и дикости, «morbidezza»[238] и наивности. Возможно, очень одаренная. В работе, которой она занята сейчас,

речь идет о негре и еврейском эмигранте: двух парнях. Может получиться интересно.

…Работа, вечное бремя, без которого все прочие нагрузки стали бы невыносимыми. Заметки к эссе о Томаше Масарике. Утешительно. Воистину тип, указующий в грядущее. Очень существенно, очень актуально: его споры с Толстым о пацифизме, который Т. понимает как абсолютный, безусловно обязующий постулат, тогда как М. находит применение насилия извинительным или даже необходимым при известных обстоятельствах (в борьбе против агрессивного зла). Цель оправдывает средства? Фундаментальная проблема…

А как много подобных вопросов заново обдумываются, заново формулируются в свете наших самых последних опытов! Ценности и принципы, в законности которых мы никогда не сомневались, становятся теперь сомнительными. Кризис обязывает к дискуссии. Давайте дискутировать! Что необходимо, так это общий разговор, симпозиум серьезных и честных умов, которые желают содействовать прояснению и обновлению наших моральных основоположений.

В тот же день, позднее. Новое литературное обозрение, не смогло бы оно стать форумом для таких дебатов? Пожалуй, я бы попробовал еще раз… Журнал, который я хотел бы основать теперь, должен, естественно, выходить на английском языке и иметь насквозь интернациональный характер; специализация на проблематике немецкой эмиграции в стиле «Ди Заммлюнг» была бы нынче неудовлетворительна, даже опасна. Я больше не немец. Являюсь ли я еще эмигрантом? Дело моей чести стать гражданином мира американской национальности. В этом духе и велось бы обозрение — в духе целого мира и Америки. (Дух Уолта Уитмена, которого я снова читаю: с большей радостью, чем когда-либо.)

27 июня. Перед Эйфелевой башней, Триумфальной аркой, Оперой фотографируются ухмыляющиеся нацисты-хамы… Отвращение душит меня, мне становится буквально плохо, когда я читаю подобное в газете. Пользуются ли гестаповские чины и эсэсовские офицеры успехом у парижанок? Наверняка. А седовласый герой Вердена дает свое благословение на такой разврат. «O Star of France! — как пророчески сетует Уитмен. — Star crucified! by traitors sold!» [239]{274}

Восхищение Англией. С каким достоинством говорит она устами Уинстона Черчилля! Его речи обладают благородством, которое в наше время производит впечатление почти

анахронизма. Однако эта наивно-могучая, трогательно крупная ренессансная фигура спасет, быть может, цивилизацию двадцатого столетия.

…Мысль о новом журнале не оставляет меня. Как я назову его? Из названий, которые я до сих пор перебирал, больше всего мне нравится «Солидарити».

28 июня. Эмигрантская среда, к которой я так долго принадлежал, становится мне все более чуждой.

Вчера, у Курта Рисса, довольно мучительное заседание Союза немецких писателей. Друзья среди них есть, Гумперт, Кестен и т. д.; но с большинством я уже вряд ли сумею объясниться. Некоторые, кажется, понимают войну как своего рода империалистически-капиталистический заговор, воззрение, которое достаточно широко распространено именно в леворадикальных кругах. Там заинтересовались бы борьбой против Гитлера, только если бы был замешан Советский Союз. Пока Москва и Берлин ладят друг с другом, коммунисты находят демократическую Англию «по меньшей мере столь же скверной», как и фашистскую Германию. Как тут дискутировать?

Обсуждение с некоторыми из «близких» или «одинаково настроенных» после окончания официальной части. Я составляю следующее письмо, подписываемое Гумпертом, Кестеном, Риссом и несколькими другими:

> «В правление Союза немецких писателей Америки
> Высокочтимые коллеги!
>
> Союз немецких писателей основан и управляется как неполитическая организация. С самого начала некоторые из нас выражали сомнение и опасение, будет ли иметь смысл или возможно ли вообще заставить функционировать при нынешних обстоятельствах объединение ссыльных немецких авторов в качестве „неполитической профессиональной организации“. С началом второй мировой войны, и особенно с тех пор, как она вступила в свою решающую стадию, политическая ситуация писателей немецкого происхождения еще более обострилась и требует от каждого из нас ясной, осознанно ответственной точки зрения.
>
> Любая организация немцев в демократической — а это значит: подвергающейся угрозе со стороны немцев — стране должна сегодня принимать сомнительный, более того, подстрекательский характер, даже если она

способна руководствоваться точной политической и культурно-политической программой. Как раз этой программы недостает нашему Союзу, и именно в ее — соответственно статусу установленном — самоограничении „неполитической“ сферой видим мы ее фатальный изъян.

Ибо дело ведь обстоит отнюдь не так, что отдельные члены Союза не интересуются политикой; скорее признание в аполитичности лишь доказывает, что в наших кругах еще не — или уже не — существует необходимого согласия по морально-политическим принципам и целям.

Хотя именно в этот момент мы без охоты отмежевываемся от группы ссыльных немецких писателей, все-таки по зрелом размышлении мы вынуждены решиться на такой шаг и объявляем тем самым свой выход».

29 июня. Тревожусь о Голо, дяде Генрихе, Мопсе Штернхейм и других, которые пропали без вести во Франции. Голо, записавшийся в качестве чешского добровольца во французскую армию, сразу же был интернирован, как если бы Франция вела войну против антифашистов, а не против фашистов. Последняя весточка от него — это было еще до débâcle[240]{275} — пришла из концлагеря. С тех пор ни слова — ни от него, ни от дяди, который ко времени краха должен был быть в Ницце. Слухов, правда, хватало. О Генрихе Манне говорили, что он попал в руки нацистов, вместе с Лионом Фейхтвангером, что совсем уж портило дело. К счастью, эта ужасная история была вскоре опровергнута. Франц Верфель числится погибшим во Франции, надеюсь, что и это только страшная сказка.

А Андре Жид? В Париже жизнь его не была бы в безопасности. (Займут ли немцы также и южную часть страны?) А Жюльен Грин? А Кокто? Тех, за кого теперь боишься, их так много. Самоубийства тоже снова будут. Воспоминание о Менно тер Браке, который пустил себе пулю в лоб, когда нацисты ворвались в Голландию. Благородный и чистый дух, высококультурный; он не перенес триумфа варварства… Как много французов, возможно, взвешивают теперь подобный шаг или уже решились на него?

Особенно отчаянно положение (внутреннее и внешнее) французских коммунистов. К скорби, которую они делят со всеми, должно добавляться горькое чувство раскаяния. Ибо если в катастрофе виноваты в первую очередь крайне правые, то все же

нельзя упустить из виду со-ответственность, со-вину крайне левых. Разве «красные», как их здесь охотно называет враждебная пресса, не делали общего дела с Лавалем и Петеном, помогая подорвать волю нации к сопротивлению? Спрашивается, будет ли Третий Интернационал, и после французского фиаско, стоять на том же, игнорируя и саботируя войну, ведь при том — несмотря на все, malgré tout, after all[241]! — дело идет о свободе. Борьба против Гитлера — что бы ни говорили — это дело правое или по крайней мере необходимое. Америке тоже необходимо принять участие в этом споре: Рузвельт это знает, мы все знаем это; почему этого не хотят понять американские коммунисты?

Их партийные органы, «Дейли уоркер» и «Нью мэссиз», сосредоточивают всю свою ненависть на «поджигателях войны в Вашингтоне», обнаруживая в то же время в миротворцах Берлина «революционные черты». Разве Гитлер не высказался за «ломку налоговой кабалы»? И кстати, есть немецко-русский пакт о ненападении… Неужели в сталинских кругах полагаются на то, что нацисты именно этого пакта не нарушат? После всего, что мы пережили, такая слепота кажется почти непростительной!

В тот же день, позднее. Непростительной? Да, теперешнее поведение спутников Кремля труднее понять, еще труднее простить. Однако не будем забывать, что «демократической» стороной совершилось все, чтобы вынудить Советский Союз и его друзей к этой гибельной позиции! Подумаем об Испании! Подумаем о Мюнхене! Из страха перед коммунизмом взрастили фашизм, а теперь, когда обнаруживают, что на них напал собственный протеже (то есть фашизм), ожидают содействия от коммунистов!.. Хотя при этом остается естественным, что немецкая победа была бы той же катастрофой и для коммунистов, и именно для них. После Англии на очереди будет Советский Союз.

1 июля. Статья о Масарике закончена — на английском! Надо теперь просмотреть, исправить. Кишит, разумеется, ошибками. Мучительнейшее чувство неуверенности. Вдруг опять оказываешься начинающим: каждое предложение — головоломка. Тем не менее можно, пожалуй, констатировать определенный прогресс.

Наброски к рассказу («Полным ходом») — тоже на новом языке! А издательство «Нью дирекшнз» желает получить от меня предисловие к роману Франца Кафки «Америка». Привлекательное задание. Правда, у меня есть свои сомнения, будет ли здесь признан Кафка.

Долгий разговор с Томским (Кертисом) о журнале, к которому у него тоже большая охота. Финансовая проблема. (Т. хочет дать немного денег.) Письмо Арчибалду Мак-Лишу, шефу Библиотеки конгресса, который мог бы в официальных кругах походатайствовать за наш проект. Может быть, нашлось бы несколько меценатов и в Голливуде…

Название «Солидарити» мне больше не нравится. Слишком «громко», слишком «пропагандистски». Может, было бы лучше «Zero Hour»[242]? (Как бы это перевести? «В последний час»? «Без минуты двенадцать»? «Последнее мгновение»? Все одинаково невозможно. Но, к счастью, на этот раз я ведь ищу не немецкое название…)

Вашингтон, 3 июля. Изнурен и прямо-таки угнетен после долгого делового дня в этом раскаленном городе. Обстоятельная беседа о «Zero Hour» с Мак-Лишем в Библиотеке конгресса, Михаэлем Хаксли из английского посольства и чехословацким послом, майором Хурбаном. Все находят мой план «quite interesting»[243], однако никто не хочет помочь. Значит, придется идти без официальной поддержки. Вместо долларов, фунтов или чешских крон, которые не могу получить, я обладаю своей старой возлюбленной независимостью.

В поезде, между Канзас-Сити и Лос-Анджелесом, 5 июля. День путешествий. Из Вашингтона в Чикаго: там встреча с родителями и Эрикой. Уже хорошо знакомая поездка через пустыню, на сей раз en famille[244]. (Воспоминания о прошлом лете, о Юрии. Он хочет жениться, будет иметь детей. Я нет. А годы проходят.)

Много разговоров. О войне. Новая волна сопротивления в Англии. (Э. хочется в Лондон.) Также о журнале. Ободрен искренней заинтересованностью Волшебника.

Чтение. Снова очень тронут «Америкой» Кафки. Правда, она легковеснее обоих других великих романов-фрагментов; но как раз эта легкость делает «Америку» единственным феноменом внутри кафковского Euvre[245]. В «Замке», в «Процессе» и в малой прозе бывают места зловещего комизма (мне приходилось смеяться над Кафкой сквозь горькие слезы так же часто, как и над Марселем Прустом); но комичное действует все-таки всегда как маска, за которой гордо и насмешливо таится лик неисправимо-неисцелимого трагизма. От этого отчаяния невозможно избавиться с помощью веры, как, например, у Кьеркегора, ведь оно представляет собою ужаснейшую, божественную «болезнь смерти» — от него Кафка кажется освобожденным только в фрагменте «Америка». Освобожденным? Ах, пожалуй, не совсем!

Однако в этой книге — больше нигде — все же наличествует воля к освобождению. Пленник вырывается, блуждает под чужими небесами, осмеливается продвинуться в незнакомые зоны. Страна, которую он открывает — или выдумывает ее? — богата на ужасы; но воздух там легче. Спазм отчаяния ослабевает; можно снова дышать… Я гляжу в окно нашего пульмановского вагона. Снаружи пустынно и пусто. Если бы Кафка узнал эту действительную Америку, что получилось бы из его грандиозно-гротескной грезы? Но, может быть, греза поэта истиннее, действительнее, чем наша действительность? Мечта живет и свидетельствует. Из мечты проистекает надежда. Надежда на Америку… «Америка» — самая веселая книга Кафки. Подчеркнуть в предисловии.

Брентвуд (под Лос-Анджелесом, Калифорния), 12 июля. Теперь вести из Франции поступают в щедром изобилии: сплошь призывы о помощи, отчаянные просьбы американских виз, «affidavits»[246], денег и т. д. Все хотят в Соединенные Штаты. Телеграммы и письма приходят из Ниццы, Марселя, Виши, Перпиньяна, Касабланки. Некоторые из друзей уже добрались до Лиссабона и, следовательно, пока в безопасности. Другие — в окончательной сохранности, то есть мертвы. Новая эпидемия самоубийств. К жертвам относится Эрнст Вайс. (Сказал ли я ему когда, как сильно восхищен его последним романом «Бедный расточитель»?) Покончил с собой и Вальтер Газенклевер, старый друг, которого я охотно увидел бы вновь. И Вальтер Беньямин, менее мне симпатичный, хотя его большое интеллектуальное дарование я всегда умел оценить. Сколько утрат! Оправится ли немецкая литература когда-нибудь от этого жуткого кровопускания?

Здесь обсуждаются и подготовляются акции по спасению. В Нью-Йорке есть уже Экстренный комитет спасения: Милейн, Э., всегда активная, готовая помочь Лизль Франк и другие за то, чтобы организовать тут филиал. Свою помощь предлагают американцы, среди них иные исключительного престижа, как Фрэнк Кингдон (бывший президент одного крупного университета, теперь свободный писатель и лектор), Фреда Кирхвей (издательница либерального еженедельника «Нейшн») и Джордж Кьюкор, кинорежиссер. Предоставляют себя в распоряжение также видные квакеры и известные личности очень прогрессивной, очень гуманной «Единой церкви». Надо доставать крутые денежные суммы. В нашем доме (снятом на лето) должна вскоре состояться «money-raising party»[247], вечер общения в целях попрошайничества, как водится в этих краях.

Список особенно важных и особенно подверженных угрозе эмигрантов составлен для Комитета нами (с помощью Бруно Франка и других). К этой категории, естественно, относится и Леопольд Шварцшильд. Я никогда больше не подам ему руки (он клеветник); но в руках нацистов мне все же не хотелось бы его видеть…

14 июля. Несомненно, то, что свершилось в Англии с момента ужасных дней Дюнкерка, — чудо. Все сообщения позволяют заключить, что по крайней мере только эта нация едина в стремлении к сопротивлению. А значит, Гитлер будет сокрушен! Его сила всегда состояла лишь в том, что он умел использовать слабость других. Моральная решимость, которую проявил теперь английский народ, — фактор, с которым он не может не считаться и который решительно расстроит его грязные планы.

Как мне понятно Эрикино желание поскорее отправиться в Лондон! Дафф Купер, у которого теперь за спиной министерство информации, хочет организовать ее выступление на Би-би-си.

15 июля. Сегодня после обеда продолжительная беседа с Кристофером Ишервудом. Он мне так мил, так по-братски близок, и все же я не совсем понимаю его нового развития. Вместе с Олдосом Хаксли и философом Джералдом Хедом — или под их влиянием? — он все глубже подпадает под обаяние индийской мистики, к этическим принципам которой относится непременный отказ от насилия: то есть как раз тот абсолютный пацифизм, против которого восставал Масарик в своем споре с Толстым. Не то чтобы я находил применение насилия менее дурным, чем какой-нибудь Ишервуд, Хаксли или Хед! А уж тем более современная война! Кого не ужаснет ее убийственное тупоумие, ее апокалипсический идиотизм? Надо быть истеричным романтиком, как Эрнст Юнгер, чтобы находить удовольствие в опустошительных ужасах «материальной битвы». Будучи цивилизованным человеком, являешься естественным пацифистом, как же иначе?

Спрашивается только, был ли у нас прошлой осенью выбор между войной и миром, или давно уже, не тогда было вынесено решение. Войну, которая стала неизбежной, уже не «отклонить», ее необходимо выиграть. Почему война стала неизбежной? Как будто бы мы этого не знали! Потому что демократы содействовали фашизму, то ли из ложно понятого «пацифизма», то ли из менее приятных мотивов… Терпя, финансируя и протежируя Гитлера, упустили мир. Теперь только недоставало позволить ему победить! Тогда война стала бы перманентной.

Ты этого хочешь, Кристофер Ишервуд? Нет, естественно, нет!

И все-таки настаиваешь на том, что война — «худшее из всех зол»? Есть нечто наихудшее, my dear friend[248]. Представь себе «новый порядок», который учредил бы победивший Гитлер, и ты поймешь, что я имею в виду.

Победа же демократии могла бы принести мир. (Я не осмеливаюсь сказать «принесет»…)

В тот же день, позднее. Как будто я их не знаю, часов отчаяния, уныния! Почему я не должен признаться себе в этом? Иногда — ах, не так уж редко! — меня страшит вопрос, действительно ли в этой войне идет речь о моральном решении. Тот факт, что борьба вообще смогла стать возможной или неизбежной, означает, быть может, уже само по себе столь постыдное фиаско для обеих партий, что теперь, с моральной точки зрения, навряд ли уже имеет значение, какая партия выиграет. Будь это так, как жить дальше?

2 августа. Предисловие к Кафке для «Нью дирекшнз» закончено. Не совсем доволен. Не лучше ли я сделал бы это на немецком? Ишервуду, которому показываю рукопись, править почти нечего.

Письма и разговоры, касающиеся «Zero Hour». Совещание с Бруно Франком, сердечно и толково, как всегда. Мое дружеское чувство к нему из года в год углубляется. Очень хороша его новая новелла «16 000 франков», которую я охотно опубликую в своем журнале.

18 августа. Мысль о Гретель (Вальтер), которая год тому назад ушла из жизни в Цюрихе. Как я обожал ее, когда мы были детьми! В своей ребяческой мечтательности я отождествлял ее с Кармен, роковой привлекательной цыганкой. И погибнуть ей суждено было, как Кармен… «Классические» трагедии этого рода кажутся какими-то абсурдными, фантастическими, невероятными, когда случаются в нашем собственном кругу. Супруг, не любимый более, убивает сперва любимую жену, потом самого себя. Их последнее объяснение (она еще раз пришла к нему, добровольно, по его просьбе), должно быть, протекало подобно тому лапидарному финальному диалогу между Кармен и доном Хозе: «Итак, ты не любишь меня больше?» — «Нет!» На что последовал не ответ, а классически абсурдный жест… (Разве Кармен желала иначе? У Проспера Мериме отвергнутого любовника понуждает к его злодеянию она, femme fatale[249]. Он хотел бы от этого ее, хотел бы от этого себя избавить. Но он

молит ее: «Carmen! Ma Carmen! Laisse — moi te sauver et me sauver avec toi![250]» Что отвечает ему она? «José, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus; toi, tu m'aimes encore, et c'est pour cela que tu veux me teur…[251]»

До этого, однако, она уже сказала: «Te veux me teur, je le vois bien; c'est écrit»[252].)

Быть может, всем нам предначертано умереть насильственной и жестокой смертью? А началось это с Рикки…

Чем больше друзей теряешь, тем крепче чувствуешь себя привязанным к оставшимся в живых. Вальтеры принадлежат к ближайшим. Бедная мать не сможет, пожалуй, больше оправиться от жестокого шока. У отца же боль может стать продуктивной в усилившемся музыкальном чувстве. Как дирижер, как художник он, несомненно, еще вырос. Великолепные концерты на Голливудских торжествах; после них большей частью — общение. Вообще много сердечного в отношениях с ними; ведь Беверли-Хиллз, где они теперь проживают, по калифорнийским понятиям так близко, что они снова почти наши соседи. Отношение к Лотте становится все задушевнее.

19 августа. Отъезд Эрики в Англию (через Нью-Йорк, Лиссабон). С ней в аэропорту. Как описать чувства, обременяющие мое сердце? Забота перемешивается с завистью, печаль с гордостью… Она мужественна, я горжусь ею. Тем горше боль, стыд оставания!

21 августа. Чаепитие у Хаксли. Олдос в отличной форме, много раскованнее, веселее, свободнее, чем раньше, в Санари. Его разговор изобилует тем остроумно скептическим ехидством, которое едва ли вяжется, собственно, с его теперешней философией и которого не хотелось бы все-таки в нем лишаться. Несомненно, «обращение» к мистике, его новая тенденция к религиозно-этическому — дело воли, интеллекта, не инстинкта, не сердца. «Прирожденный» мистик вряд ли был бы столь шутлив. Как занятно он рассказывал сегодня после обеда о своих приключениях на киностудии! Не менее забавны были анекдоты, которые преподносила Анита Лус. Она, кажется, близка с семьей Хаксли. Курьезное сочетание! Не от нее ли Олдос научился американскому сленгу и американской психологии? В его новом романе, «После многих лет умирает лебедь», изображена голливудская дива — последняя любовь стареющего миллионера, — чей шикарнейший жаргон, кажется, находится под влиянием принципа «Gentlemen Prefer Blondes»[253]…

Беседа о Кафке (которым Х. теперь много занимается),

Джозефе Конраде, Диккенсе и других литературных явлениях. Я упоминаю и свой журнальный план. Х., под чьим патронажем уже смог появиться «Ди Заммлюнг», снова выражает готовность сотрудничать.

Ни слова о войне, как по уговору. Миссис Хаксли рассказывает об ужасах, которым подвергаются теперь в Бельгии ее родственники и друзья, словно речь идет о трагических последствиях землетрясения или наводнения.

6 сентября. Эрика в Лондоне. Ее первая телеграмма звучит обнадеживающе, воодушевленно. Но весточке уже несколько дней, и, может быть, она устарела. В промышленных городах Мидленда [254] уже творится ад. Геринг посылает свои эскадрильи через Ла-Манш. А каждый миг на очереди может быть Лондон.

Э., конечно, не боится. Но я…

Сан-Франциско, 13 сентября. Я здесь, чтобы подольститься к некоторым богачам, которые могут дать деньги на журнал. А в голове ничего, кроме Лондона и адских бомбардировок! Пострадал Букингемский дворец. Не то чтобы я проявлял особое беспокойство за «His Majesty the King»[255]! Но, может быть, Э. живет в том же квартале…

Вчера в Кармеле. Очень красиво расположен на море, недалеко от Сан-Франциско. Краткий визит Биби, проводящему там лето с женой и ребенком. (В зимний сезон он будет занят здесь в симфоническом оркестре в качестве альтиста.) Ребенка зовут Фридолин, и ему всего несколько месяцев. Таким образом, есть, значит, племянник… Не без растроганности рассматриваю старообразное личико с большими ушами, как пенки нежными щеками. Невероятно крохотные руки и ноги, уже точно так же сложены, тщательно оформлены, шевелятся, как нервные цветы плоти. Что же суждено пережить ему! Бедный Фридолин! Бедный мир…

14 сентября. Сан-Франциско имеет свою прелесть; прекраснейший американский город, без сомнений; за исключением Нью-Йорка, который я люблю больше всего.

Ленч со старым Бендером. (Бодрый старец еврейско-ирландского происхождения — смесь, которая мне, насколько знаю, еще никогда не встречалась. Может быть, «ангел», пользуясь забавным американским выражением для «деньгодателя».)

С ним на «Острове сокровищ» на большой «Fair». (Как назвать это по-немецки? «Выставка»? «Ярмарка»? Ни один перевод не кажется полностью соответствующим…) Впечатление решительно

импозантнее, чем от нью-йоркской Fair. Краски насыщеннее. Очень синее море. Гордый взлет колоссальных мостов.

Около двух часов на художественной выставке, с интенсивным наслаждением. Сильно тронут некоторыми итальянцами, «Мадонной» Филиппо Липпи, с золотым фоном, как из парчи, великолепные портреты Тинторетто; прелесть Тьеполо. (Однако гладкое, сладкое совершенство Рафаэля опять оставляет меня совершенно холодным.) Сильнее всего очарован ужасно-резвящимся, зловеще-сочным народным гуляньем Брюгеля и изумительным Кранахом: святой Иероним, с белочкой, птицами, кротко-покойными львами, с благоговейной точностью изображенный в своей просторной комнате ученого… Очень пленен Пуссеном: Мадонна с голубой драпировкой. (Атлетичность его фигур. Мистерия этой ясности, непостижимая глубина этой прозрачности…) Несколько маленьких вещей Рембрандта огромного содержания; скорбящая голова Давида захватывающе прекрасна. Равносильны эскизы Дюрера. В девятнадцатом столетии выставлены только французы, слабо, но прелестно представленные рисунками Дега, Родена, Домье, Сезанна, Ренуара и т. д. Увлекательная цирковая наездница с тявкающим пуделем Тулуз-Лотрека. Современные американцы почти сплошь слабы. Почти ничего нового, никакой оригинальной мысли, нет ничего, что могло бы стать вровень с современным американским романом (Хемингуэй, Фолкнер, Вулф). У европейских Contemporains[256] уйма интересного и прекрасного. Радость от Брока, Дюфи, Утрилло, Фламинка. Восхищение виртуозно написанным и очень тонко прочувствованным пейзажем Темзы Кокошки. Из современных немцев для меня несомненен еще только Бекман. (Клее, который продолжает быть популярным, не немец. А Хофер, Нольде, Дикс? «Ça n'existe pas»[257]. Даже если бы не было больше Либермана, утрата не была бы столь уж горькой…) Бекман, единственный, обладает подлинным пафосом, убедительным стилем, оригинальным видением. Искажение его садистской готики может отталкивать, вызывающая агрессивность палитра также часто неприятно задевает («il est très boche»[258]); но в каждой его картине говорит сильная, внутренне обеспокоенная, борющаяся личность. Отсюда убеждающая сила этого искусства, которое по своей целенаправленности, своей интенсивности, своему трагизму может сравниться, скажем, с искусством Руо. Но что представляет из себя такой горестно проблематичный и ограниченный талант, как Бекман или Руальт, рядом с демонически переменчивым, действительно универсальным творцом? Среди многих дарований есть только один гений: Пикассо.

В поезде (где-то в штате Невада), 16 сентября. Пикассо меня не отпускает. Его картина, околдовавшая меня в Сан-Франциско, — фигура спящего юноши — относится к одному из его полуклассицистических периодов. Строгая грация и точность контура заставляют думать об Энгре. Но разве у него или другого мастера найдешь такую одновременно невинно-веселую и лукавую игру розовато-размытых и пурпурно насыщенных красок? Нечто такое может только Пикассо, которому доступно все.

Воспоминания о его огромном, огромнейшем труде являются, когда я закрываю глаза. Магический калейдоскоп стремительно бурных красок, меняющихся фигур! Стеклянно-блеклая голубизна раннего периода с его любительницей абсента, хрупкими цирковыми детьми, нищими на берегу моря; возвышенная миловидность и классическое достоинство мальчика с лошадью, коричневого мальчика с серой лошадью на коричневом фоне, под серым небом; затем искажение, вторжение Африки: из просветленнейшего благородного лица появляется гримаса Конго. После кубистского эксперимента военной эпохи приходит новый расцвет: в идиллии балкона 1919 года растворяется спазм, краски снова сверкают, появляется гитара — символ, победный трофей: живопись снова проясняется. Надолго ли? Гигантские женские фигуры 1920 года с гипертрофированными руками, ногами и грудями, кажется, стоят в своей горестной массивности между преисподней и Олимпом. Однако уже вскоре достигается совершенная гармония; некоторые шедевры этого классического периода в их прелестной точности и сдержанном совершенстве свежи у меня в памяти: мать с ребенком, римская любовная пара, изумительно ясные, любовно точные портреты мадам Пикассо, серьезный Арлекин в черной шляпе. Но в таком покое, таком величавом хладнокровии уже таится новый риск. После прозрачной объективности еще раз гримасничание, еще раз абстракция. Динамика, не знающая устали, удовлетворения, может иногда празднично-неистово разрядиться в пожаре цвета. Королевски яркий петух, которым я восхищался в нью-йоркском Музее современного искусства, — это чистое горение, цветная жар-птица; а также увиденный со стороны ужасный лик в дико намалеванных «двойных профилях». Но ноздри и глаза здесь чудовищным образом раздвоены, кажутся самодовлеюще торжествующими красным, зеленым, синим, желтым и черным, подобно стихии, которой не обуздать. Но в композиции «Герника» пламя гаснет или как-то тускнеет до бледного накала. Никакого свечения больше! Апокалипсическая сцена бесцветна, безутешна,

вся под властью жеста отчаяния павшего человека, вопля истерзанной твари. Плачущая лошадь в Пикассовой «Гернике» — со времен Грюнвальда такой муки не изображалось ни на одном полотне.

Несомненно, Пикассо не только величайший живописец эпохи, но и величайший художник. С ним не может сравниться ни один поэт или композитор. Его творческая потенция производит удивительное впечатление, даже тревожное, чуть ли не чудовищное в столетие скромных измерений и редуцированных сил. Перед лицом этого вновь и вновь саморазлагающегося, самопревосходящего мастерства, этой суверенно разыгрывающейся и одновременно трагически одержимой продуктивности нельзя не задать себе вопроса: как он это делает? Все-таки здесь что-то нечисто…

Снова и снова желание написать о Пикассо; эдакое большое эссе, может быть книгу. Но о нем уже так много написано. И так много вещей, о которых мне бы хотелось написать.

Нью-Йорк, 20 сентября. Наконец известие от Э. Всего три слова: «Safe so far»[259]. Довольно относительное утешение.

Голо и Генрих в Лиссабоне.

Слухи, что Андре Жид хочет прибыть сюда.

24 сентября. Закончена новелла «Полным ходом», мой первый повествовательный опыт на новом языке. Не доволен. Эпического стиля достичь, кажется, несравненно сложнее, чем критически-толковательного или репортажно-отчетного.

25 сентября. Журнал выходить будет! Больших денежных средств в моем распоряжении нет; но выигрывает тот, кто рискует, а у меня есть желание рискнуть.

Обе первые рукописи для первого номера поступили, от Олдоса Хаксли и Бруно Вальтера. Неплохое начало! Кертис будет, естественно, нашим театральным критиком. Даровитая Муриэль Рукейзер, с которой я прямо-таки подружился, обещает стихи. Хочет сотрудничать и Уистон (Оден). Обстоятельные разговоры с Карсон Мак-Каллерс, Робертом Шервудом (который считается в последнее время одним из приближенных советников Рузвельта), Робертом Натаном (популярное имя, вдобавок писатель на уровне: может быть полезен!), Хорасом Грегори (лирик и критик, очень почитаем у авангарда) и другими. Смущающее изобилие новых знакомств, все в связи с проектом. Особенно отрадная встреча с Кристофером Лазаром; тип молодого американца, находящегося под сильным европейским влиянием, при этом не

без болезненно-меланхолических черт. Похож на Вольфганга Гельмерта. Так все вновь возвращается… Между прочим, именно Лазар склоняет меня к тому, чтобы изменить название журнала. «Zero Hour» звучит слишком тревожаще; люди этого не любят. Из новых названий, которые обсуждают, мне наиболее светит «The Cross-Road»[260]. То, что мы приближаемся к перекрестку, кто из нас не ощущает?

26 сентября. Телеграмма от Милейн о страшном приключении бедной Моники. Она была с Лани на пароходе «Сити ов Бенарес», который — на пути из Англии в Канаду — несколько дней назад был торпедирован и потоплен немецкой подводной лодкой. Лани утонул; с ним сотни английских детей, которых думали доставить в безопасное место. Моника жива. Снова в Лондоне — «safe so far»…

13 октября. Прибытие греческого парохода «Неа Хеллас» с грузом эмигрировавших немецких писателей, среди них Генрих Манн со своей женой и Голо, Франц Верфель с Альмой Малер-Верфель и много других знакомых лиц. Большое приветствие в порту, где находятся также Волшебник и Милейн. Не может отсутствовать, естественно, и Фрэнк Кингдон, заслуги которого в спасении особенно велики. Я прихожу с Германом Кестеном, который уже некоторое время в Нью-Йорке. Праздничное настроение, многократные рукопожатия с Альфредом Польгаром, Германом Будзиславским и т. д. Почти все беженцы в прямо-таки хорошей форме, отдохнувшие и загорелые после долгого морского путешествия. Только фрау Альма производит впечатление какой-то съежившейся, поверженной королевы до мозга костей. Впрочем, ей довелось многое испытать. Каждый привез с собой свою страшную историю. Генрих на ленче в «Бедфорде», с родителями, Гумпертом, Аннемари С., рассказывает о своем ночном бегстве через франко-испанскую границу. Крутая горная тропа, по которой приходилось карабкаться, была, как констатировал рассказчик с мягким порицанием, «задумана, собственно, для коз, а не для писателя зрелого возраста. И вообще, чего ради? В конце концов, не преступник же!»

Но теперь они все же здесь — «safe so far»…

Быстрейшее возобновление прерванного разговора с Голо. Его высокий интеллект, его добрая воля и к тому же братски доверительный тон. Благотворный, после столь многих щепетильных, бесцельных дебатов с чужим народом.

14 октября. На чаепитие к Г. Д. Уэллсу, в доме банкира

Томаса В. Ламонта. Диковинный темный, старинный маленький замок с кривоногой прислугой, очень уж большим, очень медленным, по-китайски декорированным лифтом. Уэллс еще спит, когда я появляюсь к назначенному часу; его будит дворецкий. Позднее подается чай и muffins[261] с апельсиновым мармеладом, все великолепного качества.

Мастер показывается в особенно желчно-агрессивном настроении. Серый, исподлобья, блеклый, злой взгляд, которым он меня изучает, еще больше леденеет, когда я отваживаюсь намекнуть на мой журнал. Литературное обозрение? Уэллс трясется от неодобрения и пренебрежения. Что за детская идея! «Я не хочу ничего общего иметь с подобным!» При этом не без известной старомодной politesse [262] подносит мне чай и muffins. Список моих сотрудников, который он с неожиданной тщательностью изучает, побуждает его к новым атакам. На каждое имя ему приходит в голову какая-нибудь шуточка: «Huxley? What a fool… Benesh? A complete failure! One of the most depressing caracters…» [263] В таком стиле. Сочувственная улыбка, с которой он покачивает головой над «good old Stefan Zweig?»[264], еще более уничижительна, чем гневный жест, который у него нашелся для своих прежних земляков Одена и Ишервуда: «They're finished, through! Why did they leave their country? They've made a mistake. They'll everreturn to England»[265]. Так как я при всем этом остаюсь в хорошем расположении и спокоен, он меняет тему и знакомит меня со своими взглядами на немецкий характер. Все немцы — он настаивает на этом сварливым фальцетом — дураки, хвастуны, глупцы, потенциальные преступники. «И эмигранты тоже! — восклицает воинствующий старец. — А немецкой культуры не существует. Что такое немецкая поэзия в сравнении с английской? Кто назовет вашего Гёте наряду с нашим Шекспиром? Вдобавок эти смехотворные немцы считают себя избранным народом, солью земли!»

Я радостно поддакиваю ему: «Right you are![266] А величайшую нелепость немцев вы еще даже не упомянули. Иные заходят так далеко, что принимают всерьез Баха и Бетховена. Too absurd — isn't it?[267]»

На это вынужден засмеяться даже свирепый старик.

Так как ему не удалось меня спровоцировать, он становится вдруг совершенно милым. Я остаюсь у него на час. Интересный разговор о необходимости «мировой республики» после войны. Идея «Empire» кажется этому английскому патриоту давно устаревшей. «И вообще, — уверяет он меня, словно бы торжествуя, — нет больше никакой Empire, только лишь свободная федерация государств. The so-called Empire has no

reality anymore; it's just a memory, just a dream. The Empire is a hallucination»[268].

«A grand old man», великолепный старик, при всех причудах! И он обладает юмором, как и все добрые британцы. На прощание он становится плутоватым и примиренным. Я уже в дверях, когда он кричит мне из-за чайного стола: «Этот Гёте, с которым вы, немцы, так носитесь, пожалуй, и в самом деле был не таким уж бездарем. А что касается вашего глупого журнала, молодой человек, — ну что ж, посмотрим! Если у меня выкроится кое-какая мелочь… Но это есть и останется бредовой идеей. A literary review, of all things![269]»

1 ноября. Э. вернулась из Англии. И уже говорит о своей следующей экспедиции в район войны!

Всеобщее напряжение из-за предстоящих президентских выборов. Сколько от этого зависит! Этот Уэнделл Уилки, возможно, человек доброй воли (он никоим образом не производит впечатления антипатичного); однако его победа над Ф. Д. Р. была бы триумфом для Гитлера и его здешних друзей, «Isolationists»[270], — короче, катастрофой.

Снова слишком много людей. Затянувшиеся развлечения в Принстоне, где я понемногу вхожу в работу. Наброски к эссе об Уитмене; также к новому рассказу «Последний крик», который, может быть, немного лучше предыдущего… Сильные впечатления при чтении Т. С. Элиота. Единственный английский поэт модерна, чья мелодика трогает столь же душевно-непосредственно, как, например, тон позднего Рильке.

Временами часы ужасной печали. Они учащаются. Желание смерти. Леденящее утешение Ничто.

4 ноября. Это было забавно, провести ночь выборов — или по крайней мере первые часы — в одном ультраконсервативном, строго «республиканском» женском клубе, где все надеялись на победу Уилки. Наш стол — Э., Голо, Уистон, Гумперт и я, вместе с прекраснодушной мисс Ц. Н., которая ввела нас, — был единственным, откуда пришли аплодисменты Рузвельту. У остальных в зале лица все больше вытягивались. Громкоговоритель сообщал результаты выборов, которые заставили застыть кровь в жилах членов избранного «Клуба космополитов». «That man in the White House»[271], от него не отделаться, что ли? Еще четыре года Ф. Д. Р.! Республиканки непроизвольно вздыхают, в то время как мы пьем за здоровье победителя.

Позднее на Таймс-сквер; огромное множество людей,

карнавально-праздничное действо с бумажными змеями, конфетти, пестрыми масками и шапками, юмористическими плакатами, заливистыми свистками, хлопушками и прочими ребячествами. Только ли сторонники Рузвельта танцевали и ликовали там? Все казались охвачены единым порывом.

Можно разок порадоваться в массе! Ведь обычно бываешь посторонним. Не в этот раз! Мы кричим вместе с другими.

«Aren't we happy?»[272] Этим смешливым вопросом меня приветствовала Диана Шин, английская супруга американского писателя Винсента Шина. Сначала я не разобрал ее слов при всем этом шуме. Тогда она повторила, прямо поверх голов нескольких горланящих негритянских парней: «We are happy, for a change, aren't we?»[273]

Мы для разнообразия разок счастливы, не так ли?

Это звучало трогательно, как она кричала мне, своим тонким английским голоском, со своим британским акцентом, посреди буйной американской толпы. Винсент Шин, по прозвищу «Джимми», стоял рядом с ней, высокорослый, атлетический, со светлыми волосами на разгоряченном лбу, сияющий и слегка подвыпивший. Еще стаканчик виски, и маленькой британке придется поддерживать своего супруга-великана…

9 ноября. Название журнала изменено, в последний момент. Гленвей Вескотт, чье суждение кое-что для меня значит и чье сотрудничество, между прочим, мне важно, хотя и нашел «The Cross-Road»[274] «вполне милым», но все же не удержался, чтобы не спросить меня: «Don't you think such a name might suggest a somewhat undecided editorial policy?»[275] Нерешительность? Но ведь мы как раз не хотели быть таковыми!

Мой ответ: «If Cross-Road sounds undecided, why, I'll call it DECISION?» [276]

«Решение»?.. Да, на том и остановимся!

14 декабря. Это становится серьезным… Нанята секретарша и «business manager»[277]. У нас есть бюро, банковский счет, прекрасная почтовая бумага. Имеется уже даже своего рода акционерное общество, «Дисижн инкорпорейтед». Странно и даже несколько страшновато: постепенная реализация плана, который считался, собственно, неосуществимым…

Я предаюсь редакционной работе. Все больше совещаний; разбухающая корреспонденция. Очень волнующая и сердечная переписка с Эптоном Синклером, одним из тех «старых борцов», которые остаются всегда молодыми или, скорее, всё молодеют (как Ромен Роллан). Стефан Цвейг — его следует привлечь. Он

должен принадлежать к моим «Board of Editorial Advisors»[278] вместе с Шервудом Андерсоном, У. Х. Оденом, Эдуардом Бенешем (теперь в Чикаго), Жюльеном Грином (тоже в стране), Винсентом Шином, Робертом Е. Шервудом и еще несколькими прекрасными именами.

Особенно рад я статье, которую предоставил для первого номера Сомерсет Моэм: очень добротный, притом занимательнейший этюд об Эдмунде Берке как стилисте. Как Моэм очарователен! Почему-то я ожидал знакомства с несколько чванным и возбужденным господином и потому был приятнейше поражен его бережно чуткими, почти скромными манерами. Мы долго разговаривали о Черчилле, не о государственном муже, а об ораторе и литераторе, в чьей великолепно окрыленной и выспренней прозе столь сильно ощущается влияние Берка. Похвалив могучее красноречие Черчилля, мы также немного остановились на известных слабостях, характерных для его стиля, причем я, к сожалению, сделал бестактное замечание: «Ну что ж, такой старый человек вполне заслуживает снисхождения!» Никогда не забуду несколько расстроенную, словно просящую прощения улыбку, с которой Моэм указал мне на то, что премьер-министр с ним одного возраста.

18 декабря. Первый номер в типографии.

Я едва верил, что Шервуд Андерсон действительно даст нам рассказ. Когда мы с Кертисом две недели тому назад засвидетельствовали ему свое почтение, то нашли его дружелюбным, даже благосклонным, но ничего не обещающим. И вот прибывает от него этот прекрасный дар, «Девушка у очага»: история утонченной простоты и чувственно-меланхолической грации, очень трогательная, очень выигрышная, «настоящий Шервуд Андерсон». Что за достойный любви писатель! (В Европе недостаточно известный.)

Дальнейшая общественная суета в связи с журналом, иногда развлекающая, иногда утомляющая; всегда крадущая время.

Визиты к Стефену Винсенту Бене (одному из моих «distinguished sponosors»[279]; к Альваресу Дель Вайсу (первое свидание со времени Барселоны, отрадное); к Жюлю Ромэну (который теперь очень активно и интенсивно стоит «на нашей стороне» — что бывало отнюдь не всегда…); к Карло Сфорце (одухотворен, элегантен и отважен, как всегда); к Жаку Маритену (достаточно хрупкий облик поистине жреческого достоинства, совершенно при этом лишенный маслено-поповских черт); к Ноэлю Ковард, которого нахожу (приятно пораженный, как и в случае Моэма) гораздо проще и приятнее, чем следовало бы

ожидать от профессионального, всемирно известного Charmeur. Естественно, он «честолюбив», однако он также тактичен и интеллигентен, отчего его честолюбие не вырождается в докучливое и смешное. Интеллигентное желание нравиться — не порок, а добродетель: оно делает вежливым и внимательным, даже рыцарственным. Да, Ноэль Ковард мне столь симпатичен, может быть, прежде всего этой рыцарской чертой. Впрочем, у него достаточно породистости и личностности, чтобы позволять себе некоторое позерство и аффектации, которые у его подражателей, у «would-be Noel Cowards», производят жалкое впечатление.

Необычайно занимательный, хотя необычайно крадущий время и утомительный Souper [280] у Анри Бернстайна, французского драматурга, в его номере в «Уолдорф-Астори», с Дороти Томпсон, Робертом Шервудом и одним голливудским «продюсером». Шервуд, чья пьеса «Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца» делает теперь на Бродвее полные сборы, больше молчит (у него несколько неловкая, скованная манера, часто присущая очень высокорослым мужчинам). А что касается бедного киномагната, ему едва ли позволили вставить хоть словечко. Разговором завладели Анри и Дороти, но как! Оба полемизировали, рассказывали, острили, нещадно бранились. Если Бернстайнова статья для моего первого номера (все еще не отправленная) лишь наполовину столь блистательная, как его small talk[281], то «Дисижн» станет сенсацией. Старый сочинитель комедий и комедиант оказался raconteur[282] богатой изобретательности и замечательной выносливости. В три часа утра он все еще был в великолепной форме. Около четырех, правда, он начал сдавать, тогда как formidable[283] Дороти становилась все свежее. Под конец месье лежал где-то в глубине софы, отрешенный, не в силах вымолвить ничего, кроме монотонных фраз, которыми он присягал на верность своей далекой подруге, мадемуазель Еве Курье. «Eve est incomporable! Ah, comme elle est belle! Quelle femme! Elle est in-com-pa-rable…»[284] Мисс Томпсон все еще сидела за шампанским. В пять утра она закончила свой удивительный монолог о войне и мире, о настоящем и будущем кратким сообщением, что теперь ей пора идти домой: «My secretary is waiting for me. I have to dictate a couple of articles before lunch»[285].

3 января 1941 года. Томский (Кертис) в военной форме! Несколько месяцев назад он записался в Национальную гвардию, и теперь он должен со своим полком отправиться в учебный лагерь куда-то на юг, в штат Джорджия. Тяжелые сапоги, куртка с золочеными пуговицами, толстая рубаха хаки — все выглядит на

нем так нелепо. Мне больно видеть его в таком маскараде. Военное не идет ему, он испытывает отвращение к войне. Сколько у него было планов, в связи с «Дисижн» к примеру. Без его помощи журнала бы не было, и как раз теперь, за несколько дней до появления первого номера, он должен прибыть в Джорджию. Зачем? Чтобы учиться стрелять. Пристыжающая мысль: что это несчастье принесло миру Furor Teutonicus[286]! Поэтому мой друг Кертис, штатский американец, теперь в военной форме… Но этот обремененный виной народ, разве я не принадлежу к нему? Я чувствую себя совиновником. Я прошу у Томского прощения.

10 января. Первый номер журнала, кажется, нравится. Много лестных писем и рецензий; и подписка растет, что важнее. Но сам я отнюдь не совсем доволен, «Дисижн» не должен стать парадом блестящих имен. Не так много «Prominente» [287]! Побольше молодежи! Больше эксперимента!

26 января. Волшебник, Милейн и Э. в Вашингтоне в качестве гостей президента и его жены. Э. присылает мне письмо из Белого дома. Простейшая почтовая бумага скромного формата; вверху, маленькими золотыми буквами, отправитель: «The White House, Washington D. C.»

Не могу отрицать, что этот клочок бумаги меня как-то впечатляет, завораживает. Весть из дома, где, может быть, именно сейчас, именно сегодня решается будущее нашей цивилизации. От Америки все зависит. Все зависит от Рузвельта.

2 февраля. С Э., Гумпертом, Лоттой Вальтер на премьере австрийского театра: «Ужасные родители» Кокто. Большое удовольствие увидеть наконец на сцене занимательно двойственный, хитро сконструированный очерк, правда лишь на немецком (Кокто едва ли поддается переводу), в этой часто скрупулезно наивной постановке и перед довольно призрачным партером. Как «большая премьера» в Вене или Берлине пятнадцать лет назад! Вон сидит Альфред Польгар со своей женой; там Курт Пинтус рядом с Манфредом Георгом, теперь, между прочим, редактирующим в Нью-Йорке очень хороший немецко-еврейский еженедельник, «Ауфбау». Курт Рисс тоже, естественно, здесь, а также Кестен, Фердинанд Брукнер, Франц Шенбернер, Оскар Мария Граф… Сколько добрых знакомых! Генрих Эдуард Якоб рассказывает мне через два ряда партера, что умер Антон Ку, уже несколько дней тому назад. Жутко, что его исчезновение, даже в этом замкнутом эмигрантском кругу, поначалу не было замечено. А ведь был как-никак почти

знаменитым человеком!

Как бесшумно и беззвучно уходят ныне…

17 марта. Вчера несколько часов у Уистона (Одена); работали над «непринужденной беседой», которую мы должны вести друг с другом послезавтра на радио. Тема — «Роль писателя в политическом кризисе», — конечно, слишком многозначна, чтобы даже хоть приблизительно быть исчерпанной за четверть часа. Несмотря на это, может получиться интереснейший диалог, как раз благодаря противоположности наших точек зрения. Уистон — прежде (еще три-четыре года назад!) гораздо более решительный политический активист, чем когда-либо я, — теперь придерживается такого мнения, что писатель должен избегать всякого соприкосновения с политической сферой. Тот самый У. Х. Оден, который мог в 1937 году написать прекрасное боевое стихотворение «Испания», в 1941 году выдает для радиослушателей следующее: «Оглядываясь на политическую активность литературного мира в последние годы, я не могу отделаться от ощущения, что мы, может быть, воздействовали бы сильнее, большего бы добились при большей сдержанности и умеренности. Ведь художник, даже если он только на полпути к успеху, занимает в современном, демократическом обществе исключительное положение, так как он пользуется гораздо большей свободой передвижения и действия, чем все прочие граждане; ни государство, ни какой-либо другой руководитель не могут приказывать ему. Однако именно эта независимость, эта социальная раскрепощенность и является, может быть, тем, что замутняет или искажает его политическое суждение; ибо „свободный художник“ никогда не испытывал проблему политической власти на собственной шкуре и, значит, никогда хорошенько не понимал ее. Так может быть объяснена слабость, которую показывает политизирующий художник при экстремальных положениях, его сомнительная склонность искать спасения либо в анархии, либо же у „хорошего диктатора“».

Оден будет уговаривать также нас никогда не считать окончательной, абсолютной истиной никакую политическую формулу, никакую социальную программу, на что я тогда все же замечу: «Конечно, любой фанатизм, любая „слепая вера“ вредна и опасна; но столь же большая опасность заключается в том парализующем скепсисе, перед которым становятся равно сомнительными, равно относительными все ценности. Разумеется, ни одна политическая догма не содержит „абсолютной истины“, однако отдельные догмы удалены от этого идеала еще дальше, чем другие, из чего для интеллектуала,

„свободного писателя“ — тоже или именно для него, — все-таки, пожалуй, проистекает обязанность выбора».

Уистон со мной в этом соглашается, напоминаю, однако, под конец, что собственное решение художника и интеллектуала осуществляется не в политической сфере, но в моральной плоскости. «Прежде всего мы должны вновь обрести смысл для абсолютных этически-религиозных ценностей. Если нам не удается это, то нам нечего будет противопоставить тоталитаристскому притязанию власти государства».

8 апреля. Четвертый номер «Дисижн» почти удовлетворителен. Очень существенно, очень актуально сочинение толкового, прогрессивного Макса Лернера «Демократия для военного поколения» с его требованием точно сформулированных, умных и реализуемых демократических военных целей. Статья Мориса Самуэля, «Гибель разума», также кажется мне достойной внимания. Превосходно сказано о психологии и методах современной пропаганды, причем геббельсовскую он берет только как яркий пример. Всякая пропаганда, и доброжелательная тоже, стремится к оглуплению масс: «The real objective is, always and continuously, the depression of the human intelligence»[288].

Что касается моего собственного (несколько длинноватого) эссе об Уолте Уитмене, то могу лишь надеяться, что удалось всколыхнуть и передать читателю по меньшей мере часть чувства, которое волновало меня при написании. Очень хотелось мне узнать, понравился ли бы мой опыт Шервуду Андерсону, американскому писателю реального масштаба…

Смерть Андерсона — в путешествии, где-то далеко от дома, «this far-away death»[289] (как это звучало в прекрасном некрологе Мюриэла Рюкейсера) — опечалила меня больше, чем могло бы показаться разумным, принимая во внимание наше краткое знакомство. Но, может быть, именно это и опечалило меня, что я его так мало узнал, не искал сближения с ним, хотя он принял меня с таким дружелюбием.

Вспоминаю послеобеденный час в его довольно узкой, довольно темной комнате нью-йоркского отеля, при этом был Томский. Лицо Андерсона понравилось мне с первого взгляда; и чем дольше я на него глядел, тем милее оно мне становилось. Это было лицо с обширной спокойной поверхностью, уже несколько вялое, несколько отечное, но при том крепкое; хорошее, содержательное лицо. Лицо человека, который много пережил и многое понял: ему близко все человечество, целая шкала желаний

и страстей: для мелочности, злобы, подлостей у него никогда не было времени.

На прощание он сказал нам: «Come again»[290]. Но Томскому надо было в Джорджию, а я был слишком занят. Таким образом, визит не повторился. А я ведь мог бы столькому у него научиться.

20 апреля. Наконец письмо от Андре Жида! Он в Южной Франции и, кажется, хочет в дальнейшем там остаться; слухи о его предстоящей поездке в Америку были, значит, снова «without any foundation»[291],взяты с потолка. Впрочем, тон его письма слишком явно дает понять, что он находится в состоянии депрессии и уныния. Пришлет ли он мне что-нибудь для «Дисижн»? Его согласие звучит весьма условно: «Я хочу попытаться по возможности скоро прислать Вам несколько страниц. Но я не рискую дать твердое обещание, ибо из пяти дней как минимум четыре — если не девять из десяти! — я оказываюсь совершенно неспособным к работе. А к внутренним помехам добавляются внешние; все эти „обстоятельства“, которые надо учитывать…»

Слово «обстоятельства» — в кавычках! — говорит достаточно. Цензор! Виши! Близость немецкой власти!

Жид — пленник.

2 июня. Журнал доставляет гораздо больше хлопот, приносит гораздо больше неприятностей и волнений, чем я когда-либо представлял себе. Самое обременительное — это, естественно, денежная проблема. Значит, все-таки было ошибкой начинать подобное предприятие с относительно ничтожными средствами? Меня предупреждали, но я не хотел слушать. А теперь не знаю, как оплатить следующий счет из типографии… Мучительные переговоры с деньгодателями, которые ничего не хотят давать. Ах, эти богачи! Как они капризны! Как жестоки! Как только они замечают, что имеют виды на их любимый счет в банке, они идут на попятную. Однако же, не будь они такими скупыми, богатыми они оставались бы недолго. А если бы они не имели больше денег, то что бы тогда от них осталось?

При всем том у меня все-таки есть радость от «Дисижн», и я не думаю отказываться от своего беспокойного дитяти. Доброе сотрудничество с одаренным и чутким, правда также и несколько капризно-трудным Кристофером Лазаром, который теперь принадлежит к моим «editorial staff»[292]. Интересные статьи молодых американцев. Сколько здесь талантов! В июньском номере одна определенно странная, грустно-гротескная «short

story»[293] Юдоры Уэлти, чье имя следует заметить. (Она родом с «глубокого Юга», как Карсон Мак-Каллерс, как Фолкнер, под влиянием которого обе, Уэлти и Мак-Каллерс, находятся.) В критическом отделе блистательнейшая, очень острая, между прочим, довольно тревожная заметка Мартина Гумперта о Лоренце Деннисе «Американский фашист». («Dennis is unquestionably the brains behind Lindbergh, Anne Marrow, Wheeler, Taft, and all the others who are, knowingly or unknowingly preparing the collapse of democracy»[294].) Для июльской книжки у меня есть большая статья Волшебника о вине и миссии Германии.

29. Нападение Гитлера на Советский Союз — это событие такого огромного значения, что я едва ли осмеливаюсь его комментировать, даже в этих личных заметках, тем более публично. Но следующее я все-таки хочу сегодня записать: в моей первой, интуитивной реакции на чудовищную новость преобладало чувство облегчения. Конечно, испуган, возмущен, потрясен и озабочен тоже. (Как долго сможет продержаться Россия? Неужели свастика будет скоро развеваться на башнях Кремля, как на Пражском Граде и парижских дворцах?) Но все-таки можно вздохнуть. Воздух стал чище. Пакт Сталина — Гитлера, величайшая извращенность и парадокс мировой истории, относится теперь к прошлому, вместе с «Мюнхеном» и другими позорными воспоминаниями…

А будущее?..

В тот же день, позднее. Никто не знает, что будет дальше. Но даже если допустить, что Красная Армия действительно столь слаба, как здесь повсюду, кажется, полагают, вторжение в Советский Союз в любом случае обойдется Гитлеру достаточно дорого. Он совершил ошибку, решающую. Это начало конца.

Он что, сумасшедший, этот Гитлер? Ему бы объединиться с Англией Чемберлена против коммунистической России или с коммунистической Россией против англосаксонского капиталистического мира. Он же нападает на обоих. Да, он сумасшедший — слава Богу!

В своем безумии он осуществил, что не удавалось никакой дипломатии: альянс между Востоком и Западом, между большевизмом и западной демократией, между Москвой и Парижем — Лондоном — Вашингтоном. Если бы этой великой коалиции действительно суждено было бы образоваться и оправдать надежды — не только в войне, но и после нее, — наша подвергающаяся угрозе цивилизация была бы, возможно, спасена. Как хотели бы мы быть благодарны бесноватому Гитлеру

(который был бы тогда уже давно мертвым Гитлером…)!

10 августа…

Стихи Готфрида Бенна — несмотря ни на что — не выходят из головы:

Лишь август — всюду чудеса:
Срок исполнения обещаний,
Плоды в саду, вино в стакане…
Но где твоих садов краса?

Все счастьем дышит,
Все звенит
Отрадой зрению и слуху…
А ты живешь и служишь духу:
Он Счастья противомагнит.

(Перевод В. Торопова)

«Противомагнит», которому в настоящее время я служу, называется «Дисижн». Журнал держит меня крепко. Я привязан к Нью-Йорку.

Нью-Йорк пылает. Нью-Йорк потеет. Нью-Йорк растекается и дымит, Нью-Йорк воняет, Нью-Йорк стонет, Нью-Йорк расползается — нью-йоркский асфальт уже совсем размягчен, вязкая масса… жара, которая днем кажется адской, ночью становится еще хуже. Никакой прохлады! Никакого дуновения с моря! Только палящее дыхание высотных домов, в нагроможденных стенах которых, кажется, аккумулируется весь пыл дня, как в гигантских печах.

«Лишь август — всюду чудеса…» Я брожу ночами по этим горячим темным улицам, всегда обливаясь потом, всегда один. Я вдыхаю этот влажный, тяжелый, заряженный чувственностью тепличный и парниковый воздух. Я всегда здесь. С распадом нашего принстонского дома — было это, кажется, в апреле, должно быть, — я ни на день не покидал города, ни часа не был на природе. Город мне нравится. Я люблю город. Я люблю этот город. Нью-Йорк нравится мне, даже с размягченным асфальтом. У меня нет тоски по горам или морю. И в людях я не испытываю потребности.

Э. в Англии. Родители в Калифорнии, где хотят осесть окончательно. Из многих моих здешних знакомых, кажется, большинство, почти все сбежали в места попрохладнее. Иногда провожу вечер с Кристофером Лазаром. Или с Ландсхофом, который с некоторых пор здесь. Или с Мюриел Рукейзер, которая

недавно примкнула к редакционному штабу «Дисижн».

Но даже эти немногие спутники исчезают в пятницу после обеда до утра понедельника. Я остаюсь, парализованный, скованный демоном этого беспощадного лета. Я не могу двигаться. Моя комната в «Бедфорде» становится душной клеткой, из которой для меня нет выхода…

Единственное утешение этих адских уик-эндов — звонки из города Саванна в штате Джорджия. Каждое воскресенье доносится дорогой голос Томского из этого чужого южного города, где наверняка еще жарче, чем здесь. У него там номер в отеле; но для него это не клетка, а маленькая гавань, убежище, где он может позволить себе после суровой недели в «Кэмп Стюарт» двадцать четыре часа отдыха. Он рассказывает мне о маршах, учебных стрельбах, грубом сержанте, как все утомительно и пусто, как ненавистно и бессмысленно. Он спрашивает о Нью-Йорке — с какой жадностью он справляется обо всем, что здесь происходит. Между тем происходит так мало… Он спрашивает меня о моей работе. А я так ленив!

В своей воинственной ссылке и рабстве он завидует моему досугу, моей независимости. Знал бы он, как я транжирю время! Как мало удовлетворения и прибыли приносит мне моя свобода! Мне стыдно перед ним. И хотелось бы сделать что-то, что-то совершить, о чем мог бы рассказать ему по телефону. «Дисижн» меня больше не удовлетворяет. Статьи не удовлетворяют. Я хочу написать что-то большее, что-то большое: книгу!

Книгу, на английском языке… с тем, чтобы я имел что сообщить Томскому, когда раздастся междугородный звонок из Саванны. «Imagine! The first chapter is practically finished…»[295]

Книгу…

В тот же день, позднее. Но что за книга?

Время серьезное. Я знаю о серьезном времени. Я считаю себя способным на серьезное. Я хочу написать серьезную книгу, откровенную книгу.

Может ли роман быть совершенно серьезным, совершенно откровенным? Возможно. Но романа я писать не хочу, во всяком случае, теперь. Я устал от всех литературных клише и трюков. Я устал от всех масок, от всякого притворства и искусства. Не устал ли я от самого искусства? Я не хочу больше лгать. Я не хочу больше играть. Я хочу исповедаться.

Серьезный час — это час исповеди.

11 августа. То, что я нацарапал вчера вечером под влиянием одурманивающей жары и нескольких стопок виски с содовой,

убежден ли еще я в этом теперь, на свежую голову, когда стало прохладнее? И да, и нет. Я был взволнован, если не «взбудоражен», и, пожалуй, хватил через край. «Устал от искусства»? Вовсе нет! Но идея как раз теперь, в момент кризиса, выступить с «исповедью» — то есть написать автобиографию — кажется мне привлекательной и приемлемой. Также и без алкоголя и при относительно прохладной погоде.

Всякое честное, точное свидетельство засчитывается и имеет вес. Почему мое должно обесцениться?

Каждая человеческая жизнь единственна в своем роде и одновременно значительна; в каждой личной судьбе, каждой индивидуальной форме отражается и варьируется драма некоего поколения, некоего класса, некоего народа и некоего времени.

Что же за историю мне следует рассказать?

Историю некоего интеллигента между двумя мировыми войнами, то есть человека, которому решающие годы жизни пришлось провести в социальном и духовном вакууме: искренне — но безуспешно — стремящегося найти контакт с какой-либо общностью, подчиниться какому-либо порядку; всегда блуждающего, всегда беспокойного, тревожного, гонимого, всегда в поиске…;

историю немца, который хотел быть европейцем, историю европейца, который хотел быть гражданином мира;

историю индивидуалиста, который анархии страшится столь же сильно, как и стандартизации, «унификации», «уравниловки»;

историю писателя, чьи первичные интересы лежат в эстетико-религиозно-эротической сфере, который, однако, под давлением обстоятельств доходит до политически сознательно-ответственной, даже боевой позиции…

Мою историю — возможно честнее, возможно точнее записать со всеми ее обусловленными временем, характерными для этого времени чертами, с ее особой и отдельной проблематикой. (Тень отцовской славы на моем пути… да, это тоже относится сюда.)

Мне хотелось бы тотчас приступить к работе. Хочу поговорить об этом с Ландсхофом. Может быть, это станет чем-то для американского издательства, открытого им здесь вместе с Берманом Фишером.

В тот же день, позднее. Быть откровенным. Не лгать больше! Иметь мужество перед самим собой! Почему я должен стараться кому-то льстить или производить впечатление? Я один. Я свободен. Я ничем не владею, я не хочу никакого имущества. Почему я должен дипломатничать? На кого мне оглядываться? Меня не беспокоят ни состояние биржи, ни сексуальные табу

буржуазных или марксистских фанатиков, ни фразы какого-либо национализма. Национализм, любой национализм, я считаю опаснейшим и глупейшим заблуждением современного человека. Я расстался со своей нацией, потому что мне претит ее агрессивное бахвальство. Я верю в неделимую, универсальную цивилизацию, которой требует столетие.

В тот же день, еще позднее. Один? Свободен? Я таков. Но разве это причина для ликования? Свобода может вести к отчаянию. Страх перед отчаянием.

22 августа. Две цитаты я охотно бы поставил перед своей автобиографией в качестве эпиграфа. Одна из дневников Франца Кафки:

«Не отчаиваться, также и от того, что не отчаиваешься. Когда, кажется, всему конец, все-таки появляются еще новые силы, а это как раз и означает, что ты живешь».

Другая, из «Тесных врат» Андре Жида:

«Je me figure la joie céleste non comme une confusion en Dieu, mais comme un rapprochement infini, continu… et si je ne craignais de jouer sur un mot, je dirais que je ferais fi d'une joie qui ne serait pas progressive»[296].

Без даты. Если бы Бога не было, нам надо было бы его изобрести. Можно ли было бы требовать от Творца, чтобы он застыл в не-бытии, тогда как его творение ненасытно услаждает себя в тысячекратном изменении? Каким непостижимым, непереносимым страданием было бы для него не иметь возможности страдать с нами.

Не будь его — творенье из жалости должно бы сотворить его.

В тот же день, позднее. Но ОН ЕСТЬ!

Поскольку мы в состоянии представить себе его существование, то его не-существование непредставимо. Концепция божественного должна быть божественного происхождения. Вопрос о Боге, поиски Бога становятся доказательством Бога.

Откуда исходит наш творческий импульс, если не от творца?

И все же соотносится это так, что Бог нуждается в человеке, зависит от человека. В нашем мышлении Он осознает сам себя: в нашем страстном желании Он узнает собственное чувство. Может быть — очень вероятным образом. — Он имеет еще и другие инструменты само-познания и само-идентификации; мы не являемся единственным Его зеркалом. Но даже если бы наше

понятие Бога было лишь одним среди бесконечно многих, без Него бы не обошлись. Его бесконечная сущность хочет быть бесконечно угадываемой, обдумываемой, толкуемой.

Он нуждается в нас…

Это понимание содержит в себе ответственность чрезвычайного рода. Бог хочет, чтобы мы были угодны ему, здесь и теперь, на нашей земной арене. Другие миры нас не касаются. Я верю, что другие миры есть; но они не имеют никакого отношения к нашему здешнему и теперешнему дому, нашей теперешней, здешней драме. Мысль об этих других мирах скорее способна смутить наш дух и отвлечь от его теперешне-здешней единственно уместной задачи.

Так как мы можем бесконечное охватить только в сравнении с конечным, то конечное приобретает бесконечное значение; либо лишь через конечное наш путь ведет к бесконечному.

Он нуждается в нас. Если мы не осуществляемся в конечном, то Его бесконечность тоже остается неосуществленной. Наше поражение было бы и Его; наша ложь причиняет вред Его истине; наш преходящий позор искажает, ранит Его непреходящий образ.

Чем больше я думаю о Боге, чем углубленнее я им занимаюсь, тем отчетливее становится для меня огромная важность, метафизическая уместность наших теперешне-здешних проблем и афер.

3 сентября. Очень занят предварительной работой к автобиографии «Поворотный пункт» и «Дисижн». Сентябрьский номер доставляет мне радость, прежде всего «Английской антологией военного времени». Важные работы Гарольда Ласки, Джулиана Хаксли, Э. М. Форстера, Стивена Спендера, Дилана Томаса. Все, что приходит сейчас из Англии, высокого уровня и свидетельствует о нравственно-политической зрелости. Благородно хладнокровна, элегантна решимость, с которой утверждается подвергающаяся угрозе, израненная Англия. Никакого ура-патриотизма! Никакого размахивания знаменами и бряцанья оружием! Никакой ненависти! Сознают за собой моральные ценности, о которых идет речь в этой войне и которыми нельзя в процессе борьбы поступаться. Хотят выиграть не только войну, но и мир.

Тут же в сентябрьском номере — чтобы мы не слишком обольщались! — сочинение со зловещим названием «Послевоенный апокалипсис». Автор, Генри Г. Альсберг (литературный поборник рузвельтовской философии New Deal), пророчит хаотически вздыбленный, трагически разлаженный мир после войны. «The outlook is dark, whichever way you look at

it…»[297]

16 сентября. Работа над немецкой антологией для октябрьского номера: «Короткая история» А. М. Фрея; эссе Франка Кингдона, Генриха Манна, Германа Кестена, Густава Реглера; лирика Бертольта Брехта и Стефана Георге, которого здесь почти не знают. Беседа о величии и опасности этой очень немецкой, сомнительно достойной любви поэтической фигуры с Петером Фирэком, симпатичным, одаренным сыном политически подозрительного, второклассного в литературном отношении старого Джорджа Сильвестра Фирэка. Тогда как пользующийся дурной славой папа делает пропаганду для нацистской Германии, Петер исследует духовно-исторические корни и исторические фоны современного немецкого психоза. В его книге «Политические махинации от романтиков до Гитлера» есть чему поучиться, даже мне, считающему себя немного разбирающимся в лабиринтах германской души. Но этот юный американец (отчасти немецкого происхождения), кажется, почти так же близко знаком с проблемой немецкой самобытности, как наш брат, — подходя к ней все же с большей дистанции.

Договорился с Петером, что он сделает вступление к циклу стихов Георге в октябрьский номер журнала. Хотел сначала это сделать сам, однако мне недостает объективности: мой образ Георге получился бы или слишком идеализированным, или слишком неприязненным. (Или и то и другое, что было бы хуже всего!)

В тот же день, позднее. Сегодня после обеда, в баре «Бедфорд», мы с Э. возбудили недовольство одного пожилого джентльмена, разговаривая друг с другом по-немецки. Поначалу мы просто не сообразили, почему он за своим столом так зловеще ворчал и брюзжал, пока не вскочил и не подступил к нам с пурпурным от гнева лицом. «Прекратить! — гаркнул холерический старец. (Это было прямо-таки устрашающе: его мог хватить удар.) — That damned Nazi talk! Shut up! Or speak English! [298]»

Он бушевал бы еще долго, но Э., в высшей степени любезно, прервала его: «Delighted to meet you, Sir»[299]. Она говорила с мягким британским акцентом, и это произвело на старика такое впечатление, что он буквально остолбенел, открыл рот. Рот оставался открытым, в то время как Э. с прекрасным достоинством продолжала: «Мне понятно ваше ожесточение, сударь; я разделяю ваше отвращение к ужасам нацизма. Но поскольку Америка все еще не решается бороться с ужасным

режимом или хотя бы только бойкотировать его, что толку от бойкота языка, который, между прочим, в своей правильной и чистой форме едва ли имеет какое-либо родство с нацистской тарабарщиной?»

17 сентября. «Мифы детства» (первая глава «Поворотного пункта») закончены. Странно это вызывание из небытия самого раннего переживания, на чужом языке…

А если когда-нибудь, позже, после войны, я захочу опубликовать «Поворотный пункт» на немецком языке — кому ее переводить? Мне, естественно, — кому же еще? Я не мог бы позволить кому-нибудь другому рассказывать мою жизнь по-немецки. Я должен сделать это сам.

Еще раз написать целую книгу! Кошмар… (Также и эти записки — набросанные на английском языке — должны быть переданы моим alter ego, моим немецким «я».)

В тот же день, позднее. Языковая проблема в высшей степени мучительна, в высшей степени запутанна…

Жюльен Грин, который теперь тоже пишет по-английски (кстати, тоже книгу воспоминаний), рассказывал мне недавно о своих трудностях. Это при том, что он, родом из Франции и американец по воспитанию, вырос в атмосфере двуязычия! Однако есть ли оно вообще, полное двуязычие? Решившись перейти на французский, Грин чувствует себя — как он меня заверяет — в английском уже не совсем дома, хотя это все-таки его «первый язык»…

Если лингвистическая метаморфоза (которая в его-то случае является лишь обратным превращением, возвращением на родину) уже ему доставляет столько мук и усилий, как же мне надеяться ее преодолеть?

Чем глубже вникаю в английский, тем сильнее ощущаю собственную недостаточность. Как бесконечно богат этот язык, язык Шекспира и Берка, Мелвилла и Уитмена! И как отличается он от нашего!

Нашего? Разве я уже наполовину не отчужден от немецкого? Может быть, это сводится к тому, что разучиваешься владеть родным языком, так и не познав как следует новый…

Но если у меня не будет никакого языка, то что мне остается?..

В тот же день, еще позднее. Поражен этими строками, которые нашел у Т. С. Элиота (в его стихотворении «Ист Кокер»):

Итак, я на полпути, переживший двадцатилетие,
Пожалуй, загубленное двадцатилетие, ENTRE deux Guerres
Пытаюсь учиться словам и каждый раз
Начинаю сначала до неизведанной неудачи…

(Перевод Андрея Сергеева)

Мастер, который умеет писать на своем собственном языке, а борется со словом, за слово, как какой-нибудь новичок или как некто пытающийся перестроиться на новый язык.

Для него, как для нас, для каждого, кто серьезно относится к языку и к жизни, — снова и снова ученье и переучиванье, снова и снова крушение, а затем «the wholly new start», совершенно новое начало.

For us, — говорит Элиот, — there is only the frying. The rest is not of our business.

Для нас имеет значение только попытка. Остальное — это не наше дело. Хорошее, утешительное слово!

7 декабря. Пёрл-Харбор…{276}

Моя реакция примерно такая же, как полгода назад, при вторжении в Советский Союз; та же смесь ужаса и облегчения (причем момент облегчения теперь опять же перевешивает). Но на этот раз все ближе, действительнее. Чувство прямой, личной затронутости.

12 декабря. Почти невозможно думать о чем-нибудь другом, кроме «великих событий».

Америка в войне с нацистской Германией. Я хочу в американскую армию. (Однако я не «citizen»[300], следовательно, не могу явиться добровольцем, но должен покорнейше ждать, пока меня не призовут…)

20 декабря. Только «великие события» в голове? Но работа над «Поворотным пунктом» идет дальше, и борьба за «Дисижн» также. В день нападения на Пёрл-Харбор моим спонтанным чувством было: конец журналу! К чему еще «Дисижн»? Решение принимается где-то в другом месте… Однако Томский и другие друзья сделали все, чтобы настроить меня иначе. Космополитически-прогрессивно ориентированное обозрение высокого духовного уровня — так я был заверен — играет как раз сейчас роль животворную и должно быть непременно спасено. Быть по сему! Но трудности нагромождаются. Денежная проблема

все больше действует мне на нервы.

Утешает чтение (снова и снова Жид, Элиот, Томас Вулф); утешает музыка.

Восхитительный вечер в «Метрополитен-опера»: «Волшебная флейта» (дирижировал Бруно Вальтер). Глубже, чем когда-либо, растроган благородной возвышенностью, улыбчивым величием произведения. Какое струящееся богатство музыкальной выдумки, многократно изменяющееся, точно и искренне сформулированной эмоции! Моцартовский гений раскрывается, раздаривается здесь во всей своей полноте; «Волшебная флейта» превосходит даже «Фигаро», да и, пожалуй, «Дон Жуана» по драматическому эффекту и смелому вдохновению. Либретто мне тоже нравится, несмотря на наивные ошибки. Очень обаятельная, очень соблазнительная смесь просветительского масонского эпоса и каприза фантазии, ребячески волшебной проказы и высоко посвященной игры. Торжественная разумность, возведенный в священное common sense[301] Заратустры заставляет думать о позднем Гёте; изумительное многообразие контрастирующих настроений и лиц, это рискованное сосуществование комических и серьезных, бурлескных и нежных элементов напоминает шекспировское универсальное гостеприимство.

Какой грубой и напыщенной, какой несдержанной и вульгарной, какой скучной кажется вагнеровская «музыкальная драма» рядом с этим магически-занимательным, весело-проникновенным искусством! Восхитительная «Волшебная флейта» — не беспутная «Гибель богов» — предвосхищает музыкально-драматический стиль будущего, если предположить это будущее с драмой, с музыкой, со стилем… Пусть же будущие поколения полюбят этот моцартовский шедевр, эту одновременно обучающую гуманизму пьесу и барочный маскарад, raisonable[302] даже и в капризе, благородный и в забаве, во всей его переливчатой совокупности и высокой невинности, со всем его блеском, его ласковостью, его догадками, его грацией, поймут его, будут подражать и, может быть, даже превзойдут!

14 января 1942 года. Перед лицом героизма, с которым сражаются с нацистским вторжением Красная Армия и русский народ, наше суждение о Советском Союзе, кажется, в некотором отношении нуждается в ревизии. Известные тенденции и аспекты политики Кремля, которые зачастую нас травмировали, теперь лишь стали понятными. Как представляются, к примеру, в свете нынешних событий, те пресловутые процессы 1937 года? Огульно-жестокая ликвидация военной и «троцкистской» оппозиции была воспринята тогда в либеральных кругах как непереносимый

скандал. Без процессов 1937 года сегодня, в 1942 году, может, не было бы никакого русского сопротивления… А Финляндия? Мы все вопили благим матом, когда на эту маленькую и популярную страну напал большой и непопулярный Советский Союз. Но что, если мы вознегодовали слишком поспешно? Нет, к его агрессивному акту Советский Союз побудила не страсть к завоеваниям. Сталин напал, чтобы упредить агрессора. Он знал, что планировал Гитлер и как уступчив по отношению к этим планам был антирусский, пронемецкий Гельсингфорс. Стратегическая позиция такой важности должна была быть обеспеченной.

Факт, что Россия является сегодня нашим союзником против нацистской Германии, не должен делать нас слепыми к ошибкам советского режима. Но если бы режим действительно был столь ненавистным и — важнее — если его действительно столь ненавидели русские массы, как более двадцати лет нас пытается уверить реакционная пресса, как объяснять тогда упорный героизм, с которым защищается теперь русский народ? Ведь не скажешь, что любовь к «русской земле» единственный мотив для такого мужества! В 1917 году враг тоже стоял на этой священной земле, что отнюдь не удержало крестьян, рабочих и интеллигенцию от того, чтобы саботировать войну; ибо царизм был нежелателен больше и намеревались сбросить его. И от коммунистической, диктатуры тоже можно было бы теперь избавиться, если преследовать такую цель. А как раз этого-то и нет. Не саботируют: воюют. Кто не задумывается над этим?

(Здесь, правда, можно возразить, что в гитлеровском рейхе тоже не назовешь достойный упоминания саботаж. Там нация тоже стоит «как один человек» за диктатора, но мы от этого не находим его менее отвратительным. На что, однако, все-таки можно было бы возразить, что немецкий тиран до сих пор еще демонстрировал победы и даже теперь еще побеждает; по меньшей мере так кажется. Подождем-ка, что станется с популярностью фюрера, когда русские окажутся под Берлином, а западные союзники в Рейнской области! Если даже и тогда немцы сохранят верность своему Адольфу — что ж, это будет говорить не за него, но против них…)

31 января. Меня уверяют поголовно, что только появившийся сдвоенный номер «Дисижн» (январь-февраль) — лучший из всех. Жаль, что это и последний. Не получается дальше. Конец! Парой тысяч долларов эту штуку можно было бы спасти; но их не раздобыть…

Чувство горечи. С какой надеждой, каким энтузиазмом

начинал я это предприятие! Сколько труда мне это стоило! (Не говоря уже о финансовых жертвах…) Напрасно… снова и снова все сводится к этому.

Единственное утешение — что я могу теперь сосредоточиться на работе над «Поворотным пунктом». Сколько времени остается у меня, чтобы его закончить? (Я хочу в армию. Хочу носить военную форму, как другие. Я не хочу больше быть посторонним, исключением. Наконец я могу ощущать солидарность с большинством. Каждый американец говорит сегодня: «Let's lick that damned son-of-a-bitch over there, in Berlin![303]» У меня такое же желание.)

23 февраля. Известие о самоубийстве Стефана Цвейга в Бразилии пришло совершенно неожиданно, так что сначала я едва мог в это поверить. Я был готов к подобному шагу Толлера; но никак не его, казавшегося столь жизнерадостным, даже наслаждающимся, столь избалованным счастьем, столь уравновешенным, столь разумным. У него была слава, деньги, очень много друзей, молодая жена — и бросил все… Почему? В его прощальном письме речь идет о войне. Война, триумф варварства, прорыв разрушительных первобытных инстинктов! Гуманисту страшно. Разве это его мир? Он больше не узнает его. «Я не гожусь для этого времени. Это время не нравится мне…» И хватается за яд. Славу, деньги и друзей он оставляет здесь; но молодую жену берет с собой.

Так ли это просто? Ах, что мы знаем…

Я перечитываю его письма последних лет. Тут он благодарит за книгу, там критикует, дает советы, обещает статью, рассказывает о путешествии, театральном вечере. Ничего более? Порой, пожалуй, проскальзывает слово горькой иронии или усталости, приглушенный вздохи сдержанные жалобы. Мне ничего не бросалось в глаза. Я не понимал его. Считал его открытым миру сластолюбивым литератором, которого ничто не задевает за живое. А он был отчаявшимся.

Когда я видел его в последний раз, здесь, в Нью-Йорке, — это было недавно: пять-шесть месяцев назад, может семь, — то он уже, наверное, был близок к отчаянию. Но он не позволил ничего заметить, а устроил коктейль. «Вечер» прошел довольно живо; были тут в основном литераторы. Да и сам он был до мозга костей литератор, литератор преданный и присягнувший, «good old Stefan Zweig»[304].

После коктейльной болтовни я еще лишь один раз встретил его, на улице. Он шел по Пятой авеню мне навстречу, не сразу, впрочем, меня заметив. Он был «погружен в свои мысли», как

говорится; это, должно быть, были не очень-то веселые мысли и размышления. Светило солнце, улыбалось небо; но не для «good old Stez», который казался довольно мрачным. Поскольку он полагал, что за ним не наблюдают, он позволил себе расслабиться. Ни следа уже от веселого выражения, которое обычно было присуще ему. Между прочим, был он в то утро небрит, из-за чего лицо его казалось прямо-таки отчужденным и одичалым.

Я посмотрел на него — щетинистый подбородок, тускло-угрюмый взгляд — и подумал про себя: ну и ну! Что с ним стряслось? Потом я подошел к нему: «Куда держим путь? И почему так спешно?» Он вздрогнул, как лунатик, услышавший свое имя. Секунду спустя собрался и мог снова улыбаться, болтать, шутить, любезный, оживленный, как всегда, светски вежливый и элегантный, в меру ровный, в меру любезный homme de lettres[305] с венски носовым прононсом и с несомненно «выдающимися пацифистскими убеждениями».

Но дико чужое небритое лицо, которое он мне только что показал, должно ведь было заставить меня задуматься. Я думал: ну и ну! А он был отчаявшимся…

13 марта. Э. обращает мое внимание на то, что сегодня начинается десятый год нашего изгнания. Юбилей!

Будем ли мы — буду ли я когда-нибудь снова жить в Германии? Пожалуй, навряд ли. Впрочем, мне кажется, вопрос, касающийся меня, не так уж важен.

Я зашел далеко, слишком далеко, чтобы думать о возвращении. Мне надо идти дальше — вперед, а не назад! — иначе я собьюсь с пути и заблужусь.

Старой родины ты больше не найдешь, а новая также тебе не дарована. Твоя родина — мир, другой ты не имеешь.

Моей родиной станет целый мир — при условии, что после этой войны этот мир будет существовать…

Возвращение на родину или изгнание? Неверная постановка проблемы! Устаревшая альтернатива? Единственно актуальным, единственно уместным является вопрос: возникнет ли из этой войны мир, в котором мог бы жить и действовать человек моего типа? Люди моего типа, космополиты по инстинкту и по необходимости, духовные посредники, предтечи и первопроходцы, будут дома или повсюду, или нигде. В мире гарантированного мира и сотрудничества мы понадобимся; в мире шовинизма, глупости, насилия для нас нет места, нет круга деятельности. Если бы я считал приход такого мира неминуемым, то еще сегодня последовал бы примеру павшего духом гуманиста

Стефана Цвейга… Но почему худшее всегда должно быть неизбежным? Я не лишен надежды. (Надежда как долг. Безнадежность как слабость.)

15 марта. Закончил некролог Стефану Цвейгу для «фри велд». Теперь снова к «Поворотному пункту»! Уже дошел до «Ани и Эстер» и «Благочестивого танца». Английский почти не доставляет трудностей.

Мало людей; много читаю, прежде всего Жида, который готовит мне все новые и новые неожиданности. Живое удовольствие от «Подземелий Ватикана».

26 марта. Вечер в (леворадикальной) Лиге американских писателей. Гарри Слоховер (литературный критик и германист, автор весьма солидной книги о Рихарде Демеле) читает главу из своей новой работы «Литература во время войны» об Эрнсте Толлере, Стефане Цвейге, Ричарде Райте. После этого дискуссия, на которой обращают на себя внимание Ф. К. Вайскопф (всегда очень симпатичный) и молодой негритянский писатель (имя забыл). Мне тоже приходится что-то говорить, но я в плохой форме. Каким докучным, каким беспомощным я чувствую себя в кругу интеллектуалов, принимающих марксистскую догму как евангелие! Слоховер, Вайскопф и молодой негр, кажется, едины в том, что Толлер и Цвейг не покончили бы с собой, если бы лучше знали марксизм. Разве делает философия диалектического материализма человека иммунным против маниакально-депрессивных состояний и бессонницы, иммунным против «taedium vitae»[306], против «тяги к смерти»? Или надо перестать быть человеком, чтобы стать марксистом?

10 апреля. У чехословацкого консула. Интересные сообщения о росте движения сопротивления в «нашей» стране. (Ведь я все еще являюсь гражданином Чехословакии и все еще горд этим!) Консул рассказывает мне об актах саботажа в военной промышленности, на транспорте, в казармах, о нелегальных радиопередачах и листовках, о покушениях.

И такие дела происходят не только в Чехословакии, но и во Франции, Голландии, Норвегии, Дании. Во всех оккупированных странах!

Скептики увещевают нас не переоценивать стратегического и политического значения этой широко распространенной, но дезорганизованной и беспомощной оппозиции. Конечно, отчаянные заговорщики и героические индивиды, которые тайно сопротивляются где-то между Шпицбергеном и Афинами, не

могут еще сегодня рассматриваться как политико-стратегический фактор. А завтра? Когда наша армия появится в Европе, на кого нам тогда опереться? Кто является нашим союзником? Именно тот отряд справедливых, те отчаянные борцы за свободу, по поводу которых теперь пожимают плечами. В европейском «résistance»[307] подготавливается народное движение, которое сыграет очень существенную роль не только в последней фазе войны, но и при устройстве мира.

21 апреля. Американский воздушный налет на Токио, бомбят Любек. Поделом!

…Я записываю это и пугаюсь. Как, уже настолько очерствел, настолько потерял человеческий облик, что аплодируешь апокалипсису? Ибо, наверное, при бомбардировке современного города происходит апокалипсическое… Агония невинных детей, паника масс, умножающиеся бедствия, разрушение соборов и больниц, храмов и театров, садов, школ, жилищ рабочих и библиотек — «поделом» ли это?

Не хорошо, но неизбежно! Гитлер должен пасть. Всему, что ослабляет его и приближает его поражение, я рукоплещу. Бомбардировка ослабляет Гитлера. Я за бомбардировку.

В тот же день, позднее. Но что пользы будет от победы над нацистским режимом, если победители заразятся нацистским духом? В борьбе против крайней жестокости бывают допустимы или даже необходимы жестокие средства. И все же нам следует применять и принимать подобные средства только с угрызениями совести. Бессовестность врага не должна делать бессовестными нас. Опасность заражения! Будем настороже!

23 апреля. Хорошо потрудился над «Поворотным пунктом». Идет быстрее, легче, чем я ожидал.

Продолжаю заниматься Андре Жидом (дневник, эссеистика, о Монтене, о Достоевском); одновременно на другом языке очень задушевная и благодарная встреча с немецкими мистиками: Метхильда Магдебургская, Якоб Бёме, Мейстер Экхарт, Ангелус Силезиус, Франц фон Баадер, Новалис… Завораживающая сфера! «Другая Германия»… да, здесь открывается она в своей чистейшей и прекраснейшей форме!

24 апреля. Письмо от военного ведомства («Local Board No. 15–23 of the Selective Service») того содержания, что «случай К.М.» требует новой проверки. «The board intends to make a new determination of the registrant's classification» [308].

Мое ответное послание (оно уже в пути) заканчивается следующими словами: «Примите, пожалуйста, к сведению, что я готов, больше того, я очень хочу вступить в американскую армию, еще до принятия гражданства. Это мое искреннее желание — служить вашей стране и нашему делу… Я надеюсь, что вы сочтете возможным признать меня годным для службы в армии».

28 мая. Вчера последняя глава «Поворотного пункта» закончена. Сегодня на медицинское обследование. Я бы хотел, чтобы они меня взяли. Я хочу участвовать. Хоть раз наконец участвовать!

2 июня. Неопределенность. Затягивание. Ожидание…

Летний день долог и угнетающ. У меня слишком много времени, непривычное состояние. Автобиография готова. Чувствую себя выкачанным, изнуренным, неспособным к новой работе. Кстати, было бы и рискованно начинать что-то большое как раз теперь. Каждый день ведь я могу быть «призван под знамена». Мне хочется, чтобы это уже произошло!

Опостылела свобода; опостылело одиночество, тоска по сообществу. Желание упорядочить себя, служить!

4 июня. Военный врач мною недоволен. «Пока отклонить». Я ходатайствую о новом «physical examination»[309]. Но на это могут уйти месяцы…

А тем временем?

В этой комнате я больше не выдержу. С сентября 1940 года — то есть уже двадцать один месяц — я не провел еще и пяти ночей за пределами Нью-Йорка, за пределами «Бедфорда». Перемены воздуха! Чего-нибудь другого!

Взвешиваю поездку в Калифорнию, к родителям, которых я так долго не видел. Самое время нанести наконец-то визит нашему новому домашнему очагу в Пасифик-Пэлисейдз. Там я, может быть, обрету немного покоя для работы.

15 июня. Наброски к биографии Якоба Бёме и к книге об Андре Жиде. Не знаю, какой из обоих планов меня больше прельщает, но, быть может, ни до одного, ни до другого у меня не дойдут руки. Ибо, ведя переговоры с издательством («Криэйтив Эйдж Пресс») о старом немецком пророке и современном французском Протее, я также в контакте с некоей таинственной организацией, которая каким-то образом, кажется, близко стоит к армии, полностью, впрочем, не принадлежа к ней; так называемые «Liaison-Elite-Truppe»[310], вероятно, имеющая дело с

саботажем и шпионажем в оккупированной Европе или даже в самой Германии. Подобное могло бы быть авантюристично, опасно. Я готов! Сначала, разумеется, все ограничивается заполнением анкет. Офицеры, которым представляюсь (все в гражданском!), исполнены ни к чему не обязывающей вежливости, очень неопределенны, очень напускают на себя таинственность.

20 июня. Подписан договор с «Криэйтив Эйдж Пресс». Итак, остановились на «Жиде».

Моя организация «Elite» становится все неопределеннее, все таинственнее. Рассчитывать на нее нечего.

Я извещаю о своем визите в Калифорнию.

Пасифик-Пэлисейдз, Калифорния, 8 июля. Свидание с семьей. Э. тоже здесь. Прелестный дом, прекрасный сад. Из моей комнаты открывается вид поверх пальмовых и апельсиновых рощ до Тихого океана. По другую сторону лежит Лос-Анджелес, декоративно раскинувшийся. По вечерам большой эффект огней, живо и празднично переливающихся в сухом безветренном воздухе.

Я радуюсь работе. Во время долгой поездки поездом еще раз проработал «Яства земные» и «Фальшивомонетчиков». Набросал первую главу («Легендарность»).

15 августа. Работа, десять, двенадцать часов в день… К «Жиду» теперь прибавилась еще и корректура «Поворотного пункта». Книга должна появиться осенью.

30 августа. Сегодня письмо из армии: меня приглашают на новую комиссию. Итак, готовлюсь к скорейшему отбытию в Нью-Йорк. Получится ли на этот раз?..

«Жиду» недостает лишь последней главы и эпилога.

Нью-Йорк, 7 сентября. Вчера целый день на Говернор-Айленд. Бесконечное стояние в очередях с другими рекрутами (большей частью голыми); очень обстоятельное «physical examination». Опять отклонили! Очень печально, очень обескураживающе.

6 октября. «Андре Жид и кризис современной мысли» завершена, к удовлетворению издательства.

«Поворотный пункт. Тридцать пять лет в этом столетии» появилась и вызвала похвалу. Прекрасные письма, блистательная критика. Несмотря на это, я остаюсь удрученным. Парализующее

чувство бытия отвергнутого.

Новое прошение в армию. Ходатайствую о пересмотре моего дела. (Как приходится навязывать себя! А сколькие бы охотно увильнули…)

15 октября. Все больше рецензий на «Поворотный пункт» (в «Санди таймс», «Геральд трибюн» и т. д.). Все чрезвычайно лестные.

Депрессия держится.

20 октября. Переговоры с Ландсхофом о большой европейской антологии, которую я, может быть в сотрудничестве с Германом Кестеном, должен буду редактировать для «Л. Б. Фишер паблишиз». Срез литературной продукции всех европейских народов «entre les deux guerres»[311].

Интересная идея, но я заинтересован только наполовину.

Печаль.

24 октября. Ужасная тоска — все омрачено. Желание смерти.

25 октября. Желание смерти — больше ничего.

26 октября. Желание смерти… (Как долго это можно выдержать?)

27 октября. Желание смерти.

Я желаю себе смерти. Смерть была бы мне очень желанна. Я умер бы охотно. Жизнь мне неприятна. Я не хочу больше жить. Мне было бы чрезвычайно по душе не быть обязанным больше жить.

Смерть была бы мне решительно приятна. Я желаю себе смерти.

1 ноября. Все еще живу…

Работа помогает — немного.

Статья о Вирджинии Вулф (для «Чикаго сан»).

Заметки к «Сердцу Европы» (антология). Разговоры с Кестеном, чьи устойчивое жизнелюбие и отважный оптимизм действуют на меня освежающе.

12 ноября. Письмо из чопорной, замкнутой армии. Я должен, «соответственно», снова быть подвергнут проверке. (Надеюсь, прежде чем закончится война…)

2 декабря. Работа над «Сердцем Европы» — частично один, частично с Кестеном.

Гранки книги «Жид». Корректура.

Обсуждение книг для «Чикаго сан».

14 декабря. Уже хорошо знакомая поездка на Говернор-Айленд. Обследование.

ACCEPTED![312]

Взяли…

(Еще две недели «отсрочки», чтобы привести в порядок мои дела.)

20 декабря. Работа. «Сердце Европы». Заметки ко вступлению. Ночное сидение с Кестеном.

27 декабря. Пакуюсь. Прощальные визиты. Вечер с Э.

Рано утром мне надлежит явиться к «Центральному дворцу» на Лексингтон-авеню — в качестве солдата.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА
НА ПОВОРОТЕ
1943–1945

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Форт Дикс (под Нью-Йорком),
6.1.1943
Солдатская мать!

Это лишь для того, чтобы Ты знала, где я торчу. Долгим, разумеется, мое пребывание здесь не будет. Это — «Induction Center»[313], сиречь место, где отсиживаются новобранцы и ждут, пока их не причислят к определенному роду войск к не погрузят куда-нибудь на «Basic Training»[314]. Могу только надеяться, что это «сидение» — довольно эвфемистическое выражение! — в моем случае не слишком уж затянется; ибо, между нами говоря, жизнь здесь не то чтобы веселая.

Первые два-три дня еще куда ни шло. Сперва была церемония обмундирования (форма, сапоги, непромокаемая куртка, спецодежда для работы, так называемые «fatigues», дождевики, зимние шинели, перчатки, рубашки, носки, нижнее белье, даже туалетные принадлежности; все шикарного качества; но еще никакого оружия…); потом пошли всякого рода интервью с «classification officers»[315] и знаменитый тест на интеллигентность, который, впрочем, я выдержал только на «посредственно». (Врожденное тупоумие? Или тест не очень подходящий?) Кроме того, нам сделали прививки от разных зараз и нам пришлось усвоить ряд наставлений — отчасти религиозно-поучительного, отчасти научно-просветительского толка. Больше всего понравился мне доклад «Как мне уберечься от половых заболеваний?»; в особенности благодаря очень реалистичному фильму, который показали потом для наглядности. Теперь я знаю все. Твой сын предупрежден.

Итак, как сказано, эти первые дни были еще кое-как оживлены. Потом началась тупость. Господа сержанты и капралы заставляют нас делать удивительнейшие вещи. Излюбленный спорт — это поднимание сигаретных окурков и бумажек. Сегодня утром, сразу после заправки постели (посмотрела бы Ты, как здорово я это уже умею!), наша рота должна была построиться к маршу через весь лагерь, причем речь шла не о чем-то вроде военной тренировки, но об акции наведения чистоты высокого стиля. Я собрал в течение утра так много «cigarette butts»[316], что

весьма польстил фельдфебелю, и он милостиво похлопал меня по плечу: «Good work, Soldier! Keep it up!»[317] После обеда поэтому мне досталась относительно легкая служба: в течение четырех часов стоял на вахте перед клозетом офицерского клуба. Клозет вышел из строя, и им не должны были пользоваться — щекотливое обстоятельство, на которое выразительно и однозначно указывал большой плакат на двери. Однако какому-нибудь рассеянному полковнику или резвому генералу может же прийти в голову, несмотря на это, воспользоваться испорченным туалетом (почему его все-таки не заперли?). На то и вахта, чтобы сие предотвратить. Если бы старший офицер с форта Дикс захотел проникнуть в запрещенный сортир, я был бы вправе, даже обязан ему с вежливой решительностью воспрепятствовать: «Sorry, Sir! But this latrine happens to be out of order»[318]. К счастью, до этого не дошло. Четыре часа прошло без происшествий.

Завтра у меня весь день на кухне, что общепризнанно считается наихудшим. Но Ты, чего доброго, даже и не знаешь, что означает «К.Р.»? «Kitchen Police»[319], естественно, что же еще? Наряд на кухне с пяти утра до десяти вечера! Твоя черная служанка, веди она себя подобным образом, прекрасно бы Тебя устроила.

Я, несмотря на все это, пребываю в хорошем настроении. Люди в моей (временной) роте весьма милые, в большинстве итальянского происхождения или уроженцы Бруклина. Довольно трогательной была встреча с лифтером из отеля «Бедфорд»; он, как нарочно, спал в койке над моей. Как все-таки играет случай! Так как в гражданской жизни я имел привычку давать ему щедрые чаевые, он показал себя весьма благосклонным и наставил меня в искусстве чистки сапог. Сегодня утром он получил свои «travel orders» [320] и теперь уже в пути — «destination unknown»[321]. (Ведь ни один солдат не должен знать, куда он будет послан! Все есть «военная тайна»!) Парень, занявший теперь койку лифтера, тоже кажется довольно славным, хотя и скуповат на слова. Единственный, кому он себя доверяет, это его любимый господь Бог на небесах. Перед отходом ко сну он на несколько минут преклоняет колена прямо у нашего ложа, со сложенными руками и склоненным челом. В зале бывает еще светло, так что все его могут видеть. Никто, однако, над ним не смеется.

Я царапаю и царапаю при свете моего карманного фонаря, что, естественно, строго запрещено. Если меня застукает сержант, мне еще и послезавтра придется идти в наряд на кухню. Ужасный риск! Позволь поэтому мне горячо-сердечно закончить. С расшаркиваниями для отца-Волшебника…

Мисс Эрике Манн Нью-Йорк
Лагерь (Арканзас) «Джозеф Т. Робинсон»
14. II.1943

Я сегодня ночью «C.Q.» («in charge of quarters»[322]), означающее, что no «reveille»[323] (здесь произносят странным образом «révelli») я сижу в «Orderly Room»[324] (в другом месте называемой «писарской»). А ежели зазвонит телефон, я молодцеватым голосом отвечу: «B Company Orderly Room — Private Mann speaking!»[325] А если попытается прокрасться какой-нибудь «enemy agent»[326], то я должен держать его на мушке моей винтовки, пока не придет M.P.s. (Military Police)[327], чтобы его арестовать. Но телефон не звонит, и никакого шпиона не видать. И стало быть, у меня достаточно времени напечатать Тебе нечто обстоятельное на прекрасной машинке.

Где Ты можешь обретаться? У меня все твои «lecture»[328] ангажементы были аккуратненько занесены на бумажку, которая потом так же аккуратненько затерялась. И вот я не знаю, в каком районе страны Ты в данное время демонстрируешь свое искусство, и пишу, следовательно, на «Бедфорд»; надеюсь, Тебе перешлют. Если Твои турне приведут Тебя в эти южные края, Ты, конечно же, вспомнишь о том, что город Литл-Рок — столица штата Арканзас — расположен совсем близ нашего лагеря и до него очень удобно добираться скорым поездом, самолетом или автобусом. Это было бы уж слишком прекрасно, если бы Ты вдруг приехала! На один вечер меня здесь как-нибудь отпустили бы, хотя старшина — эдакий толстяк с брюзгливыми отвислыми щеками и глазами живодера-собачника — вообще-то, скорее, склонен к садизму. Ну а в худшем случае я отправлюсь в более высокую инстанцию и буду апеллировать к человечности старшего офицера, довольно веселого господина, который любит держать своих людей в добром расположении.

Мне вообще везет с начальниками (обер-фельдфебель — скверное исключение), и с товарищами я тоже лажу. Большинство моложе меня, бодрые футболисты между восемнадцатью и двадцатью пятью, вот почему я как раз не отношусь к лучшим солдатам роты. Боевая подготовка дается мне довольно тяжело, длинные марши изрядно выматывают, да и с винтовкой я все еще не очень-то умею обращаться. Ты же знаешь мою неловкость. Тут бы футболистам и поиздеваться надо мною, тем более что и в остальном-то я выпадаю из рамок. Мой акцент чужой, я читаю книги, говорят, даже сам написал какие-то: от всего этого хихикать, да и только! Однако же не хихикают, а самое большее ухмыляются и называют меня «профессор». Это добродушная

ирония — не без известного юмористического почтения… Обращались бы европейские солдаты с чудаком моего типа с таким же тактом и терпимостью? Средний американец, возможно, еще более невежествен и наивен, чем средний европеец; но именно эта наивность делает его дружелюбнее, щедрее. Среди мюнхенских сорванцов в гимназии имени Вильгельма я чувствовал себя более чужим и одиноким, чем теперь среди солдат.

О серьезных вещах, правда, с ними все же лучше не беседовать. Да до этого почти никогда и не доходит. Предпочтительный предмет разговоров — девушки. Если в виде исключения никто не может рассказать какой-нибудь истории о женщинах или показать соблазнительное фото, то ругают армию; считается хорошим тоном ненавидеть и презирать все военное. При этом, однако же, долг свой исполняют и стремятся отличиться как солдаты. Что Америка войну выиграет — повсюду считается само собой разумеющимся; что же касается проблем и обстоятельств, к войне приведших, то господствует удивительное неведение. Те солдаты, которые вообще интересуются подобными вопросами — таковых немного! — кажется, полагают, что Соединенные Штаты были втравлены в борьбу против Гитлера своекорыстно хитрой, при этом жалко-ограниченной Англией. Недавно здесь в лагере состоялся показ очень впечатляющего и информативного фильма «What we are fighting for?»[329]. Все обязаны были посмотреть его, и все имели возможность кое-чему научиться. Ибо если фильм и не совсем, может быть, отчетливо прояснял, за что мы боремся, то все-таки с меткой точностью он показывал, что это за силы, против которых мы защищаемся. А реакция солдатской публики? Пожимание плечами! «Пропаганда». Этим словом решается все, все отодвигается в сторону. Скептическое игнорирование не убедить, не обеспокоить, не потрясти. Концентрационные лагеря? Гестаповский террор? Нападение на слабых соседей? Нарушение договора? Массовые убийства? Планы мирового господства? Невежественный скептик усмехается и поднимает плечи. «That's just propaganda!»[330] Невежественный скептик потешается над Гитлером и Муссолини — два безобидных клоуна, которые, к удовольствию солдат, жестикулируют и паясничают на экране. Невежественный скептик находит нюрнбергский партийный съезд «a pretty good show»[331], сжигание книг «a Ion of fun»[332]. Возгласы «тьфу!» были только в адрес японцев, которых действительно не особенно жалуют: Пёрл-Харбор все-таки им немного припоминают, и, кстати, они «цветные», что считается презренным.

Да, расовая проблема… Только что я говорил о «терпимости» солдат. Остаюсь при этом: они в целом терпеливы и великодушны, без предрассудков и коварства. Но нельзя отрицать, что эта терпимость все же во многих случаях как раз очень ограниченна и условна; на одном известном пункте она кончается. Черные и желтые — «неполноценные люди». Называют их не так, а «ниггер» и «желтая образина»: сводится все к одному и тому же.

Да мы уже не раз ломали себе голову над этим меланхолическим аспектом американской жизни — негритянским вопросом. Но с тех пор, как я здесь, на Юге — Арканзас относится почти уже к «Deep South»[333], — проблема все-таки впервые осозналась мною во всей ее настоятельности и горечи. Из четверых парней, с которыми я делю палатку, или «бунгало», один родом из штата Алабама. Джонни зовут его, довольно милый человек, двадцати лет, лицо кроткое и поведение наискромнейшее. Но Ты бы послушала, как он говорит о «чертовых неграх»! Никакой нацист не может быть хуже. Я полагаю, что такой вот Джонни из Алабамы готов скорее умереть с голоду, чем сесть за один стол с черным. Лучше спать под дождем, чем в одном помещении с негром! «Those bastards stink!» [334] Джонни остается таким.

Разве это не ужасно? Меня это пугает очень.

То, что мягко называют «сегрегацией», — последовательное, жесткое разделение между белым и черным — именно здесь, в армии, становится непереносимым скандалом. Думаешь, мы хоть раз вступили в контакт с нашими чернокожими товарищами? В лагере «Джозеф Т. Робинсон» располагаются и негритянские части. Однако живут они совершенно сами по себе, в особом секторе лагеря, своего рода «Черном гетто» с собственной церковью, собственным кино, собственным «Р.Х.» Post-Exchange[335] (или столовая). В автобусе, который привозит нас в Литл-Рок, есть особое отделение «For Colored People»[336]. Ведь это просто никуда не годится! Что же это за порядок такой! Если эти люди достаточно хороши, чтобы воевать и умирать за нашу страну, то ведь не могут же они быть слишком плохи для нашего «Service Club»[337] или нашей капеллы! С какими же чувствами могут эти «colored people» отправляться на войну? На вопрос «What are we fighting for?»[338] этим парням ответить нелегко…

Таковы ночные мысли — «rather disturbing»[339], не правда ли? Но вот уже светлеет снаружи, труба сейчас затрубит к révilli. Сегодня утром у нас «ведение штыкового боя», после обеда двенадцатикилометровый марш. Тут мне, наверное, снова придется постонать и попотеть. Ты представить себе не можешь,

насколько тяжел набитый до отказа ранец, если его надо тащить три, четыре часа подряд! Но я уже справляюсь с этим. А если и в самом деле я совсем уже не смогу дальше, то бравый Джонни-из-Алабамы сжалится надо мной и немного понесет ранец за меня.

Let me hear from you![340]

И приезжай в Литл-Рок!

Герману Кестену Нью-Йорк
Лагерь (Арканзас) «Джозеф Т. Робинсон»
31. III.1943

Письмо Ваше было бальзамом. Интеллигентную похвалу всегда слушаешь охотно, и то, что Вы пишете мне о моем «Жиде», исполнено большого ума и чуткости, хотя, конечно, и слишком любезно. Моя лучшая книга? Возможно. Но из-за этого ей все еще не обязательно быть хорошей. Во всяком случае, выглядит она прелестно, в этом я с Вами согласен. Сотрудники издательства «Криэйтив Эйдж» постарались. Впрочем, первые рецензии звучат ободряюще.

Все это кажется странно удаленным, отодвинутым, каким-то нереальным. Здесь живут совершенно в глуши, отрезанными от мира, в особенности от литературного. Уже несколько недель жизнь моя состоит только из пыльных маршей, муштры, стрельбищ, штыковой тренировки, «Obstacle Course»[341] (при этом надо прыгать через широкие канавы и карабкаться на высокие деревья), чистки оружия (особенно трудно!), чистки обуви (не так худо), а между ними время от времени столь нелюбимые кухонные наряды. Все это относится к «Basic Training»[342], которую я скоро закончу. Не ведаю, как затем распорядятся мною непредсказуемые, непостижимые авторитеты. (Армейская иерархия все больше напоминает мне те жутко капризные, анонимные силы, которые орудуют в кафковских «Замке» и «Процессе»…) Может, пошлют меня «overseas»[343] в Англию или на тихоокеанский театр военных действий (какое странное «contradictio in adjecto»[344], может, я буду переведен в другой лагерь и пройду «special training»[345]. Учитывая мое знание языка, само бы собой напрашивалось использовать меня как-нибудь в «Intelligence»[346]-службе, как-то при допросе немецких военнопленных. Но мне рассказывают, что загадочная армия имеет склонность назначать университетских профессоров водителями грузовиков, а безграмотным поручать составление важных меморандумов; во всяком случае, так вроде бы делалось в прошлую войну… Что ж, поживем — увидим, а меня все устраивает. Я хотел стать солдатом, и жаловаться теперь мне не пристало. (Да я и не делаю этого!)

И что бы, кстати, со мной ни случилось, я все-таки очень надеюсь еще найти время, чтобы наконец завершить просроченное вступление к «Сердцу Европы». Краткое предисловие должно быть от представительного американца — неплохо бы Арчибалда Мак-Лиша или, может, старой Виллы Катер; можно бы принять во внимание также и Дороти Канфилд Фишер — менее блестяща, но с солидной популярностью.

Совесть моя несколько страдает, когда я думаю о нашей «Антологии», случается это нечасто, но все же бывает. Тут я Вас немного подвел, дорогой друг. Распрекрасный соиздатель, который внезапно дезертирует на военную службу! Пока я развлекаюсь с огнестрельным оружием, Вам остаются все эти тяжкие муки с выбором португальских и финских авторов. Над маленькими нациями нам еще придется поломать голову. (What about Jugoslavia? What about Greece?[347]) Что касается больших, то здесь, пожалуй, мы довольно единодушны и пребываем в ясности. Совсем мило очерчивается итальянская группа, с прекрасным эссе Бенедетто Кроче о Бальзаке на открытие и блистательным «Д'Аннуцио» Борджезе в качестве финала. Да и французами я доволен. Безусловно хороши будут «интродукции» Ивана Голла; подборка текстов кажется мне представительной и удачной. Валери, Роллан, Жид, Пруст, Мартен дю Гар, Клодель, Ларбо, Ромэн, Дюамель, Монтерлан, Грин, Мориак, Арагон, Мальро, Элюар, Жироду, Сент-Экзюпери, Маритен, Кокто, Бернанос — никто из важнейших не упущен, будь то Сартр или Бретон. Но для всех-то теперь нет места. (Вот почему я с тяжелым сердцем отказываюсь от Рене Кревеля…) Некоторые сомнения, правда, вызывает Монтерлан. Он должен превосходно ладить с нацистами, пожалуй, не только из оппортунизма, но и из убеждения: в глубине души этот эстетствующе-садистский бард боя быков всегда, должно быть, был фашистом. Несмотря на это, нельзя отрицать, что у него есть талант — довольно большой даже! — и что его вклад очень существен, очень характерен для французской литературы нашего времени. Но если мы терпим подозрительного Монтерлана, почему уж тогда и не Селина? Он тоже одарен — хотя и злобный сумасшедший. Нет, Селин — это уж слишком. Где-то должна быть граница.

Но провести границу нелегко. Норвегия без Гамсуна? Само собой! Хотя все-таки это — жаль.

Короткое стихотворение Стефана Георге оставьте мне, пожалуйста! Я знаю, что говорит против этого. Но мне оно важно.

Аннету Кольб и Рене Шикеле отнесем все-таки к немцам, хотя они наполовину французы? А Герман Гессе? Нет, его, пожалуй, мы должны представить как швейцарца; так он желает, и

Швейцария гордится им.

Вообще проблема национальностей! Что нам делать с Кафкой и Рильке? Два немецких поэта — но ведь по происхождению чехи и, кстати, в своей художественной манере, своей эстетически-моральной позиции также решительно подвержены славянским влияниям. Если уж наш сборник будет подразделяться на национальные «департаменты», то, наверное, неудобно, что мы претендуем на Кафку и Рильке для Германии. Это же выглядело бы почти так же, как если бы одобряли гитлеровский империализм! Прага-то ведь не относится к рейху.

Проблемы всяческие! И их еще больше. Я бы с удовольствием обсудил их с Вами; надеюсь, возможность представится. Оставайтесь же в добром ко мне расположении, хоть я и взвалил на Вас «Сердце Европы»…

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Лагерь «Ритчи» (Мэриленд)
27. IV.1943

Сначала две мои новости, обе определенно милые: во-первых, я повышен до старшего сержанта (четыре околыша!); во-вторых, согласно официальному извещению, мне надлежит предстать в следующий четверг, 30-го апреля, в Балтиморе, Мэриленд, перед судьей, чтобы самолично там выбиться в US Citizen[348]. Лишь только я стану гражданином, как уже отпадут препятствия к моей отправке «overseas»[349], понимай, значит, так, что в ближайшем будущем услышишь обо мне из дальних стран. Или из «Officers' Candidate Schal»[350]? В качестве «citizen» я смогу, возможно, даже до лейтенанта добраться! Но зачем? Старшего сержанта мне более чем достаточно.

Тем это забавнее, что все прошло так быстро, совсем не в стиле армии, обычно не склонной к торопливым импровизациям. От рядового, собственно, повышают сперва до ефрейтора, затем до капрала, затем до ординарного, трехоколышевого сержанта. Я, следовательно, прыгнул с самой нижней ступени прямо на четвертую — дерзкое достижение! В обычном «outfit»[351] — как-то в пехоте — об этом, естественно, не было бы и речи. Этот же лагерь, как уже указал выше, в некотором отношении скорее необычен — «somewhat on the unusual side», выражаясь осторожно.

Осторожный стиль уместен; ибо все, чем мы здесь занимаемся, должно оставаться совсем-совсем-совсем в тайне. Нас снова и снова призывают к чрезвычайной сдержанности. «Don't talk! The enemy listens!»[352] Плакаты, на которых довольно противно изображено странно парящее в пространстве, волосатое изнутри ухо, напоминают нам о дьявольском любопытстве и

чутком слухе врага. Хорошо, я ничего не скажу.

Однако я, пожалуй, осмелюсь рассказать, что в этом лагере поразительно много европейцев, а также американцев, которые подолгу бывали «там» и знают иностранные языки. В бараках, в «mess hall»[353], на кухне говорят по-итальянски, немецки, французски, польски, чешски, норвежски; правильный американский слышится лишь как исключение. И так много знакомых лиц! Повсюду встречаешь старых друзей из Берлина, Вены, Парижа, Будапешта; кажется, что ты в клубе или кафе завсегдатаев. В моей роте Ганс Валленберг (сын старого Валленберга, ты наверняка помнишь, тот самый, который был довольно важным у Ульштейна) и Ганс Хабе. (Ты ведь читала его книгу «Долой тысячу»? Очень информативна и вдобавок развлекательна.) Да, и Ганс Буш здесь, сын дирижера, племянник скрипача, очень приветливый и готовый помочь товарищ. И Сфорцино Сфорца… Помнишь, каким он был писаным красавцем в шестнадцать лет, тогда, в Тулоне? Он выглядит все еще привлекательно — как юношеский образ Бронцино: исполнен благородно строгой грации, очень рассудительный, очень любезный, несколько при этом печальный. Кто же еще? Петер Фирэк, самый несолдатский солдат, какого я когда-нибудь видел: еще неряшливее, еще более цивильный, чем я! Впрочем, я открываю в нем все больше интересных и привлекательных свойств; стихи его тоже становятся все лучше. Нельзя также не упомянуть моих старых друзей детства, Буби Копловица, теперь Оскара Зейдлина (remember?)[354] — и Томского! Это было величайшей радостью и величайшей неожиданностью увидеть вновь в этой курьезной среде сержанта Томаса Квина Кертиса!

Это только маленькая выборка. Говорю Тебе: повсюду встречаются знакомые лица! На одиночество в лагере «Ритчи» я пожаловаться не могу.

Все же на душе у меня было довольно сумрачно, когда недавно — в прошлую субботу — мне надо было в Филадельфии расставаться с Э. Мы провели вместе лишь несколько часов; вечером ее судно уходило в Лиссабон, смешная маленькая грузовая баржа, едва ли приспособленная для столь долгого плавания. Надеюсь, ей будет сопутствовать спокойное море, а там она не наделает много глупостей! Она казалась поздоровевшей, в хорошей форме и в очень хорошем настроении. Да пребудет с нею Бог!

Из Филадельфии я поехал дальше в Нью-Йорк, где провел прелестное воскресенье: утро с Кестеном (обсуждение антологии); ленч с Ландсхофом, очень оживленно и сердечно; после обеда в «Карнеги-холл» великолепное исполнение «Страстей по Матфею»

с участием Бруно Вальтера; ужин с Томским, чрезвычайно шикарно в заведении «Войсен»; потом еще один вечер у Карсон Мак-Каллерс, принимавшей в качестве почетного гостя у себя Джона Стейнбека. Не человек, а великан (пожалуй, такой же большой, как Роберт Шервуд), несколько неловкий, приветливого спокойного нрава. Он мне понравился.

Enough! It's bed-time, the lights will go out any moment [355]. Дам о себе знать, как только вернусь из Балтимора — as an American citizen, let's hope![356]

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Лагерь «Ритчи» (Мэриленд)
1. V.1943

Не получилось. Я уже стоял в торжественном зале в Балтиморе перед американским флагом и портретом Джорджа Вашингтона, готовый принести присягу, когда чиновник несколько внезапно открыл мне, что церемонию признания гражданства надо отложить. Связано ли это со сложностями технически-бюрократического рода? Не стоит ли за этим что-то другое? Не знаю и, наверное, никогда не узнаю.

Ну, не хочу тревожиться. «That's just one of those things»[357], как имеют обыкновение говорить солдаты с мужской самоотверженностью, если у них что-то не получается. Впрочем, может, все скоро и наладится.

Пока, правда, чувствую себя несколько потерянным и сбитым с толку. Рота моя сегодня отбыла — «destination unknown»[358]. Мне с ней нельзя. Выясняется вопрос с моим подданством…

Проф. Томасу Манну Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Лагерь «Ритчи» (Мэриленд)
2. VI.1943

Это лишь совсем коротенькое поздравление с днем рождения. Новый год жизни, может быть, станет одним из Твоих самых интересных. Все, что мне доводится слышать о начатой книге, звучит в высшей степени необычно и многообещающе. Ты, значит, смешиваешь музыку, всегда тебе любезную, с медициной и, к сожалению, также и с теологией? Получится еще тот напиток! Вдохновение через болезнь? Патология гения? Творчество как пакт с дьяволом? Чувствую прелести очень нового, смелого, при этом, однако, и сокровенно знакомого рода. Созвучно «Смерти в Венеции» — «if I am not mistaken»[359]. Но все величественнее и призрачнее, стилизованное в готически-магическое… Превосходно! I am all for it [360] — и не был бы удивлен, если бы этот «Фаустус» оказался бы самым Твоим замечательным

кружевом.

У меня не много нового. Я все еще здесь, все еще незанятый сержант, все еще не гражданин. Надо иметь много терпения, особенно в армии.

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Лагерь «Кроудер» (Миссури)
18. VI.1943

Да как же это так, что я от Тебя ничего не слышу? Ладно уж: наверное, что-то в пути и заставляет, на мой вкус, слишком долго ждать, потому что я ведь считаюсь «lonesome»[361] и пребываю в ссылке.

Моя отправка сюда на самом деле бред сивой кобылы; офицеры сами признают, не без замешательства, что меня, к сожалению, именно «misplaced»[362]. Этот лагерь относится по названию к «Signal Corps»[363], обозначающему, что здесь обучают телефонистов, радистов и других специалистов службы связи. Так как, однако, организация, к которой я принадлежал в «Ритчи», называется «Первая передвижная радиовещательная бригада», то похоже, что меня посчитали за радиотехника, хотя я — как тебе хорошо известно — понимаю в технических вещах меньше какого-нибудь американского «high-school-boy»[364]. Вот и сижу я теперь, и никто не знает, что со мною предпринимать. Исключительно из вежливости меня заставляют сейчас писать «Историю части»: точную хронику походов, празднований дней рождения, стрельбищ, отпусков, свадеб, скандалов, повышений в чине и проч. («17 апреля капитану Х. Б. Мак-Коули было присвоено звание майора, тогда как лейтенант Л. Р. Фукс был произведен в старшие лейтенанты. Вся рота выразила двум офицерам, которые пользуются всеобщей любовью, свои сердечнейшие пожелания в форме серенады». В таком стиле.)

Какая мучительная и смехотворная трата времени! Естественно, я надеюсь оставаться здесь недолго и везде забрасываю удочки. Если уж не выгорит ничего другого, я могу, наверное, возвратиться обратно в «Ритчи», чтобы поступить там в Intelligence School[365]. Но до тех пор могут пройти недели, может быть, месяцы…

Мисс Эрике Манн, военному корреспонденту.
Штаб-квартира США на Среднем Востоке.
Лагерь «Кроудер» (Миссури)
25. VIII.1943

Письмо Твое из Каира звучит весело, почти радостно. Счастлив знать, что Ты в таком превосходном настроении. Где Ты

сейчас? Действительно в Тегеране? Это звучит невероятно, сказочно. Потому что я все еще сижу в Миссури…

Ты ведь знаешь, кажется, что я был по недоразумению отправлен сюда, где и торчу бессмысленно до сих пор. Похоже, мне придется оставаться в этой глуши «for the duration»[366] — то есть до конца войны. Но, может быть, что-то изменится, лишь только я приму подданство. Меня заверяют, что с моим гражданством все в порядке и оно не заставит себя ждать. Верить ли мне? Печальный опыт сделал меня скептиком. Но я понуждаю себя к известному оптимизму (или фатализму?) и использую пустое время ожидания насколько можно с толком.

Впрочем, следует признать, что и для меня нет худа без добра; ибо после периода довольно недостойной и раздражающей бездеятельности я теперь более или менее приятно и конструктивно занят, а именно в «Отделе информации» в качестве соиздателя и постоянного сотрудника лагерной газеты «Месидж». Это недурной «job»[367], тем более что мой начальник, седовласый полковник по имени Пратт, характера добродушного, отнюдь не глуп и сердечно ко мне расположен. Таким вот образом сочиняю я свои статейки, частично о внутрилагерных делах (вновь открытый госпиталь, наше разведение почтовых голубей, визит генерала из Вашингтона), частично о состоянии войны. А на днях можно было сообщить кое-что отрадное. В Сицилии мы, пожалуй, продвигаемся быстрее, чем ожидалось; сообщения из Рима ободряющи. Не то чтобы этот закосневший старый Бадольо был бы мне симпатичен. (Не напоминает ли он Петена? Мы имеем склонность флиртовать с самой черной реакцией! Сперва сомнительный месье Дарлан, теперь герцог из Аддис-Абебы…) Все-таки от дуче мы избавились, это уже кое-что или даже много; теперь в обозримом будущем будет покончено и с берлинским партнером. Но чем надежнее и ближе кажется военная победа, с тем большей озабоченностью думается о проблемах, без решения которых не бывает продолжительного мира. Множатся слухи о разногласиях между Советским Союзом и англосаксонскими властями. Отставка Литвинова с его посольского поста в Вашингтоне не может означать ничего хорошего… Это, правда, вещи, которые я не могу обсуждать в «Месидж» лагеря «Кроудер».

Итак, я говорю о победе и делаю кое-что для настроения, кстати не только в нашем солдатском еженедельничке, но при случае и у гражданского населения. Бывала ли Ты когда в Неосхо? Или в Карфаге? Этих миссурийских городков никто не знает, я же выступаю там в качестве оратора; добродушный господин полковник взирает на это с охотой; надо же как-то

делать себя полезным.

Однако мой самый эффектный Coup[368] на службе доброго дела еще не сделан. «War Bonds»[369]. Ты-то знаешь, он теперь здесь играет такую же большую роль, как «военный заем» в Германии 1916–1917 годов. Постоянно приходится что-нибудь придумывать, чтобы подвигнуть людей на покупку этих облигаций. В рамках одного такого «War Bond Drive» я хочу устроить аукцион — где-нибудь здесь в окрестности: может быть, в Канзас-Сити, — причем с молотка должны пойти подписанные книги, манускрипты (ноты тоже), портреты кинозвезд с подлинным автографом и другое великолепие — не за деньги, естественно, а именно за «военный заем». Неплохая перспектива, а? Рукописи и портреты я выклянчу у «знаменитых» друзей.

На подобные шутки пускаешься от нечего делать или по крайней мере от ничего путного, если вынужден проводить свои лучшие годы в Миссури.

Надеюсь, Голо придется лучше в армии, Ты, конечно, слышала, что теперь он тоже скоро на очереди. Не завидую по поводу «Basic Training», предстоящего ему. Это (believe me!)[370] не мелочь. Но он-то уж с этим справится. Ведь в основе своей мы семья стойкая.

М-ру и м-с Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
(Телеграмма)
Лагерь «Кроудер» (Миссури)
25. IX.1943

Наконец принятие гражданства тчк Церемония проходила весьма достойно на большом поле парадов при лучезарной погоде тчк Горд и рад…

Командиру первой передвижной радиовещательной бригады Италия (по телеграфу)

Я американский гражданин тчк Надеюсь, что меня затребуют и позволят прибыть позднее.

Голо Манну
Форт «Мак-Клеллан» (Алабама)
Лагерь «Кроудер» (Миссури)
2. XI.1943

Сначала мои поздравления по поводу Твоего принятия гражданства. Пожалуй, приятное чувство, а? Я, как старый «citizen», едва ли могу себе это представить.

А «Basic Training»? Тоже довольно мило, насколько могу припомнить. Но подробности у меня, старого сержанта, давно выветрились. Затяжные странствования с бессмысленно

отягощенным ранцем? Ночные биваки на голой земле? Стрельбища при суровой погоде? Отчаянная муштра со штыком? Да, к подобному, пожалуй, все и сводится… (Не заставляют ли вас при этом издавать также хрюканье, когда вы протыкаете штыками соломенную куклу? Мы должны были хрюкать, наш капитан придавал этому большое значение. Ибо чучело — не правда ли? — это ведь враг, изрезывать которого — удовольствие. Тот, кто испытывает удовольствие, хрюкает; при садистски подчеркнутых либидо это должно доходить до поистине хрюкательных концертов. Этот капитан в лагере «Джозеф Робинсон» вовсе не был так глуп, как иногда, возможно, выглядел!) Так-то вот.

Затем, значит, всегда содержит в чистоте свое оружие («Your rifle is your best friend»[371], это ты, наверное, знаешь, и вообще поддержи мою честь! Эти первые недели — одно мучение, но длятся не вечно, что все-таки является утешительной мыслью. Потом иногда становится лучше. Иногда нет.)

Что касается меня, то я жду своих «travel orders»[372], тоже занятие! Моя старая «First Mobile» — где-то в Италии — на меня претендует; когда-нибудь, значит, я, вероятно, получу приказ к походу. Однако армии требуется время… Добрейшее небо, сколько времени требуется нашей армии!

Между тем здесь все идет своим чередом: я каждую неделю пишу маленькую вещь для «Известий» лагеря «Кроудер», провожу «orientation speech»[373] для солдат здесь в лагере или лекции в соседнем городке. Добрый полковник Пратт по праву доволен мною, особенно после сенсационного успеха моего «War Bond» аукциона. Ты, возможно, читал об этом в газетах? Была же великая кампания, по мне — слишком громкая (как мне хотелось бы с ужасающе искусственной скромностью подчеркнуть). Миллион долларов — подумаешь, важность какая! Эта сумма — Ты это, конечно, читал — выручена от продажи с торгов. Один джентльмен по имени В. Т. Грант, директор страхового общества, купил на миллион «War Bonds» и приобрел таким образом мою коллекцию, чтобы затем передать в университетскую библиотеку в Канзас-Сити в качестве пожертвования. (Ареной прекрасного действа был — как тебе наверняка известно из газет — очень изысканный дом очень, очень утонченного президента университета в Канзас-Сити, д-ра Кларенса Д. Деккера.)

С великим трудом выклянченная мною коллекция, однако, и в самом деле смотрелась; это отмечается с непроизвольно прорвавшимся тщеславием! Сплошь лакомые кусочки! Рукописные ноты Шенберга и Стравинского, толстый манускрипт отца-Волшебника, очень чистенькие письма Джона Стейнбека,

Альберта Эйнштейна, Хендрика Виллема ван Лоона и некоторых других, книги с прекрасным посвящением от Перлы Бак, Торнтона Уайлдера, Пьера ван Паассена, Уолтера Липпмана, Уинделла Уилки, Генри А. Уоллеса, Карло Сфорцы, Женевьевы Табуи, Арчибалда Мак-Лиша, Франца Верфеля, Лиона Фейхтвангера — короче, от всех, кто хорош и потому дорог! И потом, представь себе еще картины, эту блестящую галерею звезд и виртуозов! Вся слава Бродвея и Голливуда, включая Гарбо, была здесь. За такую кучу «glamour» [374] миллиончик поистине не слишком много!

…Довольно ерунды! Мне бы хотелось оказаться там, где раки зимуют или, того более, где стреляют пушки. Почему, собственно, желать себе этого? Все равно почему — желаю, да и все тут.

Мистеру и миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)

Лагерь «Кроудер» (Миссури)

5. XII.1943

Наше свидание в Канзас-Сити было все-таки распрекрасным, дорогие родители. И что Э. тоже смогла к нему присоединиться! Quite a familie re-union! I enjoyed every minute of it[375]…

Особенно осталось у меня в памяти чтение Волшебника. Эти не совсем нечистые, не совсем дозволенные эксперименты старого Леверкюна запечатлеваются очень глубоко. И дурной смех, от которого маленький Адриан сотрясается перед лицом призрачных феноменов, это тоже не забывается… Что за чудесная книга здесь возникает! Твоя наичудеснейшая, почтенный Волшебник, я настаиваю на этом.

Ваш визит принес мне счастье. По возвращении сюда, прямо на вокзале, я был встречен новостью, что мои документы наконец поступили. Не знаю еще точной даты, но, вероятно, уже до конца той недели буду отправлен. Кажется, все должно пойти довольно спешно. Я радостно возбужден…

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)

Армия США,

23. XII.1943

Как-то смешно писать Тебе по-английски; но к этому нам придется теперь привыкать: цензор настаивает на этом. Я еще не «там» и все-таки уже и не «здесь». Это своего рода ничейная земля, где я сейчас нахожусь; на военном языке это называют лагерь «Учебный полк».

Естественно, я не могу Тебе выдавать, как долго намереваюсь задержаться в этой странной промежуточной зоне, речь между

тем может идти лишь о днях.

Завтра вечером я буду думать о Вас. Надеюсь, у Вас будет сносно приятный рождественский праздник. Пусть за трех отсутствующих детей в военной форме будет произнесен грустный тост с шампанским; в остальном же, пожалуйста, Вы не должны беспокоиться! Все уже идет хорошо, я в этом совершенно уверен: наша маленькая семья держится молодцом. Вот посмотрите, следующий праздник Христа снова увидит нас всех вместе и к жареному гусю будут рассказываться воинственные приключения. (Или в Калифорнии нет гусей? Тогда я буду хвастать хотя бы за индюком — faute de mieux! [376])

Я бы охотно написал всем, но, наверное, уже не успею. Значит, передавай привет от меня дорогому Волшебнику, а также Борджезам и Биби вместе с супругой и прелестным наследником. Бруно и Лизль (Франк) я подал весть еще из «Кроудера», однако тем не менее хотел бы им еще раз кланяться. Не забыть Вальтеров! И Еву Герман! И Маркузе! И Альфреда Ноймана! И остальных в ваших краях еще наличествующих дружеских лиц!

У Тебя выпрашиваю в качестве рождественского дара, чтобы Ты очень за собой следила (и в автопоездках!) и продолжала бы меня любить.

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Северная Африка,
15.1.1944

Бог помочь, как дела, у меня вполне прилично. Переезд был отвратительным, настоящий кошмар, наипакостнейшее, что я пережил когда-либо в армии — и вообще. Восемь тысяч солдат на одном судне, имеющем места, собственно, лишь тысячи на три! И по меньшей мере половина помещений была зарезервирована для пары сотен офицеров! Дыра, служившая квартирой мне и пятидесяти другим — где-то совсем внизу, в чреве парохода, — была с пяти часов дня до восьми утра совершенно темной. В качестве единственного освещенного уголка в нашем распоряжении было отхожее место; там-то я и проводил каждый день по нескольку часов — стоймя стоючи с книгой в руках, втиснутый меж сплошь чужими, раздраженными, непрестанно бранящимися «soldier boys»[377] (многие вдобавок еще и страдали морской болезнью). Каков рождественский вечер, в переполненном туалете! И Новый год был мною встречен там же… Я мог бы еще долго причитать, например по поводу еды, от которой одной даже при спокойном море может становиться тошно, однако опускаю это. Ибо теперь ведь я здесь, и чем противнее мне было на недружелюбном море, тем с большим

удовольствием нахожусь на дорогой суше.

Впрочем, живу я в крайне примитивных условиях, в так называемом «Replacement Deport»[378], и не занят ничем разумным. Но все изменится, как только я прибьюсь к своей роте, вероятно в Сицилии или Южной Италии. А между тем я радуюсь хорошо знакомым и все же экзотическим декорациям, в марокканской гавани, на периферии которой располагается наш «Deport» и которую я могу посещать чуть ли не каждый день. Смесь из французских и арабских элементов сохранила для меня все свое очарование. Я восхищен точно так же, благодарен точно так же, как и тогда, девятнадцатилетним. Часами мог бы я просиживать перед одним из этих грязноватых кафе за мраморным столиком на улице, между достойно застывшим шейхом в белом бурнусе и не менее важным месье в странном старофранкском черном одеянии, с пенсне, с ухоженной эспаньолкой и украшенной красным петлицей. Кофе, правда, скверный, и подаваемое в ресторане тоже не очень-то съедобно. Вообще хозяйственное положение здесь кажется довольно жалким, видишь много нищеты, слышишь много горьких жалоб. Притом Марокко все-таки относительно мало задействовано в войне! Тунису, должно быть, досталось еще больше. Об изголодавшейся, разбомбленной, искрошенной «крепости Европы» и говорить нечего…

Андре Жиду
Через издательство Е. Чарло, Алжир
Тунис,
8. II.1944

Такое разочарование! Американская пресса недавно сообщила, что Вы здесь, в Тунисе, — а теперь оказывается, это не так! Вы отбыли, как я вчера выяснил, и пребываете теперь «где-то в Марокко». (Точного адреса установить не удалось: вот почему пишу Вам через издательство.)

В Марокко! А я прибыл именно оттуда! Две недели я был в Касабланке или по крайней мере поблизости. Ненадолго я делал короткие остановки также в Рабате, Фесе и Оране — «en route»[379] в Алжир. В каком-нибудь из этих городов Вы ведь должны были быть? Если бы я только имел об этом представление… Je suis navré. Это вечно жаль.

Добралось ли до Вас мое письмо из военного лагеря в Миссури? Едва ли. (Хотя адреса «Андре Жид, Северная Африка» должно было бы быть достаточно…) Книга моя Вам, вероятно, еще тоже не попадалась на глаза; я имею в виду довольно толстую пустышку, которую я написал о Вас и Вашем творчестве.

В Америке эта вещь была принята вполне дружественно. Примете ли Вы так же? Можете себе представить, с каким напряжением и сколькими тревогами жду я Вашего приговора. Надеюсь, скоро прибудет экземпляр, который я просил послать Вам из Нью-Йорка в Алжир.

Сколько есть рассказать, обсудить! Что ж, мне приходится утешаться чтением Ваших новых сочинений; в сборнике «Так как…» имеется, наверное, кое-что, чего я еще не знаю, и первый номер Вашего журнала «Арк» выглядит многообещающе. Но все это неполный суррогат упущенной встречи. Будь я свободным человеком, я бы не преминул возвратиться в Марокко. Но я не свободен. Я ношу военную форму…

Несмотря на все это, хорошо знать, что Вы близко. Будьте здоровы! Вы нужны многим. И мне тоже.

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Италия,
22. III.1944

Я нахожусь в городе, названия которого Ты никогда не отгадаешь. Работаю для организации, о деятельности которой Ты не можешь составить себе никакого представления. Организация называется «Служба психологического ведения войны» — вот столько я смею сказать.

Дела идут хорошо. Настроение мое хорошее.

Хотя я и повидал уже кое-что из очень злого и опустошительного — сперва в Северной Африке (разрушенная Бизерта), потом в Сицилии и здесь поблизости, — но и прекрасных впечатлений тоже хватает. Город, имени которого Ты никогда не угадаешь, все еще обладает большой прелестью, хоть и пострадал довольно тяжело и, кстати, продолжает принимать тягостные визиты: у нас часто бывают неспокойные ночи. Однако более грозное впечатление, чем несколько сократившиеся немецкие воздушные налеты, производит в настоящий момент та вулканическая гора, которая расположена недалеко отсюда (Ты, естественно, не догадываешься, какую приблизительно гору я имею в виду!) и которая уже несколько дней проявляет в высшей степени необычайную активность. Она на полном серьезе извергает огонь или, скорее, огненную лаву, знакомую нам из «Последнего дня Помпеи». Это настоящий спектакль, в особенности вечером, когда чудовищное облако дыма вокруг вулканической вершины пронизывается и освещается грозовым пламенем. Я не могу не подозревать, что это великолепно-ужасное извержение как-то связано с нашей собственной преступной деятельностью, то есть с войной. Стихии, и без того

ненавидящие создания человеческих рук, с мрачным вожделением используют возможность включиться в апокалипсический процесс, конечно же начатый человеческими руками. Ревнивая природа не хочет предоставить нам одним закончить труд разрушения. И на самом деле, гневный Везувий кажется столь же дееспособным, как эскадрилья первоклассных бомбардировщиков. Многие населенные пункты у подножия горы уже пришлось эвакуировать. Также и здесь, на улицах неугаданного города, делается заметен дождь из пепла. «Служба психологического ведения войны» должна бы образумить неистовый вулкан.

Не считая зловещих игр природы и случайных воздушных налетов, здесь, впрочем, довольно мирно. Бедность и коррупция, правда, в Италии еще более вопиющи, чем в Северной Африке; несмотря на это, массы, кажется, искренне рады своему освобождению. «Tdeschi»[380] повсюду непопулярны. Во всяком случае, их повсюду ругают: может, отчасти из желания услужить (пытаются подлизаться к нам), отчасти, конечно, от чистого сердца. Ругают, конечно, и прочее, черный рынок к примеру, который барышничает все наглее (к сожалению, при участии и к прибыли наших собственных войск!), и поистине безумные цены. Прелестные вещи, которые видишь в лавках, девяноста девяти процентам населения совершенно недоступны. Но, невзирая на эти и некоторые другие недостатки — на них я лучше не буду детально останавливаться, — явно рады избавиться от нацистов и выказывают сердечную симпатию к союзникам, которые теперь-то уж выиграют войну… Хотя под Кассино и «на плацдарме» мы продвигаемся не так быстро, как ожидалось поначалу, никто не сомневается в нашей победе, тем более что известия с востока благоприятные и из Германии поступают ободряющие сообщения о результатах наших бомбардировок.

Я часто беседую с итальянцами о военных и послевоенных проблемах; люди здесь доверчивы и говорливы; каждый незнакомец в кафе или в трамвае втравливается в милую маленькую дискуссию. Встретил я и старых друзей, прежде всего Сфорца, pere et fils[381], которые вскоре после освобождения вернулись сюда. О политической активности и инициативах папы Тебе должно быть известно из прессы. Он в прекрасной форме, блистательнее, возбужденнее, триумфальнее, чем когда-либо: последний грансиньор (или по крайней мере один из последних) в каждом слове, в каждом жесте. Со Сфорцино, к которому я сердечно расположен со времен лагеря «Ритчи», мы часто собираемся вместе. Недавно он взял меня на уик-энд к Бенедетто Кроче, живущему со своей семьей недалеко отсюда — не могу

сказать где, — в очень красивом месте у моря. Примечательный случай этот Кроче! Хитрое упрямство, которое он в течение двух десятилетий проявлял в интеллектуальной борьбе против фашизма — не в эмиграции, а здесь, в стране, — теперь окупает себя. Престиж его огромен; старый философ обладает сегодня большим моральным авторитетом, большим влиянием, да и большей властью, чем какой-нибудь политик, не исключая Сфорцу. Сфорца был эмигрантом; правда, он спешил с возвращением на родину, но он все-таки отсутствовал. Кроче — нет! Потому-то Кроче сильнее. Интересно, не правда ли?.. Кстати: он был очарователен. Сначала я опасался найти его престарелым; ему чуть ли не восемьдесят, и выглядит не моложе. Но в разговоре его пергаментное лицо оживилось; он вдруг показался молодым или по крайней мере лишенным возраста — подвижный гномик, полный мудрости и юмора. Он много говорил о Германии, часто с горечью, но потом снова с восхищением. Как близка ему немецкая поэзия! Он декламировал мне Гёте со странным акцентом, но наизусть. Очень сердечно вспоминал одну встречу, которую тысячу лет тому назад имел с вами где-то в Мюнхене, у Ганса Фейста, если не ошибаюсь. И по меньшей мере трижды он говорил мне, чтобы я нашел возможность в своем ближайшем письме написать, что он передает Вам привет.

Я со своей стороны смею Тебя просить передать мои поздравления дорогой Меди и ее Борджезе (о котором здесь, естественно, часто заходит речь) со второй дочуркой. Я тоже напишу прямо им, как только тому сподоблюсь.

Мои поздравления и Волшебнику по поводу успеха романа «Иосиф-кормилец» — я как раз читаю в нашей солдатской газете «Старз энд страйпс», что издательство «Бук ов зе манс клаб» приняло роман. Великолепно, великолепно! Так, глядишь, наш Иосиф и действительно еще станет «кормильцем», по меньшей мере для одной нуждающейся семьи… Растет ли «Фаустус»? Напиши мне об этом!

В Штатах ли еще Голо или уже «overseas»? А Э.? Думаю о вас всех.

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)

Италия,

15. V. 1944

Нет оснований беспокоиться за меня! Я «на передовой» — «в действии», как теперь это называют в германском вермахте, — с «Combat Team»[382] первой передвижной радиовещательной бригады; но не так чтоб уж совсем на передовой. Для Твоего успокоения могу рассказать, что из двух моих товарищей по

палатке один — гражданский, Джим Кларк: очень милый и одаренный человек; другой — офицер: как раз тот капитан Мартин Херц, мой особый покровитель, который вызвал меня сюда из Миссури. Ты ведь понимаешь, что гражданского — как бы ни был он отважен — не поместили бы в опасное место. Впрочем, это размещение имеет для меня и свои недостатки. В конце концов, я ведь обыкновенный «enlisted man»[383], которому, собственно, никоим образом не подобает делить палатку с «мистером» (имеющим ранг майора) и капитаном. Когда мои товарищи по палатке принимают визиты себе подобных, то есть офицеров, то я всегда тотчас же удаляюсь. Но так как с солдатами моего класса я теперь мало соприкасаюсь, то я довольно изолирован, в социальном вакууме, так сказать, что, правда, не является для меня состоянием непривычным. Разве что «сословные различия» именно в армии все-таки обретают еще более жесткую, непосредственную обиходность, чем в гражданской жизни. Военная иерархия — реальность, которую непозволительно игнорировать.

Однако, несмотря на это, я доволен и полон уверенности. Ситуация на этом фронте за последнее время очень улучшилась: вы прочтете скоро прекрасные новости — и, вероятно, не только Италии касающиеся. В других частях Европы тоже грянули великие события. Очень возможно, что «это» (Ты догадываешься, что я имею в виду) уже произойдет, когда мое письмо попадет в Твои руки…

Жаль, что не могу ничего рассказать Тебе о своей деятельности! Она часто интересна. Как раз в последние недели было вдосталь работы; чем больше мы берем пленных, тем более я занят. На литературную работу у меня едва ли есть время; статью, которую я хочу написать о Сфорце и Кроче, «Два великих итальянца», вынужден пока отложить. Хотя именно теперь я в творческом настрое, ободренный, возбужденный неожиданно теплым, почти экзальтированным письмом от Андре Жида, который получил наконец мою книгу и — как кажется — не без радости прочел. Я придал ему (так он пишет) «утешения и силы» — «…courage, récomfort, reconciliation avec moimême et mes écrits. Comme vous les expliquez bien, et motivez! J'aurais été bien empêché si, cette conscience et clairvoyance que vous m'apportez aujourd'hui, je l'avais eue d'abord; mais combien profitable m'est aujourd'hui cet éclaircissement de ma vie! J'en arrive presque, grace a vous, a me comprendere, a me supporter, tant votre presentation de mon être, de ma raison d'être, des mes efforts, des mes erreurs même, comportent de l'intellignce et des sympathie. Je reçois votre livre comme une recompense…»[384]

Мисс Эрике Манн, военному корреспонденту США Лондон

Италия,

22. VI.1944

В Англии ли Ты еще или уже где-нибудь в окрестностях Шербура? Ах, насколько Тебя знаю, Ты будешь среди первых, кто высадится…

Ну да, я тоже был среди первых в Риме — что, правда, было не так опасно. Но прекрасно! Город — кстати, почти не пострадавший — предстал перед нами в праздничном блеске. Что за прием! Люди были вне себя. Ликование, цветы, музыка, приветственные возгласы, слезы умиления, объятия, где бы мы ни показались! Так чествуют не победителей — только освободителей. Ewiva i liberatori![385] Повсюду тот же возглас… Время от времени, правда, иногда и вопрос: «Почему это продолжалось так долго? Вы заставили нас ждать…»

Но теперь идет быстро. Рим (я был там только несколько дней) уже далеко позади, во времени и пространстве. Мы продолжаем двигаться к Альпам, которые кажутся теперь не очень уж далекими. Впрочем, при всем возвышенном чувстве, это отнюдь не увеселительная прогулка. И победный марш несет с собой хлопоты. Чем быстрее мы продвигаемся вперед, тем больше напряжения и неудобств! Если бы итальянские проезжие дороги не были бы такими пыльными! Такая пылища! Целый день мотаешься с бело-припудренными волосами, лицо покрыто коркой из грязи и пота. Ибо теперь становится жарко. После того как мы так долго страдали в своих палатках от сырости и мороза, теперь это солнце докучает нам не меньше. Вообще, эти палатки! Я бы многое отдал за то, чтобы снова разок поспать в доме. Но даже в Риме лагерь был разбит под открытым небом, в парке у виллы «Савойя», на краю города. И с тех пор я вряд ли видел дом, в котором удалось бы поспать. Деревни, через которые мы проходили, — груды развалин…

Видишь, жизнь «liberatori»[386] тоже имеет свои мрачные стороны. Но в Нормандии — только бы мне знать, там ли Ты еще! — дела, наверное, похуже. Главное, что мы побеждаем; долго это затягиваться не может: конец войны виднеется. Здесь, в Пятой армии, есть оптимисты, полагающие — и даже бьющиеся об заклад! — что мы до осени будем в Вене и Мюнхене. Это, пожалуй, чуточку преувеличено; но кто знает…

Только немцы все еще не хотят замечать, что с ними покончено. Таково, во всяком случае, впечатление, которое получаешь от военнопленных. Части господина маршала Кессельринга, кажется, как и прежде, убеждены, что Германия в

конце концов все-таки еще как-то победит, с помощью ли этого отвратительного «оружия возмездия» (очень ли оно вас допекает?) или путем какого-нибудь другого чудесного стечения обстоятельств. Один особенно ушлый «ландзер»[387] (это новонемецкое слово ведь Тебе уже знакомо?) поразил меня недавно следующим откровением: «Когда русские появятся в Пруссии, вы, американцы, испугаетесь и заключите с нами сепаратный мир. Тогда образуется союз между англо-американцами и немцами против Советов — под немецким руководством, естественно!» Забавно это выглядит в таких головах!

Наряду с упрямцами и зазнайками среди военнопленных находятся, конечно, и другие, способные мыслить ясно, и с ними беседуешь охотно. Как раз несколько дней тому назад, в Чивитавеккье, прислали мне на допрос особенно милого и интеллигентного военнопленного, молодого мюнхенца, между прочим, актера по профессии: он долго работал у Отто Фалькенберга в Камерном театре. Комично, а? Такая вот встреча в лагере для военнопленных. Мы болтали об общих знакомых, почти позабытых фигурах мюнхенского литературного и театрального мира. Юноша — зовут его Ганс Рейзер — рассказывал очень занятно; также и о вермахте, с которым он не без опасности расстался в Риме. Он ненавидит нацистов; даже в наших кругах я едва ли когда слыхал столь грозные слова обвинения, гнева. Его отвращение к отягченному виной режиму было подлинным, в этом я совершенно уверен, подлинна также его вера в способность к обновлению, будущее немецкого народа. Я смотрел на него, когда он говорил: пламенный взгляд, светлое чело, упрямый сильный подбородок. Я думал: много ли таких, как ты? Если бы я знал, что вас в Германии много, я разделил бы твою веру.

Надеюсь, мне удастся как-нибудь помочь военнопленному Гансу Рейзеру.

Миссис Томас Манн Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Италия,
1. IX. 1944

Чтобы разок побыть оригинальным, пишу Тебе из канадского полевого лазарета. Нет, никаких моих драгоценных членов не подстрелили! Просто малярия, легкий приступ впрочем: лихорадка, вчера еще довольно сильная, сегодня уже спадает благодаря превосходному хинину, который я потребляю в свирепых количествах. Я немножко оглох, что может быть отнесено за счет пользования хинином; но это тоже уладится.

Инфекцию малярии я подхватил, должно быть, где-нибудь в долгой, пыльной автопоездке (в открытом джипе!) из Флоренции в Римини. Как уже сообщалось в моем предыдущем письме, я пока на время — наверное, всего на пару недель — «отдан напрокат» английской Восьмой армии. «Служба психологического ведения войны» — это интерсоюзническая или, точнее, британско-американская организация, и если психологам из Восьмой армии недостает человека определенной квалификации, то они могут получить его от нашей Пятой. Для меня, впрочем, это приятная смена; путешествие через Италию до Адриатического побережья имело при всех неудобствах свои прелести; были остановки в Перуджии и Ассизи — два великолепных уголка, дотоле мне еще неизвестных. Заплатить за впечатление подобного рода крохотной болотной лихорадкой — плата не слишком высокая.

Из британцев видел я пока еще немногих, кроме нескольких канадских докторов и медсестер. В группе «Службы психологического ведения войны», которая базируется очень близко к фронту, я оставался всего два дня, прежде чем меня отвезли в госпиталь. Первое впечатление было приятным; мне кажется, что «томми» общаются друг с другом в несколько более вежливых, цивилизованных формах, чем наши неотесанные солдаты. Должна же старая европейская культура иметь свои преимущества? Недостатки она, разумеется, тоже имеет, как мне снова стало совершенно ясно в разговоре с английскими офицерами. Эти господа исполнены надменности, которая как раз благодаря их сдержанности, их холодной и корректной бесстрастности действует прямо-таки подстрекающе. Я отмечал недавно в письме Тебе «сословные различия» в нашей армии? Так вот, если у нас между «enlisted men»[388] и «commissioned officers»[389] расселина, то здесь у англичан — бездна! Кстати, британская иерархия сложнее и нюансированнее американской: вместо простой двуклассной системы здесь имеются три социальные категории: между «Privates»[390] и офицерами все-таки полупривилегированный средний слой образуют уже сержанты. Мои четыре дурацкие лычки, которые у нас ни на кого не производят впечатления, здесь являются поводом для преимущества. Питаюсь я здесь с фельдфебелями в их особой «mess»[391], где происходит все учтиво: даже обслуживают. Итак, Ты видишь, если сын Твой и не принадлежит к аристократии, то может все же причислить себя к возвысившейся буржуазии.

A propos «аристократия»: незадолго до того, как я покинул штаб-квартиру Пятой армии, там состоялся в высшей степени знаменитый визит: там был Уинстон Черчилль, я имел честь по

этому случаю стоять в почетном карауле. Для меня это и в самом деле было честью. Ты же знаешь, как я восхищаюсь этим человеком: величайший оратор нашей эпохи, фигура сильной человечности и внушительного масштаба, не без гениальности. Его физическим масштабом, впрочем, я был разочарован: он производил впечатление прямо-таки маленького и приземистого, когда со своей неизменной длинной сигарой и алкогольно раскрасневшимся бульдожьим лицом вместе с нашим петухом, добрым генералом Кларком, обходил строй. Но все же было трогательно видеть его так близко, кивающего и бормочущего, немного также всхрапывающего в утомительно-гордом вышагивании, правая рука с двумя растопыренными пальцами поднята в знаке победы. Да, своей победы, теперь она скоро придет! Но потом!.. Он, пожалуй, не является вождем мирного времени. Хорошо, что у нас есть Рузвельт!

Сможет ли это устроить один Рузвельт? Порой у меня скверно на душе. По совести, бывают моменты, когда мысль о близком конце войны наполняет меня страхом… Но это лихорадка. Не надо бы мне писать так долго. Кончаю!

Привет отцу и друзьям, особенно дорогому Бруно (Франку). То, что Ты сообщила мне о его состоянии, звучит довольно тревожно. Не лучше ли ему? Я часто о нем думаю. И Верфель тоже болен? Как раз теперь, когда у него такой успех с его «Бернадетте» и он мог бы им насладиться! Выглядит почти так, будто жизнь в Калифорнии опаснее, чем здесь, в «действии».

Ф. Х. Ландсхофу Нью-Йорк
Италия,
20. XII.1944

Лейтенант Х., который летит отсюда прямо в Нью-Йорк, будет столь любезен и захватит это письмо к Тебе, что, естественно, является нарушением «Army regulations»[392], а значит, об этом не следует распространяться. Между тем как я не видел причины отклонять любезное предложение; ибо, хоть я и не хочу выдать Тебе никаких военных тайн, все-таки приятно написать разок «бесцензурно», и, кстати, мне было важно по возможности надежным и быстрым способом отправить мою маленькую статью для «Ди нойе рундшау». Ты же, наверное, знаешь, что Готфрид (Берман Фишер), которому прошу передать привет, охотно готов опубликовать несколько моих страниц в «Специальном выпуске к 70-летию Томаса Манна». Так вот они здесь и есть, «pas grand'chose»[393], но от сердца. (Рукопись прилагается.)

Ты спрашиваешь меня, чем я занимаюсь. Сижу в грязи, увязаю в болоте, гуляю под снегом и дождем. После короткой гастроли в

английской Восьмой я вернулся в нашу дорогую старую Пятую и ючусь вот уже скоро три месяца где-то высоко вверху в Апеннинах, где самая большая дикость и бездорожье. Как Ты, наверное, знаешь из газет, наше продвижение на этом фронте как-то застопорилось, неизвестно почему; но генерал Кларк мог бы это, вероятно, объяснить. Вместо того чтобы брать штурмом Болонью и Милан, мы теперь пока удалились на покой севернее Флоренции — не очень далеко на север! — если пребывание на столь суровом горном ландшафте можно назвать «покоем». Это скорее обременительно, тем более что войну ведь, собственно, считали уже законченной в августе-сентябре. А теперь эти безумные немцы предпринимают контрнаступление на западе и удерживают нас здесь на Апеннинах! Что это значит? Даже глупейшие среди них должны же теперь понять, что сражение ими проиграно. Почему они наконец не прекратят? Чего они ждут, злосчастные? Этот вопрос я вновь и вновь задаю не только Тебе и себе, но и тем.

В данный момент нас прежде всего занимает «фольксштурм»{277}: «фольксштурм-фольксморд![394] Потому что господа Гитлер, Гиммлер, Геббельс и сообщники, зная, что поплатятся своей отягченной виной жизнью, хотят принудить немецкую нацию к самоубийству!» Тоже ведь правда!

Вообще я бы хотел подчеркнуть, что мы при всей «расчетливости» отнюдь не лживы. Никаких обещаний, касающихся будущего немецкого народа, не должно встречаться в наших текстах: приказ из Вашингтона! Немцы потом не смогут утверждать, что мы уговорили их лицемерными речами на поражение (они все же будут это утверждать, но совершенно неправомерно). Наша фронтовая программа целиком уживается с формулой Unconditional-Surrender [395], которой придерживается Рузвельт. По отношению к немецкому солдату мы не выдаем себя за «освободителей», но выступаем как победители. Соль нашего послания всегда одна и та же: «Вы проиграли, зачем вы еще воюете?»

Наряду с листовками, которые я в поте лица своего, вдобавок часто закоченелыми от мороза пальцами изготовлял дюжинами, важную роль в нашей психологической кампании играют, естественно, радио и громкоговоритель. Мы добились на днях хороших успехов прежде всего благодаря громкоговорителю, в чем есть и моя доля участия. С искреннейшим сердцем внушаю я через микрофон непосредственно немецким солдатам: «Переходите! Поспешите! Война так или иначе вот-вот кончится, к чему вам в последнюю минуту еще рисковать своей жизнью?» Я своей рискую, всячески стараясь вдолбить «ландзерам» по ту

сторону простую истину; ибо микрофон стоит очень далеко впереди, на расстоянии выстрела…

Странным образом я вообще не нервничаю в таких случаях. Или, может быть, это вовсе не так уже и странно? Я не держусь за жизнь. С героизмом это спокойствие не имеет ничего общего. De facto[396] мне просто лучше на фронте, чем в штаб-квартире Пятой армии, где я «собственно» прикреплен. Там пушки слышатся лишь как отдаленные раскаты грома. Дни проходят в унылом однообразии. Все время туман! Все время грязь! Все время холодный дождь или мокрый снег! И еда скверная.

Впрочем, в данный момент похоже, что мои личные обстоятельства должны вскорости измениться. Солдатская газета «Старз энд страйпс» («Медитерениен эдишенз») хочет заполучить меня в качестве «staff writer»[397]. Я не уклоняюсь. Мне было бы приятно снова иметь возможность писать по-английски. Кроме того, я был бы переведен в Рим. Это уж звучит почти слишком красиво, чтобы сбыться — или хотя бы быть вероятным. Большой вопрос, отпустит ли меня «Служба психологического ведения войны».

А Ты? Расскажи мне о своей деятельности и планах! Зарабатываешь ли Ты золотые горы книгой «Сердце Европы» или, наоборот, она способствует Твоему финансовому разорению? Готовишься ли уже к возобновлению амстердамского издательства «Кверидо»? Подумай-ка, мир может наступить в одну ночь, и тогда все снова захотят печататься на немецком языке! Сам же я, пожалуй, останусь при английском; но есть же хорошие переводчики…

Привет от меня Кестену. Его роман о нюрнбергских близнецах закончен? Я завидую его продуктивности! Мне больше ничего не приходит в голову, одни только slogans[398] для листовок да добропорядочные тривиальности для солдатской газеты. Чем старше становишься, чем больше переживаешь, тем труднее становится писать. Даже эти статейки ко дню рождения отца-Волшебника стоили мне труда, а удались при этом довольно скудно.

Приложение (для «Ди нойе рундшау»):
Торжественно взволнован
С американской армией в Италии.
Рождество 1944-го

«Иосиф-кормилец» — единственная немецкая книга в багаже американского солдата. Этот американский солдат — я. Книга очень меня утешала и подкрепляла, на деле стала заботливым другом в то время, когда я порой нуждался в утешении и

поддержке. Да, именно в жестоких, неутешительных условиях моей теперешней военной жизни ум мой оказался особенно восприимчивым и благодарным к ободрению этой торжественной штуки и этого одухотворенного благочестия.

Достопримечательны обстоятельства, при которых я смаковал прекрасную историю и искусный Божий вымысел. Читал я по большей части ночами, при свете огрызка свечи, в ледяной палатке, сквозь льняную стенку которой просачивался итальянский зимний дождь. Книга сопровождала меня в моих поездках по разрушенной стране. Она была при мне на постое в амбаре опустошенного и разрушенного огнем крестьянского дома. Пока я забавлял себя глубокомысленными шельмовскими проделками Иосифа, в непосредственной близости от меня происходили самые странные и тревожные вещи. Тяжелая артиллерия — как наша, так и вражеская — устроила поистине адское грохотание. Мне пришлось прервать чтение и спуститься, с книгой под мышкой, из своего амбара в подвал.

Я не позволил бедламу помешать мне в моем удовольствии и моем благоговении. Когда я слегка нервничал, то вспоминал Маи-Сахме, спокойного начальника темницы, который — скорее к своему прискорбию — при всем желании не умел пугаться. После этого мне легче давалось почти полностью преодолевать собственную пугливость, как бы страшно ни грохотала артиллерия.

Враг — это немцы. Книга же, в которую я так углубился, что даже забывал о страхе перед врагом, — эта книга написана на немецком языке. Все это решительно странно.

В течение дня мне часто приходится иметь дело с немецкими военнопленными. Что же за ахинею несли эти парни! Разве это был немецкий? Это был совсем не тот язык, который учил меня любить отец. В состоянии ли эти парашютисты и эсэсовцы хоть чуть-чуть понять архаично-иронические тонкости стиля «Иосифа»? Интересно, какие они сделали бы лица, вздумай я прочитать им пару отрывков из библейского романа?

Между тем среди моих товарищей был один, кому казалось очень важным проштудировать книгу в немецком оригинале. Молодой человек, хотевший одолжить у меня «Иосифа», был немцем по рождению, но прожил уже ряд лет в Америке и полностью там акклиматизировался. Он был особенно любим и уважаем в своей части: дельный солдат и вдобавок добросердечнейший юноша, готовый помочь и веселый, одаренный естественным и непритязательным обаянием.

Как-то утром за завтраком я сказал ему: «Послушай, с этой толстой книгой я, между прочим, разделался, можешь взять ее».

Он сказал: «That’s fine[399]. Я заберу ее вечером».

На том мы и расстались. Спустя пять минут он шел по деревенской улице, как раз когда опять возобновился вражеский огонь. Ему угодило в спину. Долго он, должно быть, не мучился.

Я хочу назвать здесь имя моего молодого друга. Его звали Джонни Левенталь. Он был одним из старой, искушенной страданиями семьи Иосифа.

Справедливо говорят, что люди в критических ситуациях могут выказывать надежность и силу своего характера. Книг это касается тоже. Книга, сохранившая свою действенность и свою притягательную силу в грохоте канонады, среди смерти и разрушения, должна быть по-настоящему полной силы. Она выдержала испытание огнем.

Когда я вспоминаю ужасные дни в обстреливаемой итальянской деревне, на ум мне приходит сперва и прежде всего Иосиф-кормилец. Хаотичные видения войны блекнут, становятся тенями, тогда как фигуры прекрасного божественного вымысла впечатляюще достигают пластической реальности. Смотрите, они снова тут, тщательно вылепленные, со своими неповторимыми и все-таки человечески-типичными свойствами! Вот старые друзья: Иосиф, самым естественным и отрадным образом развившийся от вдохновенного агнца до верховного жертвователя теней и распорядителя хлебом; Иаков — торжествующий, который в процессе повествования становится на глазах все богаче историями и отягченнее воспоминаниями; и Иосифовы братья, в свою очередь производящие детей и осуществляющие жизненное предназначение, в то время как история, песчинка за песчинкой, тихо и непрерывно течет сквозь стеклянную щель. Да, есть тут и новые лица: Маи-Сахме, невозмутимый административный служащий, физик и литератор; верховный пекарь и верховный кравчий, два незабываемых шаржа, нарочно введенные с той целью, чтобы на них мог впервые проявиться пророческий талант Иосифа; Аменхотеп, нежный и изнеженный богоискатель, ведущий в критской беседке большой разговор о богах с Иосифом; Фамарь — эта чарующая особа, умеющая с ошеломительной решительностью пробивать себе дорогу, и Серах, ребячливая музыкантша, чья лукавая и прелестная песня-импровизация заглушает в моем воспоминании гром крупнокалиберных орудий. Все слышится мне ее трогательный голос:

Деяния Бога странны.{278}
Он раны наносит, но сам же Бог

Эти же лечит раны!

(Перевод С. Апта)

Ах, как странен он в своих деяниях!.. Да, у меня тоже на душе странно. Я глубоко и торжественно взволнован. Все представляется мне немного как бы во сне — окрестность, в которой наношу эти строки на бумагу, а также и повод, по которому их пишу.

Неужели моему отцу действительно семьдесят лет? Ведь для меня это звучит чрезвычайно фантастично! Ибо это значило бы, что миновало двадцать лет, как мы встречали с добротно-оригинальным расточительством его пятидесятилетие в зале ратуши Мюнхена…

И что за двадцать лет! Если все это лишь «Божья шутка» — как утверждает Серах о различных погружениях в колодец и воскрешениях Иосифа, — то Божья шутка на деле совершенно лютой природы. Он воистину доказал нам, что Он в состоянии исполосовать нас до послушания. Весьма запоздалое утешение.

Или в наказании уже содержатся элементы главного возвышения и мирового примирения? Терпеливо творческий семидесятилетний, которого в июне 1945 года будет чествовать мировая общественность, кажется, носит в своем богатом историями, отягченном воспоминаниями сердце подобные предчувствия. Он знает толк в предчувствиях, намеках и предвосхищениях. Кажущиеся абсурдными стечения обстоятельств божеского своенравия становятся менее непонятными и менее тяжело переносимыми, когда он, улыбаясь, рассматривает и образно истолковывает их.

Сержанту Томасу Квину Армия США, Париж

Рим,

20.III.1945

Еще в Париже? Я бы позавидовал, если бы в свою очередь не имел такого счастья! Уже около четырех недель я здесь, при «Старз энд страйпс» — отличной газете, кстати говоря: гораздо живее, гораздо либеральнее парижской конкуренции. Наш шеф, Боб Невилл, бывший раньше в Нью-Йорке, в «П.М.», потом в «Тайм», очень опытный, очень одаренный журналист; среди сотрудников (сплошь «enlisted men»! вовсе не офицеры) есть несколько сильных талантов. Карикатуры «Ап фронт» Билла Молдина, вероятно, перепечатываются и по ту сторону Альп? Фантастический парень! Ему всего двадцать два, а выглядит еще моложе, как «high-school-boy», школьник, с дерзко вздернутым

носом и оттопыренными ушами. Но уже мастер! Что касается меня, то я пишу главным образом для воскресного приложения, относительно серьезные и основательные статьи, большей частью о немецких проблемах. Место, лучше которого я не мог бы пожелать себе даже в гражданской жизни!

После нескольких месяцев в грязной и скалистой глухомани я чувствую себя здесь как в раю. Мы размещены в настоящей гостинице, три человека в большой, комфортабельной комнате (с водопроводом!). Так хорошо Ты, пожалуй, в Париже не устроен.

А город! Я же до сих пор едва ли знал его. Рим внушал мне отвращение, покуда здесь был этот гротескный дуче. В прошлом июне я в первый раз видел свободный Рим, всего в течение нескольких сказочно бурных дней; но этого оказалось достаточно, чтобы увезти с собой тоску по свиданию. А теперь, когда я могу остаться здесь, мне постепенно становится ясно, как я был прав, стремясь сюда. Рим гораздо богаче скрытыми сокровищами, чем, скажем, Париж, который с кокетливой щедростью разворачивает всю свою роскошь и ничего не утаивает от первого взгляда. Рим же хочет быть исследован, завоеван. Правда, здесь нет авеню, которые могли бы сравниться по блеску и размаху с Елисейскими полями; Пляс де ля Конкорд относительно тесная, провинциальный Рим тоже не может предложить. Но где найдутся в Париже эти открытые сокровища, роскошное барокко в укромных уголках, тихие боковые улицы со сдержанно-грандиозными ренессансными дворцами?

Впрочем, это было бы очень глупо и неблагодарно, если бы я в порыве новой любви захотел бы отказаться от старой. Париж несравненен, и чуточку я все-таки, естественно, завидую Тебе, могущему быть там. Но несравненен и этот город. Какое счастье, что два короля были пощажены и все еще блистают!

В противоположность Неаполю и Флоренции, которые оба все-таки изрядно ослабли, Рим производит впечатление чуть ли не бесстыдно невредимого и зажиточного. Это — привилегированная земля благодаря славе почти трех тысячелетий и благодаря присутствию Святого престола, в тени которого живется неплохо. Римляне живут хорошо, сплошь художники жизни! Разумеется, есть и бедняки, но они стараются стать незаметными или все же остаются на заднем плане. Тем больше бросаются в глаза богачи. На Корсо, в прекрасных садах Виллы Медичи, в кафе и театрах замечаешь женщин, элегантность которых возбудила бы восхищение даже в Голливуде и Нью-Йорке. Сопровождающие кавалеры выглядят, правда, большей частью немного подешевле: слишком уж тонки в талии, усики смешно закручены, с чрезмерно блестящими напомаженными волосами и чрезмерно открытыми, остроносыми туфлями.

В театре я видел уже кое-что, что Тебя бы заинтересовало, прежде всего актрису большого темперамента и подлинной оригинальности, зовут ее Анна Маньяни. Ее талант сможет скоро

завоевать международное признание — а именно в фильме «Рим — открытый город», первая половина которого была недавно продемонстрирована приглашенной публике. Экстаординарно! Драма «résistance»[400] представлена с художественно укрощенным реализмом, заставляющим думать о лучших достижениях русских. Режиссер, Роберто Росселлини, при фашизме производил на свет лишь посредственное. А теперь, после освобождения, он сделал этот бросок!

Вообще такое впечатление, что здесь в культурно-творческой сфере кое-что подготавливается. Я встречаю довольно много людей — писателей, художников, театральных деятелей и политиков. Особенно отраден для меня контакт с Леонорой Фини. Ты знаком с ее картинами? В Париже, должно быть, можно найти ее работы; она долго жила там, что видно по ее живописи: влияние сюрреалистов сразу бросается в глаза. И тем не менее все, что исходит от нее, обладает совершенно своеобразным стилем: смесь нежности и жизнелюбия, женственно-чуткой грации и мужской силы, который нет ни у Макса Эрнста, ни у Дали. Так как Кирико, чье начало было столь захватывающим, уже длительное время в счет не идет (он, кажется, совершенно закоснел и плодит настоящие мерзости!), то Леонора Фини сегодня, пожалуй, сильнейшее и оригинальнейшее дарование среди итальянских художников.

А ее личное обаяние по меньшей мере равно ее картинам. Она динамична, очень интеллигентна, а также красива, вернее, привлекательна, с роскошно гордым ртом и большими, золотисто-зелеными фосфоресцирующими кошачьими глазами… Я охотно провожу свои вечера в ее мастерской, где часто собираются интересные люди. Там, например, встретил я романиста Моравиа — как писатель достоин уважения, хотя как человек несколько брюзглив и бесцветен; к близкому кругу Леоноры принадлежит также хореограф и танцор Аурел Миллош — венгерского происхождения, но уже много лет работает в Италии. Если Ты когда-нибудь сюда приедешь, не премини посмотреть в Опере его балет. Там, где он хочет быть «классическим», он становится иногда заурядным; в фантастическом, причудливо-зловещем он понимает толк и достигает в этом жанре превосходного.

Странным было свидание с Иньяцио Силоне, старым знакомцем цюрихских довоенных дней. Он и его жена, ирландка, совершенно прелестная, пригласили меня на обед в отель «Альберго», где они пока живут с момента своего возвращения. Это довольно элегантный отель, реквизированный и управляемый французами. Силоне, стало быть, живут в качестве гостей

оккупационной власти, «временно», как многократно заверяла мадам. «Пока не подыщем чего-нибудь другого. Но здесь в Риме ведь нет жилья…»

Между прочим, впечатление он производит предоккупационное, почти растерянное. Если в ссылке он тосковал по своей Италии, то теперь он кажется вновь тоскующим по ссылке. Мы много говорили о Швейцарии. Там ему жилось хорошо, несмотря на ностальгию, которая вдохновляла его на прекрасные книги. В Риме же он оказывается часто занятым и отвлеченным; политика пожирает его; на писание уже почти ничего не остается.

Или ему не хватает творческой инициативы? Было бы неудивительно, если бы пострадало его доверие к себе и тем самым радость творчества. «Фонтамара» — уже известная за пределами Италии — теперь наконец-то появилась и здесь. Почти враждебная сдержанность, с которой римская критика обсуждает книгу, должна обижать и разочаровывать автора. Да и публика выказывает мало энтузиазма. Странно! Произведение, повсюду считающееся общепризнанным и чистым выражением итальянской сути, как раз здесь, в Италии, не понимают или все же не одобряют. Итальянцы говорят: «Силоне нас больше не знает, он стал нам чужим. В его стиле чуждый ритм; образы и акценты, которыми он оперирует, здесь не употребляются; все в нем кажется экзотическим. За рубежом он может производить впечатление итальянца, здесь — нет! Здесь у него нет корней. Его призыв звучит фальшиво, потому он не вызовет эха».

Изгнание — горько. Возвращение домой — еще горше.

И Сфорце тоже пришлось это познать; однако его могучее честолюбие, его победный подъем торжествуют над всеми помехами. Как раз в последнее время он стал очень популярным благодаря Уинстону Черчиллю. Английский протест против вызова Сфорцы в министерство иностранных дел был дипломатическим и психологическим «faux pas»[401] такой резкости, что пострадавшему — то есть Сфорце — мог только быть полезен. Если до сих пор на него косились и подозревали как бывшего эмигранта, то теперь он за одну ночь сделался национальным мучеником, почти героем. Как м-р Черчилль вмешивается во внутренние дела освобожденной Италии? Граф Сфорца для британского премьер-министра недостаточно роялистский, недостаточно реакционный и не должен поэтому стать министром? Какой афронт! При первой же возможности — я достаточно уверен — Сфорца получит желаемую должность, хотя он пребывал в ссылке!

Но я забываю, что политика скучна Тебе. Мне, по сути, тоже.

Если бы можно было себе только позволить просто игнорировать эту грязно-скучную сферу! К сожалению, не получается.

Ты находишь новую пьесу О'Нила или Шоу важнее Ялтинской конференции «Большой тройки»? Но если в Ялте не договорятся, то до премьеры Шоу, может, и не дойдет.

Ты аполитичен, антиполитичен? Между тем как все-таки Тебе тоже было бы досадно, если бы после этой войны (которая теперь-то действительно почти закончилась!) сразу началась бы еще одна…

Кристоферу Лазару Нью-Йорк
Рим,
14. IV.1945

Твое последнее письмо звучало печально, почти отчаянно. То, что Ты пишешь о тяжелом и запутанном международном положении — тяжелом и запутанном, несмотря на победу! — очень мне занятно. Еще более удивлен я Твоими замечаниями по поводу проблематичной или, как Ты выражаешься, «безнадежной» ситуации либеральной интеллигенции в сегодняшнем мире, особенно в нынешней Африке. Безнадежное? Я хотел Тебе возразить. Моим намерением было изложить Тебе обстоятельное нравоучение, полное ободряющих признаков краха гитлеровского рейха и моральных последствий, ожидаемых от этого события. С окончанием войны, так я хотел Тебя заверить, начнется эра универсальной солидарности, духовно-нравственного обновления, доброй воли. «Атлантическая хартия», Ялта, Объединенные Нации, грядущая мировая республика — все должно было быть мобилизовано против Твоего пессимизма.

А теперь я не могу держать мою утешительную маленькую проповедь. Красивые слова, которые я приготовил для Тебя, сейчас прозвучали бы пусто и лживо. С позавчерашнего вечера, с момента радиосообщения из «Уом спринтс Джорджия», мир выглядит иначе. Внезапно потемнело.

Смерть Рузвельта — ужасная потеря, ужасный знак. Если уж кто-то казался призванным спасти нашу расшатанную цивилизацию, так это он, и вот его больше нет! Он обладал достаточной мудростью и изворотливостью, достаточным терпением, достаточным авторитетом и добротой тоже; его любили, он внушал доверие, злых же он умел припугнуть. Он бы организовал мир — кто сделает это теперь? Он был именно тот человек. Нет в поле зрения другого, кто мог бы его заменить! Какая злостная разрушительная сила отняла у нас незаменимого?

Эта весть о смерти вызывает шок, и соображения самого рационального толка перемешиваются с почти суеверно

мрачными чувствами страха. Знаешь, о чем печалишься; объективных причин имеется уж слишком много; несмотря на это, субъективная реакция кажется почти непостижимо сильной. Горе — это понятно; откуда же ужас?

Меня охватывает ужас при мысли, что некая злонамеренная инстанция смогла нам такое учинить. Удалить того, на которого можно было положиться! Убрать с дороги миротворца, как раз теперь, когда он был бы нужнее всего! Неужели провидение желает нас погубить? Что же, наша гибель — решенное дело? «Атлантическая хартия» и Объединенные Нации, Ялта и Тегеран, смерть миллионов, вторжения и бомбардировки, много крови, много пота, слишком уж много слез — все напрасно? НАПРАСНО… Слово, от которого меня охватывает ужас.

Ужасное дело олицетворяет собой эта смерть. Я полон дурных предчувствий.

Впрочем, смущение, скорбь кажутся всеобщими. Никогда я не видел еще солдат столь обескураженными и удрученными. В нашем редакционном бюро и в типографии, в клубе, на кухне, на улице — повсюду траурные лица! Даже крикуны разговаривают с позавчерашнего дня приглушенными голосами. Вероятно, завтра они будут тем громче орать; однако уже эта кратковременная приглушенность трогательна и значима, демонстрация очень редкого, почти неслыханного рода.

Рим тих. Итальянцы тоже знают, что с 12 апреля в мире стало поменьше надежды, чем до того.

Но разве не является эта великая, всеобщая скорбь по Ф.Д.Р. все-таки опять же утешительной? Он был человеком благоразумия и доброй воли. Массы, его оплакивающие, не могут быть со своей стороны без доброй воли, а также и совершенно без благоразумия.

Проф. Томасу Манну Нью-Йорк
США. Пресс-центр, Розенгейм, Бавария.
16. V.1945

Это письмо ко дню рождения, моя торжественно взволнованная причастность к Твоему семидесятилетию. Привет идет из Баварии, ни больше ни меньше как из Мюнхена, благодаря чему торжественность его перерастает в изумительное и чудесное. Видел я и наш дом, был на Пошингерштрассе.

Но и самые изумительные и чудесные приключения должны быть сообщены с толком, с расстановкой, по порядку.

Итак, дело в том, что моему превосходному начальнику, полковнику Невиллу, издателю «Старз энд страйпс» в Риме, пришла замечательная идея послать меня в Германию в качестве

специального корреспондента («special correspondent»). 2 мая сдались немецкие войска в Италии; спустя три дня, 5-го, я отправился, сопровождаемый дельным и добродушным фотографом по фамилии Тьюксбери. (Это он сделал фотографии нашего дома, которые я прилагаю к этому письму.)

Добирались мы в джипе, Тьюксбери, естественно, за рулем, ибо водить машину я все еще не могу. Это была прекрасная поездка, настоящее весенне-каникулярное путешествие: из Рима во Флоренцию и дальше, через Болонью и Верону, Больцано. Чем больше мы приближались к Альпам, тем чаще становились встречи с немецкими солдатами, причем речь шла не о чем-то вроде отколовшихся маленьких групп или отдельных индивидов, но о вполне невредимых, хорошо оснащенных, достаточно сильных войсковых подразделениях под компетентным надзором немецких офицеров. Ни следа паники или мятежа! Если под Сталинградом, в Тунисе, а также во Франции вермахт претерпел морально-военный коллапс, здесь, в Италии, о подобном вряд ли можно говорить. Армия маршала Кессельринга, которая так долго перекрывала нам путь к равнине По, производит все еще грозное впечатление — «непобедимой на поле битвы», как имели обыкновение говорить немцы после своего прошлого разгрома с характерной заносчивостью. Эта заносчивость и на сей раз опять остается непоколебимой.

Хотя и в самой Германии можно слышать теперь много подавленных речей; поражение слишком вопиюще: его признают, отрицается еще лишь собственная вина. Не таковы «ландзеры» в Северной Италии и южном Тироле! Те считают крушение Германии трюком и чуть ли не ожидают бок о бок с нами маршировать в Москву.

«Немцы и англо-американцы связаны друг с другом», — уверял меня довольно видный главарь СС в одном лагере для пленных, недалеко от Тренто. (Эти формирования СС единственные, которые, по крайней мере в принципе, нами интернируются, тогда как все прочие немецкие полки, частично еще вооруженные, совершенно беспрепятственно тянутся своим путем.) «А почему мы связаны? — риторически спросил главарь, чтобы затем с триумфом ответить: — Потому что мы одна раса: ясное дело! Немцы и англо-американцы имеют нордическую кровь и нордическую культуру, в противоположность русским, не обладающим вообще никакой культурой. Я ведь сам был там, я знаю наверняка. Русские не моются, у русского нет семейной жизни. Бескультурье сплошное! Образование? Дисциплина? Дух? У русского отсутствуют! И этот варвар хочет господствовать над Европой! Вам, англо-американцам, это так же мало подходит, как

и нам. Но так как русский якобы ваш союзник, вот и напридумывали чепухи. Наше поражение — ха-ха-ха! Шутка! Все заранее оговорено! На следующей неделе все начнется заново, мы, немцы, с американцами против большевиков! Геббельс всегда знал, что так оно и будет. Хитрец наш Геббельс! Вы же ведь не верите, что он действительно мертв? Сплошные гнусные небылицы! Русская пропаганда! А что касается фюрера… — Здесь разбойничий атаман приглушил свой голос до таинственного шепота. — Уж тут-то нет ни малейшего сомнения: Гитлер жив! Ясное дело!» Во взгляде его увлажненная задушевность смешивалась с холодным коварством — не очень приятная комбинация, довольно часто встречающаяся у нацистов.

Слух, что Адольф Гитлер еще жив и где-то держится «наготове», обсуждается повсюду. Большинство немцев, даже и те, кто вроде бы всегда были против «фюрера», кажется, совершенно серьезно воспринимают эту сказку. «Гитлер мертв?» Снова и снова задаю я вопрос, и реакция всегда одинакова: хитроватое подмигивание, смущенное пожимание плечами. Только один-единственный, Герман Геринг, ответил мне ясным, твердым «да». Но об этом позже.

Вечером 7 мая мы прибыли в Инсбрук, темные улочки которого казались жутковато пустынными. В семь часов комендантский час, как объяснила нам американская военная полиция; ни один гражданский не смеет появляться на улице без особого разрешения. Тем более оживленный вид имел город следующим утром. Освобожденным или покоренным был город? В Австрии так уж точно этого не знали. Нашим войскам не разрешено «брататься» с населением, из чего можно заключить, что сюда мы тоже, как и в Германию, пришли как победители — не как «освободители». Несмотря на это, настроение в Инсбруке я нашел многообещающе возбужденным, правда с оттенком несколько лихорадочно-бурной праздничности. Мы едва двигались в нашем джипе, столь забиты были дороги. Местные граждане, сельский народ в живописном наряде, эвакуированные из всех местностей «Великой Германии», освобожденные узники из концентрационных лагерей и освобожденные принудительные рабочие: поляки, итальянцы, русские, голландцы, французы — все кишело вперемешку, шумело, ругалось, смеялось, болтало на многочисленных наречиях, хотело справок, штурмовало беспомощных солдат абсурдными вопросами и просьбами. Целью и центром хаотического блуждания масс был так называемый «ландхаус»[402], где несколько сбитых с толку австрийских чиновников, в свою очередь под присмотром столь же сконфуженных американских офицеров, отчаянно старались

поддерживать в действии что-то вроде административного аппарата. Временный шеф этого чрезвычайного временного управленческого учреждения, еще довольно молодой, симпатично крепкий и интеллигентный человек по имени д-р Карл Грубер, принимал нас среди неразберихи, которую я едва ли выдержал бы хоть один час. Бодрому же Груберу шум и беспорядок казались нипочем. С полной юмора невозмутимостью и спокойным авторитетом он дирижировал толпой возбужденных секретарш, отпускал просителей, подписывал документы, пробегал глазами телеграммы, унимал истеричных коллег. Между всеми этими обязанностями он еще находил время дать сфотографировать себя Тьюксбери и сообщить кое-что мне об австрийском движении сопротивления. Инсбрукское «résistance»[403], которым руководил Грубер, судя по всему, в последние дни совершило прямо-таки значительное. Очень наглядно, с энтузиазмом, но ни разу не прихвастнув, поведал бывший подпольщик-борец о различных опасных приключениях: как он однажды уже почти попал в лапы гестапо, но в последний момент все-таки снова ускользнул, и как целая немецкая дивизия, где-то в Альпах, трусливо сдалась маленькому отряду плохо вооруженных тирольцев.

Он понравился мне, этот Грубер. Никогда не подумаешь, что он принадлежит к католическо-консервативной партии. Неужели с недавних пор клерикалы выглядят так, жилисто высокие и загорелые, спортивные, веселые, отважные и цивилизованные одновременно? Это было бы приятным новшеством.

Из Инсбрука мы поехали дальше, в Берхтесгаден. Толчея союзнических войск, преимущественно французов, и «displaced persons»[404] всякой национальности была там еще плотнее, также и еще шумнее, карнавально дикой необузданности. Многочисленные пьяные бросались в глаза особенно развязными манерами; вино, которым они таким образом себя веселили, досталось им из погреба Гитлера. В течение двух дней «Бергхоф» систематически грабили наши солдаты и полиция; это, должно быть, была разбойно-победная оргия великолепно-опустошительного размаха. К сожалению, мы с другом Тьюксбери прибыли слишком поздно, чтобы в этом еще поучаствовать. Мы нашли знаменитую усадьбу под более чем избыточной охраной военной полиции. После бомб, уже ранее принесших страшные разрушения, здесь добросовестно посвирепствовали грабители. Растрескавшиеся стены и обугленные балки, глубокие воронки, полные мусора и пепла, поломанная мебель, черепки и грязь, груда развалин. Больше тут уже ничего нет. В руинах главного здания еще угадывалась структура огромного окна, которым хозяин дома должен был особенно гордиться. Здесь он имел

обыкновение любоваться со своими гостями, своими подхалимами и жертвами видом на альпийскую панораму. Панорама все еще впечатляюща; но безобразные останки «Бергхофа» мешают прекрасной картине. Разнообразные строения для гостей, прислуги, журналистов и чинов гестапо, вилла Мартина Бормана, павильон Геринга — сплошь черные пещеры, черные груды: грязные пятна и памятники позора на в остальном чистом ландшафте. От всего мощного комплекса, который был раньше замком радостей Гитлера и надежной крепостью, относительно неповрежденным остался лишь боковой флигель, да и тот выгорел и разграблен. Сине-бело-красный флаг украшает испорченную крышу. Трехцветный!

По прибытии нашем в Зальцбург, вечером того же дня, мы видели в киосках экстренный выпуск «Старз энд страйпс» с крупным заголовком: «Все здесь закончилось! Победа в Европе наша»…

«It's all over…» Миновало! Справились! Кончено! Думать о грядущем не сегодня! Сегодня думают и чувствуют только: уфф…

А пацифистский фронт? Там еще подобного вздоха облегчения не издается. Пессимисты говорят, что с Японией война протянется еще много месяцев, может быть лет. Я не могу в это поверить. Правда, я никогда не посчитал бы возможным, что немцы закончат свою самоубийственно-наглую борьбу только 8 мая 1945-го.

Из Зальцбурга, к счастью оставшегося довольно целым, путь на следующее утро лежал по амбициозно задуманной, впрочем сильно пострадавшей, имперской автостраде в Мюнхене. По пути я рассказывал своему спутнику о нашем прекрасном доме на Изаре, который я надеялся застать в хорошем состоянии. Разве не сообщалось в прессе, что союзнические бомбы чуть ли не полностью пощадили предместья и пригородные виллы немецких городов? Так почему бы должно что-то случиться именно с почти сельской тихой Пошингерштрассе в Герцогском парке? Мы с Тьюксбери развлекались мыслью о нацистских бонзах, которых, быть может, обнаружим в «киндерхаусе», — наглых воров, уютно там угнездившихся! Какова шутка — с холодной вежливостью указать челяди на дверь! «Не угодно ли господину обер-штурмфюреру принять к сведению, что эта вилла является законной собственностью моего отца! Господину обер-штурмфюреру надлежит незамедлительно очистить дом. Даю господину обер-штурмфюреру две с половиной минуты…» Дом, освобожденный и основательно выкуренный, можно бы было как-нибудь использовать, может быть в качестве мюнхенской штаб-квартиры «Старз энд страйпс». Весело было строить подобные

планы. Мы славно пробеседовали всю дорогу от Зальцбурга до Мюнхена.

Смех у меня перед лицом разрушенного города между тем прошел. Я плохо представлял себе эту встречу, но оказалось еще хуже. Мюнхена больше нет. Весь центр, от главного вокзала до Оденплатц, состоит лишь из развалин. Я едва смог найти дорогу к Английскому саду, так ужасающе отчужденны и обезображены были улицы, на которых я знал каждый дом. И это было возвращение домой? Все чужое, чужое, чужое…

И все же опять-таки нет! Чужое и близкое одновременно… Прародной ландшафт стал совершенно чужим; дико чужое со следами сокровенного; такое случается только в страшных снах.

Середина города пострадала больше всего, подальше в стороне, на берегу Изара, еще есть хорошо сохранившиеся здания и памятники. Чем больше мы приближались к Пошингерштрассе, тем роднее становилась декорация. Принцрегентштрассе, где когда-то жили Ведекинды — блаженной памяти тетя Люльхен тоже ведь обреталась там, — повреждена, но все-таки остается еще узнаваемой. Смотри-ка, Колонна мира, нарядная и стройная, не тронута войной! Золотой ангел на шпиле еще одет в маскировочный халат, но под ним остался, должно быть, в безукоризненной форме. Сооружение у реки — место нашей ежедневной прогулки и площадка для игр в мифически далекие дни детства — также производят впечатление законсервированных. И мост Макса-Иосифа тоже еще здесь! Он кажется уменьшившимся, что, однако, не имеет ничего общего с бомбардировками. Вещи со временем съеживаются — или увеличиваются в нашем воспоминании и кажутся потому относительно маленькими, когда мы вновь видим их спустя годы? Как бы то ни было: мост Макса-Иосифа, прежде столь заметный, в наше отсутствие, за нашей спиной, снизился и уменьшился до игрушечного. И река съежилась, узкий ручеек: наш джип запросто перескочил через него.

Ну а слева, если свернуть на Ферингераллею, — сокровенная, дико чужая перспектива! Здесь, кажется, кое-что прибавило в размере: деревья и кустарник теперь гораздо пышнее, чем в наши дни, беспризорно разросшиеся, полные какой-то угрожающей динамики. Темная, одичавшая аллея, удивительно, впрочем, короткая: наша военная машина мигом оставила ее позади! Вот уже миновали и халлгартеновский дом — дом Рикки: он еще стоит! А наш?

Да, наш тоже стоит. Сначала я посчитал его невредимым. На первый взгляд старая штуковина имела вовсе не столь уж дурной вид. Чистый блеф, как мне при ближайшем рассмотрении вскоре

пришлось констатировать. Остов стоял, но лишь как бутафория и полая форма. Внутри все опустошено и выжжено, как в гитлеровском «Бергхофе».

По искореженным ступеням взобрался я к порталу и выскользнул через почерневшую от копоти дыру — куда? Где я находился? Ведь не в нашей же прихожей? Та была больше, по меньшей мере вдвое больше, и вообще совсем другой. Через щебень и пепел ощупью пробирался я дальше в глубь дома. Чужое, чужое, чужое — и все-таки нет! Здесь этот оконный свод кажется давно знакомым, камин тоже имеет старую форму. Значит, это все-таки была прихожая? Но тогда салон Милейн лежал бы по правую руку, а там в глубине, слева, должна бы быть столовая. Вместо этого совсем незнакомые помещения.

Здесь что-то не то. Встроили новые стены: из четырех больших помещений образовалось шесть маленьких комнат. Феномен съеживания основывался на сей раз не на обмане, а существовал объективно.

Были ли и на верхних этажах съежившиеся комнаты? Я охотно взглянул бы, но пришлось отказаться от этого в связи с отсутствием лестницы.

После того как мы еще немного поозирались в пустой комнате первого этажа, мы рискнули на экспедицию в полузасыпанный подвал и уж оттуда в конце концов отыскали дорогу обратно на свободу. Тьюксбери, который тщательно сделал снимки интерьера, хотел теперь сфотографировать фронтон дома — этот мнимо солидный блеф-фасад — со стороны улицы.

Пока мой спутник был занят с камерой, я пошатался по саду, где сорняки и цветочные кустарники разрослись так же провоцирующе-гипертрофированно, как и снаружи на Феринграаллее. Странно было на душе у меня, диковинно и завороженно. Одичавший, дико чуждый сад с заросшими тропинками и разрушенной стеной! И все-таки это была близко знакомая изгородь, всегда узнаваемый, незабвенный каштан, аромат сирени далеких, как сон, весенних ночей…

Дом отсюда, из сада, опять казался прямо нарядным и добротным, с обвитой плющом террасой, зелеными ставнями и красиво парящим балконом перед спальней Милейн на втором этаже. Все ложь и обман! Дразнящая кулиса, за которой ничего нет, даже лестницы, по которой можно было бы подняться на верхние этажи!

На третьем этаже расположена моя комната, также с балконом — Ты помнишь? И этот балкон полностью сохранился. Я поглядывал наверх — не без грусти. Было бы все же славно

увидеть снова комнату, пусть и съежившуюся. Как жаль, что нет лестницы!

Тут я обнаружил чужую девушку.

Чужая девушка стояла на балконе перед моей комнатой, неподвижно, немного согнувшись, позади балюстрады. Вероятно, она стояла там все время и смотрела на мои мечтательные променады. Я помахал ей, но она не реагировала, а оставалась совершенно неподвижной, словно полагая, что все еще не замечена. Быть может, она меня боялась? Ведь я носил военную форму врага…

«Что вы делаете там наверху?»

Ответа не последовало.

Когда я повторил свой вопрос, она пожала плечами: «Я живу здесь. А вы что, против?»

Был ли я против? Едва ли. Собственно, нет. Я был только поражен. В моей старой комнате?

На это она ответила отрицательно; комната разрушена. «Я устроилась на балконе. Пока нет дождя, здесь в известной мере вполне уютно».

Но как она взобралась наверх? Ведь нет лестницы.

«Надо уметь помогать себе!» — крикнула она, все еще с недоверчиво-уклончивым выражением лица. Она сконструировала что-то типа стремянки с задней стороны дома. «Не очень удобно, — как она констатировала с определенным нажимом, вероятно чтобы отпугнуть меня от визита. — Для меня-то это годится. Поскольку я, знаете ли, альпинистка. Скалолазка я».

Тут она даже чуть улыбнулась; после чего ее лицо снова сразу стало злым и кусачим, когда я объяснил, что хочу к ней подняться — несмотря на неудобство. «С вами ничего не случится, — добавил я успокоительно. — Вас никто не прогонит с вашего уютного балкона. Покажите мне стремянку!»

Шею можно было сломать, карабкаясь; но я одолел это благодаря сведущим советам и указаниям, которые девушка — готовая помочь при всей ворчливости — мне выкрикивала через чердачный люк. Наконец мы стояли друг против друга.

«Ну, теперь вы же сами видите, что здесь нечего реквизировать!» Так приветствовала она меня, указывая небрежно-презрительным жестом на потолок, сквозь широкие дыры и прорехи которого просвечивало послеобеденное небо. «Капут!» Она повторяла это слово, полагая, наверное, что я не очень-то силен в немецком. «Все — капут! Ничего хорошего! Understand?»[405]

Она была, пожалуй, едва ли старше двадцати пяти-шести, но

уже какой-то отцветшей, с нечистой блеклой кожей и досадливо своенравным лбом под прямым пробором. Не улыбаясь, с враждебно замкнутым лицом она сопровождала меня по веренице чердачных каморок, которые были встроены в наш склад и на плачевное состояние которых моей провожатой казалось необходимым снова и снова указывать. «Капут! Ничего хорошего!» Она стояла на своем. И в «моей» комнате — дико чужой, со зловещими остатками былой интимности — она указала, не без злорадства, на разорванный абажур: «Ничего хорошего! Understand?»

Снаружи на балконе, однако, и в самом деле было почти «уютно». Матрацное лежбище, с избытком экипированное подушками и одеялами, выглядело прямо-таки комфортабельным; на низеньком столе были даже цветы и книга; также наличествовали будильник, стул и посуда для умывания.

Я похвалил интерьер балкона, выразив, однако, свое опасение, что ночами под открытым небом все-таки, наверное, в это время года еще холодновато. Девушка благодаря похвале и участию сделалась доверчивее и защищала свой балкон и мюнхенскую погоду. Подумаешь, холод! Альпинистка привычна и к худшему. И вообще, кто может быть разборчивым нынче? Ее трижды бомбили; последний раз в доме свояченицы, которой больше нет в живых: «Сгорела — на моих глазах!» Голос девушки при этих словах задрожал, но тотчас опять зазвучал спокойно и хладнокровно, немного, может быть, строптиво, но, собственно, не тронутый горечью или болью. С монотонной деловитостью она перечисляла свои потери: родители мертвы — скоропостижный сердечный приступ с горя от разбомбленной квартиры; жених пропал без вести в русском плену; один брат ранен на войне — «лишился обеих ног», другой пал под Сталинградом. А теперь — золовка!

«Вот и получается, что совсем одна, — констатировала девушка не жалобно, скорее строптиво. — Ни родственников больше, ни жениха! Ни денег, ни квартиры! Надо бы продержаться; да чуточку счастья надо бы человеку. Возьмем балкон, к примеру, так это же прямо счастливый случай!»

Я захотел узнать, как она вышла именно на этот дом — «на наш дом», чуть не сказал я.

«Друзья, — объяснила она мне несколько неопределенно. — Один знакомый господин жил здесь раньше».

Ошибочно обозначать господина, с которым знаком, как «знакомого господина»; но в такие тонкости немецкой грамматики, будучи американским солдатом, не стоит вдаваться. Потому я только спросил: «Может быть, вы случайно знаете, кому

принадлежит дом?»

Нет, этого она не могла объяснить: «Увы! как на грех, — язвительно подчеркнула она. — Как на грех, тут я не совсем точно ориентируюсь». Все же она смогла поведать, что вилла прошла «через многие руки», напоследок три этажа были поделены пятью или шестью семьями — «очень милые люди, действительно». «Из-за нужды в жилье. До войны здесь были большие помещения — видели бы вы кабинет на первом этаже! Просто люкс!»

Она гордилась былой роскошью кабинета на первом этаже, где ей довелось, вероятно, пережить веселые часы со «знакомым господином». Совсем же первоначально — это ей еще пришло на ум — роскошный кабинет использовался писателем, который потом подался за пределы страны и там, по мнению девушки, давно умер, должно быть, жалкой смертью. «Вероятно, не-ариец, — предположила она, пожимая плечами. — Или даже чистый еврей. В любом случае он не ужился с нашим правительством». Вслед за этим она еще раз заметила, что она как раз «как на грех, точно не ориентируется».

«Значит, дом принадлежит писателю, который не мог ужиться с правительством?»

Мой вопрос был ей неприятен; она опять уклонилась: «Как посмотреть. Если писатель был еврей или что-то другое с ним не в порядке, то собственность, естественно, конфискована, и дом тоже. — После некоторого раздумья она заключила: — Дом принадлежит государству. Иначе ведь здесь бы не было родника жизни!»

«Родника жизни»? Это звучит интересно. Я попросил девушку объяснить почетче.

«Да вы что, действительно не знаете, что это значит?» Она неодобрительно покачала головой, но затем терпеливейшим образом объяснила мне, что за дела были в нашем доме у «родника жизни». «Здесь были расквартированы крепкие парни из СС, очень благородные люди, действительно: чистопородные быки. Ну, в качестве быков или жеребцов они использовались в целях улучшения расы, понимаете. Вот такой родник жизни — у нас же много их было, повсюду в стране — был тут в расовых интересах, для разведения нордической породы, для немецкого молодняка. Девицы, естественно, тоже должны были быть безукоризненны: череп, таз — все замерялось сантиметром. Если все подходило и ничто не было слишком длинно, или слишком коротко, или слишком толсто, или слишком худощаво, то тогда они совокуплялись здесь и могли оставаться до послеродового периода. Родник жизни был не только местом разведения, но и

домом матерей». Последнюю фразу, как, впрочем, все квазиученые обозначения функций «родника жизни», она вымолвила «высоким стилем», с неким затверженным благоговением, как изречение из катехизиса.

Я охотно узнал бы еще что-нибудь, не только о роднике жизни в общем, но и об особых связях, может имевшихся между этим пикантным учреждением и моей поразительно хорошо информированной балконной фрейлейн. К сожалению, беседа наша была прервана, когда она как раз обещала стать милой, из сада, в понятном, впрочем, беспокойстве и нетерпении, меня звал Тьюксбери. Я объяснил девушке, что теперь, к сожалению, мне надо срочно идти, что казалось, ее разочаровало и даже немного оскорбило. «Ну и пожалуйста!» Это был снова ее колкий тон. Но улыбка ее стала чуть ли не трогательной, когда она смягчившимся голосом добавила: «Я бы с удовольствием вас еще подзадержала, всю ночь, смотря по обстоятельствам. Здесь ведь так уютно! Словно дома…»

Тьюксбери вскарабкался к нам и пощелкал. Потом мы с ним еще немного поколесили по Герцогскому парку. Большинство домов в этой округе не пострадало: нам особенно не повезло. Впрочем, напрасно я искал знакомые фамилии на какой-нибудь из этих неповрежденных вилл. Все сменили владельца. Из наших друзей, кажется, больше здесь нет никого.

Куда же нам? Становилось поздно; у нас не было никакой охоты ехать в Розенгейм в Пресс-центр США. У одного особенно изящного дома, недалеко от нашего на Мауэркирхерштрассе, я велел остановиться. Громко стучусь! Еще раз, и посильнее! Наконец за дверью дома послышался испуганный голос: «Что вам угодно?» Мой ответ короток и ясен: «Постели!» Звучит по-американски? С еще более сильным акцентом, с трудом и одновременно авторитетно я повторил: «Постели для двух солдат! Открыть! Немедленно! Мы хотим постели!»

Это действует. Толстый мужчина в халате впускает нас, прислуживая и приговаривая: «Ну естественно… пожалуйста… с удовольствием… Если господам угодно довольствоваться… Все очень скромно — не так удобно, само собой разумеется, как у вас в Америке…»

Комната, которую предоставил в наше распоряжение толстяк, была большая, элегантная. В страхе он предложил нам также и перекусить, но мы предпочли свой паек. «Естественно, — причитал дородный. — Американские рационы! Они, разумеется, лучше! Нашему брату предложить нечего, ведь стыдно, в доме ни глотка пива, такая вот нужда, страдают-то всегда невинные, ни кусочка колбасы в доме, а я ведь всегда был против, уж всегда

против Гитлера, последовательно, непоколебимо…»

Он рассыпался в пространных заверениях, касающихся его политической неприкосновенности. «Я демократ — целиком и полностью! Уже из-за моей жены, с ее не-арийской невесткой. Так или иначе, мы все настроены очень интернационально, вся семья; по-английски я тоже умел говорить, будучи молодым человеком».

Мы попросили его не демонстрировать этого теперь, так как мы устали. Таким образом он удалился. Мы отлично выспались.

На следующее утро я обнаружил в книжном шкафу прекрасно переплетенный экземпляр «Майн кампф» наряду с несколькими томами Розенберга и Геббельса — все тактично сдвинутое в сторону, но тем не менее еще на почетном месте с собранием сочинений Шиллера. Я снял всю грязную и непристойную литературу с полки и сложил ее изящной опрятной кучкой, которой украсил круглый стол в центре комнаты. К ней и приложил записку с надписью: «Отвратительная нацистская дребедень. Долой это!» Могу лишь надеяться, что нашему жирному хлебосолу, который был всегда против Гитлера, от этого злополучного привета станет несколько неуютно. Мы покинули изящный дом, так и не повидав еще раз хозяина.

Это письмо становится неприлично длинным — я должен просить прощения. Как раз теперь, накануне Твоего дня чествования, Тебе, конечно, и без того приходится читать большую почту, что Тебе полезно и желательно. Тем большего порицания заслуживает моя болтовня! Но ведь известно, что при переполненном сердце уста склонны к недержанию. Сердце мое полно. Есть много чего рассказать. Несмотря на это, хочу быть теперь покороче и скоро дойду до конца. Поскольку при этом обязательно пропадут интересные детали, то Вы можете их позже прочитать в статьях, которые шлю отсюда в «Старз энд страйпс» депешей и из которых Вам, после окончания моей поездки, будет переслана подборка.

Я писал о Дахау — как и другие до меня; но сколько бы ни писали — все будет недостаточно. Ко времени моего визита, 11 мая, лагерь ужасов уже больше не пребывал в своем первоначальном адском состоянии, но все еще являл достойную внимания гнусность. Сквозь крепкие запахи дезинфекционных средств распознавалось, не без содрогания и легкой тошноты, сладковато-гнилостное зловоние, которое в памяти вызывает мертвецов. Камеры пыток, печи и виселицы смотрелись как зловещие достопримечательности, как железная дева и колесо в музее. Весь этот аппарат умерщвления, хоть и высокосовременный в своем техническом исполнении, производил какое-то впечатление нереального, фантастического

или по крайней мере исторически отдаленного. Разве нечто подобное бывает в наши дни, которые нам хочется считать нравственными? Подобное есть. Из злосчастных, проклятых, которые еще месяц тому назад принимали участие в атавистически непристойных мерзостях, некоторых также можно увидеть в Дахау. Недалеко от музейно сохраненной комнаты избиений за колючей проволокой сидят они, палачи нового порядка, опора гитлеровского общества, гордость и элита ослепленной нации. Среди этих эсэсовских преступников есть, быть может, тот или иной, кто некогда выделялся мужской доблестью при оргиях размножения в нашем доме…

Тот же день, в который я посетил концлагерь Дахау и увидел там пару сотен относительно безобидных и по крайней мере мелких сволочей, как хищников, забившихся в угол клетки, принес мне также и встречу с одним из великих виновников и обер-мерзавцев — Германом Герингом. Как Тебе известно из журналов, его можно было проинтервьюировать только единожды — как раз в этот день: 11 мая, — чтобы потом ему с остальными главными уголовниками исчезнуть под союзническим надзором до особого распоряжения. Ареной курьезного мероприятия была отдаленная вилла в Аугсбурге или, точнее, относящийся к ней сад, на ухоженной лужайке которого толпились двадцать-тридцать американских, французских и английских репортеров наряду с некоторыми высокопоставленными офицерами, любопытствующими по поводу знаменитого или все же сенсационно пресловутого пленного. Геринг сидел — довольно неудобно, но тем не менее декоративно — на маленьком жестком стуле в тени липы. (Или каштана?) Сизовато-голубая военная форма, в которой он представлялся, впрочем без орденов и эполет, была наверняка одной из его самых невзрачных, но все же очень красивой. К своему разочарованию, я нашел его гораздо менее бесформенным, чем ожидал: плотный, среднего роста человек с животом и двойным подбородком, но вовсе не безобразный. Не скажешь, чтобы он вызывал особую антипатию, скорее наоборот. Известную жесткость в выражении его лица, разумеется, можно было отметить, и взгляд часто зло поблескивал. Однако голос звучал вполне приятно, мощно и ясно, хотя несколько маслянистый, и лицо казалось неплохо скроенным. Общий вид заставлял думать о типе наемника, при всей своей свирепости не совсем лишенного добродушия.

Впрочем, Геринг явно старался произвести хорошее впечатление. Неужели он надеялся на прощение? Рассчитывал на снисходительность и невежество победителей? Абсурдные иллюзии! И все-таки, может быть, не *совсем* уж и абсурдные, если

вспомнить, с какой неподобающей вежливостью обращались со старым негодяем наши военные сановники. Под давлением общественного мнения, правда, образумились. Геринг, которому перемывали косточки журналисты в Аугсбурге, уже более не был самодуром, баловнем. Но даже если он и сумел затаить свою заносчивость, то подавленным он не выглядел. Более того, он напоминал большого господина, которому не повезло и он пытается теперь с помощью обаяния и хитрости как-нибудь выпутаться из аферы.

Большому господину было несколько дискомфортно; его смех звучал форсированно, бросалось также в глаза, что он часто прикладывает носовой платок ко лбу. Он потел, хотя сидел все-таки в тени. Исходя потом, он попросил переводчика указать нам на то, что он — рейхсмаршал — уже давным-давно окончательно рассорился с фюрером. «Совершенно разошлись! — подчеркнул он, подняв указательный палец. — Я прошу это отметить! Это важно!» В то время как сказанное передавалось по-английски и французски, рейхсмаршал озабоченным взглядом наблюдал за нашей реакцией.

Концентрационные лагеря? Он никогда не догадывался, что там происходило. Все это — вина Гиммлера! «Будь мне известны такие мерзости, я бы протестовал, принял бы решительные меры!» При этом он нервно дотрагивался до лба.

Поджог рейхстага? Здесь он стал почти шельмоватым. «С этим я не имел ничего общего!» Сопровождая ухмылкой — «озорной», так сказать.

«Гитлер мертв?»

Этот вопрос задал ему я, по-немецки естественно, что заставило его вздрогнуть. Однако ответ пришел с величайшей готовностью и особым ударением: «Да! Гитлер мертв. Безусловно! Без всяких сомнений!»

Вот таким было интервью с Герингом в весеннем саду. Курьезно, не правда ли? Если бы не имел сообщить ничего занятного, то объем этого послания был бы и в самом деле совсем уж непростительным.

Под конец я бы хотел еще упомянуть о другом разговоре, удивительно забавном. Вчера был я у Рихарда Штрауса в Гармише, вместе с Куртом Риссом, который трудится здесь в качестве американского корреспондента. Мы представились как два американских репортера; маэстро принял нас с большой сердечностью, не узнав меня, естественно, а я не давал ему каких-либо разъяснений по поводу своей личности. Эта беседа тоже состоялась перед виллой в цветущем саду, правда в гораздо более интимной обстановке, чем интервью с рейхсмаршалом. У

Штрауса не было ни военного церемониала, ни массового наплыва международных корреспондентов; более того, мы с Куртом были единственными или по крайней мере первыми журналистами, посетившими его не только в этот день, но и вообще с конца войны. Странным образом еще ни один из наших обычно столь расторопных коллег не напал на идею интервьюировать автора «Саломеи» и «Кавалера роз». Тем более при его общительности, которая, кажется, не сдерживается никаким стыдом или тактом.

Стыд и такт — это не его дело. Наивность, с которой он признается в совершенно бессовестном, совершенно аморальном эгоизме, могла бы быть обезоруживающей, почти веселящей, если бы она не была столь пугающим симптомом низкого нравственно-духовного уровня. Пугающим — вот это слово. Художник такой чуткости — и при этом туп до крайности, когда речь идет о вопросах нравственности, совести! Талант такой оригинальности и силы, чуть ли не гений — и не знает, к чему обязывает его дарование! Великий человек — начисто лишенный величия! Я не могу не находить этот феномен пугающим и в достаточной мере омерзительным.

Его преклонный возраст не извинение, едва ли смягчающее обстоятельство. Правда, он объявил нам, что у него больше нет никаких «художественных планов». («Пятнадцать опер, вдобавок песни, симфонические пьесы и другие мелочи, этого достаточно. Мое Euvre[406] закончено».) Однако для мужчины восьмидесяти одного года он в необычайно хорошей форме; розовощекое лицо не отражает ничего старческого, или столь же мало, сколь и уверенная походка и южнонемецкий, мягко звучащий голос.

Мягко звучащим голосом он сообщил нам, что нацистская диктатура и для него была в некотором отношении тягостной. Вот, к примеру, совсем недавно, был в высшей степени досадный инцидент с разбомбленными, которых должны были в его — маэстро — доме расквартировать. У него вздувались лобные артерии, стоило ему только подумать об этом. «Нет, только представить себе это! — восклицал он, очень возмущенный. — Чужие — здесь, у моего домашнего очага!» Одной рукой, немного дрожащей, не от старческой немощи, но от ярости, он указал на дом: сельски элегантное строение солидных размеров.

«Успокойся же, папа! — Маэстрова невестка, которая сидела с нами в саду, нежно-рассудительно уговаривала холеричного старика. — Это была гнусная идея, афронт, крайне неприлично; но, слава Богу, это все же так и осталось идеей. Тебе не навязали никаких разбомбленных, не так ли, папа?»

«Конечно! Потому что война кончилась! — Старик все еще

громыхал, лишь наполовину усмиренный. — Но что бы произошло иначе? Мое обращение к Гитлеру не возымело никакого действия. Он настаивал на том, чтобы я тоже принес жертву. Расквартированные! Бесстыдство эдакое!»

И не было, кроме этого, ничего, за что бы он обижался на Гитлера?

Как же, было еще и то и се и еще кое-что! Музыкальный вкус фюрера был, по мнению Штрауса, все-таки уж несколько односторонним и специфическим. При всем уважении к Рихарду Вагнеру, есть ведь еще и другие тоже. «Моя последняя опера, „Любовь Данаи“, была просто проигнорирована, — обиженно констатировал композитор. — А вы же знаете, какие трудности у меня возникли с либретто Стефана Цвейга. Притом „Молчаливая женщина“ — это действительно очень искусно сделанный текст; а впрочем, я же в 1933 году не мог предположить, что появятся расовые законы».

Думал ли он когда-нибудь о том, чтобы покинуть нацистскую Германию?

Вопрос мой его поразил; он окинул меня взглядом из-под высоко поднятых бровей. С какой это стати он должен был покидать Германию? «У меня ведь здесь постоянные доходы, изрядно большие даже». Невестка, производящая впечатление не очень «арийской», усердно кивала, когда румяный старик не без гордости констатировал: «В конце концов, у нас есть по меньшей мере восемьдесят оперных театров».

«Было! — Я не смог удержать этого возражения. — Вы хотите, наверное, сказать, что в Германии некогда было восемьдесят оперных театров».

Он не понял меня. По горло занятый своими собственными аферами, он, вероятно, еще не имел времени принять к сведению также и такой пустяк, как разрушение немецких городов (и немецких оперных театров).

«По меньшей мере восемьдесят! — настаивал он строго, чтобы затем со слегка озабоченным покачиванием головы продолжить: — Конечно, если здесь станет еще хуже с обеспечением продуктами питания, мне, может быть, все же еще придется переселиться, в Швейцарию например. Но до сих пор как-то еще перебивались».

Да, такой перебьется, совершенно все равно, при каком режиме. Виновны ли нацисты в бессмысленной и убийственной войне? Миллионы невинных погибли в газовых камерах? Германия обращена в прах и пепел? Разве это огорчает Рихарда Штрауса?

Рихард Штраус говорит: «Переселиться? Да, если еда станет

плохой! В третьем рейхе было что покушать, особенно если загребаешь тантьемы из по меньшей мере восьмидесяти оперных театров. Не говоря о паре глупых инцидентов, мне не на что жаловаться».

Многие нацистские начальники — говорит Рихард Штраус — были славными людьми: Ганс Франк{279} например, хозяин Польши («Очень утонченный! Очень культурный! Он ценил мои оперы!») или Балдур фон Ширах{280}, который повелевал «Остмарком» (иначе называемой Австрией). Благодаря его протекции семья Штраус в Вене пользовалась привилегированным положением — и это несмотря на то, что сын композитора имеет не совсем расово безупречную супругу! «Я смею, пожалуй, утверждать, что моя невестка была единственной свободной еврейкой в Великой Германии».

«Свободной? Все-таки нет, папа! Или по крайней мере не совсем! — протестовала фрау Штраус, младшая урожденная Граб, кокетливо жалуясь. — Моя свобода оставляла желать лучшего. Ты забыл, что я испытала. Разве мне можно было охотиться? Нет! Даже верховую езду мне временами запрещали…»

Клянусь, это были ее слова! Были нюрнбергские процессы; был Освенцим; состоялась беспримерная бойня; подлейшая правительственная система мировой истории низвела евреев до дичи, на которую разрешена охота. Все это известно. А невестка композитора Рихарда Штрауса жалуется, так как она не могла охотиться. Временами ей даже отказывали в верховой езде.

Я подумал, что пора заканчивать возмутительный разговор.

«Вы уже уходите?» Маэстро и урожденная Граб охотно оставили бы нас на обед. Я отказался. Курт объяснил, что он тоже условился в городе, однако все же не мог не попросить у господина Штрауса фотографию с подписью. «Конечно же! С удовольствием!» Старик сиял. И обратился ко мне: «Вы тоже желаете карточку?»

«Благодарю. Я не коллекционер».

Мой ответ должен был прозвучать холодно как лед. Седые брови приподнялись выше, чем когда-либо, скорее озадаченно, чем уязвленно. Потом последовало пожатие плечами, снисходительная улыбка. Эти американцы! Известно же, как они чванливы и вульгарны. Пренебречь автографом маэстро! Такой вот придурочный. «Янки» знать ничего не знает, кроме боксеров и «movie stars»[407]…

А теперь действительно конец! Я адресую это безобразно разбухшее письмо в Нью-Йорк, где Вы — согласно последнему письму Милейн — празднуете день рождения. Будь добр, обними за меня фрау мать и фрау сестру; естественно, записанные здесь

байки предназначены для этих обеих любимых. С Вами ли Бруно и Лизль? Старые друзья не должны отсутствовать при столь высокообязательном случае. Если же они остались в Калифорнии, то Вы, конечно, говорите с ними по телефону. Передай им, пожалуйста, мой привет! Между прочим, я намереваюсь скоро послать им подробный «Немецкий отчет». Причем у меня выпало из памяти, что следующее мое письмо, вероятно, будет вовсе не из Германии, а из Чехословакии. Я еду завтра в Прагу, непродолжительная командировка.

М-с Лизль Франк Беверли-Хиллз (Калифорния)
Париж,
30. VI.1945

Мою телеграмму Ты получила. Таким образом, я могу лишь повторить то, что уже попытался недавно, в первом испуге и в первой боли, сказать: смерть Бруно для меня означает горькую утрату. Я его очень любил, Ты знаешь это. Мне будет недоставать его, нам всем будет его недоставать, мы все стали беднее. Эту теплую богатую человечность, эту интеллектуальную honnête-têté[408], эту верность, это великодушие, эту изысканную улыбку при таком знании самых темных и тяжелых вещей — где мы найдем это снова? Подобное становится все реже. Прекрасные свойства, которые встречались в щекотливо всесторонней и тем не менее столь славно сбалансированной натуре Бруно, они, кажется, грубому поколению, теперь подрастающему, вряд ли известны даже по названию…

Именно благороднейшие и лучшие, кажется, предрасположены сейчас уходить от нас — или их отзывает некая инстанция, которая к нам не может благоволить?

Я знаю, что для Тебя сейчас не существует никакого утешения. Но разве все же не имеет — сама по себе и именно для Тебя — нечто примиряющее мысль, что его последний час был свободен от мучений? Умереть во сне, с расслабленными чертами, без борьбы и судорог — это так хорошо подходит для этой благовоспитанной, осененной, несмотря ни на что, счастьем индивидуальности. То, что предшествовало горю и переносилось с гражданским мужеством, мы знаем или можем по крайней мере догадываться. Однако просветленно расслабленное выражение лица остается характерным.

Поклонись, пожалуйста, от меня своей дорогой маме Фрици. И прими всю чувствующую и сочувствующую дружбу

Твоего.

Мисс Еве Герман Санта-Моника (Калифорния)

Париж,
1. VII.1945

Я не знаю точно, насколько близок был Тебе Бруно Франк и видела ли Ты его в эти последние недели или дни. Если можешь, напиши хоть слово. Мои на востоке; я узнал лишь самое скудное и не хотел бы мучить вопросами бедную Лизль. Кто выступал у его гроба? Не планируете ли Вы траурное торжество? Могу ли я чем-то помочь отсюда, послать пару страниц, которые зачитают?

Наши друзья уходят, один за другим, и нет конца прощанию.

Аннемари, например, дорогое «швейцарское дитя»…

Ты же знаешь, что и она удалилась: к сожалению, не без судорог и мук. Это была авария с велосипедом, как мне сейчас сообщают. Да, заурядный велосипед понес ее, как дикий конь. В Энгадине очень крутые улицы со множеством поворотов — и вот это случилось. Упрямое перевозочное средство швырнуло наше швейцарское дитя о швейцарское дерево, отчего ее голова — ее прекрасная милая голова, «son beau visage d'ange in consdable»[409], — ужасно пострадала. Умерла она не сразу, но прожила еще неделю в тяжелом состоянии. Ужасно выпавшее мученичество, назначенное жутко непостижимой инстанцией! Как будто недостаточно жестоко затяжной агонии на полях сражений, в лагерях уничтожения и подвалах пыток!

Чуть ли не каждый день, который я провожу в этой растерзанной и разодранной послевоенной Европе, поражает меня новым ужасающим известием. Или ужасы настолько в порядке вещей, что их больше нельзя назвать поразительными? Из Амстердама, к примеру, я узнаю, что мой друг Вальтер Ландауэр, издатель, попал немцам в руки и был замучен до смерти. Он тоже принадлежал к добрым и благородным. И так нищаем мы и становимся все беднее.

Благородным и добрым на свой лукавый лад был также и голландец Эмануэль Кверидо, жизнерадостное старое дитя с проницательно синими капитанскими глазами и широкой ухмылкой. Они его вместе с супругой депортировали в Польшу. Седая пара — оба уже за семьдесят — погибли там: не будем спрашивать как…

Одной девушке, с которой я дружил в Оденвальдской школе, они отсекли голову. Ода Шотмюллер звали ее, художница и график причудливо своевольной фантазии. С «расовой» точки зрения она была безупречной, но в остальном подозрительна. Она ненавидела режим и боролась с ним, в самой Германии; и это произошло. Поэтому ей отрубили голову — топором. Моя подруга Ода была национал-социалистами обезглавлена.

Казнена также моя подруга Криста Хатвани-Винслоу (Ты ведь

знаешь ее?); эта — французским «résistance». В ее доме на Ривьере якобы укрывались немецкие офицеры. Таким образом, потом был устроен процесс, очень короткий процесс, закончившийся по приговору военно-полевого суда расстрелом. Было ли это несправедливо? Может быть; ибо к нацистам наша Криста, конечно, не питала симпатии. Но она, наверное, была уж слишком широкой и безоглядной, слишком терпимой, терпимой до расхлябанности. Если уж не питаешь симпатии к нацистам, будь добр избегать общения с нацистскими офицерами, да особенно еще и в оккупированной, почти освобожденной стране. Угнетенные не понимают шуток, когда приходит их час. Несмотря на это, мне жаль нашу Кристу, славную старушку. Мне решительно ее жаль.

Еще хуже неумеренно многочисленных известий о смерти встречи с некоторыми выжившими, которые, собственно говоря, уже не совсем живы. Кто приходит из ада, тот несет отметину. Кто отмечен этим знаком, тот выделяется среди нас, как призрак.

Ты помнишь тетю Мими, разведенную жену дяди Генриха? Пражанка — да Ты знаешь, еще такая толстушка, пеструшка, бодрячка. Так вот, я видел ее, дней четырнадцать назад, в чешском местечке под названием Терезиенштадт. Там тетя Мими жила временно, в течение нескольких лет; не совсем, впрочем, по своей воле. Чешское местечко под названием Терезиенштадт было концентрационным лагерем, а тетя Мими — еврейка. К своему счастью (слово звучит в подобной связи парадоксально и цинично), она могла предъявить «полуарийскую» дочурку, ребенка политически подозрительного, но не-еврея Генриха Манна, почему и была избавлена от Освенцима и газовой камеры. Терезиенштадт считался «льготным лагерем».

Итак, я осмотрел его, это сравнительно привилегированное гетто. Это ад. Лицемерная видимость «порядка» и «корректности» (ни одной виселицы! — или по крайней мере не видны…) делает преисподнюю еще более убогой, еще более адской.

Я вгляделся в тетю Мими. Как выглядит она после пяти лет «льготного лагеря»? Уж не полной и яркой и больше уже не веселой! Тетя Мими — это тень самой себя, исхудалая, полупарализованная, сгорбленная, сморщенная, с редкими седыми волосами, трясущимися когтистыми пальцами, блеклым лицом, искаженным гримасой перекошенного рта, и застывшим страдальческим взглядом.

Спасенная? Нет, призрак. Она несет отметину.

Между тем как мне встречались и люди, характеры особой жизнестойкости и выдержки, которые перенесли ужасное и остались в хорошей форме. В Чехословакии, также и в Германии и

Австрии многие бывшие узники теперь занимают высокие посты; иные, как глава правительства Тюрингии, Герман Луи Брилль{281}, с которым я имел обстоятельную беседу в Веймаре, прошли по семь, восемь, даже десять лет ужасов Дахау, Бухенвальда, Ораниенбурга.

Феномен такой силы сопротивления производит удивительнейшее впечатление, когда мы встречаем его у очень близкого друга, то есть у человека, которого мы знаем не только с его импозантными и привлекательными чертами, но и с его слабостями.

Вчера я встретил здесь свою очень дорогую, очень старую подругу Мопсу Штернхейм. Откуда она возвратилась? Из Равенсбрюка, женского лагеря. Пробыла она там восемнадцать месяцев, после ужасных дней в подвалах пыток парижского гестапо. Она была связана с французским «résistance», за что немцы выбили ей все зубы. Но улыбаться она все еще умеет — или уже снова: пока без зубов. Настолько она сильна! А ведь и у нее есть свои слабости. Силу же ее я, пожалуй, оценивал не совсем правильно. Восемнадцать месяцев в адище! У кого бы тут не пропала улыбка? У меня уже почти пропала, хотя я и никогда не был в Равенсбрюке…

При этом мне приходится соприкасаться не только с неприятностями. Расскажу Тебе, к примеру, как все торжественно взволнованно происходило в освобожденной Праге и о моем разговоре с Бенешем. 19 мая мы были у него с одним коллегой из парижского «Старз энд страйпс», через два дня после его триумфального возвращения на родину. Как трогательно было вновь встретиться с ним, так же хорошо сохранившимся и не изменившимся, как его прекрасный кабинет в Пражском Граде, где я видел его в последний раз восемь лет назад. За это время с ним многое случилось — сперва горького, напоследок и прекрасного. После изгнания и долгой борьбы он теперь принимает почести, глубоко взволнованную благодарность своего свободного и гордого народа. Как меня уверяли, даже основателя республики Томаша Г. Масарика не принимали с такой экзальтацией.

Неудивительно, что Бенеш сияет. Его оптимизм пока что оказался правым… С характерной внутренне прочувствованной уверенностью говорил он нам о «единстве» чехословацкой нации. «А словаки тоже лояльны?» Вопрос мой, наверное, не совсем приятно задел его; тем не менее после короткого колебания он признался мне, что в Словакии отмечается «известное сопротивление». «Это пройдет! — Он уже снова улыбался. — Нам нужно время. Сперва страна должна оправиться в хозяйственном

отношении…»

Тем самым он перешел к экономическим проблемам, причем обстоятельно было обдумано также плановое обобществление тяжелой индустрии: «частичное обобществление!», как подчеркнул президент. «Ничего не должно быть опрометчивым. Необходимые меры следует проводить постепенно, с осмотрительностью и осторожностью. В любом случае будет сохранен однозначно и безусловно демократический характер нашей государственности».

Демократия — он не произносит этого слова, не становясь при этом торжественным. «Каждый в этой стране знает, — заявил Бенеш, — что демократия есть и должна оставаться базисом и предпосылкой нашей национальной независимости, нашего национального достоинства, да и нашего национального существования!»

Шла также и речь об отношении Чехословакии к Советскому Союзу; президент с уважением и теплотой высказался о своем «большом друге Сталине», превозносил свершения Красной Армии и с особым ударением расхваливал «безусловную корректность русской военной и гражданской администрации». «Кремль выполняет то, что обещает». Бенеш несколько раз возвращался к этому пункту. «Прошу принять во внимание, что отношения Советов к Чехословакии были до сих пор чрезвычайно надежны: каждое соглашение выполнялось, соответственно, самым добросовестным образом. У меня нет оснований сомневаться в доброй воле моих русских друзей».

Решающую, первостепенную важность имеет дальнейшее существование и упрочение англосакско-русского альянса. Это замечание, произнесенное Бенешем с большой серьезностью, подвело черту нашей продолжительной беседе. «От этого зависит все — для нашей страны, для нашего континента, для человечества. Без сотрудничества между Востоком и Западом нет мира, ни для Чехословакии, ни для всего света. От этого зависит все!» Он повторил это с предостерегающе поднятым указательным пальцем.

Почему я так много рассказываю? Может быть, потому, что тех, кто слушает, становится все меньше.

Что касается Германии, то Тебя, предполагаю, интересуют прежде всего оставшиеся в живых среди старых знакомых. Однако как раз от них я держусь, в общем, подальше. Тем желательнее для меня — уже из журналистских причин — должен быть контакт с возможно большим количеством чужих. Меняются лица и голоса; слова же, кажется, постоянно одни и те же. Все немцы настаивают на том, что «ничего не знали» (что относится к

газовым камерам); все говорят, что «с самого начала были против», а именно против Гитлера. Ну а как бы он мог надеяться выиграть войну? Но оставим эти вопросы. Раз уж он все-таки потерпел поражение, «проиграл», как здесь говорят, никто не хочет быть его другом. Так это не останется: уже через несколько, быть может, лет имя Гитлера снова станет высокочтимым. И я вовсе не исключаю, что даже сегодня есть немцы, которые в укромном уголке хранят верность своему фюреру или даже прославляют его в доверенном кругу. В открытую, однако, еще остерегаются, особенно в обществе американцев…

Нацистов, как теперь это выясняется, никогда не было в Германии; даже Герман Геринг, по существу, не был таковым. Сплошная «внутренняя эмиграция»! Вдруг все обнаруживают свое демократическое прошлое и, если это как-то возможно, свою «неарийскую бабушку». На еврейских предков огромный спрос. Утонченнейшие люди — Эмиль Яннингс, к примеру, — за одну ночь приобрели немного семитской крови.

Яннингс, кстати, относится к тем очень немногим старым знакомым, кому я до сих пор засвидетельствовал свое почтение, не из чистой дружбы, разумеется, а из профессионального интереса. Из Зальцбурга я однажды проехался до Вольфгангзее, где нашел все как прежде в его прекрасном, богатом доме: собачку чау и попугая, фрау Гусси, фрейлейн Рут и самого Эмиля, полного и жизнерадостного, добропорядочного мещанина с фальшивыми маленькими глазками и тяжелыми, обвисшими, при этом подвижными и экспрессивными чертами. «Я — нацист?» Идея показалась ему смешной, но и возмутительной одновременно. «Ну ты и загнул, парень! Ты что, не знаешь своего Эмиля?» После чего он стал серьезным, почти задушевным. «Ну так я тебе расскажу…» Положив руку на мое плечо, очень близко придвинувшись ко мне широкой и очень выразительной физиономией мима, он поведал мне свою трагическую историю. Гонимым он был! Мучеником — Геббельс ненавидел его, — прежде всего из-за бабушки плохой расы, но также и потому, что наш Эмиль не хотел отказаться от демократических идеалов. «Ты же знаешь, каков я!» Его лицо, совсем уж приблизившееся к моему, было сама честность, такую найдешь разве что у очень старых собак. «Я не могу держать язык за зубами!» А теперь еще и увлажнившиеся глаза! Очевидно, он ничуть не разучился играть, артист высокого класса. Достаточно посмотреть его последние фильмы, к примеру, «Дядюшку Крюгера»…

«Дядюшка Крюгер?» Он отказывался, не хотел ничего слышать. «Плохой фильм! — вскричал он, неуклюже-браво топая по комнате. — Не фильм, а дерьмо! — кричал он громко. —

Нацистская дрянь! Я ведь никогда бы с этим не связался! Но что мне было делать? Меня принудили! Не то чтобы моя собственная свобода, моя собственная жизнь были бы мне так важны! Но ведь отец семейства, есть жена и ребенок… Что же мне, заставить бедствовать мою Августу?» (В драматически бурные или умилительные моменты светская Гусси превращается в скромную, одновременно на старонемецкий лад выгравированную на дереве «Августу».) «А мое дитя, моя маленькая Рут?» Его жест и влажный взгляд относился, казалось, к очень юному, в высшей степени хрупкому созданию, тогда как фрейлейн Рут все же скорее кряжиста и, кстати, ей уже под сорок. «Что бы с ней случилось?»

Итак, в угоду жене и ребенку он принял главную роль в нацистском фильме вкупе с жирным кушем. Но нацист? Нет! «С самого начала против…»

Среди многих людей, с которыми я беседовал в Германии, нашелся лишь один, кто имел мужество или все-таки впечатляющую дерзость вступиться за Гитлера. Этой оригинальной особой была женщина, и, кстати, не немка. Винифред Вагнер, урожденная Уильямс, приемная дочь музыканта Клиндворта, английского происхождения. Я посетил даму в ее загородном доме под Байрейтом. Мы заговорили о Гитлере. «Были ли мы друзьями? Ну конечно же! Certainly! And how!»[410] Она, казалось, еще и гордится этим! Высоко задрав голову, пышная и белокурая, она сидела напротив меня, валькирия внушительного вида и внушительной наглости. «Он был прелесть, — говорила она агрессивно. — В политике я не много понимаю, но в мужчинах изрядно. Гитлер был само очарование. Настоящий ариец, знаете ли! Задушевный и сердечный! А юмор его был просто изумителен…» Тоже характеристика!

Но все-таки она была освежающей, эта встреча с бесстыдно откровенной невесткой немецкого гения.

Достаточно, и более чем достаточно!

Большой привет Тебе, и — пожалуйста, по возможности — ответь на мои вопросы.

Мисс Эрике Манн
Мюнхен (Германия, зона США)
Рим,
27.VII.1945

Так, значит, мы разминулись! Ты теперь там, где я был еще совсем недавно, а я снова здесь, усерднейший военный корреспондент при своей любимой (действительно очень любимой) «Старз энд страйпс». Я пишу статьи о японцах, которые

еще загадочным образом воюют; о генерале Франко, который загадочным образом еще существует; также и о Германии, которая все еще кажется мне во многих отношениях загадочной. Как раз сейчас я закончил довольно длинную вещь под названием «Все ли немцы нацисты?» для нашего воскресного выпуска. Мой ответ — нет, не все немцы являются нацистами или были ими. У режима были враги: они сегодня должны стать нашими друзьями. Если это не так, то вина лежит на нас. Такое я смею писать, в официальной военной газете! Я смею писать: «Germain — Anti-Nazis — the real, reliable ones — could be very useful to us, if we only wanted to use them. But we don't. We just tell them that they have no right to demand anything. But can Nazism be eliminated in Germany, once and for all, without the help of the Germain Anti-Nazis?»[411]

И: «Самые горькие жалобы в нашей оккупационной зоне приходят сегодня от тех немцев, которые раньше принадлежали к либеральным партиям или партиям левого направления. Характерен пример некоего д-ра Бриша, единственного социал-демократа в кёльнском городском совете, который, согласно сообщению Рейтер, недавно подал в отставку со своей должности начальника отдела кадров, так как все его предложения, касающиеся приема или увольнения служащих, саботировались католическим большинством. Многочисленные левые или по крайней мере либеральные правительственные служащие в Веймаре, Франкфурте, Мюнхене и других городах заявили, что видят себя вынужденными последовать примеру своего кёльнского коллеги. „Наши услуги, кажется, излишни или даже нежелательны, — констатировали эти люди с огорчением. — Ответственнейшие посты в городском совете и в администрации земли занимают бывшие нацисты; нам же не дозволяется даже политически организовать истинно демократические элементы населения“. Разумеется, мы должны остерегаться переоценки силы и влияния этих „истинно демократических элементов“ в немецком народе. Тем не менее все же рекомендуется всячески поддерживать и привлекать к сотрудничеству именно эти — коль скоро установлена их надежность — элементы. Без доброй воли, без помощи свободолюбиво настроенных немцев трудно будет, а то и невозможно поднять Германию из руин и создать снова цивилизованную страну и, наконец, демократию».

Этим заканчивается моя статья, которая, между прочим, и в других тоже пассажах в довольно резкой форме критикует определенные мероприятия и тенденции нашего «Military Government»[412]. То, что я могу высказывать подобное в «Старз энд страйпс», является само по себе отрадным до

поразительности. Однако ситуация, с которой я разбираюсь в своей статье, остается, несмотря на это, безотрадной или все же конфузной и проблематичной. *Чего мы хотим в Германии?* Или — чтобы точнее сформулировать вопрос: *«Какой мы хотим видеть Германию?* Есть ли вообще программа, по которой можно было бы восстановить побитый, разбитый рейх, обновить его физически и морально? Порой на деле это выглядит так, будто подобного плана просто не существует. Как иначе объяснить противоречивый, переменчиво парадоксальный характер нашей политики? Неудивительно, что немцы на свой лад толкуют эту странную нерешительность или отсутствие направления западных союзников и приходят к удивительнейшим заключениям. Снова и снова спрашивали меня в Германии, правда ли, что „англо-американцы“ вскоре объявят войну Советскому Союзу, такое развитие событий воспринимается поверженным народом-повелителем, кажется, с угрюмой ухмылкой. Некоторые особо посвященные даже признавались мне, что немецких военнопленных в Соединенных Штатах уже сейчас тренируют к „крестовому походу“ против Москвы. Каждый немецкий „ландзер“ — так дали мне понять, — выказывающий желание маршировать на Россию под предводительством генерала Эйзенхауэра, приобретает тем самым себе право на „US citizenship“[413]. Что бы мог сказать Эйзенхауэр по поводу подобных фантазий? Я присутствовал при том, когда 10 июня в здании концерна „И. Г. Фарбен“ во Франкфурте советский маршал Жуков повесил ему на шею высокий орден, Монтгомери тоже был награжден русскими. После этого было множество застольных речей, причем посол Мерфи, высочайший политический советник нашего военного руководства, и господин Вышинский отличались особенной сердечностью, а также и особенной шутливостью…»

Дай мне знать о Твоих впечатлениях! Надо бы повидаться, есть так много что сказать. Ты приедешь в Рим? Здесь прелестно. Или встретимся в Германии. Вполне возможно, что меня еще раз пошлют от моей газеты.

Подавляющая победа лейбористов в Англии все-таки доставляет радость! Первое действительно веселое событие со времени самоубийства Гитлера. Итак, взглянем же будущему в глаза столь же уверенно, как это всегда делает друг Бенеш! Желаю крепких нервов.

М-с Томас Манн
Пасифик-Пэлисейдз (Калифорния)
Рим,
17. VIII.1945

Итак, вот и миновала эта война. Много речей о следующей, что едва ли дает повод к радостному головокружению. Разум и добро недостаточно влиятельны, чтобы задержать дальнейшую беду. Достигнет ли страх перед атомной бомбой того, чего никогда не могли добиться добрая воля и благоразумие, — давно просроченного единства и умиротворения планеты? Обладая теперь силой пустить ее посредством апокалипсических «ядерных реакций» в воздух — или, скорее, в безвоздушное пространство, — мы, может быть, все же запасемся «Common sense»[414], чтобы устроиться на ней до некоторой степени братски-благовоспитанно…

Что касается моей собственной маленькой ситуации, то я рассчитываю быть уволенным из армии через несколько недель или месяцев. Побыл солдатом достаточно долго, в последнее, правда, время солдатом на очень привилегированной, почти по-гражданski комфортабельной должности. При «Старз энд страйпс» мне на самом деле жилось до того хорошо, что я должен был стыдиться, если бы не довелось перед тем временами утомляться и переживать опасности. Но хлопоты и опасности я тоже не хотел бы упускать; от «Basic Training» в штате Арканзас до рискованных выступлений по громкоговорителю на Апеннинском фронте — все это было очень стоящим, иногда даже прекрасным. Странно, не правда ли? Я ведь, конечно, не военная и даже не воинствующая натура, скорее наоборот: старый индивидуалист и бродяга, не без эксцентрически-анархистских тенденций. И все-таки армия не была для меня болезненной; я находился в ней с охотой. Почему? Потому что эта армия служила доброму делу — борьбе против Гитлера, — и потому она является хорошей армией.

Армия США, которую я узнал и к которой с гордостью принадлежу, — хорошая армия. Не совершенно, не без изъяна — отнюдь! Но все-таки, пожалуй, одна из либеральнейших, интеллигентнейших армий, которые когда-либо были, и либеральнейшая, интеллигентнейшая из теперь где-либо имеющихся. Пусть она останется таковой!

Впрочем, я хочу попробовать «демобилизоваться» здесь, в Италии, что имело бы некоторые преимущества. Во-первых, я бы избавился от хлопотной и мучительной обратной поездки; и в нашей относительно гуманной армии поездка через океан для «enlisted men»[415] не увеселение… Во-вторых, я смог бы, будучи гражданским, поосновательнее осмотреться в дорогой старой Европе: мне было бы приятно подольше задержаться в Париже, также охотно я посетил бы Голландию и Швецию. Да и Германию я хотел бы побольше увидеть. Не то чтобы меня привлекало

пребывать там годами, на американской, скажем, службе, как это теперь делают многие мои друзья и военные товарищи. Жить в качестве привилегированного, в качестве «победителя», с американскими консервами и сигаретами среди моих прежних земляков, которым со своей стороны почти нечего есть, — нет, я все-таки представляю себе это неприятным! Но так как наш брат от немецких проблем или, точнее, от проблемы «Германия» не в состоянии все же оторваться, то уж лучше изучать ее по возможности на месте.

В качестве своей «ставки» я сохранил бы поначалу Рим, также и из-за замысла фильма, о котором я, наверное, уже упоминал при случае и ради которого мне особенно важно уволиться из армии здесь, в Европе. Ведь уже с некоторого времени идет речь о том, чтобы я участвовал в создании киносценария нового произведения Росселлини «Пайза́», и как раз лишь вчера мне предложили договор; ничего грандиозного, по понятиям Голливуда, но для моих скромных притязаний достаточно хорош. Впрочем, охотно довольствуешься относительно малым гонораром, если речь идет о предприятии большой художественной привлекательности и ранга. Роберто Росселлини является, несомненно, режиссером значительного масштаба. Вы же в Штатах тоже скоро сможете посмотреть его блестящий фильм «Рим — открытый город». После этого броска можно многого ожидать от «Пайзы», тем более что материал дает очень большие возможности. Это пять-шесть эпизодов из итальянской кампании, от Сицилии до равнины По, которые Росселлини хочет соединить в драматический организм, причем в каждом эпизоде следует показать и осветить определенный аспект человеческих отношений между «освободителями» и «освобожденными», между американскими военными и итальянским гражданским населением. Из этого можно сделать нечто очень замечательное, очень красивое, и мне с большой радостью по-писательски хотелось бы поучаствовать в таком эксперименте.

Я бы счел это пикантным и подходящим — впервые попробовать себя в качестве сценариста именно здесь, так далеко от Голливуда, где бывал столь часто и подолгу, ни разу не позаботившись о «movies»[416]. Не надо, однако же, из-за несчастных голливудских фильмов лишать себя веры в форму искусства, которая находится все еще в ранней фазе развития и все еще многое обещает.

Работа над «Пайзой» могла бы стать для меня важным опытом. Так снова и снова жизнь привносит что-то новое, благодаря чему на свой лукавый лад побуждает и обязывает нас к усиленному любопытству к жизни, а также к надежде.

Гансу Рейзеру, немецкому военнопленному Лагерь Х, США

Неаполь,

28. IX.1945

Мне было очень приятно наконец снова услышать о Вас и узнать, что Вы живы и здоровы. Значит, Вы рассчитываете на свое скорое возвращение на родину? Это тоже отрадно — несмотря на все…

Помню ли я еще Вас? Этот вопрос, с которого Вы начинаете свое письмо ко мне, может, наверное, считаться риторическим. Вы знаете, должны знать, что наша встреча запомнилась мне и остается для меня важной. Вы говорили мне тогда о своей ненависти и своей надежде. О своей ненависти к режиму, который в то время был еще у власти; о своей надежде на народ, который теперь должен оправдать себя заново. В словах Ваших было чувство — такое подлинное и сильное, что оно, подобно искре, могло передаваться. Вы наделили меня чем-то от веры, которую Вы исповедовали.

Нет, я не забыл Вас, часто вспоминал Вас и пытался себе представить, какого рода жизнь Вы можете вести, будучи военнопленным в Америке. От столь длительного пребывания в лагере Вы, собственно, должны были быть избавлены. Я ведь летом 44-го после нашего разговора в Чивитавеккья очень старался пробить у военного начальства Ваше освобождение и использовать Вас для нашей фронтовой пропаганды, особенно для нашей немецкой радиостанции. Но кто в состоянии что-то сделать против неповоротливости и упрямства большого бюрократического аппарата? Мои усилия остались тщетными.

Может быть, так оно и лучше; ибо теперь Вы пишете мне, что за последние четырнадцать месяцев «кое-чему научились». С Вами хорошо обращались. (Значит, наши листовки не наобещали слишком много!) Статус «политически благонадежного» военнопленного был признан за Вами и принес преимущества. Вы были в «льготном» лагере. Я терпеть не могу этого слова, потому что оно играло определенную роль в нацистском лексиконе; но лагерь, о котором Вы мне рассказываете, похоже, и в самом деле в некоторой степени льготный. Значит, там были доклады о сущности демократии и курс по американской истории? Ну и хорошо! Еще, может, важнее были прямые контакты с американцами, внутри лагеря и вне его, во время работы в мастерских и на крестьянских подворьях. Вы увидели кусок американской жизни, кусок демократической жизни. Меня не удивляет слышать, что Вы могли при этом кое-чему научиться.

Теперь Вы возвращаетесь назад в Германию — из свободной

Америки, где, правда, были пленным, в американскую оккупационную зону, где снова будете жить свободным человеком — насколько, правда, свобода возможна в побежденной и оккупированной стране…

Вам придется нелегко. Вам подчас трудно будет распознавать демократические идеалы, которые Вам проповедовали в «льготном» лагере, в новонемецкой действительности; да и сама ваша вера в эти идеалы может поколебаться перед лицом столь мрачно проблематичной действительности.

Когда Вы в последний раз были в Мюнхене? Если Вы еще не видели его в теперешнем состоянии, то Вам, пожалуй, предстоит шок. Город лежит в развалинах, наш прекрасный город! К сожалению, однако, шокируют там не только разрушения материального рода. Еще страшнее, чем зрелище опустошенных улиц, картина нравственного и духовного упадка. Вы, со своим энтузиазмом, со своей убежденностью, с ненавистью и надеждой, будете довольно одиноки. Не совсем одиноки — это нет! Товарищи, соратники всегда найдутся, пусть и в очень ограниченном числе, а впрочем, сильное, подлинное чувство действует заразительно. Оно передается, я испытал это… Правда, искра зажигает, наверное, лишь там, где есть готовность и восприимчивость. Этого часто недостает. Многие из людей, с которыми я разговаривал в Германии, кажутся либо совершенно циничными и оппортунистичными, либо же напрочь отчаявшимися, от стерильного упадка духа, нигилизма, который столь же далек от конструктивного раскаяния, как сладострастие мазохиста от экстаза мученика.

Но Вы-то увидите. Коррупцию, нищету и ложь, злобу и притворство, самособолезнование, часто связанное с жестокостью к другим, — Вы увидите это собственными глазами и огорчитесь, очень от этого огорчитесь. Неимоверная глупость — и у победителей тоже, они подчас совершают почти непростительно грубые ошибки — может лишить мужества. Но Ваше мужество молодо и надежно. Оно выдержит испытание.

Так вот, в Германии я думал о Вас, о Вас и Вашем мужестве, которому придется выдерживать столь жестокое испытание. Я был там в мае и июне как корреспондент «Старз энд страйпс», а потом еще раз, только пару дней, в сентябре. Сразу по моем прибытии в Берлин (ему досталось еще страшнее, чем Мюнхену, еще беспутнее и апокалипсичнее) меня достигло распоряжение, чтобы я явился 28.IX — это сегодня — сюда, в Неаполь, в «Seventh Replacement Deport»[417]. На какой предмет? Чтобы проститься с армией. Я как раз с этой церемонии — со своим документом «Honorable Discharge»[418] в кармане: штатский, свободный

гражданин, каким и Вы тоже скоро должны стать…

Итак, для меня это «великий день», хотя в моей жизни едва ли произойдут сразу же резкие перемены. Завтра я еду обратно в Рим, чтобы продолжить там уже начатую работу над сценарием фильма. На конец зимы запланированы журналистские поездки, уже не по заданию военной газеты, а под покровительством нью-йоркского обозрения: все сводится к тому же… (Разве что гражданские редакторы, вероятно, будут придирчивее и менее терпимы, чем мои друзья из «Старз энд страйпс».)

Никаких резких перемен, даже военную форму я вынужден пока носить за отсутствием какого-либо цивильного гардероба. И несмотря на это, сегодня — великий день, поворотный пункт. Только теперь, только сегодня я по-настоящему ощущаю, что война закончилась. Но жизнь продолжается, следующий этап! Вопрос лишь, в каком направлении пойдет дальше. Это зависит от нас; на каждом повороте есть свой выбор. Мы можем решиться на правильное направление или ложное. Ложное становится все более ложным, все более опасным. Опасность возрастает. От одного поворота к другому. Еще пара шагов к пропасти, и мы сверзимся вниз головой. Тогда-то мы и выберем, раз и навсегда. Окончательный перелом достигнут, богатая событиями драма завершена.

Так далеко мы пока еще не зашли. Кризис, универсальный и перманентный характер которого становится все отчетливее, всемирный затяжной кризис, похоже, вступает в новую фазу. Нигде не написано, что начинающийся теперь отрезок должен пройти катастрофически или даже привести к тотальной финальной катастрофе. Напротив, расположение звезд, под которыми мы теперь находимся, ободряюще. Союз между Востоком и Западом, между социализмом и демократией, — он еще существует и мог бы стать продолжительным. Из братства по оружию, навязанного Адольфом Гитлером двум великим соперникам и антагонистам — русским и англосаксам, — должно получиться сотрудничество на службе миру, и мы спасены! Все прочие проблемы, и немецкую тоже, было бы относительно легко решить. Объединись западные союзники с Советским Союзом, осуществился бы мировой порядок или почти сама собой оказалась бы в его рамках и Германия, это высокоодаренное, опасно подверженное опасности хлопотное дитя Европы, имела бы свое место и свое достоинство. Справедливые договоренности между Востоком и Западом есть conditio sine que non[419]: без них не обойтись. Каждый шаг, эти договоренности приближающий или их консолидирующий, — это шаг в хорошем направлении. Каждый шаг, отдаляющий нас от этой цели, есть шаг на пути к

пропасти.

Решает тенденция. На повороте нужна ориентация; необходим ясный курс. Чего мы хотим, объединенного мира или разрушенного? Должны ли через десять лет все города выглядеть так, как теперь Берлин и Мюнхен, или имеется в виду восстановить Берлин и Мюнхен как мирные центры наконец утихомиренного рейха? Решает намерение, особенно намерения русских и американцев; но учитывать необходимо и Германию, хотя пока лишь как пассивный фактор в большой игре.

Неужели Германия надеется, что от раздора победителей можно получить выгоду? Тогда намерение ее — злое. Может случиться, что пока разъединенная, приговоренная к политической пассивности нация в обозримое время едва ли в состоянии влиять на отношения между двумя великими державами и тем более их определять. Но тенденция, намерение — от этого зависит все! Именно побежденному, лишенному в материальной сфере власти и ответственности, подобает повышенное моральное чувство, особая чувствительность и твердость в нравственно-духовных вопросах. Именно Германия, которая осмелилась дальше всех продвинуться вперед в дурном направлении, должна теперь явить пример поворота и нового захода. Этого у нее не получится, если она будет наблюдать и язвительно подстрекать с мрачной ухмылкой потенциальный конфликт между Москвой и Вашингтоном. Пусть страна середины видит свою функцию и «raison d'etre»[420] в том, чтобы соединять и мирить. Этически обоснованное устройство мира благоприятно для побежденного, он получает выгоду от этого, только от этого, а не от ссоры победителей, которая низводит его до шахматной фигуры, до мяча, потом до ландскнехта и в конце концов до жертвы. Сознают ли это? Тогда откажемся, наконец, от «макиавеллизма», который давно устарел, давно стал негодным и непрактичным! Тогда оставим хитрость и коварство! Разве Геббельс не был достаточно хитрым? И все-таки ничего не помогло ему! Попробуем для разнообразия честность и разум, добрую волю! Это было бы приличнее и вдобавок умнее.

Перемены, которые наступят после переломного момента, могут быть сперва не очень ярко выраженными, с течением времени, однако, они будут все явственней, от месяца к месяцу, от года к году, — как в делах добрых, так и злых. Я предрекаю, что в 1965 году мы будем иметь мир, который станет гораздо хуже нынешнего — или решительно лучше. Бывает лишь только универсальный порядок или универсальный хаос, между этим ничего. Или — или, к которому обязывает нас Кьеркегор на религиозном уровне, теперь конфронтирует нас и в политико-

социальной сфере. Мы достигли точки, из которой возможен один лишь только шаг: ко всеобщей гибели или ко всеобщему спасению. Каждый из нас со-ответствен за выбор. Под знаком или — или никакого нейтралитета!

Потому и пишу я это письмо. Вам — именно сегодня; то есть в день, который в моей жизни не лишен торжественного значения. Кое-что стоит за мной, за нами, — борьба против тирана. В ходе этой борьбы я отказался от своей немецкости и стал американцем, даже американским солдатом в конце концов. Вы сохранили свою врожденную национальность и, следовательно, должны были служить в армии ненавистного, что, однако, не помешало Вам и дальше с ним бороться. В конце Вы добровольно сдались в плен — ваш последний акт борьбы против нашего общего врага.

Все это теперь прошлое. Моя мысль обращена к будущему, как к Вашему, так и к моему. Ибо оно одинаково.

Великий Ф. Д. Рузвельт однажды сказал, что современное поколение американцев предназначено для Rendezvous with Destiny[421]. Но судьба больше не приглашает на свидание определенные расы или народы. Призыв относится ко всем без исключения нациям. Вы, немец, призываетесь так же настоятельно, как какой-нибудь русский, какой-нибудь американец. Это столетие, не ставшее «немецким», не должно стать также «американским» или «русским». Оно будет столетием начинающейся мировой цивилизации, или оно будет столетием начинающегося — или завершающегося? — мирового варварства. Крах может наступить внезапно и может иметь полный, окончательный характер. Позитивное развитие ищет момента и остается несовершенным.

Если бы наше поколение и оправдало себя, то все равно еще долго не было бы рая на земле. Но исторический процесс мог бы идти дальше, с новыми кризисами, новыми поворотами… Шел бы дальше, а это уже много. Борьба, неведение, страх, заблуждения — все продолжалось бы. Покоя мы не нашли бы. Покоя нет, до конца.

А потом? В конце тоже стоит еще один вопросительный знак.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Осенью 1942 года в Нью-Йорке вышла моя автобиографическая книга «Поворотный пункт. Тридцать пять лет в этом столетии», о возникновении которой речь идет в одиннадцатой главе «На повороте».

Было бы неверно отрицать связь между обеими книгами — «Поворотным пунктом» и «На повороте»; но столь же неправильно или даже еще более ошибочно считать немецкий вариант «переводом с американского». Ибо дело обстоит не так, будто я просто перевел мой английский текст на немецкий; скорее, я написал новую немецкую книгу, используя некоторый материал из первоначального, американского варианта.

«На повороте» значительно объемнее, чем «Поворотный пункт». Если первая заканчивается дневниковой записью от июня 1942 года, то другая завершается письмом от 28 сентября 1945 года. Последние страницы одиннадцатой главы и вся двенадцатая отсутствуют в американском оригинале. Да и так кое-что было добавлено, особенно в главе об эмиграции. С другой стороны, в некоторых местах немецкой редакции я опустил определенные детали, которые казались мне незначительными или трудно понятными для неамериканского читателя.

Первая половина книги ближе к американскому прототипу, чем вторая. При работе над этими первыми шестью главами мне пригодился подстрочник, за который я хочу здесь сердечно поблагодарить переводчицу, мою сестру Монику Лани-Манн.

К.М.

Канны (Приморские Альпы), апрель 1949

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Генрих и Томас Манны (Мюнхен, 1900)



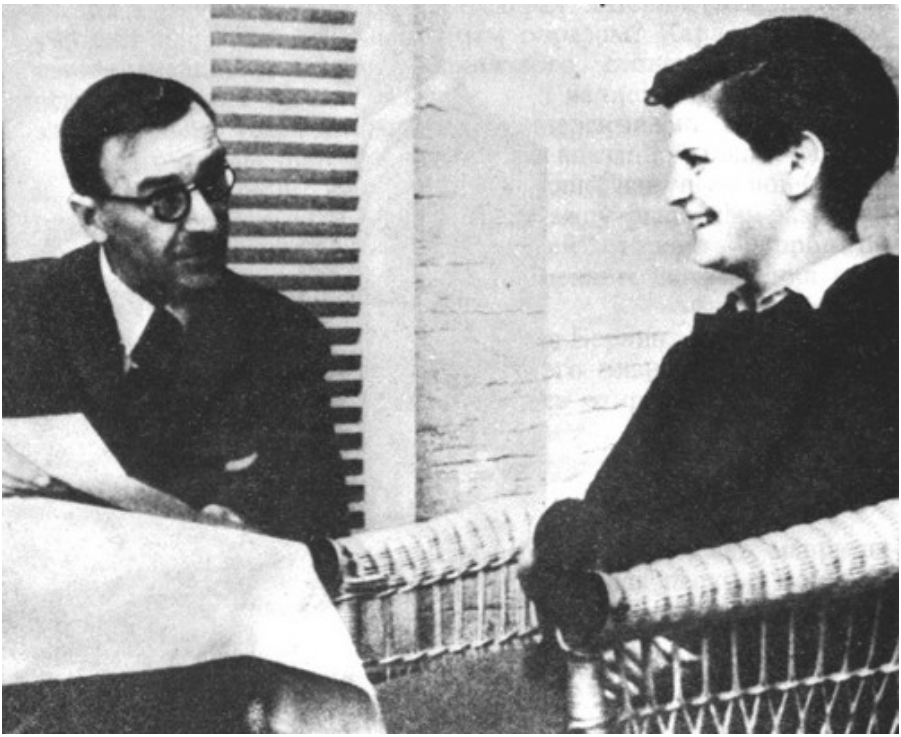
Юлия Манн, урожденная да Сильва Брунс



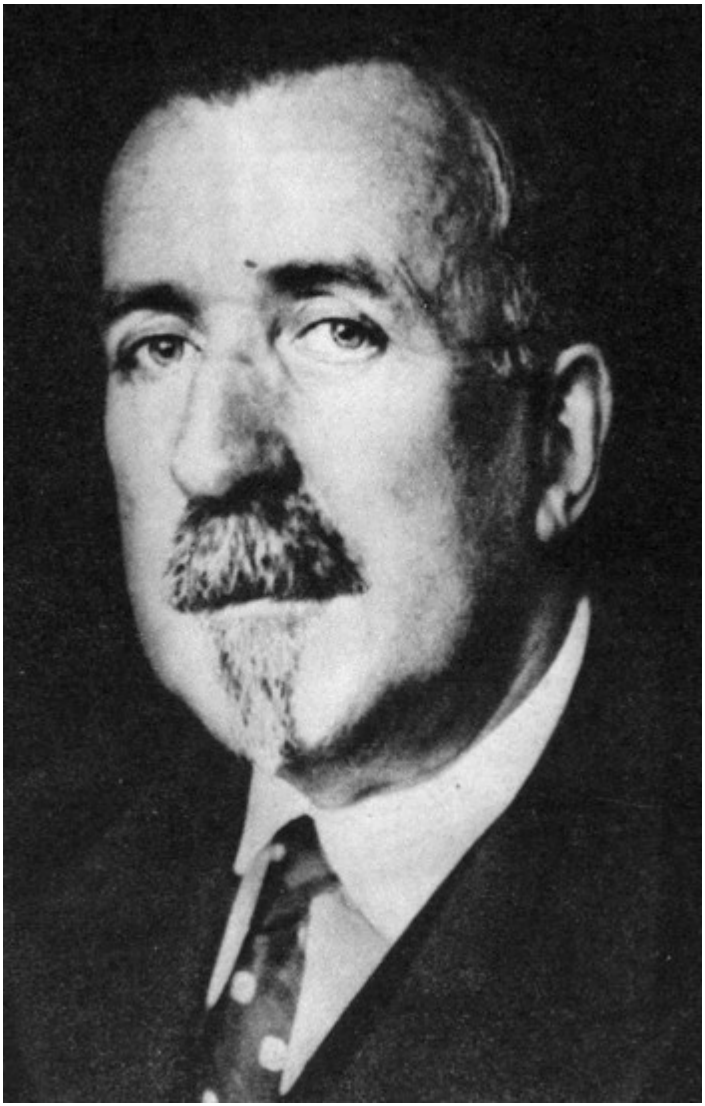
Катя Манн с детьми, слева: Моника, Голо, Михаэль, Катя Манн, Клаус, Элизабет, Эрика (Мюнхен, 1919)



Томас Манн с Эрикой (Голливуд, 1938)



Томас Манн с Элизабет (Кюснахт, 1935)



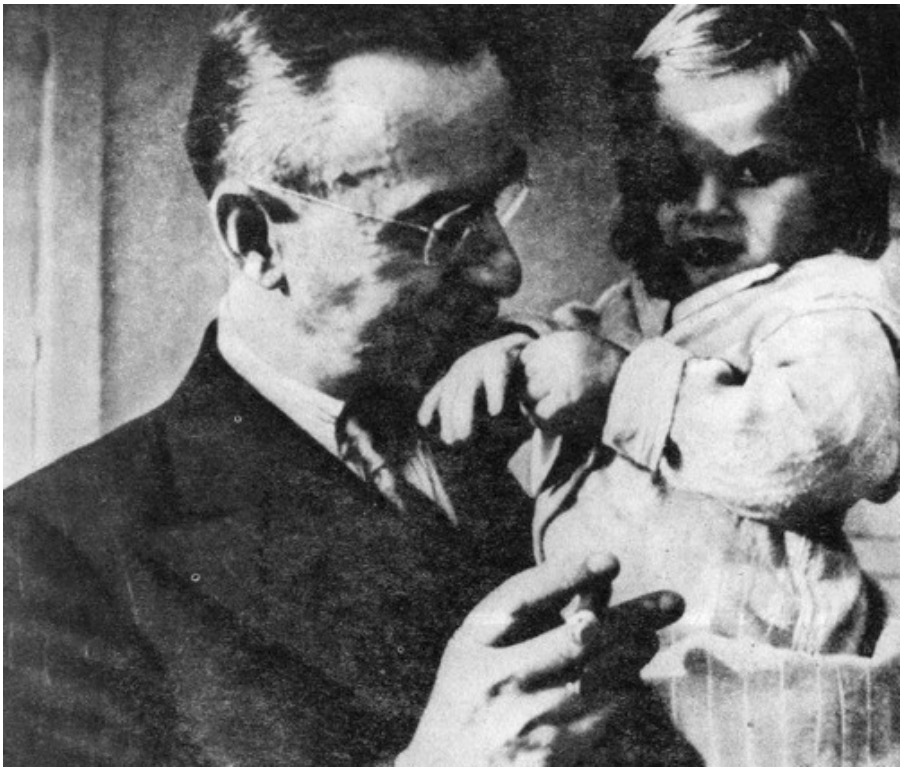
Генрих Манн



Виктор Манн



Томас и Генрих Манны (Нью-Йорк, 13 октября 1940)



Томас Манн с внуком Фридо (Пасифик Пелисейдз, октябрь 1941)



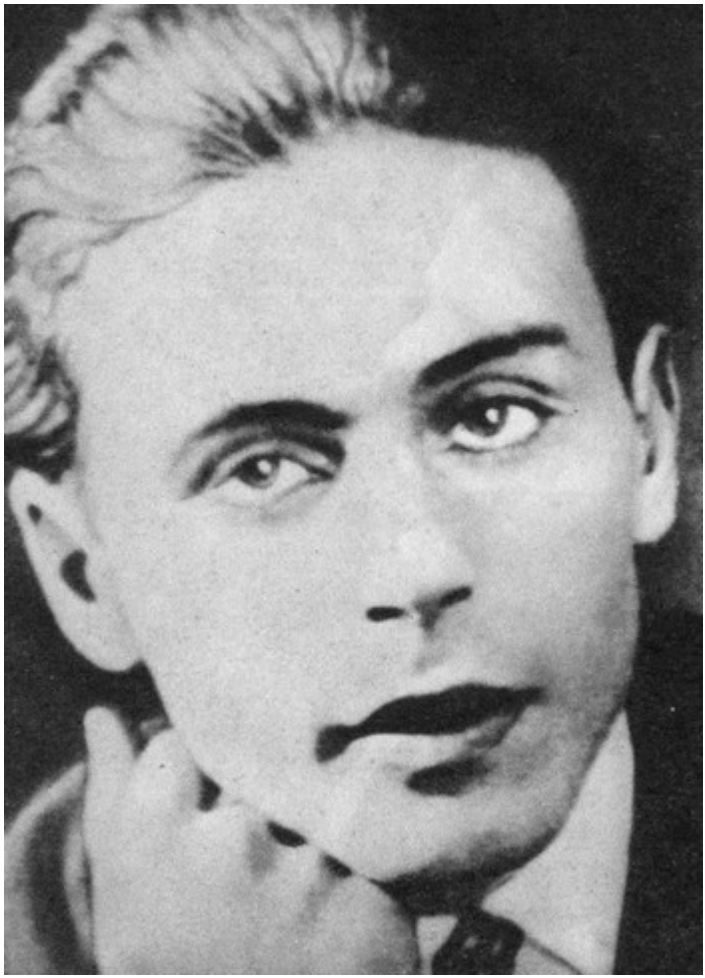
Элизабет Манн-Борджезе



Моника Манн



«Литературные близнецы» Манны перед началом кругосветного путешествия (1927)



Клаус Манн



Эрика Манн



Двадцатилетий Клаус Манн с матерью Катей Манн, урожденной Прингсхейм



Рикки Халльгартен и Эрика Манн перед «автопробегом на 10 000 км» (1931)



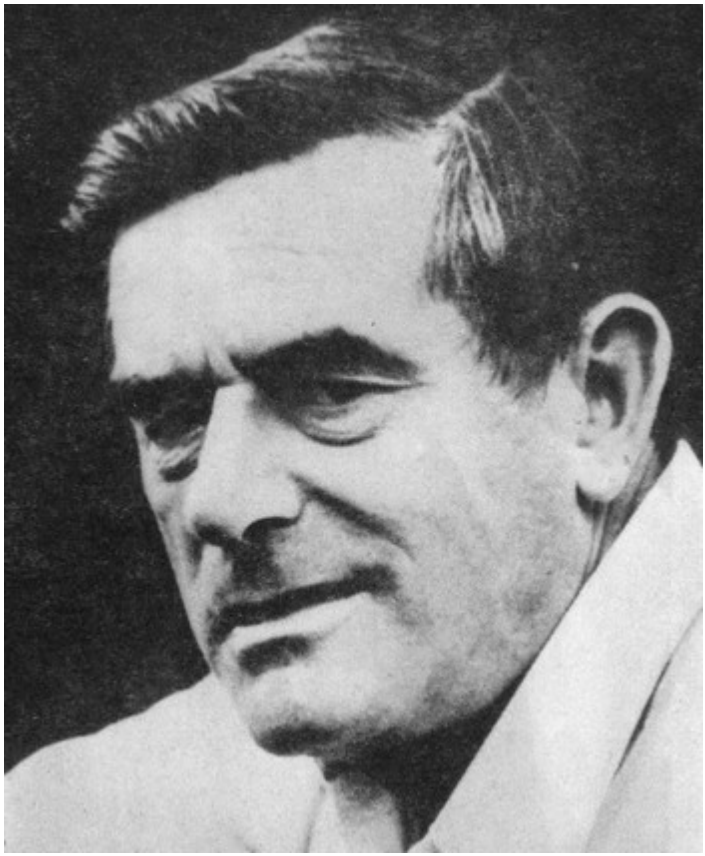
Клаус Манн в Лос-Анджелесе с поэтом Б. Никольсом (1928)



Клаус и Эрика Манн с издателем С. Фишером в год написания (1928) «Вокруг света»



Клаус и Эрика Манн после кругосветного путешествия — перед новыми приключениями (1930)



Голо Манн



Михаэль Манн



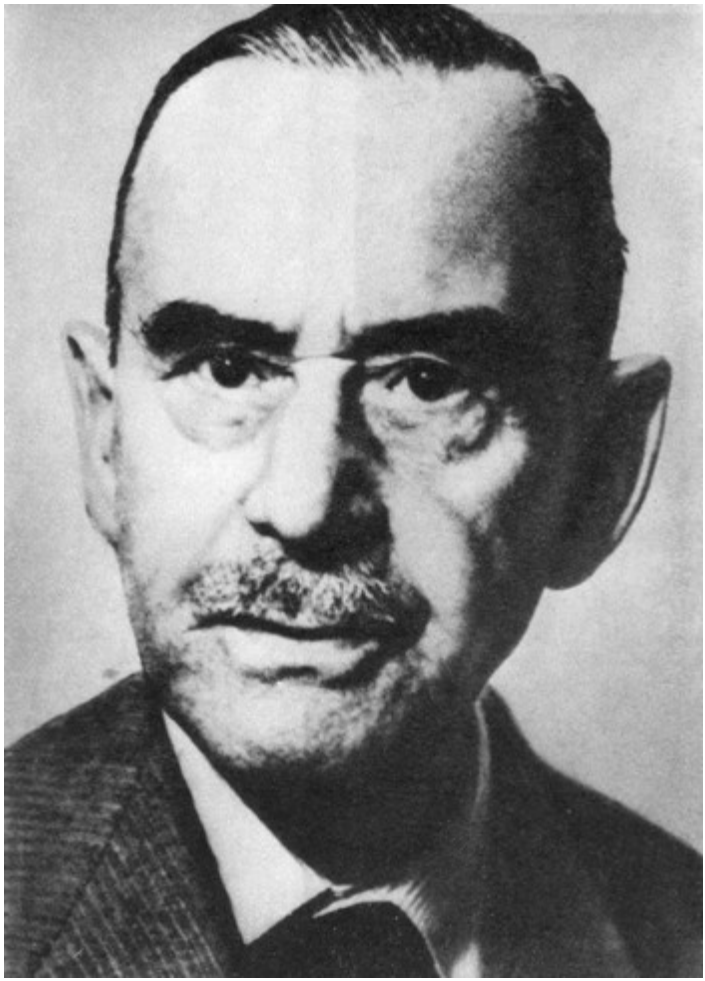
Торжество по поводу 75-летия Томаса Манна (Цюрих, 6 июня 1950 в «Цунфтхаус цуф Саффран»). Слева: Грет Манн, Томас Манн, Катя Манн, Эрика, Элизабет и Михаэль.



Клаус Манн



Катя и Томас Манн (1953)



Томас Манн

КОММЕНТАРИЙ

«На повороте» — по сути, третий и самый фундаментальный опыт Клауса Манна в жанре автобиографии. Первым (не считая журнальных публикаций автобиографического характера и автобиографических пассажей в новеллистике) явилась книга воспоминаний о детстве писателя «Дитя этого времени» (Берлин, 1932). Вторым стала книга «Поворотный пункт. Тридцать пять лет в этом столетии» (Нью-Йорк, 1942), и ее уже можно рассматривать как первоначальный вариант настоящей книги.

Книге не суждено было увидеть свет при жизни автора. Она была закончена в апреле 1949 года, за месяц до ухода из жизни К. Манна. Амстердамское издательство «Кверидо», с которым у К. Манна была договоренность относительно публикации книги, ввиду финансовых затруднений печатать ее отказалось. Она вышла только три года спустя благодаря энергичному содействию Томаса Манна.

На русский язык переводится впервые.

notes

Примечания

1

Соответствующий правилам хорошего тона *(франц.)*.

2

Знатоки *(франц.)*.

З

Светская женщина *(франц.)*.

4

Светская дама (*франц.*).

5

Званый вечер *(франц.)*.

6

Остроты *(франц.)*.

7

Произведение *(франц.)*.

8

По преимуществу (*франц.*).

9

Светское общество *(франц.)*.

10

Золотая молодежь *(франц.)*.

11

Проделка, трюк (*франц.*).

12

Над схваткой (*франц.*).

13

Сердечное согласие *(франц.)*.

Потеха *(нем.)*.

15

В пути *(франц.)*.

Назад к природе (*франц.*).

17

Се человек (*франц.*).

18

Сын могучего Манхэттена *(англ.)*.

В целом *(франц.)*.

20

Армии тех, коих я люблю, окружают меня, а я окружаю их *(англ.)*.

21

Он шепчет о божественной смерти *(англ.)*.

22

Перевод Н. Булгаковой.

23

«De Profundis» *(лат.)*. — «Из бездны» — посмертно опубликованная (1905 г.) исповедь Оскара Уайльда. *Прим. ред.*

Жулик *(франц.)*.

25

Провидец, ясновидец *(франц.)*.

26

A — черный, E — белый, I — красный, U — зеленый, O — синий, гласные — Я расскажу когда-нибудь о таинстве Вашего рождения *(франц.)*.

27

Тайна ясновидения *(франц.)*.

28

Прошлый *(франц.)*.

29

Дух *(нем.)*.

Сделано в Германии *(англ.)*.

31

Навязчивая мысль *(франц.)*.

Девушки (*англ.*).

Богема *(франц.)*.

Квартиранты *(англ.)*.

35

Светская дама *(франц.)*.

36

Восемнадцатый округ *(франц.)*. Привилегированный район Парижа.

37

Дивный, голубой час *(франц.)*.

Как странно! Как странно! *(англ.)*

39

Мой господин *(голл.)*.

Пансион *(англ.)*.

41

Париж, я люблю тебя *(франц.)*.

Сухие вина *(франц.)*.

43

Передавайте деньги! *(франц.)*

Сполна *(франц.)*.

45

Восточный базар (*от арабск.* «рынок»).

Дом свиданий (*франц.*).

Огромность (*итал.*).

Благородный отец *(франц.)*.

49

По преимуществу *(франц.)*.

50

Скандальный успех (*франц.*).

Значимость *(франц.)*.

Литератор *(франц.)*.

53

Милая Франция (*франц.*).

Бедный малыш *(франц.)*.

55

Пятый ребенок *(англ.)*.

Этот сезон переполнен *(англ.)*.

57

Я хочу вас познакомить, ребята, с моей подругой Дороти Томпсон, одной из самых блестящих американских газетчиц! *(англ.)*

Сухой закон *(англ.)*.

И мы, конечно же, прекрасно проводили время *(англ.)*.

Преуспевание *(англ.)*.

Ха-ха-ха, ну и молодчина *(англ.)*.

Близнецы?! Разве это не замечательно! *(англ.)*.

63

Литературные близнецы Манны *(англ.)*.

Близнецы?! Как занятно! Как очаровательно! *(англ.)*.

65

Полным континентального остроумия и утонченности *(англ.)*.

Метро *(англ.)*.

А как мы себя чувствуем сегодня? *(англ.)*

68

Сегодня наша дорогая мисс Люси выглядит очень усталой *(англ.)*.

Моя дорогая мисс Люси *(англ.)*.

Индивидуальность *(англ.)*.

71

Вечеринки: с коктейлями, с ужином, театральные, полуночные *(англ.)*.

Высокие финансовые сферы *(франц.)*.

73

Загадочный человек *(англ.)*.

Хозяева *(англ.)*.

75

Наша бедная мисс Люси!.. Она выглядит опять очень-очень усталой! *(англ.)*

А как наш пациент теперь? *(англ.)*

До свидания, сэр. Были очень рады! *(англ.)*

Бассейн *(англ.)*.

Огромное спасибо *(англ.)*.

Я желаю мои деньги… В ином случае… (*англ.)*

81

Моя дорогая мисс Люси (*англ.)*.

Беседа *(франц.)*.

Трущобы *(англ.)*.

Деньги *(англ.)*.

85

Моя дорогая мисс Люси, сегодня вы выглядите еще более усталой, чем всегда! *(англ.)*

Только земля (*франц.*).

87

Старый порядок *(франц.)*.

Противоположности сходятся (*франц.*).

89

Мужественный джентльмен *(англ.)*.

Кроткий *(англ.)*.

Сближение (*франц.*).

Весь Берлин *(франц.)*.

Официальные круги (*франц.*).

К одному из своих соотечественников *(франц.)*.

95

«Я хочу сказать об одном молодом человеке, которому плохо живется на этой земле и который говорит языком сердца» *(франц.)*.

Жан великолепен! *(франц.)*

97

Какая тонкость! И в то же время — какая простота! Я его обожаю… *(франц.)*

Простота *(франц.)*.

99

Жизнь проста! *(франц.)*

Это единственное решение *(франц.)*.

101

Менее глуп (*франц.)*.

Косвенная критика *(франц.)*.

103

Смысл жизни *(франц.)*.

Обзоры *(франц)*.

105

Я — ложь, всегда говорящая правду *(франц.)*.

Пивная *(франц.)*.

107

…которого я еще едва знаю *(франц.)*.

108

Благодаря Вам мне хочется внести добавление в мой дневник, как я это сделал в «Возвращении в СССР», и, если мне удастся осуществить этот проект, я с удовольствием посвящу его Вам, потому что именно Вы навели меня на эту мысль (*франц.)*.

109

Скорее разрешение, чем пробуждение *(франц.)*.

Волнение *(франц.)*

111

Угоднический индивидуализм (*франц.*).

Литературные круги *(франц.)*.

113

Частная жизнь *(франц.)*.

Безупречный джентльмен *(франц.)*.

115

Шутник *(франц.)*.

Вы сошли с ума? (*франц.*)

117

Вот это человек! *(франц.)*

Вы с ума сошли? *(итал.)*.

119

Для Аннемари в благодарность за то, что она украсила эту землю своим дивным ликом безутешного ангела… *(франц.)*

Вы сошли с ума? (*англ.)*

121

О боже! *(англ.)*

Он параноик *(англ.)*.

Поразительно! *(англ.)*

Они что, с ума сошли? (англ.)

125

Тончайшего качества *(франц)*.

Посетите Фес, загадочный! *(франц.)*

127

Мои князья и княгини! Так посетите же — и побыстрее! Изощренные тайны, гиды Феса с их гашишными принципами, гашиш Марокко с таинственными свойствами! *(франц.)*

Вы что, с ума сошли? (*франц.*)

129

Еще чего! Дерьмо всякое! В три часа ночи! Не иначе как сумасшедшие… *(франц.)*

Бедняги сумасшедшие *(франц.)*.

Волна будущего *(англ.)*.

Тошнота *(франц.)*.

133

Предательство клерков *(франц.)*.

Измена, предательство *(франц.)*.

135

Война — это наши родители *(франц.)*.

Война — это наши братья *(франц.)*.

137

Интеллектуальные жертвы *(лат.)*.

138

Не забудь меня, моя дорогая. Я Тебя обожаю! *(франц.)*

139

Я обожаю *(франц.)*.

Воистину прекрасная *(франц.)*.

141

Тем хуже для него, и тем лучше… *(франц.)*

142

Дивный лик безутешного ангела (*франц.*).

143

Aschermittwoch — второй день масленицы *(нем.)*.

Постыдились бы! *(англ.)*

145

Сопротивление *(франц.)*.

Я обвиняю *(франц.)*.

147

Нашумевшее дело *(франц.)*.

Удостоверение личности (*франц.*).

149

Документ на право передвижения *(франц.)*.

150

Вторая родина *(франц.)*.

151

Круг, общество *(франц.)*.

152

Сдержанное высказывание *(англ.*).

153

За обедом *(франц.)*.

Малый *(франц.)*.

155

Мои поздравления! *(франц.)*

В виде куклы *(лат)*.

Высшее общество (*англ.)*.

Хозяйка дома (*англ.*).

159

Стихотворец, увенчанный лавровым венком (лат.).

Букв. великий век — век Людовика XIV (*франц*.).

161

Вся Вена *(франц.)*.

Умереть за Вену (*франц.*).

163

Единый фронт *(франц.)*.

Типично русский *(франц.)*.

165

Умиротворение, попустительство агрессору *(англ.)*.

Меня воротит от всего… *(франц.)*

Новый курс *(англ.)*.

Эмигрант *(англ.)*.

169

Бары, где незаконно торгуют спиртными напитками *(англ.)*.

«Потерянное поколение» *(англ.)*.

Процветание *(англ.)*.

Разочарование *(англ.)*.

«Потерянное поколение» *(англ.)*.

Общественное сознание *(англ.)*.

175

Закрытые магазины *(англ.)*.

Коллективные сделки *(англ.)*.

177

Упрямы *(франц.)*.

Этот человек в Белом доме *(англ.)*.

Свободное предпринимательство *(англ.)*.

Невмешательство *(франц.)*.

Неопытные люди *(англ.)*.

Единый мир *(англ.)*.

183

Давайте заниматься своим делом *(англ.)*.

Невозможно *(англ.)*.

Здесь этого не случится *(англ.)*.

Правительство США *(англ.)*.

187

Дорогой учитель *(франц.)*.

Театр — удовольствие *(англ.)*.

189

Коллективный труд, если вы, понимаете, о чем я… мне действует на нервы! В конце концов, человек — животное общественное… Вы не согласны? Ну ладно, давайте выпьем еще! *(англ.)*

Третий срок *(англ.)*.

Знаменитость *(англ.)*.

Великолепно, не так ли? *(англ.)*

Желаю удачи! *(англ.)*

Чужеземный (*англ.)*.

Континентальный (*англ.)*.

Экзотический *(англ.)*.

Лектор *(англ.)*.

Личность *(англ.)*.

199

Свободная беседа *(франц.)*.

«У нее есть характер» *(англ.)*.

До свидания! *(франц.)*.

До свидания, дорогой друг. До встречи! *(франц.)*.

Сопротивление *(франц.)*.

уже виденное (*франц.*).

205

Уход от основных проблем жизни *(франц.)*.

Немецкая семья *(англ.)*.

207

Горе *(евр.)*.

Горе *(англ.)*.

209

Отвратительный *(франц.)*.

Председатель *(англ.)*.

211

Дамы и господа! Имею честь представить вам мистера Клооса Мэна, знаменитого сына знаменитого отца… *(англ.)*.

Бегство в жизнь *(англ.)*.

213

Площадка обозрения *(англ.)*.

214

Практически каждый, кто, по мнению мировой общественности, представлял то, что до 1933 года называлось немецкой культурой, теперь в изгнании *(англ.)*.

215

Скандальная хроника (*франц.*).

До нелепости *(лат.)*.

217

Бастион против коммунизма *(англ.)*.

218

В самом деле, моя дорогая, я просто из себя выхожу, видя, как ты поглощаешь эти ужасные гренки с сыром, в то время как наши друзья в Вене… *(англ.)*.

Это означает: война, моя дорогая! *(англ.)*.

Начало трагедии *(лат.)*.

221

Не пройдут! *(исп.)*

Политика умиротворения *(англ.)*.

223

Высшие финансовые круги (*франц.*).

Оплот против большевизма *(англ.)*.

225

Зонтик *(франц.)*.

Долой Гитлера! *(англ.)*

227

Да здравствует Чехословакия! Смерть Гитлеру! Долой нацистскую банду! *(англ.)*

Мир с честью *(англ.)*.

Мир в наше время! *(англ.)*

Гостиная *(англ.)*.

231

Полнейший неудачник в совсем чужом городе… не знающий греха… любящий Элладу Гёльдерлина… *(англ.)*

…у которого желание смерти вылилось в ужасающий вопль *(англ.)*.

Все желают нам радости! *(англ.)*

Коллективная безопасность (*англ.*).

235

Первая леди (*англ.*).

Умереть за Данциг? И это… после всего… *(франц.)*.

Франклин Делано Рузвельт. Здесь это случиться не может *(англ.)*.

Болезненность, естественность *(итал.)*.

239

О звезда Франции! Звезда распята! продана предателями! *(англ.)*

Разгром, крах (*франц.*).

241

Несмотря ни на что *(франц.)*.

Час «Ноль» *(англ.)*.

243

Довольно интересно *(англ.)*.

В тесном кругу *(франц.)*.

245

Творчество *(франц.)*.

Письменные подтверждения *(англ.)*.

247

Вечеринка добывания денег *(англ.)*.

Мой дорогой друг *(англ.)*.

249

Роковая женщина *(франц.)*.

250

Кармен! Моя Кармен! Дай мне спасти тебя и спастись с тобой! *(франц.)*.

251

Хозе, ты просишь меня о невозможном. Я тебя больше не люблю; ты же меня еще любишь и поэтому хочешь меня убить… *(франц.)*.

Ты хочешь меня убить, я это прекрасно вижу; это очевидно *(франц.)*.

253

Джентльмены предпочитают блондинок *(англ.)*.

Центральные графства Англии.

Его величество король *(англ.)*.

Современники *(франц.)*.

257

Этого не бывает *(франц.)*.

Он уж очень немец *(франц.)*.

259

Пока в безопасности *(англ.)*.

Распутье *(англ.)*.

261

Оладьи (англ.).

Учтивость *(франц.)*.

263

Хаксли? Ну и дурак… Бенеш? Законченный неудачник! Один из самых унылых характеров… *(англ.)*.

Старина Стефан Цвейг *(англ.)*.

С ними покончено! Почему они покинули свою страну? Они совершили ошибку, они никогда не вернутся в Англию *(англ.)*.

Вы правы! *(англ.)*.

Слишком абсурдно — не так ли? *(англ.)*.

268

Империя… Так называемой империи больше нет. Она — просто память, просто сон. Империя — галлюцинация *(англ.)*.

Литературное обозрение всякой всячины! *(англ.)*.

Изоляционисты *(англ.)*.

Этот человек в Белом доме *(англ.)*.

Вы счастливы? *(англ.)*.

Мы рады перемене, не так ли? *(англ.)*.

«Перекресток» *(англ.)*.

Не думаете ли вы, что это название ассоциируется с определенной издательской политикой? *(англ.)*.

Если «Перекресток» звучит нерешительно, почему не назвать журнал «Решение»? *(англ.)*.

Управляющий делами, коммерческий директор *(англ.)*.

Консультанты редколлегии *(англ.)*.

Поручитель *(англ.)*.

Ужин *(франц.)*.

Беседа *(англ.)*.

Рассказчик *(франц.)*.

283

Великолепная *(франц.)*.

284

Ева несравненна! Ах, как она хороша! Какая женщина! Она не-срав-нен-на… *(франц.)*.

285

Мой секретарь ждет меня. Я еще до ленча должна продиктовать пару статей *(англ.)*.

Безумие тевтонцев *(лат.)*.

Выдающихся *(англ.)*.

Фактической целью, всегда и постоянно, является подавление человеческого разума *(англ).*

289

Смерть на чужбине *(англ.)*.

Приходите снова *(англ.)*.

291

Без всяких оснований *(англ.)*.

Член редколлегии *(англ.)*.

293

Рассказ *(англ.)*.

Деннис несомненно мозговой центр для Линдберга, Анне Мороу, Хилера, Тафта и всех тех, кто вольно или невольно готовят гибель демократии (*англ.*).

295

Представь себе! Первая глава практически закончена… *(англ.)*.

Я представляю себе небесную радость не как божественное смятение, но как бесконечное постоянное сближение… и если бы я не боялся игры слов, я бы сказал, что сделаю «фе» радости, которая не росла, увеличивалась *(франц.)*.

297

Мир мрачен, куда ни бросишь взгляд… *(англ.)*.

Эта проклятая нацистская речь! Заткнуться! Или говорить по-английски (англ.).

Счастлива с вами познакомиться, сэр *(англ.)*.

Гражданин *(англ.)*.

Здравый смысл *(англ.)*.

Разумный *(франц.)*.

303

Надо прикончить этого проклятого сукина сына прямо там, в Берлине! (*англ.)*.

Старый добрый Стефан Цвейг *(англ.)*.

305

Литератор *(франц.)*.

306

Отвращение к жизни *(лат.)*.

Сопротивление *(франц.)*.

308

Ведомство намерено принять новое решение о пригодности просителя *(англ.)*.

309

Медицинское освидетельствование *(англ.)*.

Войска связи *(англ.)*.

311

Между двумя войнами *(франц.)*.

Принят! *(англ.)*.

313

Призывной пункт *(англ.)*.

Основная подготовка *(англ.)*.

315

Призывная комиссия *(англ.)*.

Окурки (англ.).

317

Добрая работа, солдат! Так держать! *(англ.)*.

318

Простите, сэр! Но это отхожее место вышло из строя *(англ.)*.

319

Наряд на кухню *(англ.)*.

Командировочное предписание *(англ.)*.

321

Пункт назначения неизвестен *(англ.)*.

322

За старшего в казарме (англ.).

323

Подъем (англ.).

Канцелярия подразделения (англ.).

325

Канцелярия роты «Б» — говорит рядовой Манн (англ.).

Вражеский агент (англ.).

Военная полиция (англ.).

Лекционные (англ.).

За что мы воюем? *(англ.)*

Да это же просто пропаганда! *(англ.)*

Довольно интересное зрелище *(англ.)*.

Потеха *(англ.)*.

Глубокий Юг *(англ.)*.

Вонь от этих ублюдков! *(англ.)*

Гарнизонная лавка *(англ.)*.

Для цветных *(англ.)*.

Клуб военнослужащих *(англ.)*.

За что мы воюем? *(англ.)*

Довольно беспокойные *(англ.)*.

Пиши мне! *(англ.)*

341

Полоса препятствий *(англ.)*.

Основная подготовка *(англ.)*.

343

За океан *(англ.)*.

Бессмыслица *(лат.)*.

345

Специальный курс *(англ.)*.

Разведка *(англ.)*.

Как насчет Югославии, Греции? *(англ.)*

Гражданин США *(англ.)*.

349

За океан *(англ.)*.

Военное училище *(англ.)*.

351

Часть, подразделение *(англ.)*.

«Не разговаривать! Враг подслушивает!» *(англ.)*

Столовая *(англ.)*.

Помнишь? *(англ.)*

Достаточно! Время спать, вот-вот погасят свет *(англ.)*.

Как американский гражданин, будем надеяться! *(англ.)*.

Это их дело *(англ.)*.

Пункт назначения неизвестен *(англ.)*.

Если я не ошибаюсь *(англ.)*.

Я целиком «за»! *(англ.)*

Тоскующий *(англ.)*.

Направили не туда *(англ.)*.

363

Войска связи *(англ.)*.

Школьник *(англ.)*.

Разведывательная школа *(англ.)*.

Продолжительно *(англ.)*.

Занятие (англ.).

Удачный ход (англ.).

369

Военный заем (англ.).

Поверь мне! *(англ.)*

Твое оружие — твой лучший друг (англ.).

Командировочное предписание (англ.).

Установочная беседа (англ.).

Сокровище (*англ.*).

375

Настоящее воссоединение семьи! Я наслаждался каждой минутой… *(франц., англ.)*

За неимением лучшего *(франц.)*.

Солдаты *(англ.)*.

База пополнения *(англ.)*.

По пути *(франц.)*.

Немцы *(итал.)*.

381

Отец и сын (*франц.*).

Боевая рота *(англ.)*.

383

Военнослужащий сержантского состава *(англ.)*.

384

«…мужество, утешение, примирение с самим собой и с моими сочинениями. Как хорошо Вы объясняете и мотивируете их! Мне бы очень помешало, если бы это понимание, эта прозорливость, которые Вы проявляете сегодня, пришли ко мне раньше; но сколь важно для меня сегодня это освещение моей жизни! Мне почти удается благодаря Вам понять самого себя и себя вынести, настолько Ваше представление моего существа, моих жизненных принципов, моих усилий и даже моих ошибок умно и полно симпатии ко мне. Я принимаю Вашу книгу как награду…» *(франц.)*

Да здравствует свобода! *(итал.)*

Свободные *(итал.)*.

387

Солдат-ополченец (нем.).

Низшие чины *(англ.*).

389

Офицерские чины *(англ.)*.

Рядовые *(англ.)*.

Столовая *(англ.)*.

Армейские инструкции *(англ.)*.

393

Безделица *(франц.)*.

Народные ополчения — убийство народа! *(лат.)*

395

Безоговорочная капитуляция *(англ.)*.

На самом деле *(лат.)*.

Член редколлегии *(англ.)*.

Лозунг, призыв *(англ.)*.

Великолепно *(англ.)*.

Сопротивление *(франц.)*.

401

Ложный шаг *(франц)*.

Landhaus (нем.) — загородный дом.

Сопротивление *(франц.)*.

Перемещенные лица *(англ.)*.

Понятно? *(англ.)*

Творчество, произведение (*франц.*).

Кинозвезды *(англ.)*.

Честность *(франц.)*.

409

Дивный лик безутешного ангела *(франц.)*.

Ну конечно же *(англ.)*.

411

Немцы — антинацисты — настоящие, надежные — могли бы быть очень полезны нам, если бы мы только захотели их использовать. Но мы не хотим. Мы просто говорим им, что у них нет никакого права требовать чего-либо. Не может ли нацизм быть уничтожен в Германии, раз и навсегда, без помощи немецких антинацистов? *(англ.)*

Военная администрация (*англ.*).

413

Гражданство США *(англ.)*.

Здравый смысл (*франц.*).

415

Рядовые *(англ.)*.

Кинофильм, кинопромышленность *(англ.)*.

417

Седьмая резервная часть *(англ.)*.

Увольнение в отставку с почестями *(англ.)*.

419

Обязательное условие существования *(лат.)*.

Основа существования *(франц.)*.

421

Свидание с судьбой *(англ.)*.

Комментарии

1

Речь идет о Томасе Иоганне Генрихе Манне (1840–1891), любекском коммерсанте и сенаторе (с 1877), отце Томаса Манна и соответственно деде Клауса Манна.

2

Юлия Манн, урожденная да Силва-Брунс (1851–1923), жена сенатора Томаса Иоганна Генриха Манна, была дочерью немецкого плантатора Иоганна Людвига Брунса из Любека и Марии Луизы да Силва, бразилианки португало-креольского происхождения. Родилась и до семи лет воспитывалась в родительском доме в Ангра-дус-Рейс (в ста километрах западнее Рио-де-Жанейро), затем в сопровождении чернокожей няньки была перевезена через океан в Любек. Получила хорошее воспитание. Большую часть жизни посвятила воспитанию пятерых детей. Автор небольшой книжки «Из детства Додо. Воспоминания» (Констанца, 1958), в которой явственно слышна ностальгия Юлии Манн по прежней родине. Другие ее литературные опыты в прозе остаются неопубликованными.

3

Генриха (Луиса-Генриха, 1871–1950), Томаса (Пауля Томаса, 1875–1955), Юлию (1877–1927), Карлу (1881–1910) и Виктора (1890–1949).

4

Ганзейская фирма по торговле зерном была основана в Любеке прадедом Томаса Манна Иоганном Зигмундом Манном в 1790 и просуществовала до 1891 (чуть более ста лет).

5

Эрос (Эрот) — в древнегреческом пантеоне бог любви. В более широком смысле — стремление к прекрасному, к познанию, к рефлектирующей духовности (у Платона, например, Эрос — метафора философствования).

6

Д'Аннунцио, Габриэле (1863–1938) — итальянский писатель и политический деятель. Автор лирических сборников «Майя», «Электра» и «Алкион», получивших мировое признание. В прозе и драматургии, следуя ницшеанским идеалам «сверхчеловека», воспевал в духе неоромантизма поэзию силы, войны и разбойных походов, культивировал болезненно-утонченную чувственность. Активно поддерживал итальянский фашизм.

т. е. на немецкой классике XIX в.

8

Швабинг — один из центральных районов Мюнхена.

т. е. Юлия Манн.

10

Грюндерство — период резкого подъема предпринимательской активности после Франко-прусской войны (1871) и до начала «великой депрессии» (1873), связанный в первую очередь с поступлением в Германию значительных денежных сумм (по французским репарационным платежам), отменой внутренних таможенных барьеров и, наконец, местной промышленной революцией.

11

Дом, Эрнст (первонач.: *Элиас Леви,* 1819–1883) — немецкий писатель-сатирик. Получил широкую известность за свои хлесткие статьи в журнале «Кладдерадач», который он фактически возглавлял в период 1849–1882.

12

«*Кладдерадач*» — популярный берлинский политико-сатирический журнал, основанный в 1848 группой писателей, журналистов и карикатуристов во главе с Давидом Калишем (1820–1872). Просуществовал без малого сто лет (до 1944).

13

Дом, Гедвиг (урожд. *Шлее,* 1833–1919) — немецкий общественный деятель (борец за права женщин), публицист, литературный критик. Жена Эрнста Дома — прабабушка Клауса Манна по материнской линии.

14

Кайнц, Йозеф (1858–1910) — знаменитый австрийский актер. С 1899 — в венском «Бургтеатре». Обладал уникальным актерским художественным дарованием. Блестяще владел голосом, мимикой, жестом.

15

Прингсхейм, Альфред (1850–1941) — немецкий математик. Профессор математики в Мюнхене (1886–1922); с 1939 — в эмиграции (в Цюрихе).

16

Орден Короны — королевский орден, учрежденный в 1861 по случаю коронации прусского короля в Кёнигсберге.

17

Виттельсбахи — южногерманский княжеский род (именуется по названию замка Виттельсбах, находящегося северо-восточнее Аугсбурга, в 1180 возвысившийся до герцогского ранга в Баварии, а в 1214 и в Рейнском Пфальце. Баварская ветвь рода в 1777 оборвалась; представители же второй, пфальцской, с 1806 по 1918 занимали баварский королевский трон (последним из них был Людвиг III: 1913–1918).

18

Ленбах, Франц фон (1836–1904) — немецкий живописец. Известен главным образом как портретист: им создана обширная галерея портретов современников (из них — 80 портретов Бисмарка). Каульбах, Фридрих Август фон (1850–1920) — немецкий живописец. Писал преимущественно жанровые сценки и портреты, отличавшиеся не столько оригинальностью творческого почерка, сколько чистотой и элегантностью исполнения. Штук, Франц фон (1863–1928) — немецкий живописец и скульптор. Один из основателей мюнхенского «Сецессиона» (1892), профессор мюнхенской Академии художеств (с 1895). Писал аллегорические картины.

19

Гейзе (Хейзе), Пауль (1830–1914) — немецкий новеллист, романист, поэт и драматург, первый немецкий писатель, награжденный Нобелевской премией по литературе (1910), глава (наряду с Э. Гейбелем) «мюнхенского поэтического кружка».

20

Гарден (Харден), Максимилиан (псевд.; наст. имя — Максимилиан Витковски, 1861–1927) — публицист, эссеист, издатель, литературный и театральный критик, один из теоретиков натурализма.

21

Речь идет о встрече Томаса Манна с Катариной (Катей) Прингсхейм (1883–1980), его будущей женой (с 1905) и матерью Клауса Манна.

22

Порция и Джессика — персонажи романтической комедии В. Шекспира «Венецианский купец» (1596). Порция — богатая наследница в Бельмонте, Джессика — дочь венецианского ростовщика Шейлока.

23

«Валькирия» (пост. 1870 — вторая часть тетралогии «Золото Рейна», 1854–1874), *«Парсифаль»* (пост. 1882), *«Тристан и Изольда»* (1859, пост. 1865) и *«Лоэнгрин»* (1848, пост. 1850) — оперы Рихарда Вагнера (1813–1883).

24

Свадебное торжество в доме Прингсхеймов… — состоялось 11 февраля 1905.

25

В семье Томаса и Кати Манн было шестеро детей: Эрика (1905–1969), Клаус (1906–1949), Голо (род. в 1909), Моника (род. в 1910), Элизабет (род. в 1918) и Михаэль (род. в 1919).

26

Савонарола, Джироламо (1452–1498) — настоятель доминиканского монастыря во Флоренции. Выступал против тирании рода Медичи, против папства, призывал служителей церкви к аскетизму. Способствовал установлению во Флоренции республиканского строя.

27

Хух, Рикарда (1864–1947) — немецкая писательница. Член (с 1926) Прусской академии искусств, откуда вышла в знак протеста против диктата нацистов (1933). Около десяти лет (с 1898) была замужем (первым браком) за практиковавшим в Вене итальянским зубным врачом Эрманно Чекони.

28

«*Марихен…*» — Стихотворение Й. К. Цедлица «Марихен» (1831). Цедлиц, Йозеф Кристиан барон фон (1790–1862) — австрийский писатель. Работал в канцелярии Меттерниха.

29

Елизаветинское время — правление английской королевы Елизаветы I (1533–1603, на троне — с 1558). Викторианская эпоха — правление английской королевы Виктории (1819–1901, на троне — с 1837).

30

Тёльц (точнее, *Бад-Тёльц)* — курортный городок южнее Мюнхена, примерно в 20 километрах от австрийской границы.

31

Тома, Ханс (1839–1924) — немецкий живописец и график. Профессор Академии художеств и директор музея изобразительных искусств в Карлсруэ.

32

Речь идет о Юлии Манн (да Силва-Брунс).

33

Карла Манн (сестра Т. Манна, тетушка Клауса Манна) покончила с собой 30 июля 1910.

34

Ниоба (Ниобея) — в греческой мифологии дочь Тантала, жена царя Фив Амфиона. Возгордилась своим многочисленным потомством перед дочерью титанов Лето (у той было лишь двое детей — Аполлон и Артемида), за что была жестоко наказана: Аполлон и Артемида убили стрелами всех ее детей. Амфион покончил с собой, а Ниоба от горя окаменела.

35

Реальные события, как известно, складывались следующим образом. 15(28) июля 1914 Австро-Венгрия, использовав в качестве предлога убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены в Сараеве, под давлением Германии объявила войну Сербии (которая находилась в дружественных отношениях с Россией). 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России, 21 июля (3 августа) — Франция, 22 июля (4 августа) — Великобритании.

Подобные истории передавались не только изустно. Их распространением открыто и беззастенчиво занималась германская пресса того времени, что было частью правительственных мер по массированной психологической подготовке населения к войне.

37

«Германия, Германия превыше всего…» — первая строка стихотворения «Песня немцев» (1841) поэта-демократа Августа Генриха Гофмана фон Фаллерслебена (1798–1874), ставшая в 1870–1871 годах своего рода гимном патриотической немецкой буржуазии. Позднее широко использовалась в корыстных целях германской реакцией.

38

«Бушует клич, как гром небесный…» начало знаменитой немецкой песни «Вахта на Рейне» (1840). Автор текста — М. Шнеккенбургер (1819–1849), мелодии — К. Вильгельм (1815–1873). В годы Франко-прусской войны 1870–1871 песня исполнялась как национальный гимн. К началу первой мировой войны приобрела отчетливо шовинистическую окраску.

39

Ипотека — способ получения крупной денежной ссуды (кредита), предполагающий передачу в залог жилого здания (или земельного участка). Ипотекой называется также сам документ (закладная), юридически фиксирующий факт совершения такой сделки. Институт ипотечных кредитов (ссуд) действует только в капиталистических странах.

40

Фишер, Самуэль (наст. имя Микулаш Липтовски, 1859–1934) — немецкий издатель, основатель (1886) и долголетний руководитель одноименной издательской фирмы. Постоянный издатель произведений Т. Манна. В 1898 вышла первая книжка Т. Манна — небольшой сборник новелл «Маленький господин Фридеман», в 1901 — роман «Будденброки», и с тех пор между С. Фишером и Т. Манном установились прочные партнерские отношения. В 1940 из фирмы выделилось новообразованное нью-йоркское издательство «Л. Б. Фишер», где, кстати, была впервые опубликована в англоязычном варианте настоящая книга.

41

Гинденбург, Пауль фон (1847–1934) — германский военный и политический деятель, президент Германии (с 1925). Способствовал приходу к власти нацистов. Речь идет о тяжелом поражении, которое нанесла в первую мировую войну 8-я германская армия под командованием Гинденбурга (начальником штаба был Э. Людендорф) в районе Мазурских озер (на северо-востоке нынешней Польши) 2-й русской (командующий — генерал А. В. Самсонов), а потом и 1-й русской армии (командующий — генерал П. К. Ренненкампф).

42

Людендорф, Эрих (1865–1937) — немецкий военачальник, генерал пехоты (1916). В 1918 вышел в отставку. В дальнейшем (с 1920) — реакционный политический деятель, активно поддерживавший гитлеровскую партию. Макензен, Август (1849–1945) — германский генерал-фельдмаршал. С 1920 в отставке. С середины 20-х активно поддерживал гитлеровскую партию.

43

Речь идет о книге Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1884), в которой отчетливо обозначились общие контуры его мифа о «сверхчеловеке».

44

Эйхендорф, Йозеф фон (1788–1857) — немецкий писатель, близкий к кружку «гейдельбергских романтиков» (А.ф. Арним, К. Брентано, Й. Гёррес). Речь идет о его знаменитой новелле «Из жизни бездельника» (1826, рус. пер. 1935).

Пфитцнер, Ганс (1869–1949) — немецкий композитор, дирижер и писатель, стоял на консервативно-националистических позициях. Опера *«Палестрина»* (1912–1915, пост. 1917), созданная им по собственному либретто, строится во многом в вагнеровских традициях.

«Entente Cordiale» (франц. «Сердечное согласие») или, иначе, «Тройственное согласие» — то же, что Антанта.

47

Клабунд (наст. имя Альфред Хеншке) (1890–1928) — немецкий писатель. Начинал как поэт. Первые, эротически окрашенные стихи (1913) навлекли на него обвинения в «безнравственности» (начавшееся судебное разбирательство закончилось для автора благополучно благодаря поддержке Ф. Ведекинда и Р. Демеля). Вершиной прозы Клабунда считают романы «Браке» (1918) и «Борджиа» (1928).

Штернхейм, Карл (1878–1942) — немецкий писатель, критик и публицист.

49

Шикеле, Рене (1883–1940) — эльзасский писатель, один из лидеров немецкого экспрессионизма.

50

«Ди вайссен блеттер» — ежемесячный литературно-политический журнал левых экспрессионистов (и шире — левого крыла антибуржуазной оппозиции), один из трех важнейших журналов этого направления (наряду с журналами «Штурм» и «Акцион»). Выходил с 1913 по 1921 год. В журнале сотрудничали Й. Р. Бехер, Л. Франк, Р. Леонгард, Г. Манн, А. Эренштейн.

51

Зутнер, Берта фон (урожд. графиня Кинская, 1843–1914) — австрийская писательница, общественный деятель, основатель австрийского Общества мира (1891). По ее инициативе А. Нобелем учреждена Нобелевская премия мира; сама стала одним из первых ее лауреатов (1905). *«Долой оружие»* — антимилитаристский роман Берты фон Зутнер (1889, рус. пер. 1891, 1908), принесший автору мировую известность.

52

Речь идет о Ноябрьской революции в Германии 1918. Непосредственным началом революции явилось Кильское восстание матросов (3 ноября 1918). Высшей точкой революции стало свержение гогенцоллерновской монархии и провозглашение буржуазно-парламентской республики (9 ноября 1918). В начале января силам реакции удалось спровоцировать берлинских рабочих на неподготовленное выступление и силой оружия подавить революцию. 15 января были убиты К. Либкнехт и Р. Люксембург.

53

Эйснер, Курт (1867–1919) — деятель германского рабочего движения. Журналист. В период Ноябрьской революции 1918 — председатель Мюнхенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, затем возглавил республиканское правительство Баварии. 21 февраля 1919 на пути в ландтаг был убит графом А. Арко.

54

Клейст, Генрих фон (1777–1811) — выдающийся немецкий новеллист и драматург эпохи позднего романтизма.

55

Грильпарцер, Франц (1791–1872) — крупнейший австрийский драматург XIX в.

Кёрнер, (Карл) Теодор (1791–1813) — немецкий поэт и драматург, близкий к романтизму, чье творчество тесно связано с подъемом антинаполеоновской национально-освободительной борьбы в Германии.

57

Шамиссо, Адельберт фон (наст. имя Луи Шарль Аделаид де Шамиссо, 1781–1838) — немецкий писатель эпохи позднего романтизма, ученый-естествоиспытатель. Автор знаменитой повести-сказки «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814) о человеке, продавшем свою тень дьяволу.

58

Легенда об ударе ножом в спину, распространявшаяся в Германии представителями консервативно-националистических и милитаристских кругов (с осени 1918), — фальсификаторская легенда о том, что главной причиной поражения Германии в первой мировой войне будто бы явились не неудачи Германии на фронтах ввиду военного превосходства стран Антанты, а коварные происки «внутренних врагов» (революционеров, социалистов, вообще всех левых, а также пацифистов, евреев, масонов и т. п.). Спартаковцы — члены «Союза Спартака» — революционной организации германских левых социал-демократов. Создан 11 ноября 1918 путем преобразования «Группы Спартака» (оформилась весной 1916). В ЦК «Союза Спартака» входили К. Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. Меринг, В. Пик и др. Общегерманская конфедерация спартаковцев и леворадикалов, открывшаяся в Берлине 29 декабря 1918, конституировалась как учредительный съезд Коммунистической партии Германии.

59

Арко — старинный дворянский род из Южного Тироля, восходящий к XII в. В 1413 получил графский титул. На рубеже XV–XVI вв. разделился на две ветви — мантуанскую и баварскую (Арко-ауф-Валлей). Граф Антон Арко-ауф-Валлей вошел в историю как убийца Курта Эйснера (в глазах монархиста Арко Эйснер был ненавистным главарем победивших бунтовщиков). После пяти лет заключения в крепости вышел на свободу.

60

…*Толлер, Эрнст* (1893–1939) — немецкий писатель, один из лидеров немецкого экспрессионизма. Участник революционных событий 1918–1919. Член правительства Баварской советской республики. После ее разгрома был арестован и осужден на 5 лет. В 1933 эмигрировал в США.

61

Левине, Ойген (Евгений) (1883–1919) — деятель германского рабочего движения, активный член «Союза Спартака». Участвовал в Ноябрьской революции 1918 и Январском восстании 1919. С провозглашением Баварской советской республики (13 апреля 1919) возглавил ее Исполнительный совет. После ее разгрома расстрелян по приговору военно-полевого суда (5 июня 1919).

Мюзам, Эрих (1878–1934) — немецкий писатель, общественный деятель. В 1919 участник борьбы за создание Советской республики в Баварии. В апреле 1919 во время организованного реакцией переворота в Мюнхене арестован и находился в тюрьме до 1925. После 1925 — активный участник антифашистского движения. Погиб в концлагере (Ораниенбург).

63

Эпп, Франц (Ксавер) фон (1868–1946) — германский генерал, реакционный политический деятель. В первую мировую войну командовал пехотным полком. В апреле 1919 во главе Баварского стрелкового корпуса участвовал в разгроме Баварской республики Советов. В 1923 оставил рейхсвер. С 1928 депутат рейхстага от НСДАП, с 1932 по 1945 занимал в ней руководящие посты.

Гёльдерлин, Фридрих (1770–1843) — немецкий поэт, классик литературы.

65

Тик, Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель, видный представитель раннего (йенского) романтизма в Германии.

Брентано, Клеменс (1778–1842) — немецкий писатель, представитель позднего, «гейдельбергского», романтизма в Германии.

67

Мёрике, Эдуард (1804–1875) — выдающийся немецкий писатель эпохи позднего немецкого романтизма. Новелла «Моцарт на пути в Прагу» (1855) — вершина прозы позднего Мёрике — рассказывает о веселом приключении Моцарта во время его путешествия из Вены в Прагу осенью 1787 («непротокольное» проникновение Моцарта в графский замок и присутствие на торжественной церемонии обручения племянницы графа) и рисует портрет щедрого душой, хоть и чуть-чуть «не от мира сего», гениального художника.

68

Новелла «Бедный музыкант» Грильпарцера (1848) — одна из жемчужин австрийской и мировой литературы — о трагической судьбе благородного старого чудака-мечтателя, живущего в фантастическом мире, полном волшебной музыки, а в реальной жизни — человека совершенно немузыкального и не умеющего извлечь из своей скрипки ни одного мало-мальски пристойного звука.

Фантастическая «Сказка», которой заканчиваются «Разговоры немецких беженцев» (1794), — серия новелл, написанных Гёте по просьбе Ф. Шиллера для журнала «Оры» и явившихся первым образцом изящного соединения короткого рассказа и волшебной «искусственной» сказки в немецкой литературе.

Хеббель (Геббель), Кристиан Фридрих (1813–1863) — немецкий писатель и теоретик драмы. Один из крупнейших немецких драматургов середины XIX в.

71

Ратенау, Вальтер (1867–1922) — германский промышленник, финансист, политический деятель, министр иностранных дел (1922). На Генуэзской конференции подписал Рапалльский договор с Советской Россией (1922). Убит агентами немецкой террористической организации «Консул».

72

«Дайел» — американский литературный журнал, выходивший в Чикаго и Нью-Йорке с 1880 по 1929 в издательстве «Дайел пресс». Томас Манн начал писать статьи для этого журнала в 1918.

73

Давос и Ароза — небольшие городки на востоке Швейцарии (кантон Граубюнден) со знаменитыми горноклиматическими курортами.

Вассерман, Якоб (1873–1934) — немецкий писатель. В своем творчестве следовал традициям критических реалистов XIX в. В поздний период отдал дань богоискательству.

75

Гофмансталь, Гуго фон (1874–1929) — австрийский поэт и драматург, крупнейший представитель неоромантизма и символизма в австрийской литературе, отдававший также дань импрессионизму.

Бертрам, Эрнст (1884–1957) — немецкий историк литературы и писатель.

77

Рейзигер, Ганс (1884–1968) — немецкий писатель и переводчик.

Вальтер, Бруно (наст. имя Бруно Шлезингер, 1876–1962) — немецкий дирижер. В 1933 эмигрировал из Германии; с 1939-в США.

79

Франк, Бруно (1887–1945) — немецкий писатель. Был связан долголетней дружбой с Томасом Манном. С 1933 в эмиграции: Австрия, Швейцария, Франция, Великобритания, с 1939 — США (Калифорния), где до конца своих дней жил по соседству с семьей Т. Манна.

Ивогюн, Мария (наст. имя Ида фон Гюнтер, урожд. *Кемпнер* — немецкая певица (колоратурное сопрано).

81

Эрб, Карл (1877–1958) — немецкий певец (тенор), пианист и дирижер. Был женат на дочери Ф. Листа Козиме, позднее ставшей женой Р. Вагнера.

82

Мотль, Феликс (1856–1911) — австрийский дирижер и композитор.

Леви, Герман (1839–1900) — немецкий дирижер.

84

«Гензель и Гретель» — сказочная опера немецкого композитора Э. Хумпердинка (1854–1921), созданная в 1893 году по мотивам одноименной гриммовской сказки (автор либретто — предположительно Адельхайд Ветте).

85

«*Ундина*» (1844, пост. 1845) — романтическая опера в 4 действиях по мотивам одноименной повести-сказки Фридриха де ла Мотт-Фуке (1777–1843), одно из лучших произведений Лорцинга.

Лорцинг, Альберт (1801–1851) — немецкий композитор. Известность получил и как оперный певец; дирижировал оперными спектаклями.

87

Маршнер, Генрих Август (1795–1861) — немецкий композитор и дирижер. Видный представитель раннего немецкого романтизма в музыке.

88

«Кольцо нибелунга» — оперная тетралогия Рихарда Вагнера (1813–1883) («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Сумерки богов», 1854–1874, пост 1876). «Нюрнбергские мейстерзингеры» — опера Р. Вагнера (1867, пост. 1868).

«Риголетто» (1851, пост. 1851) — опера Джузеппе Верди (1813–1901), *«Мадам Баттерфляй»* («Чио-Чио-Сан», 1904, пост. 1904) — опера Джакомо Пуччини (1858–1924), *«Аида»* (1870, пост. 1871) — опера Дж. Верди, *«Дон Паскуале»* (пост. 1843) — опера Гаэтано Доницетти (1797–1848), *«Кавалер роз»* (1910, пост. 1911) — опера Рихарда Штрауса (1864–1949), *«Вольный стрелок»* («Волшебный стрелок», 1820, пост. 1821) — опера Карла Марии Вебера (1786–1826), *«Свадьба Фигаро»* (пост. 1786), *«Дон Жуан»* (пост. 1787) — оперы Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), *«Ханс Гейлинг»* — опера Г. А. Маршнера, одна из лучших его романтических опер (1833, пост. 1838).

90

Персонажи оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта» (1791, пост. 1791).

91

«Гувернантка» (опубл. 1815) — развлекательная комедия немецкого писателя-романтика Карла Теодора Кернера (1791–1813). Коцебу, Август Фридрих Фердинанд (1761–1819) — немецкий писатель, одна из периферийных фигур эпохи романтизма. Ввиду необычайной обширности драматургического наследия Коцебу трудно сказать, о какой пьесе идет речь.

92

Героини комедии В. Шекспира «Двенадцатая ночь» (1600).

93

Кокто, Жан (1889–1963) — французский писатель, художник, деятель театра и кино. Речь идет о пьесе «Рыцари Круглого стола» (пост. и опубл. 1934).

Вигман, Мэри (1886–1973) — немецкая танцовщица, хореограф и педагог, специалист по современному танцу.

95

Георге, Стефан (1868–1933) — немецкий поэт, переводчик и эссеист, крупнейший представитель немецкого символизма.

Блюер, Ганс (1888–1955) — писатель, философ, общественный деятель. В начале века выступил как идейный вдохновитель и организатор юношеского спортивно-туристического движения, одного из главных его течений «Перелетные птицы».

97

Оденвальдская школа — основанная в 1910 П. Гехебом в Оберхамбахе под Хеппенхаймом (Бергштрассе, горный массив Оденвальд на юго-западе ФРГ) загородная школа-интернат для мальчиков и девочек.

98

Гехеб, Пауль (1870–1961) — немецкий педагог. Основатель Оденвальдской школы-интерната (1910). С 1933 эмигрировал. Воспитывал своих питомцев в духе органичного коллективизма, естественного единства школы и дома («школьной общины»), в духе самостоятельности, ответственности за свои поступки и взаимной терпимости.

99

Кашен, Марсель (1869–1958) — деятель французского и международного коммунистического и рабочего движения, один из основателей ФКП (1920).

100

Новалис (наст. имя Фридрих фон Харденберг, 1772–1801) — немецкий поэт и философ. Один из крупнейших представителей и теоретиков раннего (йенского) романтизма в Германии. *Уитмен, Уолт* (1819–1892) — американский поэт. Разделял утопические идеи трансценденталистов об очищающем влиянии природы на человека. Культивировал форму свободного стиха.

101

Имеются в виду последние слова Сократа: «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте». Жертвоприношение петуха по традиции полагалось Асклепию, богу врачевания, за выздоровление пациента. Сократ же в данном случае подразумевал иное — «выздоровление души» и освобождение от бренного тела.

102

Неточная цитата из «Листьев травы». Ср.: «Уолт Уитмен, космос, сын Манхэттена…» (стихотворение «Песня о себе», 1855, из цикла «Посвящения», пер. К. Чуковского).

103

Цитата из стихотворения «О теле электрическом я пою» (1855) из цикла «Дети Адама» («Листья травы», в пер. М. Зенкевича: «Легионы любимых меня обнимают, и я обнимаю их…»).

104

В «Листьях травы»: («Вечный прогресс»… — из стихотворения «Рожденный на Поманоке», 1860). Поманок — индейское название острова Лонг-Айленд, где родился Уитмен.

105

Немного неточное *воспроизведение* названия стихотворения и одноименного цикла из книги «Листья травы». У Уитмена «Whispers of…» («Шепот божественной смерти», 1868).

106

Стихотворение «Задумчивый и неуверенный» (1868) из цикла «Шепот божественной смерти»:

107

Экхарт, Иоганн (Майстер Экхарт) (ок. 1260 — ок. 1328) — выдающийся представитель средневековой немецкой мистики, близкой к пантеизму. Теолог, проповедник и писатель. Монах-доминиканец.

108

Мехтхильда Магдебургская (1207/1210–1282/1283) — немецкая писательница, одна из видных представительниц ранней немецкой мистики. Монахиня-бегинка. Одна из самых образованных женщин своего времени. Автор эротически окрашенных излияний, обращенных к «небесному жениху», — «Об истекающем свете блаженства» (1250–1265).

109

Ангелус Силезиус (наст. имя Иоганнес Шеффлер, 1624–1677) — немецкий поэт-мистик, мастер эпиграммы. Воспринял идеи немецких мистиков Майстера Экхарта и И. Бёме, а также пантеистические идеи В. Спинозы и Дж. Бруно. Восставал против жесткой догматики ортодоксального лютеранства (отсюда — его переход в католичество в 1653). Один из талантливейших поэтов контрреформации.

110

Сведенборг, Эмануэль (1688–1772) — шведский ученый и философ-мистик.

111

Имеется в виду важный для творчества Ж. Кокто мотив: герою (героям) является ангел-искуситель, сулящий гибель, несчастья или просто неприятные перемены в жизни. К. Манн впервые столкнулся с этой фигурой, по-видимому, в романах «Крутая перемена» (1923) и, позднее, «Трудные дети» (1929), в стихотворении «Ангел Эртебиз» (1926) и, наконец, в пьесах «Орфей спускается в ад» (пост. 1926, опубл. 1927) и «Рыцари Круглого стола» (пост. и опубл. 1934).

112

Банг, Герман (1857–1912) — датский писатель и театральный деятель. Видный представитель импрессионизма в датской литературе. В последние годы жизни приближался к экспрессионизму.

113

Улица в Париже, где с осени 1848 по зиму 1855 жил Г. Гейне.

114

В 1848 Генриха Гейне настигает тяжкий недуг — прогрессирующий паралич. С середины 1848 Гейне безнадежно прикован к своему ложу, которое он назвал «матрацной могилой».

115

«*De Profundis*» — посмертно опубликованная исповедь О. Уайльда (1905, 1962, полный рус. пер. 1976). Имеет форму письма, обращенного к лорду А. Дугласу (по английским законам того времени заключенному разрешалось писать только письма). De Profundis *(лат.* — из бездны взываю) — начальные слова католической молитвы.

116

Имеется в виду первая строка стихотворения Гейне за № 47 из цикла «Возвращение на родину» (1826). В поэтическом переводе она звучит так: «Цветешь ты, словно ландыш, /Мила, нежна, чиста./…» *(Перевод З. Морозкиной)*.

117

Бодлер, Шарль (1821–1867) — французский поэт. Предшественник французского символизма. Автор знаменитого сборника «Цветы зла» (1857).

118

Верлен, Поль (1844–1896) — поэт-символист, один из крупнейших французских поэтов последней трети XIX в.

119

«*Pauvre Gaspard*» («Бедный Гаспар») — стихотворение из сборника («Мудрость», 1881), написанное на популярную в XIX в. тему Каспара Хаузера. К. Хаузер (ок. 1812–1833) — найденыш предположительно высокого происхождения (как полагают, похищенный претендент на баденскую герцогскую корону), появившийся в 1828 в Нюрнберге. В свои 16 (?) лет плохо владел речью и обнаруживал признаки общего недоразвития. Утверждал, что, сколько он себя помнит, содержался в темном подвале (или чулане?). Попал в сферу общественного интереса всей Европы. Воспитывался немецким правоведом бароном Ансельмом Фейербахом (отцом философа Людвига Фейербаха). В 1831 был усыновлен лордом Стенхоупом. Несколько раз становился жертвой покушения неизвестных. В декабре 1833 получил от неизвестного злоумышленника удар ножом в грудь, вследствие чего три дня спустя скончался. Трагическая судьба К. Хаузера, так и оставшаяся непроясненной, породила множество домыслов и легенд (этой теме посвящена отдельная работа и у Клауса Манна — «Легенды о Каспаре Хаузере», 1925; см. с. 156–157) и легла в основу произведений ряда европейских писателей, в частности К. Гуцкова, Г. Тракля, Г. Вассермана и недавно — П. Хандке. В 1974 на тему К. Хаузера В. Херцог снял фильм «Каждый за себя, и Бог против всех».

120

«Lune blanche» («Белая луна») — стихотворение из сборника «Добрая песня» (1870). *«heure exquise»* целиком строка: «C'est l'heure exquise» — заключительная строка стихотворения («Белая луна»): «О, час прелестный» (пер. А. Эфрон).

121

«Sagesse» («Мудрость») — сборник стихов, вышедший в 1880. В него вошли стихотворения 1875–1879 гг., т. е. того периода, когда Верлен обратился к религий.

122

«*Hombres*» (*исп.* — «Люди») — сборник П. Верлена, написанный предположительно в 1890–1891 гг., официально не издавался. Существует в подпольных и полуподпольных изданиях.

123

Рембо, Артюр (1854–1891) — французский поэт, друг П. Верлена. Родоначальник символизма (наряду с Лотреамоном) и предшественник всей новой поэзии XX в.

124

Рембо, *le Voyou… le Voyant* (провидец, ясновидящий). — Имеется в виду программная идея Рембо, высказанная им после кризиса, связанного с поражением Парижской Коммуны 1871, что главное качество поэта — дар ясновидения («Я хочу быть поэтом, и я пытаюсь превратиться в ясновидца…» — сообщал он в письме от 13 мая 1871).

125

«*Озарения*» (опубл. 1886) — сборник стихотворений в прозе А. Рембо.

126

«Пора в аду» (1873) — сборник «маленьких историй в прозе», как назвал их сам Рембо.

«Искательницы вшей» (1871) — стихотворение А. Рембо, построенное как благодарное воспоминание автора о пребывании в доме незамужних теток Изамбара (школьного учителя Рембо), — своего рода опыт поэтической трактовки непоэтического материала.

«A noir, E blanc…» — начало знаменитого стихотворения Рембо «Гласные» (написано весной 1871):

> «„А“ черный, белый „Е“, „И“ красный, „У“ зеленый,
> „О“ голубой — цвета причудливой загадки…»

(пер. В. Микушевича)

128

«Bateau ivre» («Пьяный корабль») — пожалуй, самое знаменитое стихотворение А. Рембо (написано в сентябре 1871).

129

Г. ф. Клейст в приступе депрессии совершил двойное самоубийство: 21 ноября 1811 на берегу озера Ванзее (южная окраина Берлина) он покончил с собой, за минуту до этого застрелив свою возлюбленную, Генриетту Фогель (по ее просьбе).

Бюхнер, Георг (1813–1837) — известный немецкий писатель, близкий к романтизму. Общественный деятель (основатель «Общества прав человека» 1834).

131

Ведекинд, Франк (1864–1918) — немецкий писатель. Крупнейший немецкий драматург своего времени. Предшественник немецкого экспрессионизма.

132

Главное действующее лицо пьесы «Гном».

133

Лулу — главная героиня одноименной трагедии Ф. Ведекинда, состоящей из двух самостоятельных пьес: «Гном» (1895) и «Ящик Пандоры» (1904); по выходе из печати последней разразился громкий скандал: драматург и издатель были привлечены к суду за распространение литературных непристойностей.

134

Персонаж одноименной пьесы Ф. Ведекинда (1900) — одной из вершин экспрессионистской драмы.

135

Очевидно, имеется в виду персонаж пьесы Ф. Ведекинда «Король Николо, или Такова жизнь» (1901).

136

Имеется в виду маркиз (граф) Касти Пиани, сводник и торговец женщинами из пьес Ф. Ведекинда «Ящик Пандоры» (1904) и «Смерть и дьявол. Пляска смерти» (1904, первоначально «Пляска смерти»).

137

Господин в маске, Мельхиор — персонажи пьесы Ф. Ведекинда «Пробуждение весны» (1891, пост. 1906).

138

Стриндберг, Август (Юхан) (1849–1912) — шведский писатель. Классик литературы. Писал на шведском и французском языках.

139

Тракль, Георг (1887–1914) — австрийский писатель; один из крупнейших поэтов нового времени. Представитель раннего экспрессионизма.

140

«Год души» (1897) и *«Седьмое кольцо»* (1907) — поэтические сборники С. Георге.

141

Максимин — лирический герой стихотворений сборника «Седьмое кольцо» С. Георге.

142

Лоренс, Дэвид Герберт (1885–1930) — английский прозаик, драматург и эссеист. Автор популярного романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928).

143

Штиннес, Хуго (1870–1924) — крупный германский промышленник. Придерживался консервативно-националистических взглядов. Активно выступал за пересмотр Версальского мирного договора 1919.

144

Зюскинд, Вильгельм Эмануэль (1901–1970) — немецкий писатель и журналист.

145

«Одиннадцать палачей» — мюнхенское кабаре, где в 1901–1902 исполнял свои песни Ф. Ведекинд.

Цукмайер, Карл (1896–1977) — немецкий прозаик, поэт и сценарист. Видный драматург.

147

Май, Карл (1842–1912) — немецкий писатель. Автор весьма популярных в Германии приключенческих романов.

Кройцберг, Харольд (род. в 1902) — немецкий танцор, хореограф и мимический актер. Видный представитель немецкой экспрессионистической школы танца.

149

Бернус, Александр фон (1880–1965) — немецкий писатель. Находился в плену почвеннической мифологии и романтической мистики.

150

Штайнер, Рудольф (1861–1925) — немецкий философ и мистик, основатель оккультно-мистического учения антропософии, пользовавшийся в начале XX в. влиянием на умы европейской и русской интеллигенции.

151

Парацельс (псевд., наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541) — философ-мистик, естествоиспытатель и врач.

152

По Версальскому мирному договору 1919 Германия возвращала Франции Эльзас-Лотарингию, Польше — части Поморья и Эйпен (а также вынуждена была сделать ряд других территориальных уступок в пользу стран-победительниц). Германии предписывалась выплата репарационных платежей в порядке возмещения убытков, понесенных странами Антанты в результате мировой войны (выплата продолжалась до 1932, что легло тяжким бременем на экономику страны).

153

Гюисманс, Шарль Мари Жорж (Жорис) (1848–1907) — французский писатель и критик. В поздний период творчества отдавал дань декадентству и мистицизму.

154

«Вельтбюне» — основанный в 1918 политико-литературный еженедельник. Возглавлялся З. Якобсоном (1926–1933), позднее К. Ф. Осецким (совместно с К. Тухульским). Из левобуржуазного пацифистского органа постепенно превратился в антифашистский и антимилитаристский журнал. С приходом к власти нацистов был запрещен.

155

Якобсон, Зигфрид (1981–1926) — немецкий публицист. Основатель театрального журнала «Шаубюне» (1905), преобразованного в 1918 в политико-литературный еженедельник «Вельтбюне».

156

«Фоссише цайтунг» — влиятельная леволиберальная берлинская газета, выходившая в период 1751–1934. С 1824 — ежедневная. В 1752–1755 один из ее постоянных разделов вел Г. Э. Лессинг.

157

«Симплициссимус» — политико-сатирический еженедельник. Основан в 1896 в Мюнхене А. Ленгеном и Т. Гейне.

158

«Нойе рундшау» — немецкий журнал по вопросам культуры. Образовался из основанного в 1890 в Берлине О. Брамом, и С. Фишером театрального еженедельника «Фрайе бюне фюр модернес лебен», объединявшего сторонников натурализма.

159

Курфюрстендам — улица в Берлине.

160

Имеется в виду дневной выпуск газеты «Берлин цайтунг».

161

«How curious! how realy!» — «Удивительная! И реальная!» — цитата из стихотворения У. Уитмена «Рожденный на Поманоке» (из цикла «Посвящения» в книге «Листья травы»). В контексте (см. эпиграф к настоящей книге):

> Победа, единение, вера, тождество, время,
> Нерушимые договоры, богатства, тайна.
> Вечный прогресс, космос и современные открытия.
> Вот она, жизнь.
> Появившаяся на свет в мучительный родах,
> в
> судорогах и конвульсиях.
> Удивительная! И реальная!

(Пер. Р. Сефа)

162

Рейнхардт, Макс (1873–1943) — немецкий режиссер, актер и театральный деятель. После 1933 года работал в Австрии, Франции, США.

163

Грюндгенс, Густав (1899–1963) — актер и режиссер, театральный директор. Актерскую карьеру начинал в Хальберштадте, Киле и Гамбурге. В 1928 стал выступать в Берлине. С 1934 интендант крупнейших берлинских и (после 1945) западногерманских театров. Как актер прославился в пьесах Штернгейма, Шекспира, Гёте («Фауст»). Автор талантливых постановок европейской классики. Послужил К. Манну прототипом главного героя в романе «Мефистофель» (1936).

Эглон (франц. Орленок) — главное действующее лицо исторической драмы Э. Ростана «Орленок» (пост. и опубл. 1900), в основе которой — одна из наполеоновских легенд.

165

Бэббит — герой одноименного романа Синклера Льюиса (1922, рус. пер. 1926, 1959), здесь — тип преуспевающего дельца и мещанина.

Лорансен, Мари (1885–1956) — французская художница. Испытала влияние А. Матисса; временами была близка к кубизму.

167

Микаэлис, Карин (1872–1950) — датская писательница и общественный деятель. Мировую известность приобрела благодаря роману «Опасный возраст» (1910), повествующему о проблемах сорокалетней женщины.

Уайлдер, Торнтон Нивен (1897–1975) — американский прозаик и драматург. В центре его важнейших произведений универсальные, вневременные проблемы человеческого существования.

169

Стайн, Гертруда (1874–1946) — американская писательница. Утверждала в литературе умеренное формальное экспериментаторство: определенной организацией языка (повторами и вариациями одних и тех же фраз в ритмах разговорной речи) стремилась воспроизвести естественное движение сознания своих героев (литература «потока сознания»).

Гиш, Лилиан (род. 1896) — американская актриса. Получила всемирную известность в фильмах Д. У. Гриффита («Рождение нации», 1915, «Сломанные побеги» — в сов. прокате «Две сиротки», 1919, и др.). С 1930 выступала в основном в театре. Последние работы в кино — «Комедианты» (1966) и «Свадьба» (1978).

171

Фейдт (Вейдт), Конрад (1893–1943) — немецкий актер театра и кино. Начинал у М. Рейнхардта. В кино с 1916. Реализовал свои способности у режиссеров-экспрессионистов (Р. Вине «Кабинет доктора Калигари», 1919, Ф. В. Мурнау «Путь в ночь», 1920, и др.).

Бергер, Людвиг (наст. имя Людвиг Бамбергер, 1892–1969) немецкий режиссер и писатель.

173

Любич, Эрнст (1892–1947) — немецкий и американский кинорежиссер. С 1923 в Голливуде.

Стиллер, Мориц (1883–1928) — шведский режиссер, сценарист и актер. Лучшие фильмы Стиплера — экранизация произведений скандинавских писателей-неоромантиков («Песнь о багрово-красном цветке», 1918, «Юхан», 1920, «Сага о Гуннаре Хеде», 1924, и др.).

175

Бердсли (Бердслей), Обри (1872–1898) — английский график и писатель. Многие рисунки у Бердсли — отчетливо эротического характера.

Прокош, Фредерик (род. в 1908) — американский писатель. По происхождению — австриец. Автор шести романов в основном приключенческого характера.

177

Хирн (Херн), Лафкадио (1850–1904) — американский прозаик и литературный критик ирландско-греческого происхождения. С 1890 — журналист в Японии. Принял японское гражданство и изменил имя (на Якумо Коисуми). Преподавал историю английской литературы в Токио. Клаус Манн имеет в виду сборники рассказов писателя, рисующие идиллическую картину жизни и быта японцев.

Келлерман, Бернгард (1879–1951) — немецкий писатель. Автор острых социально-критических и антимилитаристских романов («Туннель», 1913, «9 ноября», 1920, и др.) в манере, близкой к экспрессионистической. Автор антифашистского романа «Пляска смерти» (1948).

179

Куденхове-Калерги, Рихард Николаус фон (1894–1972) — писатель и политический деятель. Граф. Основатель панъевропейского движения. Основатель журнала «Пан-Ойропа» (1924). В 1938 был вынужден покинуть Австрию; переехал в Берн. С 1940 профессор истории в Нью-Йоркском университете.

180

Шнейдер-Крёзо — французский военно-промышленный концерн (металлургия, машиностроение, электротехника), основанный в 1836 братьями Эженом (1805–1975) и Адольфом (1802–1845) Шнейдерами.

181

И. Г. Фарбен — крупный германский химический концерн. Основан в 1925. Оказывал влияние на политическую и экономическую жизнь Германии 30–40-х гг., участвовал в подготовке войны. Преступно использовал труд заключенных концлагерей.

182

Лаваль, Пьер (1883–1945) — французский государственный деятель, одна из самых одиозных фигур французской политической сцены XX в. В годы второй мировой войны вел капитулянтскую политику, стоя во главе коллаборационистского правительства Виши. В момент освобождения Франции (1944) бежал из страны. Арестован в Австрии и в 1945 выдан французским властям. Казнен как изменник.

183

Бриан, Аристид (1862–1932) — французский политический деятель. Неоднократно премьер-министр и министр иностранных дел (1909–1931). Сторонник проекта системы союзов европейских держав (пакт Келлога-Бриана 1928). Лауреат Нобелевской премии мира (1926).

184

Фрик, Вильгельм (1877–1946) — нацистский политический деятель. С января 1933 по август 1943 — германский министр внутренних дел. Осужден на Нюрнбергском процессе и казнен.

185

Зинтенис (Сентени), Рене (1888–1965) — немецкий скульптор, график. Жена художника и книжного графика Э. Р. Вайса (1875–1942).

186

Массари, Фрици (наст. имя Фридерике Масарек, 1882–1969) — австрийская певица. Звезда оперетты 20-х гг. По приглашению М. Рейнхардта с успехом выступала в драматическом театре. В эмиграции (1933) выступала в Лондоне. После отъезда в Голливуд оставила сцену.

187

«Стальной шлем» — монархический военизированный союз бывших фронтовиков в Германии, созданный в 1918. После 1933 слился с штурмовыми отрядами (СА).

«Железный фронт» — созданное как политический противовес реакционному «Гарцбургскому фронту» объединение умеренно левых сил (оформилось в декабре 1931): СДПГ, свободных профсоюзов, «Союза черно-красно-золотистого флага» и спортивных союзов рабочих. Просуществовал до мая 1933.

189

Шахт [*Хорэс, Грили*] *Ялмар (Хьялмар)* (1877–1970) — немецкий финансист. Поддерживал образование реакционного «Гарцбургского фронта» (1930–1932), затем — имперского правительства с Гитлером во главе. Министр экономики (1934–1937). Министр без портфеля (1937–1944). На Нюрнбергском процессе находился в числе подсудимых, но ввиду разногласий среди членов военного трибунала был оправдан (1946).

Брукнер, Фердинанд (наст. имя Теодор Таггер, 1891–1958) — австрийский драматург и поэт. В 1933 эмигрировал во Францию, затем в США.

191

УФА — («Универзум-фильм-акциенгезельшафт») — крупнейшая германская киностудия (киноконцерн), образованная в 1917 в результате слияния фирм «Местер-фильм», «Унион» и филиалов датской фирмы «Нордиск». Просуществовала до 1945.

192

Вероятно, имеется в виду Японская академия искусств, находящаяся в районе парка Уэно.

193

Схевенинген — нидерландский портовый городок, прилегающий к Гааге и, по сути, являющийся ее частью.

194

Ксенофонт — (ок. 430–356/354? до н..э.) — древнегреческий писатель, философ и историк.

195

Жуа-ле-Пен — курортный городок на Французской Ривьере, неподалеку от Антиба.

Фланден, Пьер-Этьен (1889–1958) — французский политический деятель. Неоднократно министр (1924–1934). Премьер-министр (сентябрь 1934 — май 1935). Министр иностранных дел (1936, 1940–1941). В 1945 был приговорен французским судом к 5 годам «лишения национальной чести» за коллаборационизм, но потом помилован. Тердьё, Андре (1876–1945) — французский политический и государственный деятель. В ноябре 1929 — декабре 1930, марте — декабре 1930 премьер-министр и министр иностранных дел. Один из лидеров правых кругов Франции.

197

Моран, Поль (1888–1976) — французский писатель. Дипломат (в Лондоне, Риме, Мадриде). Во время оккупации Франции — посланник коллаборационистского правительства Виши в Бухаресте и Берне. После войны — недолго в эмиграции. Космополитически ориентированный романист; временами близок к авангардизму.

Мальро, Андре (1901–1976) — французский писатель, государственный деятель. В 1959–1969 министр культуры.

199

Радиге, Раймон (1903–1923) — французский писатель. Как поэт испытал влияние Г. Аполлинера и М. Жакоба, был близок к авангардистским течениям. Известность получил благодаря психологическим романам «Бес в крови» (1923) и «Бал графа д'Оржель» (1924), в рус. пер. «Маó», 1926).

200

Сакс, Морис (1906–1945) — французский писатель. Писал романы, рисовавшие картины нравов Франции между двумя мировыми войнами, и автобиографические эссе.

201

Де Кирико, Джорджо (1888–1978) — итальянский живописец, график. Один из предшественников сюрреализма.

202

Grand Ecart (франц. «Большой прыжок») — намек на одноименный роман Ж. Кокто (1923).

Аллегре, Марк (1900–1973) — французский кинорежиссер.

Руо, Жорж (1871–1958) — французский живописец и график.

205

Голль, Клер (род. в 1910) — немецкая поэтесса и романистка. Жена И. Голля. Переводчица многих его произведений.

Голль, Иван (наст. имя Исаак Ланг, 1891–1950) — эльзасский поэт (говорил о себе: «По воле судьбы еврей, по месту рождения француз, по бумагам немец»). Писал по-немецки, по-французски и по-английски. Вел странническую жизнь. Был близок различным литературным течениям: неоромантизм, экспрессионизм, сюрреализм.

207

Ростан, Эдмон (1868–1918) — французский поэт и драматург. Автор пьесы «Сирано де Бержерак» (пост. 1897, опубп. 1898), принесший ему мировую славу.

208

Грин, Жюльен (род. в 1900) — французский писатель. Американец по происхождению. Автор романов и повестей («Адриенна Мезюра», 1927), в центре которых — тема борьбы человека со своими инстинктами, тема бесцельности и скуки провинциальной жизни.

209

Эрнст, Макс (1891–1976) — немецкий художник (живописец, график, скульптор). Один из основателей дадаизма, а затем сюрреализма в Германии.

210

Зект, Ганс фон (1866–1936) — германский генерал (генерал-полковник). Проводил курс на быстрое наращивание вооруженных сил. В 1934–1935 военный советник при Чан Кайши.

211

Штреземан, Густав (1878–1929) — германский политический деятель, один из основателей (1918) и лидер консервативной Немецкой народной партии.

Заломон, Эрнст фон (1902–1972) — писатель. За соучастие в убийстве Ратенау был осужден (1922) на 5 лет тюрьмы.

213

Юнгер, Эрнст (род. в 1895) — немецкий писатель и философ (ФРГ).

Бенда, Жюльен (1867–1956) — французский философ и писатель. С позиций строгого рационализма и утонченного интеллектуализма критиковал экзистенциалистские философию и литературу.

215

На выборах в рейхстаг в сентябре 1930 нацистская партия получила 107 из 647 мандатов (на выборах 1928 она имела лишь 12).

216

Здесь и далее обыгрывается ветхозаветная легенда о последнем пире вавилонского царя Валтасара (книга пророка Даниила, гл. 5). В разгар пиршества, как сказано в Библии, «вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского» таинственные слова — как выяснилось, слова грозного предостережения (в эту же ночь Вавилон был взят персами, а Валтасар — убит).

Гизе, Тереза (наст. имя Тереза Гифт, род. в 1898) — немецкая актриса. В 1933 вместе с Клаусом и Эрикой Манн основала литературный театр-кабаре «Перцемолка». В этом же году эмигрировала (в Швейцарию). С успехом выступала после войны в театрах Мюнхена, Цюриха и Западного Берлина.

218

Штрайзер, Юлиус (1885–1945) — нацистский политический деятель. Участник гитлеровского путча (1923); гауляйтер во Франконии (1924–1940).

219

Понтен, Йозеф (1883–1940) — немецкий писатель. Начинал как прозаик в традициях католической литературы. Находился под влиянием националистических идей.

Броннен, Арнольт (наст. имя Арнольт Броннер, 1895–1959) — австрийский драматург, прозаик и публицист. В конце 20-х гг. пережил крутой мировоззренческий поворот к национал-социализму. С 1933 занимал руководящие посты на радио и телевидении. В 1940 уволен; ввиду грозящего ареста выехал в Австрию, где примкнул к отрядам коммунистического Сопротивления, подвергался аресту. В 1945–1955 редактор («Нойе цайт», «Скала»). В 1955 переселился в Берлин (ГДР), где работал как публицист и театральный критик.

221

МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ… — таинственная надпись на стене дворца Валтасара. МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН (*арамейск.*) в толковании Даниила означает следующее: «МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким, ПЕРЕС — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (книга пророка Даниила, гл. 5).

222

Папен, Франц фон (1879–1969) — германский политический деятель, военный преступник. В июле — ноябре 1932 рейхсканцлер. Способствовал установлению фашистской диктатуры и вошел в правительство Гитлера как вице-канцлер (январь 1933 — июнь 1934). Содействовал аншлюсу Австрии.

Осуществленный фон Папеном реакционный переворот в Пруссии («Прусский путч» 20 июля 1932) явился одной из фатальных вех на пути продвижения Германии к фашистской диктатуре. Дело в том, что Пруссия, являясь самой крупной из всех германских земель, все еще находилась под сильным влиянием социал-демократов; с 1920 по 1932 она управлялась стабильным демократическим правительством, почти бессменно возглавлявшимся социал-демократом О. Брауном, и потому не могла не вызывать ненависть правых и ультраправых, толкавших страну к тоталитаризму. Устранение легального правительства Брауна-Зеверинга фактически означало конец Веймарской республики и установление диктатуры в Пруссии, а заодно и ликвидацию в ней остатков федералистских свобод (1933).

224

Браун, Отто (1872–1955) — германский политический деятель. Социал-демократ. С 1920 до 1933 прусский премьер-министр, влиятельный политик времен Веймарской республики. В 1933 официально смещен со своего поста. В марте 1933 эмигрировал в Швейцарию.

225

Зеверинг, Карл (1875–1952) — германский политический деятель; социал-демократ. В 1920–1926 и 1930–1932 возглавлял прусское, в 1928–1930 имперское министерство внутренних дел.

226

Президент Германии П. Гинденбург (с 1925). Имеются в виду его заслуги по окружению второй русской армии А. В. Самсонова в начале первой мировой войны.

227

Брюнинг, Генрих (1885–1970) — германский политический деятель. В марте 1930— мае 1932 рейхсканцлер. В 1934 эмигрировал в Голландию, потом в США.

228

Шлейхер, Курт фон (1882–1934) — германский военный и политический деятель, генерал. Рейхсканцлер (декабрь 1932 — январь 1933). Убит гестаповцами в «ночь длинных ножей» (30 июня 1934).

229

«План помощи востоку» — («Osthilfe») — проводившаяся с 1926 прусским и имперским правительствами система кредитно-политических мер, направленных на подъем сельского хозяйства в Восточной Пруссии. Несмотря на свою неэффективность, с 1933 была распространена на всю территорию Германии (до 1937).

230

В оригинале нацистский термин «Gleichschaltung», означающий комплекс всеохватных политико-административных мер по коренной ликвидации любых демократических свобод в стране, предполагающий введение тотального политико-идеологического контроля над всеми сферами общественной, политической, профессиональной и прочей деятельности.

Штрих, Фриц (1882–1963) — немецкий литературовед.

232

Рупрехт фон Виттельсбах (1869–1955) — баварский кронпринц, старший сын Людвига III (последнего короля Баварии, 1845–1921, на троне в 1913–1918). В первую мировую войну генерал-фельдмаршал, командующий группой войск на Западном фронте.

233

Осецкий, Карл фон (1889–1938) — немецкий публицист-антифашист. Один из выдающихся публицистов времен Веймарской республики. За антимилитаристские статьи в редактируемом им журнале «Вельтбюне» осужден к тюремному заключению (1931), в 1933 брошен в концлагерь. Лауреат Нобелевской премии (1936).

234

Гугенберг (Хугенберг), Альфред (1865–1951) — германский политический деятель, крупный промышленник. Представитель крайне правого националистического крыла германской буржуазии. Министр экономики и сельского хозяйства в правительстве Германии (30 января — 26 июня 1933).

235

На мартовских выборах в рейхстаг 1933 гитлеровская партия добилась решающей победы: она получила 288 мандатов (из 647 депутатских мест), что в союзе с Немецкой народной партией (52 места) дало ей большинство в рейхстаге. Другие партии получили: СДПГ — 120 мест, КПГ — 81, «Центр» — 73, Баварская народная партия — 19, остальное — буржуазно-либеральные партии.

Хельд, Генрих (1868–1938) — баварский политический деятель. Юрист. Один из основателей Баварской народной партии. Премьер-министр Баварии (с 1924). Сторонник идеи федерализма. В марте 1933 под давлением крайне правых сил смещен со своего поста.

237

10 февраля 1933, в день пятидесятилетия со дня смерти Р. Вагнера, Т. Манн выступил в актовом зале Мюнхенского университета с большим докладом «Страдания и величие Рихарда Вагнера». На следующий день он покинул Германию, отправившись в лекционное турне по Европе, чтобы прочесть этот доклад в Амстердаме, Брюсселе и Париже. Ввиду ухудшающейся внутриполитической обстановки в Германии возвращение сделалось для него немыслимым, и поэтому 11 февраля стало фактически датой эмиграции. Содержавший критику националистических заблуждений Вагнера, доклад нашел враждебный прием в официальных кругах Германии, а националистически настроенные интеллектуалы (Г. Пфитцер и др.) выступили в печати с протестом.

238

Людвиг Эмиль (наст. имя Людвиг Кон, 1881–1948) — немецкий писатель. В 1932 эмигрировал в Швейцарию, в 1940 — в США.

239

Вольф, Теодор (1868–1943) — немецкий журналист. В 1933 эмигрировал во Францию. В 1943 арестован в Ницце и отправлен в концлагерь (Заксенхаузен).

240

Вероятно, имеется в виду, среди прочего, и статья А. Барбюса под этим заголовком, помещенная в «Юманите» от 12 июля 1932. Первоначально известное письмо-протест Э. Золя президенту республики (1898).

241

Речь идет о расправе руководства нацистской партии над главарями штурмовых отрядов (так называемая «ночь длинных ножей»).

Эти слова К. Манна следует понимать только в том смысле, что «тонко чувствующие нацисты» признали в Г. Манне достойного противника и, как такового, теоретически готовы были допустить в свой «круг избранных» (ни о каком «ордене Почетного легиона» не могло быть речи). Тут небесполезно вспомнить об элитарных притязаниях верхушки НСДАП — Гитлер, например, сразу же после прихода нацистов к власти заявил о том, что он рассматривает НСДАП как своего рода «рыцарский орден».

243

Оден, Уистен, Хью (1907–1973) — английский поэт. С 1939 живет в США, в этот период в его творчестве усиливается философское и религиозное звучание, что связано, в частности, с его обращением к христианству (влияние С. Кьеркегора и Р. Нибура). В 1935 — муж Эрики Манн.

244

Густав Ашенбах — герой новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции» (1911).

Ишевурд, Кристофер (1904–1986) — английский писатель. Автор экспрессионистских стихотворных драм. В 1939 эмигрировал в США. В прозаических работах 30-х гг. анализирует события в Германии до и после прихода к власти нацистов.

Хейден (Хайден), Конрад (1901–1966) — немецкий публицист. Автор первой большой биографии Гитлера на немецком языке (1936) и нескольких книг по европейской истории XX века, в том числе и по истории «третьего рейха».

247

Теодор Пливье (1892–1955) — немецкий писатель, придерживался прокоммунистических позиций примерно до середины 40-х гг.

Марку, Валериу (1899–1943) — немецкий писатель румынского происхождения, политический эссеист. В студенческие годы участвовал в революционном движении (социал-демократ). В 1916 с поручением Ленины ездил из Швейцарии в Париж, Москву и Румынию. (В Полном собрании сочинений Ленина имя Марку фигурирует только однажды — в письме к М. Харитонову из Флюмса в Цюрих, август 1916.). Автор десятка книг, посвященных видным фигурам европейской истории (Макиавелли, Шарнхорсту, В. Либкнехту), двух сборников политико-литературных эссе (о Марате, Клемансо, Радеке, Троцком, Честертоне, Бодлере, Истрати и др.). Автор иллюстрированного очерка о Ленине: «Ленин. 30 лет в России» (1927), переведенного на ряд европейских языков.

249

Тревиранус, Готфрид (1891–1971) — германский политический деятель. В 1920–1932 министр в кабинете Г. Брюнинга (министр оккупированных областей, с 1930 рейхскомиссар по вопросам помощи восточным областям, с октября 1931 министр транспорта). В 1933–1948 жил в эмиграции (Великобритания, Канада).

250

К. Манн не совсем прав. Австрийский публицист Карл Краус (1874–1936) подготовил в 1933 г. 300-страничную рукопись специального номера своего журнала «Факел», целиком посвященного событиям в гитлеровской Германии (опубл. посмертно в 1952).

251

Чокор, Франц Теодор (1885–1969) — австрийский писатель, видный представитель австрийской экспрессионистской драматургии. В 1938–1946 находился в эмиграции.

Чуппик, Карл (1878–1937) — австрийский писатель.

253

Ку, Антон (1890–1941) — австрийский публицист и писатель. Был завсегдатаем литературных кафе. В 1938 через Прагу эмигрировал в США.

Требич, Зигфрид (1869–1956) — австрийский писатель-романист, новеллист, драматург и переводчик (Б. Шоу). Жил в Лондоне и в Швейцарии.

255

Якоб, Генрих Эдуард (1889–1967) — немецкий писатель, корреспондент газеты «Берлинер тагеблатт» в Вене. В 1939 эмигрировал в США.

Зальтен, Феликс (наст. имя Зигмунд Зальцман, 1869–1947) — австрийский прозаик. Известность получил благодаря повести «Бемби» (1923), экранизированной У. Диснеем (1942). Его социальные и исторические романы ныне совершенно забыты.

257

Политцер, Хайнц (1910–1978) — австрийский писатель и литературовед. В 1938 эмигрировал в Палестину, в 1947 — в США.

Хиллер, Курт (1885–1972) — немецкий публицист и литературный критик. За свои пацифистские взгляды в 1933 арестован. В 1934 бежал в Прагу, в 1938 — в Лондон.

259

Неточность: звание Генералиссимуса Советского Союза было присвоено И. В. Сталину в 1945 (в 1943 — звание Маршала Советского Союза).

Реглер, Густав (1898–1963) — немецкий писатель. С 1928 член КПГ. В 1933 лишен гражданства как «антигосударственный элемент». Участник Интернациональных бригад в Испании. В 1939 порвал с КПГ. В 1940 бежал из Франции в Мексику.

261

Розенберг, Альфред (1893–1946) — один из нацистских идеологов, военный преступник. С июня 1941 министр оккупированных восточных территорий. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.

Либерман, Макс (1847–1935) — немецкий художник; видный представитель импрессионистской живописи в Германии.

263

Имеется в виду Международный конгресс писателей в защиту культуры (Париж, 1935), созванный по инициативе Международного объединения революционных писателей (МОРП).

264

«New Deal» — «Новый курс» — выдвинутая Ф. Д. Рузвельтом программа преодоления Соединенными Штатами политического и экономического кризиса, осуществлявшаяся в две фазы: 1933–1935 и 1935–1938.

WPA — министерство труда; CIO — Конгресс производственных профсоюзов; CCC — товарно-кредитная корпорация, SEC — комиссия социального обеспечения; AAA — Американская автомобильная ассоциация.

Уилки, Уэнделл Льюис (1892–1944) — американский бизнесмен и политический деятель. Будучи членом Демократической партии, выступал главным кандидатом на президентских выборах 1940 от республиканцев; в ходе выборов проиграл Ф. Д. Рузвельту.

267

Малларме, Стефан (1842–1898) — французский писатель, один из основателей и ведущих поэтов французского символизма.

Томпсон, Дороти (1894–1961) — американский публицист. Корреспондент американских газет в Вене (1920–1924) и Берлине (1924–1934). Жена С. Льюиса (с 1928). Влиятельный политический комментатор «Нью-Йорк геральд» (1936–1941), в последующие годы — радиокомментатор.

269

Гумперт, Мартин (1897–1955) — немецкий писатель. По основной профессии врач. В 1936 эмигрировал в США.

270

Речь идет о визите австрийского канцлера К. Шушнига и Берхтесгаден (резиденцию Гитлера) 12 февраля 1938, когда Шушнигу пришлось подписать «соглашение», фактически означавшее капитуляцию Австрии (через месяц после этой встречи Шушниг был арестован, помещен в концлагерь, где и находился до конца войны). Берхтесгаден — курортный городок в юго-восточной Баварии, основанный в XII в. Известен главным образом благодаря вилле «Бергхоф», построенной А. Гитлером. Вилла в 1945 была почти полностью разрушена британской авиацией.

Дейч, Юлиус (1884–1968) — австрийский политический деятель, один из лидеров Социал-демократической партии Австрии. В 1919–1920 военный министр. Организатор и руководитель «Шуцбунда» (1923–1934). В 1936–1939 сражался в рядах республиканской армии в Испании, получил звание генерала. С 1939 по 1946 в эмиграции (Франция, США). В 1946–1951 — в секретариате Социалистической партии Австрии.

272

Каносса — замок в Северной Италии. Как свидетельствуют хроники, туда в 1077 совершил паломничество отлученный от церкви и низложенный германский император Генрих IV и три дня в одежде кающегося грешника простоял у стен замка, добиваясь приема у находившегося в Каноссе папы Григория VII. С тех пор слово «Каносса» стало символом унизительной капитуляции. Речь идет о встречах Н. Чемберлена с Гитлером (15 и 23 сентября 1938), подготовивших почву для Мюнхенского соглашения 29–30 сентября 1938.

Квислинг, Видкун (1887–1945) — лидер норвежских фашистов. В 1931–1933 военный министр. Основатель фашистской партии «Национальное объединение» (1933). Содействовал захвату Норвегии фашистской Германией (апрель 1940). Премьер-министр марионеточного правительства Норвегии (с февраля 1940). Расстрелян по приговору норвежского суда. Имя Квислинга стало синонимом предательства.

«Звезда распятая — предатель ее продал —
Едва мерцает над страною смерти, геройскою страной…»

— У. Уитмен, «Листья травы», цикл «Осенние ручьи», стихотворение «О Франции звезда» (1871), перевод И. Кашкина.

т. е. до событий мая — июня 1940, когда Франция потерпела тяжелейшее военное поражение в самом начале войны с фашистской Германией, равносильное национальной катастрофе, в результате чего вынуждена была 22 июня 1940 подписать соглашение о перемирии, являвшееся по сути актом о капитуляции.

276

Имеется в виду важное событие в ходе второй мировой войны — нападение Японии на военно-морскую базу США (на острове Оаху, одном из Гавайских островов) 7 декабря 1941, знаменовавшее собой распространение военных действий на район Тихого океана.

277

Фольксштурм — ополчение в фашистской Германии. Создан по распоряжению Гитлера от 25 сентября 1944 на основе тотальной мобилизации мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Активно участвовал в боевых действиях в Силезии, Венгрии и в районе Берлина.

«Деяния Бога странны…» — отрывок из песни Серах: «Иосиф и его братья», книга «Иосиф Кормилец», раздел шестой — «Священная игра», глава «Возвещение».

Франк, Ганс (1900–1946) — юрист и нацистский политический деятель, военный преступник. С 1939 генерал-губернатор Польши, ответственный за преступления германских оккупационных войск на ее территории. Казнен по приговору Нюрнбергского военного трибунала.

Ширах, Бальдур фон (1907–1974) — нацистский политический деятель, военный преступник. Гауляйтер и рейхсштатгальтер в Вене (1940–1945), В 1946 осужден военным трибуналом в Нюрнберге к 20 годам тюрьмы (отбывал в Шпандау).

281

Брилль, Герман Луи (1895–1956?) — германский политический деятель.